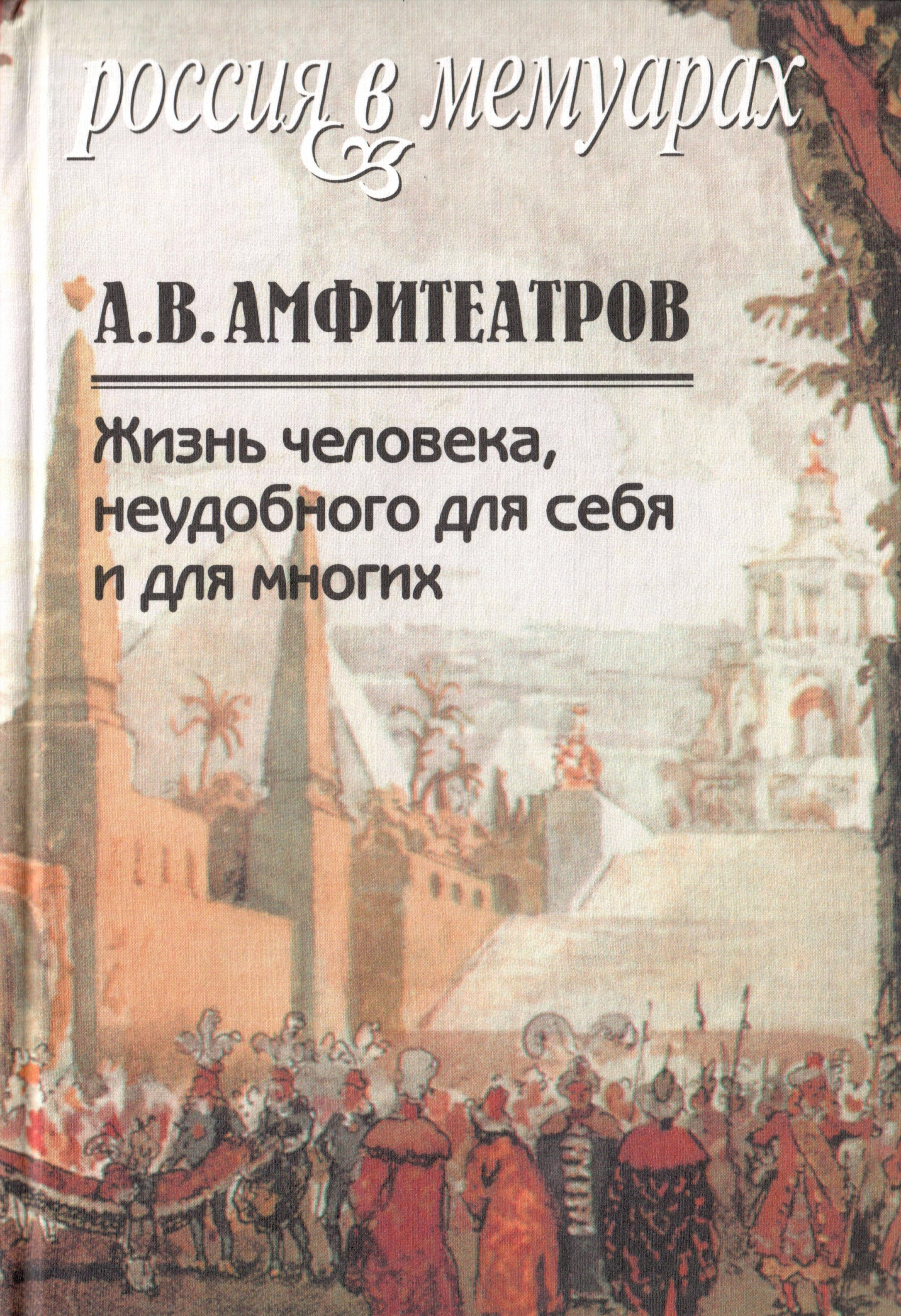

россия в мемуарах
А.В. АМФИТЕАТРОВ
Жизнь человека, неудобного для себя и для многих

россия в мемуарах

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

россия в мемуарах

А.В. АМФИТЕАТРОВ

Жизнь человека, неудобного для себя и для многих

Том 2



УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)5
А 63

Составление,
подготовка текста и комментарии
А.И. Рейтблата
(комментарии к очеркам
«Н.С. Гумилев», «Мое участие в “заговоре” с Гумилевым»
и «Таганцевская загадка» написаны Н.А. Богомоловым,
к очерку «Тяжкая наследственность» — Д.И. Зубаревым,
к плану воспоминаний — Э. Гарэтто и А.И. Рейтблатом)

Серия выходит под редакцией
А.И. Рейтблата

Художник
Е.А. Поликашин

Амфитеатров А.В.
А 63 **Жизнь человека, неудобного для себя и для многих** / Вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент. А.И. Рейтблата. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 608 с.

Подавляющее большинство составивших книгу мемуарных очерков известного публициста и прозаика извлечено из эмигрантской периодики и архивных источников и впервые публикуется в России. Воспоминания дают широкую картину русской жизни конца XIX — начала XX века: по собственным впечатлениям описаны Московский университет, журналистская среда, оперный мир, предприниматели и купцы, охранка, масоны, революционный Петроград, тюрьма ЧК и т.д. Подробно рассказано о встречах с Л.Н. Толстым, П.И. Чайковским, А.П. Чеховым, А.С. Сувориным, Вл.С. Соловьевым, В.М. Дорошевичем, Н.С. Гумилевым, М.С. Урицким и многими другими.

ISBN 5—86793—309—1 УДК 821.161.1
ISBN 5—86793—287—7 ББК 83.3(2Рос=Рус)5

СТАРИК СУВОРИН

Невнимательны мы, люди-человеки, к ходу времен и срокам. Живешь-живешь, да вдруг и доживаешь до чего-нибудь такого, что само по себе нисколько не внезапно и должно было быть ожидаемо в порядке вещей, — ан вот наступил ему срок исполниться, и стоишь в изумлении:

— Вот тебе раз! Как так? Уже? Может ли быть, чтобы уже? Не ошибка ли? Просто невероятно!

Увы! быстрым летом свершаются времена, и в них, как тати ночные, неслышно подкрадываются сроки.

Столетие Алексея Сергеевича Суворина! Нет, вы подумайте!

Доживи Алексей Сергеевич до нынешней осени... Невероятного в этом допущении ничего нет: сейчас и в политике, и в литературе немало девяностолетних старцев, а расстояние от девяноста до ста не так уж далеко, — почему не допустить и столетней живучести?.. Так, говорю я, доживи он до сегодня, то соединил бы наш век с пушкинским веком: ему было три года, когда Пушкина сразила пуля Дантеса; семь лет, когда от пули Мартынова погиб Лермонтов; смерть Белинского он пережил уже сознательным отроком, кадетом Михайловского корпуса в Воронеже; а смерть Гоголя — восемнадцатилетним юношею, юнкером Дворянского полка[1], не по званию и не по возрасту начитанным и литературным, усердным сочинителем «Словаря замечательных людей»[2], пылким театралом и уже автором самостоятельных драматических попыток.

Вот какие давние годы и с каким, значит, давним человеком мы имеем дело! И, однако, что хотите, не могу я вообразить себе Алексея Сергеевича ни давним — аж до современности и с Пушкиным, Лермонтовым, Белинским и Гоголем, ни вообще столетним старцем. Правда, и молодым его я тоже не воображаю, потому что зазнал его поздно, когда ему всероссийское имя было «старик Суворин», а возрастом он близился к седьмому десятку. Ему шло быть пожилым и седым. Но кто же дал бы ему тогда его годы?[3]

Да и вообще, не располагал он к тому, повода не давал, чтобы усчитывать его возраст. «Старик Суворин» — и баста. А какой старик —

шестидесятилетний, семидесятилетний, — не все ли равно, раз он неизменчивый, прочный, вечный? Подобно тому, как мы не замечаем течения времени, пока его поток не набежит на порог какого-нибудь свершения, так точно не примечалось старение «старика Суворина», пока на его пути не обозначилась веха смертельной болезни, указавшая ему поворот к могильному холму.

Алексей Сергеевич скончался (11 августа 1912 г.) семидесяти восьми лет от роду. Но кто — не скажу уже из его товарищей и сверстников, но и из нас, его учеников или его младших сотрудников, даже из его сыновей[4], а может быть, и внуков, — был моложе его пылкою душою и хватким умом? ненасытно жадным вниманием к живой жизни, способностью и привычкою гореть интересом к ее повседневной текучести? охотою отмечать все ее извивы, уклоны и сбои откликами, соединявшими в себе мудрость многообразного жизненного опыта и обширных познаний с юношески пламенною страстностью? откликами незабвенных «Маленьких писем»[5]?

«Давним» вообразить «старика Суворина» я не могу потому, что, вопреки хронологическим данным, он никогда не принадлежал прошлому, а всегда был — выразительно и вполне — человеком настоящего. В прошлое, притом всегда очень отдаленное, он совершал только эстетические экскурсии, как любитель истории, психолог, драматург. Жизнь же его была вся — в современности. В каждом моменте своего бытия Суворин служил или громким глашатаем, или точным эхом русской общественной действительности, поборником или противоборцем ее запросов. Был, если позволено будет мне выразиться так тавтологически, современнейшим из современников своей современности.

Значит ли это, что он гнался и ухаживал за современностью, старался ей угодить, потрафлял на нее? Нет. Эту старую песню его многочисленных врагов давно пора забыть. Его современность не была плодом искусственной выделки, он не наиграл ее в профессиональной привычке практика-журналиста. Наигранность, ремесленное письмо, неискренность огорчали и возмущали его в сотрудниках-учениках, не допускал он до грехов искусственности и себя самого. Мог писать, исходя из ошибочной точки зрения, мог, капризно запутавшись в силлогизмах, прийти к ложному выводу и затем отстаивать его с усердием, достойным лучшего применения. Но никогда не писал того, чего в данный момент не думал, во что не верил как в дельное, необходи-

мо потребное в условиях современности. И никогда не упорствовал сознаться в ошибке, обстоятельно ему доказанной.

Да, русская современность была его натурою — материнским чревом, с которым неотрывною пуповиною был связан он, публицист-художник, воистину милостию Божией, и русский, страшно русский, из русских русский человек: крестьянский сын[6], одаренный всеми достоинствами русского народного характера и, конечно, многими его недостатками. Последними его язвили много, ставя всякое лыко в строку; первые старались отрицать или принимали с обезубнивающими оговорками. Когда история займется «стариком Сувориным» с должным беспристрастием, по документам его деятельности и правдивым показаниям людей, достойных веры, потому что действительно его знавших, тогда вскроется истина, как мало был понят этот большой человек и как много оклеветан.

Не случайно вышло, что первое свое отроческое устремление к литературе Суворин ознаменовал составлением «Словаря замечательных людей». Тут предчувствие и самовнушение. Одною из характернейших черт Алексея Сергеевича, пронизавшею красным швом всю его жизнь, является именно его любовь к «замечательному человеку» — крупной личности, сильному характеру, яркому таланту — и искание таковых во всех областях русской культуры. Преимущественно же в наиболее родных и милых сердцу самого Суворина — в литературе и театре.

За пятьдесят лет своей литературной жизни я не встречал человека, — а уж в особенности среди издателей и редакторов, — который бы страстнее Алексея Сергеевича любил литературу, чтил литературную профессию и доброжелательствовал *каждому* литератору. Не говорю уже о тех счастливцах, чьи дарования представлялись ему заслуживающими особого внимания и поддержки. Чтобы не слишком распространяться, я воспользуюсь здесь авторитетным пером писателя, который более, чем кто-либо другой в литературе, испытал на себе благотворность свойственной Суворину энтузиастической «влюбленности».

«Этот человек (А.С. Суворин. — [*А.А.*]) относительно меня очень заблуждается, — писал 2 января 1889 года Антон Павлович Чехов своему другу и покровителю, старцу-поэту Алексею Николаевичу Плещееву, — он готов ставить и печатать все, что только мне вздумалось бы написать. У него азартная страсть ко всякого рода талантам, и каждый талант он видит не иначе как только в увеличенном виде. Уве-

ряю Вас, что это так. Если бы его воля, то он построил бы хрустальный дворец и поселил бы в нем всех прозаиков, драматургов, поэтов и актрис».

О роли Суворина в жизни Чехова и развитии его таланта много спорили и еще спорят. Долго держалась «либеральная» тенденция умалять ее. Ревнивая не по разуму, полемика пыталась доказывать, будто Чехов только тогда и вырос в настоящего, великого Чехова, когда «порвал» с «реакционером» Сувориным и, выйдя из-под его влияния и издательской опеки, бросился в объятия новых московских свободолюбивых друзей.

Все это весьма вздорно. Во-первых, Чехов с Сувориным никогда не «порывал», а пребыл в сердечнейшей дружбе до самой своей кончины. Отход от его «Нового времени» отнюдь не был отходом от Суворина[7]. Во-вторых, издательская опека Суворина над Чеховым, выражавшаяся исключительно тем, что Суворин действительно печатал и издавал все, что Чехову угодно было написать, прекратилась опять-таки не по «разрыву», а естественным порядком: как скоро Чехов продал свои сочинения А.Ф. Марксу на условиях, которые Суворину показались непосильными[8]. В-третьих, Чехов, в период московского якобы свободомыслия, решительно ничем — ни на одну йоту — не изменился против Чехова в период «суворинского влияния», якобы реакционного. Напротив: как раз в московском периоде и в лейб-органе московского либерализма «Русской мысли» он напечатал «Мужиков», которые вызвали против него бурю в лагере народников, какой не вызывало ни одно его произведение суворинского периода.

И, наконец, кто внимательно изучил переписку Чехова с Сувориным, тот знает, что если уж взвешивать их идейное взаимоотношение, то гораздо чаще и властнее Чехов влиял на Суворина, чем Суворин на Чехова. «Татьяна Репина», «Ксения и Лжедимитрий», «Вопрос»[9] — все пьесы Алексея Сергеевича и большинство его беллетристических опытов писались при непрерывных совещаниях с Антоном Павловичем и носят явственные следы поправок и изменений, согласных его замечаниям и указаниям. Равно как такой же явственный след оставили советы Суворина на произведениях Чехова, которые все делались ему известными в рукописи или в корректуре еще долгое время после того, как Чехов перестал печататься в «Новом времени».

Есть другая тенденция — обратная: преувеличенно уверять, будто Суворин «создал Чехова». Это тоже неправда. Создавать Чеховых путем редакторско-издательского доброжелательства и покровительства нельзя. Для того, чтобы вырос орел, нужен орленок, а раз орленок имеется налицо, он и в индюшатнике вырастет в орла. Нет никакого сомнения в том, что Чехов — и без Суворина — вырос бы в громадную литературную силу... Но несомненно также и то, что Суворин, быстро угадав в юном Чехове орленка, преклонился пред ним со всем восторгом, на какой только способен был этот несравненный литературный энтузиаст. И с того дня могучая и властная рука Суворина убирала с дороги Чехова едва ли не все камни преткновения и шипы, обычно ранящие ноги молодых писателей.

И орленок рос по-орлиному, а не по-индюшачьи, в такой самостоятельности, свободе и холе, каких не было дано никому из его сверстников. Создал Чехова не Суворин, а сам Чехов, но условия, чтобы Чехов мог себя уверенно создавать, создал, конечно, Суворин. И морально, и материально он — создатель литературной карьеры Чехова. И роль его в этом долгом, стойком, убежденно последовательном процессе воистину прекрасна.

Я взял пример Чехова лишь как наиболее выразительный и яркий. Но ведь его и можно, и должно распространить широчайше. Не знаю, много ли еще остается в живых нас, «нововременцев» формации 80—90-х годов — «конца века»[10]. Я ушел из «Н[ового] вр[емени]» в 1898 году[11] и не знаю его порядков и нравов в XX веке. Но, кто есть жив человек, я уверен, припомнит и подтвердит мои слова. Не было сотрудника, которому «старик Суворин» не старался бы облегчить труд и существование. Вспоминаются три-четыре имени сотрудников, лично ему несимпатичных, даже трудно им переносимых, но — они были литераторы, были даровиты, и этим решилось его отношение к ним, и он их терпел многие годы и, наперекор самому себе, обеспечивал их благополучие. Таких он не приглашал на свои четверги[12]; если бы такой вошел без доклада в его кабинет, — куда вообще-то все ходили без доклада, — то, может быть, старик дико воззрился бы на неожиданного пришельца, с изумленным вопросом на своем бесцеремонном языке:

— Собственно говоря, какого черта вам здесь надо?

Но когда он узнавал, что нелюбимому надо уплатить срочно непосильный долг, либо отправить больную жену в Крым или за границу,

либо внести плату за обучение детей, либо — просто — приспичила очередная житейская нужда, а денег ни гроша, старик не заставлял даже и просить себя, а молча садился к столу и писал записку в контору о выдаче более или менее крупного куша. Считалось, что — в «аванс», который будет потом погашаться вычетами из гонорара или жалованья. Но вычеты или не производились вовсе, или отсрочивались и пересрочивались, а в конце года аванс списывался со счетов.

Так — со всеми. Сотрудник же не только ценный, но и любимый получал — опять-таки без просьб, а как-то само собою, автоматически, — кредит неограниченный. Это уж я по опыту слишком хорошо знаю[13] и вспоминаю — широко, может быть, лучше было бы, если бы немножко поуже. По правде сказать, избаловывал нас Алексей Сергеевич этим безответственным кредитом — из рук вон. Совсем теряли сознание, как это у именитого сотрудника «Нового времени» может не быть денег на очередную потребность или даже прихоть. Работали — что говорить — хорошо, не сидели сложа руки, но тратили еще лучше. Помню, однажды в ночной беседе Алексей Сергеевич вдруг спросил меня:

— Правда это, будто вы в прошлом году заработали двадцать тысяч рублей?

— Да, около того.

— Собственно говоря, черт знает, какие деньжищи, собственно говоря... А ведь, поди, все просвистали и ничего у вас нет?

— Увы, сама истина глаголет вашими устами.

Старик весело уставился на меня:

— Эх вы! А вот у меня так есть!

— Полагаю! — рассмеялся я.

— Да вы что смеетесь? Сколько, по-вашему, у меня денег?

— Не считал, но — предположительно — несколько миллионов.

— Тридцать тысяч.

Теперь уже я на него уставился изумленно. А он, довольный эффектом, даже языком прищелкнул.

— Да, тридцать тысяч, только и всего, собственно говоря. Не верите?

— Помилуйте, Алексей Сергеевич, да, я думаю, через кассу «Нового времени» в одни сутки проходит больше тридцати тысяч.

— Касса «Нового времени» и есть касса «Нового времени» — это вздор, собственно говоря. А вот есть у меня — вон в том шкапу — тридцать тысяч, заработанных и отложенных мною в самом начале дела. Эти мои. И я из них сам никогда ничего не беру и другим никому не дам. Это вот мои. А то все — дерьмо собачье, собственно говоря!

Выдержка «никому не дать», однако, и в этой исключительной кассе ему не совсем-то удавалась. Как ни курьезно, но этот широко щедрый, чтобы не сказать — расточительный, человек настолько любил свое маленькое сбереженьице, что иногда поздно ночью, покончив все редакционные дела и свидания, открывал заветный шкапик, чтобы в уединении полюбоваться своим тощим сокровищем и доставить себе удовольствие ревниво пересчитать его. Однажды за этим интимным занятием застал его опозднившийся в редакции сотрудник Аполлон Николаевич Черман (в беллетристике А. Чермный — автор превосходных морских очерков и рассказов).

— Чего вам?! — изумился Алексей Сергеевич.

Черман принес ему какую-то запоздалую корректуру, но — сам рассказывал — при виде открытого шкапчика и старика в роли «скупого рыцаря» с наличными в руках осенился внезапною блистательною мыслью и смиренно произнес:

— Пришел попросить у вас триста авансом.

Алексей Сергеевич смерил его взглядом недоумелым и негодующим: нашел, мол, время! — пожал плечами; но — молча — отделил от пачки три радужные и подал. Черман поблагодарил и удалился, даже забыв, зачем он в самом деле-то приходил.

Внередакционные литературные вспоможения Алексей Сергеевич сыпал направо и налево, но всегда требовал от вспомогаемых строгого секрета. Благодетельствовал так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Оказывал помощь не только своим литературным противникам и недоброжелателям, но и целым предприятиям, о которых заранее знал, что деньги у него возьмут для того, чтобы против него же повести войну. В пример достаточно привести поддержку им «Нового пути» Мережковского, обнаружившуюся лишь много позже прекращения этого журнала[14]. Литературное дело, затеянное крупным литератором, для Суворина уже само собою оправдывало свое существование и заслуживало сочувствия, независимо от своего направления. Лишь бы имело осмысленную цель.

Не знаю, выстроил ли бы Суворин хрустальный дворец для литераторов, как сулил Антон Чехов, но я уверен, что, будь он министром внутренних дел, первым шагом этого якобы реакционера было бы провести в литературу и журналистику широчайшую свободу печати. Он ненавидел цензуру и цензоров, и «Новое время» было, на моей памяти, едва ли не единственным органом русской большой печати, который не знал той собственной внутренней редакционной цензуры, что составляет великое мертвящее зло всех наших партийных и «направленских» газет и журналов, зло, столь утеснительное, что, право, иной раз недоумеваешь, какая цензура круче вяжет руки, внешняя правительственная или своя внутренняя, доморощенная.

У старика Суворина сотрудник, подписавший под статьей свое ответственное имя, имел право и возможность высказывать свои взгляды и мнения совершенно свободно, не стесняясь уклоном от принятого редакцией курса, ни даже резким с ним расхождением. Это я испытал на себе много раз, в особенности же когда работал в командировках по болгарскому и польскому вопросу. До меня эта область была в руках крутых реакционеров и русификаторов, вроде «Русского странника» (Е.Л. Львова-Кочетова), С.С. Татищева и др. Я, побывав на местах, убедился, что политика эта глубоко ошибочна, и круто перегнул палку в обратную сторону. Мое якобы полонофильство и болгарофильство вызвало бурю в недрах редакции — даже и А.А. Суворин смутился. Но Алексей Сергеевич отстоял мое право на объективную искренность, и статьи мои появлялись в «Новом времени» без отступления хотя бы в едином слове от рукописей.

А, с другой стороны, припоминая редкие случаи, когда он вмешивался в мое писанье запретом или поправками, я не могу не признать, что он всегда был прав.

Я начал работать в «Новом времени» в 1892 году, а в Петербург перебрался из Москвы в 1896-м. В это время газета определенно шла под националистическим девизом «Россия для русских» и вся сотрудническая молодежь, с А.А. Сувориным во главе, состояла из «государственников». Государственником, конечно, был и «старик». Но нередко в нем вспыхивал вдруг ярким огнем радикал 60-х годов, и тогда летели с его уст словечки и фразочки, достойные былого корреспондента герценовского «Колокола», воскресал «Незнакомец» Коршевых «С.-Петербургских ведомостей»[15]. В душе он был гораздо либеральнее

нас, «восьмидесятников»-государственников, вышедших из притуплявшей школы гр. Д.А. Толстого. И когда кто-нибудь из нас уж очень зарывался в усердии равняться направо, старик осаживал: нет, так нельзя. Это сердило, казалось непоследовательностью, даже неискренностью. А в действительности старик просто жалел нас, молодых, рьяных и прямолинейных, жалел опытным умом старого журналиста, памятовавшего из собственного прошлого, как часто литературное утро отвечает за литературный вечер.

— Я напечатаю вашу статью, потому что она ярка, — сказал он мне однажды, — но когда-нибудь вы пожалеете, что ее публиковали.

А в другой раз он выставил мою статью уже из готовой полосы. Я, обозленный, пришел «ругаться», но Суворин возразил мне с большим чувством:

— Вы лучше поблагодарите меня, что я не позволил вам сломить себе шею.

Человек в высшей степени патетический и большой мастер страстного лирического слова, он и в писателях, актерах, художниках искал того же огня, что пылал в его собственной душе. И, не находя, огорчался, сердился, ворчал, негодовал. Да — как!.. В.А. Тихонов, талантливый беллетрист и драматург, страстный театрал, хотел заняться театральною критикою. Чехов, сомневаясь в его способностях к тому, писал ему[16]: «Вы человек рыхлый, чувствительный, уступчивый, наклонный до припадков лени, впечатлительный, а все сии качества не годятся для строгого беспристрастного судьи... Когда Суворин видит плохую пьесу, то он *ненавидит* автора, а мы с вами только раздражаемся и ноем; из сего я заключаю, что Суворин годится в судьи и в гончие, а нас (меня, вас, Щеглова и проч.) природа сработала так, что мы годимся быть только подсудимыми и зайцами. Едина честь луне, едина солнцу»[17].

С малою даровитостью художника Суворин еще мог примириться за страстную любовь к искусству (терпел же он премьершей в своем театре годами такое странное сценическое недоразумение, как Яворская[18]). Но истинною его любовью было искусство, хотя бы и не слишком шлифованное (он, подобно Тургеневу, не очень-то долюбливал Сару Бернар), но проникнутое искренностью и темпераментом: Стрепетова, Заньковецкая, Орленев (его находка), Джованни Грассо, Эрмете Драконе, в те времена еще не ушедший в виртуозность поздней-

ших лет. Театральными богами Суворина были два трагических совершенства: Элеонора Дузе и Томмазо Сальвини.

Другая чеховская характеристика Суворина, близкая к только что приведенной, — в письме к И.Л. Щеглову (18 июля 1888 г.): «Суворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сеттер на охоте за бекасом, т.е. работает чертовским чутьем и всегда горит страстью. Он плохой теоретик, наук не проходил, многого не знает, во всем он самоучка — отсюда его чисто собачья неиспорченность и цельность, отсюда и самостоятельность взгляда. Будучи беден теориями, он поневоле должен был развить в себе то, чем богато наделила его природа, поневоле он развил свой инстинкт до размеров большого ума. Говорить с ним приятно. А когда поймешь его разговорный прием, его искренность, которой нет у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти наслаждением. Ваше “Суворин-шмерц”[19] я отлично понимаю».

Этою болезнью — «Суворин-шмерц» — заболевали все мы, писатели-восьмидесятники, к нему приближавшиеся.

— Суворин вас любит, — сказал мне Чехов в 1895 году, — это хорошо. Слушайте же, он не худой старик. Я люблю с ним вдвоем походить ночью по кабинету. Вы любите?

— Очень, когда он в духе.

— Слушайте же, он всегда в духе!

Характеристика как будто не подходящая для человека, часто проводившего целые дни в мизантропической хандре и подписывавшего угрюмые фельетоны псевдонимом «Тимон Афинский»[20]. Однако Чехов был прав. Сам по себе, по натуре, Суворин был светел и жизнерадостен. Настроение же его всегда складывалось в зависимости от общества, в котором он находился: скучный гость, нудное заседание, плохой спектакль, глупая статья быстро делали его угрюмым брюзгою. Но если на смену приходил поговорить живой, интересный человек ему по душе, он мгновенно просветлялся и веселел, делался говорливым — и пошел шагать по кабинету и водить с собою собеседника в неумолчном блестящем разговоре de omni re scibile[21]... Незабвенные, неповторимые ночи диалогов — в сигарном дыму — до белого утра в окнах!

Повторяю: мне трудно представить себе человека более русского, как в положительных, так в отрицательных чертах характера, чем

А.С. Суворин. А в то же время немного на своем веку встречал я и таких европейских русских: с его чисто западническим самообразованием и самовоспитанием, с его любовью к западной культуре, к западным странам и народам, западному искусству, с энтузиазмом к Италии и Франции.

В одном разговоре по чисто частному вопросу Алексей Сергеевич, недовольный моим упорным отнекиванием, сердито преподнес мне:

— Вы самодур, как все русские.

— Да уж будто все русские самодуры?

— Все! — закричал он. — Все! От Петра Великого до последнего нищего на улице, все мы, все, все — самодуры, собственно говоря. И, пожалуйста, ангел мой, вы о себе иного не воображайте: и вы самодур, и я самодур, и Леля (А.А. Суворин) самодур: все!

Частную свою жизнь Суворин прожил далеко не счастливцем. В молодости его остались жестокие трагедии[22]. Но у него был «счастливый характер» — тот великорусский упругий, всевыносящий характер, что в народе определяется выразительным словцом «легкий». Поэтому пережитые трагедии не отняли у Суворина ни бодрости, ни живучести, ни радостного отношения к жизни. Способность наслаждаться «сладкою привычкою к жизни»[23] не изменила ему до смертного конца, хотя в последние два года он был лишен самого любимого своего занятия: говорить. А мысль жила и работала, и не угасал интерес к недоступным уже литературе и искусству, критический вкус не слабел. Прочитал толстовского «Хаджи Мурата» и написал на аспидной доске[24]:

— Хорошо, и все же не «Капитанская дочка»!

В каких бы моментах ни вспомнился мне «старик Суворин» — этот кипучий, газетный, злободневный человек, казалось бы зубы съевший на житейской практике, неугомонный создатель огромных практических предприятий, необычайный умейник уживаться с нужными людьми, угадывать нужные моменты и проч., и проч., — тем не менее он в конце концов представляется мне — и прежде всего, и после всего — типическим русским мечтателем. В качестве шестидесятника он был воспитанником материалистов, однако таил где-то на дне души мистическую жажду идеалистических и религиозных позывов, которых даже конфузился, когда они прорывались слишком заметно. Он любил Достоевского и был, по существу, достоевцем. Отсюда и его редкостная чувствительность, с нервической готовностью расплакаться, как

дитя, от волнующего разговора, трогательного зрелища или чтения, от сильной эмоции восторга, жалости или негодования.

Да, мечтатель и, пожалуй, даже Альнаскар. Ему лишь, в отличие от подлинного Альнаскара, везло необыкновенное счастье-уменье не только строить воздушные замки, очередные планы которых вплывали в его беспокойную фантазию, но и осуществлять их. Однако какого-то главного своего замка, ради которого он на свет родился и жил, он так-таки и не выстроил. Больше того: может быть, даже и плана его не видал и себе не представлял. И в этом-то было его смутное, беспокойное горе, обуревавшее его налетами мизантропии и настроениями Тимона Афинского. И этим обуславливалось его неустойчивое метание от знания к знанию, из одного идейного круга в другой, от взгляда к взгляду, от человека к человеку, от предприятия к предприятию. Это был человек, созданный из мечты — Дон Жуан мечты, — искатель, творец и ловец неугомонною мечтою чего-то, вечно вокруг него витавшего, вечно его манившего, вечно дразнящего, но вечно же неуловимого и так — неуловленным — и оставшегося. Мечтательность — свойство молодости и вместе с тем рецепт ее сохранения. Потому-то и не старился «старик Суворин», и — я уверен — живи он сейчас, то и столетним оказался бы моложе всех нас.

А.И. СУВОРИНА

Вечная память Анне Ивановне Сувориной!

Почти на четверть века пережила она своего знаменитого супруга, Алексея Сергеевича, и ушла из мира видимого в невидимый старушкою, должно быть, весьма преклонного возраста.

В последний раз я видел ее шестнадцать лет тому назад в Петрограде, под большевицким игом, уже очень в летах и в горькой нужде. Ограбленная дочиста большевиками, продавала единственную ценную вещь, которая оставалась еще у нее от былого богатства и великолепия: большой портрет Алексея Сергеевича работы К.Е. Маковского. И продать было трудно. Денег на художественные приобретения уже не было в голодавшем «красном Петрограде» ни у кого, кроме большевицких

магнатов; а кто, пожалуй, и не прочь был бы заплатить, боялись: неблагонадежная покупка! Портрет основателя «Нового времени», реакционного публициста! За этакое символическое благоприобретение жди, рабе Божий, отвода на Гороховую, 2, с Гороховой отвоза на Шпалерную[1], а там — если счастлив твой Бог, то выпустят, продержав этак месяцев пять-шесть на тюремной голодухе; а нет тебе доли, то и поставят к стенке. Не знаю, удалось ли Анне Ивановне сбыть портрет. Мои усердные усилия помочь ей в том не увенчались успехом.

До этой поздней петроградской встречи я не видал Анну Ивановну лет двадцать и нашел ее столь изменившеюся, что никак не узнал бы, если бы — будучи у нее в квартире — не знал наверное, что это она. Состарилась не по возрасту. Еще сохранила некоторые остатки природной темпераментной живости в речи и движениях, но от былой красоты ее и следа не оставалось. Даже знаменитые голубые глаза ее выцвели и жалость внушали тревожным выражением, накопившимся в привычке к огорчениям и страхам. А уж и глаза же были! Н.И. Кравченко, в 90-х годах придворный живописец и рисовальщик «Нового времени», не угодил Анне Ивановне портретом. Она перестала позировать, работа осталась неконченною, но глаза художник успел написать. Портрет же превратил в этюд «Дамы с голубыми глазами», сохранивший некоторое отдаленное сходство с Анной Ивановной. Так прелестны были глаза, что я, хотя совсем не собиратель картин, соблазнился и купил у Кравченко это большое полотно. И долго потом поддразнивали меня в суворинском кругу, что тут дело неспроста: из Москвы в Питер переселился и в хозяйку влюбился. Портрет долго украшал мой кабинет, но во время моей минусинской ссылки жуликоватый приятель, которому на хранение оставили мы с женою свои ценные вещи, подтибрил в числе их также и голубоглазую красавицу и — черт его знает, куда он ее, бедняжку, спустил.

И глаз не стало, и опухла всем лицом, и цвет его был неприятный — бледный, но с багровым подцветом: свидетельство, что старость принесла бедной Анне Ивановне грызущие изъяны в печени и почках. Произвела она на меня впечатление тяжкое — женщины, которая бодрится, тайно сознавая, что жить ей остается очень короткий срок. Однако вот умудрилась просуществовать после того еще шестнадцать лет. И каких лет!..

Может быть, впрочем, в промежутке этом она и поправлялась временно, как многие в первое время эмиграции, оживая от петроградской подсоветской нужды, пока не приходила с петлей-удавкой новая нужда — эмигрантская. Этой второй нужды бедная Анна Ивановна выпила полную чашу. С горьким чувством читал я в газетах, что она — гордая, самолюбивая, избалованная почетом — должна была, стоя на смертном пороге, взывать к общественной помощи.

В свое нововременское семилетие, на склоне 90-х годов, я знал Анну Ивановну дамою уже за тридцать, с детьми-подростками: сын, Борис Алексеевич, лицеист, дочь, Анастасия Алексеевна, почти на выданье. Но их молодая мамаша была еще очаровательна. На знаменитых суворинских «четвергах» во дворце «Нового времени», Эртелев, 6, собирались вокруг нее, сказать стихом Майкова, «послы, софисты и архонты, и артисты»[2] — и все пред нею преклонялись, все окружали ее почтительно влюбленным обожанием.

Каким пленительным существом должна была она быть в ранней юности! По возрасту она относится к тому яркому поколению русского женства, что в девушках обозначилось историческим именем Марии Башкирцевой. Из остепенившихся в браке и семье Башкирцевых выходили — конечно, при условии житейского довольства — прелестные интеллигентные дамы: жизнерадостные, остроумные, но несколько скептические и насмешливые, ибо — под внешнею беспечностью — с большою своею внутренней жизнью, открытою для очень немногих. Многим же позволительно было только догадываться о ней по обычной таким женщинам богомольной религиозности, как будто неожиданной в подобном резвом светском существе, а между тем — бывало у иных — до экстазов. К этому женскому типу весьма цельно принадлежала Анна Ивановна Суворина, веселая и богомольная, добрая, как хлеб, и вспыльчивая, как порох, благодушная и капризная.

Прибавить надо, что была она урожденная Орфанова — из рода талантливого, темпераментного и беспокойного: родная сестра Михаила Ивановича Орфанова, литератора-народника, больше известного под своим псевдонимом «Мишла», человека оригинальнейшего. Славен он был не столько своим писательством, в коем был возмутительно ленив: оставил по себе всего одну книжку (правда, очень талантливую)[3], сколько беспечно богемным образом жизни: продолжал в 80-х годах традиции Аполлона Григорьева, Павла Якушкина и других идеалистов-«вагабундов»[4] годов 50—60-х.

Между братом и сестрою не было физического сходства, да и культура их и нравы были совершенно разные. А все-таки и в блестящей, изящной, светской, даже утонченной Анне Ивановне сказывалась порою тревожная, порывистая орфановская кровь.

Политическое озлобление против Алексея Сергеевича Суворина как публициста погребало молчанием его опыты в художественной литературе, за исключением драмы «Татьяна Репина», победившей критическое предубеждение настолько, что не сходила она с театрального репертуара тридцать лет, да не сошла бы и дальше, если бы вообще всякие репертуары дореволюционного театра не кончились. Но романы Суворина глохли в незаслуженном отвержении[5], а теперь уже и совершенно забыты — напрасно и несправедливо, потому что и психологическим содержанием были они богаты, и написаны пером большого мастера, знатока русской художественной речи, да еще и в постоянном общении с другом-советчиком Антоном Чеховым. В экзальтированных женских типах суворинской беллетристики, которые так нравились Чехову, немало отголосков Анны Ивановны. Да и сам Чехов знал и любил писать этот тип, симпатично взбалмошный и ласково своенравный. Многим ли известно, что «Чайка» должна была быть посвящена Анне Ивановне Сувориной?..

«Я не забыл о том, что обещал Анне Ивановне посвятить “Чайку”, — писал Чехов Суворину 4 января 1897 года из Мелихова, — но воздержался от посвящения умышленно. С этой пьесою у меня связано одно из неприятнейших воспоминаний, она отвратительна мне, и посвящение ее не вяжется ни с чем и представляется мне просто бестактным».

Между ними — Анной Ивановной и Антоном Павловичем Чеховым — была долгая, хорошая дружба в кокетливой форме шутливой вражды.

Пишет Чехов «Дуэль». Недоволен.

«В моей повести нет движения, и это меня пугает. Я боюсь, что ее трудно будет дочитать до середины, не говоря уж о конце. Как бы то ни было, я все-таки кончу ее. Анне Ивановне поднесу веленевый экземпляр для чтения в купальне. Я желал бы, чтобы ее что-нибудь в воде укусило и чтобы она вышла из купальни рыдающей». (К А.С. Суворину 25 февраля 1891 г. из Москвы.)

В первом по возвращении с Сахалина письме к А.С. Суворину:

«Когда я увижу вас и Анну Ивановну? Что Анна Ивановна? Напишите подробнее обо всем, ибо я едва ли попаду к вам раньше праздников. Насте и Боре поклон; в доказательство, что я был на каторге, я, когда приеду к вам, брошусь на них с ножом и закричу диким голосом. Анне Ивановне я подожгу ее комнату, а бедному прокурору Косте[6] буду проповедовать возмутительные идеи.

Крепко обнимаю вас и весь ваш дом, за исключением Жителя и Буренина, которым прошу только кланяться и которых давно бы уже пора сослать на Сахалин» (Москва, 9 декабря 1890 г.).

Анна Ивановна жалуется на скуку. Чехов насмешливо рекомендует ей компанию самых скучных посетителей ее «четвергов»:

«Поклон цензору Матвееву. Я Анне Ивановне предлагал пригласить его и Ивана Павловича Казанского в Феодосию на все лето. Они такие весельчаки!»

И еще раз о тех же:

«Я пишу водевиль. Действующие лица: Анна Ивановна, Айвазовский, генерал Богданович, Иван Павлович Казанский и цензор Макаров» (Алексин, 10 мая 1891 г.).

Но вот — серьезнее. Когда Чехов нанял под дачу большой барский дом в Богимове близ Алексина, то на первых порах был от него в восторге и расписал свой новообретенный дворец самыми привлекательными красками. Так что Суворины, придумывавшие в это время, где бы им, весьма непоседливым дачникам, свить новое очередное летнее гнездо, даже взревновали к чеховской удаче. А Чехов оправдывался:

«Анна Ивановна сказала: "...вот ведь не догадался предложить эту дачу"... Анна Ивановна должна за меня вечно Бога молить. Когда я нанимал большой дом, то думал о вас больше, чем о себе. Домина громадный, парк великолепный, река, пруд, и для вас как раз бы подошло, но телеграфировать вам остановили меня отсутствие мебели и многое другое, что длинно было бы перечислять. Помещения так много, что поместились бы и вы, и мы: вы в большом доме, а мы в едином из флигелей; но где бы вы взяли мебели и экипаж? Анна Ивановна, приехав и увидев обстановку, обругала бы меня мужиком и больше ничего. Если хотите, то дачу эту можно будет приготовить вам к будущему году. Из нее можно сделать рай. Фортепьян есть, можете себе представить. И биллиард есть.

Кстати, прочтите врагу моему Анне Ивановне письмо Григоровича: пусть у нее душа порадуется. “Чехов принадлежит к поколению, которое заметно стало отклоняться от запада и ближе присматриваться к своему...”

“Венеция и Флоренция ничего больше, как скучные города для человека даже умного...” Мерси, но я не понимаю таких умных людей. Надо быть быком, чтобы, приехав первый раз в Венецию или во Флоренцию, стать “отклоняться от запада”. В этом отклонении мало ума».

Известно, что Чехов весьма дорожил своим званием врача и не было для него большего удовольствия, как полечить; нельзя было больше угодить ему, как спросив у него медицинского совета. Старик Суворин хотя никогда у него не лечился, но переписка их изобилует пространными беседами о здоровье, в которых Чехов усердствовал con amore[7]. Для такого мнимого больного, как могучий старик Суворин, врач был самый подходящий, но Анна Ивановна не хотела признавать медика в беллетристе и врачебное искусство его вышучивала.

«Если бы вы, — пишет Чехов Суворину из Мелихова 27 октября 1892 года, — не были похожи на Анну Ивановну и верили в мой медицинский гений, то я прислал бы вам хороший рецепт — пилюли от запоров. Но вы в этом деле считаете меня “мужичонкой” и даже не хитрым. Аллах вам судья!»

Чехов, в отместку, шутил над дамскою рассеянностью Анны Ивановны. Она пишет Чехову в Ниццу, адресуя — «Nico, Антону Павловичу», — позабыв дописать фамилию. Письмо тем не менее дошло. Чехов — «сел писать ей ответ в виде драматического диалога, но не кончил: что-то помешало. Пожалуйста, Алексей Сергеевич, передайте ей поклон и мой привет от всей души» (18 декабря 1897 г.).

И в другой раз: «Хотел было написать Анне Ивановне в ответ на ее письмо стихи, но ничего не вышло».

Добрыми пожеланиями и приветами Анне Ивановне заключаются едва ли не все письма Антона Павловича к старику Суворину, обыкновенно в тройственном соединении имен с обоими детьми: «Анне Ивановне, Насте и Боре нижайший поклон и привет из глубины сердца» (27 января 1898 г. Ницца). «Анне Ивановне и всем вашим тысячи сердечных пожеланий». «Передайте Насте, что если бы я был на спектакле (в зале Павловой), то непременно поднес бы ей корзину цветов» (1 апреля 1897 г.). «Вы ничего мне не пишете об Анне Ива-

новне и о Насте. Что они поделывают? Как поживают? С вами ли Боря? Пожалуйста, поклонитесь им и скажите, что я вспоминаю о них каждый день» (21 июня 1897 г. Мелихово).

И так далее — всегда все в том же сердечном, почти родственном тоне. Иногда добавляются имена мадмуазель Эмили, гувернантки Анастасии Алексеевны, также большого друга Чехова, и Евгении Константиновны, супруги Алексея Алексеевича Суворина.

По Петербургу ходит инфлюэнца. Забралась она и в суворинский дом. Чехов откликается:

«Что Буренин болен, это не беда: страдания ведут к совершенству. Но Настю бедную очень жаль. Ее гонит в рост, она скоро будет с вас ростом: комплекция у нее не из важных: вероятно, будет часто хворать, пока не окрепнет и не перевалит за 20 лет. Если у нее только малокровие, то почему же 39 гр. Если инфлюэнца, то не лучше ли ехать в деревню, а не за границу, где тоже инфлюэнца. Не верю я в целебную силу заграничных поездок. Вагонная качка, подлые табльдоты, отсутствие печей, твердая почва под ногами и магазинная суета — все это, по-моему, не вредно только здоровому. Извините, что я вмешиваюсь, но Насте в Феодосию лучше бы».

«Вы уже давно писали мне, что у Анны Ивановны болит горло. Самое лучшее лечение при болезни горла — это иметь мужество не лечиться» (29 декабря 1895 г. из Мелихова).

В биографиях Чехова и воспоминаниях о нем обыкновенно отмечается только дружба Антона Павловича с самим стариком Сувориным — литературная и житейская. Но это неверно. Он был тесно связан со всею суворинскою семьею. И в ней тоже с величайшим вниманием и любовью следили за его успехами, тревожились неудачами.

«Черный монах» встревожил Сувориных за Чехова: в мрачности повести почудилась им субъективная исповедь самого автора. Чехов отвечал:

«Кажется, я психически здоров. Правда, нет особенного желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто, вероятно, переходное и житейски естественное. Во всяком разе, если автор изображает психически больного, то это не значит, что он сам болен. “Черного монаха” я писал без всяких унылых мыслей, по холодном размышлении. Просто пришла охота изобразить манию величия. Монах

же, несущийся через поле, приснился мне, и я, проснувшись утром, рассказал о нем брату Мише. Стало быть, скажите Анне Ивановне, что бедный Антон Павлович, слава Богу, еще не сошел с ума, но за ужином много ест, а потому и видит во сне монахов».

Известно, как тяжело принял Чехов провал своей «Чайки» на сцене Александринского театра труппою, закоснелою в «традициях» и не сумевшею или не пожелавшею вникнуть в новый дух чеховского театра. (Знаменитый комик Варламов уверял, что пьеса Чехова — это: «гренти-бренти, Антон ведет козу на ленте»). В письме Чехова к Суворину (22 октября 1896 г. из Мелихова), по поводу чрезмерных утешений в провале «Чайки», Антон Павлович пишет: «Сестра (Марья Павловна) поспешила из Петербурга домой, вероятно, думала, что я повешусь. Она в восторге от вас и от Анны Ивановны, и я рад тому несказанно, потому что вашу семью люблю, как свою».

Еще более выразительное признание в позднейшем письме от 16 ноября 1900 г.:

«Из газет я узнал, что Настя вышла замуж. Поздравляю вас, Анну Ивановну и Настю, желаю от души от чистого сердца счастья. К вашей семье я привязан почти как к своей, и в искренность моего пожелания вы можете верить».

А ведь тогда литературно-деловая связь между Сувориным и Чеховым уже порвалась и Антон Павлович, совсем отойдя от «Нового времени», был в объятиях «Русской мысли»[8].

Бывая в Петербурге, Чехов обыкновенно стоял у Сувориных. Заботами Анны Ивановны ему была устроена славная квартирка-гарсоньерка[9] в дворовом флигеле, на третьем этаже, — превосходные спальня и приемная, прихожая и кухня. Потом она перешла ко мне, и я прожил на ней почти целый 1897 год с великим комфортом, но шуточно попрекаемый строгою домовладелицею:

— Денег за квартиру не платит, а швейцар плачет: домой возвращается не раньше пятого часа утра и народа к нему ходит — видимо-невидимо!

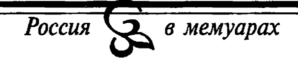
В этом моем году приезжая, Чехов останавливался в большом суворинском доме в семейной квартире хозяев. Видались мы с ним довольно часто, но все на минутки. А подолгу, по-московски, только в некоторые суворинские «четверги», оба спасаясь от их тягостной,

однообразно повторной из недели в неделю скуки. Насколько увлекательно интересно бывало общение с Сувориными в их тесном семейном кругу, настолько же скучны были их парадные приемы с генералами, военными всех видов оружия и статскими — от бюрократии, от дипломатии и от литературы. Достопочтенных и знаменитых собиралось весьма значительное количество, но однажды повидать это сонмище было интересно, дважды — куда ни шло, ну а в третий раз, пожалуй, уже только в наказание за грехи. Чехов высчитал, что постоянные почетные гости суворинских «четвергов» слагают по возрасту солидную сумму в тысячу лет. Каждый из этих именитых старцев в отдельности был собеседником весьма замечательным, но, по совокупности, разводили они скуку зеленую, которую выдерживать долго могла только крутившаяся вокруг них искательная молодежь карьерного типа — Молчалины разных ведомств и профессий при соответственных Фамусовых. Молодежь настоящая, — вольнолюбивая, резвая, самостоятельная, товарищи Бориса и подруги Насти (Чехов звал ее «Настюшей» и «Ах, Настасья ты, Настасья, отворяй-ка ворота!»), — быстро сбегала от этого кладбища живых покойников и образовывала свои кружки, в которые включаться людям постарше было рискованно: того гляди, попадешь в Павлики Дольские из повести Апухтина и услышишь, как поют про «кого-то» забавную таинственную песенку:

А Мельхиседек
Отличный человек!..[10]

И все юные кругом хохочут невесть чему, а тебе одному почему-то нисколько не смешно. Так даже и с общим любимцем, Антоном Павловичем, бывало. Однажды суворинская молодежь насовала ему в карманы таких дразнящих записочек, что он даже по-латыни отшучивался: «Utiman lupus vos devoret!» («Ах, волк вас заешь!»).

По-моему, в четверговом царстве скуки скучнее всех было самим хозяевам, Алексею Сергеевичу с Анною Ивановною, таким живым, темпераментным, разнообразным, естественным. Но оба они любили почет и были податливы, в особенности Анна Ивановна, на лесть. А ее разливались потоки!.. Ну, что же делать? Слаб человек. За большое удовольствие не прочь платить и не малыми неприятностями. Отсюда — терпимость к «таким весельчакам», как генерал Богданович, Казанский и цензор Матвеев.



УКРАИНСКАЯ ДУЗЕ

Прочитав недавно в газетах о кончине М.К. Заньковецкой, я едва поверил своим глазам: как? только теперь?

Вполне был уверен, что ее давным-давно нет на свете. Ведь даже пред потопом Великой войны она была как бы «историческим воспоминанием» — именем в ореоле летописной славы, но уже без живого лика.

Заньковецкая для Украины — артистка и того же богатырского века, и того же высокого уровня, что в Италии Элеонора Дузе, в России Ермолова, в Польше Елена Модржеевская: предельная высокая ступень, на которую поднялось драматическое одарение и художество народности. Украинская сцена всегда была очень бедна репертуаром, но огромно богата актерскими силами. Однако ни одна из них не достигала высоты и могущества Заньковецкой.

Меня просто изумляет, что кончина ее не вызвала всеукраинского надгробного рыдания. Если художество в состоянии содействовать росту и укреплению национальной идеи, то кто же более Заньковецкой сделал для выяснения в глазах русского общества женской украинской души? Кто убедительнее учил чувствовать и любить поэзию, грусть и юмор Украины? Заньковецкая в украинском театре — такая же непреложная величина и духовная власть, как Тарас Шевченко в украинской поэзии. Странно, непостижимо странно, как это украинское общество сперва допустило Заньковецкую впасть в такое глубокое забвение, что она как бы умерла заживо, а теперь, когда ее в самом деле не стало, оно «из равнодушных уст слышит смерти весть и равнодушно ей внимает»[1].

Заньковецкая принадлежала к малому, очень малому числу актрис истинно великой, натуральной одаренности: была вся — «нутро». Из русских великих актрис она схожее всех с Полиной Антиповной Стрепетовой, «Мочаловым в юбке», гениальною в порывах вдохновения, несносною, когда вдохновение не приходило.

Но, чтобы восхищаться Стрепетовой, надо было сперва победить предубеждение, чтобы не сказать — антипатию, к ее злополучной наружности: и лицом некрасива (только глаза могущественно хороши), и кривобока, сутуловата, чуть не горбата, — в движениях неуклюжа, —

узкий, угловатый, связанный, как у большинства русских актрис, жест. Все это забывалось, пока Стрепетова, в жару творчества, вся пылала, неотразимо передавая свое пламя в зрительный зал, но убийственно для нее выступало вперед, как скоро она угасала. Великая художница заслонялась некрасивой женщиной.

Заньковецкая в этом отношении была несравненно счастливее. Красавицей назвать ее было нельзя, но ее чрезвычайная привлекательность, симпатичность, природная грация сразу, с первого ее появления на сцене, тянули к ней сердца и подкупали в ее пользу. Поэтому не было такого резкого контраста между ее драматическими подъемами, никак не слабейшими стрепетовских, и минутами нервного упадка.

И в них ведь вы продолжали видеть то же грациозное явление, то же прелестное лицо, те же грустно влекущие глаза; слышать тот же очаровательный голос, равного которому по красоте не было на русских сценах. Разве — звон серебряной струны — голос Коммиссаржевской? Про обеих можно сказать словами Лира о Корделии:

У ней был нежный, милый, тихий голос, —
Большая прелесть в женщине![2]

Но голосовые средства Заньковецкой были богаче и более способны к разнообразию: главным очарованием артистки был певучий лиризм, но в диапазоне ее укладывались с совершенною свободою интонации, — по всей скале[3] драматических требований — от самого высокого трагизма до веселых бытовых тонов народного водевиля.

Подобно Стрепетовой, Заньковецкая была лишена «школы». Пожалуй, даже решительнее, чем Стрепетова, потому что последняя, в очень ранней молодости, стала на работу в лучших провинциальных труппах, где имела и время, и возможность кое-чему подучиться, затем вышла замуж за такого мастера и учителя сцены, как М.И. Писарев, с которым хотя и разошлась впоследствии, однако он успел иметь на нее художественно-образовательное влияние, так что на Александринскую сцену она пришла уже хотя и без «школы», однако с большим практическим театральным опытом. А в пожилых годах даже и сама дерзала преподавать драматическое искусство.

Но Заньковецкой взять «школы» было решительно неоткуда. По тогдашней молодости малороссийского театра, у кого могла она учиться? Прекрасных артистов имелось немало (Кропивницкий, Садовский

и др.), но они сами были только «натура», и весь молодой театр их строился на нутряном натурализме. Вместо того чтобы принять чью-нибудь «школу», Заньковецкая сама должна была «школу» создать; выработать приемы, установить традиции и т.д. Все дальнейшие более или менее значительные малороссийские актрисы — фотографии, сколка и списка с Заньковецкой.

Если отсутствие «школы» в Заньковецкой не так бросалось в глаза, как в Стрепетовой, тому причиною, во-первых, опять-таки ее природное изящество; а во-вторых, однообразие ее бытового репертуара, в котором она не выходила из «плахты и запаски»[4]. Сегодня Оксана, завтра Пидорка, послезавтра Галя или Маруся, Наталка, Тетяна — все один и тот же бытовой тип, только в разном психологическом освещении.

Роковая ограниченность украинского репертуара замкнула талант Заньковецкой в заколдованный круг. Было ей в нем мучительно тесно, а выйти некуда. Страстный поклонник Заньковецкой А.С. Суворин, писавший о ней в ту пору ее петербургских гастролей не статьи, а поэмы в прозе[5], мечтал о переходе ее на русскую сцену, обещая употребить все свое влияние, чтобы она заняла достойное положение в Александринском театре. Ему удалось было победить ее нерешительность. Она принялась готовить Катерину в «Грозе» Островского, выбранную для нее Сувориным, — роль как раз по мерке ее таланта — и в характере и в силе. И, однако, ничего из этого не вышло.

— Почему, Алексей Сергеевич? — спросил я как-то раз. — Не умела, не справилась с Катериной?

— Ну, что вы, собственно говоря? Как бы она не справилась? Разве могла она не справиться, собственно говоря? Если бы возможно было показать ее Катериной, все наши знаменитые Катерины должны были бы удавиться от зависти, собственно говоря... Но невозможно, немыслимо!

— В чем же дело?

— Язык, собственно говоря...

— То есть?

— Вы видели Савину в водевиле «Пациентка», как она изображает приезжую из Малороссии помещицу-хохлушку?[6] Помните ее говор?

— Помню. Ужасно смешно.

— Так вот представьте себе, что савинская хохлуша читает волжанку Катерину: это и будет Заньковецкая, собственно говоря. Уж я ли не высоко ценю ее великое дарование?.. А когда она читала мне роль, думал, что подавлюсь смехом. И чем драматичнее, тем смешнее, собственно говоря.

— Однако в жизни она говорит по-русски чисто.

— То в жизни, а то на сцене. Мы с вами чистокровные русаки: вы москвич, я воронежский, знаем свой язык, собственно говоря. А переставьте-ка нас сейчас беседовать из кабинета на сцену — выйдет для публики — зажми уши и беги вон, собственно говоря. Покойный Юрьев Сергей Андреевич, бывая в Петербурге, не хотел смотреть Островского в Александринском театре. «Помилуйте, — жаловался, — ваши актеры берутся играть московских купцов, а поголовно "чтокают" — так и щелкают в ухо: "что, что, что" — хоть бы один обмолвился, как следует, по-московски "што"». Вот как строго ухо публики. Хороша будет перед нею Катерина Кабанова, у которой в речи сколько «что», столько «шо»!

— Да ведь от подобных недостатков легко отучиться. Мало ли у нас хороших актрис из малороссиянок, полек, евреек.

— Много. Только не из таких, которые двадцать лет играли изо дня в день «Наталку-Полтавку», «Назара Стодолю» и «Ой, не ходи, Грицю, та на вечерницю»[7]. Это — прививка неодолимая. Каждый актер должен играть только на своем родном языке, собственно говоря. Или на том, с которым сроднился с детства, как со своим.

Когда я впервые видел Заньковецкую, меня поразило сходство многих приемов ее с приемами Элеоноры Дузе, хотя Дузе она — тогда, по крайней мере, — не видывала, значит, дошла собственным умом и вдохновением. В особенности — в смелости драматических пауз и уменье пластически и мимически заполнять их.

Надо, впрочем, заметить, что в малороссийском театре драматическая пауза вообще разрабатывалась очень усердно и внимательно, что я приписываю плохим текстам мелодрам, из коих почти сплошь состоял малороссийский репертуар.

Схемы действия сильные, страстные, душераздирательные, а диалог — в передаче их — слабый, наивный. Чтобы он доходил до публики, со стороны актера требовалась большая помощь — толкующее внушение мимикой, жестом, пластикой. Пьесы, написанные на темы

украинских песен и думок, — а таких было немало,— сплошь и рядом переходили в пантомиму, родня драму с балетом.

Публика это любила. Лесков рассказывает, как в какой-то малороссийской мелодраме постигнутая ужасными утратами семья узнает о своем несчастии. Жена взвыла. Но муж хватает ее за руку и с силою бросает на пол:

— Мовчи, бо скорбь велыка!

Театр замер. Длинная пауза — и в ней чей-то голос с райка, восторженный и плачущий:

— Эге! це вам не ваш Шекспыр![8]

Вот эта способность «мовчать, бо скорбь велыка» была развита Заньковецкою до совершенства. Благодаря глубокому чувству, которое она с наивною искренностью вкладывала в своих тоскующих Марусь, Оксан и Олень, эти трафаретные «дивчины» в самом деле возвышались до трогательного соперничества с Офелией, Корделией, Дездемоной, Джульеттой... Хотя как жаль, что судьба, так узко ограничившая для Заньковецкой круг творчества, не дала ей возможности испробовать власть своего гибкого гения на подлинных Офелиях и Дездемонах!

Лично я Заньковецкую едва-едва знал. Сколько помню, Суворин говорил о ней, что женщина интересная, но не легкого характера, потому что очень нервная, слабого здоровья. Однако из породы двужильных актрис. То есть — перед спектаклем умирает, в антрактах спектакля умирает, после спектакля умирает, но чтобы из-за своих смертей отменить спектакль — ни-ни-ни! И этак — изо дня в день! Замужем Заньковецкая в то время была, помнится, за Садовским, тоже великолепным украинским актером на характерные роли: не смешивайте его с знаменитыми однофамильцами Садовскими московского Малого театра!

Частная жизнь Заньковецкой мне совершенно неизвестна. Не знаю и — когда, как и почему великая артистка ушла в нее, покинув театр; и почему вдохновительницу и почти что создательницу украинской драмы забыли так скоро и неблагодарно[9]. Светлый образ ее всплыл в моей памяти из далеких-далеких дней, благодаря случайно прочитанной некрологической заметке. Кто любит искусство, пусть не пожалеет в своем художественном поминанье странички для имени и памяти «украинской Дузе».

ВЫМЕРШИЙ ТЕАТР

Жутко для меня, москвича-восьмидесятника, прозвучало известие о смерти Александра Ивановича Сумбатова-Южина.

Откровенно скажу: не столько потому, что именно он умер. В этом — жаль, конечно, что выбыл из числа живых крупный артист, успешный драматург, милый человек, десятки лет мне знакомый — всегда в наилучших отношениях. Но ему было 70 лет, он уже два года болел. Что же жуткого в том, что умирает семидесятилетний больной старик? Тут — вздох, и:

— Sit tibi terra levis![1] Все там будем, только не в одно время!

И тысяча других таких же философических афоризмов, которыми маскирует жизнелюбие человеческое свой страх перед смертью. Пошловато, да ведь умнее-то на сей случай никто ничего не выдумал с Адама до нынешних дней.

Нет, жутко мне стало от сознания: живу я на свете не так уж чрезмерно много лет, однако вот на моей памяти *уже вторично вымер московский Малый театр*!

Когда меня, девятилетним мальчиком, родители привезли из глухой провинции в Москву, чтобы отдать в гимназию, моим первым большим уличным впечатлением оказалась пышная похоронная процессия, изумившая нас, провинциалов, тем, что похороны были штатские, а играл оркестр — и притом не военный, а струнный. Это хоронили Василия Игнатьевича Живокини, знаменитого комика-буфф[2], лет пятьдесят бывшего одним из надежнейших столпов «Дома Щепкина», как в скором времени стали называть Малый театр. Тогда он был еще связан больше с именами Островского и Прова Садовского.

М.С. Щепкин умер лет за пять, за шесть до того[3]. Младшие его товарищи-сотрудники были уже стары и на очереди вымирания. Лет одиннадцати-двенадцати я успел еще видеть Прова Садовского в роли Ахова («Не все коту масленица» Островского)[4]. Должно быть, было очень хорошо, потому что на всю жизнь сохранилось в моей *зрительной* памяти впечатление старика, грузно сидящего в глубоких креслах, а перед ним молодой человек с усиками стрелкой (Живокини-младший, сын Василия Игнатьевича, очень плохой актер) машет руками, восклицая:

— Дяденька, коль скоро я пришел...

— А коль скоро ты пришел, толь скоро ты уйдешь, — возражает старик, хладнокровно вертя большим пальцем вокруг большого пальца сложенных на пузе рук. И голос помню.

Из знаменитой семьи Васильевых[5], быстро вымиравшей, я помню — и то видел только однажды — лишь Екатерину (Николаевну?) в «Злобе дня» Потехина. Она играла мать — и уже слабо. В амплуа grande dame[6] уже сменяла ее Н.М. Медведева, только что оттесненная созревшею, едва тридцатилетнею Г.Н. Федотовою с первых ролей. Зато она быстро отомстила победительнице тем, что в 1869 году нашла в театральном училище неуклюжую девочку-волчонка, кордебалетчицу «у воды», которой в скором времени суждено было переставить на второй план Г.Н. Федотову, ибо находку эту звали — Марья Николаевна Ермолова. Позже репертуар Васильевой перешел к Н.А. Никулиной, хотя «русская Ришамбер» и с основным своим амплуа ingénue comique[7] не расставалась чуть не до шестидесяти лет, — e sempre bene[8]. Дочь Екатерины Васильевой, Надежда Сергеевна, была смолоду слабая актриса. Ее вскоре взяли в Петербург, где она выигралась в известность.

С.В. Шумского я видел много и уже вполне сознательным юным зрителем, так что его роли для меня отчетливое воспоминание. В особенности запомнился он мне как Полоний в «Гамлете» и приказным в «Бедной невесте»[9]. Несчастен был для него этот второй спектакль: дебютировала и жестоко провалилась (в роли Марьи Андреевны) его дочь и ученица, на которую он, с отцовским ослеплением, возлагал великие надежды[10]. Вышколена-то она была превосходно, но без малейшего темперамента, а еще лицом походила на отца, а он, если бы не выразительные глаза, был бы очень нехорош собою. Вскоре после того Шумский умер. Говорили в Москве, будто это горе дочерней неудачи сильно потрясло его уже надорванное здоровье и приблизило старика к могиле.

Шумский был замечательный, действительно первоклассный артист. Впоследствии мне сильно напоминал его Эрнст Поссарт, имевший, однако, пред Шумским огромные преимущества превосходного голоса и красивого лица или, вернее, уменья казаться красивым.

В течение не более как десяти лет сошли со сцены в могилу Н.М. Никифоров (король «комических лакеев»), С.П. Акимова (самая смешная буффонша, какую я когда-либо видал, по прозванию «Жи-

вокини в юбке»), И.В. Самарин (последний «большой барин» московской сцены, создатель своего — отличного от Щепкина — Фамусова, которого впоследствии старались возможно точно воспроизводить А.П. Ленский и А.И. Южин), М.А. Решимов (замечательный «фат»). К концу первого пятилетия 80-х годов от щепкинского поколения в Малом театре сохранилась только Н.М. Медведева. Да и та, перейдя на роли старух, играла уж очень редко. В последний раз я видел ее в роли пожилой ключницы в пьесе Боборыкина «Доктор Машков»[11]. Чуть ли это была не последняя созданная ею роль. Небольшая, всего один выход, но очень драматическая, вернее, даже мелодраматическая. Машков, знаменитый врач, — играл его Ф.П. Горев, — узнает в старухе первую свою любовницу студенческих лет, от которой у него были не то сын, не то дочь, — забыл. И пьесу забыл. Но сцену встречи блестящего Горева (чудесно играл) с разрушенной Медведевой помню, словно видел вчера. Потрясающее впечатление дали. Показала нам Надежда Михайловна, как игрывали ученицы и сотрудницы Щепкина. Да можно было понять и то, почему под ферулой[12] ее так быстро выровнялась из «волчонка» в великую артистку вдохновенная М.Н. Ермолова.

Когда хоронили Самарина, дьякон Ваганькова кладбища сострил:

— А труппа-то у нас на Ваганькове будет почище, чем в Малом театре.

Правда, была. Приблизительно с 1875 по 1885 год Малый театр переживал период жестокого упадка и держался исключительно женскими своими силами: Г.Н. Федотовой, Н.А. Никулиной (старшее поколение, лет уже на 35—40) и молодою М.Н. Ермоловой (25—30), еще не развернувшей всю мощь своего дарования, но уже гениальной. В середине 80-х годов прибавилась к ним совсем юная Е.К. Лешковская. Мужская же половина труппы была очень плоха.

Из стариков сидели на ответственных ролях, по праву давности, бездарности и посредственности, вроде Вильде, Дурново, Берга, Музиля. Молодежь еще не выигралась и не определилась, хотя в ней уже намечены были к блестящему будущему яркие таланты Ленского, Горева, супругов М.П. и О.О. Садовских. К.Н. Рыбакова еще только обтесывала в артиста влюбленная в него Г.Н. Федотова. Для того чтобы смотреть О.А. Правдина, надо было позабыть Шумского, которого он был самоуверенной, но очень посредственной, холодной копией.

Очень долгое время публика его едва выносила, не прощая того, что Шумского дерзает заменять второстепенный актер, раньше известный только потому, что в водевилях и дивертисментах недурно передразнивал немцев. Он был сам немец, по фамилии Трейлебен, — фамилия Правдина долго была его псевдонимом, а в 90-х годах он исходатайствовал присвоение ее родовое и потомственное.

Правдин был актер умный, рассудочный, переимчивый и вечный копиист. Если он нравился, это был верный признак, что он видел кого-нибудь из больших артистов в той или подходящей роли и таким образом получил толчок к комбинации собственной игры. Когда он начинал творить сам, это было очень печально. Однажды он поставил в свой бенефис «Дмитрия Самозванца и Василия Шуйского» Островского. Бездарнее вообразить и изобразить Шуйского едва ли возможно. А в «Борисе Годунове» был Шуйским очень хорош. Потому что этих Шуйских он видал, а того надо было создать самому.

И наконец, А.И. Южин. Те, кто помнит его уже великолепным артистом-премьером Малого театра 90-х годов, не могут даже представить себе, как он был ужасен, любительски плох дебютантом в начале 80-х.

Но эта молодежь обладала страстною любовью к искусству, благородным честолюбием и тем усердием к художественному труду, при наличности которых, — было бы у человека хоть зернышко дарования, — а уж он себе выкует талант, да еще такой, что заткнет за пояс иные природные таланты.

А.И. Южин в этом отношении образец для всех, чающих сценической славы, — ныне и присно и во веки веков. Этот сильный волею человек буквально из ничего всего себя сделал для театра упорною, безжалостною работою над фигурою, над голосом, над дикцией, не говоря уже — над внутренним психологическим содержанием каждой своей играемой роли.

Между 1886—1890 годами я, за частыми отлучками из Москвы, както не видал Южина. И вот после долгого перерыва сижу в театре, смотрю «Звезду Севильи»[13] и едва глазам и ушам верю: Южин ли передо мною? Не новый ли кто-нибудь взял тот же псевдоним?

Настоящий, большой европейский актер. Рассудочной французской школы — да, декламатор с наигранным темпераментом — да, но —

2. Заказ № 833.

какое же мастерство, какая читка, как роль обдумана, разработана детально, как правильно и твердо проведена сквозь все детали общая линия замысла! Из неуклюжего полулюбителя — одно плечо выше другого — развился артист-идеолог, одаренный разнообразнейшими средствами экспрессии, от высочайшей трагедии чуть ли не до комического водевиля.

А.П. Ленский и Ф.П. Горев глубиною и пламенем дарований были значительно богаче Южина. Однако, когда молодые роли Ленского, рано начавшего стареть (или, вернее, по мнительности, воображать себя старым), перешли к Южину, он имел в них не меньший успех, а в иных и больший. Горева же Южин, бесспорно, — говоря актерским жаргоном, — «забил». Искусство победило стихию. Хотя, надо правду сказать, ленивая стихия иной раз, как бы пробудясь от спячки, вдруг одним жестом, одним вскриком творила внезапное чудо такого жизненного перевоплощения, что Южин отдал бы за один подобный момент добрую половину своего мастерства.

Ведь этот «безумец, гуляка праздный»[14] Федя Горев был какой артист? Взял он в свой бенефис «Короля Лира». Играл прескверно, походил не на короля, а на старого еврея-старьевщика. Зевота, а не спектакль. А вдруг — нахлынуло на него, и монолог «Учись, богач» прочитал так, что театр замер: именно что «ударил по сердцам с неведомою силой»[15], как дай Бог Эрнесто Росси или Эрнсту Поссарту в лучшие их вечера. Бенефис Федотовой. Тяжеловесная византийская трагедия Аверкиева «Теофано». Горев играет императора-супруга, у него бурная сцена ссоры с Теофано. И вот уходит он после этого великолепно проведенного диалога с Федотовой и внезапно — чего не делал ни на одной репетиции — повернулся к ней лицом с таким взглядом, что Гликерии Николаевне жутко стало, и пошел, пятясь, пятясь и не спуская с Теофано глаз... Театр потрясся от рукоплесканий. В антракте бегут к Гореву товарищи-артисты, критики:

— Федя! Да понимаешь ли ты, как ты играл? Ведь гениально! Как это ты надумал?

А Федя простодушно:

— Да, знаете, когда я уходил, пришло мне в голову: эта Теофано такая стерва, что, пожалуй, недорого возьмет и нож в спину воткнуть... Ну, *испугался* и повернулся...

Вот этого Южину не было дано. Того, что Южин на сцене как ни великолепно играет, но все же лишь «играет», зритель никогда не забывал.

В начале 80-х годов москвичи на Южина и смотреть не хотели, а к концу десятилетия он сделался — и по заслугам — центральною фигурою Малого театра. Можно смело утверждать, что тогдашнее воскресение «Дома Щепкина» создалось двумя силами — трагическим гением М.Н. Ермоловой, по которой равняться инстинктивно тянулся театр, и упрямым искусством-мастерством Южина. Я даже позволяю себе предположить, что хотя Ермолова и Южин вовсе не были тогда друзьями, — напротив! — но без Южина, без его любви к трагическому репертуару, без его толкания дирекции и товарищей на путь серьезного сценического развития Ермолова, с ее «возмутительною» скромностью и застенчивым добродушием, не сыграла бы и половины ролей, ее прославивших. Благодаря Южину Шекспир, Шиллер, Лопе де Вега, Расин, Гюго, германские романтики вновь сделались частыми гостями в «Доме Щепкина», после перерыва чуть не с мочаловских времен.

Столько же огромною заслугою Южина была всецело им налаженная организация комедийного зерна труппы: неподражаемо сыгравшегося стройного квартета — высокоталантливой Е.К. Лешковской, А.И. Южина, К.Н. Рыбакова и О.А. Правдина. Квартет этот, вместе с четою Садовских (в ней, право, трудно решить, кто был талантливее — муж или жена), царил в русском комедийном репертуаре много лет с немеркнувшим блеском.

Концертная сыгранность квартета достигла несравненного совершенства. Однажды я почти серьезно предлагал им — не искать новых пьес, а вернуться к импровизациям старинного итальянского театра, когда актеры получали от автора только схему действия, а ситуацию и диалог должны были разрабатывать сами, угадывая друг дружку. Так ярко и твердо определились привычные типы всех четырех, так пестро выработались средства исполнения в мгновенном взаимопонимании и так могущественно подчинял своему тону ансамбль их все добавочные лица.

Любопытно, что из четырех, сыгравших столь решительную роль в новой формировке театра, бесспорно, ярким и крупным *природным* талантом сверкала одна лишь Е.К. Лешковская. Остальные трое — Правдин, Рыбаков, Южин — все — плоды однородной и приблизительно одновременной (старший — Правдин) театральной выработки.

Они, все четверо, были очень дружны. «Мои мужики», — звала Южина, Рыбакова и Правдина всегда насмешливая умница Лешковская. Уезжая в 1904 году в первую эмиграцию, я оставил квартет в разгаре успехов и славы, несмотря на восход нового тогдашнего, всезатмевающего светила — Московского художественного театра.

А затем — что же? Жребий человеческий: старение и умирание. С такою же быстротою, как в 70-х годах вымирал «Дом Щепкина», валились один за другим, все семи- и восьмидесятники Малого театра: Ленский, Горев, Правдин, Рыбаков, Макшеев, М.П. и О.О. Садовские, Падарин, А.А. Федотов (мать, знаменитая Гликерия Николаевна Федотова, пережила сына на много лет, скончалась лишь в запрошлом году)... Два года тому назад отошла в вечность душа былого квартета — Е.К. Лешковская. А вот покончил свою славную жизнь и остальной «из стаи славной»[16] — А.И. Южин.

Ровесники-восьмидесятники! Поклонимся его праху: он был последний *наш* актер!

P.S. Покуда эта книга издавалась, умерла и *наша* последняя актриса — Jeo, которая была «больше всех и лучше всех», — великая наша Марья Николаевна Ермолова.

1928. VIII. 13

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ЕРМОЛОВА

Ну вот, и она умерла — она, которая для нашего поколения московских «восьмидесятников» была «всех больше».

Великая трагическая муза нашего века, лучший друг нашей молодости. Не из светлых и дельных была эта молодость. Стояли сумерки, полз туман, и в тумане копошились угрюмые призраки, первенцы разочарования интеллигенции в самой себе, миазматические микробы начавшегося общественного разложения. Надвигалась воистину та ночь, «когда все доброе ложится и все недоброе встает»[1]. Все благодушное и слабое вяло бесплодно или, махнув на себя рукою, падало в грех — «с волками жить — по-волчьи выть»: эпоха Гамлетиков, беспомощно словесничавших в фразистом покаянии без дел. Все сильное и злое

росло и забирало власть над обесцвеченною жизнью. Антон Чехов уже напитывался разлитыми в воздухе атомами гомункулов, которые несколько позже были обобщены им в расу и кличку «хмурых людей»[2].

Но — «чем чернее сумрак ночи, тем ярче факел в нем горит»[3]. Самым ярким факелом во тьме нашей московской восьмидесятной ночи светила Ермолова. Строгим, величавым, укоризненным пламенником сияла она на нашем унылом горизонте, целомудренно замкнутая в себе жрица доброго и мудрого искусства. В ее таланте — природно и инстинктивно — господствовало мощное начало душевной отзывчивости на жизнь: начало трагическое, ибо «жизнь есть комедия для того, кто мыслит, и трагедия для того, кто чувствует»[4]. А Ермолова была вся — чувство. И чувствовать житейский образ значило для нее — самой пережить его.

В 70-х годах как скоро Ермолова начала пробиваться вверх из «черного тела», в котором долго держала ее режиссура Малого театра, враждебные молодой героине театральные силы (с знаменитым И.В. Самариным во главе) презрительно утверждали, что Ермолова выезжает на студенческом райке, т.е. на симпатиях к ней учащейся молодежи. Это было верно, только однобоко. Симпатиями учащейся молодежи и раньше Ермоловой, и в ее время, и после нее стремились обзавестись десятки умных и способных артисток. Однако ни одной из них не дались они в той мере, как Ермоловой, — за исключением В.Ф. Коммиссаржевской, — потому что ни одной, за тем же исключением, не удалось достигать ермоловской высоты и искренности в созвучных тоске своего века чувствованиях.

Некрасов был любимым поэтом молодежи 70-х годов, и, в угоду молодежи, его много читали в концертах, в литературных собраниях, — эстрада, можно сказать, жила Некрасовым. Были чтецы и чтицы превосходные (например, Павел Никитин, М.И. Писарев, Богданова), гораздо более искусные, чем тогдашняя Ермолова с ее еще не выработанным голосом, коротким и грубоватым. Однако никто из них не производил и тени того впечатления, которым в Некрасове захватывала Ермолова зрительный зал. Истинно потрясала, потому что не читала она Некрасова, а переживала его — глубоко, трагически переживала, вкладывая в его стоны всю свою, из русских русскую, душу.

Пятьдесят лет прошло, а я помню, как она впервые читала стихи на смерть только что скончавшегося Некрасова:

Смолкли поэта уста благородные.
Плачьте, несчастные, плачьте, голодные...[5]

Да дальше и не пошла: рыданием горло перехватило — и ушла с эстрады. А что в зале делалось — неописуемо!

Ни у одной русской артистки не было такой способности ударить с неведомою силой по сердцам выстраданным стихом... Разве еще лишь у П.А. Стрепетовой, но ее бездонное по глубине дарование было тесно ограничено вширь народническим бытовым реализмом, даже, вернее будет сказать, натурализмом. Гениальною в «Грозе» Катериною, в «Горькой судьбине»[6] Лизаветою, в «Около денег» Потехина[7] Евгенией, в «Каширской старине» Аверкиева Марьицей, Стрепетова была просто ужасна в ролях европейского, классического, романтического и салонного репертуара. А между тем очень любила их играть: отсюда выросла ее пресловутая взаимоненависть с М.Г. Савиной, величайшей мастерицей именно салонного репертуара.

Но, в отличие от Стрепетовой, которая всю свою сценическую жизнь прожила на капитал «нутра», правда, необычайно богатый, но мало-помалу истощавшийся с годами и наконец вовсе ей изменивший, Мария Николаевна очень рано поняла, что, как ни борз этот конь, на нем одном всю жизнь не проедешь. Это очень замечательная черта артистической самоотчетности, потому что смолоду Ермоловой давало успех только «нутро». И такой успех, что на нем очень легко было бы для юной актрисы успокоиться и застыть, как то бывало с десятками нутряных актеров и актрис, не исключая только что помянутой Стрепетовой.

Превосходная автобиография М.Г. Савиной[8] (положительно лучшее произведение русской театрально-мемуарной литературы) может дать понятие об убийственной пошлости драматического репертуара в десятилетие 1870—1880 годов, когда Савина завоевывала мало-помалу первенствующее положение в московском Малом театре. Репертуар этот, построенный на Николае Потехине, Викторе Крылове и т.п., был не только не в средствах Ермоловой, но стоял в полном контрасте с характером ее дарования. Если она даже и его несла с честью и заставляла и в нем говорить о себе, это зависело опять-таки от ее чуткого умения найти инстинктом, хотя бы и в самой нелепой и фальшивой драмище, какое-нибудь все-таки живое место, тоже в своем роде «выстраданный стих»[9].

Бывало, вот Ермолова на сцене. Не в духе. Роль в пьесе не по ней и ей не нравится. Она бормочет, а не говорит. Двигается с теми неловкими, угловатыми движениями, с теми угрюмыми взглядами исподлобья, за которые ее в школе звали «волчонком»; вполне отделаться от них ей удалось лишь на седьмом—десятом годах карьеры. В зале уныние и зевки, кашель. В антрактах — сконфуженные «ермоловцы» с старым энтузиастом еще мочаловского театра С.А. Юрьевым во главе терпят поругание от поклонников «тонкой французской игры» вообще, Г.Н. Федотовой в особенности.

— Ваша Ермолова — «хрипун, удавленник, фагот[10]»! — язвит критик «Московских ведомостей» К.Н. Цветков.

Юрьев по чувству справедливости сокрушенно безмолвствует или сердито огрызается, что Мочалов иногда тоже играл прескверно, а «Марья» — конечно, Мочалов в юбке. Дирекция-дура виновата. Разве можно тратить «Марью» на подобные дуры-пьесы?

Но вдруг в «дуре-пьесе» момент — «Марье» по душе, ситуация зацепила ее собственные сердечные струны... Боже мой! Какое изумительное, с быстротою молнии, преображение! Какое захватывающее сверкание таланта! Откуда явился голос — благородный и трепетный голос раненой львицы, одиноко страдающей в пустыне, — откуда взялась смелость, изящная и величавая простота жеста!.. Что за глубокая правда в интонациях!.. У зрителя, если он не забронирован крокодиловой чешуей, холод благоговейного и жуткого восторга бежит по коже, волосы шевелятся, сердце замерло... Вот он, истинно счастливый-то момент художественного творчества, мучительное наслаждение неведомою силою пронзительно унылого, выстраданного стиха!..

Была невыносимо глупая и скучная пьеса старого драматурга Ге: «Второй брак». Так ее смотреть публика съезжалась только к третьему действию — единственно для того, чтобы слышать, как Ермолова скажет своему супругу-изменнику:

— Подлец!

И на этом одном-единственном «подлеце» пьеса благополучно ехала целый сезон и делала блестящие сборы[11].

Знаменитый спектакль, сделавшийся в своем роде историческою эрою в летописях Малого театра, первое представление «Овечьего источника»[12], окончательно определил трагическое дарование и назначение Марии Николаевны. Настолько, что даже равнодушную и толсто-

кожую тогдашнюю дирекцию пробрало и заставило призадуматься над богатством развернувшейся новой силы. «Овечий источник» явил, собственно говоря, первое цельное создание Ермоловой. А вылилось оно в цельность потому, что Лауренция — вся — «выстраданный стих». Искусство тут было еще ни при чем: все — «нутро», все — натура!

Но — какая же натура! Более захватывающего впечатления, более высокого духовного подъема я уже не переживал в русском театре. Да и в западноевропейском дарили их мне лишь немногие предельные гиганты: Элеонора Дузе в драматическом (но не в трагическом) репертуаре, Эрнесто Росси в Макбете, Скупом рыцаре (последнее изумительное его создание), Томазо Сальвини в Отелло, Эрнст Поссарт в Мефистофеле и Манфреде[13]. Да и то во всех них чувствовалась, сквозь великое и искреннее искусство, также и заматерелая опытность, игра наверняка без ошибки, лоск давности, а Лауренция Ермоловой дышала молодою свежестью 23—25 лет.

В моих «Восьмидесятниках» рассказом техника Бурста передано глубокое — потрясающее и трогательное впечатление, каким откликнулась Лауренция Ермоловой среди тогдашней революционно настроенной молодежи. «Овечий источник» скоро был снят со сцены, но успел выяснить артистку. Он вдруг уничтожил, сделал позорными, смешными и нелепыми все козни и интриги, которыми придавлена была «в черном теле» юная «Марья». Накануне «Овечьего источника» еще можно было сомневаться в ее силах; назавтра она, как лорд Байрон, проснулась знаменитостью, и вся Москва твердила в один голос, что теперь можно скорее Малый театр отставить от Ермоловой, чем Ермолову от Малого театра.

Успех чрезвычайно опасный: на такой внезапной высоте долго ли закружиться голове? Если Мария Николаевна не подверглась этой участи чересчур счастливых новичков, тем обязана она прежде всего своей удивительной артистической скромности. Она всегда как будто недоумевала несколько перед собственным своим успехом, ее достижения всегда казались ей в чем-то недоделанными, ждущими еще каких-то новых штрихов. Она все доходила в роли до чего-то, что только сама она инстинктом чувствовала, а объяснить не умела, и в стараниях понять тем больше работала и искала и волновалась.

В 1896 году ставил я в Москве историческую пьесу «Полоцкое разорение»[14]. Роль Рогнеды в ней Мария Николаевна (пьеса ей и по-

священа) играла изумительно. На репетициях она все просила замечаний, поправок, а — откуда же было мне взять их, если все шло великолепно и превосходило мои ожидания?

— Ну вот и скверно! и очень скверно! — возражала Мария Николаевна, даже как бы с отчаянием. — Вы видите только хорошее да хвалите нас, мы зазнаемся, успокоимся на лаврах, и... пьеса провалится!.. Нет, вы спорьте, останавливайте, ругайте, тогда все черные пятна выступят наружу и мы их исправим, чтобы пьеса имела успех.

Рассказал я о своем недоумении Южину (он ставил пьесу и играл главную мужскую роль варяга Ингульфа). А он — с усмешкой:

— Да уж потешьте ее: замечайте... что-нибудь! Иначе она будет неспокойна духом. На репетициях она будет исполнять все ваши замечания, как самая добросовестная ученица. А на спектакле... разве Мария Николаевна сама знает, что и как она сделает на спектакле?

Г.Н. Федотова под конец своего служения Малому театру, когда затихло ее давнее соперничество с Ермоловой и окончательно улеглась в ней горечь ранней ермоловской победы, говорила мне однажды с возмущением:

— Мария Николаевна великая актриса, может быть, самая великая в нашей современности, но беда ее в том, что она сама своей гениальности не понимает, самой себя робеет и... вечная школьница! Кто только не суется ее учить, а она верит. Теперь к ней перешли многие мои роли. Ну, и — на репетициях — она как в кандалах. Ходят за нею по сцене стражи традиций: «Мария Николаевна, Гликерия Николаевна здесь два шага вперед делала...» Мария Николаевна, Гликерия Николаевна здесь садилась... здесь вставала... И она все покорно исполняет, чисто ученица в драматическом классе. Хорошо еще, что на спектакле она все эти внушения — сидения-вставания — забудет, словно их и не было, а сыграет свое — такое свое, что и сама не ожидала, — и всех ослепит.

Однажды, сидя у Н.П. Шубинского (супруга М.Н. Ермоловой) в деловом его кабинете, слышу далекий, сердце раздирающий крик. Николай Петрович, с иронической усмешкой в странных своих лиловых глазах, поясняет:

— Мария Николаевна роль учит... за кого-то умирать изволит... И чего старается? Ведь сто криков перепробует, а на сцене-то все-таки ни одним из них не закричит, а крикнет, как тогда почувствует, и выйдет — как надо...

Время, опытность, отчасти и «школьничество» выровняли талант Ермоловой. Уже в 80-х годах в ее исполнении не стало тех вялых и скучных интервалов, какими прежде платились мы за ее гениальные вспышки. Искусство сделало роли ее цельными, стройными. Но старинные вихри вдохновения не изменили художнице, напротив, налеты их стали еще чаще, еще ярче и мощнее. И нельзя не признаться: покуда М.Н. Ермолову мчал этот вдохновенный вихрь, очень мало думалось о благоприобретенных ею сценическом навыке и техническом мастерстве: не до того становилось! Слишком уж могуче сверкала в ней тогда естественная сила дарования, слишком страстно отвечало на чужое страдание ее чуткое, трагическое сердце...

Содействовал тому, конечно, и новый ее репертуар. С 80-х годов она работала преимущественно над классиками: Шекспир (Имогена, Офелия, леди Анна, королева Екатерина, позже Макбет), Грилльпарцер («Сафо»), Расин («Федра»), Шиллер — наиболее из всех поэт для зрелой Ермоловой, как Некрасов был поэтом ее молодости. Кто не видал «Марии Стюарт» в исполнении Марии—Ермоловой и Елизаветы—Федотовой, тот вообще ее не видал. В особенности знаменитой сцены между ними в замке Фодрингэй; здесь обе артистки поднимались на предельные высоты их разнородных дарований. Прямо-таки подавляли! Ходишь, бывало, в антракте весь под впечатлением, и смерть не хочется, чтобы кто-нибудь с тобой заговорил.

Верхом достижений Ермоловой справедливо считалась «Орлеанская дева»[15] — создание стихийной, грозовой силы. В последней сцене, когда Жанна разбивает свои цепи и бросается в битву, я готов был поверить, вместе с королевой Изабеллой, что она в самом деле полетела по воздуху на внезапно выросших крыльях: до того стремительным порывом исчезла она из глаз, до того подъемно взвивал душу ее вопль — «Нет! с нами Бог!» — вопль разгневанного ангела-хранителя...

Этим своим даром дать момент трагического подъема до почти сверхъестественного перевоплощения Мария Николаевна однажды так изумила, что даже испугала А.С. Суворина. Он в качестве закоснелого театрала-петербуржца не очень-то долюбливал Ермолову, а она, в свою очередь, не очень-то долюбливала его в качестве знаменитого журналиста. Увы! к «газетчикам» она питала почти что отвращение. Даже мне, при всем ее добром ко мне расположении, случалось слыхать от нее строгие сожаления, зачем я «трачу себя на газетные глупо-

сти», вместо того-де, чтобы отдаться вполне литературе и историческим работам.

На генеральной репетиции «Татьяны Репиной» Суворин нашел, что Ермолова слабо ведет сцену смерти от отравления[16]. Сделал замечание в обычном ему с актерами резком тоне, к которому петербургские-то лицедеи привыкли, а московские — не очень. Мария Николаевна слегка закусила справа нижнюю губку, нахмурила левую бровь и с иронической покорностью обещала:

— Попробую сыграть сильнее.

Из этой «пробы» вышла та, опять-таки единственная в летописях Малого театра, премьера «Татьяны Репиной», когда пьеса была почти что не доиграна, потому что занавес опустили под вопли и стоны истерики, повально охватившей зал... и чуть не первым поразившей автора!

— Собственно говоря, черт ее знает, собственно говоря, — рассказывал мне много лет спустя А.С. Суворин, — смотрю и чувствую, нервы все больше дрожат, дрожат... Сомнение берет, уж не отравилась ли она в самом деле, как Кадмина (актриса 70-х годов; ее житейская драма и дала Суворину канву для «Татьяны Репиной»)... И вдруг как ударится она об стену, как крикнет... Я задрожал, глаза зажмурил и — вон из ложи в коридор, собственно говоря... Потому что почудилось мне, что она в ужасных своих страданиях оторвалась от земли и где-то уже высоко над сценою, вцепилась в стену...

Удивительная способность трагически освещать роль не покидала Ермолову и в современном драматическом репертуаре, являясь в нем и ее достоинством, и ее недостатком. В самом пустом женском характере она умела докопаться где-то в скрытой глубине до приглушенной трагической нотки, которую затем и выводила наружу всем строительством роли.

Беззаботную молодую актрису Менестрель (не помню названия, в какой пьесе Сумбатова[17]) Ермолова играла так, что в ней чувствовалась будущая пожилая героиня «Цепей»[18] (художественно воплощенная Г.Н. Федотовой). В «Симфонии» Чайковского[19] Ермолова умудрилась найти трагический подход к типу певицы, легко увлекшейся талантом молодого композитора и с тою же легкостью отставившей юношу от себя, как скоро разочаровалась в его таланте. Блестящая роль эта была торжеством М.Г. Савиной. По правдивости и блеску она была

в «Симфонии» гораздо более на месте, чем Ермолова, и вообще петербургскую «Симфонию» я решительно предпочитал московской. Но Ермолова была чрезвычайно интересна как пример психологической борьбы исполнительницы, привыкшей к углублению характеров, с весьма мелкоплававшим, хотя умным, автором.

Такою же углубленностью спасли Ермолова и Ленский весьма слабую литературно «Цену жизни» Владимира Немировича-Данченко[20], которую их диалог (при чтении письма самоубийцы) возвысил на высоту настоящей трагедии. «Цена жизни» отлично шла и в петербургской Александринке (замечательно хорош был Дальский в роли неврастеника, брата самоубийцы), но без Ермоловой и Ленского она выцвела просто в занимательную обывательскую пьесу с маленькой уголовщиной и дешевенькой психологией.

Кн. А.И. Сумбатов, старый товарищ Ермоловой по Малому театру, глубокий знаток ермоловского таланта, мастер сцены, сам превосходный артист, создал для Ермоловой «Измену»[21], драму тоже невысокого литературного достоинства, но отличную канву, настолько приспособленную к средствам артистки, что она невольно должна была развернуть в ней все стороны и возможности своей природной одаренности. Трудно написать роль в большем согласии с индивидуальностью артистки. Расчет на Ермолову звучит в каждой фразе Зейнаб. Недаром она не очень-то удается другим звездам русской драмы. И недаром как некогда Москва съезжалась слушать из уст молодой Ермоловой «подлеца» во «Втором браке» Ге, так пожилая Ермолова собирала Москву слышать, как она скажет — «Раб!» — низверженному национальным восстанием персидскому паше-тирану...

Ну... когда москвич-восьмидесятник начинает говорить о М.Н. Ермоловой, трудно ему остановиться. Ею любуясь, мы любуемся самыми светлыми, умными и задушевными минутами нашей невозвратной молодости. Ермолова для нас — как Покорский в «Рудине» для Лежнева. Помните? Случалось мне, говорит Лежнев, встречать старых товарищей: опустился человек, одичал, освинел, шерстью порос... А назовешь ему Покорского, и чудо совершается: и разумная искра в глазах, и голос другой, и мысль нежною радостью засветится в лице — «точно в грязной, душной, вонючей комнате откупорили вдруг склянку с драгоценными духами»...[22]

Так-то свято мы, московские восьмидесятники, привыкли помнить, а теперь вот и поминать будем Марию Николаевну Ермолову. Боль-

шую «нравственную дезинфекцию» вносил ее гений в нашу жизнь, и не избыть нам благодарности ей, родной, — вечная ей память!

МУЖ ЕРМОЛОВОЙ

Бывают странные времена и обстоятельства, когда вдруг обрадует несчастие, потому что приводит вместе с собою нечто неожиданно утешительное. Так вот теперь вышло с кончиной М.Н. Ермоловой. Откровенно сознаюсь: я не ожидал, чтобы уход ее из сего мира откликнулся таким огромным впечатлением во всей эмиграции. Что нас, москвичей, событие потрясло, понятно. Покойный Дорошевич, бывало, говаривал:

— Счастлив, кто был москвичом, когда в Долго-Хамовническом переулке жил и творил Лев Толстой, а в Малом театре играла Ермолова!

Но ведь в том-то и дело, что она была наша, московская, — уж очень наша, почти исключительно наша. Петербург ее знал мало: за всю жизнь она не сыграла там и десяти спектаклей. В провинции она, кажется, вовсе не гастролировала. Значит, ознакомиться с нею «вся Россия» никак не могла.

Савину, Федотову, Коммиссаржевскую, Лешковскую вживе видели не только все крупные культурные центры России, но и второстепенные города, и дальние окраины. Три первые названные ознакомили с своими дарованиями также и Европу, а Коммиссаржевская даже и Америку. Ермолова — никогда никуда.

— Привинчена к Москве, как Иверская! — острил ее супруг, Николай Петрович Шубинской.

Вот чья смерть прошла в свое время совершенно незаметно, хотя постигла она его в Париже, центре эмиграции, а человек он был весьма недюжинный — и ловкий юрист, и политический деятель (не весьма ловкий, а иногда, пожалуй, даже и весьма неловкий), и усердный и влиятельный спортсмен — словом, фигура «сам по себе», а никак уже не только «муж знаменитости»[1].

Известность Н.П. Шубинского как присяжного поверенного была в Москве огромна. Он шел вторым номером за Плевако, причем оба друг друга терпеть не могли.

Я знал хорошо обоих. До ораторского дара Плевако Шубинскому было далеко, но делец он был ловкий, изворотливый, говорил пре-

восходно, владел искусством меткой иронии — вообще своей репутации первоклассного адвоката был вполне достоин. Но в то время как победоносному сопернику его Москва любовно прощала все человеческие слабости и прегрешения, Шубинскому она не извиняла ни одного ложного шага, а он был на них весьма способен и усерден.

Не любила его Москва. Едва ли не в той же мере не любила, как обожала Марью Николаевну. И может быть, в нелюбви этой имела немалое значение некая общественная ревность:

— Как смеет антипатичный нам, москвичам, Шубинской быть супругом великой Ермоловой?

Нечто подобное почти прямыми словами высказал мне даже не в Москве, а в Петербурге редактор «Исторического вестника» Сергей Николаевич Шубинской, безмерно уважавший Марью Николаевну и очень мало — своего московского племянника. О нем старик всегда говорил в кисло-снисходительном тоне, будто извиняясь косвенно, что «в семье-де не без урода».

В годы, когда я был близок с Н.П. Шубинским, я часто задумывался с недоумением, — чем, собственно, он заслужил московскую антипатию? Адвокатские грехи?! Да мало ли адвокатов с грехами пущими, чем за Шубинским, — однако на них не вешали и десятой доли того неисчислимого множества собак, что на него. Помянуть хотя бы и Плевако. Его юридические и житейские фокусы рассказывали с веселым хохотом, Шубинского — с «благородным негодованием».

Думаю, что в этой разнице повинны не столько деяния Н.П. Шубинского, сколько его странный характер. Ему следовало бы родиться раньше, по крайней мере, лет на сорок, чтобы поспеть взрослым к эпохе байронических героев, Печорина, Батманова, Тамарина[1а] и пр. Типичный «сноб» этого рокового типа, он глубочайше «презирал людей» и сам имел слабость казаться гораздо худшим человеком, чем был на самом деле.

А отсюда — стремление озадачивать общество такими речами, а иногда и поступками, что, если бы не всеобщее московское обожание Марьи Николаевны, Шубинскому не раз пришлось бы более чем плохо. За циническую речь по делу Кетхудова (ограбление почты) он — только ради просьб жены — не был исключен из сословия и отделался лишением права практики на продолжительный срок.

Однажды мне случилось говорить с Шубинским об этом деле. Я высказал ему откровенно, что для меня загадка не столько циничес-

кое существо речи, сколько — каким образом такой умный, спокойный, казалось бы, холодный оратор, как Шубинской, мог столь непрактично распоясаться пред судом и публикой, к очевидному вреду и для себя, и для своего клиента? Он повел плечами, улыбнулся длинным лицом (оно было бы очень красиво, если бы не усыпали его мелкие оспенные рябины, — помните, у Лескова: «продолговатый облик Шубинских»?) и с недоумением в странных своих лиловатых глазах ответил четырьмя словами:

— А черт меня знает.

Как он отнесся к постигшей его дисциплинарной каре, лучше всего выявит тот факт, что свой невольный досуг он употребил на перевод какого-то французского сочинения... *об адвокатской этике* (кажется, Молло, если не ошибаюсь), который затем и издал весьма шикарно... Сноб! кругом сноб!

Похоже, что в этом, наружно всегда холодном, человеке с вечною ироническою улыбкою и искусственным неопределенным взглядом заперта была и на цепи сидела натура, по существу, очень пылкая и бурная. И, как он ее ни дисциплинировал и ни оглаживал, а нет-нет, она сорвется с цепи и пошла брыкаться. А так как на дисциплину и оглаживание она нестерпимо зла втайне, то, прорвавшись-то, непременно сотворит какое-нибудь надругательство над ними.

В частных отношениях Николай Петрович был очень приятен. Любезный, услужливый, благовоспитанный «барин», умягченный демократическою школою 60-х и модою 70-х годов и чрезвычайно интересный невероятно пестрым своим знакомством, в котором о каждом и каждой знал всю подноготную. Я был в годы нашей близости московским фельетонистом «Нового времени», и Шубинской, равно как большой мой тогдашний друг, товарищ председателя окружного суда, Евгений Романович Ринк, являлись для меня драгоценными источниками осведомления о бытовой подоплеке Москвы. Тем более что они друг друга весьма не любили, и следовательно, один и тот же факт всегда рисовали мне с двух разных точек зрения и в разных освещениях, а истину, значит, надо было искать посередине.

Обоим я обязан множеством тем, в свое время сенсационных, а Ринку даже и сюжетами нескольких моих беллетристических произведений («Отравленная совесть», «Без сердца», «Елена Окрутова» и др.). Благодаря Шубинскому мне удалось осветить злоупотребления

по сооружению кремлевского монумента Императору Александру II, непорядки в московском Беговом обществе, в Воспитательном доме и мн. др.[2]

Как скоро выходил в свет годовой отчет совета присяжных поверенных, то либо я ехал к Николаю Петровичу, либо он ко мне, чтобы вместе просмаковать «там на хартиях написанные»[3] адвокатские прегрешения, разобранные в дисциплинарном порядке. Они печатались, как известно, без оглашения фамилий, под инициалами. И вот тут-то надо было слышать комментарии Шубинского. Если справедливо, что «то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть»[4], то Шубинской очень способен был любить, потому что ненавидеть он умел остро и прочно. А свое сословие, по крайней мере в представительстве московского совета присяжных поверенных, он ненавидел.

Недавно А.И. Куприн в очерке, напечатанном в «Иллюстрированной России», помянул старину московских бегов еще пресненского периода[5]. Шубинской был одним из главных виновников возрождения в Москве этого старинного спорта и развития его на Ходынке. Вся скрытая страстность его натуры обнаруживалась в пылком отношении к беговому делу. Не раз он приводил меня, лишенного всякого интереса к какому бы то ни было спорту, в изумление своею нетерпимою ревностью к другим охотникам-беговикам. Когда строилась беговая беседка, Шубинской прямо-таки заваливал меня документами о непорядках в беговом обществе и неотступно настаивал, чтобы я «обличал». Два фельетона я напечатал, а затем А.С. Суворин, к великому моему удовольствию, зарычал из Петербурга:

— Собственно говоря, с чего это вы вдруг влюбились в рысаков, собственно говоря? Я все жду, чтобы вы — о староверах, а вы все о бегах... Черт с ними, собственно говоря!

«Снобизм» почти всегда связан с мистификацией. В высшей степени склонен был к ней и Шубинской. Бывало, приедет и начинает кого-нибудь хвалить или чем-нибудь восторгаться. Расписывает всеми красками и узорами, а сам, с двусмысленной улыбкой, посматривает, верите вы ему или нет. И если замечает, что убедил, то вдруг рассмеется и — совсем другим тоном:

— Ну, а если говорить чистую правду, то, извините, другого такого сукина сына, как этот хваленый господин N.N., нет в Москве, не бывало, да и едва ли скоро будет...

Или, наоборот, выложит вам все клеветы и сплетни, которые ходят о каком-нибудь Иксе, с таким лицом и таким тоном, словно сам им твердо верит — а потом:

— И все это о нем — подлейшее вранье нашей гнуснейшей Москвишки. Отличный человек. Травят его потому, что непоклонная голова, к великому князю не подлизывается[6], взяток не берет, на бабенок не льстится... — И т.д.

Он терпеть не мог Южина — и как человека, и как актера.

— Согласитесь, однако, — говорю ему, — что в «Дельцах» М. Чайковского[7] Александр Иванович превосходен и гораздо выразительнее петербургского Варламова?

Пожимает плечами и пищит на высочайших фальцетных нотах своего странного тенора:

— Да что же тут удивительного, если кинтошка хорошо играет кинтошку[8]?!

А то вдруг нападет на него дух такого добродетельного пуризма, что хоть прямо посылай для него за лестницей в рай. Ставили тогда «Сон в летнюю ночь». Титанию играла Г.В. Панова. Один легкомысленный юноша, разглядывая ее фотографию в роли, заметил:

— Какие прелестные ноги!..

Шубинской вдруг окрысился на него, словно бедняга сказал невесть какое неприличие, начал распространяться о циническом отношении молодежи к искусству; о безнравственном подходе к святыне театра и т.д. Откуда это бралось? Я слушал и только рот разевал, потому что сам-то Николай Петрович иногда в своих суждениях об актрисах отмачивал такие фразочки и словечки, что уши вяли... Из-за его действительно очень цинического отзыва о Лешковской мы однажды едва-едва в самом деле не поссорились.

В подобных капризных переливах сказывалось и впрямь большое «презрение к людям». Как-то раз после сеанса злоязычия я, прощаясь, сказал Шубинскому совершенно откровенно:

— Беда с вами, Николай Петрович. Расставаясь, всегда невольно думаю: ну, других отделал, — что-то, когда за мною дверь затворится, он обо мне скажет?

Он рассмеялся и — тонким голосом:

— А вы, затворяя за собою дверь, возьмите да сами обо мне что-нибудь скажите... на квит.

По «презрению к людям» он брался за судебные дела без всякой разборчивости, а о клиентах своих отзывался аттестациями, более чем нецеремонными.

Однажды, уже много позже, в петербургский мой период, когда я сильно запутался денежно в неудачном театральном предприятии[9], — хоть объявляйся несостоятельным, — приехал я в Москву искать денег. Шубинской очень помог мне рекомендацией к одному из своих знакомых дисконтеров, определив его с откровенностью:

— Этот мерзавец не посмеет вам отказать: я его прошлый месяц от Сибири отстоял!

Ну, и тем же действительно был этот «мерзавец»! Отказать-то он не отказал: вдобавок к эффекту рекомендательной карточки Шубинского оказался читателем и поклонником Old Gentleman'a из «Нового времени», но проценты содрал такие, что, когда я сообщил их Шубинскому, он уставился на меня лиловыми глазами:

— И вы согласились?

— Да — что же делать?.. Необходимо... Да...

Воздел глаза и руки к потолку и пропищал высочайшим фальцетом:

— Александр Валентинович, не будучи пророком, предсказываю, что вы окончите жизнь свою без штанов!

Эту курьезную сцену я даже позволил себе ввести в свой последний роман «Лиляша»: уж очень она московски выразительна[10].

Мне кажется, Шубинской любил меня (сколько вообще он способен был «любить» человека, ему постороннего и не связанного с ним интересами), равно как и я никогда не питал к нему недружелюбного чувства, несмотря на все дурное, что на него мне наговаривали. Люблю людей талантливых, умных и острых, а он был и талантлив, и умен, и остер. Возможно, что его подкупало в мою пользу мое благоговейное поклонение гению Марьи Николаевны, которого искренность он очень хорошо чувствовал и не мог не ценить...

«Тайна сия велика есть», говорит о браке Апостол[11]. Немногие браки столь оправдывают это изречение, как брак М.Н. Ермоловой и Н.П. Шубинского. Из всех артистических браков, мне известных, этот — самый странный... до непостижимости! «Вода и камень, лед и пламень»[12] не столь различны меж собой своей взаимной разнотой, как разны были эти два существа и, казалось, так чужды одно другому, в вечной, однако, соединенности брачным венцом.

Я не знаю истории их брака и далек от мысли судить и оценивать их брачные отношения. Чужая семейная жизнь, как и чужая душа, потемки. Но это был единственный, на моей памяти, брачный союз, в котором я, будучи хорош и с мужем, и с женою, отлично и неизменно чувствовал, что и с ним, и с нею я хорош по отдельности, а никак не с обоими вместе.

Начать хотя бы с того, что мое личное знакомство с М.Н. Ермоловой возникло еще в первых 80-х годах, а с Н.П. Шубинским я познакомился только десять лет спустя — и не у него в доме, и не в театральном кругу, а в газетном мирке, сотрудничая в «Новостях дня», газете А.Я. Липскерова.

Для сего удивительного мужа Шубинской был полубогом: высшим оракулом мудрости, светскости, всех блистательных человеческих качеств в мире. У Липскеровых Шубинской был не только «своим», но и распоряжался чуть ли не более авторитетно, чем сами хозяева, типические «нувориши» из веселой комедии. М.Н. Ермолова — не знаю, была ли знакома с Липскеровыми, но в доме у них, в мое время, никогда не бывала. Жена-артистка и муж-адвокат вращались в совершенно различном обществе и, кажется, видались очень мало, судя по светскому вездесущию Николая Петровича, в противность домоседству Марьи Николаевны. Ее увидеть вне театра было чуть ли не более редкостно, чем белого дрозда, как говорили в старину, или синюю птицу, как стали после Метерлинка говорить теперь[13].

В громадном своем доме на Тверском бульваре супруги занимали огромную квартиру почти дворцового типа, достаточно просторную для того, чтобы вести в ней два отдельные существования — параллельные, но никогда не сливаемые. Из всех своих посещений М.Н. Ермоловой я припоминаю только один завтрак, имевший настолько «семейный» характер, что присутствовал и Николай Петрович, да и то он не досидел до конца и умчался куда-то с деловым своим портфелем. Если Шубинской назначал мне свидание у себя дома, это бывало сущим наказанием: он непременно опаздывал к условленному часу, дожидаться же его приходилось в пустынном одиночестве, потому что к деловым посетителям своего супруга Марья Николаевна не выходила, хотя бы даже и к близко знакомым ей самой, как я.

Это было у них распределено педантически — до смешного. Както раз Марья Николаевна, видимо, случайно войдя в свой большой зал,

увидала меня ждущим и изумилась, что ей обо мне не доложено. Но, узнав, что сегодня я не к ней, а к Николаю Петровичу, преспокойно удалилась, предоставив меня прежнему одиночеству. Вне приемных адвокатских часов Шубинского было и легче, и приятнее ловить в «Славянском базаре», «Континентале», в коридорах или буфете здания Судебных установлений, чем дома.

Полоса чуждости, несомненно лежавшая между супругами, не препятствовала сильному влиянию Николая Петровича на Марью Николаевну в качестве ее критика. К добру или к худу было это влияние, право, не знаю. Восторженнейший ее поклонник, заглазно, очень ревнивый к ее славе, почти не допускавший сравнения с нею других артисток, в глаза он высказывал Марье Николаевне почти исключительно неприятные суждения, в острый разрез с тем, что она слышала от других судей. Неприятные тем более, что обыкновенно очень несправедливые: чем лучше играла в данном спектакле Ермолова, тем придирчивее критиковал ее Шубинской.

Однажды, когда он довел ее своими придирками (за «Сафо»[14]) чуть не до слез, я затем откровенно высказал ему, — и присутствовавший Н.Ф. Арбенин меня поддержал, — что решительно не понимаю его странной системы внушать артистке заведомо не то, что он в самом деле о ней думает... Шубинской вытянул лицо длинною лукавою улыбкою и возразил:

— Да, конечно, она играла как ангел, но если я ей скажу, что она была безукоризненна, то она поверит и успокоится на лаврах. Приедет к ней Кабанова (богатая купчиха, большая приятельница Марьи Николаевны), привезет калачей и зернистой икры, и завалятся они, — одна на одном диване, другая на другом, — обе — по какой-нибудь книжонке себе под нос, — и попивая в молчанку чаек, вприкуску с икрою. А как я немножко наколю ее своими булавками, она взволнуется, снова проверит себя, думать будет, работать.

— Однако, Николай Петрович, извините, но почти все, в чем вы сейчас упрекали Марью Николаевну, было совершенно несправедливо, а некоторые ваши советы...

— Нелепы, — как ни в чем не бывало подсказал он. — Это ничего.

— Как ничего? А если она их примет к исполнению?

— Ну, вот еще? Когда же это бывало?! *Разве Ермолову можно учить?* Разве она в состоянии играть так, как ее «научили»? Из всей моей

критики она теперь запомнила только то, что — все хвалят, а Николай Петрович недоволен: значит, есть в роли что-то недовершенное, до чего я еще не дошла, а надо дойти... Ну и будет думать, работать. И вот тут-то вовсе не из критических моих советов и замечаний, а из нее самой всплывут какие-нибудь такие ослепительные моменты, что в следующий спектакль вы только ахнете: покажется она вам совсем новою...

— А вы будете опять браниться?

— А я буду опять браниться.

Не знаю, действенна ли была система Шубинского, не приписывал ли он своей критике больше значения, чем она имела. Сдается мне, что и в ней он больше оригинальничал и «способствовал», чем преследовал серьезную цель какой-то хитроумной педагогической провокации. «Все, мол, так, а я — этак, — с тем меня и бери». Того, чтобы Ермолова следовала его советам, я действительно никогда не замечал, но — что своею придирчивостью он втолковал ей считать его самым тонким, строгим и глубокомысленным ценителем — это несомненно... В действительности же, едва ли он уж так много смыслил в театральном искусстве. Доказывал же он мне однажды, будто известный баритон Титта Руфо (правда, великолепный голос и превосходный певец) несравненно выше Шаляпина как музыкально-драматический выразитель и актер!..

Все, что я вспоминаю здесь, относится к первой половине 90-х годов. Впоследствии, может быть, изменилось. По крайней мере, в 1899 году, гастролируя в Петербурге (играла Магду в «Родине» Зудермана), Марья Николаевна встретила меня словами:

— Привезла вам поклон и привет от Николая Петровича... А от вас что Николаю Петровичу отвезти и сказать?

И в дальнейшем разговоре Николай Петрович поминался ею так часто и интимно дружелюбно, как в московское время не бывало...

После революции 1905 года Шубинской объявился в Государственной думе правым октябристом и, кажется, тогда же сделался крупным пайщиком «Нового времени». В этой метаморфозе я его уже не знал. Выступления его в Думе не были удачны вообще, а некоторые и совсем провалены — в результате все того же вызывающего снобизма, который не раз компрометировал его на адвокатской трибуне, а на политической оказался вовсе некстати. Впрочем, и вечный победоно-

сный соперник Шубинского, «московский Златоуст» Плевако, неодолимый в судебном красноречии, как скоро попал в Государственную думу, обманул всеобщие ожидания, явившись в качестве политического оратора слабым, робким и малосодержательным: ему тоже как будто было «нечего сказать»...

МЕЦЕНАТ-ЭСТЕТ
(Памяти «восьмидесятника» И.И. Трояновского)

Очередное печальное известие из Москвы: скончался Иван Иванович Трояновский, один из лучших тамошних врачей и широко популярный в местной интеллигенции меценат-эстет, владелец замечательного собрания картин русской живописи. В 1918 году оно сдано им «на хранение», т.е. пожертвовано для спасения от большевицкого грабежа, в Третьяковскую галерею, где и находится ныне.

Как коллекционер, Трояновский был ближе всего связан с «Миром искусства» дягилевской эпохи. Как цветовод председательствовал в Обществе культуры орхидей. Был товарищем председателя в Обществе свободной эстетики[1]. Тесно дружил с Московским художественным театром, когда его только что начали созидать Станиславский и Вл.Ив. Немирович-Данченко.

А в студенческой юности мечтал об оперной карьере, учился петь одновременно со мною у А.Д. Александровой-Кочетовой и был своим человеком в ее гостеприимном доме и молодом обществе, влюбленно окружавшем прелестную дочь ее, Зою Разумниковну Кочетову, блестящую примадонну императорской московской оперы и, в скором последствии, супругу Василия Ивановича Немировича-Данченко. По университету мы с Трояновским почти товарищи: я, юрист, был на втором курсе, когда он, медик, кончал. Певцов же из нас обоих не вышло. Я хоть года три поболтался в этой карьере профессионально, а Трояновский профессии вовсе не вкусил, остался при любительстве.

Но любителем был страстным. С этой стороны он почти портретно написан мною в романе «Товарищ Феня» («Звезда закатная») под именем доктора Афинского. Предупреждаю, однако, что другие ко-

мические слабости доктора Афинского к доктору Трояновскому никакого отношения не имеют. В особенности некоторые самолюбивые увлечения Афинского, простирающиеся до «уклонений от истины», хотя и невинных.

Напротив, Трояновский был правдив неукоснительно, ненавидел не только ложь, но и обычное пустопорожнее российское вранье интересности ради, говорил смело и откровенно, выражался резко. Свою медицинскую практику он начинал под сильным покровительством моего отца, протоиерея Валентина Николаевича Амфитеатрова, усердно рекомендовавшего его в богатые купеческие дома. Трояновский рекомендаций стоил и блестяще их оправдывал, но на первых порах приводил пациентов в панический ужас своими пессимистическими диагнозами, которые он излагал подробнейше, нимало не заботясь смягчать производимое впечатление.

«Ласкового теленка», приспособленного «двух маток сосать», в Трояновском не было ни на чуть ногтя, а, наоборот, очень много от брыкливого козлика. Он был смоляк, из смоленской шляхты, русский, но с примесью польской крови, что сказывалось не только в характере его, но даже и в наружности. Сам острил, бывало:

— Нас, смоляков, поляки дразнят: «Пул пса, пул козы, недовярок Божий»[2], а русские: «Косточка дворянская, да собачьим мясом обросла».

Души Трояновский был добрейшей и хороший, верный друг. Польская наследственность сквозила и в его остроумии, обычно беззлобном, но которое могло окисляться очень ядовито, когда он имел причины (всегда основательные) не уважать человека. Но в товарищеской перестрелке остротами он был нисколько не обидчив: опять-таки польская черточка, — любит поляк меткое слово, хотя бы в укол себе.

Антон Чехов говорил о себе, что медицина его законная жена, а литература любовница[3]. Трояновский в университете тоже колебался, вступить ли ему в законный брак с медициною или в адюльтер с оперной карьерой. Медицина пересилила. И я думаю, что вовсе не потому, что Трояновский сознал слабость своих голосовых данных, довольно громкий и обширный по диапазону тенор его был, что называется, козловит; но он усердно учился, а при старательном и рациональном учении и не из таких «козлов» выходят удовлетворительные певцы. Нет, победило призвание. И к лучшему, как для самого Трояновского, так

и для общества, которое в нем вместо посредственного певца приобрело превосходного врача.

Женитьба на Анне Петровне Обнинской, дочери известного Петра Наркизовича Обнинского, либерального прокурора судебной палаты, юриста и публициста самых передовых по тому времени взглядов, вдвинула Трояновского в «элиту» московской умеренно-левой буржуазии. В успехе, славе и богатстве, достигнутых Трояновским, я его уже не знал. Мы разошлись, когда я перебрался из Москвы на жительство в Петербург, где потом случилось лишь однажды встретиться с ним на одной из Передвижных выставок, да и то мельком.

В искусстве Трояновского всегда тянуло к передовым течениям, за исключением, впрочем, музыки: в ней — не знаю, как впоследствии, но в пору нашей близости был он итальяноманом и чайковцем. В театре — с художественниками, в общем эстетизме — с Брюсовым, в живописи — с Рерихом, Сомовым, Бенуа, Сурьяном, Крымовым и др.[4], в цветоводстве — с «утонченностью орхидей».

На этом последнем его пристрастии любопытно проследить, как человеком, случайно затолкнутым на коллекционерство, оно мало-помалу овладевает до неизбывной страсти. Помню великий хохот приятельского кружка, когда бедный-пребедный студент Иван Трояновский чуть ли не последний свой рубль истратил на приобретение какой-то полюбившейся ему махровой георгины. Может быть, с нее-то и пошло его последовательное превращение в художника-цветовода.

Погруженный в свою науку, в огромную врачебную практику, в искусство, в цветы, Трояновский не имел ни времени, ни охоты к интересам политическим. Сколько помню, он был выборщиком в Первую Государственную думу, — и только. По убеждениям «правый кадет», одно время он уклонился было в октябризм, но по весьма малом сроке возвратился обратно — в лоно кадетско-демократической партии или сочувствия ей, не знаю. Рожденный, может быть, отнюдь не только «для вдохновенья, для звуков сладких и молитв», что доказывала его медицинская и филантропическая деятельность, он, во всяком случае, не годился также «ни для житейского волненья, ни для корысти, ни для битв»[5].

Доктор Афинский в моем романе врач по женским болезням. Трояновский в начале карьеры действительно хотел сосредоточиться на

этой специальности, равно как очень увлекался он и хирургией. Однако почему-то ни гинекологом, ни хирургом он не остался: кажется, обе специальности не нравились его супруге, женщине превосходного ума и сердца, образования и воспитания и одаренной сильным волевым характером. На мужа она имела влияние огромное. Громкую свою известность Иван Иванович заслужил по преимуществу как врач внутренних болезней и почти безошибочный в них диагност, достойный ученик знаменитых Захарьина и Остроумова, младший товарищ Шервинского.

В гинекологический период его практики мы были дружны и очень часто видались. Я тогда только что вошел в московский журнализм и начинал пробовать свои силы в беллетристике. Некоторые рассказы Трояновского, а также одна рукопись, им для меня добытая от другого врача, специалиста-гинеколога и психиатра, послужили мне впоследствии богатым материалом для писания по «человеческим документам». В этом отношении И.И. Трояновский, московский психиатр С.С. Корсаков, петербургский — Б.В. Томашевский, московский председатель окружного суда Е.Р. Ринк, московский присяжный поверенный Н.П. Шубинской (супруг М.Н. Ермоловой) были для меня в дни молодости щедрыми источниками, благодарности которым я — сколько мне ни жить — не избуду.

Всеми глубоко уважаемый, горячо любимый своими близкими и друзьями, число же их было — что песку морского, прекрасный, безупречный семьянин, мирный, честно и трудолюбиво талантливый, много полезный гражданин, И.И. Трояновский прожил долгую и в конце концов завидно счастливую жизнь. Да, как хотите, счастливую, — вопреки даже мраку, наплывшему в нее, как и на всю русскую интеллигенцию, с заменою на московском престоле русских царей большевицкими ханами. Верная подруга Ивана Ивановича Анна Петровна умерла несколько раньше. В их лицах сошла в могилу одна из интереснейших и излюбленных супружеских пар старой интеллигентной Москвы, моей Москвы, Москвы «Восьмидесятников». И хотелось бы, — потому и пишу я эту памятку, — чтобы те хорошие московские люди, которые в России ли, на чужбине ли уцелели от большевицкого разгрома, не забыли этой милой «восьмидесятной» четы, потому что ее есть за что нам добром вспомнить.

«ТА, КТО ВСЕХ ПРЕЛЕСТНЕЙ»

Когда старика больно ущемляет сознание своей старости?

Я против обессиливающих внушений стариковства барахтаюсь довольно бодро, но, хочешь не хочешь, грусть подкрадывается всякий раз, когда я слышу, что из мира невозвратно ушло что-нибудь сильное и красивое, ведомое мне в ранней молодости. Ухнул, значит, в вечности ценный кусок ее — и больше ему никогда уже не быть: разве в каком-нибудь новом существовании лет этак через тысячу, как бывает в романах Крыжановской. Да и то, ведь:

Но в новом мире друг друга они не узнали[1].

Именно вот такою грустью по невозвратном обвеяла меня прочувствованная некрологическая заметка А.А. Плещеева о Вере Ивановне Фирсановой[2]. Так и шепнула: «Ну, вот, брат, вымирает вконец твоя старая Москва; самое красивое ее создание, которое ты помнишь, положили в сырую землю!»

Я не близко знал Веру Ивановну, но она, того не подозревая, долго имела во мне постоянного наблюдателя ее интересной жизни и сыграла немалую роль в строении моих романов о былой московской «коммерческой аристократии».

В лице Веры Ивановны я хороню одну из своих «героинь». А именно — «графиню Лариссу Дмитриевну Оберталь, урожденную купеческую дочь Карасикову», многодействующее лицо «Девятидесятников», «Заката старого века», «Дрогнувшей ночи», «Вчерашних предков» и «Княгини Насти»[3]. Конечно, графиня Оберталь — не портрет Веры Ивановны, но не стану скрывать, что именно ее красота, ее брак с Ганецким, ее фантастический образ жизни, ее чудесная сложность — смесь старомосковского, даже замоскворецкого, закала с парижским выпеком внушили мне эту фигуру. Не раз случалось мне слыхать от москвичей — от кого с одобрением, от кого с упреком:

— Эка вы как нашу Фирсаниху расписали!

До чего была хороша эта женщина! «Даже плакать хочется!» — как однажды выразился покойный Б.Б. Корсов о другой, впрочем, тогдашней красавице, петербургской балерине М.М. Петипа.

Надо отдать справедливость московской коммерческой аристократии: богата была она красивыми женщинами. Бывало, на оперной премьере в Большом театре, водя биноклем от ложи к ложе бенуара и бельэтажа, было на кого взглянуть. Гирляндою опоясывали зал — одна другой лучше — В.А. Хлудова с сестрой Н.Я. Максимовой, Т.Г. Прохорова с сестрой А.Г. Тимашевой-Беринг, Н.М. Мазурина-Брандукова, М.А. Демидова (Плевако), З.Г. Морозова, М.К. Морозова, В.А. Морозова, сестры А.Н. и Л.Н. Ланины, три сестры Летковы, три сестры Кортневы (последние две фамилии, впрочем, дворянские) и т.д., и т.д. Но В.И. Фирсанова в гирлянде этой оставалась все-таки воистину «той, кто всех прелестней». Вот портрет, внушенный ею, графини Оберталь в ремарке к «Княгине Насте»:

«Женщина, на вид лет 26, в действительности значительно старше. Редкой красоты. Янтарный оттенок в цвете лица и сверкающие очи. Одета темно и скромно, с тем изяществом, которое сразу говорит знатоку о безумной дороговизне парижского туалета. Любит найти себе светлый фон. Стоя у белой колонны, выше толпы (NB. Так я впервые видел ее в московском Дворянском собрании, — это там было ее любимое место и поза), она напоминает “Демона” Зичи. Только три украшения: бриллиантовые серьги-росинки (без оправы) и такая же брошь-солитер — три яркие точки, которые как-то неотъемлемо, органически дополняют южную красоту графини и делают ее приметною издали».

Это — точные «паспортные приметы» В.И. Фирсановой в последних 80-х, в первых 90-х годах прошлого века. Одни хвалили: «Ох, жгучая она цыганка!» Другие: «Мурильовская Мадонна!» А все вообще: «Пагуба для сердец молодецких!..» Да! «Я же той, кто всех прелестней, жизнь и кровь свою отдам!»[4]

И кружила же она их! Долго забавляла Москву капризными похождениями своего вольнолюбивого девичества. Много сплетен о ней плыло, но и трагикомической правды тоже было достаточно. Сама себя аттестовала:

— Я савраска без узды!

Ее звали вечною невестою, потому что — за кого только она не собиралась замуж и — не выходила. Влюбится — и всем назавтра рекомендует: мой жених. Но глядь, недели две спустя, она, томная и

прекрасная, уже гуляет на очередной среде Дворянского клуба под руку с другим героем:

— Мой жених.

— Очень приятно, поздравляю. Но, кажется...

— Ах, вы о том мерзавце? Я его прогнала. Он к моим деньгам подбирался. Свинья. И, понимаете, вдруг в самую решительную минуту я узнаю, что он совсем не барон, но какой-то там выкрест!

И все это — чудесным московским говором: всеми гласными поет, — воплощенная мелодия из «Хованщины»[5]! Вообще, вот бы кем гримироваться артисткам, поющим и играющим Марфу, раскольницу и гадалку. По-моему, не «цыганка» и не «Мурильовская Мадонна», а было в ней — недаром староверческого корня! — нечто от «Хлыстовской Богородицы»: такими глазами-алмазами чаровала и палила поди свою влюбленную секту Катерина Филипповна Татаринова. Влекущему магнетизму «святогрешной» фирсановской красоты покорялись не только мужчины, но и женщины. Да какие! Юницы и молодицы нашего материалистического поколения — последние нигилистки, позитивистки, отрицательницы эстетики. Однако, так и бегали по театральным и концертным залам, хвостами, — «полюбоваться на Фирсанову». Знал фанатичек ее «культа», творимого издали, — даже с нею незнакомых.

Женихов было много, мужа — ни одного. Некоторому бодрому гусару — гласит смешная легенда — удалось было Веру Ивановну даже в церковь привезти и — только бы вести ее за руку к аналою, как вдруг она фыркнула:

— Фу, какой у вас глупый нос... Вы, должно быть, пьяница... Ни за что! ни за что!

Повернулась, вышла из церкви, села в карету — и была такова. Опамятовавшись от остолбенения, отчаянный жених бросился было к ней на дом. Но слышит от швейцара:

— Барышня сейчас мимо проехали в карете, велели вам кланяться и сказать, что уезжает в Крым, а оттуда за границу.

Когда после чуть не пятнадцатилетнего буйства на незамужнем положении Вера Ивановна вышла наконец замуж за офицера Ганецкого, ходили по Москве слухи и творились легенды, только что не сверхъестественные. Одни уверяли, будто Ганецкий принудил красавицу венчаться чуть не под дулом револьвера. Другие, наоборот, спори-

ли, что — нет, это не Ганецкий грозил револьвером, а «наша савраска без узды», нарочно и хитро заманив его в свою подмосковную, предложила на выбор:

— Либо венчаемся, либо я вас при посредстве моих служащих пребольно высеку и всему свету о том рассказывать буду.

Ну, Ганецкий, конечно, выбрал женитьбу.

Разумеется, во всех подобных московских сказаниях не было ни слова правды. Слабая же тень ее состояла в том, что Вера Ивановна, уже в перезрелом для барышни возрасте, влюбилась в Ганецкого, а он не поспешил пасть к ее ногам с тою покорностью, к которой она была приучена своими бесчисленными поклонниками.

Вера Ивановна вовсе не была ни лермонтовскою Царицею Тамарою[6], ни тем паче Мессалиною, как расписывала ее старая сплетница «Москвишка», но прожила она свою молодость не без смелых увлечений: женщиной, которая ни сама в цепи не дается, ни на мужчину цепей не накладывает. Преувеличения молвы раздувались главным образом усердием театральной среды. Вера Ивановна была страстною театралкою вообще (что отметил А.А. Плещеев), но смолоду она в особенности щедро покровительствовала великолепной московской оперетке Лентовского. Покровительство это молва толковала ее романтическими капризами. Некоторые из модных опереточных премьеров не стеснялись ее компрометировать хвастливыми намеками, похвалялись ее ценными подарками и т.д. Народец-то был аховый. Альфонсизм тогда в этой среде процветал махрово и откровенно. Спел же однажды спьяну знаменитый Саша Давыдов в пресловутой своей «Паре гнедых» вместо стихов:

Были когда-то и вы рысаками
И кучеров вы имели лихих, —

циническую пародию:

Были когда-то и мы тенорами
На содержанье московских купчих.

Знаться с подобной компанией для богатой женщины значило наверное наживать себе дурную славу. Она и гналась за бедной Верой Ивановной по пятам. Я встречал в провинции таких якобы «амантов

Фирсановой», коих она и в глаза-то никогда не видывала. Правдою же было только то, что дом Веры Ивановны — Пречистенский ли дворец, Средниковская ли усадьба — всегда кишел актерщиной и полон был всяческим «каботинством».

Но это повелось еще при матери ее, особе екатерининских нравов, кончившей свой бурный век смертью скоропостижной и двусмысленной. Дело было очень похоже на отравление с корыстною целью, и молодой вдовец и наследник по завещанию пресловутый красавец Иларион Соколов посидел-таки под замком по напрасному подозрению, прежде чем выяснилась его безвинность. Это очень сложная и мрачная история. Соколов в ней сам был жалкою жертвою — слепым орудием преступной шайки мошенников, достойной нынешних детективных романов.

Веселились на Пречистенке и в Средникове ярко и, по вихревому характеру хозяйки, даже бешено. Иоаким Тартаков рассказывал мне, что для него сущим мученьем были фирсановские катания на тройках: «Верочка любила сама править, и когда садилась на козлы, — катай-валяй! Головоломная скачка, лошади уже не бегут, а несут, седоки ни живы ни мертвы, — не знай, доедем, не знай, на первом хорошем ухабе шеи сломим... А она — она хохотала!»

Ганецкого холостым и военным я не знал. Должно быть, был великолепен, потому что и в штатском остался весьма «импозантным». Странно, — лицом он несколько походил на Веру Ивановну. Вот и его паспортные приметы по «графу Оберталю» из «Княгини Насти»: «Очень красивый, изящный, благовоспитанный, со следами гвардейской выправки. Похож на черкеса, одетого во фрак: янтарное лицо, жемчужные зубы, бархатные восточные глаза. Манеры ласковые, глядят кошечкой. Ручной хищник. Любит драгоценные камни и щеголяет ими».

Старались многие утверждать, будто он женился на Фирсановой только по расчету. Едва ли: прочная красота Веры Ивановны, сердечный, привлекательный характер, живой темперамент, бойкий ум тоже не могли тут не обаять. Но стороною более влюбленною была она. Как женщина, цепей не надевающая и цепей не носящая, она и в этой любви своей не стремилась к законному браку. Но Ганецкий умел внушить ей, что он, дворянин старинного рода, сын «героя Плевны»[7], которому плененный Осман-паша вручил свою саблю, понимает любовь рыцарски — только серьезную и на легкие отношения к женщи-

не не способен. Давал искусно и прозрачно понять, что пленен ею до безумия, но держал себя бесстрастнее мраморной статуи, что — как он впоследствии признавался — стоило ему пред «той, кто всех прелестней» выдержки, можно сказать, сверхчеловеческой. В конце концов победил: Вера Ивановна нашла, что лучшего случая «остепениться» в браке приятном и красивом ей нечего искать, и свадьба состоялась.

Брак, однако, не был ни счастливым, ни продолжительным. Супруги очень скоро «не сошлись характерами». Освобожденный женою от холостых долгов, молодой и самолюбивый Ганецкий, однако, вовсе не расположен был жить и слыть только «мужем миллионерки». Пустился в доходные предприятия. Деловая жилка в нем билась живо, но делового уменья не было. Он попал в руки крупных, но сомнительных дельцов тогдашнего Кредитного общества, которые запутали его не только до разорения, но и до опасности сесть на скамью подсудимых — отнюдь не за свои грехи, но в качестве козла отпущения за чужие. Капиталу жены Ганецкий тоже нанес жестокий ущерб. На этой почве возникли между супругами разногласия, и дело кончилось взаимным охлаждением, разрывом и, наконец, формальным разводом[8].

Памятником предприятий Ганецкого остались в Москве превосходные бани на Неглинной, бывшие Сандуновские. Ганецкий перестраивал их с древнеримским великолепием, в намерении «перешибить» другие, тоже великолепные бани В.А. Хлудовой (вдовы пресловутого московского капиталиста-чудодея, «Мишки» (Михаила Алексеевича) Хлудова, неоднократно отраженного в романах Каразина, Вас.Ив. Немировича-Данченко, Боборыкина). На этой конкуренции и сломал себе шею Ганецкий. Бань своих заложенных и перезаложенных еще на фундаменте он до развода не достроил, а после развода был из-за них между бывшими супругами судебный процесс, по которому они, кажется, остались за Верой Ивановной.

Это все происходило, когда я уже навсегда расстался с Москвой и жил далеко-далеко от нее и ее интересов. Мой Оберталь, хотя наружностью списан с Ганецкого, — не он, но гораздо более крупная и сложная фигура типического для 90-х годов аристократа-афериста, барина, пустившегося по коммерческим путям, и неудачника, потому что лапы у него уже купецки загребистые, а совесть еще не утратила дворянской щекотливости.

Что сталось с Ганецким дальше в жизни, не знаю, а Веру Ивановну я видел в последний раз в Милане, в 1907 году, при первой постановке «Бориса Годунова» в «Скале» с Шаляпиным: ради него она приехала откуда-то с французской Ривьеры. Было ей тогда уже по особенному дамскому счету под пятьдесят, если не все — и с хвостиком, но хороша была еще очень. С годами особенно явно проступила в ней древняя староверческая кровь: уже иконопись — в удлиненном и узком лице, но в глазах — все еще черти раздувают угольки! Степенная, истовая, ласковая, — прямо пиши с нее царицу Марью Ильинишну Милославскую. Говором по-прежнему пела и вместо «каких» говорила «какех» и «вдарить» вместо «ударить». Была почти разорена, и удручали ее какие-то сложные судебные процессы, так что даже и в Милане, на заграничном художественном отдыхе от дел, сопровождал ее неотлучным компаньоном московский юрисконсульт, мужчина представительный.

ТЯЖКАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Убийство В.Д. Набокова[1] все, почти без исключения, понимают как террористический акт, обрушенный крайнею монархическою правою русской эмиграции на ее умеренный, либерально-демократический, республиканский центр. Но так как убийство это, помимо своей гнусности, поражает еще безмерною политическою глупостью — самоубийственною бессмысленностью для монархистов компрометировать себя пред Европой столь отвратительно, да еще накануне Генуэзской конференции[2], — то некоторые предполагают, будто за спиною автоматов-монархистов работала действенною пружиною ловкая провокация большевиков. Они-де, давно проникнув в монархическую среду именно крайнего правого толка, макиавеллически толкают ее одураченных фанатиков ко всяким политическим безобразиям словом и делом. И вот теперь натравили двух изуверов на покушение, после которого моральная репутация русского правого монархизма может считаться мертвою не менее, а более, чем мертв пронзенный монархическими пулями В.Д. Набоков в своем кровавом мученическом гробу. Истину выяснит (а может быть, и не выяснит) следствие. Для меня сейчас

важно не то. Участвовали ли в злодеянии какие-либо организации, и если да, то какие, этот вопрос я оставляю в стороне. Я остановлюсь лишь на том существенном факте, что убийца *сам заявил себя монархистом и мстителем за царя.*

Если это убийство — что называется на арестантском жаргоне — «наверченное», т.е. созданное провокацией, то надо отдать справедливость провокаторам: они хорошие психологи и ловко выбрали исполнителя своих предначертаний. Если оно задумано и совершено самостоятельно, то я все-таки отнесу его к числу «наверченных» — пусть не чьим-либо личным наущением, но всею прежнею житейскою обстановкою и подготовкою убийцы, и прежде всего *его происхождением.*

Я не знаю Шабельского-Борка лично, никогда его не видал, ничего ни от кого о нем не слыхал и, следовательно, — за исключением гнусного убийства, им совершенного, — не имел индивидуальных данных к суждению о нем ни в пользу его, ни во вред ему.

Но в сочетании этих двух фамилий — «Шабельский-Борк» звучит изумительною точностью зловещий фатум человека, уже фактом своего рождения предопределенного для какого-либо деяния в плоскости психического вывиха, невропатической аномалии.

Газеты еще не сообщают биографических данных о Шабельском-Борке, но такую двойную фамилию может носить дитя только одной брачной пары в России: известной в свое время журналистки и актрисы Елизаветы Александровны Шабельской и d-га Борка, бывшего главного врача Нижегородской психиатрической больницы, впоследствии игравшего довольно видную роль в петербургской фабричной инспекции. Его имя я, к сожалению, забыл. Александр Эдуардович? Эдуард Александрович? Или иначе? Более двадцати лет прошло, как мы не видались. Не помню. Но когда-то я знал обоих очень хорошо.

Е.А. Шабельская была известна в петербургском журнальном мирке 90-х годов под полушутливым именем «Эльзы фон Шабельски», намекавшим на ее сильную онемеченность долгим пребыванием в Германии в качестве сперва актрисы (ученица Эрнста Поссарта), потом политической корреспондентки «Нового времени»[3]. Звали ее тоже, уже совсем шутливым комплиментом, «Эльзон фон Брабант» — из «Лоэнгрина», по созвучию имени и за красоту золотистых волос. В ранней юности, в конце 70-х, в начале 80-х годов, она была необычайно хороша собою: Грезова головка. Она была старше меня лет на

3. Заказ № 833.

семь, на восемь, и уже из гимназического своего времени я живо помню ее маленькою актрисою в московском театре Корша, где она играла мало и плохо, а больше она блистала своею лучезарною красотою и парижскими туалетами из-за барьера директорской ложи[4]. Покойник Дорошевич однажды месяц не завтракал — копил деньги, чтобы поднести букет этому божественному видению, которое, конечно, даже и не заметило его жалкого гимназического дара. Ибо — «были там послы, софисты, и архонты, и артисты!»[5].

Физически Эльза была создана для театра, да и голову имела умную, способную к чутко вдумчивой мысли и, следовательно, к творчеству. Но природа посмеялась над нею, отказав ей в сценическом таланте. И это сделалось лютым горем и тайною отравою всей ее жизни. Я не знал женщины, более страстно влюбленной в театр. Чтобы завоевать его, она употребила много лет, развивала огромную энергию, бесконечно училась, достигла глубокого понимания театрального дела, но ничего из этого не вышло: теоретичка была изумительная, актриса — никакая. Конечно, делать театральную карьеру, как многие другие, артисткой средней руки она очень и очень могла бы. Но само сознание недюжинной натуры вооружило ее, как истинно трагическую неудачницу, громадным честолюбием: не Корш какой-нибудь ей мечтался, а европейская слава, русская Сара Бернар, русская Фанни Вольтер. По характеру и образу жизни юная Эльза походила больше на Моцарта, «гуляку и безумца праздного», но по упорству своей господствующей страсти к театру была истинным Сальери в юбке — неудачником, бессильно «поверяющим алгеброй гармонию»[6]. Не помогли ей ни Эрнст Поссарт, ни Пауль Линдау, многолетний друг ее. Она навсегда осталась только «театральной». И — рассудком поняла свою трагедию и подчинилась необходимости отойти от театра, а сердцем никак не могла отлипнуть.

Не вышла актрисою, цеплялась за театр, как рецензентка (очень лютая, даже беспощадная — особенно к артисткам, которых она озлобленно ревновала к каждой любимой своей роли)[7], как драматическая писательница[8] и переводчица, как режиссерша и преподавательница сценического искусства. Но все это были только паллиативы против основной кровоточащей раны ее сердца, которая истощила всю ее жизнь, исказила всю ее мысль, исковеркала всю ее, по существу, может быть, и очень хорошую натуру. Наконец, театр уже совсем доко-

нал ее в качестве антрепренерши злополучного петербургского театра Неметти, где она потерпела жесточайший крах и в одну зиму разорилась дотла сама, да сильно ударила по карману также своих поставщиков и доверителей. Результатом и эпилогом краха был пресловутый и весьма скандальный процесс по обвинению Шабельской в подлоге векселей товарища министра финансов Вл.Ив. Ковалевского[9]. Он кончился оправданием, потому что Ковалевский, по некотором колебании и размышлении и в некоторых сторонних соображениях, предпочел свои векселя признать. Дело свелось лишь к злоупотреблению доверием.

Е.А. Шабельская происходила из очень хорошей дворянской фамилии Харьковской губернии. С роднею она была в ранней и долгой ссоре — за театр и за эксцентричный образ жизни, который она повела как «всесветная бродяга» (ее собственная характеристика) чуть не с шестнадцатилетнего возраста. Театральное товарищество и в особенности компания знаменитого артиста-комика, покойного В.Н. Андреева-Бурлака, чей великий талант превосходило лишь еще более великое его же пьянство, быстро превратили молодую женщину в типическую каботинку. Здесь и в парижской литературной богеме 80-х годов, под патронажем увлекавшегося ею Жана Ришпена, Эльза приобрела две пагубные страсти: алкоголизм и морфиноманию.

Она была железного, несокрушимого здоровья, но истеричка, а совместная работа двух привычных ядов быстро расшатала ее нервную систему, и без того ненадежную. Два этих порока, алкоголизм и морфиномания, обыкновенно исключают один другой, но, когда они сочетаются, получается жуткое самоуничтожение организма, истлевающего, как свеча, зажженная с двух концов. В такой опасной мере, как у Эльзы Шабельской, я наблюдал это страшное сочетание лишь у одного, тоже очень странного человека: у пресловутого своей непопулярностью московского обер-полицеймейстера Власовского, того самого, который пострадал «козлом отпущения» за давку на Ходынке в коронационный праздник Николая II. Этот алкоголик, морфиноман, садист, самодур, фантаст, одержимый галлюцинациями и манией преследования, был человек уже безусловно психически анормальный. Любопытно отметить, что А.А. Власовский приходился Е.А. Шабельской в близком родстве, кажется, двоюродным братом[10].

Когда я познакомился с Шабельскою (1896), все несчастные качества Власовского, за исключением садизма, были уже присущи ей в

весьма развитой степени. Несмотря на свой уже сорокалетний возраст и значительную поблеклость былой ангельской красоты, она сохранила еще довольно привлекательную наружность и, покуда была трезва и не одурманена морфием, была очаровательною собеседницею. Умница, разносторонне образованная, пестро начитанная, везде бывалая, остроумница, быстрая и меткая на слова. По белому свету она металась уже воистину как «беззаконная комета»[11]: где только, с позволения сказать, не носила ее нелегкая! В каких только переделках она не бывала! Сама себя откровенно сравнивала с madame Angot[12]. Слушать, как, бывало, она странным языком сразу с двумя акцентами — украинским и немецким — плетет свою Шехерезаду, было большим удовольствием. В особенности, когда она, будучи в ударе, принималась откровенно повествовать свои курьезнейшие похождения в Марокко. Речью она была грубовата, закулисно вульгарна, выражениями не стеснялась, и все вещи бесцеремонно называла своими именами, чем немало ошеломляла, пугала и даже отвращала от себя иных новых знакомых.

Но надо ей отдать честь: видал я ее во всяком обществе, от великих князей и министров до «бывших людей» включительно, и всегда она была одна и та же, ни для кого не менялась, ни к кому не приспособлялась, не лгала собою ни в слове, ни в деле. Не боялась рассказывать о себе иной раз такие эпизоды, что слушаешь и едва веришь: черт знает, что взводит на себя женщина! Проверишь: нет, как ни дико, правда. Вообще, лгуньей она не была, что очень редко в истеричке. Хитрить, интриговать, политиковать, провести, окрутить вокруг пальца очень могла. «Врать», т.е. плести небылицы, — нет. Даже не любила их слушать. Зачем ей было? Когда она умерла, известный фельетонист А.Р. Кугель справедливо написал в некрологе, что ее жизни достало бы на десять романов во вкусе Александра Дюма[13].

Интересно-то с нею было очень, но и жутковато. Истерия, морфий и портвейн сделали ее одною из самых диких женщин, каких когда-либо рождало русское интеллигентное общество, при всем плачевном изобилии в нем неуравновешенных натур. Даже в женской галерее Достоевского нет такой причудливой и *опасной* фигуры. Подчеркиваю — опасной, — потому что изменчивое буйство ее отравленного характера никогда не позволяло даже самым близким к ней угадывать, скажем, поутру, чего от нее можно ожидать в полдень, уже и не помыш-

ляя о такой отдаленности, как вечер. А весьма значительная и разносторонняя одаренность и бурно настойчивая капризная воля облекали ее безудержные порывы в хаотическую «инфернальность», весьма неразборчивую в целях и средствах. Летопись ее дружбы можно назвать международною трагикомедией знаменитостей. Кто только не был с нею приятельски близок! не переписывался, не был на «ты», и кто только с нею в конце концов не поссорился!..

В.Н. Андреев-Бурлак, Эрнст Поссарт, А.Ф. Кони, знаменитый московский баритон П.А. Хохлов, М.М. Ковалевский, Жан Ришпен, Пауль Линдау, А.С. Суворин, Л. Захер-Мазох, С.Ю. Витте, Т.И. Филиппов, Максимилиан Гарден, М.И. Кази, В.И. Ковалевский, С.Т. Морозов: все краски и тона мешались в пестром альбоме этой российской Рахили Варнгаген или мадам Рекамье à la cabotine[14]!.. Кстати замечу: Эльзу за ее интимное дружество со множеством «интересных мужчин» сплетня награждала несчетным количеством любовников и репутацией какой-то ненасытной Мессалины. Это неправда. Я не присягну в том, чтобы она была образцом целомудрия, но, наблюдав ее очень близко в течение почти пяти лет, беру на себя смелость утверждать, что в ее отношениях к мужчинам чувственность имела очень малое значение. Я даже назвал бы ее скорее *холодной* женщиной: есть — и довольно часто встречается — такая обратная форма истерии. Она вечно, непрерывно была в кого-нибудь страстно влюблена, но не влюбленностью пола, а влюбленностью дружбы. Зато, при первом же недовольстве другом, с такою же легкостью стремительно разжаловывала его в злейшие враги. Когда я узнал ее, она молилась на двух богов: на старика Суворина и на известного германского публициста Максимилиана Гардена. Но можно было лопнуть со смеха, наблюдая, как она к ним менялась изо дня в день, в зависимости от содержания писем, которые от них получала. Особенно — к Гардену. От почты до почты он то прославлялся ею как «гений, которому Гейне недостоин корректуру править», то низводился в позорные звания «немецкого крокодила», «бесчувственной тупицы», «кислятины» и т.п.

По правде сказать, отношение Эльзы к друзьям весьма напоминало богомольных самоедов, которые, когда Микола им помогает, мазнут ему губы сметаной и, когда они Миколой недовольны, секут его розгами и выбрасывают из чума на мороз. Курьезов такого рода я мог бы рассказать, как говорится, энное количество.

Дружбой Эльзы пользоваться было надежно, но тяжело, из-за ее ревнивой и подозрительной бдительности за преданностью и искренностью друзей. Истерически недоверчивая, она в дружбе только и делала, что контролировала да проверяла.

Это был постоянный экзамен взаимных обязательств — и очень требовательный, с бесконечною перепискою, выяснением недоразумений, истерическими сценами. Враг же она была жестокий. А так как и в дружбах, и враждах она была одинаково скоропалительна, то вот уже о ком благоразумный человек мог по праву сказать, пародируя «Горе от ума»: «Минуй нас пуще всех печалей и Эльзин гнев, и Эльзина любовь!» Для друга готова хоть на плаху, забывает все свои собственные интересы, пренебрегает неприятностями и опасностями, жертвует последним своим достоянием. Но чуть почудился ей (по мании преследования) в друге «изменник», она мгновенно, даже без проверки подозрения, объявляла его врагом и мгновенно же устраивала ему какую-нибудь такую гадость, какой и от настоящего заклятого врага не скоро дождешься. Я прошел через искус и дружбы ее, и вражды и могу по опыту сказать, что никто посторонний не оказывал мне столько и таких предупредительных и бескорыстных услуг, как Эльза благосклонная, и никто не осыпал меня такой беззастенчивою печатною руганью, не распространял обо мне таких ядовитых и вредных слухов, как Эльза свирепая. Середины она не знала.

Всего тяжелее бывало с нею в мрачные часы реакции от морфия и алкоголя. В тоске по своим ядам она делалась невозможна. Превращалась в неврастеническое чудовище, и жалкое, и страшное. Даже физически изменялась, мгновенно старея на десять лет. В этом состоянии она была на все способна: выстрелить в человека, выброситься из окна, выбежать нагою на улицу, плюнуть в лицо незнакомому прохожему, поджечь собственную постель... всего бывало!.. Чтобы утишить это ужасное томление духа, требовалась новая бутылка ее излюбленного портвейна либо новое впрыскивание морфия, которого она боялась, поддавалась ему с проклятиями и скрежетом зубовным, но удержаться от него не могла... Потому что, помимо мучительной и опасной тоски своей, она давно уже потеряла естественный сон, засыпала только под наркотиками, на короткие сроки, а от недосыпки мучилась по целым дням страшными головными болями, уступавшими только опьянению.

Эти-то головные боли и привели ее в 1896 году, во время Всероссийской Нижегородской выставки, к знакомству с местным психиатром, доктором Борком. Он имел в Нижнем Новгороде репутацию человека очень даровитого, но опустившегося под бременем семейных несчастий, обленившегося и совершенно запустившего свою науку. Действительно, в медицине он был великий скептик и отрицатель. Но довольно успешный эмпирик. Шла молва, что у него «счастливая рука», и кажется, он сам веровал в нее гораздо больше, чем в свои знания, и, пользуя больных своих, весьма не прочь был иной раз даже от чисто знахарских приемов. Борку тогда было тоже за 40 лет. Собеседник он был чрезвычайно интересный — ловкий светский человек и в то же время мистик, глубокий и, кажется, искренний. Житейские несчастия и провинциальная скука заели его жизнь, а работа в психиатрической больнице разбила его нервную систему почти до кандидатуры в «Палату № 6», как он сам неоднократно мне жаловался. Какое-то нервное поражение угрожало ему неминуемою потерею зрения: он уже едва видел уголком одного глаза и, кажется, вовсе не видел другим, быстро шагая к слепоте. Неудивительно, что в совокупности несчастий отгонял прочь отчаяние разгульным образом жизни и сильно пил. Однако в этом, как будто безалаберном, алкоголике или, точнее сказать, «шампаньолике» (термин покойного психиатра Б.В. Томашевского), потому что пил он исключительно шампанское, без пощады к себе тратя на дорогое вино скромный заработок провинциального врача, загадочно жила большая психическая сила. Того типа сила, что впоследствии прославила и подняла на столь фантастическую высоту Григория Распутина. Борк был сильный магнетизер и гипнотизер — пожалуй, сильнее даже, чем он сам думал. Я наблюдал не раз, как он лечил Шабельскую от ее ужасных мигреней. Стоило ему положить руку ей на голову, чтобы Эльза минут через пять, много десять, уже спала крепким сном, а проснувшись через час-другой, чувствовала себя на некоторое время здоровою и веселою, без тоски по морфию и портвейну. Таким образом, постоянное присутствие Борка сделалось для нее совершенно необходимым. В это время в пестром калейдоскопе ее жизни приключилась новая перемена, давшая ей очень большое значение в петербургском бюрократическом круге и почти всемогущее влияние на круги промышленный и торговый[15]. И вот она вытащила своего целителя Борка из провинциальной трясины и чудесно устро-

ила его в Петербурге. Между врачом и пациенткою мало-помалу возникла близость, которая впоследствии увенчалась браком.

Таковы родители Шабельского-Борка, убийцы В.Д. Набокова. Произвели его на свет они уже в пожилых годах. Мать — истеричка почти клинической неуравновешенности. Отец — невропат и «медиум». Мать алкоголичка и морфинистка. Отец — «шампаньолик». Жизнь матери — сплошная цепь буйных эксцессов, не раз скользивших по грани уголовщины. Жизнь отца — тяжелый меланхолический туман, насыщаемый вдобавок постоянным отравно-заразным общением с душевнобольными. Какого иного плода можно ждать от подобного союза, кроме угрюмого и опасного дегенерата, чья развинченная воля менее всего зависит от него самого, а неизбежная наследственная неуравновешенность представляет собою удобнейшее поле для обработки всякому ловкому интригану, охочему использовать эту больную волю для своих преступных целей, направив ее на путь эксцессов — скандала, насилия, убийства? А если бы не нашлось ловкого внушителя-интригана, то ведь роль его может с успехом сыграть и собственная (вроде раскольниковской) навязчивая идея, против которой недужная воля окажется столько же бессильною, как и против стороннего внушения. А, как мы сейчас увидим, навязчивая идея монархического террора в Шабельском-Борке, сыне Е.А. Шабельской и d-ra Борка, может и даже должна быть *наследственной.*

Когда театральная карьера безнадежно изменила Е.А. Шабельской и это разочарование разбило ей сердце, она нашла для себя утешительный суррогат в журналистике. Написав несколько остроумных писем в частном порядке А.С. Суворину, она заинтересовала старика настолько, что он отправил ее политическою корреспонденткою в Берлин. Литературного дарования она не имела, но обладала большим разведочным талантом, умела проникать во все круги общества, была бесстрашна пред великими мира сего, не смущалась никакою рискованною авантюрою и, в довершение столь положительных корреспондентских качеств, блистательно владела иностранными языками, в особенности немецким.

По-немецки она писала лучше, чем по-русски. «Новому времени» она была чрезвычайно полезна и выгодна как превосходная и ретивая осведомительница. «Я, голубчик, куда журналистов не пускают, как дама пройду, а куда дам не пускают, пройду как журналист», — лю-

била хвалиться она, — и имела право. Суворин ее ценил, платил ей прекрасно, но держал ее в ежовых рукавицах и в черном теле. Писать она была усердна неистощимо — до графомании, но из десяти ее писем старик печатал одно, два, безжалостно вымарывая все ее политические «взгляды и нечто» и пропуская в газету лишь осведомительную часть. Из-за этих вымарок между ними шла постоянная перепалка, письменная и устная, причем обе стороны не жалели друг для дружки крепких слов.

В звании корреспондентки «Нового времени» Е.А. сумела создать себе в Берлине видное положение и проникла в большую германскую печать.

На коронацию Николая II и Всероссийскую Нижегородскую выставку она приехала как корреспондентка нескольких крупных немецких газет. Ближе всего она тогда была связана с «Die Zukunft» Максимилиана Гардена.

Как истинная истеричка, Эльза вся была соткана из противоречий. Ближайшими и интимнейшими ее друзьями были немецкие евреи: Эрнст Поссарт, Л. Захер-Мазох, П. Линдау, М. Гарден; а между тем в своей публицистике она громила еврейство с яростью сущего Амана[16] в юбке и, что дальше, то, год от года, все свирепела, покуда, наконец, в «Колоколе», получив полную свободу действий, не завопила уже прямо-таки погромного клича. Трудно вообразить более властную и ярко выраженную феминистку в отношениях частной жизни, но в статьях своих она пресно и сентиментально славила идиллию немецкой буржуазной семьи, с идеалом трех «К» императора Вильгельма II — «Kirche, Küche, Kinder»[17] — и с фанатическою ненавистью набрасывалась на все опыты и успехи женского равноправия, на проникновение женщин в мужские профессии и т.д. Две трети жизни проскиталась она в государствах демократического строя или устремления к демократическому строю, а в Россию возвратилась с психологией и проповедью «дикой помещицы», яростною фанатичкою дома Романовых и победоносцевской триады[17a] — «православие, самодержавие, народность». Патриотизм она определяла беззаветным и нерассуждающим служением началам этой тройственной формулы, и сама им служила не за страх, но за совесть, со всем буйством и воинственным наскоком, свойственным ее дикой натуре.

В заграничных своих странствиях она имела множество резких столкновений с лицами, не проявлявшими уважения к русскому государственному строю, к верховной власти и, в особенности, к династии. До того усердствовала, что прослыла в берлинском обществе русскою шпионкою, и нелестная молва проникла в печать. Какая-то высокопоставленная дама стала предостерегать ее против этого дурного слуха, но получила гордый ответ:

— Конечно, я русская шпионка. А вы разве нет? Как же вам не стыдно? Долг каждого русского за границей быть шпионом для своего правительства.

Эту похвальбу я лично от нее слышал. Таков был характерец!

Патриотизм «Нового времени» не удовлетворял ее. В зыбкой суворинской лавировке, со всегдашнею лазейкою к отступлению в недосказанности, ей мерещились затаенные ноты ненавистного западного либерализма, а она жаждала и требовала царизма безоговорочного, с закрытыми глазами, воинствующего и боевого, «топчущего, как глину, своих врагов»[18]. Суворин, конечно, был монархист и большой мастер ладить с правительством, играл на патриотических струнах, во всех гаммах, как великолепный виртуоз. Но он был слишком умен и практичен, чтобы принимать всерьез и к руководству истерические вопли своей берлинской приятельницы, превратившейся в ходячее «Боже, царя храни».

А она-то ведь, возвращаясь в Россию, наивно воображала сыграть при старом журнальном Нуме Помпилии учительную роль нимфы Эгерии[19] и едва ли не надавала в этом смысле обещаний своим немецким друзьям. Ошиблась. Разругались. При посредстве Витте Шабельская основала в Петербурге газету «Народ», под редакцией Стечкина, крайнего реакционера, молодца из «Московских ведомостей». Издание велось неряшливо и бездарно, было лишено всякого политического смысла и литературного интереса, никто его не читал, у публики оно слыло не «Народ», но «Урод». Газета быстро умерла, пожрав бесплодно несколько десятков тысяч рублей, данных по приказу Витте известным московским капиталистом Саввою Ивановичем Мамонтовым, знаменитым покровителем всяческих искусств и художеств. Он, к слову сказать, искреннейше ненавидел это якобы свое издание всею глубиною своей артистической души. Но — нечего делать, давал «Народом» взятку министерству финансов, от кредитов которого совершенно за-

висел, так как, затянутый Витте в непосильные подряды, он уже стоял на границе вскоре воспоследовавшего своего краха и разорения.

Настоящее публицистическое блаженство наступило для Шабельской много позже, после первой революции. Когда ушедшее было начальство опять пришло[20], реакция расцвела полным цветом, завопило черносотенное «Вече», взвеяло зловещее «Русское знамя», зазвонил погромный «Колокол», графомания Шабельской нашла в черносотенных изданиях восторженный прием и широкое применение. Она заливала столбцы их писаниями, не имевшими ни склада, ни лада, но — все признаки серьезного нервного расстройства, с бредом преследования в опасной, бешеной форме. Это был непрерывный набат, призывавший к уничтожению всех сил, явлений, учреждений, больших и малых величин, нежелательных династии и государственной церкви. Сплошной и ежедневный донос на либеральную и даже на консервативную, но недостаточно ретроградную прессу, на интеллигенцию, на Государственную думу. Но с особенною яростью ожесточалось больное воображение Шабельской на «жидов» и фантастических «жидомасонов», злокозненные интриги которых, по представлениям русской «правой», «сделали революцию». Здесь из-под пера Эльзы лилось уже такое безумие мысли и сквернословие языка, что разве лишь Гонта с Железняком менялись подобными идеями в подобных выражениях на военном совете пред Уманскою резнею[21]. Особенно чудовищны были романы из жизни революционеров и «жидомасонов», которые она печатала в «Колоколе»[22]. Это любопытнейшие «человеческие документы» не для рядового читателя, но для внимательного психиатра. Нелепица бредовых видений и слов, будто вырванная из журнала, издаваемого на буйном отделении дома сумасшедших. Мания преследования в полном разгаре. В каждой строке чувствуется галлюцинатка, в которой морфий окончательно парализовал работу задерживающих центров, и в борьбе с неотступно осаждающими ее призраками она изнемогает от отчаяния и *кроваво* звереет на них. Я уже не знал Эльзу лично в этом периоде ее умственного хаоса, не видал ее вообще с 1901 года. Но, когда мне говорят, будто она усердствовала так за правительственные ссуды и субсидии, я не верю и не поверю, даже если бы нашлись доказательные тому документы. Потому что получать деньги с правительства, которому она сочувствовала всей душой, Эльза, пожалуй, могла и за грех не считала, тем более, что в денежных счетах

всегда была безалаберна до ужаса и неразборчива в средствах до безобразия, что и привело ее к пресловутому процессу с Ковалевским. Но продажные перья *так* не пишут. Тут звучала страсть, дикая, яростная страсть одержимой безумицы, которая изливается в *словесном терроре*, очень сожалея, что он не имеет разрушительной силы *террора* фактического. И уж конечно, если бы Эльза была сейчас жива и сын ее открыл бы ей свое намерение истребить «жидомасона и виновника революции» Милюкова, «в отмщение за царя», то не мать стала бы его отговаривать. Напротив, пожалуй, сама зарядила бы револьвер и — подобно древней спартанке: «Со щитом или на щите»!..

Что касается доктора Борка, он вспоминается мне также очень твердо выраженным монархистом крайней правой марки, что для врача 90-х годов было довольно оригинально, так как медицинское сословие, в общем, почиталось либеральным и неблагонадежным. Борк же был, что впоследствии стали называть, «зубр»: человек дворянской кокарды и угрюмой скорби по старине до 19 февраля[23]. Но, в противоположность буйному динамическому царизму Эльзы, его монархизм был статический, спокойный, замкнутый в себе. Однако впоследствии Борк принимал деятельное участие в воинствующем «Союзе русского народа»[24] и, кажется, играл в нем очень видную, влиятельную роль. Во всяком случае, полное политическое согласие мужа-психиатра с женою-пациенткою несомненно. Достаточно указать, что этот полуслепой человек неутомимо перестукивал для печати на машинке все статьи Е.А., так как рукописи ее невозможного скачущего галопом почерка типографии отказывались набирать. Таким образом, он знал каждое ее публично сказанное слово, да ему же принадлежала и правка ее хаотического слога, небрежнейшей орфографии и фантастической пунктуации. Следовательно, все печатное сумасшествие Шабельской им одобрялось и благословлялось.

Вот почему, когда будут судить Шабельского-Борка за противомилюковское покушение, жертвою которого пал несчастный В.Д. Набоков, суду придется считаться с тяжкою наследственностью несомненного дегенерата — не только психофизиологическою, но и политическою. Повторяю: для меня сейчас безразлично, «навертел» ли кто-либо Шабельского-Борка на преступление, или он сам нашел его идею. Важно, что этот запоздалый плод анормальной супружеской четы, дегенерат во втором поколении, родился, вырос и воспитался в атмо-

сфере словесного монархического террора, впитал в себя его идею и мечту, так сказать, с материнским молоком. Она для него — почти что прирожденная идея. И когда роковой случай поставил на его пути предлог и даже как бы экзаменационный вызов к террору фактическому (приезд Милюкова), что же удивительного, если развинченная и беспорядочная воля психопата не оказала кровавому соблазну никакого сопротивления, а, наоборот, жадно влюбилась в практический план, так согласный с его теоретическою подготовкою от младых ногтей? И пошел полоумный человек, и принялся палить. В намеченную жертву не попал, но переранил кучу случайно подвернувшихся людей, а одного — драгоценнейшего и благороднейшего — уложил в гроб... Да заодно уже пристрелил и ту монархическую идею, во имя которой он поусердствовал, как медведь надо лбом пустынника[25]. Ибо долго-долго не оправиться русским монархистам от тягостного впечатления, которым преступление Шабельского-Борка откликнулось во всех странах и народах цивилизованного мира, а пожалуй что, и никогда не оправиться. И теперь, уж если есть кого монархистам проклинать как злейшего врага и губителя их дела, то это, конечно, Шабельского-Борка. Безвинно пролитая кровь Набокова залила программу Рейхенгалля[26] так густо, что сейчас в ней никто ничего и разбирать не хочет: все заслонило и как бы съело грязное кровавое пятно. А об авторе пятна этого — предвижу — будет долгий и великий спор между тюрьмою и домом умалишенных, между прокурором и психиатрами[27].

P.S. Статья моя была уже отправлена на почту, когда один пражский знакомый, зайдя ко мне, усомнился в разговоре, точно ли Петр Шабельский-Борк — естественный сын Е.А. Шабельской и доктора Борка? не приемный ли и усыновленный? В основание сомнения указывал, что, по газетным сведениям, Шабельскому-Борку *уже 28 лет*, тогда как Е.А. Шабельская и доктор Борк познакомились только в 1896 году[28]. Если это сомнение оправдается, то, само собою разумеется, та часть моей статьи, которая предполагает *психофизиологическую* наследственность Петра Шабельского-Борка от Е.А. Шабельской и доктора Борка, устраняется, — думаю, что к сожалению для будущей защиты преступника: ведь он теряет в таком случае важное смягчающее вину обстоятельство. Что же касается второй части статьи, говорящей о наследственности *политической*, т.е. о внушении воспитания

и среды, в которой развился этот безумец и выносил свою готовность к монархическому террору, она от превращения сына естественного в сына приемного нисколько не теряет своего значения. Напротив, еще усугубляет зловещий *фатум семейной школы*, необходимо пройденной молодым человеком у четы, его возлюбившей и приявшей в лоно свое и, конечно, им ответно тоже любимой и почитаемой.

ВЛ.С. СОЛОВЬЕВ. ВСТРЕЧИ

Быть может, ни о ком из деятелей последних лет не ходило в обществе столько разнообразных и разноречивых слухов, как о покойном Вл.С. Соловьеве. Общество чувствовало в нем огромный талант и огромную, интересную загадку. Что он за человек? Разрешить было нелегко тому, кто знал его только по печати да по публичным чтениям. У нас в России принято, чтобы талант причислялся к определенному литературно-политическому ведомству, надевал его мундир и затем неукоснительно проходил в оном длинную лестницу чиновного производства до «нашего маститого» включительно. Вл.С. Соловьев был решительно не создан для мундира. Мысль его, как гигантский маятник, качалась между восточниками и западниками, унося на себе плодоносные следы и тех и других. Это был ни консерватор, ни либерал, ни ретроград, ни радикал, ни народник, ни марксист. Это был одинокий свободомыслящий мудрец, имевший привычку думать вслух — спокойно, искренне, объективно и вслух, — не смущаясь вопросом, по вкусу ли придутся слова его соседям, и в какой отряд «убеждений» они его, на основании этих рассуждений вслух, зачислят. Громадное дарование Вл.С. Соловьева сделало, что его уважали и любили все наши «лагери». Когда он умер, все лагери дружно всплакнули о его смерти. Но ни один лагерь не решился утверждать: он был всецело наш. Говорили только: покойный сходился с нами в таких-то и таких-то взглядах, и мы любили его за это, хотя расходились в других.

Мыслитель вслух и Л.Н. Толстой. Но Вл.С. Соловьев был в другом роде. Не говоря уже об авторитете, которым с Толстым Соловьев не мог, конечно, равняться, была разница в способах оглашения результатов мысли и влияния ими на массу. Однажды при мне в Москве в

весьма интеллигентном, профессорском кругу зашла речь о так называемой «вредоносности» Толстого, усердно проповедуемой всяческими, а наипаче московскими, охранителями[1]. Известно, что в среде западников-прогрессистов идеи толстовского опрощения и непротивления злу тоже симпатиями не пользуются. Спор был интересен, умен, разнообразен; один из участников его, фанатический поклонник и последователь Льва Николаевича, блистательно разбил своих оппонентов на два фронта и, торжествуя, ушел победителем.

— Я же, — сказал по уходе его старый профессор-шестидесятник, все время молчавший, — нахожу в деятельности Толстого всего лишь одну отрицательную сторону — не столько даже вредную, как печальную. Это — что, бросившись в этический анализ и философские построения уже человеком пятидесяти лет, он, с огромным авторитетом своим, оповещал мир чуть не каждый день о результатах, которых он достигал как мыслитель-самоучка.

— Что же тут дурного?

— То, что вместо одной твердой и ясной философско-религиозной системы, которую он выработал бы про себя и объявил, освященную своим творческим именем, к XX веку, мы в течение двух десятилетий имели не один толстизм, а несколько толстизмов, из которых иные почти зачеркивали предыдущие. Он слишком часто показывал массе черняки своей умственной работы, а масса хваталась за каждый из них как за последнее слово учителя, не соображая того, что вечно и неугомонно грызущий Толстого дух сомнения заставит его еще несколько раз переработать черняки, прежде чем они будут им признаны готовыми набело, да и то еще Бог весть, какая пойдет потом корректурная правка. А из этого публикования черняков получилось, что множество людей, неспособных пойти в свободе мысли и воли дальше ipse dixit[2], позастряли на таких стадиях толстизма, которые давно упразднены самим Толстым. Я знаю многих толстовцев, которые, задержавшись на деятельности и проповеди Толстого в начале 80-х годов, не посмели шагнуть за ним в 90-е. Есть, наоборот, толстовцы — в сотни раз строже в толстизме самого Толстого, ревниво следящие за своим апостолом, готовые обличить каждую его непоследовательность, и если удастся обличить, затем неделями, месяцами терзаться и мучиться ею, изнывая в сомнениях. Словом, я упрекаю его только в том, что, вместо того чтобы выносить про себя и затем принести и провозгласить

толпе учение свое готовым, Лев Николаевич вырабатывал его на глазах всей России, увлекая за собой делить процесс своего творчества все общество: куда он, туда и вы. Но его-то огромной голове было немудрено одолевать эти этапы мысли, а умы послабее, не говоря уже о посредственных, изнемогали и застревали на них сотнями.

Вл.С. Соловьев не повинен этому упреку — по крайней мере, не повинен в той мере, как Толстой: обыкновенно он мыслил вслух набело. Но вследствие того и мысль его, заключенная в стройные, но сложные системы, становилась менее доступной массам. Толстой давал толпе не только пищу, но он и наглядно показывал опытом, как ее готовят, как надо ее класть в рот, жевать, глотать, переваривать. Соловьев подносил кушанья и говорил: «Попробуйте, — вкусно. А как за него надо взяться, ножом с вилкою или ложкою, — не скажу: сами догадайтесь. И разъяснять вам, как я его приготовлял, из чего и в каких пропорциях, — тоже не хочу. Анализируйте, если можете». Он был больше аристократ-ученый, тогда как Толстой больше демократический самоучка. Громадная, почти страшная энциклопедическая эрудиция Владимира Соловьева и привычка его к строгому научному тону резко подчеркивали эту разницу. В Соловьеве много Фауста, уклонявшегося из толпы; Толстой, даже и в философии, похож на тех старых русских угодников, старателей народных, что весь религиозный смысл жизни своей полагали в общении с толпой, в направлении ее по путям, предначертанным их вдохновениями.

Фаусты поэтичны и загадочны. Поэтичен и загадочен для общества был и Соловьев. Трудно отрицать в нем некоторую мистическую двойственность духа и быта.

— Соловьев великий постник и трезвенник! — скажет один в обществе. А другой сейчас же возражает:

— Помилуйте, мы ужинали у N., — и он отлично пил красное вино.

— Соловьев аскет и девственник.

— Однако иной раз он рассказывает препикантные истории и анекдоты.

— Удивил нас Соловьев, — говорил мне один московский литератор. — Разговорился вчера. Ума — палата. Блеск невероятный. Сам — апостол апостолом. Лицо вдохновенное, глаза сияют. Очаровал нас всех... Но... доказывал он, положим, что дважды два — четыре. Доказал. Поверили в него, как в Бога. И вдруг — словно что-то его защелк-

нуло. Стал угрюмый, насмешливый, глаза унылые, злые. «А знаете ли, — говорит, — ведь дважды-то два не четыре, а пять?» — «Бог с вами, Владимир Сергеевич! да вы же сами нам сейчас доказали...» — «Мало ли что “доказал”. Вы послушайте-ка...» И опять пошел говорить. Режет contra, как только что резал pro[3], — пожалуй, еще талантливее. Чувствуем, что это шутка, а жутко как-то. Логика острая, резкая, неумолимая, сарказмы страшные... Умолк, — мы только руками развели: видим действительно дважды два — не четыре, а пять. А он — то смеется, то словно его сейчас живым в гроб класть станут.

Соловьев был несомненно самым сильным диалектическим умом современной русской литературы. В споре он был непобедим и любил гимнастику спора, но выходки, подобные только что рассказанной, кроют свои причины глубже, чем только в пристрастии к гимнастике. Этому Фаусту послан был в плоть Мефистофель, с которым он непрестанно и неутомимо боролся. Соловьев верил, что этот дух сомнений, вносящий раздвоение в его натуру, самый настоящий бес из пекла, навязанный ему в искушение и погибель. Известно, что он был галлюцинат и духовидец[4]. Про преследования его бесами он рассказывал своим друзьям ужасные вещи — совсем не рисуясь, а дрожа, обливаясь холодным потом, так тяжко приходилась ему иной раз эта борьба с призраками мистически настроенного воображения.

Вот один из таких рассказов.

На финляндском пароходе, в шхерах, по пути, кажется, из Ганге, В.С. Соловьев поутру, встав ото сна, сидел в своей каюте на койке и думал о чем-то далеком. Вдруг ему стало неловко, как будто на него кто-то смотрит, как будто он не один в каюте. Оглядевшись, он видит, что на подушке его постели сидит мохнатое, серое, человекообразное существо и глядит на него злыми глазами.

— Не знаю почему, но я не удивился, — говорил В.С., — а только посмотрел на него пристально, в свою очередь, и, тоже не знаю почему, вдруг спросил его: «А ты знаешь, что Христос воскрес?» А он мне в ответ: «Христос-то воскрес, а вот тебя я оседлаю!»

И он прыгнул на меня, и я почувствовал себя придавленным страшною и отвратительною тяжестью...

Вне себя от ужасной галлюцинации, Соловьев начал читать все молитвы и заклятья против злых духов, какие могла подсказать ему его огромная, опытная в писании и в обиходе церковном память. Видение отвалилось... Соловьев выбежал на палубу и повалился в обмороке[5].

Человек, с которым приключаются подобные истории, конечно, не пророчит быть долговечным. Зимою 1899—1900 года я несколько раз встречался с Соловьевым, впервые с ним тогда познакомившись, и, при всей гениальности его разговора, при всем остроумии, глубине мысли, при всей симпатичности его наружности и обращения, в нем жило что-то именно жуткое, необычайное, чудилось какое-то страшное «высшее» недовольство — собою ли, миром ли?

«Гениален-то он гениален, — думал я, возвращаясь после одной такой встречи у М.А. Загуляева, — только как бы он не пустил себе пулю в лоб, либо, если религия удержит его от самоубийства, не очутился бы в сумасшедшем доме».

В нем было что-то «ставрогинское»: покоряющее, но заставляющее жалеть его, властное, но глубоко внутри несчастное, сверкающее светом, испещренным темными пятнами отчаянных сомнений... Гений граничил с безумием, и безумные по смелости слова и мысли поднимались до гения.

* * *

Зимою 1899 года возник из одного литературного столкновения третейский суд. Одна из сторон выбрала в судьи меня и В.С. Соловьева, другая — М.А. Загуляева и одного почтенного ученого, имени которого я не упоминаю, так как, может быть, он не желает быть названным. Я был всего лишь на одном заседании этого суда, так как во время двух последующих проболел инфлуэнциею. Установив на заседании формальную сторону дела, мы сложили в сторону официальные отношения и перешли к обычной беседе. Ученый скоро ушел, а Соловьев и я остались у Загуляева, по приглашению его, пить чай и какое-то особенное превосходное пиво в каких-то вычурных жбанчиках, каких мне не приходилось видать ни прежде, ни после. М.А. Загуляев был человек высокооригинальный, умел устраиваться и жить не только по-европейски, но и щегольски по-европейски, как европеец больше самих европейцев. Соловьев был, как известно, вегетарианец. Однако не рисовался этим демонстративно: редиску ел с маслом и даже, кажется, попробовал шофруа из дичи[6]. И пива хлебнул. Думал ли я, сидя за столом между этими двумя людьми, что сижу между двумя вскоре покойниками?! И года не прошло, а уже оба лежали на кладбище... Загуляев хоть старик был — а Соловьев-то?

Пришел Соловьев не в духе, как и все мы, впрочем: щекотливое дело третейского суда — кому в радость? Да и не мастера мы, русские, проделывать эти заграничные штуки. Один Загуляев чувствовал себя как рыба в воде и священнодействовал с величием и умелостью члена палаты лордов. Но когда официальности кончились, Соловьев развеселился.

— Я против вас зуб имею, — обратился он ко мне с той чарующей улыбкой, которая привлекала к нему по первому же знакомству столько друзей.

— За что, Владимир Сергеевич?

— А зачем вы напечатали мою «Эпитафию»?

— А зачем вы пустили ее ходить по рукам?

Он расхохотался.

— Правда, смешно?

— Очень смешно, Владимир Сергеевич: прутковская простота какая-то.

— А кто вам сообщил ее?

Я назвал.

— Ах, разбойник! — снова засмеялся Соловьев. — Я ему прочел стихи, как доброму человеку, а он — в печать! Уши ему надрать надо. А впрочем, отлично сделал: пусть посмеются люди; смех добрый, искренний нужен... только без гнева, без злости... улыбка радости нужна. Пусть улыбнутся.

«Эпитафия самому себе», шутка В.С. Соловьева, о которой шла речь, читается так:

Владимир Соловьев
Лежит на месте этом.
Был прежде философ,
А после стал поэтом.

Он душу потерял,
Не говоря о теле;
И душу дьявол взял,
Собаки тело съели.

Прохожий! научись
Из этого примера,
Сколь пагубна любовь
И сколь полезна вера[7].

— Стих о собаках, — улыбаясь, продолжал В.С., — у вас был напечатан неверно: «тело собаки съели»... тут размер не выдержан.

— Мы думали: вы нарочно, ради особой пикантности, — маленькая невыдержка в размере иногда эффектна.

— Ну, это мог себе позволять Некрасов, а не мы, которые «после стали поэтами»! А вы знаете другую мою эпиграмму, тоже недавнюю?

— Какую??

— На Розанова.

— Нет, не слыхал.

— Запишите, если хотите.

Я записал, но... запись потерял, и теперь помню наизусть лишь первые четыре и последние стихи этой «смешной» вещицы, превосходно и беззлобно вышучивающей чересчур «византийский» привкус писаний и мировоззрения г. Розанова. Вот эти стихи. Думаю, что г. Розанов не обидится на их оглашение. В них нет ничего для него оскорбительного. Он изображен в момент, когда становится на молитву и исповедует вслух суть своих убеждений:

Затеплю я свою лампаду
И духом в горних воспарю:
Я не убью, я не украду,
Я не прелюбы сотворю...
. . . .
. . . .
И в сонме кротких светлых духов
Я помолюсь за свой народ,
За растворение воздухов
И за свя-тей-ший пра-ви-тель-ству-ю-щий Сино-о-о-од!

Читал В.С., радуясь своей шутке, как ребенок, захлебываясь смехом, а последний стих даже пробасил, как дьякон. Говорят, что подобных острот в рифмах им набросано множество. Потом меня уверяли, что эпиграмма эта кн. С.Н. Трубецкого и что написана она на Победоносцева. Я помню, что Вл.С. Соловьев говорил о ней как о своей, но, может быть, память мне изменила, хотя это редко со мною случается[8]. Относительно же Розанова положительно утверждаю, что Соловьев рекомендовал эпиграмму как направленную против него. С юмористическими стихами Соловьева много недоразумений. По-видимому, он любил ими мистифицировать публику. Так, одно из них, несомненно ему принадлежащее, на «непротивление злу» он припи-

сал Алексею Толстому[9]. Наоборот, одна смешная баллада, ходившая по рукам под именем Владимира Соловьева, оказалась впоследствии произведением А.А. Столыпина[10].

Загуляев осторожно переменил разговор, наводя Соловьева на мистические темы. Совершенно не зная Загуляева, я не имею понятия о том, был ли он вообще мистиком, но в этот вечер он говорил как убежденный супернатуралист, горячо соглашался со спиритами, поминал о таинственных предчувствиях...[11] Соловьев слушал, опустив голову, потом вдруг сказал:

— Удивительная вещь! Со мной бывало много загадочных странностей. Но если они бывали, то всегда грубые, резкие, ошеломляющие. Чудес по мелочам, которыми спириты утешаются, я не знаю. А впрочем, может быть, просто не замечаю? В жизни так много проходит незамеченным... Тело, громко кричащее тело отвлекает от подробностей жизни духа, вуалирует его глубины. Я знал монаха: самоистязатель был, подвижник, постник. Заболел он сильно, желудок стал плохо варить, запоры пошли — инок рад: измождусь, верит, еще больше, — и удостоюсь видений. А фельдшер, который к нему временами ходил, взял да и угостил его слабительным... Ну что после того монах не имел видений, это понятно, — самое верное против них средство! А вот что он потом уже и не захотел их иметь, и хотя продолжал быть очень порядочным монахом, но изнурять себя более не пожелал и повел свою плотскую жизнь очень нормально, — вот это удивительно. Тело одолело, заслонило душе дорогу к экстазу...

Тогда много говорили о деле Скитских[12]. Соловьеву очень нравилось «литературное дознание», произведенное по этому делу Дорошевичем для газеты «Россия». Разговор, коснувшись кровавой темы, перешел на преступления конца века, в которых так часто и так страшно смерть и сладострастие братаются между собой, на «карамазовщину» новой культуры. Между прочим, Загуляев напомнил ходячий анекдот о давно уже умершем знаменитом русском писателе, человеке нервном до эпилептических припадков, который однажды в половом аффекте будто бы совершил отвратительное насилие над малолетней нищенкой и затем в покаянном порыве пришел неожиданно к своему злейшему врагу, тоже знаменитому писателю, и казнил себя, рассказывая ему свой ужасный поступок[13].

— Я не верю, что так было, — сказал Соловьев, — но, конечно, могло быть так. Он в последние годы жизни был именно в таком ду-

шевном состоянии, когда человек не свой, а владеют им либо Бог, либо дьявол. Либо экстаз серафический, либо экстаз инфернальный. Враг его, от кого узнана была вся история, любил прихвастнуть, измыслить — однако не столь же злые вещи. Я думаю, что великий писатель действительно был у него и каялся. Но это не значит еще, чтобы он действительно сделал то, в чем каялся. Бывают помышления, которые приобретают для человека реальность как бы свершившихся фактов. Недаром же Христос говорил, что половые помышления такой же реальный грех, как и половые деяния. И я думаю, что с таким-то помышлением, создавшим яркую галлюцинацию, мы в данном случае имеем дело... А впрочем, — вздохнув, отуманился он, — чего не бывает на свете...

Затем между ним и Загуляевым опять завязался спиритический спор, — М.А. спиритов отстаивал, Соловьев относился к ним весьма скептически, с насмешкой и нелюбовью. Я в этих вещах не знаток и не любитель; мне стало скучно, и когда часы пробили одиннадцать — время ехать в редакцию, читать номер[14], — я откланялся и ушел.

НАЗАРЬЕВА

Бедная К.В. Назарьева! Рано унесла ее смерть.

Я мало знал покойную, начав встречаться с нею несколько чаще лишь с начала издания «России». В первые месяцы нашей газеты в редакции нередко было можно видеть скромную — всю в черном — фигуру писательницы, с оригинальною, коротко стриженною головою, с желтоватым лицом, освещенным беспокойными глазами, полными затаенной и нерадостной мысли. Это была Капитолина Валерьяновна Назарьева. Сотрудничество ее у нас не сладилось. Ей хотелось писать маленький фельетон, но, во-первых, фельетонов у нас было тогда хоть пруд прудить, а во-вторых, она — беллетристка по натуре — совсем не умела писать фельетон, и мелко, бисерно написанные странички ее рукописей читались вяло и сонливо. Больше успеха имела Капитолина Валерьяновна, когда, работая в «Сыне Отечества», вела отдел маленьких morceaux[1] о провинции, под псевдонимом Н. Левин, хотя самостоятельности и яркости и здесь проявила немного. Не спелись мы

и насчет большого романа, который Капитолина Валерьяновна хотела поместить в «России», — не по нежеланию редакции приобрести у нее эту работу, а по невозможности втиснуть роман в содержание нашего фельетонного года.

— Не извиняйтесь уж! — с горечью говорила она. — Знаем мы вас! Мужчине с именем небось нашли бы место. А мы, женщины, несчастные: всюду нам — вторые номера. Работаешь-работаешь целую жизнь, а нет тебе хода вперед. Так на втором номере и сиди до смерти.

— Вот, — слышал я от нее в другой раз, — вы хоть откровенны: прямо признаетесь, что не любите нашего женского письма, считаете его своего рода литературным made in Germany[2]. Быть может, вы и правы. Но согласитесь: может ли быть иначе? Возьмем в пример меня. Я пишу давно, издала не один десяток романов, множество повестей, рассказов, писала для театра. Имею литературное имя. На моих сочинениях сколько издателей нажилось. Но — в конце-то концов — что же? Тот же вечный пятак, пятак и пятак, и необходимость слепить из пятака три-четыре тысячи рублей в год, нужные, чтобы жить в Петербурге не вовсе бедно и поддерживать своих близких. Так удивительно ли, что начинаешь расплываться в made in Germany, топить в ремесленных строках природный талант? И притом эта страшная неуверенность в заработке, эта всегдашняя готовность вашего брата, журналиста, отодвинуть нас, женщин, на задний план. Легкое ли дело писать роман, а тем временем в голове стучит мысль: куда я его дену? Здесь, положим, благосклонно примут, там — с удовольствием возьмут «почитать». А вдруг туда Чехов повесть даст? сюда Немирович-Данченко роман напишет? Ну, и получай, Капитолина Валерьяновна, детище свое обратно и неси его на какой-нибудь литературный погост, где издатель-могильщик скупает «имена» чуть не на фунты, по весу манускрипта. Рабство!.. Вы говорите: made in Germany. Да как же иначе-то? Ведь — помимо всяких психологий творчества, станьте-ка на почву экономического расчета. Чтобы заработать рубль, Немировичу-Данченко нужно написать три-четыре строки, а мне двадцать. Стало быть, — опять-таки оставляя в стороне и размеры талантов, и симпатию публики, и взгляды, — нам, женщинам, чтобы жить литературою наравне с мужчинами, надо иметь вшестеро, всемеро сильнейшую производительность, энергию, устойчивость труда. Вас в состоянии прокормить уже час работы в сутки, трудиться больше — ваша добрая воля, а я,

если не буду гнуть спины над письменным столом с утра до вечера, так и сыта не буду. Как же при таких условиях не развестись женскому литературному made in Germany?

Соглашаясь с замечаниями Капитолины Валерьяновны, я, однако, указал ей на дорого оплачиваемый труд некоторых русских женщин-писательниц, напр., Смирновой, Микулич, произведения которых отнюдь не подходят и под уровень made in Germany.

— Да это не профессионалки, это гастролерши, — возразила Назарьева. — Они пишут полтора раза в год и не от литературы получают главные средства к жизни. Ах, если бы я имела возможность прожить несколько лет, не нуждаясь в литературном заработке, рассматривая его лишь как прибавку к доходу! Поверьте, что и я сумела бы отшлифовать несколько повестей и рассказов, после которых строка моя уж, конечно, не в пятачок бы ценилась. Вы посмотрите: как много из нас, женщин, блистательно начинают и как мало хорошо продолжают и кончают. Это потому, что обыкновенно начинаем-то мы еще спокойными, сытыми дилетантками, либо с жалованьем супруга, либо с попечительными папашею и мамашею за спиною, а продолжать-то и кончать приходится уже нищими профессионалками, трепещущими за кусок хлеба, изнывающими в роковой конкуренции и между собою, и с мужским трудом. Дама-писательница! дама-романистка! Сколько насмешек, сколько обидного снисхождения!.. Тяжело, Александр Валентинович! И что удивительного, если многие из нас на корню вянут, а бывают и такие, что, стараясь облегчить себе труд, перерабатываются в авантюристок печати, плагиаторш под шумок и т.д. Виновны, но заслуживают снисхождения. Не будем называть имен. Но одна из моих коллег, например, чуть не половину рассказов Мопассана переделала на русские нравы под своим именем[3]. Переутомленная голова не работает, сюжетов нет, а есть надо, и башмаки рваные: достань двадцать рублей, откуда хочешь, — стало быть, четыреста строк хоть роди да подай. Ну, и пошла переряживать «Mademoiselle Fifi» в «Поручика Фифкина», а «Maison Tellier» в «Заведение купчихи Телкиной». Снесет эти лохмотья в какое-нибудь журнальное захолустье поневежественнее, — точно перекрашенную собаку на рынок сведет. Получит деньги, — рада. А напечатают рассказ, — трясется недели две, ни жива ни мертва: уличат в плагиате или нет? Господи! помоги, чтобы не уличили!.. Вот какой проклятый хлеб! А N.? — Капитолина Валерьяновна

назвала очень известное имя. — Какие художественные вещи привезла она с собою, когда только что появилась в Петербурге из провинции! Ведь ей Салтыков рукоплескал, Михайловский пророчил, что она русскою Жорж Занд будет[4]. И что же теперь? Выбрасывала-выбрасывала строки, как машина, и дописалась до того, что даже русскую грамоту позабыла, слог потеряла, пишет: «Проходя мимо деревни, острые глаза незнакомца обрели в расщелине местности прелестную голубоглазую блондинку с черными, как смоль, волосами...»

Надо отдать справедливость самой Капитолине Валерьяновне: при всем ужасном, каторжном, можно сказать, многописании своем она сберегла и слог, и технику сочинительства — в гораздо большей мере, чем большинство ее товарок по ремеслу. Недостатками ее работ были вялый, шаблонный объективизм, отсутствие нерва, личной возбудимости темою, что накладывало на ее статьи оттенок тусклости и трафаретной прямолинейности. Не было новизны, свежести чувства, искренней находчивости, красок, изобретательности, образности. Читаешь ее, бывало: выражает она радость, скорбь, негодование, — и все как будто не сама она это радуется, негодует, но только, справясь в кодексе литературных приличий, повторяет оттуда наизусть исконную формулу радости, скорби, негодования, в данном случае принятую и давностью освященную. Беллетристка в Капитолине Валерьяновне пропала несомненно очень хорошая. Даже при проклятых условиях made in Germany ее романы, написанные красиво, осмысленно, без вычур декадентства, в мягких акварельных тонах, читались среднею публикою не только с занимательностью, но и с пользою. В них дрожали, хотя и слабым, но постоянным отражением, светлые лучи 60-х и 70-х годов, — перо Назарьевой не осквернилось проповедью эгоистического «сверхчеловечества», сословной и расовой ненависти, сочувствием мракобесию и грубой силе. Это была труженица скромная, но честная, гуманная. Мир ее праху!.. Вечный покой ее бедным, усталым над бумагою глазам! Вечный покой этому грустному и боязливому взору работницы-неудачницы, которой вся жизнь была сплошною борьбою за существование, которая всю жизнь, изнемогая, катила в гору сизифов камень, и наконец он все-таки сбросил беднягу под гору в раннюю могилу, раздавил ее и накрыл, как грозно-насмешливый памятник в честь скорбей и печалей, переживаемых русским женским трудом.

«ГОСПОДА ОБМАНОВЫ» ИСТОРИЯ РОМАНА И ССЫЛКИ

I

Глава из романа «Господа Обмановы» — первая и последняя

Когда Алексей Алексеевич Обманов, честь честью отпетый и помянутый, упокоился в фамильной часовенке, при родовой своей церкви, в селе Большие Головотяпы, Обмановка тож, впечатления и толки в уезде были пестры и бесконечны. Обесхозяилось самое крупное имение в губернии, остался без предводителя дворянства огромный уезд.

На похоронах рыдали:

— Этакого благодетеля нам уже не нажить.

И — в то же время все без исключения чувствовали:

— Фу, пожалуй, теперь и полегче станет.

Но чувствовали очень про себя, не решаясь и конфузясь высказать свои мысли вслух. Ибо — хотя Алексея Алексеевича втайне почти все не любили, но и почти все конфузились, что его не любят, и удивлялись, что не любят.

— Прекраснейший человек, а вот поди же ты... Не лежит к нему сердце!

— Какой хозяин!

— Образцовый семьянин!

— Чады и домочадцы воспитывал в страхе Божием!

— Дворянство наше только при нем и свет увидало! Высоко знамя держал-с!

— Да-с, не то, что у других, ежели прочие которые! Повсюду теперь язвы-то эти пошли: купец-каналья, да мужикофилы, да оскудение.

— А у нас без язвов-с.

— Как у Христа за пазухой.

Словом, казалось бы, все причины для общественного восторга соединились в лице покойника, и все ему от всего сердца отдавали справедливость. И однако, когда могильная земля забарабанила о крышку его гроба, — на многих лицах явилось странное выражение, которое можно было толковать двусмысленно — и как:

— На кого мы! горемычные, остались?!

И:

— Не встанет! Отлегло!

Двусмысленного выражения не остались чуждыми даже лица ближайших семейных покойного. Даже супруга его, облагодетельствованная им, ибо взятая без приданого, за красоту, из соседских гувернанток, Марина Филипповна, — когда перестала валяться по кладбищу во вдовьих обмороках и заливать-

ся слезами, — положила последние кресты и последний поклон пред могилою с тем же загадочным взором:

— Кончено. Теперь совсем другое пойдет.

Сын Алексея Алексеевича, новый и единственный владелец и вотчинник Больших Головотяпов, Никандр Алексеевич Обманов, в просторечии Ника-Милуша, был смущен более всех.

Это был маленький, миловидный, застенчивый молодой человек, с робкими, красивыми движениями, с глазами, то ясно доверчивыми, то грустно обиженными, как у серны в зверинце.

Пред отцом он благоговел и во всю жизнь свою ни разу не сказал ему: нет. Попросился он, кончая военную гимназию, в университет, — родитель посмотрел на него холодными, тяжелыми глазами навыкате:

— Зачем? Крамол набираться?

Никандр Алексеевич сказал:

— Как вам угодно будет, папенька.

И так как папеньке было угодно пустить его по военной службе, то не только безропотно, но даже как бы с удовольствием проходил несколько лет в офицерских погонах. В полку им нахвалиться не могли, в обществе прозвали Никою-Милушею и прославили образцом порядочности; все сулило ему блестящую карьеру. Но, как скоро Алексей Алексеевич стал стареть, он приказал сыну выйти в отставку и ехать в деревню. Сын отвечал:

— Как вам угодно будет, папенька.

И — только Марина Филипповна осмелилась было заикнуться пред своим непреклонным повелителем:

— Но ведь он может быть в тридцать пять лет генерал!

На что и получила суровый ответ:

— Прежде всего, матушка, он дворянин и должен быть дворянином. А дворянское первое дело — на земле сидеть-с! Да-с! Хозяином быть-с! И когда я помру, желаю, чтобы сию священную традицию мог он принять от меня со знанием и честью.

И сидел Ника-Милуша в Больших Головотяпах, Обмановке тож, безвыходно, безвыездно. И тем не менее к хозяйству не приучился, ибо теории-то дворянско-земельные старик хорошо на словах развивал, а на практике ревнив был и ни к чему дельному сына не допускал:

— Где тебе! Молод еще! Приглядывайся: коли есть голова на плечах, когда-нибудь и хозяин будешь.

— Слушаю, папенька. Как вам угодно, папенька.

За огромным деревенским досугом, совершенно бездельным, ничем решительно не развлеченным и неутешенным, Ника непременно впал бы в пьянство и разврат, если бы не некоторая природная опрятность натуры и опять-

таки не страх родительского возмездия. Ибо — каких-каких объяснений ни взводили на Алексея Алексеевича враги его, а тут насовали:

— Воздержания учитель-с.

— Распутных не терплю! — рычал он, стуча по письменному столу кулачищем. И, внемля стуку и рыку, все горничные в доме спешили побросать в огонь безграмотные цидулки, получаемые от «очей моих света, милаво предмета», так как достаточно было барину найти такую записку в сундуке одной из домочадиц, чтобы мирная обмановская усадьба мгновенно превратилась в юдоль плача и стенаний и преступница с изрядно нахлестанными щеками и с дурным расчетом очутилась со всем своим скарбом за воротами:

— Ступай жалуйся!

И все трепетали, и никто не жаловался.

Целомудрие Алексея Алексеевича было тем более поразительно и из ряду вон, что до него оно отнюдь не могло считаться в числе фамильных обмановских добродетелей. Наоборот. Уезд и по сей час еще вспоминает, как во времена оны налетел в Большие Головотяпы дедушка Алексея Алексеевича, Никандр Памфилович, — бравый майор в отставке, с громовым голосом, с страшными усищами и глазами навыкате, с зубодробительным кулаком, высланный из Петербурга за похищение из театрального училища юной кордебалетной феи. Первым делом этого достойного деятеля было так основательно усовершенствовать человеческую породу в своих, тогда еще крепостных, владениях, что и до сих пор в Обмановке не редкость встретить бравых пучеглазых стариков с усами, как лес дремучий, и насмешливая кличка народная всех их зовет «майорами». Помнят и наследника майорова, красавца Алексея Никандровича. Этот был совсем не в родителя: танцовщиц не похищал, крепостных пород не усовершенствовал, но, явившись в Большие Головотяпы как раз в эпоху эмансипации, оказался одним из самых деятельных и либеральных мировых посредников. Имел грустные голубые глаза, говорил мужикам «вы» и развивал уездных львиц, читая им вслух «Что делать?». Считался красным и даже чуть ли не корреспондировал в «Колоколе». Но, при всех своих цивильных добродетелях, обладал непостижимою слабостью — вовлекать в амуры соседних девиц, предобродушно — и, кажется, всегда от искреннего сердца, — обещая каждой из них непременно на ней «потом» жениться. Умер двоеженцем — и не под судом только потому, что умер.

И вот после таких романтических предков — вдруг Алексей Алексеевич!

Алексей Алексеевич, о котором вдова его, Марина Филипповна, по природе весьма ревнивая, но в течение всего супружества ни однажды не имевшая повода к ревности, до сих пор слезно причитает:

— Бонне глазом не моргнул! Горничной девки не ущипнул! Картины голые, которые от покойника папеньки в дому остались, поснимать велел и на чердак вынести.

Так выжил Алексей Алексеевич в добродетели сам и сына в добродетели выдержал.

Единственным органом печати, проникавшим в Обмановку, был «Гражданин» князя Мещерского. Хотя в юности своей и воспитанник катковского лицея, Алексей Алексеевич даже «Московских ведомостей» не признавал:

— Я дворянин-с и дворянского чтения хочу, а от них приказным пахнет.

— Но ведь Катков... — пробовали возразить ему другие, столь же охранительные «красные околыши».

— Катков умер-с.

— Но преемники...

— Какие же преемники-с? Не вижу-с. Земская ярыжка-с. А я дворянин.

И упорно держался «Гражданина». И весь дом читал «Гражданин». Читал и Ника-Милуша, хотя злые языки говорили, и говорили правду, будто подговоренный мужичок с ближайшей железнодорожной станции носил ему потихоньку и «Русские ведомости». И — будто сидит, бывало, Ника, якобы «Гражданин» изучая, — ан, под «Гражданином»-то у него «Русские ведомости». Нет папаши в комнате, он в «Русские ведомости» вопьется. Вошел папаша в комнату, — он сейчас страничку перевернул и пошел наставляться от кн. Мещерского, как надлежит драть кухаркина сына в три темна. И получилось из такой Никиной двойной читальной бухгалтерии два невольных самообмана.

«Твердый дворянин из Ники будет!» — думал отец.

На станции же о нем говорили:

— А сынок-то не в папашу вышел. Свободомыслящий! Это ничего, что он тихоня. Подождите! Вот достанутся ему Большие Головотяпы, он себя покажет! От всех этих дворянских папашиных затей-раціей только щепочки полетят.

И отец и станция равно глубоко ошибались. Из всего, что было Нике темно и загадочно в жизни, всего темнее и загадочнее оставался вопрос:

— Что, собственно, я, Никандр Обманов, за человек, каковы суть мои намерения и убеждения?

От привычки урывками читать «Гражданин» не иначе как вперемешку с потаенными «Русскими ведомостями» в голове его образовалась совершенно фантастическая сумятица. Он совершенно потерял границу между дворянским охранительством и доктринерским либерализмом и с полною наивностью повторял иногда свирепые предики кн. Мещерского, воображая, будто цитирует защиту земских учреждений в «Русских ведомостях», либо, наоборот, пробежав из-под листа «Гражданина» передовицу московской газеты, говорил какому-нибудь соседу:

— А здорово пишет в защиту всеобщего обучения грамоте князь Мещерский!

Смерть Алексея Алексеевича очень огорчила Нику. Он искренно любил отца, хотя еще искреннее боялся. И теперь, стоя над засыпанною могилою, с угрызениями совести сознавал, что в этот торжественный и многозначительный миг,

когда отходит в землю со старым барином старое поколение, чувства его весьма двоятся, и в уши его, как богатырю скандинавскому Фритьофу, поют две птицы, белая и черная...

— Жаль папеньку! — звучал один голос.

— Зато теперь вольный казак! — возражал другой.

— Кто-то нас теперь управит!

— Можешь открыто на «Русские ведомости» подписаться, а «Гражданин» хоть ко всем водяным чертям послать.

— Все мы им только и жили!

— Теперь mademoiselle Жюли можно и колье подарить...

— Что же с Обмановкой станется?

— Словно Обмановкою одной свет сошелся. Нет, брат, теперь ты в какие заграницы захотел, в такие и свистнул.

— Сирота ты, сирота горемычная!

— Сам себе господин!

Так бес и ангел боролись за направление чувств и мыслей нового собственника села Большие Головотяпы, Обмановка тож, и, так как брал верх то один, то другой, полного же преферанса над соперником ни один не мог возыметь, то физиономия Ники несколько напоминала ту карикатурную рожицу, на которую справа взглянуть, — она смеется, слева — плачет. Но — что в конце концов слезный ангел Ники должен будет ретироваться и оставить поле сражения за веселым бесенком, в этом сомневаться было уже затруднительно.

* * *

Напечатанная выше глава — начало сатирического романа, который я предполагал написать и поместить в петербургской газете «Россия» на 1902 год[1]. Но в воскресенье 13 (26) января 1902 года первая глава «Обмановых» появилась в фельетоне «России», а ранним утром в понедельник 14-го я был уже арестован и, под охраною жандармов, отправлен в Восточную Сибирь, «в распоряжение иркутского генерал-губернатора». «Россия» же выпустила еще один номер и выжидательно замерла в обморочном состоянии, покуда, несколько недель спустя, не последовало обычное постановление четырех министров об ее окончательном закрытии[2]. Таким образом, первая глава романа осталась и последнею. Написана она была в субботу 12 января, на скорую руку, к очередному воскресному фельетону. Конечно, тема давно зрела у меня в голове, но взялся за нее именно в этот день, а не субботою раньше или субботою позже, я исключительно потому, что страдал мигренью и, не желая мучить себя разработкою какой-либо серьезной

публицистической темы, решил на сей раз отделаться от обязанности фельетониста легкою беллетристикою. Ну, и писал я эту легкую беллетристику два часа, а расплачиваться за нее приходится вот уже пятый год.

Кроме этой, выше напечатанной, главы «Обмановых», других отрывков из романа не существует и никогда не существовало. Глупость министра Сипягина, моею суровою ссылкою и закрытием «России» объяснившего и подчеркнувшего всей Европе задний смысл фельетона, окружила «Обмановых» шумом неслыханного скандала[3]. Номер газеты с первою главою «Обмановых» в несколько дней сделался библиографическою редкостью, продавался по 25 руб., а некоторые москвичи впоследствии уверяли меня, будто платили даже сто рублей. Один московский же владелец газетного киоска, сметливый более других своих коллег, прочитав фельетон, едва газета пришла из Петербурга, догадался, что завтра этот номер будет в огромном ходу, и поторопился скупить все экземпляры роковой «России», сколько мог достать. Настолько бескорыстный и добросовестный, что брал с покупателей всего по 10 рублей за экземпляр, он нажил в один день десять тысяч рублей. Мне было необыкновенно приятно и лестно узнать об этом в нищем и ссыльном Минусинске, когда я, разоренный, бесправный и лишенный возможности заработка, проводил бессонные ночи в мучительных мыслях:

«Как же жить дальше? Чем кормить множество нравственно и материально связанных со мною и всецело от труда моего зависевших людей, которых моя ссылка лишила всех средств к существованию? Чем платить оставшиеся на мне долговые обязательства? Как соединиться с покинутою в Петербурге семьею, из которой так внезапно вырвал меня сипягинский произвол?»

Справедливость требует отметить, что из десятков людей, нажившихся на «Обмановых», ни один не вспомнил об авторе, который сфабриковал столь благодетельный для них товар, и я никогда не получил за них ниоткуда ни одной копейки.

Успех и широкое распространение «Обмановых» повели к множеству отдельных изданий — гекто- и литографированных в России, печатных за границей[4]. Опять-таки никто не спрашивал у меня разрешения на эти издания, и я никому не давал права издавать. Но я не имел ни малейшей претензии против чужого пользования моею литера-

турною собственностью, пока «Обмановы» служили тем или другим передовым группам русской свободы, как сатирическое орудие пропаганды или источник материальной помощи нуждающимся товарищам. К сожалению, скоро пришлось узнать, что из этих чистых рук дело ускользнуло в когти литературных мародеров Берлина и Лейпцига, искони привычных жить грабежом «нелегальных» русских авторов. И хорошо бы еще, если бы усердие этих господ расторговываться моим именем и трудом ограничилось контрафакциями. Но выгодный торг первою главою «Обмановых» подал им блестящую идею пустить на книжный рынок вторую и третью апокрифические главы — бездарную и безграмотную кашу грубой ругани, где нет ни одного моего слова. Берлинский издатель Штейниц не постеснялся украсть у меня для этого подлога не только мое имя, но даже наружность: третья лжеглава «Обмановых», рекомендуемая торгашеским зазывом фирмы, как «самая сенсационная», имеет на обложке мой портрет из юношеских лет, снятый чуть ли еще не когда я пел в опере![5] Все эти бесцеремонности очень волновали меня в моем изгнании. Не говоря уже о неприятности сознавать себя беззащитною жертвою наглой материальной эксплуатации, литератору совсем не радостно видеть свое имя употребляемым на покрышку черт знает какой и чьей малограмотной стряпни, которую — будь она прислана мне в редакцию — я, по первым же строкам, отправил бы в корзину. Затем, чтобы вполне оценить все удовольствия мои от заграничных подлогов, читатель благоволит вспомнить, что вторая и третья лжеглавы «Обмановых» выпускались в свет в то самое время, как я был в Сибири — за первую главу, под строжайшим полицейским надзором, сданный в распоряжение, т.е. в произвол, сибирского генерал-губернатора. Никому из господ, торговавших моим именем, даже в голову не пришло подумать, не отягчают ли они своими подлогами моего положения, и без того не радостного? не дают ли агентам правительства нового повода скрутить меня еще строже и жестче? Два года спустя, временно вырвавшись из моей ссылки в Петербург, я имел пространную беседу о причинах ее с директором Департамента государственной полиции, г. Лопухиным, и, между прочим, указал ему, что, принимая на себя ответственность за первую главу «Обмановых», я решительно «отказываюсь от платежа» по второй и третьей лжеглавам.

— О, — утешил меня г. Лопухин, — об этом больше нет речи. Это *перестали* ставить Вам в вину.

Перестали — значит, ставили?! А любезная полиция и жандармерия Минусинска и Вологды и подсылаемые ею «славные русские лица» из местных обывателей, с полуполицейскими правами и вполне полицейскими тайными функциями? Сколько надоедали мне подобные люди расспросами невзначай: сродни ли моему перу эти проклятые заграничные подлоги? И — ах, уж как невесело и трудно отвечать на такие расспросы, зная жуткую заднюю цель, для которой они делаются! Что ни скажи: да, нет, не ваше дело, не хочу отвечать, я об этом не разговариваю, — изо всего одинаково выйдет донос, а из всякого доноса для русского политического ссыльного, без разбора, прав или виноват, одно неизменное последствие: жилось скверно — станет еще сквернее.

Разумеется, я мог бы протестовать против подлогов, как скоро узнал о них. Но тут было огромное нравственное препятствие. Я боялся, что в русском либеральном лагере подобный протест произведет впечатление отречения, будет принят за угодничество правительству, вызванное желанием смягчить свою участь. Протестовать же в таких вызывающих формах, чтобы правительство еще раз оскорбилось и озлобилось на меня в то самое время, как я чувствую на себе всем телом своим его злые когти, — было бы детскою выходкою без всякого расчета: ухудшать и отягчать свою участь я, очевидно, не мог желать, ибо и без того скверно мне было в степени, совершенно достаточной для одного человека, а сладострастием страдать для страдания природа меня не одарила.

Итак, я оставил протест самозащиты до условий такого времени, когда зависимость от русского правительства не будет в состоянии ни дать ложную окраску моим намерениям, ни отомстить мне жестокими репрессиями. То есть до эмиграции, о которой я подумывал уже до ссылки, а с первого же дня ссылки стал мечтать, и добиться возможности к которой во что бы то ни стало было моею первою мыслью утром, последнею — вечером, — всегда, везде, изо дня в день, во все продолжение моего ссыльного мытарства.

* * *

Когда, по смерти В.К. Плеве, в междуцарствии Министерства внутренних дел, я неожиданно, чудом каким-то, вдруг очутился за границею и на свободе[6], я обещал многим друзьям и единомышленникам, что «Господа Обмановы» будут дописаны и изданы. Я намеревался

4. Заказ № 833.

твердо и настолько верил в свои намерения, что, издавая в Женеве ряд своих политических сказок[7], приложил к ним объявление о скором выходе романа «Обмановы» в свет. Много было написано и приготовлено к сдаче в типографский набор. Мне сулили и сулят, что роман должен иметь большой успех и серьезные денежные выгоды, полезные и для меня самого, и для дела свободы, которой я служу. И тем не менее я должен отказаться от своего плана. Я не кончу, я не могу кончить «Обмановых». Я разорвал все, что для них написал, рву и знаю, что буду рвать все, что пишу. А многое из написанного было удачно и смешно, как шутка, — гораздо удачнее и смешнее, чем та глава, которая заставила меня заплатить за ее международный успех Минусинском и Вологдою. Но я не могу больше смеяться над нравственными уродами, бытописателем которых я собирался стать в «Господах Обмановых» еще сравнительно так недавно. Одну из своих политических сказок, написанных под живым впечатлением петербургской бойни 9 (22) января 1905 года, я назвал «Смертью Иронии». И это название — тончайшее символическое определение психологического процесса, который я наблюдаю в себе с тех пор, как пролитая Николаем Романовым кровь безоружных рабочих освятила мученическое начало открытой русской революции. Я уже не могу найти в себе того добродушно-юмористического тона, каким должна была звучать пародия «Господ Романовых», — поздно острить, скалить зубы и шутить в «Замке Красной Смерти»[8]! Тихий дурачок Ника-Милуша, в котором четыре года тому назад удостоил узнать себя император всероссийский и Сипягин контрасигнировал[9] сходство, для меня умер. Между ним и тем Николаем II, который в 1904 году со спокойным духом и веселым лицом выбросил сотни тысяч едва вооруженных и полуодетых солдат умирать под японскими пулеметами за лесные мошенничества на реке Ялу[10], которые легальная русская печать называет операциями Безобразова, Абазы и Вонлярлярского, за цензурною невозможностью назвать их настоящим именем операций Александра Михайловича и Николая Александровича Голштин-Готорпских, ложно именующих себя Романовыми, — легла слишком широкая река, смрадно бурлящая человеческою кровью: Ника-Милуша и Николай II — уже разные люди! От Ники Обманова, лепетавшего:

— Право, не знаю, кто я таков — консерватор или либерал? Надо справиться в папенькином завещании, а впрочем, как маменьке будет угодно!

От коронованного Манилова Гаагской конференции[11] и праздно доброжелательных «слов, слов, слов»[12], которые он льет по востребованию, как дождевой желоб, каждым обманывая Россию, Европу, а иногда, может быть, и самого себя, Николай Александрович Романов успел вырасти в Северного Абдул-Гамида, облитого кровью рабочих в Петербурге, Москве, Одессе, кровью гимназистов в Курске, Тамбове, Саратове, кровью евреев в Одессе, Кишиневе и Житомире, кровью армян в Баку и Эривани. Нет, нет! Я беру всю свою сатиру назад: Ника-Милуша и Николай II — разные люди! Со мною повторилось приключение средневековой легенды: веселый и беззаботный клерк, я погнался на карнавальном Veglione[13] за глупою, за шутовскою маскою; я ловил ее, я дразнил ее, мимоходом бросая толпе улыбки, шутки и остроты, — смеялся я, смеялась толпа, — но вдруг маска уронила свою дурацкую личину, и смех замер у нас на губах, и у многих волосы высеребрил ужас: под невинною личиною простачка скрывался ларв[14], питающийся трупами и налитой человеческой кровью!

Если бы эти мои записки предназначались к печати в пределах России, оставался бы еще хоть какой-нибудь смысл сохранить аллегории, обиняки и метафоры сатирического маскарада, хотя, повторяю, боюсь, что я был бы уже бессилен играть и фехтовать ими! Я не могу смеяться над ларвом! Гневное отвращение зовет на уста проклятия, а не шутки. Напрасная игра — ловить на булавки острот существо, от которого обезопасить страждущее человечество в состоянии только осиновый кол!.. Amen!..[15]

Но я говорю в Европе и для Европы. Какой интерес ей читать о курьезах, якобы случившихся в фантастическом селе Большие Головотяпы, Обмановка тож, когда колоссальная политическая деревня, со полторастамиллионным населением, именуемая Россией, Романовкою тож, ежедневно дарит ей по почте и телеграфу повести об ужасах, авантюрах, коварствах, арестах, ссылках, убийствах, кражах, глупостях и подлостях, каких не в состоянии измыслить фантазия самого неутомимого уголовного романиста? А между тем это — лишь летопись действительности, это — история русского самодержавного режима!

Нет, нет, нет! —

Брось свои иносказанья
И метафоры пустые:
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые![16]

* * *

Большой общественный шум, окруживший мою ссылку, сделал историю моих «Обмановых» столь легендарною, что в ее противоречивых запутанностях я и сам иногда не в состоянии разобраться, где правда, где сказка? Тем более что роль главного актера, доставшаяся мне в этой трагикомедии, была сыграна мною совершенно пассивно, и в сущности я такой же далекий зритель ее, как и все, а — ввиду той безжалостной быстроты, с какою одуревший Сипягин выбросил меня из Петербурга в Восточную Сибирь, даже более далекий и наименее осведомленный зритель. Ведь как процесс моя ссылка — головокружение какое-то, смерч, падение с Тарпейской скалы[17]. Бывает, что людей ссылают в двадцать четыре часа, но меня сослали в двадцать четыре минуты! Из множества жандармов, полицейских и представителей судебного ведомства, с кем сталкивала меня ссылка, я не видал ни одного, который бы не был изумлен этим вихрем административного бешенства, и даже зверь, вроде минусинского жандармского начальника Николаева, не раз повторял мне:

— Этого никогда не бывало! Помилуйте! С вами не отправили даже никакой бумаги по вашему делу! Я не знаю ничего о вашей ссылке, — даже не имею указаний, в коем разряде политических ссыльных вас считать.

И я должен был рассказывать этому скоту, от которого затем в течение года всецело зависело мое существование, обстоятельства моего ареста, чтобы он мог найти злополучный разряд, «в коем меня числить»! А обстоятельства ареста были таковы.

Я не ждал административной грозы — по крайней мере, такой скорой. Почему — подробно объясню ниже, когда буду говорить о причинах и поводах, побудивших меня начать «Обмановых». Пока — достаточно сказать, что я проиграл свою свободу на психологической ошибке: я считал наши власти предержащие одновременно и глупее, и умнее, чем они оказались. Глупее, потому что я думал, что они даже не поймут фельетона, между тем — «и Саул во пророцех!»[18] — понатужились и поняли. Умнее, потому что я рассчитывал: если, паче чаяния, фельетон будет понят, то Министерство внутренних дел не посмеет расписаться в получении обожаемым монархом всенародной оплеухи, и месть его постигнет меня хотя по причине «Обмановых», но никогда не по их поводу, и не в непосредственной к ним близости, а этак

через недельку, через две, с внезапною придиркою в какой-нибудь текущей статье. Опыт у меня на этот счет был. Осенью 1900 года, во время русско-китайской войны, после пресловутого благовещенского потопления мужественным генералом Гродским мирного китайского населения в реке Амур, я высмеял бесхарактерную двуличность Николая II по вопросам войны и мира с гораздо большею прозрачностью, чем в «Господах Обмановых». Фельетон этот назывался: «Сказка о том, как леший с лешим воевал и что из этого вышло»[19]. Финальная фраза его заключала в себе благожелательный совет одному из леших: «Не воюй, дурашка!» Фельетон был прекрасно понят и вызвал много толков. Ждали репрессий. Однако их не воспоследовало: кто-то из чиновников поумнее сумел убедить Сипягина, что «расписываться в получении» неудобно. Дело ограничилось простым и даже не особенно острым объяснением с начальником Главного управления по делам печати, кн. Н.В. Шаховским. Этот мне прямо заявил, что он «не смеет понимать сказку так, как толкуют ее в обществе». Я очень одобрил в нем такое отсутствие излишней смелости и, чтобы не топтаться на зыбкой почве обиняков и недомолвок, взял быка прямо за рога:

— Мало ли, как и что толкуют общественные слухи! Вон — некоторые злые языки уверяют, будто эту сказку я написал про царя! Надеюсь, вы этого не думаете?

По лицу Шаховского — неудачнейшего из российских Меттернихов, когда-либо сидевших между двумя стульями, — прошла судорога, мимически мне изобразившая:

«Нет-с, я именно это думаю, но об этом вслух не говорят, и с вашей стороны ужасное свинство заставать меня подобными кощунственными вопросами врасплох и припирать в угол!»

Вслух же он произнес очень сухо:

— Если бы я это думал, то с вами разговаривали бы не так... и не здесь!.. Но, вообще, позвольте вам посоветовать прикончить эти ваши сказки. Это — опасный, раздражающий род литературы. Будьте осторожны. Вы можете очень легко нажить себе неприятности не только цензурные, но и личные. Министр находит ваши сказки непатриотичными.

Я считал инцидент исчерпанным, как вдруг — месяца, должно быть, через полтора — получаю вызов к исправляющему, за отсутствием Сипягина из Петербурга, должность министра внутренних дел,

г. Дурново, — нынешнему всевластному всероссийскому «диктатору без номинации». Ничего не понимаю, так как газета перед тем вела себя с ангельским благонравием, ничем, казалось бы, не вызывая такой административной угрозы — даже с прыжком через инстанцию. Облекаюсь в редингот и в назначенный ранний утренний час еду к г. Дурново на Мойку. В приемной застаю ответственного редактора покойной «России», г. Сазонова, который смотрит на меня как на своего убийцу и, заикаясь, бормочет мне:

— Это опять ска-азка... все ваша проклятая ска-азка!

На сей раз г. Сазонов оказался провидцем, что, впрочем, и немудрено при его связях с Главным управлением по делам печати во времена М.П. Соловьева и Н.В. Шаховского. Г[осподин] Дурново принял нас с официальной любезностью и объявил, что пригласил нас — выслушать высокопревосходительный выговор. Министр внутренних дел поручил ему передать нам, что находит сказку о леших антипатриотическою. Г[осподин] Сазонов заявил, с своей стороны, что он с мнением министра совершенно согласен и что «советовал Александру Валентиновичу не печатать сказку, но Александр Валентинович, по обычному своему своеволию, не послушал». Он говорил чистейшую правду: он советовал, а я не послушал. Александр Валентинович указал, что мнение Д.С. Сипягина было уже объявлено ему начальником Главного управления по делам печати, так что настоящий выговор есть уже повторение, и хотел продолжить объяснения, перенеся их на ту же почву, как с Шаховским. Но тут нашла коса на камень: опытный старый бюрократ решительно уклонился от теоретического обсуждения моей проблемы: возможно ли предположить в журналисте российском такую дерзость и отсутствие здравого смысла, чтобы, находясь в пределах государства российского и во власти самодержавного правительства, он осмелился печатно назвать царя «дурашкою»? Дурново остановил меня с первых же слов:

— Видите ли, всякие изъяснения тут будут совершенно излишни. Вопрос о вашей сказке находится в периоде не производства, но окончательного решения. Я объявляю вам резолюцию министра как простой исполнитель предписания. Мое дело — сказать, ваше дело — выслушать и принять к сведению. А спорить нам бесполезно, тем более что я лично даже и не читал вашей сказки.

По выходе от г. Дурново г. Сазонов взял с меня слово, что я хоть на время откажусь от писания и печатания сказок, так волнующих Министерство внутренних дел. Он откровенно дал мне понять, что в Главном управлении по делам печати ему пришлось провести несколько минут гораздо более скверных, чем мне, успевшему отыграться от смущенного Шаховского дерзостью прямой атаки.

— Они уверяют, что министерство не ограничится карою газете — предостережением или воспрещением розницы, а вас самого вышлют или засадят... вот вы тогда и научитесь рисковать! Берегитесь!

А затем история возвратилась в мирные берега своего течения.

Таков был прецедент, позволявший мне надеяться, что хотя правительство российское не прощает даваемых ему пощечин, но в получении их расписываться не стремится и в возмездных карах придерживается итальянской пословицы: «Мщение — кушанье, которое лучше есть холодным». Но — что делать? Ошибся! Очевидно, non bis in idem[20], и около Сипягина во второй раз не случилось советника, способного подсказать ему какой-нибудь приличный, дипломатический выход из положения. Сам же Сипягин был далеко не так глуп, как казался: он был гораздо глупее. Я пал, так сказать и в некотором роде, жертвою преувеличенного представления о куриных мозгах, которые все же представлял себе хоть индюшьими!

* * *

Итак, фельетон вышел в свет в воскресенье 13 января 1902 года. Когда мне ранее случалось печатать опасную вещь, я имел обыкновение немедленно ехать куда-либо в публику — «выщупать впечатление». Но на этот раз я не мог последовать своему хорошему правилу. Дело в том, что все мои знакомые, кроме двух-трех уже совершенно домашних друзей, были уверены, что меня нет в Петербурге. Я писал в это время пьесу «Волны»[21] и, чтобы освободиться от мешавшей мне работать редакционной и гостевой сутолоки, сказался уехавшим в Псков. Уже не помню, сколько времени продолжалось это фиктивное отсутствие, но, должно быть, не менее дней десяти. Живя в Петербурге, я был всегда окружен такою сложною и нервирующей суетой, что, когда надо было вдумчиво работать, я постоянно прибегал к этим мнимым отлучкам; скрываться же мне было тем удобнее, что я занимал

маленький особняк на Ждановке, с большим садом, который доставлял мне все условия свободы, покуда я сидел в добровольном заключении. Нарушить последнее мне показалось неудобным, и я отказался от мысли выехать, чем, как выяснилось впоследствии, и предал себя игемону[22].

Часов около пяти добивался меня видеть управляющий конторою «России», г. М—ин. Прислуга сказала ему, как и всем, что барин в Пскове. М—ин спросил мой псковский адрес. Говорят: не знаем. М—ин ушел. Впоследствии оказалось, что он приходил ко мне неспроста, а с предупреждением, что, кажется, дело плохо — фельетон многими понят, а следовательно, надо ждать грозы.

Откровенно говоря, я не только сомневался увидать «Господ Обмановых» в печати, но был почти уверен, что они не выйдут. В это время период, когда я фактически управлял «Россией» и мог считать ее своим органом, минул давно, а с 6 ноября 1901 года я даже отказался от всякого редакционного участия в газете и остался в ней лишь на правах сотрудника, с единственною привилегией — не знать редакционного вмешательства в свою работу. Моя статья могла быть напечатана или не напечатана по цензурным соображениям только целиком — без всяких компромиссов. Г[осподин] Сазонов, забравший в это время, при благосклонной помощи Главного управления по делам печати, редакцию «России» в свои руки, пользовался своим правом непомещения достаточно широко и — под предлогом нецензурности или в самом деле убежденный в таковой — не поместил уже несколько моих статей, вполне безопасно появившихся потом на столбцах других изданий. К слову сказать, один из таких приглушенных фельетонов, под выразительным заглавием «Из зачеркнутых страниц», вышел в «СПб. ведомостях» кн. Э.Э. Ухтомского, в те поры стоявшего на левой стороне русской печати, в один день с «Господами Обмановыми». Это был резкий протест против франко-русского союза, к противоестественности которого я всегда чувствовал глубочайшее отвращение. Г[осподин] Сазонов состоял в наилучших отношениях с Главным управлением по делам печати, очень часто виделся с Н.В. Шаховским и — по громким обвинениям издателя М.О. Альберта — носил к нему на просмотр все сомнительные корректуры, то есть, собственно говоря, он отдал «Россию» под негласную предварительную цензуру. С своей стороны, издательская группа, желая хоть сколько-

нибудь противодействовать произволу официального редактора, устроила нечто вроде проверочного, что ли, комитета по литературным делам, тоже рассматривавшего очередные корректуры с точки зрения безопасности для газеты. Трагикомический комитет этот составляли три человека, совершенно непричастные к литературе, абсолютно чуждые каких-либо крамол, материально заинтересованные в существовании «России» и, следовательно, более самого г. Сазонова опасающиеся возможности погубить ее тем или иным цензурным грехом. Таким образом, сотрудничая в «России» конца 1901 и начала 1902 года, писатель оказывался под целою серией цензур, включительно до начальника Главного управления по делам печати. Понятно, что при условиях подобной фильтровки осадок получался огромный, а газета, столь смелая и резкая в первых своих дебютах, начала отливать истинно голубиною чистотою и невинностью, равно угодною и Министерству внутренних дел, к которому тянул г. Сазонов, и Министерству финансов, к которому тянул издатель. «Россия» за два с половиною года своего существования выросла в большую силу, и С.Ю. Витте весьма с нею заигрывал.

Я нимало не удивился бы, если бы фельетон застрял в одном из бесчисленных фильтров, но — раз он прошел все фильтры без царапинки — я мог быть спокоен: стало быть, маски не узнаны, и фельетон невинен даже по суду самой пристрастной, придирчивой и предубежденной — словом, цензурной критики. Он был в руках у Шаховского — стало быть, получил благословение от Главного управления по делам печати, высшей цензурной инстанции. Mein Liebchen, was willst du noch mehr?![23] Кстати сказать, впоследствии немецкая газета «Die Politik» уверяла, будто «Господа Обмановы» написаны мною на пари. Я — будто бы — бился об заклад, что русская цензура так глупа и невежественна, что — в то время как она безжалостно душит невиннейшие либеральные мысли — я, по фельетонной своей ловкости, заставлю ее пропустить самый резкий и для всех прозрачный памфлет против царя и императорской фамилии. «Он выиграл пари, но выиграл и Сибирь», — нравоучительно кончала свою заметку газета, которую доставил мне в Минусинск один приезжий молодой человек. Я просил его опровергнуть эту странную сказку. Не знаю, исполнил ли он мою просьбу. Я лично был тогда бессилен писать из Минусинска даже простые письма: по приказу Сипягина полиция вскрывала все

письма, поступавшие на почту из моего дома. Но не бывает дыма без огня. Никакого пари ни с кем я не держал, но гласных и громких разговоров о глупости и невежестве русской цензуры держал действительно немало. И имел к тому достаточно оснований. Когда я еще редактировал «Россию», газета потерпела три кары воспрещением розничной продажи — все три произвольные и противозаконные, почему они и не могли быть предвидены. Первую кару мы получили за напечатание сведений о весьма незначительных рабочих беспорядках в Риге, вторую — за перепечатку из подцензурной провинциальной газеты слуха, что г. Трепов назначается на видный административный пост, третью — за помещение телеграммы, разрешенной к печати специальным цензором для иностранных телеграфических известий! Грандиозность этих неслыханных преступлений, по совокупности, стоила газете не менее ста тысяч рублей. Между тем совершенно спокойно сошел с рук, например, такой случай, над которым в свое время немало хохотал Петербург.

Антон Чехов рекомендовал мне молодого беллетриста Анатолия Яковлева, бывшего своего ученика и очень способного подражателя. Как редактор, я всегда стою за самую широкую сотрудническую свободу, и, однажды убедившись, что человек талантлив, имеет что сказать публике и хорошо владеет пером, я уже сдаю его рукописи прямо в набор, без предварительного просмотра, а возможную редакторскую правку оставляю до корректуры. Так я поступал и с Яковлевым. Один из рассказов последнего был следующего содержания. В провинциальном городе губернатор влюбился в актрису. Губернаторша, в ревнивом бешенстве, посылает к сопернице полицеймейстера с угрозою выслать ее из города и под угрозою этою предложить — пусть лучше заранее убирается подобру-поздорову сама. Ретивый полицеймейстер исполняет поручение и, по служебному усердию, ведет себя у актрисы скот скотом. Оскорбленная актриса возражает:

— Я готова исполнить волю ее превосходительства, но — что скажет его превосходительство? Ваше превосходительство! пожалуйте-ка сюда!

И — на глазах остолбеневшего, уничтоженного полицеймейстера — из другой комнаты выходит бледный, трясущийся от злобы губернатор и свирепо шипит:

— Мы с вами, сударь мой, более вместе служить не можем... потрудитесь подать в отставку![24]

Этот пикантный, во вкусе Гюи де Мопассана, анекдот Яковлев обработал очень хорошо. Сюжет не нов и рассказывался в разные времена о разных высокопоставленных лицах. Я знал очень хорошо, что в Петербурге ходит легенда, будто нечто подобное приключилось с покойным градоначальником Грессером, когда императрица Мария Федоровна отправила его пугнуть высылкою из России танцовщицу Матильду Кшесинскую, с которою, в бытность свою наследником, будущий Николай II жил очень откровенно и весьма maritalement[25]. Но знал также, что легенда есть только легенда, и если бы даже возникло из яковлевского рассказа какое-либо цензурное неудовольствие, то я всегда найду оправдательный документ в доказательство чуть не столетней давности его сюжета. Яковлев — не петербуржец, а москвич и написал свой рассказ bona fide[26], с чьих-то слов, отнюдь не предполагая рокового совпадения с петербургскими сплетнями. Ведь новостью в подлунном мире называется именно то, что хорошо забыто! Вполне уверенный в литературности рассказа, я просмотрел его в корректуре очень небрежно, сохраняя себе удовольствие внимательного чтения на завтра, в газетном фельетоне. Но — когда пришло это завтра, газета чуть не выпала у меня из рук. Жена спрашивает:

— Что с тобою?

— То, что «Россию» завтра прикроют, и — по моей вине.

Я прозевал, спешно читая корректуру, что Яковлев дважды назвал своего любострастного губернатора по имени и отчеству. А имя и отчество ухитрился дать, в невинности душевной, не более и не менее как — Николай Александрович!

Я прожил затем очень скверную неделю — и напрасно. Публика заметила и смеялась, цензура не заметила ничего. Когда же чей-то частный донос раскрыл ей глаза, было уже поздно и неловко «обращать внимание», возвращаясь так задолго назад. Однако проступка «России» не забыли, но зачли ей его вперед. Когда меня сослали и жена моя хлопотала об облегчении моей участи, она столкнулась в Главном управлении по делам печати с категорическим возражением:

— Вы, сударыня, напрасно находите ссылку вашего супруга жестокою. Пора же когда-нибудь пострадать. Мало ли дерзостей ему да-

ром с рук сходило? Разве это в первый раз, что он посягает на священную особу монарха?

— Когда же еще? Я не помню!

Ей указали на фельетон Яковлева.

— Но это было не его!

Начальство скептически улыбнулось. Дескать — «Слыхали мы эти песни! Рассказывайте!»

* * *

Вечером в воскресенье 13 января у меня по обыкновению обедали те ближайшие домашние друзья, которым было известно, что я нахожусь не в Пскове, а преспокойно — у себя на Петербургской стороне. В том числе — один молодой, начинающий литератор, которого я понемножку вводил в журналистику.

— Это будет длинная вещь, которую вы сегодня начали, Александр Валентинович? — спросил он меня.

— Право, не знаю, как выйдет... А что?

— Ничего, — просто «ждем продолжения».

Тогда я спросил его в свою очередь:

— Вам ничего в этом фельетоне не показалось странным или двусмысленным?

Он отвечал с недоумением:

— Решительно ничего. Что же? Обыкновенная юмористическая повесть из дворянского быта. Вроде «Оскудения» Сергея Атавы[27].

Теперь очень велико число людей, уверяющих, будто, когда фельетон «Господа Обмановы» вышел в свет, они сразу догадались, в чем закавыка. Но эта догадливость — задним умом, post factum[28]. Догадывались единицы, тысячи ничего не поняли. Не растолкуй Сипягин моею скоропалительною ссылкою, что речь идет про «обожаемого монарха», читательская масса, вероятно, так и осталась бы в блаженном неведении. Уже в Минусинске у меня был такой опыт. Знакомый чиновник попросил у меня почитать что-нибудь мое. Я дал ему «Обмановых». Он прочитал и просит продолжения.

— Продолжения — увы! — нет и не будет.

— Почему?

— Потому что это именно тот фельетон, за который меня сюда сослали.

Чиновник вытаращил глаза:

— За этот?! Позвольте... я ничего не понимаю... За что же тут ссылать?! Самая обыкновенная деревенская история...

— Да вот видите ли: я тоже нахожу, что ссылать не за что, а Сипягин расходится с нами во мнениях. Он уверяет, что Алексей Алексеевич Обманов — это Александр III, а Ника-Милуша — благополучно царствующий монарх...

— Как?! Вот что?!

Чиновник схватился за фельетон с тою — весьма мало верноподданническою — жадностью, что так характерна для русской провинциальной бюрократии: если захолустный чиновник не патриот ex officio[29], т.е. не полицейский, то его сахаром не корми, но дай почитать, как царя ругают.

— Да! Ну, это совсем другое дело! совсем другой свет! Черт возьми! Вот так штука! Ну, знаете, не скажи вы, я бы ни за что не догадался!

А этот человек много читал и хорошо читал, умел читать. Да и знал уже, что мною написан какой-то преступный фельетон против императорской фамилии, который стал причиною моей ссылки... Что же в таком коротеньком, едва намеченном наброске, как «Господа Обмановы», могли угадать люди непредупрежденные и бегло просматривающие газету? А ведь их огромное большинство! Не говорю уже о множестве газетных читателей, которые совсем не обращают внимания на фельетон, если он написан в беллетристической форме, да еще имеет внизу последнего столбца угрозу: «Продолжение следует». Кстати, об этой угрозе. Один петербургский остряк, действительно сразу понявший суть дела, уверял, что в «Обмановых» я впервые налгал публике:

— Помилуйте! Пишет: «Продолжение будет»... А я, как прочитал, сразу вижу: врешь! чего-чего другого, но уж продолжения-то не будет!

Другой совершенно серьезно уверял меня, что считает строку «продолжение будет» лучшею в «Обмановых», потому что — самою дерзкою!

Что маски мои были хорошо и крепко надеты — лучшее свидетельство, что их не узнали ни г. Сазонов, ни г. Шаховской, ни триумвират издательского комитета. Впоследствии, когда секрет стал известен всем и все стали повторять: ну, еще бы, ясно, как день! кто бы не догадался! — в Петербурге сложилась легенда, будто г. Сазонов узнал действующих лиц в корректуре, но нарочно пустил фельетон в печать, рассчитывая тем подвести меня под административный гнев и, таким

образом, выжить меня из «России». Я о нравственных качествах г. Сазонова более чем невысокого мнения, но в эту легенду никогда не верил и не верю. Упомянуть о ней я нахожу нужным потому, что ее повторяли многие, а в 1904 году официально объясняясь со мною о праве остаться на жительство в Петербурге, директор Департамента государственной полиции А.А. Лопухин поставил мне прямой вопрос:

— Ждали ли вы, что фельетон «Обмановы» выйдет в свет?

— Я послал его в набор — значит, я желал, чтобы он вышел в свет. Но, откровенно говоря, я сомневался, чтобы редакция оказалась так наивна — не разобрать риска, который я ей предлагаю.

— А это не могло быть сделано — нарочно, с целью погубить вас? Я слышал, что у вас в редакции были очень острые отношения?

Г[осподин] Лопухин — живой человек и, я полагаю, в случае надобности не откажется подтвердить, что на высказанное им предположение я отвечал самым убежденным и энергическим отрицанием.

— Я потому вас спрашиваю, — объяснил он, — что во многих петербургских кругах держится такое мнение, и мне о том не раз говорили...

Сказать по чистой правде, я даже заподозрил было: не подсказывается ли мне полицейский намек, как покончить и убрать в архив дело, о котором г. Лопухин сам выражался, что «по своей бестолковости, оно — кошмар департамента». Но это, может быть, уже и больная мнительность человека со сломанною доверчивостью к людям, когда-то слишком большою.

О том, где «догадались» — в Министерстве внутренних дел или во Дворце — и кто был виновником воздвигнутого на меня гонения, я так и не знаю достоверно. Версий повторялось множество. Самая распространенная — та, которую напечатало «Quarterly Review» и затем перепечатали многие революционные издания. По ней, донос на меня был сделан лично Николаю II его духовником, протоиереем Янышевым; царь будто бы прочитал «Господ Обмановых», но ему и в голову не пришло, что речь идет о нем; но вот Янышев, в патриотическом негодовании, входит с газетою в руках и разъясняет монарху дерзновенные строки, вопия об отмщении поруганного величия; царь зовет Сипягина.

— Читал ты сегодня «Россию»?

— Читал, ваше величество.

— Какого ты мнения о фельетоне?

— Не нахожу в нем ничего особенного, ваше величество. Самый невинный фельетон.

— Как ничего особенного? как невинный фельетон?

И царь будто бы пустился комментировать своему министру внутренних дел, с янышевских слов, мое злополучное произведение, раскрывая псевдонимы и указывая сходства. Если это было действительно так, то высокая опереточность момента неподражаема и вознаграждает меня за претерпенные неприятности, хотя не вполне, но — в весьма значительной мере. Потому что вряд ли можно вообразить императора и самодержца всероссийского в роли более комической, чем — комментатором сатиры на свой собственный «царствующий дом».

— Ты видишь, какою скотиною изображен покойный Алексей Алексеевич Обманов... Не ясно ли, что автор метит оскорбить в Бозе почившего папеньку?

— Так точно, ваше императорское величество.

— Супруга Марина Филипповна, облагодетельствованная, ибо взятая за красоту из гувернанток... Где у тебя глаза, Дмитрий Сергеевич? Ведь это же — как живая, две капли воды — вдовствующая маменька!

— Так точно, ваше императорское величество. Живая, две капли воды.

— А Ника-Милуша, который не знает, что он, собственно, за человек и каковы суть его намерения и убеждения? Неужели ты не видишь, что это я? Ну, сам посуди: кто же может быть иной, если не я?

— Так точно, ваше императорское величество. Именно, что вы. Никому иному нельзя быть, как вашему императорскому величеству.

В результате царственно-опереточный комментировки последовало высочайшее повеление: меня немедленно сослать в Восточную Сибирь, а газету «Россию» закрыть[30]. Царь якобы настаивал на вечной ссылке, но Сипягин уговорил его быть великодушным и ограничить срок пятью годами.

Я не возьму на себя смелости отрицать возможность доноса со стороны Янышева: я этого человека совершенно не знаю, никогда не имел к нему никаких отношений, ни дурных, ни хороших, так что «личности» против меня он не мог питать никакой; но российскому патриоту вообще, а в рясе — наипаче свойственно иногда взыграть беспредметною свирепостью и броситься, подобно быку, в пространство, на

красный цвет; кроме того, духовенство в конце 1901 года было зло на меня за ряд статей, мною сочиненных или внушенных и проведенных в газету, и добра от него ожидать я не мог. Всего за три дня до «Обмановых» я напечатал в «России» резкую статью о темном язычестве православных в Новгородской епархии — в каких-нибудь 100—200 верстах от Петербурга, с его Святейшим синодом, богатыми лаврами, бархатными рясами, ростовщичествующим монашеством и праздно чиновствующими попами![31] Я был извещен, что статья вызвала бешеное негодование Победоносцева, и он, в присутствии нескольких своих клевретов, в том числе пресловутого генерала Богдановича, обещал, что дерзость этого обличения мне даром не пройдет. Мне еще придется возвратиться к трагическому qui pro quo[32], в которое меня потом поставила эта статья.

Но, при всей приятности для моего авторского самолюбия видеть героями фарса, сыгранного о имени моем, его императорское величество, благочестивейшего и самодержавнейшего государя нашего Николая Александровича в роли Филиппа II, Сипягина — герцогом Альбою и Янышева — великим инквизитором[33], я нахожу в этой версии два неправдоподобия. Во-первых, если бы последовало высочайшее повеление закрыть «Россию», то она и была бы закрыта немедленно, в тот же день, — тогда как фактически она сама приостановилась, видя перед собою цензурное смятение, парализующее всякую возможность продолжать издание, — официальное же закрытие ее произошло лишь спустя несколько недель после моей ссылки и не по высочайшему повелению, но в самом будничном порядке — постановлением четырех министров. Невероятие второе: я никогда не поверю, чтобы Сипягин, имея перед собою возможность упечь меня в вечную ссылку, стал ходатайствовать о смягчении участи. Этот человек ненавидел меня давно и лично. Его отзывы и угрозы доходили ко мне часто и выразительно через лиц, непосредственно близких к нему, но знакомство которых со мною он не подозревал. Ах, покуда я был «влиятельным журналистом», могу похвалиться: у меня была очень недурная собственная «тайная полиция», с тою лучшею особенностью, что, в отличие от государственной, она мне никогда ни копейки не стоила!

Лично я немножко знал Сипягина, когда он был московским губернатором: часто случалось встречаться в летних театрах, которых он, записной балетоман, был усердным посетителем, — и, сидя рядом в

креслах, познакомились. Он производил впечатление «барина» из типа, который Щедрин называл «дворянскими кадыками»[34]. Очень любезный, прекрасно и с несколько подчеркнутой старомодностью воспитанный и... бесконечно невежественный, по-русски малограмотный и глупый «столбовой» крепостник. Как все счастливчики, выброшенные фортуною в карьеру, превышающую их достоинство, и втайне сознающие свое ничтожество, он был очень ревнив к секрету своей природной глупости и жестоко обидчив в случаях, когда она уж очень всплывала наверх. Но мягко стелить у него имелся талант, и когда он был назначен министром внутренних дел вместо И.Л. Горемыкина, помню, я почти обрадовался, так как при Горемыкине мне литературно жилось очень скверно — после резкого фельетона о скандальном процессе жандармского полковника Меранвиля и адвоката Зеленки, обвинявшихся в разных плутнях по многомиллионному наследству некоего южного богача Попова[35]. Зеленка, личный друг Горемыкина, был оправдан — к большому возмущению петербургского общественного мнения. Меранвиль в качестве козла отпущения сослан в Архангельск, откуда, впрочем, ему вскоре разрешено было бежать за границу — с такою откровенностью, что, говорят, при проезде беглеца по железным дорогам станционные жандармы аккуратнейше и почтительнейше отдавали ему честь. Петербург очень хорошо знал, что дело Меранвиля и Зеленки имело задний смысл общественной дуэли между министром внутренних дел Горемыкиным и министром юстиции Муравьевым — величайшим, но неудачным честолюбцем российской бюрократии, который тогда только и грезил, как бы свалить Горемыкина. Щекотливое дело, где на заднем плане копошились ближайшие приятели Горемыкина и была очень замешана великосветская дама[36], которую глас народа — глас Божий почитал любовницею Горемыкина и нимфою Эгерией его административных вдохновений, давало Муравьеву блистательную почву для победы и ставило его в красивую позу стоятеля за правое дело против насилий бюрократической камарильи. Но в тысяча первый раз оправдалось, насколько в России Министерство внутренних дел есть министерство министерств и как стальное копие закона ломается о преступления, закованные в золотой панцирь. Бюрократическая камарилья не позволила себя компрометировать, и даже такой умный и расторопный сыскных дел мастер, как Муравьев, не сумел извлечь из глубин ее ни одной настоящей, крупной рыбины

и должен был удовлетвориться, совсем не по аппетиту, тощим ершом Меранвилем. Осуждение последнего, само по себе, было вполне основательно и в других условиях было бы принято равнодушно, но — при зрелище полной безнаказанности всему городу известных, по именам называемых и пальцами указуемых лиц, гораздо более Меранвиля виновных, — возбудило неудовольствие и протесты. Печать молчала.

Я осмелился нарушить это искусственное безмолвие обличительным фельетоном с разоблачением некрасивой подкладки процесса и с весьма прозрачным указанием на задние его пружины в Министерстве внутренних дел. Эффект получился оглушительный, но этой истории Горемыкин никогда мне не простил. Ей я был обязан впоследствии категорическим отказом его утвердить меня ответственным редактором «России». Это — не предположение мое. Это — подлинное признание самого Горемыкина, с циническою откровенностью сказанное им мне в глаза, когда я добился у него аудиенции для объяснений. Но об этом — после.

Нечего и говорить, что радость о смене Горемыкина Сипягиным могла держаться лишь очень непродолжительно. Вообще, на случай, когда меняются министры внутренних дел при неизменности самодержавного режима, журналистам не лишнее запомнить, как политическое нравоучение, анекдот о персидском шахе Наср Эддине.

Однажды этот достойный монарх, гуляя incognito по Тегерану, заметил у врат мечети старую женщину, молившуюся с необычайным жаром, — подобно тому как Анна молилась в скинии о рождении Самуила[37]. Заинтересованный шах подошел ближе и — к удивлению и восторгу своему — слышит, что женщина, в экстазе, повторяет одни и те же слова:

— Господи! сохрани на многие лета жизнь нашего шаха Наср Эддина! Господи! сохрани на многие лета жизнь нашего шаха Наср Эддина!

«Гм?! — подумал изумленный шах. — Я царствую тридцать лет и впервые слышу, чтобы кто-либо из моих подданных возносил за меня молитвы по доброй воле и вне молебнов, установленных в табельные дни!»

И он позвал:

— Встань, женщина! И отвечай мне: чем облагодетельствовал тебя всемилостивейший государь и повелитель наш, шах Наср Эддин, что ты с таким усердием молишь за него небо в твоих одиноких молитвах?

Женщина отвечала:

— Ах, господин! Ты ошибаешься! Я не получала никаких благодеяний от всемилостивейшего государя и повелителя нашего, царя царей, шаха Наср Эддина. Напротив: всего вчера лишь его сарбазы[38] угнали у меня трех коров и взяли в гарем его величества мою любимую внучку Зобэиду.

— Иншаллах машаллах! — воскликнул озадаченный Наср Эддин. — Тогда, о женщина, я совсем отказываюсь понимать тебя! Христианка ты, что ли? Ведь это христианский пророк велит прощать врагам своим и молиться за них! А я в качестве добропорядочного правоверного на твоем месте проклинал бы этого злодея шаха и желал бы ему лютой и скорой смерти!

— Ах, господин! — горестно возразила старуха. — Все это — уже дело испытанное и ни к чему не ведет! Напротив: еще хуже! Неужели ты думаешь, что я не пробовала?

— Пробовала?! — в негодовании и страхе воскликнул шах, нащупывая на всякий случай в кармане полицейский свисток, чтобы дать сигнал арестовать столь нагло злоумышленную старуху.

— Выслушай меня, господин! Когда воцарился в Персии дед нашего обожаемого монарха, шах Музафер Эддин, я была счастливая мать семейства и богатая женщина, у меня во дворе стояло десять коров, а в дому возрастали четыре красавицы-внучки.

— Гм! — сказал Наср Эддин. — И еще вольтерианцы осмеливаются говорить, будто народ бедствует! Мой министр финансов назвал бы это перепроизводством коров и внучек!

— Но вот, — рассказывала старуха, — однажды врываются ко мне сборщики податей и с ними солдаты в Бозе почившего шаха Музафера. Они меня ограбили, поколотили, изнасиловали, — я тогда еще была не слишком стара и недурна собою, господин! — и угнали в шахово стадо лучшую из моих коров, а в шахов гарем — красивейшую из моих внучек Зулиму.

— Гм! — заметил переодетый монарх. — А ты слыхала: воздайте кесарево кесареви? Это хотя и не наш, мусульманский, но лишь христианский закон, однако пророк сказал: учитесь полезному у соседей ваших!

Женщина продолжала:

— По неопытности, я горько плакала, проклинала шаха Музафера и молила Бога послать ему скорую смерть. Слезы вдов и сирот доход-

чивы. Весьма скоро нашелся доблестный бабид[39], который распорол шаху Музаферу живот и изрубил ему кишки острым бебутом[40]. На престол вступил родитель нашего благодетеля и солнца вселенной — шах Хозрев. Но представь себе мой ужас, о незнакомец! Едва он воцарился, опять врываются ко мне сборщики податей и солдаты, опять меня бьют, грабят, насилуют и уводят в шахов гарем внучку Фатиму, а в шахово стадо забирают уже не одну, а целую пару коров!

— В нашей финансовой системе, — важно заметил Наср Эддин, — это называется прогрессивным налогом!

— Я опять горько плачу, проклинаю, опять молю Бога о смерти шаха Хозрева. Бог опять меня слышит. Приходит другой бабид с другим бебутом и вскрывает шаху Хозреву другой живот совершенно по той же системе, как был вскрыт первый. Нашим повелителем становится любимец неба, обожаемый монарх, благополучно царствующий шах наш, Наср Эддин, да сохранит Аллах благие дни его на многие, многие годы!

— Аминь! — сказал Наср Эддин с чувством и так громко, что эхо тоже воскликнуло:

— Аминь!

А шах, в благодарность, грациозно поклонился в ту сторону и подумал со слезами на глазах: «Однако как меня любят!»

— И вот, — грустно повествовала старуха, — вчера опять пришли ко мне сборщики податей и солдаты, опять меня ограбили, избили и даже не удостоили изнасиловать, потому что нашли меня уже слишком старою и некрасивою! Опять забрали внучку Зобэиду — это уже третья внучка, господин! — шаху в наложницы, опять увели — да не одну, не двух, но уже трех коров, — а всего это будет шесть коров, господин! — в шахово стадо. Тогда я поняла, что прежние мои молитвы о смерти шахов-предшественников были глупые и грешные молитвы, и неужели тебе не понятно теперь, господин, почему я так усердно прошу Бога сохранить долгую жизнь нашему повелителю Наср Эддину?! Ведь у меня остается всего одна внучка Аиша и только четыре коровы! Если Музафер взял у меня Зулиму, если сын Музафера Хозрев взял у меня Фатиму, если сын Хозрева Наср Эддин взял у меня Зобэиду, то не ясно ли, что сын и преемник Наср Эддина похитит у меня и Аишу?! Если Музафер отнял у меня одну корову, Хозрев — двух коров, Наср Эддин — трех, то не ясно ли, что сыну и преемнику Наср

Эддина понадобятся четыре коровы?! И, таким образом, должна я буду кончить свой старческий век горькою, нищею сиротою, без коров и без внучек... Нет, нет! Спаси, Господи, благочестивейшего шаха нашего Наср Эддина и сохрани ему жизнь и благоденствие на многие лета!

* * *

Ночь с 13-го на 14 января я провел почему-то — точно по предчувствию — в отвратительно мрачном и удрученном настроении духа. Беспричинная бессонница мучила до четырех часов, а в шесть горничная Марфуша постучала в дверь спальни.

— Что там?

— Барин, вас спрашивают какие-то офицеры.

— Офицеры?!

— Один ждет в передней, а другой остался во дворе.

— Полиция, что ли?

— Нет, как будто... так, офицеры...

— Что же им надо?

— Не знаю, очень просят видеть вас по делу...

— Скажите им, что я сплю. Какие дела темною ночью? Пусть приходят днем.

Горничная ушла объясняться, а я остался лежать, перебирая в уме, что бы это были за офицеры, если не полиция? Незадолго перед тем я напечатал статью о некоторых русских, жительствовавших в славянских государствах на Балканском полуострове и подозревавшихся местными политическими людьми в шпионстве на службе русского правительства[41]. Сын одного из этих господ, офицер, прислал одному моему тогдашнему приятелю письмо с залпом свирепых ругательств по моему адресу и с обещанием убить меня на дуэли. Как говорит Сенкевич: «Если и не убил, то единственно потому, что не вызвал». Секунданты с вызовом, что ли? В жизни российского журналиста дуэльные «комедии чести» реже, чем за границею, но все-таки бывают. Когда я жил еще в Москве и был фельетонистом-хроникером одной из местных газет, мне выпала однажды такая счастливая зима, что я удостоился в течение ее ровнехонько пяти вызовов. Два я принял, и обе дуэли оказались действительно очень опасными для меня: хотя до стрельбы дело в оба раза не дошло, но объяснения и примирения, с протоколами секундантов, что обе стороны вели себя джентльменски, сопро-

вождались столь гомерическими пирушками, что даже я, человек, совсем не склонный робеть перед стаканами с вином, пасовал и был потом болен. Поэтому на следующие вызовы я отвечал уже неизменно:

— Благодарю вас, я больше не пью!

И мало-помалу «люди чести» оставили меня в покое.

Жена моя, тоже дурно спавшая эту ночь, проснулась, узнала, в чем дело, и сразу сказала:

— Это обыск.

Я не успел ей ответить, как горничная опять возвратилась — сообщая, что один офицер ушел, а другой ни за что не уходит и настаивает, чтобы я к нему вышел, потому что он имеет ко мне очень важное и спешное поручение... Внизу, — спальня моя была во втором этаже, я занимал на Ждановской улице маленький особняк во дворе, дом Гойера, — я слышал: мои два сенбернара ревут и беснуются от присутствия чужого человека. Еще съедят казенного человека, бестии! Нечего делать, оделся на скорую руку, вышел. Мои верные псы так ко мне и бросились с ласками, весело виляя богатырскими своими хвостами.

В маленькой моей приемной ждал меня высокий молодой офицер. Я сразу узнал жандармскую форму: ага, значит, не дуэль, но арест или обыск.

Офицер очень вежливо и даже любезно представился:

— Барон Левендаль.

И пустился извиняться, что беспокоит меня в такое неурочное время, но причиною тому — неотложное поручение его превосходительства, г. градоначальника, который просил меня немедленно к нему пожаловать.

— Зачем?

— Право, не знаю... Я человек подчиненный. Мое дело исполнить приказ.

Г[осподин] Левендаль смотрел ясно, открыто и ласково, не обнаруживая никаких, что называется, агрессивных намерений. Я даже усумнился, — в самом деле, арест ли? Редактируя газету, мне не раз приходилось переговариваться с градоначальником и его канцелярией по телефону глубокою ночью, если случалось в городе что-нибудь спешное и важное, что эти господа просили поместить в очередной выходящий номер. Может быть, и теперь так? Правда, я никогда рань-

ше не получал от г. Клейгельса приглашений к личному свиданию в столь неурочные часы, но приглашение может быть объяснено тем обстоятельством, что с некоторого времени издатели «России»*, экономии ради, отняли у меня, как у опального человека сазоновской редакции, мой телефон...

— Послушайте, — сказал я Левендалю, — ваше приглашение какое-то странное... на словах... Так не делается, я не поеду...

— Ах, Боже мой, — заторопился он, — извините, пожалуйста, у меня есть и письменное приглашение. Я сейчас же буду иметь честь представить вам его. Я, знаете, полагал, что вы поверите мне и на словах. Но, если вам угодно, — к вашим услугам... такая пустая формальность...

Я попросил барона — хотя и не имею причин ему не верить — все-таки исполнить «пустую формальность». Он помялся и, неособенно довольный, но не настаивая возражать, вышел из моей квартиры. Кажется, мои сенбернары ему очень не нравились. Он все на них поглядывал.

Я взбежал наверх. Жена, встревоженная, раздетая, сидела на кровати:

— Ну, что?

— Черт их знает! Зовут к Клейгельсу.

— К Клейгельсу? Что же это? Арест? Высылка?

— Говорю тебе: черт их знает. Может быть, и нет... пустяки какие-нибудь... уж очень любезен и почтителен этот барон... непохоже.

Звонок. Это уже возвратился Левендаль. Он, с прежнею ласковостью, вручил мне лоскуток бумаги с бланком петербургского градоначальника: г. Клейгельс изысканно вежливо приглашал меня пожаловать к нему по делу, не терпящему отлагательств. Недоумение продолжалось и даже возросло. Протестовать против подлинности документа не было оснований, хотя сдавалось мне, что он только сейчас составлен в дворницкой по готовому бланку, — чернила были почти свежие.

---

* Решительно не могу равнодушно упоминать название этой газеты, присвоенное ныне самой гнусной рептилии русского журнального мира[42]. У бедной покойной «России» обобрано современною реакционною самозванкою все внешнее: имя, формат, тип шрифта и заголовка... полная подделка, театральный грим, контрафакция наружности! Это похоже на осквернение и ограбление могилы, — с тою, однако, разницею, что у редкого кладбищенского вора достанет наглости щеголять в платье ограбленной им покойницы с такою невозмутимостью духа, какую являет нынешняя «Россия» — бессовестный орган столыпинского министерства и лганья!

— Хорошо, — сказал я. — Сейчас приеду.

— Да не угодно ли вам — со мною? Сейчас, по раннему времени, вам будет трудно найти здесь извозчика, а меня ждет лошадь.

Несмотря на ясность взоров и любезность речи белокурого барона, его навязчивость показалась мне подозрительною: опять запахло арестом. А с другой стороны, если арест, чего бы они уж так очень много со мною церемонились? Посмотрел я на Левендаля, Левендаль смотрит на меня во все свои честные серо-голубые глаза, и на обоих нас смотрят две огромные лохматые собаки. Наконец, я рассудил про себя так: если это арест, то мой отказ ехать ни к чему для меня полезному не приведет; арестовать полиция не приходит ни в одиночку, ни с пустыми руками, и, конечно, если барон Левендаль прибыл меня арестовать, то у него во дворе есть и люди, и средства, чтобы заставить меня за ним следовать, и выйдет только излишний скандал и шум, который перепугает мою жену и ребенка: моему сыну, Даниле, кончался тогда третий месяц. Если же дело сводится в самом деле только к тому, чтобы ехать к Клейгельсу для какого-то спешного разговора, то не все ли мне равно: пусть жандармский барон везет меня на своем коне, по крайней мере не платить за извозчика.

— Хорошо, — опять сказал я. — Будьте любезны обождать меня. Я сейчас переоденусь.

— Помилуйте, вы одеты совершенно прилично...

— Нет уж, знаете, для официального делового визита так не годится...

Боясь показаться мне подозрительным, Левендаль не протестовал более, хотя вид у него был очень недовольный, и теперь мне совершенно ясно было, что он боится, — а не удрал бы ты от меня, друг любезный, вместо того чтобы переодеваться-то, и не быть бы мне за тебя потом в ответе? Тем не менее я настоял на своем и ушел наверх, оставив между собою и Левендалем стражами столь смущавших его сенбернаров.

Жена по-прежнему сидела на кровати.

— Арест?

— Не знаю... Надо ехать...

Я быстро переоделся из тужурки в редингот и вообще привел себя в визитный вид. Перебрасываясь с женою короткими, быстрыми фразами, мы говорили, что, по всей вероятности, нас ждет какая-нибудь

высылка. Если даже так, то, конечно, мне разрешат вернуться домой, — высылки того времени редко осуществлялись скорее, чем в трехдневный, семидневный и даже лишь в двухнедельный срок. Пресловутые 24 часа существовали больше в легендах и на бумаге. По крайней мере, так рассказывали сведущие люди. Но на всякий случай, если бы меня арестовали, то немедленно, по горячим следам, поезжай к таким-то и таким-то, чтобы стать au courant[43] дела и хлопотать... В ту возможность, что я не вернусь домой, я верил настолько мало, что даже не взял с собою в бумажник денег, которые предлагала мне жена. Я больше боялся не того, что не вернусь, а того, что в мое отсутствие у меня сделают обыск. Никаких запретных и конспиративных документов я не хранил дома, но у меня в письменном столе лежало несколько частных писем, которые, по интимности их содержания, было бы более чем неприятно — прямо-таки отвратительно — видеть в полицейских руках. Поэтому я — что успел из этих манускриптов — спустил в ватерклозет, а припрятать остальное указал жене. Затем, попрощавшись на всякий случай, в которого возможность я все еще не верил, с женою и поцеловав нашего ребенка, я вышел к Левендалю.

— Готов. Едемте.

По радостному взгляду, которым встретил меня Левендаль, видно было, что он таки поволновался за мое отсутствие. А может быть, просто соскучился, — ну, и созерцать перед собою две собачьи морды, с глазами, внимательно следящими каждое движение чужого человека, и с дюймовыми клыками, готовыми, чуть что не так, вцепиться в офицерское горло, — это времяпрепровождение тоже не из приятных и, что называется, на любителя.

Вышли. К моему великому счастию, на дворе стояла необычайная по времени (14 января) оттепель. Дело в том, что мы с женою переживали страшно безденежную полосу, и моя шуба была заложена в ломбарде, так что выехать мне пришлось в легком демисезонном пальто, на вид-то весьма красивом, но в существе своем подбитом, как говорится, на стерляжьем меху. Во дворе я, проходя с Левендалем, не заметил никого, но за воротами к нам подскочили два городовых и какие-то сыщические морды.

— Прошу вас... — ласково предлагал барон.

Извозчик у него был хороший. Одна из сыщических морд что-то коротко сказала барону. Барон ответил:

— Так.

— Хорошо?

— Есть.

Я понял, что сей условный лаконизм знаменует, что я благополучно взят в плен... Любопытно, что это меня нисколько не взволновало. Во-первых, я все еще не верил в серьезность своего положения, а во-вторых, Петербург в ту зиму так измучил меня, так растерзал мои нервы и утомил голову, что я, в сущности, ничего не имел бы даже и против того, чтобы слегка, как в Сибири выражаются, «переменить участь»...

«Ну, и арест, ну, и высылка, ну, и Рязань, Самара, Калуга какая-нибудь... По крайней мере, передохну немножко от проклятых газетных историй и передряг, которые в последние месяцы меня только что не сумасшедшим делали, и на свободе буду писать своего "Зверя из Бездны"...»

Барон Левендаль, во время получасового переезда с Петроградской стороны на Гороховую к градоначальнику, занимал меня приятными разговорами. Оказался читателем и почитателем. Сделал очень много комплиментов моему «остроумному перу».

— Вот еще и сегодня читал ваших «Обмановых». Очень смешное что-то начали... Это что же будет — роман?

— Да... роман или повесть...

— Весьма, весьма живо... Нам, знаете, много служба мешает. Когда-то, когда-то удосужимся урвать время — насладиться, пробежать интересный номерок... А то, знаете, мы бы читали... — И т.д.

Оставалось кланяться и благодарить: жандармский офицер, одобряющий, в глаза автору «Господ Обмановых», остроумие сего благонамеренного произведения, — это в каком угодно печальном положении рассмешить может. Затем барон Левендаль поведал мне, что у нас есть общие знакомые среди оперных артистов (он, конечно, оказался театралом: еще бы иначе! какой же полицейский или жандармский офицер не театрал и не меломан?), а мою жену он имел удовольствие видеть на сцене. Что касается причины нашего внезапного знакомства и утреннего путешествия, он по-прежнему оставался наивен и хранил неведение младенца и даже сам спрашивал:

— Что, Александр Валентинович, вероятно, что-нибудь по газете стряслось, что градоначальник вас вызывает?

— Вам лучше знать, барон.

— Помилуйте: откуда же? Мы простые исполнители, разве нам говорят?

Так простой исполнитель и привез меня в градоначальство. Вошли мы как добрые люди, а не арестантский транспорт — общим подъездом с Гороховой, а не со двора. Барон Левендаль проводил меня в приемную, щелкнул каблуками, отдал военный поклон, любезно улыбнулся и удалился с моего горизонта... Очень сожалею, что я плохо запомнил его незначительное, общеустановленного офицерского петербургского типа, довольно красивое немецкое лицо. А читатель пусть не удивляется, что я так подробно о нем рассказывал. Фигура стоит того. Этот барон Левендаль — «одно из славных русских лиц»[44] — штучка непростая, и имя его уже записано в истории русской революции жгучими, кровавыми чертами. Этот барон Левендаль — тот самый полицейский злодей, которого Плеве впоследствии командировал организовать и подготовить кишиневский погром[45]. Способность свою к столь сложному и важному полицейскому подвигу благородный барон доказал и кандидатуру на обер-погромщика подготовил необыкновенным умением исполнить деликатные и бесшумные поручения. Надо отдать ему справедливость, что в моем случае он вел себя по обыкновению en grand maître[46] и мастерски играл на психологию «непротивления злу», которую надеялся во мне встретить, и не ошибся. Признаюсь, что мне очень хотелось бы и любопытно было бы повстречаться с этим господином еще раз когда-нибудь в жизни. Не для мстительных каких-нибудь актов, а просто — по художественному любопытству: уж очень цельным прохвостом он мне вспоминается... другого столь приличного, благовоспитанного и ласкового предателя видать не приходилось и, пожалуй, не приведется.

Ни в приемной Клейгельса, ни в том маленьком аванзале, где градоначальник имел обыкновение беседовать с публикою «почище» и куда меня теперь направили, не было решительно ничего угрожающего.

— Что это вас так рано обеспокоили? — спросил меня дежурный чиновник, немножко знакомый, так как однажды привозил ко мне в редакцию какое-то официальное полицейское опровержение.

— Право, не знаю... Вас надо спросить.

— Мне ничего не известно. Никакого особого распоряжения не было. Ты не знаешь? — обратился он к другому дежурному.

Тот лишь головою качнул отрицательно.

Ждать пришлось довольно долго, с полчаса, и это было скучно. Я сидел один. В соседней комнате шумели и смеялись чиновники. Одинокое ожидание развивает мнительность. Мне начало казаться, что они обманывают меня и в действительности очень хорошо знают, зачем меня привезли, и это скверный для меня признак, что меня обманывают. Наводили меня на такие мысли и отрывочные фразы, долетавшие ко мне из приемной.

— Кому вы телеграфируете?

— Да вот битый час ищу Сазонова.

— Сбежал ваш Сазонов?

— Генерал приказывает найти Сазонова во что бы то ни стало.

Слыша такое частое повторение фамилии Сазонова, я думал, что речь идет об официальном редакторе-издателе «России». Ого! Значит, в некотором роде «сбор всех частей»: штука серьезная! Я ошибался. Я совершенно забыл, что начальник Петербургского охранного отделения был тоже Сазонов. Его-то и вызванивали по всем телефонам и никак не могли вызвонить. Когда крупный полицейский чиновник вздумает пропасть без вести в Петербурге, его не так-то легко найти — для своей братии, полицейских же. Просто хоть кланяйся тогда революционерам, чтобы указали, куда закатилось исчезнувшее сокровище. Такой кутильный провал в какие-то тартарары одного важного полицейского туза — как мы увидим ниже — престранно отозвался на моей судьбе.

Наконец выходит Клейгельс — в мундире, в орденах. Идет прямо ко мне какою-то слишком бравою, боевою походкою. Вижу, что взволнован он страшно, и лицо у него белое, как бумага. Останавливается в трех шагах от меня и, старательно глядя в сторону, рубит:

— Я обязан вам объявить, что, по распоряжению господина министра внутренних дел, вы должны выехать из Петербурга...

— Хорошо, генерал, — машинально отзываюсь я, очень спокойно думая: «Ну, что же? И в Калуге не худо, и в Рязани люди живут». А Клейгельс, точно набравшись храбрости в первой фразе, скороговоркою договаривает:

— Назначаетесь в распоряжение иркутского генерал-губернатора.

Это уже — обухом по голове!

Слова Клейгельса настолько оглушили меня своею неожиданностью, что я — буквально — позабыл спросить его: «За что?»

А он, видимо обрадованный и моею паузою, и тем, что я не падаю в обморок, но имею вид довольно спокойный, пускается от меня наутек. Я опомнился. Обгоняю его и становлюсь в дверях — ему поперек дороги.

— Вы разрешите мне, генерал, отправиться домой, чтобы распорядиться делами и проститься с семьею?

Генерал смотрит на меня изумленными глазами.

— Я с удовольствием бы... Но вы не успеете... Ваш поезд уходит в девять часов утра, а сейчас без четверти восемь...

Новый обух... Черт знает что! Это уже не пресловутое «в двадцать четыре часа», а чуть не в двадцать четыре минуты.

— Генерал, я назначен ехать в Восточную Сибирь — между тем на мне даже теплого платья нет... а теперь январь.

— Что же делать? Напишите своим с дороги... Остановитесь в каком-нибудь городе, вам вышлют вслед...

— Мне разрешено останавливаться в пути?

— О, конечно! Я распорядился... Вы получите проходное свидетельство и маршрут...

— Но — как же я уеду, даже не повидав жены и ребенка? Ведь это же... И притом мои дела... от меня зависит не один десяток людей... дайте мне время сделать хоть доверенность...

Клейгельс, весь передернувшись, говорит мне быстро:

— Супруга ваша уже извещена. Вы увидите ее на вокзале. Я разрешил свидание. А доверенность на управление вашими делами вы можете сделать в одном из тех городов, в которых остановитесь по пути...

Клейгельс исчез в кабинете, а вокруг меня, как грибы, выросли жандармы. Два самых дюжих отделились и повели меня по боковой узенькой лестнице вниз, во двор, где ждала карета с опущенными шторами.

Впоследствии Клейгельс говорил нашим общим знакомым, что никогда в своей полицейской службе не волновался он более неприятно, чем объявляя мне мой приговор. Охотно верю. Легко вычеркивать из жизни человека, лишь когда он для тебя безвестное имя, проставленное на казенной бумаге, а меня Клейгельс знал лично, равно

как и мою жену; в театре встречаясь, часто обращался ко мне с разговорами; в 1898 году, когда я сам имел глупость взяться за театральную антрепризу, Клейгельс даже оказал мне любезность, разрешив открыть спектакли раньше внесения залога. Правду сказать, благодарить его за это мне — в конце концов — не приходится, ибо открытие сие было веселым началом печальнейшего краха, в коем я за три месяца потерял 32 000 рублей, которые потом выплачивал своим кредиторам ровно четыре года. К январю 1902 года, когда разразилась моя ссылка за «Обмановых», я только-только что начал было дышать свободнее... проклятая система бросать людей на край света в двадцать четыре минуты воскресила, обострила и углубила все мое разорение... сделала его непоправимым!

Кроме того, беседуя с Клейнгельсом, я не раз приходил к убеждению, что он — черт не столь страшный, как его малюют, и ужасная черта его полицейской натуры — неумолимая и нерассуждающая исполнительность во всем, что свыше приказано, а не та злобная личная изобретательность, какою, например, был полон покойный фон Плеве. На маленьких полицейских постах, где он был предоставлен личной инициативе, например в качестве варшавского обер-полицеймейстера, Клейгельс оставил среди населения недурную память. Не поднимись он выше по лестнице чинов, весьма вероятно, что так и остался бы — с репутацией сравнительно порядочнейшего человека в непорядочной полицейской среде. Но — «долез до степеней известных»[47], которые «обязывают», но для которых у Клейгельса не оказалось ни ума, ни таланта, — оставалось возместить все это не знающим ни колебаний, ни разборчивости усердием, — и человек, развращаемый отвратительною службою изо дня в день, сам не заметил, как обратился в двуногого бульдога. В последние свои петербургские годы Клейгельс был уже полицейским самого вульгарного и бестолково-разрушительного типа, Сквозником-Дмухановским в генерал-адъютантских вензелях, гоголевским городничим, достигшим прелестей «амбре» и красной ленты. Шла дружная молва, что и денежною честностью он, особенно со времени своей второй женитьбы, стоял уже ничуть не выше Сквозника-Дмухановского и, предчувствуя близкий конец своего столичного панованья, хапал налево и направо самою широкою рукою. Так, громко огласились его истории с трактирщиками из-за

сокращения ночной торговли, присвоение казенного парохода речной полиции и т.п. Одной моей знакомой даме Клейгельс говорил однажды, с отчаянием держась за голову:

— Думал ли я, когда первый — в отряде Гурко — перешел Балканы, что моя судьба — кончить жизнь в поганом полицейском мундире?

За подлинность этих слов я могу ручаться, но за правду их — ничуть, так как многие офицеры, участники Русско-турецкой войны, уверяли меня, будто и молодой Клейгельс был известен среди товарищей не столь своими военными подвигами, сколь истинно цыганским талантом барышничать лошадьми. Не знаю, кто прав, кто виноват, но, во всяком случае, уже то обстоятельство, что Клейгельс, будучи генерал-лейтенантом, способен был издавать столь покаянные восклицания, доказывает его принадлежность к еще старой полицейской формации, которая, при всей наглости своих деяний, все-таки немножко понимала неловкость своего прохвостнического ремесла и сама себя конфузилась. Настоящие полицейские мерзавцы с гордыми рескриптами к «славным чинам полиции» и театральными воплями о «лаврах», ожидающих головы околоточных и сыщиков, шли уже следом за Клейгельсом, как более молодое поколение Треповых, Медемов, Рейнботов и прочей компании им подобных.

Привезли меня мои Держиморды на Николаевский вокзал, с покойницкого подъезда провели в жандармскую комнату. Сижу в настроении какого-то неестественного, глупейшего спокойствия и жду жену. Снуют разные жандармские офицерики, пред которыми мои верзилы очень лениво вытягиваются, а если те обращаются к ним с вопросами, то отвечают небрежно и нехотя. Тут я впервые убедился, что жандармский нижний чин с поручением превращается последним в «шишку», подъемлющуюся выше всех иных властей предержащих и даже воинской дисциплины. Провинциальные жандармы еще робеют пред офицерскими погонами, но петербургские знают, где раки зимуют, и иной раз так резко обрывают наянливое любопытство своих предполагаемых отцов-командиров, что — слушая со стороны — едва ушам веришь.

До отхода поезда оставалось двадцать минут. Я начинал уже беспокоиться, что жена не успеет приехать — ведь ей надо было пересечь с Петербургской стороны на Николаевский вокзал чуть ли не весь город! да и не соврал ли Клейгельс, правда ли, что известил ее и раз-

решил свидание? В это время она показалась в дверях. Не могу описать чувства, с каким я увидел ее... Клейгельс не солгал. За это я охотно прощаю ему все остальное его вранье — об остановках в пути, о возможности писать с дороги и т.п. Потому что во всех этих обещаниях — кроме свидания с женою — он обманул меня от первого слова до последнего. Впоследствии, впрочем, он оправдывался, что сделал бы все, как обещал, да не его была воля. Он-де будто бы даже рассчитывал, что — после первого перегона железнодорожного — можно будет дальше отправить меня попросту, с проходным свидетельством административно высланного, без жандармов. Но Сипягин, директор Департамента полиции Зволянский и еще какой-то неизвестный мне «друг», — подозреваю, что генерал Богданович, — настояли, чтобы я сохранил свою воинственную свиту и проехал, рекламируя ею себя как важнейшего государственного преступника. Очень может быть, что Клейгельс и в самом деле обманул меня невольно — против своего личного намерения. По крайней мере, жене моей — после того как меня увезли — он выказал много участия и желания помочь — до тех пор, покуда не поговорил по телефону со Зволянским и, по-видимому, получил от него более чем выразительный совет — не мешаться не в свое дело. По крайней мере, старик сразу переменился, сделался сух, холоден, официален и, разводя руками, только твердил с печалью, что уже бессилен что-либо сделать против распоряжения высших властей. Так что и жестокая внезапность моей высылки, и дико-триумфальная обстановка остаются всецело на совести вышеназванных сановников. Естественным результатом этого нелепейшего распоряжения было, что мой арест сразу огласился на всю Россию, и молва о том, что меня везут, так сказать, в узах, предшествовала мне задолго на всех крупных станциях. Эта огласка спасла меня от жестокости, которую, по собственному потом сознанию, готовил мне обозленный Зволянский: он собирался направить меня куда-нибудь в такой уголок Сибири, где я сгнил бы без вести, не оставив следа ни публике, ни родным. Был, мол, человек на свете, потом лопнул, как пузырь на воде, вот и все: ищи его, кому в охоту! У Зволянского вообще была страсть чисто старорежимного полицейского — обращать места ссылок в какие-то ублиэтки[48]. По небрежности ли рассеянного развратника и прожигателя жизни, по злой ли воле убежденно мстительного и надменного холопа, этот человек, необычайно сильный при Сипягине, устроил в спис-

ках политической ссылки такую путаницу, что, при ревизии департамента новым министром Плеве и при ревизии сибирской ссылки Святополком-Мирским, некоторые административные ссыльные оказались в буквальном смысле слова без вести пропавшими: Зволянский не помнил, куда и почему он их заслал, и, по жалобам родных, их пришлось разыскивать по всей Сибири. Некоторые тем временем успели умереть... Негодование было всеобщее, и Плеве, в первые дни пытавшийся если не либеральничать, то законничать, вышвырнул Зволянского со службы чуть ли не с такою же стремительностью, как Сипягин вышвырнул меня из Петербурга.

Я уже рассказал одну версию петербургских легенд о Янышеве как первоисточнике и вдохновителе моей ссылки. Вторая, более правдоподобная, гласит, что царь был в этом случае ни при чем и ничего не знал ни о фельетоне «Господа Обмановы», ни о мой ссылке, покуда не доложил ему Сипягин. Последний же будто бы в день 13 января обедал у известного графа Шереметева, своего личного приятеля и такого же столбового барина-ретроградa, как он сам. За столом некий граф Комаровский, захудалый и злобный старик, питающийся доносом и лизоблюдством при магнатских маленьких дворах*, громко поднял речь о «Господах Обмановых», объяснил изумленному и испуганному Сипягину их тайный смысл и поставил министру вопрос в упор: что он теперь намерен предпринять?

— А что бы вы сделали на моем месте? — уклончиво возразил Сипягин.

— Я бы, — немедленно отвечал решительный граф, — я бы закрыл газету, раскассировал[49] редакцию, а Амфитеатрова сослал бы на всю жизнь, куда ворон костей не заносил...

— Очень хорошо, — сказал Сипягин. — Принимаю ваш совет. Я и сам так думаю.

Он с вечера дал соответствующие распоряжения, но собственные чиновники указали ему, что закрыть газету он своею единоличною властью не может, — требуется, хотя бы формальное, постановление четырех министров; редакцию раскассировать совершенно не за что, так как, кроме меня, по существу, никто не виноват, а формально —

* По другим рассказам, не сам он, но сын его, юный авантюрист уже нарождавшегося черносотенного типа.

5. Заказ № 833.

редакторским ротозейством — проштрафился один лишь Г.П. Сазонов, слишком блестяще зарекомендованный у Победоносцева, в Главном управлении по делам печати и у Н.П. Игнатьева, чтобы можно было подозревать его в сочувствии моей предерзости. За формальную вину г. Сазонова постигла и формальная кара: он был выслан... в Псков! — и возвращен из этой ужасной ссылки недель через пять или шесть, как только стали затихать в столице поднятые обмановскою историей шумы. Постановление министров о закрытии «России» состоялось, как я писал уже, месяца через полтора по ее фактической кончине. Таким образом, оставалось — на первой очереди — расправиться со мною. Чтобы оформить и прилично обставить мою ссылку, неумелый Сипягин желал непременно посоветоваться с Зволянским. Но время было уже позднее, а Зволянский — по обыкновению, в компании каких-то девок — закатился за город в столь совершенном incognito, что бдительная петербургская полиция сбилась с ног на поисках своего развеселого шефа, но нашла его лишь к семи часам утра. Таким образом, на поиски Зволянского ушло время, которое, найдись он с вечера, мне, конечно, пришлось бы провести уже под арестом, но зато я поехал бы в Сибирь хоть одетым и сделав хоть наспех и поверхностные, но все же какие-нибудь распоряжения по своим, одним взмахом министерской руки разрушенным делам. Между тем часа в два ночи Сипягин, потеряв терпение дождаться Зволянского, решился распорядиться сам и предписал Клейгельсу тот молниеносный порядок высылки, который был мне объявлен. Клейгельс откровенно говорил потом, что глупее министр распорядиться не мог, если бы даже неделю думал, но — как всегда — приказание принял, не рассуждая, и исполнил неукоснительно. Может быть, и Зволянского подвести хотелось генералу: не шляйся, мол, черт знает где, когда министру внутренних дел нужны спасительные от собственной глупости советы! Действительно, Зволянский получил от Сипягина жесточайшую головомойку, которая нельзя сказать чтобы увеличила его нежные чувства ко мне. А у меня с ним, за год перед ссылкою, и без того было довольно острое столкновение. В то время много шума наделала история одной курской учительницы, которой местная полиция решила сделать скверный скандал. Сфабриковав несколько анонимных писем, будто учительница эта не учительница, но переодетый социалист-агитатор, местный исправник и

жандарм явились к несчастной девушке с обыском, арестовали ее, подвергли нахальнейшему освидетельствованию и т.д. В «России» историю эту поднял и негодяев на свежую воду вывел А.И. Новиков. Потом писали о ней Дорошевич и я[50]. Однажды Зволянский, несколько знакомый мне по шапочным встречам в ресторане Кюба, где я во времена оны ежедневно завтракал, остановил меня в Александринском театре и начал длинные и пошлейшие объяснения по курскому скандалу. Ваша, мол, газета по обыкновению набросилась на полицию, а полиция, мол, виновата только тем, что оказалась очень невинна и девственна и никак не подозревала бездны порока, в коей погрязла принятая за мужчину учительница.

— То есть?

— Видите ли: обыск был вызван перехваченною перепискою этой госпожи... Она адресовала к другой учительнице такие любовные выражения, что наши наивные провинциалы имели полное право заподозрить в ней мужчину... Я не оправдываю их поспешности, но злого умысла с их стороны не было. Чего же вы хотите от захолустных полициантов? Дети природы, французских романов не читают... все эти столичные извращения до них не дошли... им и в голову не могло прийти, что такое бывает.

Только в похабных, балетно-опереточным салом пропитанных мозгах Зволянского могла вызреть подобная поганая уловка, обращающая дело о возмутительном насилии над невинною девушкою в непристойный анекдот, пригодный для послеобеденного смакования павианами из великих князей и мышиными жеребчиками из министров. Я сухо возразил Зволянскому, что его водевиль с переодеванием мало вероятен. Он возразил:

— Между тем это дословная правда. И это уже известно министру.

Ну, так и есть: анекдот, стало быть, уже сделал свое дело, — Сипягин хохотал, — и выпущенное полицейским шутом сало залило правду!

Я возразил, с своей стороны, что у нас имеются о курском инциденте другие сведения, более естественные. Зволянский злобно улыбнулся.

— Ваши сведения от Новикова?

— От кого бы то ни было... Впрочем, он подписал свое сообщение — не скрывает.

— Почему же вы Новикову верите, а мне — нет? Кажется, я лучше могу знать. Я директор Департамента полиции.

— Если вы находите нашу версию неправильною, то никто не мешает вам опровергнуть ее официально и опубликовать свою...

— Нет-с, мы этого не сделаем... это не в обычае... Да и вообще, если я начал этот разговор, то лишь с целью указать вам, что при подобных ошибках и напраслинах на полицию ваша газета рискует нажить очень большие неприятности.

Разошлись мы, уже не подав друг другу руки, и — по крайней мере, я — с совершенно определенным сознанием, что — врагами. На дне множества полицейских и внутренне-министерских пакостей, пережитых мною в последний, 1901-й, год издания «России», я почти неизменно находил капельку Зволянского яда. Зволянский, С.С. Татищев, К.А. Скальковский, Е.В. Богданович — вот почтенные имена четырех славных мужей, много крови из меня высосавших... хорошо еще, что крепок и жиловат я родился на свет и политическому вампиризму поддаюсь туго, а убывшая кровь возрождается — конечно, не на радость вампирам! Впрочем, двое средних из них уже померли, а четвертый так стар, что почти покойник, и счеты с ними я могу свести — разве лишь послав по осиновому колу на их могилы. Но Зволянский жив, сравнительно молод, и каждый деятель русского освободительного движения вправе и должен еще ждать от этого злого, довольно смелого и далеко не глупого насекомого много нового и ехидного вреда для революции, для народа, для России. Для меня лично ночной загул Зволянского был не то счастьем, не то несчастьем, а впрочем, как Панглос говорит: «Все к лучшему в этом лучшем из миров»[51]. Впоследствии Зволянский совершенно открыто и громко говорил в том же ресторане Кюба, что дело мое пустое и не стоит выеденного яйца, что Сипягин сделал колоссальную глупость, придав инциденту такую важность и вызвав европейскую огласку, что — давнуть меня очень следовало, да не так, и что, если бы дело не было уже сделано и его не переделывать стать, он давнул бы меня иначе — без всякого шума, но еще жестче. Словом, он излагал как раз ту программу, на которую я рассчитывал, печатая «Обмановых»: что у министерства достанет ума и такта, чтобы за «Обмановых» меня не преследовать, притворяясь, будто оно не поняло, а покуда оно выберет новый предлог, удобный для расправы со мною, я сумею очутиться, как теперь выражаются, вне «пределов досягаемости». Нелепость Сипяги-

на разрушила план, которому ум Зволянского только помог бы. Но, с другой стороны, если бы мои «пределы досягаемости» сорвались, то Зволянский сгноил бы меня в Якутске. Так что — повторяю: все к лучшему в этом лучшем из миров.

Когда моя жена вошла в жандармскую комнату, когда она села против меня на стул, мне показалось, что я вижу другую женщину, — до того она переродилась, будто выросла, за роковые полтора часа нашей разлуки. С тех пор как Клейгельс объявил мне мою судьбу, — в градоначальстве, в карете, в жандармской комнате, — я только о том и думал мучительно: что будет при таком внезапном моем исчезновении с женою — молодою, красивою, избалованною женщиною, к тому же требующею большого ухода, потому что недавно родила. Это был пятый год нашего сожительства. Жили мы очень хорошо, любовно, бесконечно дружно, но я никогда не вмешивал жену в мои дела, а она вся жила театром, искусством, жизнерадостью в доме и в обществе. За моею спиною ей можно было чувствовать себя, как за каменною стеною, но вот — стена рушится под громовым ударом... я исчезаю в изгнание, а пред нею — разорение, бедность, быть может, нищета, — и это именно теперь-то, с двухмесячным ребенком[52] на руках! Какой труд ей возможен? Вернись она на театр, — ведь теперь всякая закулисная дрянь постарается ей отравить существование, именно в отместку за богатое и влиятельное положение, которое она занимала пять лет, опираясь на мою руку. Я был нужен людям, меня боялись, мне повиновались. Я умел безмолвно заставить своих родных, друзей и знакомых признать наш прочный и нерушимый гражданский союз, мы одолели в чопорно буржуазном петербургском обществе предрассудок против нецерковных браков... Нечего и говорить, что досталась эта победа хотя тихо, но недешево, многих людей пришлось спустить за борт своего корабля, многие покорились моему «или — или» с затаенною злобою и с готовностью, а кое-кто с клятвою — при первом же удобном случае отравить нам существование с возможно злейшим ехидством. Теперь все подобные господа и госпожи дождались на своей улице праздника. Я с ужасом в душе предчувствовал, как они возликуют и мстительно набросятся... заедят мою Лару!..

Но первый же взгляд мой на Лару успокоил меня... Нет! такую не заедят — не позволит!.. Я не скажу, чтобы она не была испугана, но испуг ее был уже осторожный, разумно взвешивающий опасность хо-

лодным гневом, готовый к гибкому и ловкому отпору всякого нового удара. У нее даже походка изменилась, стала какая-то сжатая, легкая и опасная... точно, — рискну уж, авось это сравнение не нарушит моего супружеского согласия, — точно волчья. Глаза ее были сухи, но горели огнем невыразимым... И, чем больше я смотрел в их голубой свет, тем с большей уверенностью читал: можешь ехать, за нас не беспокойся... я взрослая... не позволю пропасть ни себе, ни тебе.

Лара получила известие о моей участи от возвратившегося, по поручению Клейгельса, Левендаля лишь в двадцать минут девятого! Она никак не думала успеть к поезду, — от нас до Николаевского вокзала, по дурной в оттепель дороге, верных сорок минут езды, но Левендаль, оставшийся на нашей квартире для обыска, оказался настолько любезен, что уступил Ларе своего борзого коня, который сделал путь вдвое скорее. Покидая нашу квартиру, Лара вспомнила, что я уехал в легком платье, и схватила в передней с вешалки первые, сравнительно теплые вещи, какие под руку попались, — ватную куртку верблюжьего сукна, в которой я гулял по саду в легкие холода, меховую шапку. Костюм из этого сочетания — с моим парадным рединготом — получился вида удивительно нелепого, а теплоты сомнительной. Только и надежды было, что сибирский мороз рассмеется при виде путешественника, одетого столь курьезно, и, за веселый стих, пожалеет знобить мое тело грешное.

Мы с Ларою не успели обменяться и десятком фраз — коротких, сбивчивых, оборванных, бедных словами, малозначащих фраз, которым придавали значение лишь тоны голосов и взгляды наши... Наставлений и инструкций давать было некогда... да и в голову не шли они! Я сказал жене фамилии нескольких влиятельных людей, которые были хороши со мною во время оно, указал ей двух-трех денежных людей, которые были мне обязаны кое-какими любезностями, а потому — в случае крайности — быть может, не откажут ей хоть в маленьком кредите... Лара настояла, чтобы я взял с собою все наши наличные деньги — 165 рублей, говоря, что так как я не знаю, куда именно меня везут, то будет очень тяжело и страшно очутиться в незнакомом захолустье без гроша в кармане, без кредита и, следовательно, без возможности устроиться хоть сколько-нибудь прилично и небедственно. Сама она рассчитывала обойтись, немедленно заложив свои золотые вещи и продав выездные платья. Решено было — испробовать все возможные

и приличные пути, чтобы возвратиться или быть отпущенным за границу, а если ничто не выручит, то Лара должна была распродать всю нашу обстановку, собрать все, какие возможно, рубли и копейки моего литературного дохода, авансы, ссуды и ехать туда, где будет назначено мне местопребывание, если только это не Якутская область. Жандармы присутствовали при нашем свидании, но не обращали ни малейшего внимания ни на передачу денег, ни на записки рекомендательные, которые я набрасывал для жены на визитных карточках. Они даже старались смотреть в другую сторону. Очевидно, Клейгельс дал им приказание, чтобы — до вагона — оказывать мне возможные льготы и видеть во мне человека еще свободного, а не арестанта. За десять минут до отхода поезда жандармы попросили нас кончить свидание... Обнялись, поцеловались... И повели меня, раба Божия, архангелы мои в вагон. Войдя, убедился, что правительство российское решило быть со мною любезным до конца и везет меня с шиком — в купе 2-го класса! Жену не пустили проводить меня ни в купе, ни в вагон. Она осталась на платформе. Я хотел пробыть в коридоре вагона — у окна, пока не тронется поезд. Но старший жандарм заявил мне, что уже нельзя, довольно прощались, а откуда-то явившийся сыщик или канцелярский чиновник градоначальства пристал ко мне со скучною формальностью вручения мне проходного свидетельства... Я взял бумагу, не читая, расписался в чем-то, не понимая, думая лишь о жене, которая стоит там за окном, напрасно ждет, и я ее, наверное, долго-долго, а быть может, и никогда не увижу... И вот — звонок... Я бросил перо, отвел рукою жандармов и вышел-таки в коридор.

— Помилуйте! Нельзя! — вскинулся было старшой.

— Ничего, пущай, — примирительно заступился другой.

— Ничего, — поддержал и сыщик, — вагон пустой: одни едете.

Я остался перед окном, кивая и улыбаясь, — должно быть, не весьма весело... Лара заглядывала внутрь вагона глазами, полными выражения, какого я никогда не видал у нее ни прежде, ни после, да и не надеюсь, и не желал бы снова видеть.

Ни в жизни, ни в искусстве не запомню я такой смеси тоски и гнева, скорби и угрозы, сторожкой напряженности пред опасностью и мстительной силы... Она тянула голову вперед изящным и злобным движением, которое опять-таки напомнило мне волчье: точно молодая Римская Волчица над разоренным логовищем...

Поезд тронулся... сердце упало...

Жандармы и сыщик усиленно звали меня в купе, а я не слушал... Стоял, улыбался и кивал... Расстояние росло, — вагон двигался, — жена шла рядом, — и тянулся, тянулся нам вслед долгий, неотрывный взгляд ее, полный беспредельной ласки и скорби — для меня, полный темной ненависти и вызова на борьбу — для всего, что нас разлучало.

[II]

...молодые, здоровенные, один из хохлов, другой пскович, отлично вышколенные и выдержанные чисто гвардейскою, столичною выправкою[53]. Они не виноваты были, что им приходится везти меня в места, не вполне для меня приятные, и я не почитал нужным глядеть на них зверем, а, напротив, как только поезд тронулся, начал расспрашивать их, откуда они родом, давно ли на службе, сколько получают жалованья, когда надеются кончить свой срок и отчислиться от ведомства, и т.д. Жандармы мои, не очень-то избалованные ласковым обращением со стороны узников, которых они перевозят, были сперва совсем сбиты с толка, глядели подозрительно и отвечали, взвешивая каждое слово, но, мало-помалу, подтаяли. Вообще, должен сказать правду: все три жандармские смены, с глаза на глаз с которыми я сделал свою путину сперва от Петербурга до Рязани, затем от Рязани до Красноярска и, наконец, от Красноярска до Минусинска, совсем не отличались скотоподобием и зверонравием, каких естественно было ожидать от этакого конвоя. Они бывали сухо-официальны и настороже со мною в первые часы, как их ко мне прикомандировывали, но затем, как только убеждались, что я совсем не намерен с ними собачиться и срывать на них зло против начальства, волю которого они творят, у нас устанавливались очень безобидные и даже любезные, что называется, человеческие отношения. В особенности курьезно это устроилось со второю сменою, из Рязани. С петербуржцами я пробыл слишком недолго, чтобы приручить их совсем, но рязанцы везли меня семь дней; извольте-ка просидеть столько времени в движущейся одиночной клетке, три аршина длины, три аршина ширины, три аршина высоты, втроем — и остаться без общения! Тут выбирай одно из двух — либо действуй «по закону» и грызись каждую минуту, за каждую мелочь, по каждому удобному и неудобному поводу, как волк с волками, либо старай-

ся устроиться «по душам» и учредить в купе такую конституцию, чтобы и тебе было не очень скверно, и их понапрасну не пугать и не обижать. Я живо помню момент, как растаяли ледяные брони моих петербургских стражей. <...>[54]

Не знаю, везло ли мне особенное счастье, но жандармов из нижних чинов я всегда ставил так, что им делалось совестно причинить мне зло не только сверх предписания, но и указуемое инструкцией. Покуда я выжидал в жандармском управлении города Рязани дальнейшей отправки, я слышал, как за жидкою перегородкою шептались жандармы, привезшие меня из Петербурга, с жандармами, назначенными следовать в Сибирь, и рекомендовали им обращаться со мною получше, так как барин хороший, нестеснительный, и только одно неприятно, что — слабого здоровья, боязно, не приключилось бы с ним в дороге какой-нибудь беды. Немалым побуждением к такой снисходительности имело, конечно, и то условие, что я не брал полагающихся мне суточных денег (30 копеек в день), и они оставались в жандармском кармане, но, смею утверждать и стою на том, что главное-то было все-таки не в этом: например, красноярские жандармы даже наотрез отказались принять остаток суточных, — но исключительно в мягком обращении с ними, как тоже с людьми, в нежелании вымещать на рабе гнев на его господ.

Людей, меня знающих, заставит улыбнуться жандармская рекомендация моего «слабого здоровья»: я — сложения [нрзб], из тех, кого разве что кузнечный молот с ног свалит. Но заслужить репутацию «слабого здоровья» случилось мне хотя неожиданно, но не совсем несправедливо. В последние дни перед высылкою я действительно чувствовал какое-то недомогание. Едучи от Петербурга к Малой Вишере, я обдумывал, как мне поступить, чтобы выпутаться из своего положения или, по крайней мере, его улучшить. Могу сказать с полною уверенностью, что самая ссылка как мера карательная меня нисколько не смущала и не страшила. Ну, что же, в конце концов, — Сибирь так Сибирь, и в Сибири люди живут: не на век же меня туда упрячут, в рудниках работать не заставят, в кандалы не закуют... все, стало быть, сводится лишь к подневольному житью в каком-нибудь пакостном городишке. Жизнь там, говорят, недорогая, с голода не умру, изучу лишь какой-нибудь новый край... Жена приедет... Ужасна мне представлялась совсем не ссылка, но ее безобразная быстрота и стремительность, в одну

секунду затянувшие на моей шее петлю непоправимого материального разорения. Да если бы только на моей! Я в течение разнообразной и полной движения жизни моей привык делать большие дела с оборотами больших сумм, что обязывает к готовности — быть и на возу, и под возом. Не в первый раз приходилось мне зачеркивать целую полосу труда и деятельности, терять предприятие и доходность и, нищим, начинать жить сызнова. Я совершенно не способен к денежному накоплению, которое превращает человека в спокойного рантьера и порабощает его себе буржуазною боязливостью за будущее. Те деньги, которые в тот или другой данный момент имеются в моем бумажнике, у меня всегда — последние мои деньги, как говорится, «на всю жизнь». Бывали их многие тысячи, бывали их и копейки, бывало, что и совсем нет ничего, кроме счетов кредиторских. Кредит у меня был всегда широкий — во-первых, потому, что я очень много зарабатывал литературным трудом, а во-вторых, потому, что я аккуратно оправдывал свои обязательства, как бы тяжелы они ни были. И вот когда медленный, скучный местный поезд тащил меня к Малой Вишере, я мучительно соображал, что завтра, 15 января, мне предстоит банковый платеж по крупному векселю, для которого надобно предварительно получить деньги от одного моего должника, что ни той, ни другой операции никто за меня произвести не в состоянии, за отсутствием доверенности и осведомленности в моих делах, что, значит, завтра же вексель пойдет к нотариусу и будет протестован, а затем весь мой кредит летит к черту, разоряя вместе со мною десятки людей, из которых одни живут на добываемые мною средства, а другие тесно связаны со мною деловыми отношениями, моим поручительством за них или их за меня. Словом, я чувствовал себя даже не на краю банкротства, а уже в его пропасти, со всеми ее ужасными последствиями. Эта нечаянная сторона сипягинского мщения оказалась самою жуткою и действительною. Говорю: нечаянная, потому что о моих финансовых делах Сипягин, разумеется, не имел ни малейшего понятия. В противном случае я даже думаю, он не распорядился бы так скоропалительно и дал бы мне известный срок, чтобы устроить свои кредитные отношения. *Эти* отношения эти люди понимают лучше, чем какие-либо другие, и до известной степени осторожничают с ними, потому что им не расчет умножать массовое число недовольных, которых — ну, скажем, хотя бы моя высылка ударила по карману, разорила, оставила без

работы и куска хлеба. Конечно, я говорю о временах, уже давно прошедших, когда Министерство внутренних дел свои песенки еще зардевшись пело[55] и не вовсе лишено было способности оглядываться вокруг себя и взвешивать прямые результаты своих деяний. Теперь какой-нибудь Столыпин или Дурново не задумается одним росчерком пера пустить по миру не только десятки людей, зависевших от десятков тысяч моего оборота, но хоть и целое народонаселение морозовских мануфактур. Но тогда еще с этим немножко считались. В Сибирь-то услать меня услали бы, но предварительно постарались бы, чтобы отъезд мой не оставил в Петербурге ни банков, вопиющих, что правительство их ограбило...[56]

ЧУДОДЕЙ
(Памяти М.А. Волошина)

Макса — то есть Максимилиана Александровича — Волошина я знал хорошо, близко, дружески (несмотря на разницу наших лет) в его парижские молодые дни. В течение двух лет он прикатывал к нам на виллу Монморанси почти ежедневно, редко пропуская день-другой[1]. Тогда это был самый жизнерадостный и общительный молодой человек из всей литературно-артистической богемы не только русского (с ним Макс, пожалуй, меньше знался), но и «всего» Парижа. Цвел здоровьем телесным и душевным и так вкусно наслаждался прелестью юного бытия, что даже возмущал некоторых.

— Помилуйте! — восклицала М.А. Потапенко (супруга знаменитого романиста). — На что похоже? Мужик — косая сажень в плечах, бородища — как у разбойничьего есаула, румянца в щеках достаточно на целый хоровод деревенских девок, и голос зычный — хоть с левого берега Сены на правый кричать. А говорит все о мистицизме да об оккультизме — и таким гаснущим шепотом, словно он расслабленный и сейчас пред вами умрет и сам превратится в привидение. Да не разберешь в нем, что он — ломается, роль на себя напустил или бредит взаправду? Чудодей какой-то!

В парижском обществе (кого только Макс в нем не знал и к кому только не был вхож!) Волошин был известен под кличкою «Monsieur

C'est trés intéressant!»[2] — от его манеры откликаться этой фразою, произносимою неизменно в тоне радостного удивления, решительно на всякое новое известие. Это восклицание действительно хорошо — цельно — определяло тогдашнее существо: воплощенную жажду жизни, полную кипения и любопытства бытопознания.

Помню курьезный вечер. Бывала у нас тоже, как Макс, ежедневно Ольга Коммиссаржевская, сестра знаменитой Веры Федоровны, несколько на нее похожая, ваятельница «на усовершенствовании» и тоже, как Макс, мистичка, к оккультизму склонная. Но — полная противоположность Максу и по наружности, ибо бледностью, худобою и траурным одеянием действительно немножко походила на привидение, и в особенности по настроению: воплощенное уныние, недовольство жизнью, испуг пред сложною загадкою бытия.

И вот однажды они по обыкновению у нас, но я занят, жена занята, — остались они вдвоем. Говорить им, по полярному разобщению натур, решительно не о чем. Ольга — Гераклит в черном хитоне с воскрылиями — мрачно затискала свое слабое тельце в угол дивана. Волошин — дюжий Демокрит, велосипедист в бархатной куртке и шароварах шириною с Черное море — бродит по гостиной, светло улыбаясь каким-то своим неведомым, но радужным мечтам. Молчание длится минут пятнадцать. И вдруг слышу — печальный, не без оттенка презрительного негодования, хрустальный звон:

— Вы... всегда так довольны собой?

И — патетический ответ сочного баритона:

— Всегда!

— Как это странно!

Я покатился со смеху: уж очень комичен был контраст. Коммиссаржевская ужасно обиделась. Волошин нисколько. Его было очень трудно обидеть, по крайней мере обидой реальной.

Но однажды он дрался на дуэли с Гумилевым — за насмешки Гумилева над его фантастическою влюбленностью в фантастическую графиню Черубину де Габриак. Такой графини никогда не бывало на свете, но под этим звонким псевдонимом, ловким кокетством по телефону, перемутила и перевлюбила в себя сотрудников «Аполлона» лукавая литературная авантюристка, к слову сказать, оказавшаяся, когда ее обличили, на редкость безобразною лицом[3]. И вот из-за этой-то «незнакомки-невидимки» стрелялись два поэта! ...Правда, уж и ду-

эль была! Над калошей, забытой на месте поединка которым-то из дуэлянтов, фельетонисты и юмористические листки потешались не один год[4].

Заочный роман с небывалой графиней — наилучший показатель основной черты в характере М. Волошина, я назову ее «воображательством». Он был честен, правдив, совершенно неспособен обманывать умышленно, лгать сознательно. Но в нем жила непреодолимая потребность «воображать» — и, совсем вразрез с его жизнерадостностью, воображать по преимуществу что-нибудь жуткое, сверхъестественное, мистическое. Воображал же он с такою силою и яркостью, что умел убеждать в реальности своих фантазий и иллюзий не только других, но и самого себя, что гораздо труднее. Как-то раз я попросил его показать мне «ночной Париж». Он очень серьезно отвечал, что его любимая ночная прогулка — на Иль де Жюиф[5].

— На Иль де Жюиф?! Да что же вы там делаете? На нем и днем-то ничего интересного нет.

— Я слушаю тамплиеров.

— Каких тамплиеров?

— Разве вы не знаете, что 11 марта 1314 года на Иль де Жюиф были сожжены гроссмейстер Жак де Молэ со всем капитулом ордена тамплиеров?[6]

— Знаю, но что же из этого следует?

— В безмолвии ночей там слышны их голоса.

— Да ну?

— Помилуйте, это всем известно.

— И вы слышите?

— Слышу.

— С чем вас и поздравляю.

Обыкновенно «воображательство» Макса было невинно и даже занимательно: в обществе он был очень приятным человеком и рассказывал увлекательно. Но иногда его твердая вера в свои фантазии вводила людей, имевших с ним дело, в положения весьма щекотливые.

Умирала тогда в Париже Русская Высшая школа социальных наук, основанная М.М. Ковалевским. По отъезде его в Россию заведовал школою некоторое время я. Дела школы шли ужасно плохо, средств не было, профессора переругались, лекторов не хватало, слушатели злились. В этакое-то безвременье М. Волошин однажды предлагает мне

прочитать лекцию на тему «Предвидения и предсказания Французской революции». Я обрадовался: тема как раз по нашей аудитории, которая, по своему революционному настроению, никакой истории и слушать не хотела, если в ней не было «предвидений и предсказаний» из революций прошлых для будущей революции в России... Я знал, что Волошин обстоятельно изучал эпоху, а что изложение будет блестящим, в том, при его таланте и прекрасном русском языке, какое же могло быть сомненье?

Ох, оно и вышло блестящим! Но — как Макс за этот блеск не был освистан или обработан как-нибудь еще хуже, я и сейчас недоумеваю.

Взобрался чудодей на кафедру и — перед двумя сотнями меньшевиков, большевиков и эсеров, сплошь обвеянных духом «исторического материализма», — давай дерзновенно рассказывать... спиритические анекдоты, вроде видения Казота, — «бабьи басни», одна фантастичнее другой!.. В зале смех, перешептывание, язвительные возгласы. Я сижу, как на иголках, ежеминутно ожидая скандала. Однако Бог миловал: под конец Волошин ввернул свои красивые стихи «Народу русскому»[7], и ничего, сошло: за эффектный стихотворный финал ему даже похлопали[8]. Но мне студенческий комитет устроил сцену, язвительно осведомляясь — какое отношение имеют подобные лекции к социальным наукам и намерен ли я допускать их впредь.

Пришлось извиниться «недоразумением», а с Максом иметь объяснение, которое я намеревался выдержать в тоне лютом, но он обезоружил меня кроткою невозмутимостью: решительно не понимаю, мол, в чем прегрешил.

— Да в том, что вместо исторической лекции вы битый час морочили публику заведомым вздором.

— Извините, я никого не морочил и никакого вздора не говорил.

— Ну уж это, Макс, вы рассказывайте кому-нибудь другому, а я оккультную литературу знаю и могу хоть сейчас указать вам, откуда какой свой анекдот вы заимствовали.

— Я и не отрицаю, что мои факты (а не анекдоты, как вы называете) давно известны, но я проверил их по новым непреложным источникам и воспользовался случаем публично их подтвердить.

— Желал бы я видеть эти ваши новые непреложные источники.

— К сожалению, это невозможно.

— Так я и знал. Однако почему?

— Потому что мои источники не печатные, не письменные, но изустные.

— Что-о-о?!

— Ну да, я их черпаю непосредственно из показаний двух очевидиц Французской революции, игравших в ней большую роль.

— Бог знает, что вы говорите, Макс!

— Уверяю вас, Александр Валентинович.

— Сколько же лет этим вашим раритетам и где вы их достали?

— Здесь, в Париже, а по возрасту — королева Мария Антуанетта родилась в 1755 году, значит, ей сейчас 151 год, принцесса Ламбаль в 1749-м, ей — 157...

— Ах, вот какие у вас источники?! Понимаю. Изволите увлекаться медиумическими сеансами с вызыванием именитых покойниц? Макс, Макс! И не конфузно вам выдавать такую ерундовую спиритическую болтовню за исторические свидетельства?

Он — с совершенным спокойствием:

— Вы ошибаетесь: мне нет надобности в медиумических сеансах. Я просто время от времени прошу аудиенции у Ее Величества Королевы или делаю визит Ее Высочеству принцессе, и тогда они сообщают мне много интересного.

Смотрю ему в глаза: не пора ли тебя связать, друг любезный? Нет, ничего, ясные. И не замечается в них юмористического огонька мистификации: глядят честно, по сторонам не бегают и не столбенеют, — та или другая примета, обязательная для вралей. А Макс продолжает:

— Ведь они обе уже перевоплощены. Мария Антуанетта теперь живет в теле графини X., а принцесса Ламбаль в теле графини З. (Назвал две громкие аристократические фамилии с точным указанием местожительства.) А если вас вообще интересуют перевоплощенные, то советую вам познакомиться с графинею Н. Она была когда-то шотландскою королевою Марией Стюарт и до сих пор чувствует в затылке некоторую неловкость от топора, который отрубил ей голову. В ее особняке на бульваре Распайль бывают премилые интимные вечера. Мария Антуанетта и принцесса Ламбаль очень с нею дружны и часто ее посещают, чтобы играть в безик[9]. Это очень интересно.

Что это было? Легкое безумие? Игра актера, вошедшего в роль до принятия ее за действительность? Все, что угодно, только не шарлатанство. Для него Волошин был слишком порядочен, да и выгод ни-

каких ему эти мнимые «шарлатанства» не приносили, а, напротив, вредили, компрометируя его в глазах многих неохотников до чудодейства и чудодеев[10].

Кем только не перебывал чудодей в своих поисках проникновения в сверхчувственный мир? Масон Великого Востока[11], спирит, теософ, антропософ, возился с магами белыми и черными, присутствовал при сатанических мессах, просвещался у иезуита Пирлинга. Оккультные сцены и лица, особенно парижские, в моих «Сестрах» (повесть «Сестра Елена»), а отчасти во «Вчерашних предках» на добрую треть зарисованы с рассказов и показов М. Волошина. Отношение его ко всем этим кругам, в которые он, ненасытно любопытный, нырял со своим «Это очень интересно», было зыбкое: иной раз не разобрать, то ли он преклоняется, то ли издевается. И в связи с этою зыбкостью огромное знакомство чудодея кишело живыми «монстрами», отнюдь не менее, а иной раз даже более удивительными, чем его загробные дружбы и интимности.

Так, однажды Макс познакомил меня с интересным господином, у которого была «память наоборот»: он «помнил» не прошлое, но будущее и, не умея рассказать о вчерашнем дне, обстоятельно повествовал в 1905 году, что он «видел» в 1950-м. Другой приятель Макса, «историк», написал двухтомную диссертацию о доисторическом исчезнувшем народе неизвестного имени, племени и времени на основании единственного «памятника» — какого-то костяного набалдашника с резною надписью на языке (предположительно) другого народа, позднейшего, но тоже вымершего доисторически. Был еще историк — Атлантиды, по подлинным летописям ее жрецов, сообщавшихся с автором в сонных видениях[12]. Был композитор-«монофонист», отрицавший в музыке гармонию, контрапункт, мелодическое последование, словом, всякое симфоническое начало — во имя, славу и торжество изобретенного им «разнообразно напрягаемого однозвучия». Прослушав минут двадцать тюканье этого чудака одним пальцем то по одному, то по другому клавишу пианино, то форте, то пиано, я позволил себе заметить маэстро, что его монофония сильно напоминает настройку рояля. Он окинул меня гордым взглядом и возразил с презрением:

— Может быть. Но настройщик монофоничен бессознательно, а я сознательно. Он ремесленник, а я артист и творец. Он слышит телесным ухом, а я ухом глубин. Поняли?

— Как же не понять, когда хорошо растолкуют!

А Макс сиял, потирал рука об руку и восклицал возбужденно:

— Это очень интересно!

Все, решительно все было тогда ему «очень интересно», за исключением политики. Отвращение к ней, однако, не помешало ему напечатать в тогдашнем моем «Красном знамени» несколько очень эффектных стихотворений[13]. Но опять-таки, что называется, «не разбери Господи»: одним они показались сверхреволюционными, другим, напротив, контрреволюционными. Вроде пресловутых нынешних «Двенадцати» Блока: в зависимости от того, под каким углом зрения и в каком настроении какой читатель к ним подходит.

МОЕ МАСОНСТВО

В превосходном, напрасно забытом ныне романе Писемского «Масоны» есть такая сцена. Хоронят масонского «великого мастера» Марфина. Масонство уже в опале, под политическим подозрением. Поэтому выставляться очень видно в масонском траурном выступлении никому не в охоту.

— Вы будете говорить речь? — с беспокойством спросил Сергей Степанович Ланской Батенева.

— Я буду; хошь, не хошь, а пой! — отвечал мрачным голосом Батенев[1].

Приступая к рассказу о своем масонстве, чувствую себя в настроении Батенева, ибо пишу не по собственному побуждению, а по приглашению: «Не угодно ли вам изъясниться, откуда вам сие и что сей сон значит?» — в двух статьях Р. Вельского (№ 144 и 150 «Сегодня»), обоснованных на новой книге подсоветского разрывателя архивов П.Е. Щеголева («Охранники и авантюристы»[2]).

Батеневское настроение обуяет меня не потому, чтобы в «тайне» моего кратковременного масонства было что-нибудь неловкое к разоблачению, а потому, что это не моя тайна. Правда, из перечисленных г. Вельским русских масонов парижского посвящения 1905 года остается теперь в живых, кроме меня, только один[3]. Но были и живут еще другие, неперечисленные, и я не считаю себя вправе распоряжаться их секретом, которому они, может быть, придают важность, какой не

придаю своему я. Поэтому, значит, мне предстоит говорить только о покойниках, и рассказ мой будет подобен прогулке по кладбищу с прочтением надписей надгробных.

Перемасонил нас всех Максим Максимович Ковалевский. Исчисленные г. Вельским И.З. Лорис-Меликов, Ю.С. Гамбаров, М.И. Тамамшев, А.Н. Трачевский, я, позже Е.И. Кедрин, — это лекторский кружок Русской высшей школы социальных наук, основанной М.М. Ковалевским и долго процветавший под его управлением[4]. Из прочих имен списка не знаю только, о каком Розанове идет речь: Розановых в тогдашней парижской эмиграции было несколько.

Именные и хронологические даты Щеголева точны. Но ложа «Космос», в которую мы были приняты, не была подчинена Великому Востоку, а держалась Шотландского устава, что делает большую разницу[5]. М.М. Ковалевский занимал в этой ложе весьма высокое положение по дружбе своей с одним из ее основателей, известным ученым-эмигрантом, натуралистом Г.Н. Вырубовым. Это — разведенный супруг Анны Вырубовой, урожд. Танеевой, впоследствии столь пресловутой по своей вредной дружбе с императрицей Александрой Федоровной и по раболепному приятельству с Распутиным. В пору нашего посвящения Вырубов не то был в отсутствии, не то вовсе отстал от ложи. Я его не помню — значит, и не видал, потому что видеть Вырубова и не запомнить, по общим отзывам, было бы невозможно.

Совершенно офранцуженный русский барин, хотя левейший демократ и социалист-утопист, Вырубов и наружностью и душою напоминал Дон-Кихота. Был удивительно искусным фехтовальщиком (слыл чуть ли не «второю шпагою Парижа»), имел на своем веке несколько серьезных дуэлей, вообще, прожил жизнь не без авантюр, странных для философа, ученика Литтре, друга и сотрудника Э. Реклю и пр., и пр. В масонстве он был чтим высоко. М.М. Ковалевский был не то 31-й степени, не то даже 33-й, масоном[6], а Вырубов — выше его. Во главе же, в частности, ложи «Космос» стоял некий доктор Николь, очень интересный, умный, интеллигентный француз-южанин, кажется из евреев.

«Кой черт понес нас на эту галеру?»[7]

За себя лично могу отвечать, что потянули меня три магнита.

Первый: обаяние М.М. Ковалевского. Этого чудного человека я «обожал» еще с университетских лет, когда он читал нам историю го-

сударственного права и иностранных законодательств. А в парижские годы я был влюблен в него до готовности следовать за ним в огонь и воду. Есть у меня опасная способность этак самозабвенно «врезаться» в талантливого человека, много раз наказанная разочарованием, — бывало, что и до вражды. Но любовь к М.М. Ковалевскому я сохранил навсегда, и его имя — одно из немногих, истинно дорогих мне в отжитом прошлом. Еще недавно позволил я себе смелость посвятить его памяти мою книгу «Заря русской женщины» (Белград, 1930): часть труда, начатого когда-то по совету Максима Максимовича, с его подбодряюще веселым понуканием.

Магнит второй: расчеты революционно-политической тактики, как наступательной, так, того пуще, оборонительной. Не принадлежа ни к одной из революционных «партий» (по непреоборимому отвращению ко всякой партийной дисциплине), я тем не менее стоял на крайнем левом фланге тогдашней революционной эмиграции, сочувствуя в ней наиболее эсерам-боевикам. Проповедовал объединение революционных сил для активного натиска на ослабевшее самодержавие, славил террор и террористов, издавал непримиримо бунтарский журнал «Красное знамя», воспевал в прозе Марусю Спиридонову, а в стихах «народолюбца» Стеньку Разина[8], презирал «куцую конституцию» и компромиссы Государственной думы, — вообще, кипел и лез на стену. «Будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться!..»[9]

Слышу иронический вопрос:

— В чем, конечно, теперь в качестве контрреволюционера белогвардейски раскаиваетесь?

Нисколько. Чудесное было время, и правое дело делал — и горячо, искренне, с верою и бесстрашием. Если бы существовали в истории попятные возможности и очутились бы мы опять в тех временах и политических условиях, я и опять лез бы сам и других звал бы лезть на самодержавный рожон, как теперь зову лезть на рожон большевицкий.

Вергилий неправду сказал, будто «меняются времена и мы в них меняемся»[10]. Времена-то — да, меняются; меняются и потребности времен, — каждому овощу свой срок. Но люди, т.е. характеры и темпераменты, не меняются. Всякий деспотизм, откуда бы он ни исходил, — с трона ли, из кассы ли миллиардера, из пролетарского ли озорства, — мне органически противен и невыносим. И если горький опыт учит нас, что деспотизм царский был все-таки человечнее деспотизма

хамского, то ведь это Лирово суждение по шкурному чувству: «И злая тварь мила пред тварью злейшей»[11]. Из того, что Регана оказалась хуже Гонерильи, отнюдь не следует, что Гонерилья была не понятой Корделией.

При таком революционном настроении и действовании я очень нуждался в возможности самозащиты на случай полицейского натиска из Петербурга. Все мы жили под постоянною угрозою происков и интриг со стороны заграничных охранников, пресловутого Рачковского, Ратаева и др. Подстрекать интриги наезжал в частых командировках «Ваничка» Манасевич-Мануйлов, и в качестве ревизора пожаловал однажды сам П.Н. Дурново. Франко-русский союз[12] был крепок, и полиции петербургская и парижская дружили. Петербург мигнет — Париж рад стараться.

Правда, выдача из Франции за «политику» предполагалась невозможною, но ведь это — в теории, а на практике — обход простой: выдать не выдадут, но объявят «нежелательным иностранцем» и — «позвольте вам выйти вон» за границу республики. При Делькассе этак распоряжались с нашим братом, эмигрантом, сплошь да рядом. Когда Дурново в самом деле вздумал требовать моей выдачи (умный, очень умный был человек, но на всякого мудреца довольно простоты!), у власти, к счастию, был уже Клемансо. Ну и отделал же он российского обер-охранника!.. Но это история особая и длинная, — о ней когда-нибудь потом.

В том же более или менее состоянии непрерывного дамоклова риска — уж добро бы под мечом, а то под полицейским тесаком-селедкою! — пребывали почти все упоминаемые г. Вельским русские, примкнувшие, по совету М.М. Ковалевского, к масонству. Главным мотивом к посвящению было желание поставить между собою и произволом русского полицейского нахрапа и французской податливости стену могущественной организации «вольных каменщиков». Они сочувствовали русской революции откровенно, — по крайней мере, в ложах Шотландского устава. Их тогда было в Париже, если не ошибаюсь, 29. Из них две женские. Об этих ничего не знаю и даже не вполне уверен, были ли они Шотландского устава или по Великому Востоку.

Г[осподин] Вельский отмечает с удивлением изобилие в списке посвященных армянских имен. Но это очень понятно, именно ввиду только что сказанного. Все эти армяне были членами — деятелями и

сочувственниками — «Молодой Армении»[13]. Если нам, русским, грозила одна опасность — от русской власти, то им две — от русской и турецкой. Правда, их сильно поддерживала Лига прав человека[14], но она и сама тогда была влиятельна лишь постольку, поскольку опиралась на масонство.

Вождями французского армянофильства были Пьер Кийар и Френсис Прессансе. Огромную роль в движении играл доктор Иван Захарович Лорис-Меликов, племянник знаменитого фельдмаршала и изобретателя «диктатуры сердца». Один из милейших людей, мир его праху. Тогда он состоял ассистентом Мечникова в Пастеровом институте[15] и тесно дружил с М.М. Ковалевским, — кажется, был и секретарем его. Жил трудно, скудно, почти бедствовал, но без уныния, всегда в духе и «в надежде славы и добра»[16].

Третьим магнитом для меня был мой давний глубокий и живой интерес к масонству — интерес, так сказать, романтический, волновавший меня с юных дней: интерес Пьера Безухова из «Войны и мира», с которым почему-то любил иногда сравнивать меня старик Суворин, хотя я лично ни малого сходства в себе с Пьером не вижу (разве что оба смолоду были выпить не дураки) и всегда тому недоумевал. Историю масонства я еще в 90-х годах изучал с вниманием, собираясь писать фантастический роман «Жар-цвет»[17]. И хотя я знал, что мистическое масонство давно погасло, меня разбирало великое любопытство видеть собственными глазами его исторический пережиток, что же, собственно, осталось, почему и зачем оно держится, сохраняет имя и как будто имеет еще властность и силу? Почему считают полезным не только быть в масонстве, но и энергически развивать его такие не то что твердые, но, можно сказать, законоположные позитивисты, как Вырубов и Ковалевский?

Должен сказать, что этот третий магнит размагнитился при первом же соприкосновении с действительным масонством. Я не буду описывать процедуры посвящения, во-первых, потому, что она много раз описана мастерами слова, сильнейшими меня, а во-вторых, потому, что боюсь, вдавшись в соблазн описания, смешливо нагрешить вроде Валериана Ченцова в «Масонах» Писемского. Скажу лишь, что когда в заключение церемонии задан был нам, посвященным, важный вопрос, какое впечатление она произвела на нас и как мы находим ее обряды, — И.З. Лорис-Меликов откровенно, без обиняков, брякнул:

— Très enfantiles![18]

«Ну, — думаю, — конец: сию минуту его за предерзость вон и нас, за компанию, тоже».

Потому что все мы, кроме старика Трачевского, не удержались, чтобы не рассмеяться. Нет, ничего. Великодушно «не заметили»[19].

Единственный обряд показался мне серьезно ответственным: это когда, после разных фиктивных испытаний, «ищущего» ставят с завязанными глазами пред собранием, из которого каждый вправе предложить ему вопрос, а он обязан ответить прямо, искренно, без обиняков и утайки. Так как в это время царит в ложе мертвое молчание, то если бы даже удалось вам угадать вопрошающего по голосу, вы не знаете, пред какими людьми отвечаете, сколько их, — может быть, вас слушает группа друзей, а может быть, когда с вас снимут повязку, вы увидите пред собою своего злейшего врага, пред которым невольно сделали признание, выгодное ему и опасное для вас. Положение щекотливое. Тем более что и вопросы иногда предлагаются щекотливые. Меня, например, после нескольких незначительных французских вопросов кто-то спросил по-русски, с легким еврейским акцентом:

— Как вы относитесь к убийству Плеве? Одобряете ли его и находите ли нýжным дальнейшее развитие террора?

Отвечая, конечно, без малейшего удовольствия, думал: «Хорошо, как спрашивает брат-революционер, а вдруг брат-провокатор?»

Предварительные испытания ищущих чрез собеседования с братьями-риторами[20] и поручителями, конечно, могут быть очень содержательными, в зависимости от личности ритора: поскольку он философ и диалектик. Моим ритором был молодой профессор из Сорбонны, очень умный, интересный, несколько меланхолический, ибо заметно туберкулезный, француз петербургского воспитания. Беседовали мы de omne re scibill[21] и очень занимательно, но, к сожалению, я не замедлил заметить, что вопрос принятия в ложу зависит не от сущности экзаменационной беседы, а от условных ее формальностей. И так как эти последние по своей устарелости для многих неприемлемы в прямом виде, то их прикрывают удобными псевдонимами, обходят искусно проложенными боковыми тропами... Например, в таком роде.

Масоном может быть человек любой духовной религии; всех христианских вероисповеданий, иудей, мусульманин, буддист и т.д., но не

может быть атеист. Признание Великого Архитектона Вселенной[22] обязательно, это — альфа масонского символа веры. Но с богатырским ростом естествознания в течение XIX века уровень религиозности в культурном человечестве весьма понизился, и как творческое, так и миродержательное значение и самое бытие Великого Архитектона Вселенной подверглись серьезным сомнениям и даже отрицанию наголо. Между тем масонство совсем не намерено — нет ему расчета — уклоняться от устремляющихся в лоно его новых свободомыслящих культурных сил: позитивистов, материалистов, монистов и т.д., для коих Великий Архитектон — пустое место. И вот придумано. Если бы вы на экзамене ляпнули:

— Я безбожник! — с вами был бы кончен разговор: двери не заперты, — пожалуйте на выход. Но если вы вместо прямого ляпа заявите иносказанием:

— Исповедую религию Литтре! — вас примут с распростертыми объятиями, потому что это обозначает, что вы исповедуете христианство без Христа: религию нравственности без Бога, человеческого самоусовершенствования до человекобожеской высоты.

М.М. Ковалевский всех своих «ищущих» предупредил насчет благополезности «религии Литтре», и все ее храбро преподносили тонко улыбавшемуся мэтру Николю. Только с одним приключилась проруха: позабыл, в какого именно француза он верует, и мужественно присягнул:

— Исповедую религию Элизе Реклю!

Этакий географ!.. Однако не беда: не поставили ошибки в фальшь — и приняли.

Сколько я умел и успел заметить, то, если примириться с подобными условными обходцами, масонские экзамены вообще ведутся дельно и честно. Вилять душой и тем паче лгать в этих исповедях строго запретно. Это — на верный провал. Очень не любят также невежливой небрежности, с которою иные ищущие принимают обрядовую сторону экзамена: «Знаем, мол, ваши комедии! На что они нам с вами, умным людям?! Бросьте! Поговорим лучше попросту, по душам».

На моих глазах провалился на подобной выходке с интеллигентского высока один русский «ищущий»[23], человек блестяще образованный, талантливый, известный в литературе и профессуре. Масоны-парижане, привычные к высокомерным скептикам, принимали небрежный тон и

глумливые словечки россиянина хотя морщась, но покладисто. Но, на беду нашего соотечественника, в экзамене принимал участие какой-то приезжий колониальный мэтр из Тонкина, где, оказывается, еще водятся настоящие архаические масоны — всерьез! Поднялся и запретил.

— Я, — говорит, — протестую против посвящения этого господина. Он стучится в ложу без искренности в сердце. Он издевается над братскою организацией, в которую просится, лукавит в ответах и трижды солгал!

И настоял-таки на отсрочке принятия оплошавшего «ищущего» впредь до его исправления. М.М. Ковалевский уладил историю, и в ближайшую ложу «Космоса» парижское масонство украсилось новым блестящим русским apprenti[24]. Свирепого тонкинца при сем уже не было: либо уехал, либо убрали от греха.

О пребывании своем в ложе «Космос» расскажу в другой раз. Равно как и о том, что г. Вельский называет моим «разрывом» с масонами. Слишком громкое слово. Никакого «разрыва» не было. Я просто заскучал в ложе, не найдя в ней ничего из того, чего искал, и перестал в ней бывать. А затем вскоре перебрался из Парижа в Италию и отпал от «Космоса» без всяких «разрывов», в автоматическом порядке правила о братьях, не оставляющих ложе своего адреса и прекращающих присыл братских взносов.

МОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В МАСОНСКОЙ ЛОЖЕ

Не помню точно, где у Тургенева, — а справиться не могу: продан! — одного почтенного старца просят рассказать, как он был масоном. Старец благодушно отвечает:

— А известно как: носил чугунное кольцо на правом мизинце[1].

Я должен сознаться с прискорбием, что в своих масонских трудах отстал даже от этого наивного старца, так как никогда никаких внешних знаков масонского отличия не носил. Да и из ручных и ножных знаков усвоил только самые первоначальные, без которых, предполагается, уже никак не возможно масонское общение. «Предполагается» потому, что я очень редко замечал, чтобы ими обменивались в обществе люди, взаимно осведомленные о своей принадлежности к масон-

ству, — разве что в шутку. Мне лично, по моей неспособности к балету, эти журавлиные танцы и азбука глухонемых не дались. Я вечно их путал, и хотя месяца через три после посвящения был возведен за что-то в третью степень «мастера», так и не выучился входить в ложу иначе, как обыкновенным шагом, и до сих пор сомневаюсь, правильно ли я топырю руку пятернею у горла, свидетельствуя тем свою готовность пожертвовать жизнью за тайны масонского союза.

Вне ложи мне случалось пустить в ход эти знаки только дважды, оба раза в довольно курьезных обстоятельствах. Однажды, проездом через Мюнхен, город тогда мне совершенно незнакомый, хотел я навестить проживающего там дядю Александра Ивановича Чупрова, а он, как на грех, оказался уже выбывшим с семьею на дачу. До ближайшего поезда на Верону, мне нужного, оставалось четыре часа. Убивая время скитанием по улицам, зашел я в знаменитый «Ратскеллер»[2]. Сижу, пью изумительное мюнхенское, как черный бархат, пиво. Публики не очень много. Но вот заметил я, что какой-то вновь пришедший средних лет господин, приличнейшей бюргерской наружности и очень хорошо одетый, занимая столик, сделал как будто масонский знак «мастера» — так, в пространство: ни к кому не обращаясь. Я с одинокой скуки: «А что? — думаю. — Отвечу-ка ему? Посмотрим, что выйдет?»

Вышло, что он очень обрадовался, пересел за мой столик, и из Мюнхена я уехал не через четыре часа, но лишь послезавтра. А два дня новый мой знакомец, оказавшийся местным одновременно коммерсантом (по шелковым изделиям) и художником-портретистом, с компанией других приглашенных им «братьев» водили меня по мюнхенским достопримечательностям, благодаря чему я неожиданно узнал чуждую мне столицу Баварии чуть ли не лучше, чем родную Москву. И, конечно, здесь — «Августинербрей», там — «Паулинербрей», дальше — «Левенбрей»...[3] Так что, очутившись, после трогательного прощания с «братьями», в вагоне, я имел полное право воскликнуть, подобно купцу, об анекдотическом путешествии которого по Европе забавно рассказывал в былые времена Шаляпин:

— Но где пьют, так это — в Мюнхене!..

Второй обмен масонскими знаками совершил я столь же неожиданно с одним итальянским врачом, большим моим приятелем, которого масонства я никак не подозревал, равно как и он моего. Так как

было это на морских купаньях в Сестри Леванте, и оба мы стояли по грудь в воде, то взаимное открытие вышло весьма комическим.

Года два тому назад, разбирая старую рухлядь, жена моя нашла лоскут белой лайки с тесемками — вроде тех слюнявочек, что повязывают малым детям, чтобы они не мочили грудки. Это был каким-то чудом «от тленья убежавший»[4] мой масонский «закон», т.е. фартук. Я живо вспомнил, как эти слюнявочки болтались и топырились в вечера торжественных собраний ложи на животах огромных людей, вроде Ковалевского, Тамамшева, меня, пишущего эти строки, и др., и опять, хотя и далеко задним числом, не мог удержаться от смеха.

Этих торжественных праздничных лож я помню три. В одной чествовали как приезжего почетного гостя довольно известного в свое время русского социолога и земского деятеля, Евгения Валентиновича Де Роберти (Ла Серда). В другом, на том же основании, знаменитого русского беллетриста и поныне, слава Богу, здравствующего, так что, ежели захочет, он и сам о том расскажет[5]. Гран-мэтр Николь произнес блестящие приветственные речи. Чествуемые отвечали — Де Роберти пространно и на великолепнейшем французском языке, а беллетрист кратко и на языке des anges, как, по уверению Тургенева, определяют вежливые парижские насмешники наше франко-русское наречие[6]. Зато в масонском облачении и регалиях он был очень эффектен и чуть ли не единственный в собрании потрясал обнаженною шпагою, не производя тем комического впечатления. Давал фигуру романтическую, словно бы и впрямь розенкрейцер XVII—XVIII века, а не опереточную или фарсовую, как большинство остальных, словно сбежавших со сцены театрика Клюни, где как раз тогда давали пресмешную комедийку «Франкмасоны».

С беллетристом мы были старые друзья, каковыми остаемся и по сие время. Де Роберти я знал очень мало, и, признаюсь, не очень-то он мне нравился, как, вероятно, и я ему, хотя любезен со мною он всегда был весьма. Странна была судьба этого человека, несомненно талантливого, энциклопедически образованного, блестящего оратора, неистощимого занимательного говоруна. Может быть, виною тому было предубеждение, порожденное убийственными сарказмами Маркса и Михайловского (последний ведь даже не постеснялся однажды зло поиграть второю частью фамилии Де Роберти, которою он пользовался как псевдонимом для своих публицистических работ — «Ла Серда»,

что по-испански значит, увы, «свинья»), но к Де Роберти установилось в обществе какое-то недоверчивое отношение, — мало кто брал его всерьез. Играл он на большого ученого, но ученые считали его легковесным дилетантом, а для дилетанта он был слишком тяжеловесным эрудитом. Так и застрял он на середине с половиной — ни рыбой ни мясом, под пикантным соусом неистощимо звонких фраз d'une langue bien pendue[7].

Человек был показной, созданный для трибуны. Типичный оппозиционер, «тверской земец»[8], значит, — о ужас, по тогдашним временам! — чуть не революционер. В искренности его нельзя было сомневаться. Он же и «страдал за убеждения», хотя и не очень. Словом, снаружи совсем хорош: «лидер» — хоть куда. Но жила в нем некая внутренняя хлыщеватость, которая, прозрачно сквозя чрез его ораторский пафос, заставляла чуткого слушателя почти улыбаться.

— Ах, мол, ты актер, актер!

М.М. Ковалевский дружил с Де Роберти и любил его, но, что в глаза, что за глаза, трунил над ним довольно жестоко. Рассказывал, например, что на каком-то из многочисленных в предреволюционные годы политических банкетов Де Роберти произносил пламенную речь о наделении крестьян землею. Ковалевский, сидевший с ним рядом, насмешливо шепнул:

— Супесок и за приличное вознаграждение?

— Ну, само собою разумеется! — быстро шепнул ответную реплику тверской Мирабо и, как ни в чем не бывало, продолжал «греметь» дальше.

Именно торжественные ложи, да еще один парадный обед, когда я имел случай видеть в сборе весь «Космос», разочаровали, расхолодили меня в масонстве. Может быть, попади я в какую-нибудь мистическую ложу (две-три таковых еще влачили существование в Париже, хотя и весьма захудали), любопытство задержало бы меня в ней дольше. Но здесь, как откровенно объяснил нам, посвященным, на первых же порах М.М. Ковалевский:

— Вот вы допытывались у меня, в чем тайны масонства. Теперь вы сами масоны и можете видеть собственными глазами, что никакой тайны нет. В том и тайна, что нет никакой тайны.

Было остроумно, а в устах масона 31-й или 33-й степени («Рыцаря Храма») даже и весьма выразительно. Но раз нет никакой тайны, то

для чего же и таинствовать? Масонская ложа превращается просто в клуб общения людей большего или меньшего политического единомыслия. Ложа «Космос» считалась демократическою, и мэтр Николь старался крепко держать и высоко поднимать знамя «принципов 1789 года»[9]. Но подавляющее большинство «братьев» принадлежало к богатой промышленной буржуазии, для которой из этих пресловутых принципов давно выветрилось содержание и остались лишь «слова, слова, слова»[10]. Красноречие лилось реками, но дел — может быть, такое уж было мое несчастие — не видел я ни одного.

Впрочем, нет: одно видел. Ложа вступилась за некоего бельгийского «брата», литератора. Угодив за свой роман под суд, он предпочел переселиться из Брюсселя в Париж, а Брюссель настойчиво приглашал его пожаловать обратно на скамью подсудимых. Вступилась и отстояла «брата», доказав тем справедливость обещания Ковалевского насчет оборонительной полезности масонства. Но так как роман гонимого бельгийца был из самых что ни есть порнографических (уж, значит, хорош, если даже Бельгия не вытерпела!), то представлялось довольно недоуменным, какое дело до этой истории масонской ложе, предполагающей целью своего союза взаимное «нравственное совершенствование»?!

Политическое значение ложа, несомненно, имела, но узкое, местное, чисто французское, даже, пожалуй, теснее — парижское. Это был хорошо организованный и дружно сплоченный кружок умеренных республиканцев, отлично выдрессированный для выборных кампаний, преимущественно муниципальных. И больше ничего. Мэтру Николю, полному честолюбивой энергии, было тесно в русле «Космоса», хотелось вывести ложу на пути большой политики. Этим объясняется его усердное внимание к нашим русским революционным делам и привлечение в ложу через посредство Ковалевского русских эмигрантов.

Мэтр Николь вспоминается мне симпатично — лицом, отчасти как бы трагическим. Умный и даровитый, он стремился оберегать поколебленное масонское предание и выявлять непоколебимую масонскую силу. Но в предании ему с трудом удавалось охранять даже обрядовую внешность, а сила ложи упорно не желала выходить за черту мещанского политиканства. Характер он имел диктаторский, но для фактической диктатуры ему недоставало воли, а может быть, и таланта. Поэтому и диктаторствовал он внешне. Помню, как после одной

ложи, когда «мастера» остались одни, чтобы принять очередной «пароль», Николь властно призвал к порядку и отчитал влиятельного «брата» из коммерческой аристократии, вздумавшего отнестись к этой церемонии с шуточками. Нам, русским, он наши небрежности спускал, скрепя сердце: что-де с них взять? Варвары, да еще и в несчастии! — но французов подтягивал весьма. И так как французы, по национальному характеру, вообще очень склонны к внешней дисциплине, то охотно позволяли себя подтягивать. Но «в самой вещи» ложа шла все-таки не как Николь хотел, а Николя тащила за собою, как хотело ее капиталистическое большинство.

Поэтому на попытке втянуть ложу в помощь русской революции Николь срезался. Русское правительство искало тогда во Франции нового займа. Было совершенно ясно, что для подавления революционного брожения. А потому эмиграция и сочувствующие ей французские интеллигенты развили довольно сильную контрпропаганду. Не хочу писать об этой кампании подробно потому, что архивного документального материала у меня под рукою нет, а по памяти боюсь напутать: вопрос же ответственный. Возлагались большие надежды на масонство, что оно, как принципиальный враг самодержавия, не допустит займа, а как сила капиталистическая, сумеет сделать свое вето не только действительным, но и выразительно демонстративным.

Мэтр Николь был из главных агитаторов противодействия и хлопотал очень. Вопрос обсуждался во всех ложах. Конечно, и в нашем «Космосе» и, по обилию в нем русских, может быть, даже напряженнее, чем в других. Торжественное собрание, посвященное дебатам о займе, очень многолюдное, и было тем третьим, о котором я помянул выше. Оно оставило во мне очень тяжелое впечатление. И не тем, что дело протеста провалилось, — этого я заранее ожидал почти наверно, так что ничуть не удивился и мало огорчился, — но тем, как оно проваливалось.

Мэтр Николь был пылок, напорист, говорил красноречиво, с искренним одушевлением, убедительно, со знанием наших русских дел, с хорошим осведомлением о планах «царизма», — на французские деньги раздавить нарождающуюся русскую свободу. Но огненные слова его падали как будто в мокрую подушку: пламенели без последствий. Николь ораторствовал и срывал аплодисменты, но опытный сосед мой, офранцуженный русский еврей, доктор Клейн, вздыхал:

— Не соберет голосов!

— Однако сильно хлопают?

— Что хлопки! Вы посмотрите на рожи!

Действительно, лица слушателей хранили опасное выражение чуждости, а иные и недовольства, словно пред ними свершалась некая досадная бестактность. Николь переоценил свое влияние, рассчитывая вырвать у ложи, по требованию масонской этики, резолюцию, противную коммерческим интересам большинства «братьев»: чуть не все были держателями русских бумаг! Надеяться на французскую поддержку ими русской революции могли только наивные идеалисты, одаренные «славянской душой» или восприявшие от нее заразу чувствительности, как Николь.

Ответы ему блистательно оправдывали злое суждение, будто французский язык создан для того, чтобы красиво скрывать истину, приятно говорить неприятности и, насказав много и значительно, в конце концов не сказать ничего. Николя не опровергали, его благодарили, ему выражали сочувствие, «благородное негодование» на царский деспотизм лилось рекой, память Великой французской революции и принципы 1789 года висели в воздухе, что называется, хоть топор повесь. Но междусловный смысл получался все-таки: «Не наше дело, — с чего это вы вздумали бить нас по карману ради каких-то северных варваров, которые не умеют ладить со своими правителями?»

Один из ораторов даже так прямо и рискнул напомнить, что хороший масон обязан соблюдать законы и обычаи страны, им обитаемой.

Словом, провал был полный. В банальной резолюции, выражавшей сожаление об ошибочном направлении русского царского режима и надежду, что молодая Россия рано или поздно обретет свободу, которой она достойна, и станет на уровне культурных европейских государств, вопрос о займе был обойден скользким упоминанием, словно не из-за него сыр-бор горел.

Ковалевский приписывал этот провал отчасти внутренней интриге в ложе: «братья», наскучив диктатурными замашками Николя, захотели дать ему щелчок: «Ты-де нам не Наполеон, — осади назад!»

А Николь сердито обвинял русских, что это они провалили свое собственное дело, не поддержав его личными выступлениями. Это правда. Но те, кто из русских хотел бы говорить и имел, что сказать в

развитие речи Николя, не решались выступить, смущаясь ораторствовать перед парижскими говорунами на великорусском наречии французского языка. М.М. Ковалевский, блестящий оратор на всех европейских языках, по-французски же наипаче, и другие, ему подобные, сыдеальничали: нашли, что так как интересующий нас заем зависит от французского капитала, то французам и решать вопрос, а нам, мол, будет приличнее воздержаться от давления на их волю. Не помню, кто тогда говорил из русских, кроме М.М. Ковалевского, но и он, избегая «давления», ограничился общими местами, а остальных — вот я даже не помню: так были бесцветны.

Это собрание весьма размагнитило второй магнит, тянувший меня к масонам: упование поддержки от них русской революции против забиравшей силу реакции. Я охладел к масонству и перестал бывать в ложе. Безответственной-то политической болтовнею можно было утешаться — и гораздо интереснее, без ряженья и условных жестов, — также и в кафе «Суффло» или кафе «Пантеон». Но однажды я получил приглашение с обязательной явкой на банкет по случаю какой-то знаменательной годовщины. На этот раз я задумал выступить. Написал речь и, боясь за свое французское произношение, просил И.З. Лорис-Меликова прочитать ее от моего имени. Но тут меня постигла неудача в самом деле «из Пьера Безухова». Лорис было согласился, но, ознакомившись с рукописью, взял слово назад:

— В своем ли вы уме? Разве таким резким языком можно говорить с французами вообще, а в этой среде в особенности?! Это будет неслыханный скандал — и, прямо вам скажу, нам превредный! Я ответственности за него взять на себя не могу.

Ковалевский тоже подтвердил:

— Да, речь жестокая. Скандал будет. Лучше ее не произносить.

Я возразил:

— А не думаете ли вы, Максим Максимович, что встряска некоторым русским «скандалом» была бы полезна нашим французским «братьям»? Уж очень они замшились.

Он отрицательно мотнул своей большущей головой:

— Нет. Я не скажу, как Иван Захарович, что скандал был бы «превредный», но... Слыхали ли вы, что был в Петербурге профессор политической экономии Вреден? Так о нем студенты острили, что он не

столько вреден, сколько бесполезен. То же самое скажу и о вашем спиче. Это плод обычного русского, извините, донкихотства. Вы воображаете прошибить броню буржуазного равнодушия и вызвать если не сочувствие, то негодование уязвленных самолюбий. — Напрасно: это народ стреляный. Не доставят вам удовольствия видеть их уязвленными, но просто постараются вас не заметить, на что они мастера первоклассные. А согласитесь, что подобный результат...

— Хуже всего, — прервал я. — Вы правы, Максим Максимович, беру свой «спич» обратно[11].

Вскоре мой главный масонский магнит, т.е. М.М. Ковалевский, уехал в Петербург, и с его отъездом связь с ложею потеряла для меня уже всякий интерес. Много другого, настояще живого, дела было. В «братьях» числился, бюллетени ложи получал, взносы платил — и «без меня меня женили»: неизвестно за какие заслуги, повысили из «учеников» в «мастера». Это автоматическое производство мне тоже очень не понравилось. Ближайшим затем летом, как я уже говорил, мы с женой переселились из Парижа в Италию, и здесь мое французское масонство поросло четвертьвековою травою забвения[12], сквозь которую теперь докопался до него в Петрограде архивный крот Щеголев, а в Риге огласил его раскопки г. Вельский.

[МАНАСЕВИЧ-МАНУЙЛОВ]

В настоящее время Петербург полон шумом нового полицейского скандала. Кажется, никогда они не кончатся в России! Арестован, после обыска, крупный чиновник тайной полиции Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. Его обвиняют в покраже из архивов и в продаже знаменитому Бурцеву важных политических документов[1]. В кулуарах Думы только и разговоров, что об аресте Манасевича-Мануйлова. С испугом ждут новых разоблачений, которыми несомненно грянет Бурцев, во всеоружии приобретенных им бумаг. Говорят, что судьба Манасевича-Мануйлова уже решена. Судить его не будут, но в административном порядке сошлют в Нарымский край. Эта ссыльная область справедливо считается одною из самых тяжелых, потому что она совершенно дикая, лишена каких бы то ни было промыслов, и поселен-

ный в ней культурный человек обречен либо на голод, либо на одичание, на возвращение к звероловной и рыболовной первобытности. Климат Нарымского края невыносим для европейца. Длинные зимы жестоко холодны. Короткое лето, наоборот, чудовищно знойно и нездорово, так как отравлено болотными испарениями и тучами комаров. Осень и весна превращают Нарымский край в море: реки затопляют его низменность своими разливами на громадные пространства. По нескольку недель селения не имеют между собою другого сообщения, кроме лодочного.

Время скоро покажет, насколько правы петербургские слухи и ожидания. Фигура же г. Манасевича-Мануйлова настолько типична и любопытна, что не лишним будет подробно осветить ее пред итальянскими читателями. Тем более что он не безызвестен в Италии, так как именно здесь сделал свою полицейскую карьеру. Г[осподин] Манасевич-Мануйлов сейчас человек лет 43, может быть, даже моложе. Крещеный еврей. Сын очень богатого когда-то сибирского золотопромышленника, из миллионов которого ему почему-то ничего не досталось[2]. Кажется, в силу процесса с казною, но не могу утверждать наверное. В начале 90-х годов прошлого столетия Иван Манасевич-Мануйлов являл собою весьма блестящего молодого человека, вивёра в полном смысле слова, близкого к театральным кругам, huître[3] оперетки и кафешантанов. Все знали, что он разорен и запутан в долгах, но и все были уверены, что тем или иным способом Манасевич выпутается. Как дилетант, он занимался журнализмом и даже был секретарем большой либеральной газеты «Новости». Это был человек, весьма приятный в обществе, хорошо образованный, с изящными манерами, отнюдь не заносчивый, знающий свое место в жизни. Маленький ростом, хрупкий, с черненькими усиками, щегольски одетый, с парижским тоном речи, прекрасно владеющий языками, он, как многим казалось, создан был для дипломатической карьеры. В журнализме ему не повезло. Он не имел большого таланта, а участие в мелкой прессе сблизило его с подозрительными господами, привыкшими делать из печати средство самой неразборчивой наживы. И вот имя Манасевича начинает окружаться туманом самых темных слухов и подозрений. В 1896 году, когда я познакомился с г. Манасевичем[4], он был уже человеком безнадежно поконченным в смысле литературной карьеры, но о том, чтобы из него мог выйти полицейский шпион, никто не помышлял[5]. Но вот, в

6. Заказ № 833.

один прекрасный день, он вступает на государственную службу, по Департаменту иностранных исповеданий[6]. Покровительство директора департамента генерала Мосолова дает Манасевичу быстрый ход. Правительство очень оценило литературные связи Манасевича, и вот он становится как бы мостом между Министерством иностранных дел и некоторою частью петербургской печати. Под разными псевдонимами он начинает помещать в разных журналах, главным образом в консервативном «Новом времени», информации, вдохновленные его чиновными покровителями. В то же самое время в редакциях начали ценить его как человека, который, имея доступ к тайнам министерских канцелярий, является поставщиком интереснейшего репортажа или, по крайней мере, поверочною инстанцией для слухов о секретных действиях и планах правительства. От этой шаткой игры на два фронта недалеко было до конечного падения. В 1899 году прошли в обществе первые слухи о принадлежности Манасевича к тайной полиции. Вслед за тем довольно скоро получил он назначение в Рим в качестве атташе к русскому министру-резиденту при папском дворе. Это назначение прикрывало собою другое, более важное, тайное. Манасевичу была поручена организация русской тайной полиции в Италии, которой поведением в знаменитом деле о выдаче террориста Гоца русское правительство было очень недовольно[7]. Кроме того, оно желало устроить энергическую слежку за польскими эмигрантами, подозревая, что они из Рима организуют какой-то заговор. Манасевич в качестве главного сыщика не оказал больших способностей: вел свое дело с такою прозрачною и бесцеремонною наглостью, что вскоре привлек к себе внимание римской печати. Шумное дело (1902) с похищением из Рима двух польских эмигрантов, Филипповского и Гонсиоровского, которых агенты Манасевича, опоив наркотиками, переправили через австрийскую границу, а Австрия выдала их России, вызвало резкий запрос в палате. Оставить Манасевича в Риме стало невозможно, тем более что оба русские дипломатические представителя, посол Нелидов и министр-резидент Губастов, одинаково отрекались от него с тою твердостью, с какою дипломатия всегда предает провалившихся шпионов. Манасевича переводят в Париж и подчиняют там знаменитому Рачковскому, шефу русского политического сыска за границей. Для вида предполагалось, что Манасевич будет издавать в Париже какую-то газету на русском языке[8]. Кажется, номера два ее вышло, но затем основная ассиг-

новка быстро растаяла, так как Париж город веселый, и издавать газету стало не на что. Ежегодную же субсидию на этот орган Манасевич получал еще несколько лет подряд, покуда не прекратил ее, став министром-президентом, граф Витте. Своей полицейской роли в Париже Манасевич даже не трудился скрывать. В качестве литературного человека Манасевич употреблялся на посредничество между русским правительством и парижскою прессою, то есть, попросту сказать, на переговоры с некоторыми податливыми органами и перьями о найме их в защиту русских автократических интересов. В посредничестве этом Манасевич оказался недобросовестным и кое-кого из принявших его предложения издателей надул, не отдав или недодав им договорных сумм. Те оказались, против его ожиданий, достаточно циниками, чтобы поднять шум и обратиться с жалобами к русским властям. Равным образом он как-то ухитрился обсчитать и работавших у него сыщиков. Скандал этот выжил Манасевича и из Парижа[9]. Любопытно, что в 1903 году Манасевич виделся, по поручению знаменитого русского министра-реакционера, фон Плеве, с представителем еврейской общины в Париже, Цадоком Каном, и уговаривал его влиять на еврейских капиталистов в пользу русских займов и против русских революционеров, грозя в противном случае неслыханными репрессиями против русского еврейства. Цадок Кан, конечно, уклонился от столь лестного поручения, а угрозы Манасевича не замедлили оправдаться. Плеве отомстил еврейству страшным погромом в Кишиневе[10]. На родине Манасевич-Мануйлов становится человеком, скомпрометированным даже для учреждения, в котором, казалось бы, никак нельзя себя компрометировать: для тайной петербургской полиции, пресловутой «охранки». Он не в милости и не у дел. Одно время его зачем-то держит при себе чиновником особых поручений граф Витте, но вскоре Манасевич оказывается запутанным в темные и грязные денежные счеты правительства с пресловутым провокатором Георгием Гапоном. Витте выгнал Манасевича со службы самым резким образом. В последние годы положение Манасевича, по-видимому, совершенно пошатнулось. Полиция выжала этот лимон в свою пользу досуха и больше в нем не нуждалась. Его выкинули за борт[11] и предали кредиторам, которые набросились на него тем злее, что раньше, за щитом Рачковского и охранки, Манасевич был для них совершенно недоступен. Всего несколько недель тому назад по русским газетам прошло известие о полном банкротстве Манасевича.

Сейчас он опять заставил Россию говорить о себе. Весьма вероятно, что заставит говорить и Европу. Посмотрим, что он продал Бурцеву. Знать он мог много, и разоблачения его могут быть страшны, как новое бурное извержение грязи, которою так неистощимо богаты тайные недра русского самодержавия[12].

РУССКИЙ УГОЛ В ЛИГУРИИ

Проезжал мимо Кави ди Лаванья, взглянул на старый свой домик — красненькую «палаццину»[1] Пиаджо... Грустно стало! Много там пережито было — и в большинстве не плохого, что стоит вспомнить.

Сейчас в Кави русских нет, а все-таки «здесь русский дух, здесь Русью пахнет»[2]... И какою Русью!

В 1907 году мы с женой поселились в Кави, ища тишины и уединения после шумных и полных разными бурями в стакане воды двух зим в парижской эмигрантской колонии. Но, едва водворились, стали обрастать соседями из гостевавших друзей: пленялись местностью и селились. К друзьям приезжали их друзья, к друзьям друзей еще друзья и друзья, и мало-помалу в накоплении наезжих семейный поселок исчез, а выросло дачное место с «колонией». Настолько людное и своеобразно-суетливое, что вскоре мы уже начали подумывать о том, как бы сбежать от своего шумливого творения в какой-нибудь другой красивый и уютный угол, чтобы затем, конечно, и его испортить по тому же методу. К концу третьего года мы эти подумывания привели в исполнение: перебрались на Специйский залив в Федзано.

С весны по осень кавийская колония дорастала до численности в 60, даже 80 человек. Зимою — когда наезжий дачный элемент, схлынув, возвращался в крупные эмигрантские центры, Париж, Женеву, Льеж, и оставались только постоянно живущие семьи — колония сжималась в крохотную кучку человек в 15—20.

Впрочем, сжималась только количественно, так как в смысле качественном, по признакам согласия и объединения, она, как всюду в русских колониях, скорее разжималась. Иначе, конечно, и быть не могло в обществе, изобильно наполненном представителями двух славянских народов, из которых один исторически себя рекомендует: «Нас,

русских, кормить не надо: мы друг друга едим и тем сыты бываем»[3]; а другой создал не менее выразительную политическую формулу, что «Польска непожондкем стое»[4]. Третьим элементом, цементировавшим первые два, были евреи. Их было много. Обыкновенно с молодых лет женатые, семейные и многодетные, они, даже селясь на короткое время, должны были устраивать домашние гнезда, к которым естественно тянулись русские и польские одиночки-бобыли, чтобы столоваться и общаться в родном языке, родных вестях и родных интересах.

Состав колонии менялся часто. То и дело мелькали в ней люди известные и интересные.

Время от времени налетал из Парижа на короткую передышку от охоты за провокаторами и шпиками неутомимый их «ловец перед Господом», Владимир Львович Бурцев. Скромный, плохо одетый, тихо суетливый, в вечной торопне куда-нибудь, с глазками, моргающими из-за очков, наивно, серьезно и пытливо — глазками индийского «мангуса», проворного истребителя змей и прочих пресмыкающихся, подозрительно любопытного в каждой щели, не таится ли в ней какой гад. Человек «нюха», почти фанатически убежденный в своей непогрешимости, беспощадный в преследовании и изобличении предательства (то было как раз время изловления им Азефа), и... «блажен муж», добрый, как хлеб, бессребреник и кормилец-поилец бесчисленных дармоедов, присасывавшихся к его трудовым франкам, как ужи к вымени дойной коровы[5].

Наезжал то из Сан-Ремо, то из Нерви Георгий Валентинович Плеханов — бровастый, с беспокойными глазами, в которых жизненная энергия неукротимого бойца боролась с туберкулезным страхом. Сорок лет революционного пролетарства не вытравили в нем родовитого пензенского барина-дворянина, «блестящего Жоржа» революции 70-х годов. Революционер-философ, эрудист, диалектик и эстет, яркий трибун, неодолимый в дискуссиях, он, однако, начинал уже быть не ко времени. Его ораторский талант оказывался слишком культурным — чересчур тонким и изящным — для аудитории нового революционерства, опрощенного и огрубленного приливом пролетарских сил, хотя еще не совсем со дна, но — после революции 1905 года — уже весьма глубинных[6].

То сидел одиноко над морем с удочкой, обдумывая статьи, то катал в лодке на веслах колонисток Виктор Михайлович Чернов с лицом и ухватками Лихача Кудрявича[7], сладкоречивый, с лукаво подмигиваю-

щим глазком. Не преднамеренно лукаво, а по «тику»: Бог ему, по известной пословице, такую отметку послал. Воображал Средиземное море Волгою, себя Стенькою Разиным и заливистым сладеньким тенорком выводил «Из-за острова на стрежень». Колонистки воображали себя Персидскими Царевнами и млели. Однако, слава Богу, ни одна не утонула. Утонул только, не весть как, бедняга эсер Сидорчук. А несчастным ли случаем или самоубийством — тайна ушла на дно моря.

Бродили по шоссе, горячась в постоянных дружеских спорах, два старых старика, обломки «Народной воли». Один — образец старческой красоты, бородатый, величественный, но всегда веселый, шутливый, всем интересующийся, ко всем участливый, все на свете знающий, общий друг, советник и помощник, — Герман Александрович Лопатин[8]. Двадцать два года шлиссельбургского заточения не убили в нем ни физической, ни нравственной энергии, ни свежести светлой мысли, ни человеколюбивого оптимизма. Другой — Феликс Вадимович Волховской — напротив, очень некрасивый и болезненный, с камнями во всех внутренностях, где им свойственно заводиться, но до поздних лет сентиментальный и влюбчивый. А потому заботливый о себе франт и старомодный петиметр в великолепных лондонских галстуках и ослепительных штанах, способных привлечь одобрительное внимание даже самого Василия Ивановича Немировича-Данченко: он проездом тоже бывал в Кави и, конечно, как всегда, одетый картинкой: le dernier cri de la mode[9].

Волховской народник до мозга костей, склонный «обсахаривать мужика», и такой же ярый украинский патриот с тягою к сепаратизму. Лопатин тоже народник, но полагает, что в мужике сахару никакого нет, а мед если и имеется, то с ложкою дегтю. Он патриот великорусский, и перспективы расползания Российской империи по швам его — хотя и «шлиссельбуржца», «жертву самодержавия» — ничуть не прельщают. Поэтому между стариками грохочет ежечасная словесная пальба. И внимательно прислушивается к их спорам, изредка вставляя густое, меткое слово, господин среднего роста, в сером пиджаке, с золотою цепью по жилету, обтягивающему сорокалетнее зыбкое брюшко. Похож на солидного старшего приказчика в хорошем бакалейном магазине или на буфетчика в тихом степенном трактире, куда большие купцы уходят из лавок чаевничать и за чайком вершить стотысячные сделки.

Это — когда-то и в ту пору еще совсем недавно — чуть не самый популярный человек в России: расстриженный священник, или, как зовет его Лопатин, «распоп», свободомысленный Григорий Спиридонович Петров, затем в миру публицист «Русского слова» и автор неисчислимых учительных брошюр. Расходясь в десятках тысячах экземпляров, они засыпали Петрова золотом, которое, через добрые руки его, переливалось в широчайшую благотворительность. Человек видный и внушительный, хотя, сняв рясу, он потерял много былой картинности. Выявилось «спинжаком» кулацкое происхождение (он до духовного звания был мелким лавочником) — кабы ему сапоги бутылками да штаны заправить в голенища, то — и прямо за стойку. И только удивительные, бледно-фиолетовые глаза, полные ищущей думы, грустно вдохновенные и немножко как бы безумные, словно у пророка, ожидающего «гласа Божьего», говорили о натуре необыкновенной, глубокой, владеющей даром родниться со всяким чужим горем и властным глаголом жечь сердца людей[10].

Иногда присоединялся к их группе еще старец — высокий, в поэтически красивой седине под широкополой черной мягко-фетровой шляпой, — глаза кроткого мечтателя, как бывают у изобретателей-фантазеров, искателей «перпетуум мобиле»[11] и квадратуры круга. У Колумба, вероятно, тоже были такие глаза, когда он на своих каравеллах плыл наудачу невесть куда, среди неведомого океана и, по стиху поэтессы Каролины Павловой, «стоял, вперив глаза на румб»[12]. Это Николай Васильевич Чайковский.

Пробегал, семеня мелкой рысью, всегда сопровождаемый свитою поклонников и учеников, апостол анархизма, Петр Алексеевич Кропоткин: маленький, сухонький, седенький, лысенький, суетливый, говорливый, ртутно подвижной всем во всем учитель, ходячий энциклопедический лексикон, одаренный неугомонно торопливою, как бы граммофонною, речью. Анархизм анархизмом, но старику отнюдь не было неприятно, когда к нему обращались по титулу — «князь», а супруга его (еврейка)[13] очень твердо старалась держать себя, семью и дом на княжеской ноге, как то прилично «последнему Рюриковичу, имеющему больше прав на русский престол, чем Романовы». Об этих державных правах в анархической компании тоже очень много и с не малою гордостью говорилось по неисповедимой противоречивости натур российских.

Всеобщею любимицей колонии была дочь Кропоткина, Александра Петровна, которую за глаза больше звали, с нежной фамильярностью, «княжной Сашкой», или даже просто «Сашкой», да, кажется, если кто и в глаза обмолвливался, она не обижалась. Девица, недурная собою, бойкая, веселая, с живою отцовскою речью, смелая на язычок, не без остроумия, — вообще, явление чрезвычайно жизнерадостное. Ни анархического, ни вообще революционного в ней тогда — к ужасу женской половины колонии и к тайному удовольствию мужской — решительно ничего не замечалось: барышня-живчик, по младости лет, забавная озорница — и вся тут. Впоследствии она вышла замуж за которого-то из многочисленных революционных Лебедевых, но за какого именно — не знаю. Кропоткины бывали в Кави наездами из Рапалло, где нанимали прекрасную виллу и были в большом почете у местного населения, включая и власти предержащие. В Кави Петр Алексеевич по своей неистощимой словоохотливости (Лопатин звал его «князь Скоробрешка») неизменно каждый раз забалтывался с кем-нибудь и, несмотря на понукания княгини и княжны, опаздывал на обратный поезд; за что и был словесно истязаем от своих, но — без надежды на исправление.

Побывал в колонии и самый модный герой тогдашнего эсерства, глава боевой дружины[14], пресловутый «Печорин русской революции», Борис Викторович Савинков. Положил на лопатки первого силача колонии, переспорил в дискуссии искуснейшего диспутанта, прочитал, к очарованию колонисток, «Коня Бледного»[15], взял призы на велосипедной и гребной гонках, декламировал чудесные стихи, научил колонию танцевать модные тогда «мачич» и «танго» — словом, наблистал ослепительно, как яркий метеор, и метеором же исчез, оставив по себе неизгладимый след в нескольких влюбленных женских сердцах и ревниво уязвленных мужских.

Более обыкновенные смертные эмиграции, бывало, тоже — одни пролетали метеорами, чтобы, однажды показавшись, затем исчезнуть навсегда; другие, подобно планетам, появлялись периодически, свершая в порядке года правильное течение по эмигрантской орбите через европейский Запад. То есть — промаявшись зиму на безработной голодухе в Париже, тщетно поискав занятий в Бельгии и поболтавшись часть лета без дела на Женевском озере, под осень ползли к нам, на итальянскую Ривьеру, оживать от острого малокровия, белокровия,

нервного истощения и пр., и пр., включительно до временной починки — к отсрочке рокового конца — безнадежных туберкулезов[16]. А там опять тяга на Париж — и начинай круговую сначала.

На какие средства свершали планеты свое обращение, солнечным центром которого и тогда был, как теперь остается, Париж, — я всегда недоумевал, да и планеты сами недоумевали. Бедность ведь была непокрытая.

Но известное дело, что русский эмигрант после ртути самое подвижное вещество на свете. Сейчас его визами пришпилили к местам, да и то он умудряется метаться по всему земному шару. А тогда Европа была вольная, беспаспортная. Есть деньги на билет, садись в вагон да поезжай — как-нибудь доедешь авось, дорогой не околеешь с голоду. Ну, и, бывало, эмигрант недоест недопьет, будет год носить бессменную косоворотку и просящие каши сапоги, но — он поедет, непременно поедет!

Куда? А иной раз — и сам не зная куда. Туда, где еще, «слышно, водятся русские». В Берн, в Цюрих, в Давос, в Льеж, в Гренобль, в Монпелье, — только не [в] Австрию и Германию, особливо Пруссию: «Еще выдадут, чертовы дети!»... Зачем? Затем, чтобы длинными вечерами сидеть кучею в душной комнате; курить до самозабвения сквернейшие папиросы; пить в ужасающем количестве чай, сожалея, что приходится заваривать его кипятком из котла или кастрюли, а не из самовара, и чуть не сходя с ума от радости, когда в хозяйстве какой-нибудь вновь прибывшей семьи окажется эта патриотическая редкость. Спорить от зари до зари о разладе эсерского «центра» с «периферией», об Азефе и Бурцеве, о «Бледном коне» Ропшина-Савинкова, о Плеханове и Ленине, о конгрессах и конференциях, о революционной тактике и о партийных программах, о третейских судах, об исключениях из партии и добровольных из нее уходах: отгоревшие и давным-давно пеплом по ветру разлетевшиеся треволнения былой довоенной революции — «революции предреволюционной». Какими маленькими кажутся они теперь после всего, что пережито с 1917 года! А тогда-то как это было важно, жгуче, остро, как тревожило, мучило, какие восторги с какими горестями и злобами перемешивало!

Устанут спорить, — глотки пересохнут, голоса захрипнут, — вспоминают задумчиво кто Зерентуйскую, кто Кутомарскую тюрьму, кто Якутку и житие за Полярным кругом, кто Бутырки и Кресты, предва-

рилки и централки, побеги и допросы, жандармов «добрых» и «злых», прокуроров, откровенно свирепых и лукаво либеральных, которые мягко стелют, да жестко спать, кандалы, интересных уголовных, тюремные бунты и голодовки, самоубийство Егора Сазонова, больницы, карцеры, битье...

Это, впрочем, и в нынешней эмиграции не переменилось. Только время перевернуло лестницу. Нижние ступени взлетели наверх и оказались хуже упавших вниз прежних верхних. Только вместо Зерентуя и Кутомара нынешний эмигрант вспоминает Гороховую, 2 и Лубянку; вместо прокуроров и жандармов — следователей ЧК и ГПУ и отряды особого назначения; а Бутырки и Кресты — те даже и остались на прежнем положении; хотя стали куда круче и хуже. И есть Нарым, и есть Соловки, и есть для строптивых — в два счета — «стенка». И есть тюремное окно, в которое не то выбросился с пятого этажа, не то был выброшен проигравший последнюю азартную игру va banque[17] неудачный «человек судьбы» Борис Савинков: герой старой эмиграции, оплошавшей героически овладеть новою[18].

БОРЬБА С НЕМЕЦКИМ БОГАТЫРЕМ

Хочу помянуть кн. Бюлова. Смерть его навеяла мне рой волнующих воспоминаний. Пятнадцать лет тому назад выпал мне случайно жребий участия в русско-итальянской борьбе против этого замечательнейшего дипломата, в то время германского посла в Риме и почти что диктатора настроений римской аристократии и придворных кругов.

В борьбе этой Бюлов остался побежденным. Ему не удалось удержать Италию от разрыва с центральными империями и вступления в Антанту. Но — не знаю, как другие его победители, более властные и влиятельные, из непосредственно политических и дипломатических сфер, — я же в скромном качестве журнального полемиста был, есмь и всегда пребуду искренним поклонником этого побежденного. Личность крупная, могучая, даровитая, высокой культуры. Посол-патриот, дипломат-активист. В свое время я недурно знал дипломатические силы главнейших европейских столиц. За исключением Клемансо никого не решусь поставить выше Бюлова, да никого и в ряд с ним. Вот

был представитель, какого от души желаю всякому дружественному государству, потому что, бывало, с уважительной завистью восхищался им как представителем врагов.

Весною 1913 года я из Италии предпринял большое путешествие по Германии, не без затаенной цели переселиться в один из ее музыкальных центров. К тому весьма побуждало нас с женою желание дать солидное академическое образование старшему нашему сыну, Даниеле, уже тогда начинавшему творить музыку, еще не умея записывать свои сложные импровизации. До этого путешествия я не был в Германии лет десять, если не считать коротких проездов откуда-нибудь куда-нибудь через Берлин или Мюнхен. Она показалась мне как бы обновленною и могуче выросшею. Восхитила и ужаснула.

Огромная, гениальная культура — как бы в пристройке к образцовому военному лагерю. Все, что сильно, крепко, здорово, — в военном мундире: сытый, розовощекий, автоматически стадный, идеально выдрессированный на человекоистребление, вооруженный люд... И как вооруженный! Любуйся и трепещи! А штатское население слабовато, хиловато, бледновато и подслеповато: на десять человек шестеро в очках. Наглядно было, что государство заставляет страну жить в военщину, а военщину кормит страной, конечно, не для парадов и маневров.

Теперь идет много споров о том, кто виноват в первозажигательстве Великой Войны. Столь преуспевающий ныне Эмиль Людвиг написал о том книгу в стиле «романтической истории», дав в ней огромную роль злой и глупой воле тех и этих, сих и оных великих и полувеликих мира сего[1]. Я не имею дара Эмиля Людвига забираться в черепа государей, министров и генералов, «когда им не спится», и излагать от их лица, что они тогда-то, там-то думали, а может быть, и... не думали думать. Метод занимательный и пикантный, но исторически малонадежный. Как во все острые моменты международного напряжения, волевые и действенные личности — и в конфликте 1914 года — были, конечно, далеко не толстовскими «щепками, плывущими по течению бурно вспененного ручья»[2]. Но думаю, что влияние личности в подобных случаях ограничивается использованием поводов, а не простирается на движение причин.

В своем путешествии я умышленно избегал встреч политических и публицистических. Хотелось видеть не «лидеров», но «массы», народ-

ную толщу. Не знаю, кто тогда в Германии желал войны и вообще желали ли немцы войны. Но воздух был напоен войною — и притом войною, заведомо победоносною. Хотела ли, не хотела ли Германия воевать, она должна была воевать, потому что развила свое военное могущество до точки, на которой «полный гордого доверия покой»[3] делается для вооруженной силы не только труден, но даже опасен. Вооруженная энергия из статического состояния должна разрядиться динамическим актом, иначе она может обратиться на самое себя. И чутье страны говорило, что пора.

Говорю не о «патриотах» в кавычках, охрипнувших от усердия вопить «Ди Вахт ам Рейн» и «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес»[4]. Вся страна чувствовала себя в состоянии воинственного полнокровия, которое, если будет пущено в ход сейчас, способно неотразимо богатырствовать, а если будет развиваться дальше, еще несколько лет, может разрешиться апоплексическим ударом. Трагический пример военной державы, в которой чрезмерно одностороннее развитие ударной силы привело к расслаблению всей мускульной системы, Германия помнила в России Николая I. А Германия Вильгельма II, по отходе от дел великого Бисмарка, весьма сбилась на николаевскую стезю, хотя шла по ней осторожнее, умнее и культурнее.

Впечатление, словом, было такое, что я отказался от плана перебираться в Германию и Австрию (хвост Германии), в твердом убеждении, что не сегодня завтра пришлось бы из них удирать, так как направлен их военный взрыв будет несомненно против России и — для меня, много возившегося с балканской политикой, с 1909 года, тоже несомненно, — через Сербию. В Италию я вернулся в весьма подавленном настроении духа, уверенный как в скорой войне, так и в том, что она будет стремительным разгромом и России, и балканского славянства.

Герман Александрович Лопатин, проживавший тогда у нас в Федзано (на Ривьере Леванте), меня понял и разделил мои опасения. М. Горький (в то время мы были в близкой дружбе) нашел, что я преувеличиваю германское могущество. Военщина не так сильна, как мне кажется, германские социалисты не допустят страну до войны, а если бы таковая и приключилась, то германский натиск пламенный встретит в России отпор суровый, на коем сломает свои рога. Вообще пи-

сал в таком бодропатриотическом духе и тоне, что я даже сконфузился за свой унылый пессимизм. Все это было, конечно, задолго до Циммервальда, повернувшего мысли писателя, по ленинской указке, в совсем противную сторону.

Когда грянула война, я напечатал в итальянских газетах небольшую прокламацию к русским эмигрантам-революционерам, указывая, что, ввиду народного характера войны (такой она обещала иметь, по общей в России антипатии к немцам, да и имела, пока не была компрометирована неудачами на фронте и безобразиями в тылу), революция должна принять в ней патриотическое участие. А потому надлежит, во-первых, заключить на срок войны перемирие с правительством, во-вторых, выделить из своих рядов волонтариат для участия в борьбе с напором центральных держав. Русская армия для волонтеров из революционной эмиграции была закрыта наглухо, но французская ими охотно воспользовалась.

Мне лично прокламация моя принесла анафему и приговор отчуждения от итальянских социалистов-пацифистов группы «Аванти», с которыми я раньше был близок, и, того хуже, от русских циммервальдистов. Напротив, это время моего сближения с Г.В. Плехановым, с своей точки зрения также отстаивавшим войну до победного конца. Он несколько раз был у меня в Леванто, я был у него в Сан-Ремо.

Прокламация увлекла нескольких эмигрантов в волонтерство. Первым из них пошел столь известный впоследствии Зиновий Пешков, приемный и крестный сын М. Горького, к совершенному неудовольствию своего названого родителя. Когда Зиновий, потеряв в битве при Каранси правую руку, известил о том М. Горького, этот в морозном тоне ответил, что, «не будучи военным, не умеет ценить военных подвигов».

Курьезная подробность. Будучи «эсде» горьковской школы, Зиновий Пешков был, однако, очень беспечен насчет «партийной ориентации» и добродушно ладил со всеми. Поэтому по пути во Францию для вступления в Иностранный легион он приостановился в Аляссио — навестить, по старому знакомству, В.М. Чернова. Был принят с распростертыми объятиями, пока не осведомил хозяев, куда он направляется и зачем. Тогда Чернов мгновенно стал подобен лермонтовскому Азраилу:

Хладнее льда его объятье,
И поцелуй его — проклятье![5]

Смущенный Пешков, ничего не ведая о Циммервальде, не мог ума приложить, чем он вдруг так внезапно провинился, и написал мне о том письмо, полное трагикомического недоумения... Несчастный волонтер не подозревал, что нелегкая занесла его в самое что ни есть ежовое гнездо российского пораженства!

Впрочем, и между эсерами после Циммервальда шел по отношению к войне немалый раскол. Чернов пораженствовал, а брат его жены (первой, Анастасии Николаевны) воевал волонтером на французском фронте, лихо дрался и пал от немецкой пули. Это был хороший, интересный человек, любимый и ценимый в партии. А потому в некрологах пораженческих журнальцев-летучек он был и оплакан как «светлая личность» и обруган как еретик, который впал в пагубную ошибку, сбился с пути и умер смертью, недостойною революционера, — «позорною смертью». Некролог именно с этими выражениями помню хорошо, потому что в свое время этот своеобразный «гимн на смерть героя» очень меня возмутил. Однако, если не ошибаюсь, он вышел не из-под эсеровского пера, а порожден был вдохновением... Льва Давидовича Троцкого (одновременно мало-мало что не «патриотического» Антид'ото «Киевской мысли»!)[6].

Хотелось сделать кое-что посерьезнее. По месту жительства обозначалась прямая задача: взяться за пропаганду выхода Италии из Тройственного союза и ее вступления в Антанту. В том очень помогло мне московское «Русское слово», пригласив меня поставить на широкую ногу дело корреспонденций из Италии и ближайших пунктов Средиземного бассейна. Денег на эту организацию Дорошевич, Благов и Сытин выдавали порядочно: от 6000 до 13 000 лир в месяц. Конечно, на эти средства нельзя было конкурировать с американскими и английскими корреспондентами, которые, не морщась, швыряли доллары и фунты там, где, бывало, со вздохом, после долгого колебания, решаешься на лишнюю лиру. Но выручали две силы.

Во-первых, я привлек к делу много русских эмигрантов, для которых приработок к обычным скудным доходностям был более чем кстати, и они старались вовсю — «и за страх, и за совесть». А итальянцы — все молодежь — вообще удивлялись, что им платят, — и, по местным

условиям, недурно, — за такие «пустяки», как осведомление об уличных случаях, случайном разговоре двух имяреков в кафе и т.п.

Пятнадцать лет тому назад газетный репортаж в Италии вообще был плох, а политический уж вовсе никуда не годился. Да и не мог быть иным, так как даже крупнейшие органы печати оплачивали его жалко, а то и вовсе не оплачивали. Дело, таким образом, сводилось к любительству добровольцев, не вырабатывая профессиональных методов и привычек. В начале работы я попробовал было, привлек к делу двух «знаменитых» римских репортеров, но на первой же неделе убедился, что оба они — дилетанты, которых надо учить азбуке репортажа, что гораздо удобнее с новичками, чем с знаменитостями.

Второю — и главною — силою-помощницею была необычайная в то время симпатия итальянцев, римлян в особенности, к России и русским. Хотя со времени Мессинского землетрясения[7] прошло уже пять лет, тогдашние подвиги русских моряков, быстрым вмешательством и самоотверженною энергиею которых город, в внезапном своем разрушении, был спасен от конечной гибели в разбойничьих и голодных беспорядках, были живы в признательной памяти итальянцев, народа, вообще памятливого на добро и умеющего быть благодарным. Сочувствие русским и ненависть к австро-немцам помогали лучше не только итальянских лир, но даже американских долларов и английских фунтов. Десятки раз случалось мне получать даром или за самое пустое вознаграждение сведения, достававшиеся нашим коллегам из Лондона и Нью-Йорка за весьма полновесное злато, да и то с опозданием.

Это, в связи с усердным и быстрым «интервьюированием», создало нашему маленькому корреспондентскому бюро (во главе его стояли, под моею рукою, Зиновий Пешков, возвратившийся из Франции одноруким капралом, и сын мой Владимир — беллетрист Кадашев) репутацию осведомленности, богатой до непогрешимости. Она была весьма преувеличена, но, конечно, не нам было оспаривать ее и преуменьшать. Развивалось изрядное влияние в редакциях, — я энергично работал в «Джорнале д'Италиа», «Мессаджеро» и т.д., — в министерских и дипломатических канцеляриях, в кругах Ватикана (в них трудился главным образом З. Пешков, и много помогал нам проф. Вл.Н. Забугин, в то время еще униат, впоследствии католик).

Прибавлю к тому, что нам были дружественно близки такие иностранные гости Рима, как проф. Т.Г. Масарик, кардинал Мерсье, ру-

мынский депутат Диаманди, каждый по-своему работавшие над тою же целью, над которой по-своему, независимо от них работали мы. Через знаменитого скульптора, проф. Антона Мадейского, мы были в наилучших отношениях с могущественной польской колонией, а через Местровича с югославянами. Труднее всего было наладить сношения с русским посольством, которое для тех времен определю, не обинуясь, царством барской глупости и бюрократической тупости. Но «нет правила без исключения»: благодаря умному, зоркому и дальновидному секретарю посольства В.Н. Штрандману, сладилось и это, а когда вместо «невозможного» Крупенского назначен был послом умный и талантливый М.Н. Гирс, дело пошло совсем гладко.

Словом, слагалась некоторая — большая ли, малая ли — сила, к которой с большою симпатией относились все «интервентисты», а «пацифисты» — с недоверием, враждебными насмешками и, наконец, с серьезными опасениями. В кругах «германофилов» мы были компрометированы безнадежно. Ведь во главе германофилов стоял всемогущий тогда премьер-министр Джолитти, а вдохновителем и учителем их был тот, чьим именем я назвал эту статью и о ком расскажу в следующей[8]: великолепный обитатель виллы Мальта — виллы Роз — князь фон Бюлов.

1914—1915 ГОДЫ.
ТЕЛЕГРАММЫ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

Я не имел чести знать Великого князя Николая Николаевича лично, но был с ним в довольно частых сношениях в самую интересную пору его жизни, в 1914—1915 годах, когда он был Верховным главнокомандующим.

Я в то время переселился из Леванто в Рим, по приглашению московского «Русского слова», чтобы организовать проектированное мною корреспондентское бюро. Газета давала на это хорошие деньги. Сотрудничало у меня в разных городах Италии, в Ницце, в Барселоне, в Александрии (египетской), сколько помню, 23 человека, в большинстве итальянцы, а также русские эмигранты. Работали хорошо, энергично и смело.

Тем не менее бюро наше быстро отцвело, встретив непреодолимые препятствия в последовательном сужении круга почтового общения. Сперва с другими государствами, потом и внутри Италии, с введением военной цензуры. Поступление экспрессов стало запаздывать. Иной раз половина и больше пришедшего материала летела в корзину, а из уцелевшей доли еще половину и больше съедала цензура[1]. Так что в Москву доходила очень малая и отнюдь не лучшая часть осведомления, которая в Москве, конечно, опять цензуровалась и соответственно умалялась. Предприятие утратило свою первоначальную выгодность для газеты и должно было упраздниться.

Благодаря бюро я развил огромное знакомство с тогдашними римскими журнальными и политическими кругами, завел в них очень хорошие авторитетные связи и через них получил возможность такой твердой информации, какую, смею похвалиться, мало кто имел. Скажу по долгому опыту политического корреспондента: за доллары и фунты можно иметь хорошее, очень хорошее осведомление, но лучшее приобретается все-таки не за деньги, а по симпатии — личной и политической. Репутация значительной осведомленности доставила мне возможность влиять на некоторые органы римской печати, в том числе на «Джорнале д'Италиа», в то время самую распространенную и излюбленную обществом газету центральной и южной Италии, «газету Саландры».

Связями своими я воспользовался для цели, которую я ценил гораздо выше своих корреспондентских задач: ради нее, собственно, я и взял на себя обязанности корреспондента и бюро придумал. Целью этой была борьба с русофобскою пропагандою германского и австрийского посольств, крайних левых социалистов и крайних правых клерикалов. Дирижировал столь странно смешанным оркестром германский посол, граф (вскоре князь) фон Бюлов, дипломат первоклассный. Мастерски вел свое дело. Хоть я и враг, а можно было вчуже залюбоваться со стороны и воззавидовать. Большую итальянскую печать Бюлову привлечь на свою сторону не удалось, зато он развел в огромном количестве свою собственную прессу. Истратил на это, говорят, 10 миллионов лир и буквально затопил Рим, Флоренцию, Милан своими ежедневниками.

Нельзя не признать с горестью, что русское посольство в Риме до назначения послом талантливого и спокойно твердого М.Н. Гирса

являло собою зрелище, удивления и жалости достойное. Предшественник Гирса был большой барин, любитель и покровитель искусств, страстный театрал, писал какую-то диссертацию о римских фонтанах и привлекал к себе внимание Вечного города не столь славными деяниями, сколь анекдотическими гаффами[2]. Человек был очень хороший, но наивный чудак и решительно не на месте.

С назначением М.Н. Гирса посольство значительно упорядочилось и в ходе, и в тоне. Рим почувствовал руку настоящего дипломата, твердую, хотя и в бархатной перчатке, осторожную, но с определенной, невиляющей линией. Новый посол сразу понял необходимость противостоять злобной игре пацифистской пропаганды на опорочение России. Я имел тогда неоднократные о том беседы с М.Н. Гирсом, могу засвидетельствовать его ясный и дельный взгляд на вещи, его добрые и очень практические намерения, его отзывчивость на всякую целесообразную меру, его нелицеприятие и такт в отношениях по общей патриотической работе. Но, к сожалению, для развития таковой в надлежащие размеры ему недоставало питательной силы: денег. Петроград держал римское посольство на столь скромных ассигновках, что в его кассе не накоплялось не только свободных сумм на черный день, но не всегда доставало и на очередные расходы.

С осени 1914 года мне удалось провести через «Джорнале д'Италиа» и «Мессаджеро» несколько резких опровержений и уличений бюловской печати во лжи. Граф фон Бюлов сделал мне честь обратить внимание на мою деятельность и в одном из германофильских аристократических салонов громко посулил, что потребует моей высылки из Италии. При Джолитти, пожалуй, мог бы и получить такую любезность, но я уповал, что в случае беды меня отстоит Соннино, который всегда относился ко мне очень хорошо. Да притом Джолитти уже качался под напором всенародной антипатии, и ясно было, что на смену ему придет Саландра — читай: война[3]. И следовательно, уезжать из Рима придется графу Бюлову, а не мне. Так оно и вышло. Каюсь, что не удержался от злорадной выходки: послал вслед Бюлову почтительнейшую телеграмму с пожеланием доехать так же благополучно, как выехал.

Но все это мое партизанство падало каплей в море клевет и инсинуаций. Для солидной кампании против них нужен был авторитет не журналиста-добровольца, но лиц официальных. На посольство в том

виде, как я его изобразил выше, была плохая надежда. Там выступить с опровержением считали чуть ли не унижением своего достоинства, а в случаях уже совершенно неизбежной вынужденности писали их либо так голословно, либо так запутанно, что публика принимала их как ничего не значащие казенные отписки. Притом беспрестанно лазить в посольство за справками было для меня затруднительно и щекотливо, по особому положению, которое я себе тогда создал.

Я был хорош с польской колонией в Риме. Один из наиболее центральных людей ее, известный скульптор Антон Мадейский, был в нашем доме как свой. Однажды он сообщил мне, что польская колония возмущена слухом, пущенным, конечно, бюловской печатью, но повторенным кое-где и в большой, о предстоящей якобы злостной бомбардировке Кракова. Русским-де войскам, наступающим на Краков, дан верховным командованием приказ при бомбардировке метить по колокольням церквей под предлогом, будто на них устроены тайные батареи, в действительности же просто для надругательства над католическими храмами. И если это так, то ужасно вообще, но вдвое ужаснее ввиду высокой художественности средневековой польской столицы.

Басня была превредная. Она должна была очень взволновать итальянских католиков, которых и без того уже не уставали натравливать против Антанты вообще, против схизматиков-московитов наипаче многочисленные попы-сестрофилы. Что тут делать? Простым опровержением не поможешь. Ходят крупным козырем — надо крыть крупнейшим. И осенило меня:

— А что, если я попробую телеграфировать о том Великому князю Николаю Николаевичу? Его-то уж так уважают и ценят в Италии, что против его слов не устоит никакая клевета!

Телеграфировал, подробно объяснив, кто я и почему позволяю обратиться к нему, невзирая на разность нашего общественного положения и политических взглядов. Телеграмма влетела мне что-то в лир двести. Признаюсь, не очень-то ожидал я ответа. Однако он последовал немедленно, очень обстоятельный и любезный. Великий князь извещал, что, во-первых, осады Кракова покуда вообще не предвидится, а во-вторых, что на случай осад исторических городов со святынями и памятниками художественной старины верховным командованием дан однажды навсегда приказ как раз обратного содержания:

избегать до последней возможности их повреждения, не говоря уже о разрушении.

С величайшим торжеством отнес я эту телеграмму в «Джиорнале д'Италиа». Конечно, она была перепечатана всеми значительными газетами и не замедлила произвести должный эффект.

Следующий телеграфный запрос отправил я Великому князю по поводу слухов, усердно распространявшихся социалистическою печатью, будто русское верховное командование выселяет поголовно всех евреев из Галиции, обвиняя их гуртом в шпионаже в пользу австрийцев. На этот раз мне с такою же быстротою ответил не сам Великий князь, но начальник его штаба, генерал Янушкевич, впоследствии варварски убитый большевиками. Он телеграфировал, что евреев как таковых никто не преследует и никуда их не выселяет, но высылаются с театра военных действий все лица, к какой бы нации они ни принадлежали, отмеченные контрразведкою как подозрительные по шпионажу и, в числе таковых, действительно оказалось немало евреев.

Эта телеграмма тоже была оглашена в «Джорнале д'Италиа» и тоже нашла широкий отклик. Как успокоительный — в общей печати, так и свирепо ругательный — в социалистической.

С того времени я смело обращался к Великому князю с вопросами по поводу возникавших в итальянской печати или публике опасных недоразумений или слухов и всегда получал быстрый ответ. Иногда за его личной подписью, иногда за подписью генерала Янушкевича. Последнюю телеграмму Великому князю я послал по случаю его удаления с поста Верховного главнокомандующего и перевода на Кавказ[4], не скрыв в ней глубокой горести, которою исполнила меня, как и всех отзывчивых русских, эта великая государственная ошибка. Благодарственный ответ Великого князя, хотя короткий, тоже дышал между строк явственно слышимою скорбью.

Все эти телеграммы напечатаны в «Джиорнале д'Италиа» 1914—1915 годов. Некоторые полностью, иные — по цензурным и иным соображениям — в сокращениях. Оригиналы телеграмм я в 1919 году, в Петрограде, наскучив прятать их от частных обысков, передал Вере Николаевне Фигнер для музея революции, который она тогда проектировала. Осуществила ли проект — не знаю.

Среди воспоминаний об усопшем Великом князе, которые, конечно, будут бесчисленны, думаю, не лишними явятся и эти, так как, по-

моему, они рисуют весьма значительную черту в его характере — глубоко симпатичную. Разобрать чутьем в «революционере» патриота и, переступив через предубеждение (вполне естественное), отнестись к нему вровнях, как патриот к патриоту на общей службе русскому делу, — для такой чуткости нужна огромно-широкая душа, истинно вещее сердце...

НЕ БРАТ СВОИХ БРАТЬЕВ

В только что пришедшем № 138 «Сегодня» нашел я интересную корреспонденцию И. Суханова-Сибиряка «Максим Горький в Сорренто», а в ней несколько строк о моем молодом друге, приемном сыне М. Горького, Зиновии Алексеевиче Пешкове, требующих некоторого разъяснения и дополнения.

Зиновий Пешков действительно крещеный еврей и родной брат того Якова Свердлова, который до Калинина возглавлял большевицкую республику и сыграл такую мрачную роль в преступлении екатеринбургского цареубийства. Но Зиновий вышел из свердловской семьи еще мальчиком. В политику, чрез знакомство с Горьким, он втянулся рано. На пятнадцатом году уже сел в нижегородскую тюрьму по одному делу с Горьким, Чириковым и др.[1] Сидел почему-то очень долго, был выпущен после всех.

Затем Зиновий или утратил, или сам оборвал всякую связь с роднею. Несмотря на нашу тесную близость, я никогда не слыхал от него ни единого воспоминания о свердловском периоде его юности. Так что, когда его братья Свердловы стали играть большую роль в большевицком государстве (второй, Вениамин, управлял большевицким Красным Крестом), то я думал, что это — однофамильцы, и только М. Горький однажды в Петербурге разъяснил мне истину, очень неприятную для Зиновия, потому что, будучи и быв отрезанным ломтем от Свердловых, идя по совершенно различным с ними путям, он много терпит из-за этого родства в своей карьере и не раз делался жертвою незаслуженного предубеждения там, где рассчитывал и имел полное право встретить, напротив, поощрение и поддержку.

Ошибочно указание, будто З. Пешков «решительно разошелся с Горьким еще до мировой войны». *Решительно* он никогда не расходился с Горьким и даже еще совсем недавно, приблизительно с год тому назад, посетил его в Сорренто и возил к нему на показ и поклон свою прелестную пятнадцатилетнюю дочку Лизу. То обстоятельство, что незадолго до войны Зиновий выселился с Капри от Горького и перебрался ко мне в Федзано, имело причиною не политическое расхождение и не личную ссору, а семейное осложнение. В одну из побывок вместе с Горьким в Федзано Зиновий ужасно скоропалительно женился с одобрения своего названого родителя и М.Ф. Андреевой на красавице-казачке Лидии Петровне Бураго, служившей у меня как «даттилографа» — переписчицей на машинке. Брак этот был отпразднован на Капри громким торжеством — еще и теперь его там вспоминают. Но очень вскоре между молодою Пешковою и М. Андреевой возникли неприятности[2], и сперва Лидии пришлось возвратиться в Федзано, а за нею последовал и Зиновий. Здесь у него родилась дочь. Года полтора затем молодые Пешковы неудачно искали труда в Америке[3]. А потом привились в нашей семье, и до самой войны мы жили вместе, за исключением коротких промежутков, когда Зиновий отлучался на поиски какого-нибудь солидного заработка. Между делом был моим личным секретарем и секретарем литературного сборника «Энергия»[4] и заведовал моею огромною в те времена библиотекою. При нашем переселении из Федзано в Леванто мы с Зиною вдвоем совершили чудесный пеший переход через горы «Пяти земель».

Ни личные, ни политические добрые отношения с Горьким не прерывались еще ни у Зиновия, ни у меня. Не получили они трещины, по крайней мере серьезной, даже когда М. Горький как-то странно уехал из Италии в Финляндию, с почти обидною скрытностью от друзей, в которой потом очень неловко оправдывался экстренными семейными неприятностями[5].

Наше политическое расхождение определилось войною. Горький неожиданно взял пораженческую линию. Говорю «неожиданно» потому, что очень незадолго до войны он пел иную песню. В 1913 году я совершил большое путешествие по Германии и был поражен и испуган ее готовностью к войне, сквозившею во всем быте[6]. Когда я описывал все свои впечатления Горькому, он не верил и возмущался в ответных письмах моим страхом, у которого-де глаза велики[7]. И вдруг,

оказалось, здравствуйте! — Горький и Капри, им возглавляемое, всецело на стороне Циммервальда[8]. Очевидно, было приказано. До 1917 года я не подозревал, как глубока его зависимость от Ленина.

Мы в своем Леванто, напротив, взяли самый резкий противоциммервальдский тон, в чем меня сильно поддерживал из Сан-Ремо Г.В. Плеханов, а из Петрограда Г.А. Лопатин. Получал я тогда немало писем от эмигрантов, растерявшихся под внезапным громом войны: как — одновременно и русским патриотам, и врагам царского правительства — вести себя по отношению к ней? В общий ответ я напечатал в итальянских газетах весьма пылкий призыв идти волонтерами в армию — если не пускают в русскую, то во французскую. Зиновий Пешков был первым, кто принял к сердцу этот мой призыв и ему последовал. С сотнею лир в кармане выбрался он из Леванто и направился во Францию, чтобы определиться в Иностранный легион.

Маленький эпизод, являющий, до какой степени было тогда еще обще понятие «революционера», как мало революционная эмиграция была осведомлена о внутренних в ней партийных течениях и делениях. По дороге к французской границе Зиновий, в Алассио, зашел к проживавшему там В.М. Чернову, в наивной уверенности встретить в его эсерском окружении одобрение и сочувствие своему воинственному пылу. Встретить-то его, как старого знакомого и «сына М. Горького», встретили отлично, но — надо ли пояснять, как проводили? Юмористическое письмо о том Зиновия было прелестно. Шагнул патриотом — бух прямо в болото Циммервальда!

Во Франции он начал свой волонтариат рядовым и успел дослужиться только до капрала. В бою при Каранси, при атаке на проволочные заграждения, под пулеметным огнем, был тяжело ранен в правую руку, пролежал в ожидании перевязки 18 часов, рана загнила, руку пришлось отнять. Благодаря прекрасному знанию английского языка имел счастье попасть в американский госпиталь, где его выходили[9].

В госпитале он сделал много интересных знакомств, оказавших ему немалую пользу в позднейшей военно-дипломатической карьере, а одно из них возымело огромное влияние и на его личную жизнь.

Когда Зиновий, без правой руки, возвратился в Италию, мы были в Риме. Италия отнеслась к нему сперва довольно кисло. Жена встретила его нехорошо. Горький, по поводу его увечья, написал ему ледя-

ное письмо в том смысле, что, не будучи военным человеком, он не может сочувствовать военным героям.

Я тогда занят был организацией корреспондентского бюро по Средиземному району для «Русского слова». Временно приспособил безработного Зину к этому делу, поручая ему интересные политические интервью, требовавшие хорошего знания иностранных языков. Благодаря тому, он опять сделал ряд авторитетных знакомств. А надо сказать, что он человек симпатичный и привлекательный, и кто с ним знакомится, обыкновенно остается надолго к нему расположен.

Видя, что Зиновий приобретает некоторую известность в римском посольском и аристократическом обществе, я дал ему совет — принести большую пользу и себе, и делу войны, которую мы пропагандируем, прочитав публичную лекцию о французском фронте. Сведения о нем в итальянском обществе были очень скудны и сбивчивы. А бесчисленные немецкие агенты и итальянские пораженцы из «официальных социалистов», т.е. будущих большевиков — слева и клерикалов — справа, делали все, чтобы затемнять истинный ход событий и сеять предубеждения против Франции, что в Италии, к сожалению, всегда очень легко.

Сперва Зиновий робел и колебался, но мало-помалу я его уговорил. При помощи Альберто Бергамини, тогдашнего директора «Джорнале д'Италиа», назначен был вечер в «Ассоциации Печати» для доклада Пешкова. Он имел огромный успех, сразу получил несколько приглашений на повторение доклада и, наконец, во дворец — к королеве-матери Маргарите. Значит, пошел в ход.

Французы оценили услугу, оказанную им маленьким одноруким капралом, столь красноречивым по-итальянски. Пешков был приглашен комитетом их военной пропаганды для турне по итальянским городам. Платили плохо, работать было трудно, но я убеждал Зиновия, что как ни обидно и ни скорбно, а надо претерпеть — ради яркой репутации, которую он себе тем создает и которая впоследствии сторицею окупит ему нынешние неприятности.

Так и вышло. В непродолжительном времени Пешков перебрался во Францию, был опять принят на военную службу, несмотря на свою инвалидность, уже офицерским чином, и командирован в Америку вести ту же лекционную пропаганду, что в Италии. В Новом Свете он пробыл около года, прочел неисчислимо сколько лекций, заработал

70 000 долларов и не взял из них себе ни единого цента, а всю сумму пожертвовал тому американскому госпиталю, который выпользовал его после ампутации руки.

Затем мы встретились уже в Петрограде при Временном правительстве. Зиновий — блестящий штабной офицер французской армии — был прикомандирован к ген[ералу] Деникину в качестве военного атташе. С Горьким они свиделись неплохо. Но прежние каприйские приятели уже определились в это время воинствующими большевиками и рычали на Зиновия зверски, так что лучше стало и не встречаться, что, кажется, Горький ему и посоветовал. Зиновий русскую войну считал проигранною, но в Деникина был весьма влюблен и возлагал на него большие надежды для ожидаемых смутных дней предстоявшей той или иной ликвидации войны, что — все понимали — не могло пройти без нового большого замешательства.

В последний раз мы увиделись в октябрьские дни, когда армия, разлагавшаяся под злым дыханием Ленина, уже не существовала. Жизнь Пешкова, как «наемника Антанты», была в опасности, он спешил скрыться и выбраться за границу. Я был изумлен его смелостью, что прощаться он приехал не переодетым, а в офицерской форме. В это время он, кажется, дослужился уже до капитана. Расстались мы с малою надеждой когда-либо встретиться и очень сердечно, хотя Зина был несколько огорчен моим резким отзывом о тогдашнем двуличном поведении Горького.

Ошибочно сказано, будто Пешков является непримиримым противником большевиков только принципиально, а никакого участия в борьбе с большевиками не принимал. Неся свою военно-дипломатическую службу во французском мундире, он был деятельным агентом связи между французским правительством и командованием белых армий и в качестве отчаянно смелого курьера где только не побывал и каких только авантюр не претерпел. Акт признания Францией Колчака верховным правителем был доставлен в Омск Зиновием Пешковым. О расстрелянии его большевиками слухи возникали не раз. Нынешний, — к счастью, тоже ложный, — помнится, уже четвертый.

Находясь в петроградском пленении, я не видал Зиновия и ничего не слыхал о нем целых пять лет. В 1921 году в Праге получил от него из Парижа письмо, что служит в военном министерстве, но служба не по нем — бездеятельная, канцелярская, отягченная карьерною конку-

ренцией и тучами интриг: «Хочу вернуться в полк!» Не успел я ответить на это письмо, как вдруг он уже в Марокко, комендантом крепостного округа на среднем Атласе (Казбах—Тадла). Там, командуя ротой Иностранного легиона, провел он марокканскую войну, дрался с арабами, был ранен, получил новые отличия и майорский чин.

В 1926 году он приезжал на побывку во Францию, был мимолетно и в Италии, но нам не удалось встретиться. Где он сейчас, не могу сказать с уверенностью. Думаю, что там, в Марокко. Взялся за гуж, не говори, что не дюж, — тянешь военную лямку, дотягивай до генеральских чинов и постов[10].

Ценят Пешкова чрезвычайно, но служебный ход его нельзя назвать быстрым. По своим заслугам мог бы быть уже полковником. Производство тормозят иностранное происхождение вообще, и — как писал мне о том однажды Савинков — все-таки выплывающие время от времени из тумана, по чьему-либо враждебному вызову, имена и тени братцев Свердловых.

Поэтому, сдается мне, гораздо лучше раз навсегда покончить с вуалированием этого «секрета Полишинеля», вносящим в честную и смелую жизнь Пешкова ненужную и опасную двусмысленность. И грешно, и смешно, и дико, несправедливо делать заслуженного контрреволюционера Зиновия Пешкова без вины виноватым ответчиком за грехи революционеров-архибольшевиков Свердловых.

По логике родственной ответственности, — увы, слишком часто торжествующей над обществом по силе глупости и зложелательства, одержащих большинство людей, пожалуй, ведь выходит и то, что Авель Каином убит-то, конечно, убит, но и сам был подозрительною личностью, ибо, вон видите, — имел братом Каина! К слову сказать, я нисколько не сомневаюсь в том, что попади курьер Антанты Зиновий Пешков в 1917—1920 годах в лапы большевиков, его братья, может быть, сами и не приложили бы рук к истреблению сего Авеля, но и пальцем не шевельнули бы для того, чтобы его не обработали по способу Каина Урицкий или Дзержинский. Ибо были (впрочем, один из Свердловых, «Венька», т.е. Вениамин, кажется, еще жив?) большевики из безоговорочных, фанатики без компромиссов.

О женитьбе Зиновия Пешкова на итальянке впервые слышу. Однако оспаривать не смею, только недоумеваю: когда же это его умудрило? С русскою своею супругою он давно разошелся, и она вот дей-

ствительно вышла замуж за итальянца. Не смешали ли? Во всяком случае, это что-то новенькое и совсем недавнее. Но, по правде сказать, в этом отношении жизнь Зиновия Пешкова превосходно укладывается в знаменитый диалог из «Каменного гостя»:

— Что ж? Вслед за ней другие были?

— Правда.

— А живы будем, будут и другие.

— И то.

— Теперь, которую в *Марокко*, искать мы будем?[11]

Враг социально-политического Третьего интернационала, по части романических увлечений и похождений — ах, какой интернационал!

РУССКИЕ МАТЕРИАЛИСТЫ

В статье своей «Кое-что о вере»[1] я выразил сомнение, точно ли мы, русские интеллигенты, так прочны в материалистическом мировоззрении, как кажемся и в особенности хотим казаться. Не знаю, как следующие поколения, но проверяю памятью старших себя, шестидесятников, семидесятников и своих ровесников, восьмидесятников, начиная... с себя самого. И прихожу к убеждению, что цельного, безупречно беспримесного материалиста не встречал я между русскими, хотя бы и на вершинах интеллекта и эрудиции. Всех нас хоть немножко да ушибла в детстве мистическая мамка, и рано или поздно ушиб сказывался самыми неожиданными проявлениями помимо нашего произвола. Говорю, конечно, об интеллигентах-великоруссах, славо-чудской расы, наиболее роковой в смысле этой наследственности.

Я хорошо знал Г.В. Плеханова. Можно ли вообразить себе позитивиста более цельного, последовательного, искреннего? А когда я впервые пришел к нему в Женеве, то с изумлением увидал, что стены его рабочего кабинета обвешаны фотографиями всевозможных мадонн и знаменитых картин религиозного содержания. Скажут: потому что Плеханов любил и хорошо понимал искусство. Несомненно, что потому. Да ведь в искусстве есть много чего и помимо мадонн. Если Георгий Валентинович из безграничной возможности художественных пристрастий выбрал именно это, значит, был у него вкус именно к

религиозной живописи, жил в нем интерес именно к религиозной экспрессии существа человеческого. А такой интерес и вкус (в особенности вкус) и суть результаты и признаки той подсознательной мистической подкладки духа, о которой я говорю, что нет русского, от нее вполне освободившегося.

А Чехов, Антон Павлович? Я его и в глаза, и за глаза звал «внуком Базарова», и это ему нравилось. Непоколебимая твердость его материалистического мировоззрения засвидетельствована и его письмами, и воспоминаниями его ближайших друзей. Во имя материалистического правоверия он отказался сотрудничать в «Мире искусства» Дягилева только потому, что к редакции близко стоял писатель мистического склада Д.С. Мережковский. Убежденность, твердость, ясная последовательность и ученая доказательность чеховского материализма не подлежат сомнению. Мало, что Чехов был врач по образованию, но еще врач московской школы конца 70-х годов, слушатель и ученик Захарьина, Бабухина, Склифосовского. В беспримесно физиологическом отношении к явлениям окружающей жизни Антон Павлович иной раз, особенно смолоду, даже «утрировал», пожалуй, бывал слишком прямолинейно, медицински грубоват. Но разве писатель, лишенный той то подсознательной, то мистической подкладки, в состоянии был бы создать «Свирель», послушника Иеронима в «Святой ночи», «Черного монаха»[2]? Разве тот, кто каждою клеточкою своего организма материалист, мог бы находить величайшее наслаждение в том, чтобы проводить пасхальную ночь на Москворецком мосту, безмолвно глядя и слушая, как Кремль светится и во все колокола чудит заутренею? Подобно братьям Александру и Алексею Ивановичам Чупровым, тоже убежденным и стойким материалистам, Чехов чудесно знал богослужение, Ветхий и Новый Завет, писания святых отец, акафисты и т.п. Но Чупровы были семинарского воспитания, им нетрудно было набраться всего этого на школьной скамье поневоле. А ведь Чехов-то был гимназист, и как раз того десятилетия, когда мы уж из одной ненависти к начальству отрицали вколачиваемую в нас вместо религии зубрежку «Закона Божьего» и все поголовно старались перещеголять друг друга в пренебрежении к этому несносному предмету. Нет, тут сказалась уже не неволя, но охота пуще неволи. Любопытство заглянуть чувством в отрицаемое рассудком. То есть опять и опять: мистическое подсознание «славянской души», под предлогом эстетического восторга,

всплывало наверх и торжествовало над логическою силою и привычкою сознания.

Еще пример. Ближайший друг мой с 1907 по 1918 год, Герман Александрович Лопатин, прожил у меня в доме, дверь в дверь с моим рабочим кабинетом, шесть лет (за исключением кратковременных поездок то в Париж, то в Швейцарию). В этот срок ни я от него, ни он от меня не имели ничего тайного, и переговорили мы столько, что вспоминать — надо жизнь начать снова: оставшихся мне лет не хватит[3]. Воспитанный 60-ми годами, натуралист по образованию, переводчик нескольких естественно-исторических трудов и Марксова «Капитала»[4], личный приятель Маркса и восторженный поклонник его как человека и мыслителя[5], Герман Александрович произвел впечатление материалиста именно до последней клеточки организма. Свое мировоззрение он пронес невредимым через 22 года одиночного заточения в Петропавловке и Шлиссельбурге[6]. С совершенною искренностью и откровенностью говорил, что из всей российской интеллигенции «не вмещает» только два типа: мистиков и анархистов (включая и П.А. Кропоткина, которого он, по своему пристрастию давать всем клички, звал «князь Скоробрешка»). Не находил общих точек соприкосновения! Чужие убеждения и верования Герман Александрович уважал и даже при встречах с полудикими фанатиками-попами нашего итальянского глухого захолустья умел себя держать так, что они отнюдь не проникались к нему, еретику, ненавистью, но, напротив, считали его приятнейшим и любезнейшим человеком. Но каждое мистическое покушение на свою духовную свободу он принимал как личное оскорбление и ощетинивался свирепо. В Шлиссельбурге он, чуть ли не единственный из всех заключенных, не поддался соблазну принять посещение митрополита, на что другие узники соглашались, — конечно, не для компромисса между своим неверием и миссионерским заигрыванием иерарха, но просто из любопытства и от тюремной скуки. Обращать шлиссельбуржцев в православие начальство пыталось, хотя осторожно, нащупывая возможности с подходцами. Особенно усердствовала в том в качестве миссионерки in partibus infidelium[7] престарелая княгиня М.А. Дондукова-Корсакова[8]. Женщина, должно быть, очень хорошая, потому что Герман Александрович говорил о ней с большим уважением, не без досады вспоминая, что своим миссионерским упорством она довела его до необходимости сделать очень грубый поступок, совсем непохожий на

его обычную рыцарскую деликатность. По ходатайству Дондуковой-Корсаковой однажды в камерах шлиссельбуржцев вдруг привешены были иконы. Лопатин принял это как посягательство на его убеждения и потребовал, чтобы икону убрали. Не убрали. Он повторил просьбу трижды. Никакого успеха. Тогда он взял икону, расколол ее и выбросил... в единственное место, куда имеет возможность выбросить ненужное узник одиночной камеры. Ждал за то карцера или какой-либо иной суровой репрессии — однако сошло без последствий: должно быть, уж очень озадачилось тюремное начальство, не посмело доложить выше. Сделал это человек, который, повторяю и подчеркиваю, был сама деликатность и терпеть не мог, чтобы в его присутствии кто-либо оскорблял или высмеивал чужую веру. «Довели!» После того икон к нему больше не ставили, ни вообще с религией не приставали.

Из этого случая видно, какого крепкого отрицательного духа был этот человек. Но почему же он, когда жил у меня в доме, ни одному отделу моей огромной в то время библиотеки не посвящал столько внимания, как оккультизму, магии и... богословию? Почему и он, подобно Чупровым и Чехову, мог загонять текстами любого начетчика, цитируя их наизусть с точностью, изумлявшею не только нас, дилетантов по божественной части, но и бывшего профессионала Г.С. Петрова? Почему единственный печатный очерк его «Не наши»[9] (за перепечатку которого был в 1911 году конфискован 1-й № «Современника» под моей редакцией) был посвящен мистической секте? Почему одною из самых частых тем для споров (а спорщик он был неукротимый) он выбирал телепатические явления, конечно, с яростью опровергая их возможность? Однажды он особенно удивил меня своею осведомленностью по мистической литературе. Есть забытая книга «La mort et le Diable»[10] (Paris, 1880) — монументальный труд некоего Помпейо Жене, правовернейшего позитивиста, благословленный предисловием самого Э. Литтре. Правду сказать, добросовестно и кропотливо фактическая книжища эта столько же удобна для того, чтобы напитаться мистическою казуистикою, сколько и для полемики с мистицизмом, — пожалуй, даже еще удобнее. Герман Александрович, увидав этот том, обрадовался ему как старому знакомому и много порассказал об ее авторе, которого он, оказалось, очень хорошо знал когда-то в Париже, и, между прочим, объяснил мне, что читать надо не «Жене»,

но «Геннер», так как сей Помпейо был испанец. В книге же его Лопатин с большою живостью и удивительною памятливостью указал мне несколько страниц, особенно любопытных по «фактам».

А однажды Герман Александрович, полусмеясь, полусерьезно, рассказал мне такой случай из своего бурного и многострадального прошлого. Осужденный на смертную казнь, он отказался подать просьбу о помиловании и в одиночном петропавловском заключении ждал веревки. Ждал с большим спокойствием и удовлетворением, потому что ему в то время хотелось умереть. Не только по тяжелому настроению, обусловленному совершенным разгромом «Народной воли», который он до конца жизни не переставал мучительно приписывать своей вине: как мог он, знаменитый «удал добрый молодец», допустить, чтобы его арестовали врасплох, на улице, с обличительными документами в кармане? Не только по сознанию поконченности своей политической деятельности, должной замуроваться с ним вместе заживо в могиле каземата, чему он искренно предпочитал настоящую могилу, кладбищенскую. Были еще причины, личные, семейные. О них Герман Александрович не любил распространяться. Но нетрудно было догадаться, что дело было в женщине: отцвела некая большая любовь и умерла в соответственно большом разочаровании[11].

«Смертника» Лопатина посещал его защитник на суде, молодой присяжный поверенный Евгений Иванович Кедрин, впоследствии известный земский деятель, популярный член Петербургской городской думы, а потом и Думы Государственной. Предлогом к свиданиям были, конечно, мнимые уговоры подать просьбу о помиловании: о бесполезности действительных таких уговоров Кедрин догадался по первому же обмену слов в первое же свидание. Одно лето (1905) Евгений Иванович также провел у меня в Виареджио, и тогда я впервые узнал от него о лопатинском деле, которое до того времени представлялось мне крайне туманно, вроде какого-то смутного героического мифа. По словам Евгения Ивановича, Лопатин в ожидании казни держал себя так, словно ему предстояло не на эшафот идти, а в гости к закадычному приятелю, с которым давно, мол, не видался, надо побывать. Кстати, к слову отметить, когда вышли в свет «Семь повешенных» Леонида Андреева[12], Герман Александрович прочитал повесть с большим интересом и похвалил:

— Превосходно написано, с большим чувством. Только зачем они у него революционеры? По-моему, среди них нет ни одного революционера.

Фактически Лопатин ошибался, потому что в одном из «смертников» Леонид Николаевич хотел изобразить известного Лебединцева. Но, в психологической оценке, имеет глубокий интерес этот суд старого революционного богатыря, который, конечно, имел в данном случае право критики, потому что сам стоял под петлею и личным опытом знал, как готовится к ней «революционер». Достоинств повести это суждение, разумеется, не умаляет. Оно свидетельствует только о большом разнообразии «смертничества», о том, что психика человека, ожидающего неотменной насильственной смерти, не укладывается в семь примеров. Лебединцева я не знал и о схожести его с андреевским смертником-революционером не могу судить. Но сомневаюсь, чтобы Леонид Николаевич и заботился о близкой схожести. В его писательском методе был постоянный прием: взять факт из действительной жизни, а затем, пропустив его впечатление, так сказать, сквозь субъективное горнило, поставить на место действующего лица — себя самого. Так написаны «Христиане», «Сашка Жегулев», «Тьма» и множество другого, если не все андреевское[13]. «Тьма» возникла из приключения П.М. Рутенберга, сыгравшего некогда столь важную роль в развязке трагикомедии Гапона[14], а ныне благополучно орошающего Палестину иорданскими водами. Даже наружность «революционера» в «Тьме» написана с тогдашнего Рутенберга. Но кто знает сколько-нибудь последнего, что же общего может он изыскать между Рутенбергом и героем «Тьмы»? В «Тьме» Рутенберг — Андреев, если бы Андрееву случилось быть террористом и укрываться от сыщиков в публичном доме. В «Семи повешенных» Лебединцев — Андреев, если бы ему пришлось быть смертником.

В одно из немногих свиданий между смертником Лопатиным и его защитником Кедриным недостало им папирос. В качестве смертника Лопатин пользовался некоторыми льготами. Тогда крепостной режим не был так жесток, как впоследствии к 90-м годам после генераловского покушения на Александра III[15]. По просьбе Лопатина, дежурный надзиратель принес собеседникам коробочку папирос «Гадалка». Папиросы эти в те годы шибко шли в публику, благодаря вложенным в коробочки билетикам с предсказательными изречениями.

— А ну-ка, что предскажет мне «Гадалка»? — засмеялся Лопатин, вскрывая коробочку. И прочел: — Проживешь долгие годы и кончишь жизнь в благополучии и почете. Ну и дура же «Гадалка»! — воскликнул «смертник», разрывая билетик. Меня не сегодня завтра вешают, а она мне сулит многие лета и благополучный конец!..

Как известно, «Гадалка» оказалась не такою дурою, как думал Лопатин: несмотря на неподачу прошения о помиловании, несмотря на вызывающее поведение Германа Александровича на суде и в тюрьме после приговора, Александр III счел нужным «притупить меч»: вместо эшафота Лопатин очутился в каменном мешке Шлиссельбурга, пробыл в нем с 1887 по 1905 год и, освобожденный революцией, вышел-таки на свободу!

— Сколько раз в Шлиссельбурге вспоминал я эту «Гадалку»! — говорил он. — Не курьезно ли? Ведь не обманула: вопреки приговору, вопреки собственному желанию, остался не повешен, не подох в Шлюшине, и вот теперь мне шестьдесят шестой год, а я еще бодр, намерен прожить как можно дольше и не могу пожаловаться, чтобы меня не уважали те люди, уваженьем которых я дорожу...

Герман Александрович возвратился из эмиграции в Россию в 1913 году. Я в конце 1916 года. Когда разразилась Февральская революция, я был от Петрограда далеко, в Ярославле, отправленный Протопоповым в ссылку за пресловутую «криптограмму»[16]. Возвратясь, виделся с Германом Александровичем в тот же день: он тогда жил в Доме писателей на Карповке[17], а завтракал и обедал у нас на Песочной. Революция, конечно, волновала его страшно; ни о чем другом он тогда больше не хотел и как бы даже не умел говорить. Но быстрым успехом «бескровного» переворота он не обольщался, и прогнозы его были скептичны и мрачны. Так как в это время зрение его уже очень ослабело, то мы старались, чтобы кто-нибудь из семьи под каким-либо благовидным предлогом непременно сопутствовал ему от нас до Дома писателей. Это была каждодневная необходимая хитрость, потому что просто проводить себя он, по самолюбию богатыря, еще не сознающего своей старости, ни за что не позволял — возмущался, обижался. Однажды, когда на политическом горизонте уже появился зловещий «пломбированный» вагон, начиненный Лениным с большевиками, провожал Германа Александровича в обычном его послеобеденном переходе я. Старик был очень мрачен и твердил:

7. Заказ № 833.

— Темна вода во облацех небесных...[18] Не уявися, что будет! Не уявися, что будет!!

По пути вспомнил, что нет у него папирос. Зашел в первую мелочную лавочку. Долго Герман Александрович рассматривал разложенные пред ним по прилавку коробки, выбирая, которая будет подешевле. И вдруг спрашивает лавочника:

— А что, «Гадалки» у вас нет?

Лавочник, человек пожилой, посмотрел на него с любопытством и сказал:

— Нет, «Гадалки» нет. Не держим.

— А существует она еще, «Гадалка»-то?

— А кто же ее знает, господин? Давно не видно в продаже. Когда она была в моде, я еще усов не брил.

— Жаль!

— Жалеть-то много, по правде, не о чем: табачишко был паршивый. Больше из-за билетиков шла, которые с предсказаниями... Изволите помнить?

— Очень помню! — весьма выразительно произнес Герман Александрович.

Купил какую-то «Аспазию» или «Зефир», и мы вышли.

— Представьте себе, — обратился он ко мне с полуусмешкой в знаменитую свою седую бороду, — мне ужасно обидно, что у этого почтенного коммерсанта не оказалось «Гадалки».

— Да зачем она, Герман Александрович, вам так понадобилась?

Он уже вовсе рассмеялся.

— Зачем?.. гм... зачем... Это глупо, конечно, но... мне вдруг, как бабе беременной брюхом, захотелось посоветоваться с нею, что она скажет... Авось соврала бы что-нибудь подходящее... С нею это бывало...

Я слушал — едва своим ушам верил: кто это говорит? действительно Герман Лопатин или какой-то невероятный оборотень его?

На днях мы с женою[19], вспоминая Германа Александровича, коснулись этого случая. Я сказал:

— Конечно, это пустяки, шутка или полушутка, но все-таки, значит, звучала даже и в нем какая-то, хоть слабенькая, мистическая нотка.

А жена возразила:

— Да и совсем не слабенькая. Собирался же он в юности постричься в монахи.

И напомнила мне давно забытое.

Вскоре после того, как Герман Александрович поселился у нас в итальянской деревушке Кави ди Лаванья, жена моя, — к слову сказать, тоже материалистка безапелляционная, хотя в предчувствия, сны и хиромантию верит! — смотрела его руку.

— Как странно, Герман Александрович! — удивилась она. — По руке вы должны были бы обладать сильною наклонностью к мистицизму.

Он воззрился на нее и с усмешкою, и с любопытством.

— Это вам рука говорит?

— Да, насколько согласно с книгою...

— Курьезно!.. Ведь она совершенно права...

И рассказал о трех переломных моментах своей юности. Как, в отчаянии от обуявших его сомнений в правде и неправде жизни, он дошел было до решимости на самоубийство. Как от самоубийства спасло его религиозное увлечение и потянуло было к монастырю.

— И если бы не революция, быть бы мне монахом. Революция закрутила, переучила и выветрила из меня все это. А без революции... быть бы мне теперь преосвященным!

И он махал рукою и хохотал. А и великолепен же был бы он в саккосе[20] и под митрою!

«БЛАЖЕН МУЖ АНАТОЛИЙ»

Кончилась трагикомедия жизни Анатолия Васильевича Луначарского. Как хотите, а мне жаль его. Когда-то я довольно хорошо знал его, а следил за коловращением судеб его, в общем, не менее четверти века. На протяжении этого срока Луначарский прошел «ряд волшебных изменений»[1] в своем общественном положении и житейских обстоятельствах, но, по-моему, нисколько не менялся духовно и — каков был в колыбельке, таким лег и в могилку.

Ну, в колыбельке не в колыбельке, а, скажем, студентом-первокурсником. Ведь трагикомедия Луначарского из того и выросла, что, будучи очень типическим представителем старой интеллигентской — «студенческой» — революции, он захотел — и, на беду его, ход века позволил ему — быть деятелем революции новой — «пролетарской», для

которой он не имел решительно никаких данных ни в натуре, ни в культуре.

Генеральский сын[2], лауреат Московского университета[3], не ахти какой умный, но и далеко не глупый, усердный и доверчивый читатель-книжник («Что ему книжка последняя скажет, то ему на душу сверху и ляжет»[4]), фразистый говорун, «с хорошо привешенным языком», способный пустить пыль в глаза подобием философствования в эстето-декадентских тонах, Анатолий Васильевич был самою природою предназначен на то, чтобы в университете быть кумиром студенческих сходок. А по университете получить какую-либо гуманитарную приват-доцентуру и в качестве либерального лектора с неопределенно социалистическим душком сделаться любимцем студентов и студенток первых семестров.

Царское правительство совершило великую глупость тем, что пустопорожнею ссылкою в Вологду и Тотьму[5] отвлекло Луначарского от его природного назначения, свело его там с революционерами действия и дало, таким образом, ему возможность вообразить самого себя деятельным и ужасно опасным революционером. Полный сим самообольщением, очутился он за границею, в эмиграции, еще не определившимся партийно[6]. Да тогда и партий-то было две с половиной, и различия между ними были еще так зыбки, что на вопрос о разнице между большевиками и меньшевиками часто следовал шутливый ответ:

— Меньшевики — это которых больше, и они с Плехановым, а большевики — которых меньше, и они с Лениным.

В этом подготовительном периоде Луначарский вспоминается мне, по случайной встрече в Виареджио, премилым студентом-идеалистом, скромнейшего образа жизни, сытым более книжкою, чем обедом, и женатым на такой же милой студентке, Анне Александровне Малиновской, сестре известного марксиста Богданова[7]. Никаким большевизмом от него не пахло. Он еще усердно «богоискательствовал», а в богоискательстве опять-таки колебался, — что ему: «богостроительствовать» ли с Мережковским или «богоборствовать» с Горьким и Андреевым?[8] Богоборство, как известно, победило.

М.И. Ганфман в своей недавней статье о Луначарском[9] верно указал, что Ленин забрал его в партию только по своей системе подбирать на своем пути все, что когда-нибудь, как-нибудь может пригодиться. Система Осипа в «Ревизоре»: «Что? веревочка? давай сюда и вереbоч-

ку!» Пристегнутый к большевизму в качестве лишь веревочки на дорожный случай, Луначарский действительно «в дороге пригодился».

Великий мастер овладевать умами малокультурных масс, Ленин не имел того же успеха в аудиториях уровнем чуть-чуть повыше. Их запугивала и отталкивала беспощадная ленинская прямолинейность, откровенно выставлявшая напоказ несгладимость острых углов марксизма в понимании русского бунтаря, циническая обнаженность разрушительных вожделений. В выступлениях пред культурною публикою глава меньшевиков Плеханов много выигрывал при сравнении с Лениным и как оратор, и как публицист.

О том, чтобы мясо ленинской доктрины подавалось под приличным и удобоснедаемым гарниром, заботилось множество дошлых поваров. Луначарский был одним из самых усердных и, пожалуй, успешнейших. «Вечный студент», он был страстным охотником до полемических дискуссий. Встречаясь с противником неискусным, — нетвердым в вопросе или медлительным на слово, — он легко одерживал диалектическую победу, закидывая оппонента градом фраз. «Чувствую, что городит что-то не то, а возразить не успеваю», — смеясь, сказал мне о нем однажды М. Горький, к которому Луначарский и А.А. Богданов были приставлены на Капри для укрепления «буревестника» в марксистском правоверии.

Но противник мало-мальски сильный, стоящий на крепком фундаменте солидного знания, твердо и ясно убежденный, бил Луначарского быстро и легко. Плеханов чаще всего просто вышучивал «блаженного Анатолия»: таким прозвищем окрестил он своего ревностного оппонента за наивное политическое прекраснодушие и малоспособность к логической последовательности. Порою играл им, как кот мышью, доводя до абсурда его опрометчиво рогатые силлогизмы, ловя его на грубых ошибках в фактах и демагогических отступлениях от исторической истины, дразня пристрастием к общим местам и к открытию давно открытых Америк.

Луначарский торопливо хватал верхушки знаний, не трудясь смотреть в корень, летел вперед, не оглядываясь на зады. Плеханов острил, что «блажен муж Анатолий» в марксизме напоминает дьячка, который жарит наизусть и подряд, и вразбивку по Часослову, но способен срезаться на азах.

В этом я не судья. Но таков ведь Луначарский и в литературе. В юные годы он начинал неплохо: обещал быть недурным критиком-

обозревателем по литературе и искусству, писал довольно удачно популярные статьи и брошюрки марксистского толка. Но его, что называется, «в детстве мамка ушибла»: стремлением к новым (якобы) формам, к «последнему слову», к «крайнейшему из крайних» направлению. Отсюда — его вечное стремление «вяще изломиться»[10] в союзе с невозможными озорниками и хулиганами, якобы новейшего художества, долгое и усердное подражание, а со временем, когда стал лицом властным, и покровительство их.

В начале большевицкой революции партия очень дорожила Луначарским за его необычайную способность к публичному многоговорению и быстрому многописанию. Луначарский говорил, как река течет, и — без малейшей запруды. На любую тему — час, два, три, по востребованию. Кончал лишь тогда, когда голоса не ставало, а слушатели — кто заснул, кто ушел, кто одурел до беспрекословного согласия на какую угодно резолюцию, только перестань журчать мне в уши. Вынести из его бесконечного красноречия определенно ясное впечатление бывало очень трудно. Идеи тонули в безудержном потоке многословия по фарватеру шаблонных коммунистических лозунгов. Но гарнир бессущественной речи, благодаря начитанности Луначарского, иной раз бывал неплох. И на полуинтеллигентную публику, для которой изготовлялся, действовал довольно убедительно.

Победа Октябрьской революции возвела Луначарского на фантастическую высоту, сделав его «наркомпросом», т.е. хозяином народного просвещения на «шестой части земного шара». Я думаю, что на посту этом Луначарский мог бы — а что хотел, это-то наверное, — сделать много далеко не столь бестолкового и вредного, как обернулось его плачевное министерство в действительности. Как студентом, так и министром, Луначарский идеалистически воображал себе потребность и возможность возвысить пролетариат до уровня вековых достижений культуры. Но, увы, культура-то эта ведь «буржуазная»: идея и слово, ненавистные для марксиста. Как же с нею быть?

А так, что, значит, надо подать буржуазную культуру по-пролетарски. Она должна видоизмениться в некие высшие, якобы усовершенствованные, невиданные и неслыханные доселе формы и тем оправдать творческие силы нового, пришедшего к власти привилегированного класса.

Началась чудовищная ломка школы, литературы, искусства. Представьте себе, что кто-нибудь, обрубив на дереве все естественно выращенные им ветви, затем стал бы привинчивать к стволу искусственные; а если бы живучий ствол все-таки пускал робкие побеги, то им не дозволено было бы расти прямо, но лишь в самых вычурных и нелепых завитках и искривлениях. Вот эта-то подмена, это-то искажение и извращение ростков старой буржуазной культуры и было признано и провозглашено новою пролетарскою культурою, и Анатолий Васильевич Луначарский стал ее пророком и первосвященником.

Есть пословица: «И лучшая из змей есть все-таки змея». Луначарский в подъяремной интеллигенции слыл «лучшим из большевиков», нельзя не признать, что он принадлежал к разряду змей, сравнительно невинных, без зуба, налитого смертельным ядом. Даже из лет воинствующего большевизма я не припомню, чтобы Луначарский был причастен прямо или косвенно к чьей-либо погибели. Он ушел на тот свет не только с чистыми от крови руками, но, напротив, с репутацией человека добродушного и жалостливого.

Сколько раз напрягал он усилия для того, чтобы выхлопотать для разных неугодных большевикам людей науки, литературы, искусства избавление от «высшей меры наказания», от тюрьмы, конфискации имущества, пролетарского вселения в квартиру и т.п. Правда, по большей части на его ходатайства и заступничества власти не обращали никакого внимания: у меня у самого свезли всю ценную мебель, невзирая на охранный лист Луначарского. Но это уже вина не его, а хамов, перед которыми он хлопотал напрасно.

Более того. Как скоро большевицкая революция вступила на путь массового террора и «республикой» фактически зауправляло ЧК, Луначарский явил гражданское мужество (хотя и сроком на одни сутки), подав в отставку из наркомов. Тогда он был еще популярен в революционных массах и нужен большевицкой головке, отставка трудно заменимого многоговорителя и многописателя вызвала бы скандал. Его заставили взять ее обратно: приказал Ленин, уговорил Горький, пригрозили «товарищ Григорий» (Зиновьев) и ЧК. Луначарский присмирел, сдался[11]. Драма разрешилась водевилем: вечный жребий «блаженного Анатолия»!

Чувствительное отвращение к террору ЧК не помешало Луначарскому оказаться в скором времени автором пресловутого крылатого

слова о «золотом сердце» палача из палачей Феликса Дзержинского. И, конечно, эту убийственную сатиру он вовсе не из лести родил, а из глубины самой искренней наивности. Оставшись с волками жить — по-волчьи выть, «человек экстремы» счел себя обязанным всех перевыть — и перевыл[12].

Шаг к отставке был Луначарскому прощен, но не забыт. Собственно говоря, тогда кончилась его политическая карьера. Как провалившегося на экзамене на злобность и резвость, его стали оттеснять от активных должностей в почетный архив революции. Ораторские выступления его вскоре приелись и вышли из митинговой моды, потребовавшей демагогов-практиков, активистов. Его перестали командировать для ответственных политических речей, а больше — на юбилейные да похоронные церемонии и на приятные собеседования со знатными иностранцами. В дипломатическую карьеру его несколько раз прочили, то в Рим полпредом, то в Берлин, но это как-то не выходило; должно быть, опасались, что «баба» и «шляпа» слабохарактерен и слишком культурный западник. Назначением в Мадрид ему не дала воспользоваться смерть.

Управление Луначарским ведомства народного просвещения довольно быстро сделалось почти что номинальным. Мало-помалу ограничиваемый в компетенции, Луначарский наконец был низведен фактически на роль главного директора театральных дел в СССР. Этот пост он занимал долго и с великим удовольствием, но — на свою погибель.

Задатки некоторой мании величия Луначарский обнаруживал всегда. Став во главе подсоветского театрального и литературного мира, он обрадовался возможности дать себе волю. Превратился в графомана в полном смысле слова, выбрасывая на бумагу произведения пестрейшего содержания со скоростью и непрерывностью телеграфического аппарата.

Наиболее усердствовал он в драме пролетарско-философического типа. Пресловутейшие его произведения в этом роде — «Королевский брадобрей» и «Фауст и город»[13]. Последний имел целью исправить, продолжить и закончить на пролетарский лад трагедию Гете. Это весьма забавная чепуха, над которою в свое время вдоволь насмеялись... прежде всего интеллигентные большевики с лукавым Горьким во главе! В других своих пьесах Луначарский, с храбростью маньяка, состязался с Шекспиром, Кальдероном, Ренаном, Габриэле Д'Аннунцио и — знай наших! — всех их по очереди положил на лопатки[14].

Однако главный неприятель и супротивник «блаженного Анатолия» обретается не на земле, а на небеси. Это сам Господь Бог, со всеми святыми Его, со всеми боговдохновенными писаниями и преданиями, со всеми религиозными верованиями и сектами. Это в Луначарском давнее и твердое. Он вошел в XX век неофитом воинствующего атеизма и остался на всю жизнь ярым его фанатиком — в литературе, политике, частной жизни. На посту наркомпроса он сыграл руководящую роль в развращении подсоветской молодежи пропагандою безбожия и отрицания «буржуазной» морали. Однако под его покровительством пропаганда эта стремительно преуспела до таких кощунственных свинств, что в конце концов он и сам оторопел и ужаснулся: запротестовал было, что надо «легче на поворотах». Но было уже поздно.

Выше я помянул добром хлопоты Луначарского за интеллигентов, гонимых советской властью. Справедливость требует еще прибавить, что хлопоты эти никогда не сопровождались тою грубо раздутою рекламою, какая была неизменною спутницею подобных же услуг (чаще, впрочем, лишь «благих намерений») М. Горького. Не были они и корыстны. Впоследствии, когда Луначарский на посту всероссийского театрального диктатора окружился феями кулис, вокруг него развилось чудовищное взяточничество и казнокрадство. Власть не по характеру, деятельность не по разуму, сластолюбивые соблазны и рекою хлынувшие вместе с властью деньги погубили слабовольного человека. Чуть не спартанец в юности к старости обратился в изнеженного сибарита. На устах — пролетарские речи, быт — барича и распущенного сноба.

Жена-студентка давно исчезла в пространстве. Впрочем, и она пошла торною дорогою тех же искушений от лукавого. Еще в первый год революции, управляя детским приютом Царского Села, прославилась присвоением мехов и драгоценностей из гардероба императрицы Александры Федоровны.

Советская свобода брака и развода открыла Луначарскому возможность перелетать от супружества к супружеству с легкостью мотылька, а веселые нравы театрального мирка, в котором он владычествовал, конечно, весьма способствовали его матримониальной подвижности. Последнею его супругою была актриса Розенель, европейски прославившаяся как обладательница самых ценных мехов в Москве. Почему-то бог Гименей приводил к Луначарскому избранниц его многолюбивого сердца всякий раз в драгоценной шубе с чьего-либо плеча!

МОИ ВСТРЕЧИ С Т.Г. МАСАРИКОМ

1

Самое трудное в литературе — по крайней мере, для меня — писать о друге, которого сердечно любишь. Таким другом вот уже шестнадцать лет был для меня, есть и навсегда будет профессор Томаш Масарик, нынешний президент Чехословацкой республики.

Мы познакомились в 1914 году в Риме, живя в отеле «Флора» на Виа-Венето. Однажды Масарик зашел ко мне в номер запросто — для беседы, а не для «интервью», и мы как-то сразу сошлись. Затем дважды в день встречались в столовой за обедом и ужином. Жена моя и дети сдружились с дочерью Масарика Ольгою, прелестной девушкой, которую в ее простой искренности не полюбить, узнав, было невозможно. Такой славный, светлый, женственный ум, такой мягкий влекущий славянский характер, такое завидное серьезное образование без претензий «синего чулка», такая чудесная выдержка благовоспитанности без манерного жеманства.

Масарик в Риме был страшно занят. Исчезал из отеля ранним утром и буквально целые дни скитался по дипломатическим представительствам всех европейских государств, по правительственным учреждениям, по редакциям влиятельных газет, по штаб-квартирам бесчисленных революционно-национальных организаций, собравшихся тогда в Риме, еще нейтральном, со всей Европы, в чаянии выиграть что-либо для своих народов от уже грохотавшей войны и грядущего мира. С утра до вечера убеждал, спорил, столковывался, внушая министрам, депутатам, послам, журналистам ту свою «одну думу», что сосредоточенно горела фанатическим огнем в его светлых, обманчиво спокойных глазах:

— Austria delenda est![1]

В то время Масарик еще не был объявлен австрийским правительством вне закона, и Вена любезно предоставляла ему возможность, если желает, возвратиться в отечество, чтобы... быть захлопнутым в полицейском капкане!.. В Риме с Масарика не спускала глаз бдительная австро-германская слежка. Это тоже отнимало у него много времени. Выйдя из отеля, он должен был долго кружить по переулкам, покуда

не убеждался, что филеры от него отстали, и только тогда шел или ехал, куда действительно намеревался.

Надо было удивляться неутомимости этого человека. Ведь ему было уже 64 года. А он, в такой деловой суматохе, находил еще время показывать своей дочке Вечный город!

Беседовали мы часто и много, и, повторяю, не для «интервью», а по душам, как политические единомышленники. Нас сближал вопрос о войне, бывший тогда для обоих вопросом свободы. Я верил, что для русской революционной эмиграции, к которой я тогда принадлежал, участие в войне — необходимое дело чести, показание своего единства с воюющим народом; что только победоносная Россия будет в состоянии получить от царей те гражданские права, которых не успела взять революция 1905 года. Предательское пораженчество, которым веяло в революцию из Циммервальда и с которым я боролся, сколько мог, было Масарику столько же непонятно и противно, как и мне. Социалистические взгляды ученого историка и экономиста не тормозили в нем реальных устремлений патриота.

Глядя на войну прямыми чешскими глазами, Масарик видел, что поражение Антанты будет смертным приговором для чехов и словаков, сжатых между извечными поработителями — германцами и мадьярами. На победу же Антанты он возлагал надежды огромные, но в то же время осторожные. Он чутко понимал, что в Антанте, наряду с симпатиями к славянству, как заведомому противнику германизма, живет также пугливое предубеждение против славянства как неведомой силы будущего. Славянство было необходимо Антанте, но пугало панславизма ее смущало.

Я усердно боролся с этим предубеждением в итальянской печати. Масарик — всюду: в Риме, Женеве, Париже, Лондоне, Вашингтоне. Вихрем носился он по Европе, завоевывая простор славянской идее лекциями, статьями в газетах, личным влиянием на двигателей французской и английской политики, основанием новых журналов и целых издательств, посвященных чешскому вопросу.

Антанта понимала, что славянство должно быть вознаграждено освобождением от «германской опасности» и самостоятельною государственностью, но вместе с тем очень мечтала устроить эту государственность как-нибудь так, чтобы она не была очень пространственна

и сильна. И вот, соображая это, Масарик заранее боролся за границу будущей Чехословакии. Однажды во «Флоре» он принес мне этнографическую карту славянства, составленную знаменитым Любором Нидерле, и по ней наметил синим карандашом, каких границ он добивается и что ему обещают. Разница была огромная. По наметке Масарика, соседство Чехословакии с Югославией сливалось действительно в славянское море, совсем потопившее немецкие островки. Плачевнейший же жребий выпадал Венгрии, со всех сторон подпертой славянскими государствами и оторванной от мира, что германского, что латинского.

— Если так, то Венгрия должна погибнуть, — заметил я. — Шестимиллионному народу не выдержать такой плотной окруженности.

Масарик пожал плечами и, с незабываемым огнем в глазах, произнес веско, с расстановкой:

— Что делать? Если два народа поставлены так, что один должен погибнуть, то я предпочитаю, чтобы это был чужой народ, а не мой родной.

2

Объявление Италией войны центральным империям уже не застало Масарика в Риме. Он был то в Женеве, то в Париже, где много шума наделали его блистательные лекции в Сорбонне. Я часто получал от него брошюры — орудия его неутомимой пропаганды. Весною 1915 [года] я был очень болен аппендицитом, и затем, несмотря на горячее для журналиста время, пришлось мне уехать из Рима в Леванто на отдых. Вести туда от Масарика были грустны.

Его соратники-патриоты сидели в тюрьмах, лишь личною любезностью Франца-Иосифа избавленные от смертной казни, которой требовал для них разъяренный австрийский суд. Дочь Алиса — в тюрьме. Имущество конфисковано. Сам Масарик заочно приговорен к смертной казни и скитается изгнанником, всюду преследуемый австро-германским шпионажем.

И вдруг в июле неожиданная открытка из Женевы: Масарик, по дороге в Рим, «просится» остановиться у нас в Леванто. Мы с женою обрадовались. Однако ждем-пождем, а он не едет. Но, опять-таки вдруг и неожиданно, появился одним вечером, как с неба свалился, и первым вопросом его было:

— Вам это ничего, что я у вас остановлюсь?

— Помилуйте! что вы? Огромное удовольствие!

— Нет, я в том смысле: не наживете ли вы себе полицейских неприятностей?

— Не думаю. Почему же? Да, наконец, если бы и так, мы люди, к этому привычные.

Положение чехов тогда в Италии было весьма двусмысленно. Конечно, правительство и образованные люди знали, что душа чешского народа — с Антантою и против немцев. Но паспорта у чехов были австрийские, и полиция не умела, да и не хотела в них разбираться, валя обладателей, всех гуртом, в разряд «нежелательных иностранцев». Часто выходили скверные истории. Даже в такой захолустной дыре, как Леванто, власти арестовали юношу чеха, по фамилии Седлачек, из хорошей пражской семьи, и бедняга отбыл потом три года в концентрационном лагере в Сардинии. Но я никак не думал, чтобы подобные недоразумения могли настигать даже столь известного человека, как Масарик.

Однако оказалось, что оно так. Масарик ехал не в Рим, но уже из Рима и путешествовал тайно. В Риме он был как зерно между жерновами двух шпионажей, казалось бы, враждебных между собою, но преглупо один другому помогавших. Дипломатическим успехом своей поездки в Рим Масарик, кажется, был доволен: я не почел удобным расспрашивать, зачем именно он был в Риме. Но оттуда он исчез потихоньку, как мы надеялись, искусно обманув оба шпионажа.

Масарик провел у нас сутки. Несмотря на отягчавшие его личные беды, казался по-прежнему бодрым и энергичным. Только прибавилось печали в глубине глаз да фанатическая сосредоточенность взгляда стала еще жестче отливать сталью, когда речь касалась Австрии. А когда мы сокрушались, что его изгнание переполнилось личными несчастиями, он на секунду опускал седую лысоватую голову, но в тот же миг поднимал ее и с ясным, твердым блеском в глазах произносил ясным, твердым голосом:

— Это ничего. Лишь бы делалось дело. Это ничего.

Назавтра он уехал так же тайно, как прибыл. Перед отъездом мы совещались, как быть, если полиция будет о нем спрашивать: сказать ли ложное имя или настоящее. Сообразили, что раньше утра ждать карабиньеров нельзя, а утром Масарик уже переедет швейцарскую границу, и остановились на втором решении. Проводить Масарика на

станцию было в этих обстоятельствах неудобно. Но из окон своего дома мы видели, как он, с легоньким чемоданчиком, быстрою, пружинною, молодою походкою взобрался на насыпь, к станции, вошел в вагон, и поезд помчал его к Генуе. А на прощанье в калитке при расстанном рукопожатии Масарик взглянул мне в лицо и, угадав волновавшее меня сожаление, еще раз повторил бодро, голосом, внушающим веру и надежду:

— Это ничего. Главное, чтобы делалось дело. Это ничего.

Пожаловали карабиньеры.

— Какой иностранец был у вас вчера?

— Профессор Томмазо Масарик.

— Австрийский подданный?

— Нет, контравстрийский революционер.

Улыбнулись и вежливо отследовали. Очевидно, визит был чисто формальный: для проверки сведений, телеграфно погнавшихся за Масариком из Рима.

3

Позднею осенью 1916 года мы всей семьей тронулись из Италии в Россию кружным путем, через Францию, Англию, Швецию, подолгу застревали в крупных центрах из-за паспортных хлопот. В Лондоне встретились с Масариком. Он и дочь его Ольга, как только осведомились о нашем приезде, немедленно явились в наш Russel-Hotel, и две недели мы провели почти что неразлучно. Масарик забегал к нам ежедневно по два, по три раза, и целыми часами беседовали мы по вечерам в пустынных залах отеля о чаемых судьбах русского и чешского народов.

Я, полный впечатлениями могущественного подъема в Италии и Франции, был уверен, что найду такой же, если не выше, в России. Масарик, напротив, указал мне, что здесь, в Англии, смотрят на Россию с большой тревогой как на союзницу сомнительную. Подозревают в германофильстве императрицу, двор, министра Штюрмера и в особенности нового министра Протопопова, а он, говорят, в большой милости у царской четы. Для меня это было не только новостью, но и казалось безусловно невозможным. Протопопова я видел всего три месяца тому назад в Риме, во главе думской делегации, либералом — хоть отбавляй и уж таким-то другом Антанты, а при имени императ-

рицы он демонстративно строил гримасы. Даже на официальном приеме у премьера Саландро.

Страх сепаратного мира со стороны России представлялся мне суеверным напущением на английское общественное мнение по внушениям подпольного германского шпионажа. Однако, к своему изумлению, я встретил если не тот же страх, то весьма близкие к нему, хотя и осторожные, сомнения в русском лондонском посольстве, откровенно сконфуженном двусмысленною чехардою министерского Петрограда.

Масарик дал мне понять, как вреден этот страх здесь, в стране, финансирующей войну, и как полезен будет всякий шаг к его рассеянию. Он устроил у тогдашнего редактора «Таймса» Уикгэма Стида собеседование, на котором я изложил свои оптимистические взгляды на войну в присутствии многих представителей нортклифской печати[2]. Затем, по желанию Масарика, я написал обширную статью на ту же тему для журнала Стида «Новая Европа», и, в извлечении, перепечатал ее «Таймс». Так как мы с женой плохи в английском языке, то переводом статьи занялся Масарик.

Идея моя была та, что в России воюет с Германией не династия, но народ; что война есть важнейшая сотрудница русского освободительного движения; что если бы Романовы, под германскими влияниями, даже хотели изменить Антанте, они не в состоянии того сделать, не погубив самих себя: позор сепаратного мира был бы сигналом к взрыву революции. Увы! Обстоятельства вскоре показали, что я очень ошибался в настроении своих соотечественников. Но, наглядевшись бодрой Италии во время борьбы за Карсо[3] и эпически прекрасной Франции в грозные дни Вердена, мог ли я поверить тому, будто соотечественники за двенадцать лет, что я их не видел, успели скиснуть так прискорбно?

Статья произвела впечатление. Масарик был ею очень доволен.

За исключением двух или трех дней, когда Масарик уезжал из Лондона для каких-то переговоров с лордом Нортклифом, мы проводили время вместе. Чисто чешское сочетание в этом человеке мужественной стойкости с беспредельною кротостью и мягкостью умиляло нас глубоко. Сам выше головы в делах и заботах, он уважал чужой труд до деликатности, порою даже чрезмерной. Как часто бывал я сконфужен, слыша от детей, что заходил Масарик, но, узнав, что я пишу, не позволил отрывать меня от работы. А не то заберет детей и ведет их,

словно добрая няня, смотреть Тауэр, собор св. Павла или Британский музей. Если мои дети видели Лондон, то обязаны тем исключительно Масарику и милой его дочке Ольге, которая возилась с ними, как родная. И это в то время, когда на сердце у них обоих было столько своего тяжкого семейного горя, не говоря уже о мучительной тоске по родине.

За полтора года после наших итальянских встреч Масарик сильно постарел и казался не очень-то здоровым. Но блеск стальной шпаги в глазах его как будто еще обострился, и еще тверже звучал его голос, когда он и здесь повторял свое:

— Это ничего. Здоровье, потери — это ничего. Только делалось бы дело. А это ничего.

4

В Петрограде, под революционными громами 1917—1918 годов, мы с Масариком виделись мало. Раза два он заехал ко мне на короткое время. Два-три разговора по телефону. Написал статью для газеты, которую я редактировал[4]. К русской революции он приглядывался с интересом и разочарованием верующего социалиста-идеалиста, на глазах которого безобразная практика опрокидывает вверх дном все теоретические устои и упования социалиста. Веру свою, как ученый политик, он, конечно, сохранил. Но ряд позднейших публичных выступлений с трибуны и в печати ясно показывает, какими горькими впечатлениями отравила его душу лжесоциалистическая, самозваная работа — оргия кровавой ленинской шайки.

Свиделись только спустя пять лет, но в каких, сказочно изменившихся, условиях!

Недавний австрийский изгнанник был главою свободного, молодого, могучего государства — боготворимый народом, борьбе за независимость которого он отдал всю свою жизнь. Культом своего Масарика чехи опровергли старое грустное правило, что «нет пророка в своем отечестве». За многие годы скитаний по белу свету я имел возможность наблюдать и ценить популярность многих «глав государства» и в монархиях, и в республиках. Но никогда и нигде не видал я более пылкой, чуткой, искренней и цельной любви народа к вождю, как в Праге у чехов — к Масарику. Он достиг самой редкой в истории удачи и

награды, которой каждый деятель-патриот страстно желает, но получает ее разве из ста тысяч один.

Быть понятым и оцененным. Увенчаться тою благородною любовью своего народа, сознание которой для такого человека выше всех почестей и титулов.

И когда во дворце на Граде, в стенах, с которых глядели гордыми глазами мундирные и латные под порфирами Габсбурги и их великолепные жены, сидел я пред первым «паном президентом Чехословацкой республики» и смотрел в его оживленное, помолодевшее лицо, — я думал с умилением не о настоящем его величии и счастье, но о том, какую чащу колючего терновника должен был он продавить своим сухощавым телом старого борца-мученика, прежде чем добрался под сень нынешних победных лавров...

И когда я напомнил Масарику эти недавние, к счастию, уже пройденные и далеко позади оставшиеся тернистые пути, он весело засмеялся с мягким, ласковым светом в глазах, и из уст его вылетело прежнее, милое, так знакомое мне крылатое слово:

— Это ничего. Главное, чтобы делалось дело. Это ничего!

ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ В ПЕТРОГРАДЕ 1919—1921 ГОДОВ

Октябрьская революция 1917 года, упраздняя буржуазию, причислила к ней все свободные профессии интеллигентного труда, и в конце концов в процессе упразднения они пострадали несравнимо более, чем капиталистическая буржуазия, против которой истребительный поход пролетариата был объявлен. Смею сказать больше: по правде-то говоря, только они одни настолько пострадали. Капиталисты чашу петроградских мучений лишь пригубили, мы же выпили до дна. Если не сам пролетариат ручного труда, то коноводы из «запломбированного вагона»[1], овладевшие воображением и волею темных масс, обрушились на пролетариат интеллигентный с яростью ревнивых соперников, сознающих случайность и условность своей победы и плохо верующих в ее прочность, а потому с болезненной подозрительностью устраняющих с пути своего все коллективы и индивидуальности, в коих им чувству-

ется или чудится опасность влияния инакомыслящего. Среди предметов этой подозрительной ревности на первом месте оказались литература вообще и журналистика в особенности. В яростных советских тисках, под нажимом Володарского, Лисовского, Кузьмина, быстро повымерли в течение каких-нибудь девяти месяцев даже самые прочные, старые и богатые периодические издания былой России. Когда в августе 1918 года советский декрет уничтожил бытие буржуазной прессы гласно и официально[2], он, собственно, конфирмовал un fait accompli[3], совершившийся факт. В Петрограде, так еще недавно главном центре русской журналистики, влачила тогда жалкое существование уже только одна-единственная газета — последняя, с призрачным самообманом все-таки как будто «независимого издания».

И какая это была газета! «Петроградский листок»[4], еще в 1917 году любимый уличный орган дворников, швейцаров, извозчиков, мелких лавочников и тому подобного темного люда, включая сюда и часть рабочих, настроенную сочувственно монархии Романовых и православной церкви. Орган «черной сотни», «Листок», понятно, так и руководился, и составлялся в низменно-черносотенном тоне и порядке сочувственными элементами из «бывших людей» литературы. До революции о «Петроградском листке» почиталось неловким даже упомянуть в порядочном обществе. Появление литератора с именем на его столбцах было невозможно, как некое неприличное чудо. Когда А.И. Куприн, по неистощимому добродушию своему, дал туда какой-то свой мелкий рассказец, это произвело в петроградском литературном мире впечатление скандала.

Но теперь, уцелевший дольше всех соседей, благодаря своей черносотенной публике, этот ничтожный и презираемый «Петроградский листок» торчал над всеобщим потопом журналистики как одинокий крошечный островок. И подобно зверям, бегущим от наводнения, собрались и столпились на нем всевозможные живые обломки распущенных редакций, исчезнувших изданий. Во главе газеты стал видный литератор, популярный и заслуженный критик А.А. Измайлов[5]. В газете начали появляться статьи Ф.К. Сологуба, Д.С. Мережковского, Вас.Ив. Немировича-Данченко, А.И. Куприна, П.П. Гнедича, В.Ф. Боцяновского, мои, модных поэтов, профессоров университета, публицистов из закрытых больших газет — «Речи», «Дня» и др. Понятно, что орган изменил свою физиономию и направление. Из монархического

он превратился в либерально-демократический, даже с оттенком утопического социализма, впрочем, весьма бледно-розового. Антикоммунистический дух скорее чувствовался, чем сказывался; скорее подозревался, чем выявлялся. Потому что почтенный радикал наш милейший А.А. Измайлов ненавидел большевиков до кровомщения, но напуган ими был до паники и чуть не падал в обморок при каждом слове, уязвлявшем торжествующих олигархов лжекоммуны прямо и открыто. Сберечь газету от закрытия как можно дольше было его главной задачей, да и требованием издателей. Надо заметить, что эти последние вовсе не были счастливы перерождением своего «Листка» в литературный орган. Как бы ни странно показалось, но мы, писатели с именами, каждый имевший свою обширную аудиторию, не только не подняли тираж «Листка», но, напротив, уронили его. Наша привычная публика не успела прийти к нам под старую сомнительную вывеску, а для былой публики «Листка», уличной, мы оказались мудрены, и она отхлынула от газеты. Кто ее читал и обогащал, лучше всего покажет следующий эпизод. На одном из редакционных собраний был поднят вопрос об улучшении бумаги. Издатель, г. Владимирский, отказал в нем наотрез.

— Почему? — изумлялись и спорили мы. — Ведь если газета примет более приличный вид, это лишний шанс на ее успешное распространение в обществе, которое сейчас чуждается «Листка» отчасти и за его отвратительный вид. Ведь согласитесь, что нельзя найти более гнусной бумаги, чем ваша...

— Гнусная-то она гнусная, — подтвердил издатель, — но не обижайтесь, господа, если я вам скажу по секрету, что добрая треть нашей публики покупает «Листок» совсем не ради прекрасных сочинений, которые вы в нем печатаете, а ради вот именно этой гнусной бумаги... Потому что рабочий и мастеровой человек газету сперва читает, а потом из нее цигарку вертит, — ну, и за «Листком» имеется уже многолетняя слава на этот счет, что для цигарок лучше его бумаги нету.

Полагаю, что нарисованной мною картины «последнего прибежища» достаточно для характеристики трагического унижения, до которого доведена была русская журналистика к моменту ее официального прикрытия. Расстаться с подобным прозябанием не создавало ни для кого из нас моральной утраты. О себе лично могу сказать, что я почти обрадовался запретительному декрету. По крайней мере, опреде-

ленный конец, и нет больше соблазна к бессильному влиянию словом так и сяк, на почве недоговоренных намеков, обиняков и всяческих обходных компромиссов. Бывало, при царском режиме идти с гибким и лукавым оружием эзопова языка против мощных столпов самодержавия — Плеве, Столыпина, самого Николая — доставляло удовлетворение, как ловкий и смелый подвиг. Но прятать свою мысль в маску эзопова языка от каких-то неведомых проходимцев, вынырнувших на Русь из глубины немецкого «запломбированного вагона», от «псевдонимов»[6] Ленина, Троцкого, Зиновьева, Урицкого, Володарского, — несносно унизительное обязательство. Тут при всей охоте и привычке говорить с публикой лучше предпочтешь закусить губы и молчать[7].

Но материальный эффект запретительного декрета был ужасен. Он прозвучал символом безусловной и безнадежной безработицы. Приказом:

— Литературная братия! Ты не должна больше существовать. Коммунистическое государство объявляет тебя ненужной и вредной. А потому — ложись и умирай голодной смертью.

Спастись от таковой можно было, только бросившись к ногам большевиков. Кое-кто из литературной мелочи так и поступил. Из крупных писателей — лишь один: старый, маститый перевертень Иероним Ясинский — закоренелая в продажности сабля, о которой можно сказать древнею русской пословицею, что она служила в семи ордах семи царям. Он припал к стопам победителей немедленно после Октябрьской революции, чуть ли не опередив в том даже пресловутого коленопреклоненца то пред сим, то пред оным режимом певца Шаляпина[8]. За что и был награжден от комиссара Луначарского восторженным титулом «Симеона Богоприимца, вышедшего во спасение новорожденному Христу революции»[9]. Но, к чести петроградской литературы и журналистики, необходимо отметить, что пример г. Ясинского остался тогда без подражателей и последователей. Сейчас, после четырехлетней голодовки, многие приманились хлебами большевиков и застрочили хвалы им в заграничных рептилиях Кремля и Смольного[10]. Но в 1918 году гг. Адрианов, Ашешов, Муйжель, Тан и другие вновь приобретенные чемпионы советской публицистики плюнули бы в глаза тому, кто осмелился бы предсказать им, что в 1921 году они сделаются придворными певцами славы Ленина, Троцкого и Зиновьева и яростными патриотами РСФСР. Более того: я уверен, что в то раннее

время о верноподданнической присяге большевикам еще не помышляли даже такие «переметные сумы», как профессор Гредескул и сам себя возведший в профессора библиограф Лемке, первые пташки, перепорхнувшие из петроградской голодной журналистики к лакомым крошкам, обильно роняемым со стола ликующей Петрокоммуны[11].

Итак, вся независимая петроградская литература оказалась в беспримерно-ужасной обреченности, и ужас рос со дня на день, из часа в час все свирепее, все острее. Организации литературной взаимопомощи никогда не были сильны в России, а Октябрьская революция уж и вовсе их придушила. Правительство откровенно и систематически вгоняло нас в гроб. Общество, запуганное, порабощенное, ослабевшее от голода, ослабевшее от страха, безмолвствовало. В потоке, залившем нас, не плавало ни бревнышка, ни полешка, за которое можно было бы продержаться с надеждой на спасение. Утопающий, говорят, хватается за соломинку. Таковые к нам в потопе бросались, и даже во множестве. Но большинство из них, помимо своего бессилия, бывало и довольно-таки сомнительного свойства. Вроде хотя бы пресловутой «Всемирной литературы» М. Горького[12], о которой я и сейчас не могу решить, что представляет собою это учреждение: крайне ли неудачный и бестактный опыт сентиментальной филантропии или, наоборот, весьма удачный и ловкий опыт дешевой эксплуатации полумертвых от голода и холода, обездоленных и обезволенных людей, которые обрадовались возможности закабалиться на труд — пусть каторжный, черный, да «нейтральный» и, следовательно, не зазорный. Работали во «Всемирной литературе» едва ли не все наличные петроградские силы. Я лично знаю лишь единственное исключение — фанатичную старушку-народницу еще 70-х годов, дряхлую подругу поэта Надсона[13]. Ее подозрительность и здесь рассмотрела недозволительный компромисс с большевиками, в лице их агента, «двуличного» М. Горького, которого она не уставала награждать эпитетами более чем нелестными. Но, за исключением разве самых наивных энтузиастов либо страстных графоманов или, наоборот, уж очень продувных дельцов, почти все рано или поздно отставали от этой громадно и претенциозно заведенной переводной машины, разглядев дутый характер предприятия, в котором «покушение с негодными средствами» рождало «вовлечение в невыгодную сделку»[14]. Громко хвастливая своим благотворительным значением, «Всемирная литература» оплачивала рабочий день своего

сотрудника грошами, не позволявшими купить фунт хлеба на рынке по вольной цене. А что касается литературных результатов, отсутствие у издательства бумаги, типографии и кредитов превращало работу чуть ли не тысячи человек, всех представителей «мозга страны», в пустопорожнее водотолчение в ступе. И на такую-то чепуху тратились первоклассные творческие силы народа! Блок, Гумилев, Ахматова, Мережковский, Гиппиус, Сологуб, Куприн... кто только не был закрепощен этой «Всемирной литературой» с ее подачками камня вместо хлеба? От голода и холода «Всемирная литература» никого не спасла, чему лучшими свидетелями являются многочисленные имена ее ближайших сотрудников, например поэта Блока, историка литературы Батюшкова, автора лучшего русского перевода «Фауста» Гете и европейски прославленного ученого-зоолога Холодковского, умерших от голодного истощения. Но советской власти она оказала несомненную услугу, как одна из красивых ширм, которые своей якобы «культурно-просветительной внешностью несколько заслоняют яростную борьбу захватчиков-олигархов со всеми наследиями русской культуры и помогают Горькому, Красину, Луначарскому, Крестинскому и тому подобным обманывать общественное мнение Европы[15]. К сожалению, имя Горького связано почти со всеми такими учреждениями-ширмами, подобными зеленым занавескам, прикрывающим непристойные картины. Славны бубны за горами, но кто наблюдал их добросовестно и вблизи, того они провести не могут. Грубо лицемерный характер их был подмечен даже таким двусмысленным путешественником и присяжным хвалителем большевиков, как Г. Уэллс[16]. Внутри же страны все эти «Дом ученых», «Дом искусств»[17], «Всемирная литература» содействуют, в существе своем, одной цели: срывать забастовку интеллигенции и литературный саботаж. Нащупывать в литературной среде слабость, хилость, неустойчивость, которые, при необычном нажиме обстоятельств, не выдержат характера и пойдут на компромиссы с торжествующей политической котерией[18].

Цель эта была угадана литературным миром. Как ни был он слаб, беден, угнетен, однако не позволил проглотить себя беззащитно. Коммунистическая революция душила нас мертвою хваткою, но ее конституция не могла отказать нам в некотором подобии автономной хозяйственной организации. Таковая сложилась еще раньше Октябрьской революции, в последние годы войны, в виде кооператива при

Союзе журналистов[19], выросшем после Февральской революции в большую силу. Главные распорядительские роли в этом Союзе распределились между сотрудниками распространенной кадетской газеты «Речь», преимущественно репортерами. Дело у них шло великолепно. Кооператив журналистов славился по Петрограду как один из самых благоустроенных и наилучше обслуженных. Путем его Союз сколотил довольно значительный капитал, из которого поддерживал десятки писателей, оставшихся без заработка в результате эпидемического закрытия газет и журналов. Когда советская власть, в «планетарном эксперименте» коммунистической централизации государственного хозяйства, принялась за глупейший разгром кооперативов, — в которых, к слову сказать, она теперь видит единственное средство питать оскудевшие города, — кооператив журналистов энергией и искусной дипломатией своих заправил затянул свою ликвидацию чуть ли не долее всех других и, кажется, успел спасти кое-какие запасы. Союз журналистов, конечно, не мог надолго пережить гибель периодической печати; уже осенью 1918 года дни его, как клуба вымершего сословия, были сочтены. Не помню точно, когда он покончил свое существование. Однако еще в конце декабря его представители А.Е. Кауфман, Л.М. Клячко и Б.О. Харитон принимали энергичное и даже властное участие в организации торжественных похорон одного из величайших мыслителей и героев старой русской народовольческой революции, знаменитого шлиссельбуржца Германа Александровича Лопатина. Я был приглашен в этот траурный комитет, так как был в последние 12 лет жизни Лопатина связан с ним теснейшей дружбой. На одном собрании под председательством В.Н. Фигнер — живо вспоминаю — присутствовал правительственный делегат, комиссар Анцелович, и между ним и представителями Союза журналистов неожиданно закипел горячий спор о правах обреченного на гибель института.

Спасти Союз было невозможно, однако он не умер, но только обмер и после недолгой летаргии воскрес в весьма измененном, но отнюдь не ухудшенном и, напротив, даже расширенном и усовершенствованном виде Дома литераторов[20].

Он возник очень просто и скромно как заурядная «столовка», в которой выдавался обед, несколько лучший, чем в советских «столовках», за несколько высшую плату. Тогда советское кормление — вернее сказать, массовое отравление населения — не было еще бесплат-

ным. Да лучше было бы и не делать его таковым, потому что, со введением принципа бесплатности, советские столовки, уже и ранее ни на что не похожие, превратились в совершеннейшие клоаки, в которых ужасающее воровство Петрокоммуны соперничало размерами с небрежностью и неумелостью администрации, неряшеством кухни, распущенностью служащих. Так что пресловутое бесплатное кормление, чем бы явиться могучею демагогическою мерою, вроде древнеримской анноны (фрументации)[21], быстро выродилось во всеобщее посмешище. Обед литературной столовки стоил вдвое дороже советского, но был впятеро питательнее. Надбавка стоимости как бы заменяла былой членский и кооперативный взнос и содействовала образованию оборотного фонда.

Клиентура литературной столовки выросла в несколько сот душ. Конечно, она не имела права профессионального подбора едоков, но он сделался сам собою. Простою записью сложилось и замкнулось крепкое писательское кольцо, настолько значительное численно, что обвело едва ли не весь петроградский литературный мир. Расторгнуть это кольцо советская власть, хотя и очень им недовольная, почла неловким и невыгодным. Ведь продовольственный кризис все обострялся, коммунистическое хозяйство фатально стремилось к краху, разрушение кооперативов уже обнаружило свою вреднейшую нелепость. Организацию с претензиями автономной самопитаемости коммуна могла отрицать и гнать по принципу, но должна была бы, собственно говоря, приветствовать ее по существу, как избавление шеи своей от обузы в несколько сот голодных ртов. К тому же Комиссариат народного просвещения в лице Луначарского и его петроградского заместителя, фамилию которого я, к сожалению, сейчас не вспоминаю, — кажется Гринберг, — был бесконечно сконфужен дикостью коммунистического гонения на литературу, и если не помогал ей, то, по крайней мере, и не распинал ее, умывая руки, как Пилат. Таким образом, Дому литераторов удалось найти, правда, зыбкое, но все же равновесие — в состоянии «незамечаемости». В тени ее он и начал развиваться.

В качестве «столовки», рассчитанной на 500 едоков, он имел право на обширное помещение. Энергией тех же членов-основателей, Кауфмана, Клячко, Харитона, Волковыского, был выхлопотан и занят большой опустелый барский дом-особняк, с садом, на Бассейной улице, почти при впадении ее в Литейный проспект, — значит, в самом цен-

тре столицы. Еще худшим пищевого голода ужасом петроградской интеллигенции был голод топливный. Мы жили в квартирах, опустелых от мебели, сожженной в печках-буржуйках, при температуре чуть выше, а часто и много ниже нуля, не выходили из теплого верхнего платья, работали в шапках и перчатках либо обмотав коченеющие руки тряпками. Дом литераторов предложил своим членам дневное тепло, а иных, уже вовсе обездомленных холодом либо вселением пролетариата, устраивал и на ночь.

Вокруг тепла естественно было народиться подобию профессионального клуба, не имевшего ни этого имени, ни санкции, но тем не менее все расширявшего свои функции. Едва минимально были удовлетворены потребности материального порядка, явились запросы духовные. Самым лютым профессиональным злом современной русской литературы была коммунистическая национализация книги, оставившая читающую публику без библиотек и книжных магазинов[22]. Миллионы сокровищ печати погибли в этом варварском процессе в руках равнодушных и невежественных захватчиков. Ни один исторический враг книги не относился к ней с более безобразным и разрушительным пренебрежением. Двухсотлетнее наследие русской литературы победоносные большевики выбрасывали за борт с таким же усердием, как отцы христианской церкви в IV и V веке — литературу языческую, но с гораздо меньшею разборчивостью. Для примера укажу, что все книжное богатство, многими десятилетиями накопленное в колоссальных складах старинного магазина Тузова, который для всей России был центральным рынком богословской литературы, было препровождено на бумажную фабрику и обращено в массу на выработку бумаги для официальных коммунистических газет. О размерах потери можно судить по тому, что фундаментальный каталог Тузова занимал несколько сот страниц[23]. Подобным же жалким образом погибло множество складов старой педагогической литературы, на первых порах победы надменно объявленной ненужною. Результатом последовал тот ужасный голод на учебные пособия, которым обусловилось катастрофическое крушение школьного преподавания в Петрограде 1919—1921 годов[24]. От частичного расхищения не спасались даже книгохранилища, намеченные Наркомпросом к тщательному сбережению. Так как секвестрованные библиотеки распределялись, сообразно их преимущественному содержанию, по специальным ведомствам, то в бесконечных

перевозках приходили они в непоправимый хаос. Ни одна библиотека, двинутая с основного места, не доходила по новому адресу не обесцененною попутным разграблением. А то и вовсе пропадала по дороге — неведомо куда. Я сам был свидетелем, как возчики, доставившие в Наркоминдел великолепную библиотеку Пажеского корпуса[25], любезно угощали роскошными редкими изданиями случайных прохожих. Заинтересуется кто-нибудь громадою красивых книг, похвалит какой-нибудь том:

— Ах, вот славное изданьице... рад был бы его приобрести!

— Так что же, товарищ? Ежели вам нужно, возьмите!

Библиотеку, секвестрованную во французском посольстве, заведующий Наркоминделом держал у себя на квартире — из боязни, что иначе растащат по книжке его же чиновники, охотники до иллюстрированных изданий. Сидя в тюрьме на Шпалерной в марте 1921 года, я был причислен к рабочему составу тюремной библиотеки и, каталогизируя, изумлялся ее нелепой разрозненностью. Между тем в нее целиком вошла очень недурная библиотека присяжного поверенного Холщевникова. Но добрая треть ее улетучилась при перевозке. Так безобразно обращалась советская власть с книгою вообще. Опальные же отделы литературы сознательно и прямо обрекались на исчезновение. В той же тюремной библиотеке нам запрещено было сдавать в переплетную мастерскую книги богословского содержания. Между тем их-то всего больше и спрашивали заключенные, и, следовательно, они-то и больше всех трепались.

Декрет, воспрещавший частным лицам иметь библиотеки свыше 500 томов, остался в конце концов мертвою буквою, однако успев разорить множество книгохранилищ и обездолить сотни слишком поспешивших струсить декрета ученых, литераторов, педагогов, интеллигентов[26]. Дом литераторов поспешил на помощь всем этим горемыкам, оставшимся без своей книги как без рук. Бежал за границу петроградский представитель богатейшей русской газеты, московского «Русского слова», А.В. Руманов, очень состоятельный человек. Дом литераторов спас его превосходную библиотеку, взяв ее в свое пользование. Она положила начало книгохранилищу, возросшему к июлю 1921 года до 30 000 томов, так как, видя счастливый пример румановской библиотеки, многие лица стали жертвовать свои книги Дому литераторов или в собственность, или во временное владение[27]. За библиотечное

дело взялись умелые и любящие руки молодого журналиста В.Я. Ирецкого, тоже из бывшей «Речи». Накопление дубликатов, в связи со всёвозраставшею писательскою нуждою, вызвало необходимость основать комиссионную книготорговлю, которая теперь, вероятно, обратилась в большой книжный магазин, потому что потребность в таковом сказывалась уже в августе. Тогда книготорговлею Дома литераторов заведовала одна из интереснейших и типичнейших фигур его, почтенная М.В. Ватсон, благороднейшая и непоколебимая хранительница идеалов и традиций старой народнической литературы и либеральной революции 70-х годов. При библиотеке сама собою создалась читальня. Писатели, лишенные холодом и нуждою возможности работать у себя дома, получили угол для своего труда, хотя и очень тесный, но все-таки теплый и снабженный изрядным арсеналом литературных пособий. Начал накопляться литературный музей, архив автографов, портретов, рукописей, реликвий.

Ежедневные встречи писателей у писательского пункта мало-помалу породили профессиональные собрания. Сперва закрытые, потом публичные. Они широко потянули на себя интеллигенцию, дав ей некоторый суррогат того, по чем привычный читатель больше всего скучает: новой книги и журнала. В настоящее время, как я вижу из перепечаток в зарубежной прессе, Дом литераторов издает свою «Летопись» как настоящий журнал. Еще полгода тому назад о такой возможности нечего было и думать. «Летопись Дома литераторов» ютилась своими сухими деловыми отчетами как вуалированный отдел в журнале покойного А.Е. Кауфмана «Вестник литературы» — единственном частном периодическом издании, которое почему-то пользовалось терпимостью большевиков, — правда же, за то и покупая ее совершенною бесцветностью содержания. По достигающим нас перепечаткам видно, что «Летопись Дома литераторов» ныне идет тою же безобидною тропою, доставляя удовольствие тоскующим по перу писателям помещать на ее столбцах невинно-академические статейки. Я должен сознаться, что очень мало сочувствую подобным опытам. Журнал, хотя бы и с преимуществом художественно-литературных интересов, есть дело публицистическое. Настоящая публицистика, смелая, прямая, ясная, в царстве большевиков так же невозможна, как честно-договорная дипломатия или международная торговля с ними. Да нет! Даже невозможнее, ибо честных дипломатов и международных торговцев они

только надувают, а прямых и откровенных публицистов расстреливают или сажают в тюрьмы на принудительные работы. Следовательно, всякий журнал, дозволенно возникающий на территории советской России, является неминуемо органом компромиссов и умолчаний, которыми покупается терпимость Кремля и Смольного. А от всех подобных компромиссов, какими бы изящными целями они ни объяснялись и какие бы почтенные лица в них ни участвовали, все-таки нехорошо пахнет. И хотя, быть может, я огорчу своим мнением многих друзей, одержимых неукротимым писательским зудом, но, по-моему, вести газету или журнал, глядя из зиновьевских рук, значит обманывать и себя, и публику игрою, мало достойною взрослых людей, и платить за самоутешение «печатанья» слишком дорогою ценою.

Суррогатом невознаградимой потери журнала и новой книги Дом литераторов выдвинул широкое развитие своих литературных вечеров. К участию в них были приглашены решительно все выдающиеся писатели Петрограда, исключая лишь явно примкнувших к «торжеству победителей»[28]. Читались исключительно новые, ненапечатанные произведения. Начали лекциями историческими, философско-критическими, мемуарными; потом ввели поэзию, потом беллетристику, потом популяризацию новейших открытий. Наконец, известный историк Е.В. Тарле стал читать с блестящим успехом лекции уже чисто публицистического содержания, обзоры современного политического положения Германии, Англии и других европейских государств. Тарле — великолепный оратор и знаток своего предмета, способный увлекать слушателя, даже когда он, как я, например, не согласен с чересчур германофильскою окраскою, которою расцвечены взгляды почтенного профессора. Но, при всем даровании Тарле, бешеный, неслыханный успех его лекций будет понятен в полной мере только тому, кто сам испытал мучительную тоску по европейскому Западу, какою в Петрограде одержим едва ли не каждый сколько-нибудь культурный человек. Ведь вот уже полный год он не слышит об Европе ничего дельного и вероятного — только хвастливое лганье и кривлянье мнимо-пролетарских и лжекоммунистических «Правд» и «Известий»!.. Другим излюбленным лектором Дома литераторов надо назвать маститого юриста, академика и сенатора А.Ф. Кони, справедливо почитаемого самым значительным русским оратором и блестящим писателем-стилистом тургеневской школы. Его появления на кафедре с

судебными и литературными воспоминаниями славной восьмидесятилетней жизни — всегда большой праздник для публики. Надо изумляться лекторской энергии этого больного, на костылях движущегося старца. Он как будто изжил все тело свое и теперь весь — дух, ум, память и честное, прочувствованное слово, облекающее такой глубокий психологический анализ людей и событий в такую несравненно изящную форму.

Литературные вечера Дома начались редкими бесплатными выступлениями со свободным входом, приноровленными к каким-либо достопамятным литературным датам. Но огромный прилив публики обратил их очень скоро в постоянное учреждение, которое работало ежедневно и еще должно было открыть вспомогательное отделение — в Физической аудитории университета. Введена была платность, возраставшая в цифрах пропорционально падению советского курса, что нисколько не влияло на посещаемость вечеров. Когда я читал в Доме литераторов впервые, входной билет стоил 50 рублей; когда я читал в последний раз — 1500 рублей. Я не помню чтения, даже из неудачных, когда бы зал не был полон, по крайней мере на три четверти. На выступлениях же любимых Петроградом Кони, Тарле, академика Н.А. Котляревского, поэтов — увы, ныне уже покойных — Блока и Гумилева, историка С.Ф. Платонова, романиста Ф.К. Сологуба здание Дома литераторов ломилось от слушателей; вечера приходилось повторять по два, по три раза. И какая это была хорошая, чуткая публика! Как жадно она слушала, как участливо вникала! Я совсем не большой охотник до публичных выступлений, но ряд своих вечеров в Доме литераторов, когда я трижды читал свою повесть «Зачарованная степь» и, глава за главою, роман «Сестры», останется навсегда в числе моих лучших литературных воспоминаний. Но больше всего полюбила петроградская интеллигенция литературные поминки в разные юбилейные сроки. Дом литераторов устраивал их с большим мастерством и умел обратить некоторые дни в настоящие общественные события. Такова была пушкинская тризна, отмеченная блистательными речами академика Н.А. Котляревского и покойного Блока[29]. Таков был вечер в память Достоевского, когда А.М. Ремизов прочел свою «Огненную Россию», так эффектно, остроумно и патетически снизанную из искусно подобранных предсказаний великого писателя-провидца, горестного пророка наших нынешних бед[30]. Таковы были поминки вели-

кого нашего историка В.О. Ключевского с речами профессора Барскова, Кони, Котляревского и моею[31]. Я покинул Петроград, когда Дом литераторов собирался с большим торжеством чествовать шестисотлетнюю годовщину кончины Данте Алигьери. Не знаю, состоялось ли это чествование, затеянное по очень широкой программе. Неведение мое тем стыднее, что инициатива празднества принадлежала мне и я должен был заняться его устройством. Но, увы, жизнь в том *десятом* кругу Дантова ада, который зовется советскою Россией, так отвратительно ужасна, что, когда мне внезапно представился случай из нее вырваться, я, при всей моей любви к Данте, при всем моем желании достойно почтить его и восславить устами русских писателей и артистов, оставил его годовщину на произволящего, а сам бежал без оглядки...

Литературные вечера чередовались с камерными концертами. Руководитель музыкального отдела Е.М. Брауде умел придать им серьезный и увлекательный характер. Концерты посещались, пожалуй, еще лучше, чем литературные вечера. Изобилие вечеров имело, однако, и свою отрицательную сторону. Публичность вечеров значительно стеснила внутренний быт Дома литераторов, и многие члены выражали небезосновательное недовольство тем, что наши гости, т.е. вечеровая публика, начинают иметь у нас в Доме чуть ли не больше значения, чем мы сами, хозяева, литераторы. Но вечера были необходимы, потому что как раз в это время большевики нанесли Дому страшный удар, потребовав, чтобы обеды литературной «столовки» также подчинились общему советскому порядку бесплатного питания. Для Дома это было равносильно смертному приговору. Ухудшить своих обедов до равенства с советскими он не мог, не уничтожив тем главного своего назначения — подкармливать голодающий литературный мир. А на хорошие харчи не стало средств, отпала доходность. Отстоять исключение из общего правила нашим дипломатам, понятно, не удалось. Казалось, что теперь избежать гибели Дом мог только сдачею на капитуляцию, поклонившись советскому правительству и поступив на содержание к его казне, по типу филантропически-кабальных учреждений М. Горького. Однако опять-таки невероятным напряжением дипломатической ловкости и финансовой оборотливости как-то вывернулись. Ежедневно полные вечеровые сборы поддерживали, хотя и очень с грехом пополам, шедшую целиком в убыток кухню. Чтобы задержать ее не-

избежное банкротство, придумывали всякие обходные ухищрения: добавочные и дежурные блюда за особую плату, буфет, хозяйственные командировки в отдаленные местности для приобретения продуктов по вольным дешевым ценам. Все это, однако, были паллиативы и капли в море основного расхода по обязательству ежедневно накормить 500 человек лучше, чем кормит Петрокоммуна. Сверх того, большевики, успевшие уже весьма зорко насторожиться против Дома литераторов, безжалостно пресекали его коммерческие ухищрения. Особенно много неудач постигло командировки за дешевыми продуктами. Им чинились всякие препятствия, включительно до арестов уполномоченных агентов Дома. Один из таковых, попав в когти Чрезвычайки сибирского города Челябинска, был заморожен в холодной тюрьме до воспаления легких, и, когда я покидал Петроград, вести о здоровье этого бедняка были очень печальные. Притом одно дело приобрести продукты, а другое — привезти их. По дорогам ведь идет безудержный грабеж — и беззаконный, и узаконенный под псевдонимом реквизиции. Вывозит человек пуд, а привозит — дай Бог чтобы десять фунтов. Убийственная медленность разрушенного транспорта приводит в негодность скоропортящиеся продукты. Помню, что в таком черепашьем передвижении нам сгноили драгоценность — целый вагон конских голов. Лишь ничтожную часть можно было еще отобрать для превращения в весьма отвратительную колбасу, да и ту ели уж только очень смелые люди, с риском наглотаться трупного яда. Однако ничего: голодные желудки выдержали. Вдобавок затруднений в самой клиентуре Дома многие не понимали всей серьезности его финансового кризиса. Всякое вздорожание или добавочный расход вызывали громкое неудовольствие в писательской среде, вконец изнервленной бедностью, недоеданием, непосильным трудом, ужасною бытовою обстановкою...

Словом, когда я покинул Петроград в конце августа 1921 года, Дому литераторов приходилось плохо. Он очень напоминал маленькую цитадель, плотно обложенную неприятелем, который решил взять ее не штурмом, но измором. Начинается голод, и гарнизон-то держится еще крепко, но мирное население уже ворчит, и шныряют в нем двуличные смутьяны с двусмысленными речами о бесполезности сопротивления и о выгодах сделки с врагом, который-де хотя и негодяй, но не такой уж скверный черт, как его малюют. Удалось ли Дому еще раз

самостоятельно выпутаться из своих бед или вынужден был он, наконец, склонить голову пред большевиками, я не знаю. Хотелось бы думать, что все там надежно по-прежнему, хотя вот, с другой стороны, берлинские газеты сообщают о состоявшихся выступлениях на кафедре Дома литераторов нескольких витязей соглашательства, которых доселе к ней на версту не подпускали. И это как будто свидетельствует, что цитадель не выдержала, какие-то компромиссы состоялись.

Было бы глубоко жаль, но винить в том пришлось бы отнюдь не Дом литераторов. В последние 1920—1921 годы я был членом правящего его комитета и свидетелем героических усилий правления сохранить независимость учреждения от советского государства и, обходясь своими средствами, сберечь Дом как последний оплот интеллигентской самодеятельности и самопомощи. На общественную поддержку Дом рассчитывать не мог, при всем сочувствии к нему общества, ибо общество само большевиками раздето, разуто, живет в голоде и холоде. От заграничной помощи мы были отрезаны. Соглашательские учреждения М. Горького на крыльях большевицкой агентуры легко получали широкую возможность оповещать Европу о своих нуждах и рекламировать то крепостное закабаление ученых и художников, которое льстецы называют просветительной культурной филантропией советского режима. Напротив, об опальном Доме литераторов едва ли не первые слухи проникли за границу через советские заставы только летом 1921 года, благодаря главным образом связям покойного Абрама Евгениевича Кауфмана. Этот редкий человек именно уж положил душу свою за други своя, ибо переутомление на работе помощи братьям-писателям сломило его старческие силы, и в декабре минувшего года он скончался от разрыва сердца.

Это была третья смерть в комитете двадцати, избранных править Домом полгода тому назад. Раньше мы трагически потеряли обоих поэтов нашего содружества. Высокоталантливый, может быть, даже гениальный А.А. Блок погиб жертвою болезни сердца, развившейся на почве голодного истощения и моральных страданий, вызванных глубоким разочарованием в пролетарской революции, которою он поэтически увлекся было в 1917 году. Интереснейшая, жречески одухотворенная жизнь даровитого Н.С. Гумилева была дико прервана нелепым и подлым расстрелом за мнимую прикосновенность к мнимому заго-

вору Таганцева. Двое из членов комитета, известный беллетрист А.М. Ремизов и я, эмигрировали. По последним газетным известиям, выбыл за границу и товарищ председателя Вас.Ив. Немирович-Данченко. Таким образом, комитет потерял более 25% своего летнего состава. Остались: председатель академик Н.А. Котляревский, академик А.Ф. Кони, старый публицист «Нового времени» В.С. Кривенко, драматург и режиссер Александринского театра Евт.Павл. Карпов, знаменитый романист Ф.К. Сологуб, известная беллетристка Е.П. Султанова-Леткова, переводчица северных писателей, классиков скандинавской литературы А.В. Ганзен, почтенный литературный критик «Русского богатства» А.М. Редько, представитель Союза драматических писателей Б.И. Бентовин, музыкальный критик Е.М. Брауде, фельетонист «Речи» В.Я. Ирецкий, репортер «Речи» Б.О. Харитон, репортеры «Дня» Н.М. Волковыский, В.Б. Петрищев[32]. Последние четверо несли на себе всю тяжесть административного и хозяйственного распорядительства Домом. Из списка этого видно, что в комитете Дома литераторов были представлены все течения бывшей петроградской печати, от народно-социалистического «Русского богатства» и социал-демократического «Дня» до ультрамонархического «Нового времени». Казалось бы, должны были перегрызться, едва сошлись. В действительности под тучею общего бедствия шли дружно, как хорошо спевшийся хор.

Общим соглашением было установлено, что ни правой, ни левой, ни средней политики Дом литераторов не ведет. Он — орган самосохранения *всей* литературной братии от *всем* равно угрожающей погибели, и только. Правило, может быть, узкое, но, во-первых, оно гарантировало Дом от величайшего зла современной петроградской жизни — провокации, а во-вторых, от не менее опасных партийных и фракционных споров и распрей. Наблюдая теперь быт русской эмиграции, я с прискорбием вижу, что в ней от этого второго зла не отвращает людей даже общее несчастие, даже общая непокрытая нищета. Не знаю — может быть, и наш комитет недолго сохранил бы свою строгую выдержку аполитичности. Тем более что из месяца в месяц плотнее надвигался на нас роковой вопрос о допустимости общения с большевиками, и здесь непримиримость одних рано или поздно должна была порвать с мягкою покладистостью других. Но до августа включительно Дом литераторов осуществлял весьма удачно идиллию

8. Заказ № 833.

мирного жительства, в коем все крайности сходятся и кроткий агнец пасется рядом с лютым, но укрощенным травоядностью тигром. Старуха-народница, всю свою жизнь посвятившая памяти и культу Надсона, спокойно сидела за одним столом со злобным критиком-реакционером, ненавистным ей до глубины души, потому что именно его свирепым и глумливым статьям общество приписывало ускорение кончины больного, мучительно самолюбивого, чутко-нервного поэта[33]. Вся политическая забота безмолвно сосредоточилась на одной твердой задаче: прожить, не сделав ни шагу в сторону торжествующей, неправо захватной власти, не сделав ни шагу в сторону большевиков.

Скажут: активного геройства в такой программе немного. Верно. Но что же стоила Дому даже и эта пассивная выдержка! Большевики не оптимисты. Покладистая заповедь: «Кто не против нас, тот за нас» — не про них писана. Их догмат: «Кто не с нами, тот против нас»[34]. А политика Дома литераторов производила на них раздражающее впечатление политики очень определенного протеста. Она их смущала и пугала, как призрак класса, которого убийством они хвалились. И вот, от заседания к заседанию мы сталкивались с каким-либо новым прямым или косвенным выпадом советского контроля, направленным к стеснению и умертвию Дома литераторов. А на общие собрания жаловали к нам, неизвестно откуда, едва ведомые нам господа с речами и проектами резолюций, либо искушавшими воскурить фимиам пред идолом коммуны, либо, наоборот, приглашавшими уже к столь мужественным дерзновениям, что совершенно ясным становилось, что в кармане у почтенного оратора лежит предусмотренно заготовленная индульгенция от Чрезвычайки. Всячески провоцировали, чтобы институт выявил свое «контрреволюционное и антипролетарское настроение». И опять-таки много дипломатического такта нужно было нашим посредникам и парламентерам, в особенности Н.М. Волковыскому, чтобы предупреждать и сглаживать бурные взрывы вражды, одинаково готовые разразиться с той и другой стороны. Тем более что если коллектив Дома литераторов заковался в панцирь аполитичности, то отдельные члены его к ношению такового отнюдь не были обязаны, а потому то и дело призывались пред грозные очи чека держать ответ по обвинениям в контрреволюции активной. Из членов комитета Н.С. Гумилева эти подозрения «поставили к стенке», а меня с женою и сыном усадили на прошлую весну в тюрьму.

Сидели в тюрьме В.Я. Ирецкий, поэт Всеволод Рождественский, публицист А.С. Изгоев, А.Н. Слетова... да разве всех пересчитаешь? Расстрелян был репортер «Речи» Берзин... И все это в одном учреждении на протяжении одного года!

Очень немного светлых впечатлений вывез я из советской России — и не только от людей враждебного лжекоммунистического лагеря, но и от оппозиционной интеллигенции. Десятки раз на день заставляла она меня повторять печальную сентенцию, что каждое общество получает то правительство, которого оно заслуживает. Дом литераторов все-таки был исключением из общего прискорбного правила. Хотя в том-то отношении, что пусть и он, как военнопленный большевиков, не мог избегнуть оков и унижений рабства, но в нем не было ни холопства, ни добровольных уклонов. И нищим, в тенета с разбойниками и жуликами скованным, жил он, но себя не проституировал и совести не продавал злодейской шайке. Думаю, что в наш жестокий век это немалая общественная заслуга, и будущий беспристрастный историк переживаемых нами ужасных лет не оставит незамеченною молчаливую борьбу Дома литераторов за свою профессиональную честь, за самостоятельность и человеческое достоинство русских писателей. Страдания, претерпенные литературным миром за четыре года лжекоммунистической олигархии, настолько тяжки, что у меня — повторяю уже не однажды мною сказанное — нет духа анафематствовать тех, кто не выдержал и сдался на милость победителей. Говорят, что военный отряд, обреченный бездейственно стоять под неприятельским огнем, в состоянии вытерпеть потерю только 10% своего состава, — затем начинается паника и готова сдача. Литературный мир Петрограда потерял ровно треть своих действенных сил и, однако, продолжал еще отстаивать свои окопы, не опуская старого знамени, завещанного ему культурою XIX века. Ограничиваю эру потому, что XX век покуда не подарил человечеству ничего, кроме варварства, убийства, рабства и орудий, предназначенных к упрочению в мире этих дивных начал.

Россия требует сейчас много помощи от Европы. Количество этой помощи определяется стихийностью бедствия — «по человечеству». Но распределение ее должно руководиться не только чувством, но и разумом. И, признаюсь, очень часто бывает мне, хорошо знающему петроградские учреждения, досадно и обидно, когда я вижу европейскую

помощь, двинутую в таком неудачном направлении, что она уподобляется дождю, пролившемуся в море, тогда как в двух шагах нивы погибают от засухи. Рекламный крик, на который большевики великие мастера и, не жалея денег, располагают для того сильными и грязными средствами, выдвинул на первый план нужду ряда просветительных учреждений соглашательского типа, совсем уж не такую острую — именно потому, что они пользуются фавором большевиков и имеют от них санкцию и материальную поддержку. Наоборот, нужда учреждений, чуждающихся большевизма, совершенно не доходит до ушей европейского общественного мнения. А когда она случайно прорывается и бывает услышана, то зачастую оказывается ограбленною даже и в тех редких крохах, которые выпадают ей на долю. Прошлым летом американские друзья А.Е. Кауфмана прислали для Дома литераторов ящик продуктов. Случайно, заблудившись, он попал в горьковский Дом ученых, в руки пресловутого распорядителя этого учреждения г. Роде. Сей последний не только задержал посылку, но, когда Дом литераторов начал отстаивать свое право, г. Роде угрожал отправить посылку обратно: не доставайся, значит, ни нам, ни вам! И насилу-то, насилу-то Кауфман убедил этого зазнавшегося самодура-кафешантанщика переменить гнев на милость и не грабить заведомо чужую почту. Таким образом, даже в глазах мировой благотворительности фавориты лжекоммуны, *создавшей русскую нужду*, оказываются в гораздо выгодных условиях, *чем те, кто лжекоммуною в нужду загнан.* Перекричать Нансена с Горьким и К° мудрено: у них в распоряжении слишком много громких рупоров. Но авось уши у людей рассудительных и искренне благожелательных к России сумеют, наконец, сквозь шум и треск оглушительной вселенской рекламы расслышать из России также и тихие голоса тех, кто осужден большевиками на голод и телом, и духом, в отмщение за любовь к своей родине, за верность ее культурным заветам, за блюстительство чести и славы русской идеи и русской речи, за противодействие насилию, порабощению, холопскому низкопоклонству и льстивым компромиссам. Дом литераторов, как я знал его в 1919—1921 годах, был и жил именно таким страдальцем, неуступчиво стойким в своей святой вере. И если мой слабый голос привлечет к этому прекрасному свободолюбивому учреждению некоторое внимание моих читателей и обратит к нему их симпатии, я почту себя сделавшим посредством этого повествования не худое дело и буду тем искренне счастлив.

ПАМЯТИ АБРАМА ЕВГЕНИЕВИЧА КАУФМАНА

С глубокой скорбью прочитал я в «Руле» печальнейшее известие о кончине А.Е. Кауфмана[1]. В последние четыре года, под советским гнетом, он в литературном Петрограде был, мало сказать, видным — центральным человеком.

Я любил и очень уважал Абрама Евгениевича, особенно сблизившись с ним в 1920—1921 годах по совместному участию в комитете Дома литераторов, которого он был не только секретарем, но и воистину душою. Десятки заседаний просидел я между ним и А.Ф. Кони и десятки случаев имел изумляться такту, с каким Абрам Евгениевич умел вести утлую ладью нашу по бурному советскому морю, ежеминутно готовому ее поглотить. Недавно в «Обзоре печати» «Руля» я видел выдержку из какого-то советского органа, свидетельствующую, что А.Е. Кауфман был единственным из литераторов в Петрограде, с кем местная власть «считалась» и даже иногда «шла ему навстречу»[2]. Я охотно подписался бы под этим отзывом, если бы он был дополнен необходимою оговоркою: «Хотя Абрам Евгениевич не был ни на йоту “соглашателем” с советской узурпацией и нисколько не скрывал своей глубочайшей к ней антипатии».

Потому что льстецам-то своим, угодникам и даже просто ослабевшим людям, согласным скрепя сердце поклониться Зверю, сжечь на алтаре его формальную щепочку фимиама и приять печать Антихристову, советская власть всегда «шла навстречу» с широко раскрытыми объятиями, осыпая своих неофитов льготами, милостями и любезностями. В настоящее время, когда число литературных «соглашателей» значительно приумножилось, меня изумляет не столько факт их «соглашательства», — его в большинстве случаев давно уже можно было предчувствовать, — сколько их яростное усердие в новой службе, заходящее, право же, гораздо дальше того, на что от них рассчитывала и чего ожидала благоприобретшая их перья советская власть. Тут, что называется, соблазн от дьявола, ну, а подлость уж от самих себя.

Нет! В резкую противность всем подобным господам, Абрам Евгениевич держал свое литературное знамя честно, прямо и крепко. Не добавлю обычного «грозно». Он не был бойцом. Но —

Воплощенной укоризною,
Мыслью честен, сердцем чист,
Он стоял перед отчизною,
Либерал-идеалист...[3]

И эта пассивная, но безбоязненная и правду свою глубоко сознающая «укоризна» чистого сердцем и честного мыслью либерала-семидесятника вооружала его дипломатический талант такою убедительностью, что перед нею часто пасовало даже злое упрямство обломов и хамов, возглавляющих «исполкомы», «чека», «райкомы» и прочие милые учреждения, от дуновения коих ныне зависит, быть или не быть мыльному пузырю — жизни и свободе петроградского интеллигента. Я, не обинуясь, приписываю исключительно такту Абрама Евгениевича тот удивительный факт, что Дом литераторов, единственный и последний в Петрограде оплот независимой литературной братии, Антихристовой печати не приявшей, был в состоянии сохранить свою самостоятельность в течение двух с половиною лет, хотя дамоклов меч разгона и закрытия угрожал ему — уж и не знаю, сколько раз. Хотя жил он в рубище и в жестокой опале, под дождем постоянных доносов печатных, письменных и устных. Хотя «недреманное око» Смольного встречало решительно всякое хозяйственное и просветительное начинание Дома литераторов подозрительным недоброжелательством, как новый опыт скрытой «контрреволюции». Вся тяжелая дипломатическая борьба за существование учреждения ложилась на плечи А.Е. Кауфмана, равно как в материальной борьбе, — до изнеможения сил, — крутились, вертелись Б.О. Харитон, В.Б. Петрищев, Н.М. Волковыский. Ведь главным условием независимости Дома литераторов была его материальная самостоятельность: он не получал от советской власти никаких субсидий. Бился как рыба об лед, но обходился своими средствами, посильно питая 570 человек из еще уцелевшей петроградской интеллигенции. Не знаю, так ли обстоит все это дело и теперь. Судя по некоторым корреспонденциям советской печати, соглашательские элементы как будто успели проникнуть даже и в крепкие недра Дома литераторов. А дружный комитет его растерял за 1921 год ровно четверть своих членов: ушли в могилу Блок, скончавшийся от голодного истощения, расстрелянный Гумилев и замученный непосильным трудом и волнениями — жертва болезни сердца — Кауфман. Ушли в эмиграцию Ремизов и я. Но в конце августа Дом лите-

раторов стоял на своей позиции крепко. Его общее собрание и выборы выказали большую стойкость и единодушие литературной организации, спаянность которой выкована была опять-таки прежде всех и больше всех неотступно настойчивым молотом А.Е. Кауфмана. Он бил мягко, но упорно и в одну точку, и она поддавалась ему, может быть медленно, но верно и прочно.

В своих хлопотах и ходатайствах за погибающих, в своих усилиях накормить голодающих Абрам Евгениевич не знал утомления, не считался с самолюбием, удивлял долготерпением. Он не был ни большим писателем с всемирно прославленным именем, ни рекламистом, «добрые дела» которого эффектно совершаются в стеклянном доме, сопровождаемые трубными звуками на всю Европу и Америку[4]. Всего лишь за несколько месяцев до смерти имя А.Е. Кауфмана, как человека, самоотверженно работающего на спасение русской интеллигенции, едва-едва начало проникать в западноевропейские круги. Я живо помню восторг и трогательное недоумение Абрама Евгениевича, когда Дом литераторов совершенно неожиданно получил на его имя первую американскую посылку. Помню его бурное негодование и борьбу, когда на посылку эту наложил было свою цепкую лапку пресловутый глава Дома ученых г. Роде (тот самый, по имени которого это учреждение выразительно слывет в Петрограде «Роде-вспомогательным заведением»). Помню его неутомимый труд, внимание и мелочную щепетильность, когда, отвоевав драгоценную посылку, он старался разделить ее содержимое между наиболее нуждающимися в помощи.

Да, это был небольшой писатель, но большой человек, что лучше большого писателя и что, к сожалению, далеко не всегда можно сказать о большом писателе. Как-то раз шли мы с ним из Дома литераторов по Литейной, и он очень просто и спокойно рассказывал мне, как ему не удалось выхлопотать у Зиновьева ходатайство пред Чрезвычайкою за одного арестованного журналиста. Три раза ему был назначен прием, и три раза он не застал Зиновьева в назначенное время. На четвертый раз он долгие часы прождал в приемной, прежде чем удостоился узреть ясные очи петроградского диктатора и — получил отказ!..

— Что же вы теперь думаете делать? — спросил я.

А он — с невозмутимою ясностью:

— А я завтра опять пойду...

И так это живо представляется мне сейчас, как в серебряных кудрях своих и бородке не то под Михайловского, не то под Жемчужникова, сидит он, уважаемый литератор, образованный человек, вдоль, поперек и кругом интеллигент, сидит и терпеливо ждет час за часом, со своею-то грудною жабою, когда удостоит приемом его, старого почтенного еврея, молодой невежественный выскочка, которого он помнит на местечковой улице грязным цуциком, едва видным от земли, с хвостиком рубашки из штанишек... Примет его этот случайный «властитель судеб» и, надменно выслушав, надменно откажет. А он завтра — опять, послезавтра — опять, и опять, и опять... и так будет ходить и ходить, сидеть и сидеть, стучаться и стучаться, пока не доходится, не досидится, не достучится до своего. А «свое» для него — это спасение жизни, свободы или здоровья человека, часто ему совершенно неизвестного до вчерашнего дня, иногда же им даже нелюбимого... Как и наилучший пример отмечу его настойчивую агитацию за принятие в члены Дома литераторов известного критика В.П. Буренина, кандидатура которого была встречена частью правления не особенно доброжелательно. А.Е. Кауфман не мог любить Буренина ни как писателя, ни как человека, и имя это в нем, еврее, будило много горьких воспоминаний[5]. Однако пред больным стариком, пред пухнущим с голода дряхлым литератором-профессионалом он сумел не только сам зачеркнуть былую антипатию, но и заставил других от нее отказаться. Более того: чтобы дать Буренину какой-нибудь заработок, Абрам Евгениевич печатал в своем «Вестнике литературы» его старческие стихи[6].

Есть на Востоке пословица: «Когда еврей хорош, лучше его не бывает человека на свете; когда еврей плох, на свете не найти человека хуже его». Я думаю, что когда Кауфман беседовал с Зиновьевым, то обе половины этой пословицы находили себе живое подтверждение и воплощение. Их вдвоем можно было бы показывать как две части шарады. О достоинствах Кауфмана как еврея, конечно, евреям же и надо судить, но, в наших русских глазах, он был хороший, очень хороший еврей — и такой же хороший русский интеллигент-патриот, в самом лучшем значении последнего слова. Кровно сроднившийся с культурными традициями старой русской интеллигенции, страстный обожатель и знаток русской литературы, типический либерал-семи-

десятник, он любил Россию, если можно и понятно будет так выразиться, по-некрасовски, связанный с «родиной-матерью»[7] неразрывною пуповиною. Он откровенно говорил мне, что не представляет себя в эмиграции.

— Знаю, что там и дело мне найдется, и средства кое-какие будут, и люди некоторые будут мне близки и рады, и, наконец, удалясь от здешних дел, я, наверное, сберегу года два-три жизни, но... как же без России-то? без всей этой поганейшей и возлюбленнейшей России, черт бы ее побрал и Господь ее благослови?! Не могу, задохнусь...

В августе 1918 года, когда советский террор задавил русскую периодическую печать, я дал себе слово, что в пределах «Совдепии», в подчинении ее цензурным застенкам, я не напечатаю ни единой своей строки. Многим коллегам по профессии мое решение казалось бесполезно самоубийственным. Иные им раздражались как некоторым тормозом их собственной склонности к компромиссам, уже намечавшимся то в форме телеграфного агентства, то в форме школы журналистов[8], — участникам этого учреждения я еще в 1920 году предсказывал, что «коготок увяз, всей птичке пропасть». Третьи, наконец, оптимистически доказывали мне, что я не прав: если, мол, литератор лишен возможности громкой, протестующей речи, то ведь остается еще нейтральный шепот, и он лучше безмолвия, потому что все-таки сохраняет традицию публицистического слова и поддерживает привычку к нему в обществе. А.Е. Кауфман принадлежал к числу этих третьих, а вот тут мы с ним расходились и никак не могли столковаться. Он сам издавал такой «нейтральный шепот» под названием «Вестника литературы». Это единственное несоветское издание в советском Петрограде стоило ему страшной затраты сил, времени, нервов, а развивалось оно, в тисках советского надзора, конечно, туго и анормально, как нога китаянки, заделанная в деревянный башмак. Было ли оно полезно — право, не возьму на себя решать. Потому что, при всем редакторском старании Абрама Евгениевича, при всем его искусстве в дипломатической лавировке между скалами и тайными мелями советского контроля, лучшее, до чего он успел достигнуть и что безусловно можно сказать об его журнале, — это что в «Вестнике литературы» не было нечистоплотных угоднических статей. По именам участников журнал казался даже блестящим, но придавленные роковым условием

«нейтрального шепота» имена фатально осуждены были толочь воду в ступе и переливать из пустого в порожнее. А.Е. Кауфман, как старый журналист, конечно, хорошо понимал эту безысходную обреченность своего издания, но мечтал и усиливался сохранить его целым до лучших времен, чтобы, в изменившихся государственных условиях, ввести его в воскресшую печать, как Израиль из пустыни в Землю обетованную. Он обожал это свое детище, «Вестник литературы», и к репутации его относился с отцовскою ревностью, даже несколько болезненною. Однажды в заседании я произнес несколько резких слов против кое-каких газетных проектов, о которых тогда дошли до нас слухи: то были еще робкие предвкушения ныне осмелевшего и развивающегося соглашательства. В перерыве заседания Кауфман так и бросился ко мне:

— Надеюсь, вы «Вестник литературы» в число подобных изданий не включаете?

Я, изумленный, только руками развел:

— Абрам Евгениевич! что вы?! надо ли об этом говорить?!

— Ах, знаете, когда идешь по лезвию ножа, всего можно ждать, всего можно ждать!

Тиха и скромна была жизнь этого человека, мучительно свершавшего — далеко не журнальный только, но очень разносторонний — подвиг ответственного и страшного шествия по лезвию ножа. Рекламная статистика не вела счета людям, которых Кауфман выкланял-вымолил — спас от смертной казни, выручил из тюрьмы, вырвал из когтей Чрезвычайки, заслонил своевременной помощью от голодной и холодной гибели, поднял с одра болезни, соединил с разлученною семьею. Но теперь, когда земную часть Абрама Евгениевича скрыли гроб и могила, не будет нарушением скромности сказать, что история русской культуры не забудет и когда-нибудь высоко оценит этого друга нашей интеллигенции, верного, стойкого, бесстрашного, самоотверженного — в самые трудные годы, в самых ужасных обстоятельствах, какие она когда-либо переживала. И поставит его смиренное имя и особо, и много впереди целого рода ныне громко хвастливых имен из той категории «спасателей», что научила и заставляет эту злополучную интеллигенцию покупать свое спасение ценою своего, как удачно выразился Мережковский в одной статье о Горьком, «оподления»[9].

«ЖИЛИ-БЫЛИ ТРИ СЕСТРЫ»
(Памяти Ек.П. Летковой)

В дни моей юности это сказочное начало было чрезвычайно популярно в русской интеллигенции, которая, кстати сказать, тогда еще не знала, что она «интеллигенция»: слово хотя уже родилось, но еще только начинало входить в разговорный и печатный оборот. Замечу мимоходом: изобретение «интеллигенции» приписывал себе Боборыкин, и, с его слов, утвердилось за ним право авторской собственности на нее. А, по-моему, это неверно. «Интеллигенция» старше. По крайней мере, Лев Николаевич Толстой употребил слово «интеллигенция» уже в 1861 году, в объявлении о своем педагогическом журнале «Ясная Поляна»[1]. Был ли он в этом случае изобретателем или заимствовал «интеллигенцию» у какого-либо неведомого предшественника, не знаю, но, во всяком случае, Толстой опередил боборыкинскую претензию. Дальнейше исшедшая из обжившегося в обществе слова производная «полуинтеллигенция» появилась только в 90-х годах. Чуть ли не я первым пустил ее в печатный оборот в фельетонах «Нового времени». А впрочем, если найдется Бобчинский, претендующий на первенство, пусть пользуется, я оспаривать не буду.

«Жили да были три сестры» — заглавие много читавшейся нашими отцами и матерями повести Марка Вовчка (Маркович)[2], писательницы, в 50—60-х годах знаменитой. Тургенев с нею дружил и для какой-то ее книги написал предисловие[3]. Добролюбов ее приветствовал восторженной критикой, на которую с сердитым вниманием огрызнулся Достоевский[4]. С детства помню, что имя Марка Вовчка произносилось в нашем доме с любовью и уважением, как одной из «великих». Шестидесятная литература изобиловала женскими талантами: Марко Вовчок, Евгения Тур (графиня Сальянс-де-Турнемир), В. Крестовский (Н.Д. Хвощинская), Ю. Жадовская, Кохановская и др. Беспощадное время стерло все эти женские имена с памятной доски неблагодарного общества.

Любопытно, что заглавия некоторых произведений женской литературы удержались в общественном обороте крепче авторов. Вот как «Жили да были три сестры», «В стороне от большого света» (роман

Жадовской), «После обеда в гостях» (Кохановской)[5] и т.п. Хорошо — пословично и ритмично — придумывались, вот и запомнились. А недавно один хороший знаток новейшей русской литературы, ходячий словарь ее имен и библиографии, спросил меня, точно ли крупною писательницей была «В. Крестовский» и чей это псевдоним? Что псевдоним, он знал по отметке в скобках, которую В. Крестовский — Хвощинская ставила в подписи для отличия от Всеволода Крестовского. Так глухо забыта сочинительница «Большой Медведицы», «Баритона», «Попечителя учебного округа»[6] и др., которую наши отцы чтили Тургеневу равною, «Вестник Европы» печатал на почетном «тургеневском» месте, критика уподобляла Бертольду Ауэрбаху и Фридриху Шпильгагену. А впрочем, если в корень смотреть, то много ли памятнее теперь и сами-то Ауэрбах и Шпильгаген? Даже в Германии, не только у нас?

От Кохановской — все-таки нет-нет, да кто-нибудь вспомнил классический рассказ «После обеда в гостях». Жадовскую от полного забвения спасет хрестоматическая «Нива моя, нива, нива золотая»[7]. Но, вообще-то, об этой поэтессе, когда-то популярной наравне чуть не с Некрасовым и Никитиным, а с Плещеевым-то уж всеконечно, сохранилось только И.А. Буниным воскрешенное, не весьма эстетическое воспоминание, что она умерла, провалившись в отхожее место[8].

Впрочем, забвение поглотило не только литературных корифеек 50-х и 60-х годов, но и корифеев. Прямо удивительно, как быстро и глубоко канула в Лету беллетристика шестидесятников. Более ранние, из 40-х годов, и несколько более поздние, из 70-х, лучше памятны. Но кому, кроме специалистов по истории литературы, знакомы гремевшие когда-то Авдеев, чей «Подводный камень»[9], однако, «сделал эпоху» в «женском вопросе», Ахшарумов, Омулевский, Бажин? Или взять несколько позже и из другого лагеря — Авсеенко? А уж этот на моей памяти: его «Скрежет зубовный» читался нарасхват, печатаясь в «Русском вестнике» наряду с «Анной Карениной» и «Братьями Карамазовыми»[10]? Но даже и у меня, неуемного в юности чтеца с цепкой памятью, уцелело в ней от этого знаменитого «Скрежета» только имя какой-то сверхъестественно очаровательной и великосветской княжны Полины. Да и то, пожалуй, благодаря не роману, но минаевской на него эпиграмме:

Скрежетала мандолина
Скрежетом зловещим...
Выходи, моя Полина,
Вместе поскрежещем!

Впоследствии, уже в литературные годы, в Петербурге суждено мне было не только познакомиться с В.А. Авсеенко — стариком, уже почти совсем забросившим писательство, — но и встречаться с ним ежедневно за завтраком у Кюба[11]. И много мешала мне тогда эта окаянная Полина. Чуть, бывало, завижу его — старого и старомодного, безукоризненного франта в желтых перчатках, манерного, как герои французских романов Второй империи[12], с очень некрасивым лицом, когда-то, может быть, мефистофельски демоническим, но к старости обсохшим и вылинявшим в маску Кащея Бессмертного, — чуть завижу, сейчас же мелькнет в воображении Полина, скрежещущая под мандолину. Ну и смешно, а надо быть очень серьезным, потому что Авсеенко был щекотливо обидчив, и хотя не подозрителен, но чуток. Свое джентльменское достоинство он хранил строго и в обращении был настолько изысканно учтив, что многие находили его вежливость даже оскорбительной. Словно, мол, испанский гранд с фамильного портрета благосклонно снисходит до внимания к простому смертному. Очень умный и культурный чувствовался в нем человек — именно чувствовался, потому что высказываться он не старался и был вообще несловоохотлив.

Впечатление этакого престарелого Рене или Армана Дюваля[13] пополнялось в Авсеенко тем, что он был игрок. Это к нему романтически шло так же, как тщательнейшие щегольские костюмы с иголочки, но умышленно старомодных фасонов, — где он только находил портных, еще умевших так шить? — и неимоверно шикарные галстуки, опять-таки моды — отступя четверть века назад. Говорят, в Сельскохозяйственном клубе, первенствовавшем в Петербурге 90-х годов[14], Авсеенко играл крупно и считался из серьезных игроков.

За завтраками в ресторане Кюба игра шла «детская» — в орлянку[15], но все-таки на золото. Здесь Авсеенко играл мелко и прижимисто, но умело и счастливо, почти всегда умеренно выигрывал. Думаю, что эти маленькие выигрыши составляли немаловажную статью в его далеко не богатом бюджете, потому что, при всем своем джентльменстве, он не успевал совершенно скрыть некоторой жадности на эти случайные

стяжаньица, не превышавшие двух-трех «матильд». (Так прозваны были в игрецком Петербурге 90-х годов пятирублевые золотые — в честь Матильды Витте, супруги Сергея Юльевича, вводителя золотой валюты[16].) Мне навсегда запомнилась тонкая, сухая, аристократическая, но уже птичьей лапе подобная, старческая рука Авсеенко, как он ею, слегка дрожащею от тщательно скрываемого волнения, прикрывает выигранную «матильду» и медленно, с любовью, влечет блестящий золотой кружок по скатерти к себе под салфетку.

Вот как далеко в сторону отвело меня воспоминание о том, как «жили да были три сестры». А пробудили его — совсем неожиданно — недавние некрологи Екатерины Павловны Султановой-Летковой. Это о них, трех сестрах Летковых, острила заглавием повести Марка Вовчка Москва конца 70-х и начала 80-х годов.

Три сестры — три красавицы — три сказочные царевны: Елена, Юлия, Екатерина. Не разобрать, которая лучше. Прекраснейшею из трех считалась Елена. Ее я видел и помню только мельком — проскользнула пред юношескими глазами, «как мимолетное виденье, как гений чудной красоты»[17]. В противность сестрам, которым суждена была жизнь до преклонной старости, Елена Леткова недолго украшала собою восьмидесятную Москву. Выйдя замуж за богатого владельца одной из лучших московских аптек (кажется, Полянской), по фамилии Зенгера или Зингера (не припомню точно)[18], Елена Павловна умерла родами. Ранняя смерть ее наделала в свое время немало шума в Москве. Этот Зенгер был в одно и то же время необычайно счастливым и столько же несчастным на браки. Трижды женился он на красавицах, одна другой лучше, и все три его супруги, после недолгого благополучия, оставляли его мыкать горе во вдовстве. Москва, конечно, прилепила на лоб столь незадачливому вдовцу ярлычок клички «Рауля Синей Бороды»[19]. Само собою разумеется, совершенно неосновательно, разве лишь с тою долею справедливости, что, по слухам, Зенгер был весьма ревнив. Оно и неудивительно в обладателях редких красавиц, на которых зарились все московские Дон-Жуаны, Ловеласы, Фобласы[20], Казановы и прочие сих дел специалисты. Хотя и вотще — по крайней мере, что касается Елены Павловны. Была ли она второю или третьею супругою Зенгера, не припомню.

Юлию Павловну знает во многих лицах не только вся Россия, но и весь шар земной, в тех своих культурных частях, где имеются худо-

жественные музеи и картинные галереи, иллюстрированные журналы и олеографии. Супруга знаменитого художника, Константина Егоровича Маковского, Юлия Павловна глядит едва ли не со всех картин лучшей поры его творчества. Можно сказать, что ею вдохновлена вся та оперно-ряженая Русь, которую так размашисто-красиво, хотя и с театральной условностью, изображал Маковский в своих «Боярских пирах», «Поцелуйных обрядах»[21] и т.п. Царевны, боярыни, боярышни Маковского — все это Юлии Павловны. Лишь впоследствии, когда супруги разошлись[22], величаво прекрасные, темно-русые русские царь-девицы ушли с полотен художника, уступив место блондинно-хрупким фарфороподобным русалкам и Евникам. Но эти — не скажу, чтобы много новых лавров вплели в венец маэстро, уже состарившегося и не находившего в себе сил для новых слов. Юлия Павловна, насколько мне известно, благополучно здравствует, проживая где-то во Франции. Ее сын, Сергей Константинович Маковский, — известный литературный и художественный деятель, поэт, критик, издатель «Аполлона», один из двигателей и патронов русского искусства, замечательный знаток живописи и других художественных ценностей. О нем что-то давно не слышно в эмиграции, но в первые годы ее, в Чехословакии, потом в Париже, он играл в ней весьма заметную роль.

Третья сестра — Екатерина Павловна — совсем недавно отошла на тот свет, должно быть в весьма преклонном возрасте. Т.С. Варшер в своих коротеньких воспоминаниях, помещенных в «Сегодня»[23], уже указала, что некрологи, давая Екатерине Павловне 72 года, очень ее омолодили. Надо думать, что так, потому что вот — мне честно и документально семьдесят пятый год, а я был гимназистом седьмого-восьмого класса, когда Екатерина Павловна не только сияла в Москве звездою большого света: это еще не обличает возраста, но уже и литературное имя имела, была весьма замечена и критикою, и публикою, печатала в толстых журналах повести, ученые статьи и переводы с нескольких языков[24]. В те времена нынешних ранних литературных карьер не бывало. Вращалась она в кругах самой отборной московской интеллигенции, или, пожалуй, вернее будет сказать, что вокруг нее группировались интереснейшие люди московской литературы, журналистики, профессуры, адвокатуры, земства, педагогии, — обыкновенные смертные не в счет. Тут и М.М. Ковалевский, и А.Ф. Кони, и Ф.Н. Плевако, и молодой, но уже модный В.А. Гольцев — кого-кого

только нет! Думаю, что не оставалось в те времена ни одного выдающегося на московском горизонте светила, которое не покружилось бы хоть немного в сфере притяжения этой солнечной девы, «благоговея богомольно пред святыней красоты»[25].

Пятьдесят лет спустя, в комитете петербургского Дома литераторов, на заседаниях, как-то устроилось так, что правый угол стола всегда занимали последовательно — я, Екатерина Павловна Леткова, А.Ф. Кони, А.Е. Кауфман, Вас.Ив. Немирович-Данченко. Как-то раз случилось мне сесть вместо прежнего на соседнее, второе. Но — пришла Екатерина Павловна и пересадила меня, с шуткою:

— Знаете, мы с Анатолием Федоровичем должны быть рядом. Духовный брак. Что Бог соединил, человек да не разлучает[26].

— Екатерина Павловна, да когда же, собственно говоря, это было, что Бог вас соединил?

— Ах, не спрашивайте хронологии. Неприятная наука. Довольствуйтесь фактом. Так давно, что ни я, ни Анатолий Федорович этого не помним.

Литературность юной Екатерины Павловны, интерес ее и тяготение к общественным вопросам, прикосновенность к кругам либеральной оппозиции и даже некоторое скольжение по окраинам революционного подполья придавали ее красоте особую пикантность: оригинальна была. И среди московских красавиц тем, что — поди же ты, до чего хороша, а между тем какая передовая и дельная умница! И среди передовых умниц, ибо таковые в огромном большинстве, блистая красотой талантов и нравственных качеств, отнюдь не блистали красотою физическою.

Стояло или, точнее, начиналось переходное время «женского нестроения». Впоследствии я издал целую книгу под таким заглавием[27] и в романах своих немало возился с этим хроническим явлением. На смену отжившему правоверному нигилизму «эмансипированных» шестидесятниц в новых женских поколениях нарождался феминизм. 70-е годы в русском «женском сословии» — это длительная борьба классической нигилистики — «стрижки» в синих очках и с умышленно грязными ногтями против возродившихся, по эстетическим требованиям общества, «барышни» и «дамы». Победа клонилась несомненно на сторону сих последних. Тургеневская Авдотья Кукшина перестала ходить халдою «растрепе», лесковская Дарья Бизюкина вымыла руки,

лесковскую же девицу Бертольди не принимали больше в бане за мужика, ибо она отрастила стриженые волосы и даже завила челку[28].

Но борьба вырабатывает компромиссы. Эстетизм, побеждая, должен был, однако, согласоваться с духовными и общественными завоеваниями предшествующего поколения. Отсюда к 80-м годам выработался тот интересный тип свободомыслящей и свободолюбивой самостоятельной, глубоко культурной девушки-умницы, в которой «барышня» и «студентка», «курсистка» прелестно уживались и уравновешивались с некоторым, впрочем, перевесом в сторону «барышни».

Екатерина Павловна Леткова была идеально цельным экземпляром этого компромиссного типа. Можно сказать, прожила им всю свою долгую жизнь, с ранней молодости до глубокой старости. Замечательно крепкий, устойчивый, верный себе был тип. Потребность жить духовным и общественным интересом не угасала в нем никогда, ни при каких обстоятельствах. В каких только обществах, кружках, группировках не участвовала Екатерина Павловна даже на седьмом десятке лет, и никогда не номинально, всегда деятельно. Хотя бы в упомянутом выше Доме литераторов. Пропустила ли она хоть одно комитетское собрание?

В 1920 году, в самое скверное время «красного Петрограда», под жомом «Гришки» Зиновьева, иду я Невским проспектом, поглощенный глубоким раздумьем о выдаче, ожидающей меня в Доме литераторов: будет селедка или нет? На углу, где прежде был магазин Дациаро, вижу, женская группа, четыре дамы в оживленной беседе. Стоят и — слышу еще издали — спорят с горячностью. Что такое? Пайка, что ли, поделить не могут? Какое там! Ловлю отрывочные фразы:

«Диль говорит... Крумбахер сомневается... Это еще у Финлея... А наш Кондаков доказал...» О, Господи?! Что это? Уж не брежу ли я с голодухи? В опустелом, полуразрушенном городе, на улице, по которой снуют оборванные, в дырявой обуви, бывшие люди с единою мыслью в голодных глазах на истощенных лицах: как бы раздобыть фунт хлеба или малую толику воблы да променять бы крест с шеи на сало либо сахар? — и вдруг, — Византия, Диль, Крумбахер, Кондаков... Кто такие?.. Подхожу ближе: ну, конечно, кому же быть еще? Наши восьмидесятницы, Екатерина Павловна с тремя пожилыми дамами того же приблизительно возраста... Вот-то уж — какова в колыбельке, такова и в могилку! Оказалось: г-жа Рождественская (кажется, не оши-

баюсь) выпустила литографированный труд по византийской истории[29], — так вот из-за нее-то и загорелся сыр-бор необходимо спешного женского спора на Невском проспекте перед изумленно глазеющей милиционеркой с винтовкой.

Редкостная сердечность, отзывчивость, благодушие и до поздних лет сохранившаяся живость, даже некоторая резкость характера спасали Леткову от педантизма, свойственного «семинаристам в желтой шали и академикам в чепце», которых так не любил Пушкин, не доживший, однако, до махрового расцвета этой женской породы на клумбах российской культуры. Должен сознаться, что с ее литературными трудами я очень мало знаком, а беллетристики так и вовсе не помню, хотя в 80-х годах «Леткову читали» и принимали всерьез... Но это было так давно, так давно! Антон Чехов был еще Антошей Чехонте, а до Бунина, Куприна, Сологуба оставался добрый десяток лет, если не больше. Статьи Летковой, сколько вспоминается мне, если и бывали отчасти в духе и тоне «дамского рукоделия», свойственного той эпохе, всегда отличались добросовестным изучением предмета, благородством мысли, хорошим языком, духом женственной мягкости в строках и между строк. Всегда была она верна пушкинскому завету: «В наш жестокий век славила свободу и милость к падшим призывала»[30].

Образцом красивой женственности прошла Екатерина Павловна отведенный ей Богом, почти восьмидесятилетний срок на земле. Прелестная барышня, красавица-дама, внушительная матрона, величавая старица. Частной жизни ее я не знал. Замуж за архитектора Султанова она вышла, кажется, довольно поздно для блестящей звезды московского света: должно быть, была разборчивой невестой, как то блестящим звездам свойственно. Муж ее, человек талантливый, пользовался в Москве репутацией хорошего художника и влиятельного общественного деятеля, несколько поколебленной (не по его вине) неприятной историей при сооружении памятника Александру II в московском Кремле.

Монумент этот, воздвигнутый по всенародной подписке, предполагался великолепным, а вышел безобразным. Причина та, что огромный капитал, собранный подпискою, к сроку сооружения оказался растраченным наполовину, и Султанов очутился перед неосуществимым проектом, который, однако, по требованию генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, должен был быть осуществлен

во что бы то ни стало. Поэтому жестоко урезали первоначальный план монумента и, ради удешевления стройки, вместо мрамора взят был песчаник, пользовались каким-то бракованным гранитом со «свищами», который начал, выветриваясь, крошиться и разрушаться чуть ли еще не до открытия памятника[31].

Я, в те годы московский фельетонист «Нового времени», изобличил этот некрасивый архитектурный подлог, насколько то было возможно в тогдашних цензурных условиях[32]. Статья стоила А.С. Суворину серьезных объяснений в Главном управлении по делам печати, а меня навсегда лишила великокняжеского благоволения, какового, впрочем, и раньше не было. Султанов в этом монументальном крушении был не более как без вины виноватым стрелочником — козлом отпущения за грехи воров высокопоставленных и трудно досягаемых.

ПОВЕСТЬ О ДОБРОМ БОЛЬШЕВИКЕ

Получил я от М.А. Осоргина известие, что умер Константин Андреевич Лигский[1]. Хочу помянуть его добрым словом, хотя тринадцать лет тому назад встала между нами стена-разделительница: его внезапный уход к большевикам[2] и усердная служба им, в которой он достиг «степеней известных»[3] включительно до крупных дипломатических постов (в Японии, в Афинах)[4]. Человек был интересный и для своего поколения (умер он, вероятно, лет этак сорока пяти) типически знаменательный. Я знал его хорошо: он несколько лет прожил у меня в доме — сперва в Италии, учителем моего сына Даниеле, ныне тридцатилетнего композитора и дирижера, потом в Петрограде (недолго) моим секретарем.

Ввел его к нам в семью наш незабвенный друг и — многие годы — сожитель, Герман Александрович Лопатин. А он обрел Лигского на пресловутой Кавийской (Кави ди Лаванья) колонии русских эмигрантов на итальянской Ривьере Леванте. Колония эта была неоднократно описана Б.К. Зайцевым[5] и М.А. Осоргиным[6]: они в ней подолгу живали. У меня Кави — место действия первой части последнего моего романа «Синь и глубь»[7], впрочем, только по пейзажу и общим чертам колониального быта, без лиц.

В Кави селились по преимуществу эсеры. Таковым был и Лигский, в печальном прошлом студент-медик[8], а затем террорист в боевой дружине, каторжанин Зерентуйской и Кутомарской тюрем и беглец из них[9]. Каторгу он отбывал вместе с Егором Сазоновым (истребителем Плеве) и сердечно возлюбил его. Из России «смылся» после некрупного террористического акта: участвовал в покушении на какого-то свирепого участкового пристава в каком-то южнорусском городе — не стрелял, однако, а лишь «стоял на стреме»[10]. Но был замечен и преследуем. Поимка ему, беглому каторжанину, грозила «виселкой». Окрыляемый этим соображением, Лигский, в беге от преследователей, ухитрился перепрыгнуть через какой-то недосягаемо высокий забор и, чуть не с самого того места, ударился прямым маршем в чужие края. Без денег, без языков, без паспорта все-таки умудрился достичь итальянской Ривьеры и вселиться в Кави, а потом к нам в Федзано и в Леванто.

У нас он прижился дружески. Много тому способствовал Г.А. Лопатин: пред ним Лигский благоговел, как пред живым памятником героических времен «Народной воли». Характер Константина Андреевича был не из легких. Образования и воспитания он был тюремно-каторжного, нрава соответственно угрюмого и подозрительного. Лопатин шутя называл его «необлизанным медвежонком». Надо было пуд соли с ним съесть, чтобы из-под грубой, тяжеловесной внешней оболочки выглянул настоящий Лигский: душа добрая, но выбитая бурею из равновесия и жестоко израненная, глубокая по чувству при недохватке умственной силы и знания, страстная до пылкости в исканиях удовлетворенности житейской, философской, религиозной, эстетической. А социально-политической? Странно сказать, что на меня этот доказанно твердый и много потерпевший революционер производил всегда такое впечатление, что в политике он только хороший солдат, честно исполняющий долг служебной присяги. Сердце же его горит стремлениями иного порядка, куда высшими и... увы, недоступными!

Этого чудака мучительно тянуло ко всем искусствам, и ко всем он как будто обнаруживал некоторые способности и на всех одинаково срывался. Лигский решительно не мог видеть или слышать, что кто-либо делает нечто красивое, без того, чтобы немедленно не попробовать самому: не осилю ли и я? Не по зависти, не по ревности к чужому таланту — нет, этой злой черты я никогда в нем не замечал.

Напротив, он скорее был склонен к чрезмерному почитанию «мозговитых голов», как он выражался. Нет, а в опытах самоискания: не найдет ли случайного исхода смутно бродящая в нем подспудная сила, не прикладная и самому ему непонятная, что она есть и на что годится. Удается то-то такому-то — а ну, может быть, тут и мой путь? И, забывая, что к артистическим достижениям люди приходят годами школы и труда, хватался сразу за верхи. Судьба поставила его на дорогу Марка Волохова, а между тем в «необлизанном медвежонке» жил самый настоящий Райский[11].

Так и швыряло Лигского от живописи в скульптуру, из скульптуры в музыку, из музыки в стихотворство, в беллетристику. Познакомился у нас со знаменитым итальянским художником-маринистом Антонио Дисковоло и принялся мазать полотно синею краскою для моря и желтою для берегов. А комнату свою испещрил ужасающими гротесками столь фантастического вида, что я осмелился спросить, не получил ли он заказ иллюстрировать страхи Хомы Брута из «Вия». Одним летом гостил у нас известный скульптор-самородок, мордвин Эрьзя, делавший тогда много шума на выставках Парижа, Венеции, Рима, Ниццы. Ныне он богат и славен, благополучествует в Буэнос-Айресе. Новая погибель для Лигского: вооружился долотом и молотом и давай долбить преогромную каменюку. Выдолбил нечто такое, что сам своего творения ужаснулся и утопил его в море. Долго оно просвечивало сквозь прозрачную лигурийскую зыбь, пока, слава Богу, не покрылось гравием. Если море у Леванто, не дай Бог, обмелеет, задаст это чудище задачу археологам и антропологам: каких веков, какая раса его истесала? Ибо даже в неандертальскую эпоху ваяли лучше.

Дом наш музыкальный, вагнерианский. Лигский, едва бредя пальцами по клавиатуре, усердствовал разбирать «Валькирию», «Зигфрида», «Сумерки богов». Что это было, до сих пор ушам страшно вспомнить! А то пилит на скрипке концерты, посильные Губерману или Крейслеру... Слушаешь, бывало, издали и думаешь: кого убить — его или себя?

В литературе Лигский мог бы успеть лучше. Я напечатал два-три его стихотворения и какой-то сибирский очерк: были совсем не плохи[12]. Но мелочи его не удовлетворяли. Ему, по обыкновению, хотелось вступить в победную борьбу с какой-нибудь огромной задачей. Едва подучился немецкому языку, сел переводить невесть зачем «Фауста»

Гете. Едва освоился немножко с итальянским, взялся за перевод изящной «Песни песней» Феличе Кавалотти. Конечно, из подобных покушений с негодными средствами получались лишь «перепирания на язык родных осин»[13]. Но худшая беда в них была та, что, при вкусе, чутье, любви ко всему изящному, в натуре Лигского был какой-то природный недостаток: к чему изящному ни прикоснется, сейчас же, против воли, огрубит. Что называется, «кружево посконью штопал».

Лигский недурно знал по-латыни. Я предложил ему перевести вместе с моим сыном Владимиром (Кадашевым) «Сатирикон» Петрония для приложения к моему «Зверю из Бездны». Он исполнил заказ очень добросовестно, но ему показалось мало Петрониева цинического языка, и он «усилил»: такую пряность развел, что и Неронов двор, слушая, пожалуй, покраснел бы. Перевод этот впоследствии был издан «Всемирной литературою», конечно, в умягченной редакции[14].

В вечном недовольстве собой, наконец и перелеты от искусства к искусству ему надоели. Стал он скучать, скучать. Жаловался, что живем слишком сыто, тихо, уединенно. Совсем как Аркашку Счастливцева, в обстановке чрезмерного довольства, когда он даже «уже толстеть было начал», вдруг обуяло внезапное сомнение:

— А не удавиться ли мне?

Стал часто бывать в Кави, попал там в компанию, равно усердствовавшую в философском мышлении и выпивке, и однажды, с того ли, с другого ли, в самом деле подвесился было за шейку на гвоздик: вовремя спасли — выхватили из петли! В кого-то безнадежно влюбился, в ком-то разочаровался. Терзался то ли утратою чистого идеала, то ли «озлоблением плоти». «Раздор мечты с действительностью», «бесцельное существование», «никчемная жизнь» — весь пессимистический репертуар в ходу денно и нощно. Словом, положение «пиковое» — и не только для него, но и для нас, потому что видим: стоит человек на границе психоза, — и что тогда с ним в нашей патриархальной глуши делать?

К счастью, посетили нас, один за другим, два велосипедиста — кругосветные путешественники на премию какого-то спортивного клуба. Один — известный впоследствии Панкратов, отчаянный летчик Великой войны: сбил четырнадцать немецких аэропланов, а с пятнадцатого был сам застрелен. Фамилии другого не помню. С их рассказов в Лигском возгорелось обычное пламя соревнования, и в один

прекрасный день он тоже укатил в велосипедное путешествие, хотя не кругосветное, но с намерением изъездить всю Среднюю Европу. Расстались мы дружественно, как дружественно и встретились потом в 1917 году в Петербурге.

За четырехлетний промежуток Лигский пережил много странных приключений. Между прочим, сошелся с антропософами[15] и работал (одновременно с поэтом Андреем Белым) у Рудольфа Штейнера в Дорнахе на постройке пресловутого храма[16], впоследствии сгоревшего, — как говорят, от поджога местными крестьянами по суеверию, что это-де капище черта и притон разврата. Я думаю, что, вопреки зубрежке материалистических авторитетов и социалистической «службе», Лигский, иногда резкий атеист на словах, втайне если не был религиозен, то очень скучал без религии и желал бы ее найти. Он принадлежал к тому странному поколению русских юношей-неудачников страстного и в основе несомненно мистического духа, что в предреволюционное пятнадцатилетие нашего века, в пестрых дроблениях декаданса, растерянно металось между богоборчеством и богоискательством. Сегодня громило атеистическими хулами и кощунствовало, завтра благочестиво возжигало свечи пред иконами (как Беневская в каторжной тюрьме) либо ударялось в какое-нибудь экстатическое сектантство, в буддизм, индуизм, спиритизм, теософию, антропософию — до магии включительно.

О религиозности Лигского я заключаю потому, что он был очень честен — и не то что «по-своему», в пределах партийных программ, а обыкновенно «буржуазно», по-человечески, «как Бог велел». Думаю, что по уходе в большевики, совершенном, я уверен, не за страх и корысть, но за совесть, эта религиозная честность двоила его жизнь весьма мучительно, потому что надо стало прятать ее куда-то в темный угол, подальше от людских глаз, в особенности товарищеских. А, пожалуй, больше всего — от своих собственных. Ведь, допусти себя до этой слабости — переглядываться с Богом (хотя бы и вызывающими на диспут глазами), большевить-то, пожалуй, станет и страшно. Так лучше завесить Боженьку полотенцем, как поступают хитрые бабенки, когда им охота сблудить, да боязно иконы.

Лигский был человек угловатый, прямолинейный. Крутые переломы путей испещряли его недолгую жизнь резкими зигзагами, но на извилистые уклоны и обходы едва ли он был способен, — куда ему! И

большевизм его был не более как новым зигзагом, ответственности которого он, может быть, тогда еще и не сознавал. Ведь это его превращение произошло на моих глазах и прямо-таки с какою-то молниеносною быстротою.

Нельзя было быть более твердым эсером, нельзя было более гневно стоять против большевиков, чем Лигский, когда мы встретились в Петербурге 1917 года. Уже [тот] факт, что он пошел ко мне, отъявленному врагу большевиков, в секретари и поселился у меня, достаточно выразителен. Г.А. Лопатин, им обожаемый, в Петербурге жил не у нас, а в Доме писателей на Литераторской, но у нас столовался и обыкновенно проводил все дни с полдня до сумерков. А так как старик уж очень ослабел зрением, Лигский ежедневно вычитывал ему своим громовым голосом чуть не дюжину газет. Что читалось, само собою разумеется, и обсуждалось. Враждебность же Лопатина к большевикам была остро непримирима.

В старой эмиграции я, несмотря на тогдашнюю мою близость с М. Горьким, мало знал большевиков, дружа больше с эсерами. Поэтому в 1917—1918 годах в Петербурге нахлынувшие большевики оказались для меня в некотором роде новой расой. Да и не только для меня, внепартийного чужака, но и для большинства прежних вождей эмиграции (не исключая даже собственных большевицких), которые строили-строили программы, как они эту расу поведут, а она сама взяла их под уздцы и повела, куда хотела. Между эсерами и меньшевиками большевицкая победа внедрила растерянность едва ли не пущую, чем поразила буржуазные круги. И началось в отстраненных от власти и деятельности партиях брожение и частое передвижение в большевизм.

Эти отпадения в стан победителей свершались очень редко в порядке подневольности или, того хуже, корыстного расчета, как было и есть в позднейшем «сменовеховстве». Нет, в громадном большинстве случаев люди делались жертвами некой разлитой в воздухе тяги-заразы. Она магнитно и как-то невзначай захватывала слабые натуры, сменившие душевное равновесие на неврастению — кто в окопах на фронтах Великой войны, кто в тюрьмах Акатуя, Зерентуя и Кутомара, кто в многолетней тоске, безработице и голодовке эмиграции.

Я видел изумительные примеры совершенно случайных *бессознательных* переходов к большевикам. Да взять того же Лигского. Сегодня человек с оружием в руках отстаивал от большевицкого штурма

занятый эсерами Пажеский корпус и еле оттуда ноги унес. Завтра не завтра, но очень вскоре устроил жесточайшую сцену, — до пены у рта! — кому же? Своему вчерашнему кумиру Г.А. Лопатину за то, что старик круто обругал Ленина и одобрял стрелявшую в него Каплан.

И пошло, и пошло. Вскоре наше идиллическое сожительство сделалось невозможным: каждый день столкновения вспыльчивого старика с уже вызывающе большевизанствующим, строя свой новый зигзаг, Лигским. Во избежание открытой ссоры жена моя дружелюбно посоветовала Лигскому выехать от нас. Он принял это понятливо и добродушно, и мы расстались в наилучших отношениях, которым он не изменил и в дальнейшие четыре года, что мы маялись в «красном Петербурге», тогда еще, по крайней мере, не опоганенном гнусным именем, теперь ему навязанным.

Когда именно произошла эта наша разлука, не помню точно. Во всяком случае, значительно позже убийства Урицкого Канегиссером[17], потому что Лигский, уже служивший на какой-то невинной должности по счетной части, был почти свидетелем акта, видел Урицкого еще теплым трупом и первый привез нам сообщение о событии. К слову сказать, оно сильно потрясло Г.А. Лопатина. Конечно, он не учил и не посылал Канегиссера убивать Урицкого, как то отмечает в своей характеристике Канегиссера также и М.А. Алданов[18]. Но Канегиссер благоговейно чтил старого героя «Народной воли», и ему не нужно было лопатинских словесных уроков и подстрекательства к частному случаю террора, когда он знал, что Г.А. признает и благословляет тактику террора вообще. Восторженному юноше оставалось только подражать, что он и сделал. Г.А. очень сокрушался, что Канегиссер погубил себя как бы под его косвенным влиянием, но в то же время был весьма прозрачно горд Канегиссером как своим героическим учеником.

Разлуки еще не было и во время Ярославского восстания[19]. Оно для нас ознаменовалось довольно курьезным поступком Андрея Соболя. Они с Лигским были друзья по Сибири и Кави и одних убеждений. Андрей Соболь тогда ненавидел большевиков, как чуму. Однако в ярославском разгроме он с великим трудом разыскал между убитыми труп Нахимсона и привез его в Петербург для воздания почестей. В Петербурге Соболь прежде всего — прямо с вокзала — направился к Лигскому, т.е. к нам на Песочную. Сообщил о своем подвиге и весьма наивно предложил другу принять Нахимсоновы мощи на хранение,

пока он переговорит о них с властями Смольного, пребывавшими тогда в великой растерянности. И очень удивился, когда Лигский отвечал, что о том и думать нельзя.

Между прочим: Нахимсон, погребенный на Марсовом поле чуть ли не с царскими почестями, удостоенный переименования по его фамилии Владимирского проспекта, был большевиком весьма сомнительным. Настолько, что погребатели-чествователи сами намекали:

— Счастье Нахимсону, что догадался быть убитым. Не то быть бы ему у стенки.

Кто говорил, что он проворовался на продовольствии Красной армии, кто — будто заподозрен и почти уличен в сношениях с Савинковым. Но смерть покрыла все счеты, а большевикам было не до того, чтобы поднимать загробный скандал. Напротив, им тогда нужны были герои, и раз Нахимсон умел красиво умереть, то они его и использовали.

Sit divus dum non sit vivus[20].

Судьба Андрея Соболя общеизвестна. Подобно Лигскому, он порвал с эсерами и открыто перешел в большевизм. Кажется, их обоих увлек в эту перелицовку «мозговитый» Прошьян, бывший товарищ по сибирской каторге и итальянской эмиграции. Впоследствии, не стерпев бессмысленности своего союза с большевиками, Андрей Соболь начал отравляться, стреляться и наконец застрелился-таки.

Лигскому повезло лучше (или хуже, это — глядя по человеку: на мой взгляд, например, хуже). Большевики хорошо поняли в нем превосходную исполнительную силу совершенно еще не использованной энергии и завалили его такою массою ответственной работы, что, в новом зигзаге, ему не то что гамлетовски рассуждать о себе, а прямо-таки вздохнуть было некогда. Пока советское правительство оставалось в Петербурге, чего-чего только Лигский по службе не делал, чем не заведовал! Благодаря знанию с грехом пополам трех языков попал в товарищи петербургского наркоминдела, а фактически управлял сим ведомством как самый настоящий министр, ибо начальники его один за другим проворовывались и слетали с мест позорно, а заведомою честностью Лигского большевики дорожили: редкая птица! — и держали его в несменяемых. Был инспектором тюрем. Устраивал народные празднества и художественные выставки. Строил и выстроил кре-

маторий, в котором (по собственному его рассказу, — см. в моих «Горестных заметах») трупы хотя не хотели гореть, но весьма доброкачественно жарились[21]. И так далее. «Фигаро здесь, Фигаро там».

Каким образом случилось, что при такой работоспособности и честности Лигский все-таки держался как бы в черном теле — не выбился на верхушки советской власти? Да я думаю, что именно по этим двум и другим положительным качествам своего характера. Большевики рассуждали так: «Посади Лигского ведомством начальствовать, кто же станет за него работать? Сними Лигского с должности, трудной для контроля, на его место непременно сядет вор». Сверх того, Лигский не был ни жесток, ни развратен, а выпить хотя любил, но по-компанейски, по-студенчески, «с разговорцем». Словом, для собачьей угонки на злобность и резвость, какою создавались карьеры Зиновьевых, Ягод, Петерсов, Менжинских и пр., — их же имена, Ты, Господи, веси и авось когда-нибудь их покараеши! — Лигский совершенно не годился.

А потому и застрял на положении работяги по средним делам; преимущественно по требующим некоторой культурности и хоть поверхностного уменья обращаться прилично с недорезанными буржуями и, того паче, с иностранцами. Что Лигскому с «товарищами» было жутко, доказывает его уход из большой петербургской карьеры в заграничную торгпредскую службу, в которой он и остался уже до самой смерти, настигшей его на отдыхе в Карлсбаде.

Думаю, что много мешала ему крепкая память большевиков об его былом эсерстве и о прежних буржуазных дружбах и знакомствах. К чести Лигского надо сказать, что в своем большевицком зигзаге он старой хлеба-соли не забывал и всегда старался быть полезным тем, кого покинул. Я, например, много обязан ему: не только троекратным освобождением из-под арестов[22], но если бы Лигский не присылал нам дров, то мы в зиму 1919—1920 годов должны были бы замерзнуть без топлива. А когда Даниеле, насильно мобилизованный против Юденича, дезертировал, т.е., попросту сказать, бросив винтовку, преспокойно ушел домой, за это и был осужден на расстрел, — единственно Лигский устроил как-то так, что дело обошлось и «засохло» без последствий. (Но о том см. мои «Горестные заметы».) Когда я в них говорю (довольно часто) о «добром большевике», это — Лигский. С 1922 года я потерял его из вида и уже не знаю, в каких зигзагах провел он это десятилетие и кончил жизнь[23].

«РЕВОЛЮЦИИ РАДИ ЮРОДИВАЯ»
(Марья Валентиновна Ватсон)

Прочитал в «Сегодня» о кончине М.В. Ватсон. Откровенно сказать, я уже лет семь почитал ее отошедшею из мира сего в пребывание «со духи праведны»[1]. В газетах — ошибкою — было, и опровержений не последовало. А было даже не о смерти, но уже о каком-то безобразии, якобы учиненном беспризорными или иными подсоветскими хулиганами над ее могилою на петербургском Волковом кладбище. Помню, я тогда еще подивился, как же это вышло, что мы, зарубежники, проморгали смерть такой замечательной, единственной в своем роде женщины и узнаем о ней только из заметки о кладбищенских непорядках? Теперь оказалось — и Марью Валентиновну до срока уморило и похоронило, и на мнимой могиле ее дебоширило репортерское вранье. И только теперь — увы! — действительно «имею честь поздравить вас с новопреставленной!» — как выражается некто в одном из самых мрачных рассказов Бунина[1a]. Молодец, старушка! Долго уклонялась от смертной повинности: ведь кумир души ее, царь ее мыслей, друг и дитя ее кроткого сердца, Семен Яковлевич Надсон, умер в 1886 году, а она, пережившая Надсона на полвека, была значительно старше его.

В общественной жизни Петербурга Марья Валентиновна всегда была весьма заметна. Но в преклонных годах своих она уже могла быть смело причислена к достопримечательностям града Петрова, наравне с Адмиралтейскою иглою, Медным всадником, Сфинксами Невской набережной. Ее, можно сказать, уже знатным иностранцам показывали как одну из тех семи праведных душ, без которых, по народной вере, ни один город не стоит. А уж грешному-то предреволюционному Питеру, конечно, не миновать было «провалиться в чухонское болото», что искони и пророчили ему славянофилы.

Не знаю, кого считать вровень с Марьей Валентиновной, остальными шестью петербургскими градоспасительными душами, но она была из праведниц праведница. Настолько, что, когда славянофильское пророчество почти что оправдалось и Питер ухнул если не прямо в «топь блат», то, не лучше, в грязь большевицкой лужи, даже неистовое зверство победителей-ленинистов не дерзнуло посягнуть на почтенные седины «сей остальной из стаи славной»[2]...

А между тем кто в оробелом, порабощенном Петербурге острее и глубже ненавидел большевиков, бесстрашнее, громче, усерднее ругал их — да кабы за глаза, а то ведь прямехонько в глаза? Когда Марья Валентиновна принималась отчитывать большевиков и соглашателей, то близстоящие интеллигенты спешили незаметно рассеяться и улизнуть, дабы не угодить в Чеку уже за одно слышание ее продерзостей. Но обличаемые «кожаные куртки» только улыбались сквозь досаду и конфуз да плечами пожимали:

— Юродивая!

Так Иван Грозный не смел тронуть Василия Блаженного в Москве, бежал в смущении и страхе от Николы Салоса во Пскове, когда святой юрод предложил царю-человекоубийце кусок сырого мяса:

— Пожри, Ивашка, это твоя пища!

Большевики были отчасти правы: Марья Валентиновна была действительно «юродивою». Но не «Христа ради юродивою», а «юродивою революции ради». Эта женщина жила и дышала старинным идеалом некой утопической революции, воображая ее с пафосом типической «семидесятницы», народницы-фанатички, воспитанной на Некрасове, подруги и няни Надсона. Всем нам, юным интеллигентам той эпохи, революция снилась грозною, но прекрасною богинею справедливости, восходящею на баррикады, с красным знаменем в одной руке, с правосудным мечом в другой, pour apporter la déliverance, pour apporter la liberté[3].

Но

Шли годы. Вихрь страстей мятежный
Рассеял прежние мечты...[4]

Только не в Марье Валентиновне. Она свою лампаду, возженную пред революционным идеалом, несла неугасимо с 70-х годов XIX века по 30-е XX. Когда я встречался с нею, мне стоило лишь отвернуться, чтобы не видеть седых волос и старого лица, и я слышал опять, полвека спустя, голос и речи милых приятельниц моей ранней гимназической и первостуденческой юности, этих Евлалий Ратомских, Рахилей Лангзаммер, Клавдий Мутузовых, мечтательных революционерок — и идеалисток, которых типическую память я пытался сохранить в своих «Восьмидесятниках». А впрочем, Марья Валентиновна по энтузиазму была, пожалуй, даже этих юниц юнее.

Жарко желанная и нетерпеливо жданная революция пришла, но — увы! — не поэтическою богиней-благодетельницей, а ведьмою-кровопийцей, грязною грабительницей награбленного, развратною комсомолкою, циническою психопаткою-садисткою на службе Чека. Миллионы почитателей революции и упователей на золотой век шарахнулись прочь от нее в ужасе и отчаянии. Ужасом и отчаянием исполнилась и М.В. Ватсон. Но из ужаснувшихся и отчаявшихся подавляющее большинство — сотни и сотни тысяч — поняли ведьмоподобие революции как истинный ее образ, отвергли ее, сделались «контрреволюционерами». На это «контр» Марья Валентиновна не была способна.

В сказках бывает, что лукавая ведьма чарами подменяет прекрасную невесту богатыря-жениха своею безобразною и злою дочерью, и та свирепо торжествует, пока с жениха не спадет морока, не позволяющая ему распознать настоящую невесту, царь-девицу, от подложной, ведьмина отродья. В таком роде поняла безобразно пришедшую ведьму-революцию М.В. Ватсон. Народ-жених обманут, ослеплен, вместо революции-богини его обвенчали с фальшивою революцией-ведьмою. Но отвратительный подлог есть лишь искусственное затмение, а не уничтожение истины. Идеал же революции остался в глазах старой энтузиастки непоколебимым, храм ее все храмом, а кумир — даже не поверженным, но лишь загрязненным и запакощенным[5], хотя и до того густо, что мудреный труд — отмыть и очистить. Вроде — опять помяну Бунина — его «Поруганного Спаса»[6].

Негодование, презрение, ненависть, закипевшие в героически сердобольной душе Марьи Валентиновны при зрелище ужасов большевицкого господства, обратились не на революцию, как то последовало за разочарованием в ней многих-многих, но на тех колдунов, которые обманули ожидателей революции дьявольским подлогом и покатили по России вместо богини на триумфальной колеснице Бабу-ягу в ступе: толкачом погоняет, метлой след заметает, катается-валяется на человеческих косточках, человеческого мясца поевши. Все обиды, — политические, социальные, религиозные, моральные, имущественные, — за которые ненавидят большевиков, разрушенное ими и продолжающее доразрушаться русское общество для Марьи Валентиновны слились в общую сверхобиду — обиду революции. Что опозорили ее благородное имя, запятнали ее вековую славу, дегтем вымазали целомудренную

репутацию, таким образом, сорвали веру в нее у испуганного ленинизмом и отвращением к нему исполнившегося мира.

Как раз дописав до этой точки, получил номер «Сегодня» с превосходным очерком, посвященным памяти Марии Валентиновны Н.М. Волковыским[7]. Я мало знал ее, если, впрочем, можно было ее «мало» знать. Можно было не знать вовсе, но всякий, кто узнавал ее хоть сколько-нибудь, уже узнавал ее всю. Эта хрустальная, прозрачная до дна душа не умела и не желала скрывать своих чувств, мнений, симпатий, антипатий. Высказывалась вся — и в самых определенных выражениях. Н.М. Волковыский привел в пример случай с Ясинским и другие безымянные, — как в ее присутствии решительно невозможно было соблюдать «анпарансы и конвенансы»[8] по отношению к «большевизанам» (не говоря уже о большевиках) и соглашателям. Если же ей нравилось ваше слово или дело, она не страшилась закричать «браво» хоть одна наперекор целой враждебной аудитории.

Поразительно, до чего цепко и крепко сидела в ней «передовая девица», курсистка — «барашковая шапочка» 70-х годов, женский тип с картин Ярошенка, со страниц «Подпольной России» Степняка[9]. Лично я познакомился с нею только в Доме литераторов, уже стариком с еще старшею старухою. Некоторые мои резкие выступления против большевиков заслужили мне ее благоволение, но однажды в разговоре она призналась, что сначала меня дичилась и «имела против меня зуб».

— За что, Марья Валентиновна?

— За то, что вы сотрудничали в «Новом времени».

— Марья Валентиновна, да ведь это еще в прошлом столетии — истекли уже две давности с лишком?! А с тех пор...

— Да, да, я знаю, а вот — нет-нет да и вспомню и осержусь.

Курьезнее всего, что к главной причине столь прочного озлобления Марьи Валентиновны против «Нового времени» — личной, помимо политических, — я не мог иметь никакого отношения. Как по времени, потому что пресловутая травля Бурениным ее друга Надсона вершилась ровно за шесть лет до моего сотрудничества в газете[10]. Так и по взаимной нашей с Бурениным антипатии. В последний мой нововременский год мы даже уже не раскланивались.

Если любвеобильное и доброты полное сердце Марьи Валентиновны на примере Буренина доказывало, что оно тоже умеет ненавидеть остро

и прочно, то и Буренин, с своей стороны, терпеть ее не мог. Вообще-то, этот человек жил, говорил, действовал в хорошо выработанной маске высокомерного базаровского презрения к суждениям мира сего. Даже испытывал удовольствие, когда своею печатною руганью доводил кого-либо до такого белого каления, чтобы тот, не стерпев наконец, принимался отругиваться столь же бесцеремонно и неразборчиво в средствах полемики. Любил иной раз снисходительно и свысока одобрить кое-кого из своих противников, впрочем, по преимуществу бессильных: при имени Дорошевича он безмолвно зеленел. Но когда при Буренине упоминали о М.В. Ватсон, у него лицо перекашивалось.

Такая злоба в столь могущественном журналисте была тем страннее, что предмет-то ее был уж очень безобиден и малопомощен. Впрочем, может быть, именно потому и злился, что поздним стыдом маялся, зачем безобидную до мстительных чувств обидел и воплощенную доброту до ненависти дотравил. «Я, когда кого-нибудь обижу, никогда на того не сержусь», — острил, бывало, добродушный Дорошевич. В Буренине добродушия не было ни капли, хотя ему и нравилось изображать (в редакционных отношениях) «дон Алонзо Добраго»[11]. Он обижал, злясь, а злое оскорбление, раня оскорбляемого, всегда шлет отдачу и в сердце оскорбителя. Особенно когда по пословице «связался черт с младенцем». Или как в «Идиоте», когда Гаврила Иволгин со злости на свою собственную дрянность дал ни за что ни про что пощечину князю Мышкину, и всем свидетелям стал тем противен, и слышит от грубого полумужика Рогожина:

— И не стыдно тебе, Ганька, такую овцу обидеть?

Все проходит на сем свете. В петроградском Доме литераторов мы, остатки разгоняемой и истребляемой интеллигенции, собирались, как при потопе звери на уцелевшую случайно скалу: пред водною опасностью зубатым и когтистым не до пользования зубами и когтями, беззубым и бескоготным не до памяти об укусах и царапинах. Буренин, больной, дряхло старый, полуразвалившийся от какого-то паралича, почти умирающий, тоже питался в столовке Дома литераторов. Мне не случалось с ним встретиться, но, говорили, был ужасно жалок[12]. Любопытно, как они с Марьей Валентиновной встречались — и какими глазами должны были друг на друга смотреть! Вражды-то, конечно, в таких обстоятельствах уже не могло быть между двумя стариками. Но ведь и прощеные обиды и полученные прощения всегда

оставляют и в душах, и в глазах обеих сторон нечто такое, что лучше им не слишком часто видеться и не слишком внимательно друг на друга заглядываться, на порванной однажды веревке, как ты ее ни связывай, узел остается! Великодушно простить — подвиг, но ведь и принимать великодушное прощение — тоже не легкая пытка для гордой души.

Я удостоился от Марьи Валентиновны похвал за энергичное противодействие большевицкому заигрыванию с Домом литераторов, имевшему целью втянуть нас в лжеблаготворительную комедию-ловушку пресловутого «Прокукиша»[13]. Мы оказались проницательнее и осторожнее москвичей, которых большевики, поймав на крючок «единства в человеколюбии», сперва ославили соглашателями, а затем, когда дело все-таки не выгорело, преспокойно разослали одураченных кандидатов на «единство» кого в Вятку, кого в Вытегру. Но зато жестоко влетело мне вместе с Верою Николаевной Фигнер, зачем мы не отстояли гражданские похороны Германа Александровича Лопатина от вмешательства большевиков.

Это верно, что не отстояли, но и нельзя было отстоять. Именно потому, что Лопатин откровенно ненавидел большевиков, а они его не смели тронуть как слишком популярного революционера, шлиссельбуржца, последнего вождя «Народной воли», личного друга Маркса и пр., и пр. Смольный решил, что публичных похорон Лопатина на общественный счет, без своего финансового участия и полицейского контроля, он не допустит. На заседании (под председательством В.Н. Фигнер), обсуждавшем этот вопрос, делегат от Смольного Анцелович дал понять весьма вежливо, но и столько же твердо, что всякая попытка обойтись без «революционного правительства» будет последним принята как открыто враждебная демонстрация и поведет к противодействию насильственными мерами. Превратить похороны в уличный скандал с кровопролитием, конечно, никому не было желательно. Оставался единственный выбор: или допустить вмешательство и присутствие большевицких контролеров, или зарыть Германа Александровича в землю, с позволения сказать, как собаку, даже хуже, потому что — тайком от народа. На такой финал драмы великого революционера у нас, заседавших, недостало духа... Ну и грызла же нас за то — всех по совокупности и каждого порознь — беспощадная Марья Валентиновна! Поделом было!

9. Заказ № 833.

СОВЕТСКИЕ УЗЫ
(Очерки и воспоминания 1918—1921)

I

Летом 1918 года мучительно и бесславно умирала петроградская «буржуазная» печать. Советским правительством было уже совершенно определенно решено, что ее не должно быть на свете. Но, по тогдашней еще новости своей в практике административных безобразий, Смольный несколько стеснялся так вот просто взять да и покончить с принципом свободы слова в порядке открытом и официальном. Предпочитали поставить ее в такие условия, чтобы она погасла сама собой... Поэтому сдали печать под надзор одному из самых рьяных и прямолинейных фанатиков большевизма, Володарскому, с поручением удушить ее во что бы то ни стало. Володарский, молодой малый без тени каких бы то ни было «предрассудков буржуазной морали», выполнял свою задачу неукоснительно и, надо ему отдать справедливость, мастерски. Русские цензора старого режима заслужили всесветно признанную репутацию свирепости, и разве только австрийские в славянских землях могли с ними состязаться. Однако никакой русский, никакой австрийский цензор даже в самые мрачные реакционные эпохи не позволял себе такого наглого, вызывающего издевательства над печатным словом, как этот тупой и злобный жандарм Северной Коммуны[1]. Под его беспощадным гнетом все сколько-нибудь серьезные и ярко окрашенные органы политической мысли были быстро приведены к молчанию и прекратили свое существование. Журналисты и литераторы, утратив речь и заработок, либо бежали за границу или на юг России к «белым», либо, подобно армии, разбитой, но еще не потерявшей надежду спастись и собраться с силами, отступали шаг за шагом за последние окопы, — в малую прессу. К ней большевики покуда относились с высокомерным безразличием и почти не обращали на нее внимания. Если не говорить, то шептать здесь кое-что еще было возможно. И вот — органы улицы, бульварные листки, внезапно украсились такими громкими именами, которые, бывало, и в большой-то прессе приберегались на праздничный день. Но мы отступали, а неумолимый враг наступал по пятам, все наседал. К тому же и окопы

наши — последние окопы! — были слабые, жалкие, часто двусмысленные. Строили их безыдейные издатели-промышленники, равнодушные ко всему в издании, кроме процента, который оно приносит, и пуще всего на свете трепещущие, не потерпел бы хотя малого ущерба вложенный ими в газету капитал. Главенствовали в них редакторы-ремесленники, приказчики, кругом зависимые от хозяев, готовые на какой угодно компромисс, лишь бы уберечь газету, дающую им кусок хлеба, от столкновения с властью. Если эти издания еще сохранили, как Пушкин иронически рекомендовал, «и в самой подлости оттенок благородства»[2], то причиною тому была отнюдь не смелость владельцев и руководителей малой прессы. Их трусливая домашняя цензура была еще придирчивее правительственной. Но ненависть читающей публики к победителям-большевикам была тоже цензурою своего рода — с другой стороны. Газета, вступившая на путь угодничества пред захватною властью, сразу потеряла бы розничную продажу. Это выразительно показал на своем плачевном опыте самый старый, самый распространенный, любимый и богатый орган малой прессы: так погибла, едва начала кланяться в ноги и льстить большевикам, «Петроградская газета». Таким образом, материальный расчет заставлял издателей-промышленников и редакторов-ремесленников хотя и скрепя сердце, но держаться все-таки тона оппозиционного. Но, как вспомнишь его, право, иной раз кажется, что лучше бы этой оппозиции вовсе не было, чем быть ей такою, как она была, вся сплетенная из осторожных недомолвок, бледных полуслов и — уж верх смелости — легкого поддразнивания власти «кукишем в кармане». Если писатель в это плачевное время хотел рисковать собою и сказать громко смелое слово, то, право, ему уж лучше было вязаться с маленькими органами газетного авантюризма — эфемеридами, плодившимися на трупах и развалинах большой прессы. Они тоже издавались и редактировались обыкновенно людьми, которым, по русской пословице, «что ни поп, то батька» и «хоть ты меня Ванькой зови, только хлебом корми». Но, понимая оппозиционное настроение общества, газетчики-авантюристы вели на него игру не осторожненькими ставочками, но азартную — va banque. Газетки их возникали из ничего, без всякого основного капитала, часто даже лишь под случайный типографский и бумажный кредиты всего на два, на три номера. Весь расчет был на то, чтобы, наполнив эти два-три номера резко сенсационным материалом, получить огромную

розничную продажу в 100, 200, 300 тысяч экземпляров, что наполняло кассу, покрывало расходы производства и оставляло в карманах предпринимателей несколько тысяч рублей. На том они обыкновенно и кончали дело, так как по третьему или четвертому номеру большевики секвестровали газету.

Однако и эти круги компромиссов и авантюры, более достойные то жалости, то презрения, чем опасений, все сокращались. Еще месяц-другой работы Володарского, и последний след буржуазной печати в Петрограде исчез бы действительно сам собою, без необходимости советской власти всемирно компрометировать себя ее принципиальным прекращением, к которому она таки вынуждена была прибегнуть потом, под осень, в первых числах августа месяца. Но Володарский, на беду свою, почитался среди коммунистов хорошим оратором, мастером пропаганды и искусным диалектиком, руководителем дискуссий. Поэтому Смольный отправлял его на все митинги и собрания, настроения которых были сомнительны для слагавшейся коммунистической олигархии. И вот однажды, когда Володарский возвращался с бурных митинговых дебатов на всегда недовольном и плохо послушном Путиловском заводе, странно зашалил в пути его автомобиль. А покуда шофер приводил машину в порядок, к Володарскому подошли неизвестные люди и застрелили его.

Большевики вопияли, что это убийство — дело эсеров, меньшевиков, кадетов, белогвардейцев, интеллигенции, «буржуев», банкиров, Антанты... только что не жителей планеты Марс! Грозили, как водится, что за голову Володарского падут тысячи буржуйских голов. Слово они сдержали. Кое-где в провинции, по тюрьмам, смерть Володарского была отомщена свирепою бойнею арестованных интеллигентов и зажиточных обывателей. А в Петрограде и в пригородах ночи проходили в обысках и арестах, а тюрьмы переполнились узниками.

Любопытно, что убийцы Володарского скрылись бесследно и никогда не были разысканы — по крайней мере, гласно. Однако коммунистический сыск знал их с первого же дня, а следовательно, и взять их было совсем не трудно. Причина, как утверждала прочная и неразрушенная молва, была та, что застрелил Володарского вовсе не «буржуй» и не противник-фракционер другого социалистического толка, а свой же брат большевик из «квалифицированных рабочих», с соучастниками из рабочей же среды. Называли даже фамилии убийцы и ближай-

шего сообщника: сколько помню, Орлов и Абрамов[3]. Коммунистическая партия не хотела компрометировать своего престижа очевидностью, что один из лидеров коммуны убит коммунистами же на арене политического разногласия: обстоятельства убийства безусловно исключали причины личные. Предпочли, чтобы эти Орлов с Абрамовым (если только действительно таковы их имена) пропали без вести. Это было как бы роковою отплатою большевикам за безнаказанность участников в гнуснейшем убийстве бывших членов Государственной думы, а потом министров Временного правительства, А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина. Их убийц, сперва было арестованных, под впечатлением уж слишком ярко вспыхнувшего всеобщего негодования, вскоре выпустили на поруки и тоже дали им исчезнуть в неведомом пространстве. Спасли убийц своих политических врагов — теперь, по силе отмщения за то, не посмели преследовать убийц своего вождя и друга.

Сутки спустя по убиении Володарского я напечатал в одной из уцелевших еще вечерних газеток фельетон, в котором доказывал бесполезность подобных террористических актов[4]. Я говорил, что, пожалуй, еще понимаю террор, когда им устраняется громадная политическая сила, единолично воплощающая известный вредный принцип и приводящая в движение все его действие: когда, так сказать, уничтожается вредный «незаменимый». Понимаю убийство Марата Шарлоттою Кордэ, понимаю убийство Юлия Цезаря Брутом и Кассием, понимаю убийство фон Плеве Сазоновым — здесь гибель личности смертельно ранила символизируемый ею принцип, расшатывала устои ее политического строительства. Но какой смысл в убийстве Володарского? Ведь это же заурядное ничтожество, случайная единица из толпы ему подобных и равных. Таких Володарских у большевиков — сотни, тысячи. На месте устраненного маленького и тупого злеца и невежды завтра сядет такой же точно маленький и тупой невежда и злец, послезавтра третий... четвертый... пятый... Так что сторонникам террора следует подумать, да и подумать; пусть Шарлоттам Кордэ, Брутам и Сазоновым стоило бросать свои головы на ставку против голов Марата, Юлия Цезаря, фон Плеве, но кому бы то ни было рисковать своею головою за головы Володарского и ему подобных — разумно ли? не слишком ли дорогая цена?

Эта статья вопреки моему доказательству, что Володарского убивать не следовало, обозлила коммунистическую печать. Раздался вопль:

«Если Володарского убивать не следовало, если Володарский, по его мнению, слишком мелок для того, чтобы быть жертвою террора, то спрашивается, чье же убийство удовлетворяет это кровожадное чудовище (кажется, именно таким лестным титулом кроткий большевик аттестовал меня?), чьей из нас головы оно алчет?»[5]

Такого случая, чтобы человек мог не желать ничьей головы и быть вообще противником убийства, полемист коммуны, по-видимому, себе не представлял и не допускал: было выше его понимания и привычек.

Перепуганная редакция усердно телефонировала мне, чтобы я «принял меры против вероятных последствий»... Было смешно и досадно... Мне оставалось только объяснить, что большевики напрасно бьют тревогу. Осуждая террор, примененный к Володарскому, я тем самым осуждаю его также и в применении ко всем коммунистическим нотаблям, так как не вижу в среде их решительно никого, кто стоил бы больше Володарского и, следовательно, заслуживал бы террористического акта, как я таковые понимаю, — то есть был бы крупною величиною, достойною того, чтобы идейный террорист отдавал свою жизнь за его жизнь.

Написал статью, отослал и — лег спать. Но, увы, этому произведению моему уже не суждено было выйти в свет. Ночью, часов около трех, подняли меня и жену мою с постелей сердитые, неурочные звонки. То пожаловали агенты Чрезвычайки, с достаточною командою красноармейцев. Предъявили ордер об аресте и производстве обыска. Перерыли всю квартиру, перепугали сонных детей и очень рассердили их француженку-гувернантку. Эта молодая особа, лежа в постели и натягивая одеяло на подбородок, тщетно доказывала ломаным русским языком, что входить мужчинам ночью в спальню девушки в высшей степени непристойный поступок, а сверх того, она не русская, но свободная гражданка Швейцарской республики и, следовательно, ее жилище неприкосновенно. Надо отдать справедливость чекисту, заведовавшему обыском: он выслушал бунтующую швейцарку мрачно, но с вниманием. Однако затем все-таки положил горделивую резолюцию:

— Находясь на территории Российской Советской Республики и при надлежащем ордере, это все нам — наплевать!

Тем не менее комнату m-lle Bourquin лишь поверхностно оглядели, тогда как внизу, по остальной квартире ощупали, обнюхали, только что не полизали каждый уголок. Все мои бумаги, без разбора, забрали

и увязали бечевками в газетные пакеты — вышел громадный тюк. Впрочем, справедливость опять-таки требует отметить, что столовая и буфетная заинтересовали обыскивающих гораздо больше, чем мой кабинет. Нашли шесть бутылок белого вина. Долго смотрел на них заведующий обыском, как бы колеблясь в нерешимости, посягнуть ли ему на открытый клад. Наконец угрюмо изрек:

— Это мы заберем... то есть конфискуем. На территории Российской Советской Республики вина не пьют.

— Уж будто? — возразил я, чувствуя его дыхание, доказывавшее как раз обратное.

Он сурово усмехнулся, покачал головой, как будто сказал без слов: «Пить-то пьют, и даже здорово, только об этом излишне распространяться».

И — четыре бутылки спрятал в мешок, а две поставил обратно в буфет на полку.

— Детям... на случай болезни, — великодушно объяснил он.

Решительно это был добрый малый. Я с удовольствием подписал ему удостоверение, что он и команда его при обыске «вели себя корректно».

Тем временем жена моя, опытная по старой привычке к обыскам и арестам моим при царском режиме, наскоро, спокойными руками вязала в узел подушки, одеяло, белье, кое-какую провизию, бумагу для письма, две-три книжки — все, что требуется узнику для тюремного комфорта на первых порах заключения...

Ну, а затем — быстрое прощанье с женой и сонными детьми, и свели меня, раба Божьего, вниз по лестнице, усадили в автомобиль и — трогай!..

«Тихо туманное утро в столице»...[6] Занимался чудесный голубой день...

Дорога была недолгая, но отвратительно избитая. Трясло, швыряло. Автомобиль стонал и ухал. У Адмиралтейства прыжки машины по колдобинам сделались нестерпимы. Советский страж мой громко ругался:

— Черти паршивые! К собственной охранке не могут дорогу починить!..

— То есть — как же это к «охранке»? — усмехнулся я на его неожиданную «контрреволюционную» обмолвку.

— Ну, все равно... — смутился он несколько... И вдруг внезапно громким болезненным стоном взвыл: ой! — жестоко встряхнутый автомобилем.

— Ничего, — утешил я, — до свадьбы заживет...

Но он морщился и злился:

— Да, вам хорошо, как вы в первый раз... А я вот седьмую ночь этак трясусь да мыкаюсь по обыскам... За последние трое суток трех часов не спал... Голова как пустой котел, кишки в животе перепутались, ноги еле ходят, поясницы не чувствую — отбита.

Посмотрел я на него и только плечами пожал: действительно, на малом лица нет! — зелен как лист, глаза красные, дикие... Боже мой! ну, не глупо ли? не нелепо ли? — до чего измаял и умучил самого себя здоровый молодой человек на подлой и бессмысленной обязанности других мучить!..

Последний толчок, последний прыжок на сиденье, последний хрип мотора... Стоп!.. Советский спутник открыл дверцу, выскочил на тротуар...

— Пожалуйте... Выходите и проходите прямо в двери...

И — вот она, пресловутая «Гороховая, 2», вековечный центр петроградского полицейского сыска и шпионажа, — чуть не вчера царская «охранка», а ныне страшная и таинственная Чрезвычайка, — застенок Троцкого, которого петроградская молва считает самым свирепым и беспощадным из всех заплечных мастеров коммуны... Не очень-то хочется двигаться вперед...

— Входите же, — торопит спутник. — Что вы стоите? Внимание привлекаете...

Что же? Он прав: «назвался груздем, полезай в кузов», — не отстоишься, входить так входить!..

Ну, ну... что-то будет? — посмотрим!..

II

«Гороховая, 2» — место, исстари мне знакомое, 13 января 1902 года, также ранним утром, градоначальник Клейгельс объявил мне здесь «высочайшее повеление» о ссылке моей в Восточную Сибирь за пресловутый мой памфлет «Господа Обмановы». И прямо отсюда отправлен был я тогда в карете с двумя жандармами на Николаевский вокзал, чтобы затем следовать безостановочно в далекий Минусинск...

Поднимался я по лестницам, проходил по залам и диву давался.

Шестнадцать лет прошло, три революции прошумели над Россией, все в ней перевернулось вверх дном, а здесь — хоть бы что с места тронулось. Разве что немного грязнее стало, да солдаты ходят вразвалку, расстегнутые и не стриженные под гребенку, а длинноволосые с напомаженным начесом на лоб. А то и мебель, и даже скаредные рожи сторожей и писарей как будто те же самые... Впрочем, нет: одна перемена заметно бросается в глаза, — вынесены все иконы. Это я даже одобряю, это к лучшему: Христос и Богородица в подобном антихристовом месте, бывало, возмущали душу. Теперь, без них, оно выиграло в стиле, сделалось цельнее. Ну, да и следователям Чрезвычайки, какие бы они ни были атеисты, все же поди свободнее, когда из угла не следят за их мерзостями святые скорбные глаза... Но за этим единственным исключением «в храме все как прежде было»[7]. Есть же, значит, в сем неверном и шатком мире устои незыблемые, учреждения неизменяемые! А в числе их полицейские берлоги оказываются прочнее даже тюрем и домов умалишенных. Последние две категории все же претерпевают хоть внешние-то метаморфозы, сообразно вводимым новым системам, усердно изобретаемым человеком для того, чтобы «гуманно» держать ближнего своего под замком. Но полицейские управления, как бы они ни назывались, — управа благочиния, квартал, участок, охранка, сыскное отделение, Чрезвычайка, — всегда и везде, во всем мире, при всех обстоятельствах, имеют одну и ту же общую физиономию, общий запах, общий тип обслуживающих эту прелесть людей...

Полусонные, зевающие чекисты, поднятые моим приводом от сна на кожаных диванах, лениво совещались, куда теперь меня отвести и где временно меня поместить. Потом принялись еще ленивее писать ордер. Видно было, что все это им «осточертело» в достаточной мере и что каждому из них в данный момент пять минут сна были бы дороже поимки не то что моей, но даже хоть самого Корнилова или Каледина... Они строчили мою «регистрацию», а я глядел на них, и в память стучалось литературное воспоминание. Как М.Е. Салтыков-Щедрин в своем «За рубежом» заставил французского политика и публициста Э. Лабулэ будто бы утверждать пред ним: «Вы, русские, счастливее всех других народов тем, что вы имеете под своими ногами нечто вечное, твердое и непрелагаемое. И это вечное, твердое и не-

прелагаемое вы на своем живописном языке называете... каторга!!!»[8]

Да. Сколько ни вертись русский человек, а от этого своего, «вечного, твердого, непрелагаемого» ему, как видно, никуда не уйти. Сидели цари — была «не жизнь, а каторга». Устроили революцию — каторга вдвое. Устроили другую — каторга втрое. Устроили третью — каторга вчетверо...

А другое воспоминание было житейское. Кое о чем, что В.Г. Короленко назвал бы «бытовым явлением»[9]...

Жил-был на Руси жандармский полковник Мясоедов. Почти четверть века правил он важнейшим пограничным с Германией пунктом, станцией Вержболово. Разбогател на своем посту, как Крез, жил и влияние имел, как владетельная особа, называл себя личным другом Вильгельма II и действительно получал от него любезные письма, ордена, приглашения на императорские охоты и т.п. Человек был очень ловкий, умный, обходительный и большой «вивер»[10]. Имел склонность к изящным искусствам и питал уважение к литературе. Каждого проезжающего литератора, за исключением разве уж представителей столь крайней и боевой левизны, что даже и случайной встречи с жандармским мундиром они не понимали иначе, как приветствуя его револьвером или бомбою, Мясоедов старался лично проводить за границу, лично встретить на возврате из-за границы. Знакомился, любезничал, побеждал предубеждение, очаровывал и... накатывал шампанским до положения риз. В результате добрая половина старого литературного Петербурга имела Мясоедова, как в «Анне Карениной» Стива Облонский выражается, своим «постыдным ты»[11]. Уж на что крепкий был «столп» Н.К. Михайловский, а и тот на одном литературном обеде 1900 года, смеясь, рассказывал, что даже он однажды не избежал мясоедовских сетей: до «ты» дело не дошло, но шампанское было. Так вот об этом Мясоедове один из славнейших нынешних русских писателей рассказал мне такую историю, печальную, как притча.

«Дело было в октябре 1905 года. Я возвращался из Парижа в отечество, полный революционного энтузиазма и радостных надежд. Долой самодержавие! да здравствует конституция! народоправство! демократия! обновленная Россия!.. Подъезжая к границе, вспомнил о Мясоедове. Думаю: где-то теперь он, сердечный? поди, с новыми порядками турнули его, беднягу, в три шеи, если, пожалуй, не учинили чего-нибудь еще хуже... Жаль! хоть и жандарм, а приятный был чело-

век... Но — подкатили мы к Вержболову, и первый, кого я вижу на дебаркадере, — Мясоедов!.. По-прежнему щеголь, по-прежнему сияет ликом, как новенький золотой, и, конечно, по-прежнему с места в карьер:

— С приездом тебя... Пойдем, раздавим флакончик?..

— Мясоедов! тебя ли я вижу? Это ты? действительно ты?

— Самолично.

— Жив, цел, невредим и на прежнем посту?

— Недвижим, как солнце.

— Чудеса в решете! Да ведь у нас же революция?

— Есть маленько.

— Старый режим разрушен?

— Ну, положим, не совсем, но трещит.

— Так как же ты-то?

— А что мне?

— Да ведь революция, чудак ты этакий! революция!

— И прекрасно.

— Конституцию у царя вырвали!

— И преотлично.

— Демократия торжествует по всему фронту!

— Лучше чего желать нельзя.

— И в таких условиях ты за себя не боишься?

— Какого черта я должен бояться?

— Такого, что ваше полицейское царство кончилось, а в новом режиме подобным тебе места уже не будет... не-е-ет.

А он засмеялся и снисходительно потрепал меня по плечу.

— Ошибаешься, — говорит. — Это ваш брат, литератор, ни при каком режиме не может себе найти настоящего места, а жандарму, друг любезный, лишь бы он был хороший жандарм, при всяком режиме теплое место будет... Потому что нет такого режима, которому бы не был нужен хороший жандарм. Не то что там какую-то куцую конституцию — *социалистическую республику учредите, коммуну объявите, анархию устройте, и то без жандарма не обойдетесь*, и тогда свои жандармы будут. А уж у нас, в матушке Расее, в особенности. Попомни мое мясоедовское слово: русский человек царя свалит, Бога во щах слопает, отца с матерью продаст и сам в кабалу пойдет, но с жандармом не расстанется — нет!.. А посему, как видишь, настоящее мое благополуч-

но, будущее безоблачно и... и, следовательно, пойдем раздавим флакончик!..»[12]

Насчет своей безоблачной будущности цинический философ в голубом мундире ошибался, потому что в 1916 году он был повешен за государственную измену, как уличенный германский шпион. Но в ядовитой сатире своей он был плачевно прав. С царями или антицарями, но в России политическая система — все каторга, истинный владыка положения — все жандарм. А зовут ли его Мясоедовым или Урицким, Дзержинским, Менжинским — разница невелика. И даже если есть какая-нибудь, то в пользу ли Урицких, Дзержинских и Менжинских?

Многие арестованные жаловались мне потом, что чекисты, их арестовавшие, обращались с ними грубо, кричали на них, пугали их револьверами и т.п. О себе, по совести, не могу рассказать ничего такого — насколько умели, были вежливы. Вот револьвером действительно напугали было. Но не потому, чтобы грозили мне им, а потому, что один из моих чекистов вздумал разряжать свой маузер и при этом столь выразительно обнаружил свое неумение обращаться с этою смертельною штукою, что было совершенно очевидно, — она попалась ему в руки в первый раз. И я того и ждал, что, растерянно тормоша револьвер, так и этак наудачу, по методу крыловской обезьяны с очками[13], разгильдяй вот-вот выпалит невзначай в чей-либо близ находящийся лоб.

Наконец бумажные формальности регистрации окончены. Пожалуйте, милости просим в узилище! Ведут в верхний этаж, под крышу. Здесь бывать мне еще не приходилось. Комиссара тюрьмы тоже надо было долго будить сперва звонками, потом криком, и, наконец, когда он отворил свою дверку, но ничего не понимал спросонья и, бессмысленно глядя, продолжал спать с открытыми глазами, то сопровождавший меня чекист принялся трясти его за плечи.

Опять началось писанье. Отобрали золотые часы. Спрашиваю:

— Нельзя оставить? Трудно мне без часов, привык следить за временем.

Комиссар пожал плечами:

— Оставьте, пожалуй, только, во-первых, это не по правилу, а во-вторых, я отбираю в ваших же интересах. В общих камерах публика смешанная. Их у вас непременно украдут. А мы, когда вы выйдете на волю, возвратим их вам в целости.

Считаю долгом справедливости отметить: действительно возвратили.

Но приводом моим он был крайне недоволен.

— Скоро ли эти ваши черти там внизу перестанут присылать ко мне новеньких? — грыз он моего чекиста. — По-вчерашнему, что ли, намереваются, чтобы в камере на тридцать человек перевалило за сто?.. У меня в шестой сейчас уже шестьдесят пять... ну, спрашивается, куда я хотя бы вот «их» дену? — указал он на меня и вежливо извинился: — Делать нечего, уж не взыщите, придется вам очень потесниться.

Тон его показался мне необычайным для «товарища». Я спросил:

— Давно вы здесь служите?

Он посмотрел с недоумением, помолчал, потом сказал отрывисто:

— С 1909 года... Пожалуйте в камеру.

— Как? Десятый год?.. значит, и при старом режиме?!

— И при старом, и при новом, — нетерпеливо заторопился он: должно быть, уже не в первый раз встречался с удивлением такому странному преемству. — Пожалуйте, пожалуйте.

О, тень жандармского полковника Мясоедова! как же ты на том свете должна торжествовать, слыша такое блистательное оправдание твоего пророческого цинизма!

Перешли площадку лестницы. Что-то вроде прихожей. Справа, из-за перегородки, пахнуло удушающей вонью: уборная! На кончике у окна сидят красноармейцы с винтовками, все ребята лет по 20, толстолицые и тупо добродушного вида, с оловянными, ничего не говорящими глазами, под низко начесанными на лоб челками, — живые автоматы, безразлично способные и на подвиг, и на преступление, — как очередное начальство прикажет. Дверь в «общую № 6» не закрыта, и навстречу нам несутся храп и удушливый пар камеры, переполненной спящими людьми. Комиссар, с порога, окликает:

— Староста!

Выскочил, — с всклокоченной бородкой, с запухшим от сна лицом, но уже улыбающийся чрезвычайно белогубым ртом и в очках, — когда только он успел их надеть? — господин в жилете, еврей. Узнаю знакомого присяжного поверенного. Расставил руки и вопиет:

— Александр Валентинович?! Вы?! какими судьбами?!

— Да, должно быть, такими же, как и вы.

Комиссар сдал меня ему на попечение, послал мне довольно неисполнимое пожелание «счастливо оставаться» и ушел.

Камера походила на поле после сражения: куда ни глянь, кругом тела недвижимые. Спят по двое, по трое на койках-одиночках, спят на столах, на полу, спят, сидя на табуретках, даже на подоконниках растворенного, по теплому времени, окна. Яблоку некуда упасть. Не знаю, куда деваться, где положить вещи...

Поднялась с подушки чья-то желтолицая голова, дико хлопнула на меня сонными глазами и опять упала на подушку...

— Кипяток, товарищ староста! кипяток! кто заваривает чай? кипяток!

Рабочие с грохотом внесли бак, одетый седыми клубами пара. Камера зашевелилась. Слышу: желтолицая голова беседует с соседом по ложу.

— Ты, Бакмансон, что во сне видел?

— Ничего не видал, я никогда ничего не вижу.

— А мне, представь себе, почему-то приснился писатель Амфитеатров... Странная штука сон! Ну, с чего бы мне его видеть? Ведь я даже незнаком с ним...

Длинный белокурый Бакмансон, завязывая шнурки на штиблетах, оглядывает камеру и, заметив меня, флегматически возражает:

— С того, что вон он сидит... здравствуйте! и вы сюда угодили?

— Так это вы не во сне, а наяву прошли мимо меня с вещами? — ахает голова.

Она оказалась принадлежащею известному художнику-портретисту, профессору Академии художеств Бразу, автору лучшего портрета Антона П. Чехова, хранимого московской Третьяковской галереей. Бакмансон, тоже художник, обруселый швед из Финляндии, был арестован не то в качестве заложника: не помню, каких враждебных действий ожидала тогда советская власть со стороны Финляндии, но финнов забирали во множестве, не то — за фамилию: он родственник или однофамилец супруги известного «белого» генерала Краснова, урожденной Бакмансон. Сам он о причинах своего ареста отзывался с равнодушным безразличием:

— А черт же их знает, за что!

Не он один так отвечал. Это было почти поголовное. На десять человек едва ли один знал, в чем его обвиняют. За исключением двух-трех лиц все-таки с некоторым, хоть и маленьким, политическим значением, банкиров, двух генералов и «белого» журналиста-монархиста

Брешко-Брешковского (сын знаменитой эсерки «Бабушки»[14]), остальная масса арестованной интеллигенции состояла из людей совершенно случайных, далеких от всякой «классовой» политики, взятых Чрезвычайкою — именно черт знает за что.

— Вот ужо вызовет Урицкий на допрос — узнаем...

— Да, хорошо, если скоро вызовет. А то ведь тут есть люди, которые живут в неведении своего «преступления», напрасно ожидая допроса, по две, по три недели. А одного держат так уже третий месяц. От беспокойства неизвестности все они стали как помешанные в уме. Сами посудите: кто не знает, в чем его обвиняют, тот не знает и — что его ожидает. А тут, под окном, во дворе, то и дело залпы горохом сыпят — расстреливают...

— Как?! здесь? под окном? во дворе?!

— Последние три ночи не слышно... Говорят, женская тюрьма не то умолила, не то голодовкой пригрозила, да и улица, слыша, уж очень волновалась, — так стали увозить куда-то за город... Но перед тем — ужас, что было!.. Всю ночь! всю ночь!..

Нечего сказать, приятно слышать!.. Я искренно благодарю судьбу свою, что она привела меня в тюрьму Чрезвычайки, когда ужас и безобразие ее убийств, по крайней мере, переместились отсюда в какую-то отдаленность, что не придется воспринимать их в круге собственного своего зрения, слуха, непосредственного чувствования...

А места у меня все еще нет.

— Погодите, — отвечает староста, — вот ужо, когда все проснутся, я устрою вас в «генеральскую». Она маленькая, но зато там всего девять человек, вы будете десятый. Там вам будет хорошо. А здесь, помилуйте, какая же возможность? Сегодня еще — куда ни шло: всего лишь двойной комплект. А вчера, когда три комплекта и пошло на четвертый? Ни лечь, ни сесть. Стояли целый день, словно солдаты в строю, чувствуя товарища локтем. Устанешь, перестают ноги держать, опуститься на корточки — только тебе и отдыха. Ругань, злоба, проклятия. Духота, вонища. Во что уборную обратили, вспомнить страшно, сказать стыдно...

— Хороша она и сейчас, — желчно откликается один из заключенных, — к умывальникам на три шага подойти нельзя из-за нечистот...

— Все-таки уже успели немножко почистить, а вчера вы и вовсе не вошли бы за перегородку, — возражает другой.

А староста продолжает:

— Спасибо, что к полночи немножко разгрузили тюрьму. Сорок человек увезли, просторнее стало. Все-таки, видите, лежат...

Любопытствую:

— А куда увезли сорок?

Окружающие удивлены моей наивностью.

— Как куда? В другие тюрьмы. Ведь наша «Гороховая, 2» — только первая арестная инстанция, тюрьма полицейского дознания. А дальше, если вы подследственный по долгому, затяжному делу, вас отправят в Предварилку на Шпалерную. Если следствие проходит без затяжки, в обычном коммунистическом порядке «eins, zwei, drei»[15], и Урицкий успел испечь вас уже в этих стенах, то — прямо в Кресты.

— А освобождают часто?

— Бывает... Вчера десять человек освободили.

— В числе сорока?

— Нет, как можно? — удивился мой собеседник. — Ведь я же вам говорил, что за теми приехали только в полночь...

— Так что же?

— То, что не пожелал бы я ни себе, ни вам быть освобожденным ночью... Вы знаете, что это — «ночное освобождение» — обозначает на нынешнем тюремном языке?

— Нет, еще не знаю...

— А то: «Выходи в шапке, без вещей...»

— Все-таки не понимаю?

— Значит: пойдем, любезный, а куда, не спрашивай; сюда ты больше не вернешься и вещи твои тебе больше не понадобятся. А шапку захвати, надо же тебе в чем-нибудь дойти до «стенки»-то... Что такое «поставить к стенке» — это вы, надеюсь, понимаете?

Кто-то вмешался:

— Теперь начинают по-новому говорить: «отправить налево», «послали налево», «пошел налево»... Потому что у стенки был расстрел из винтовок, залпом. Эту моду большевики бросают: долго, сложно, хлопотно, неэкономично тратить столько патронов на одного человека; солдатики иной раз вдруг зажалеют и не хотят стрелять; наконец, на расстрелянном платье дырявится и пропадает от массы крови, — убыток палачам... Теперь проще... Приговоренного приводят куда назна-

чено, палач-латыш становится рядом с револьвером и командует: «Поверни голову налево» либо «смотри налево», «глаза налево»... Приговоренный машинально повинуется, а латыш стреляет ему в ухо в упор — все кончено!

«К стенке»... «налево»... «в шапке и без вещей»... «ночное освобождение»... Нечего сказать, обогащается русский язык милостью товарищей-большевиков! Жаргон человекоуничтожения, — словно говорят между собою не люди, а черти и бешеные, саркастические мертвецы-вампиры, танцующие скелеты из «Плясок смерти»[16]. И это в стране, где еще так недавно прокляли смертную казнь Достоевский, Толстой и Короленко, где протесты против нее покрывали десятками тысяч подписей! И в числе других подписывались ведь и многие из тех, кто теперь ужас убийства политических узников, возведенный в государственную систему, поддерживает, если не кровавя своих рук лично, то спокойным участием в правительстве застенка и расстрела и тесною дружбою с шефами его заплечных мастеров!..[17]

III

Комиссар был совершенно прав, когда предупреждал меня о «смешанной публике» в общей камере. Я думаю, что подобной «смеси одежд и лиц, племен, наречий, состояний» не было даже в шайке пушкинских «Братьев-разбойников»[18]. Пленной интеллигенции было очень много, то и дело встречались знакомые лица, однако она не «составляла большинства». Его давала улица, в то время еще не обессиленная голодом, еще топорщившаяся и шебаршившая. И красноармейщина, которая, не позабыв пресловутого «приказа № 1», покончившего в марте 1917 года с дисциплиною в войсках старого режима[19], наивно воображала, будто его действие распространяется и на красное воинство. А потому, постоянно впадая в грехи своевольства и ослушания, к великому своему изумлению, неожиданно оказывалась в лапах Чрезвычайки по обвинению в «контрреволюции», как раз за те поступки и слова, в которых, как она сама-то полагала, она вела себя и выражалась чего уж нельзя революционнее. Громадный процент спекулянтов всякого рода — продовольственных (больше всего), товарных, вещевых, валютных, по драгоценностям — и просто торговцев, еще не

успевших приноровиться к дикому насилию закрытия свободных рынков. И наконец, черное дно столичного ада: анархия «удалых, добрых молодцов», — налетчики, организованный разбой.

Когда нашу омерзительную уборную немножко подчистили, пошел я помыться. У соседнего крана — тип: смывает кровь с сильно побитого лица. Окинул меня недоумевающим взглядом — и добродушный вопрос:

— Товарищ, вы на чем «засыпались»?

— Политический...

— А я... — и не договорив начатого, перебил сам себя и, в негодующем недоумении пожав плечами, продолжал с сердитой экспансивностью: — И черт его знает, право! И всех-то денег на «ем» была одна «косая» (1000 рублей)... Угораздит же так глупо влопаться!

Я понял, что «товарищ» мой — уличный грабитель, застигнутый и взятый на «теплом», т.е. на бесчувственном, полутрупе, а может быть, уже и трупе, который он обирал в каком-нибудь глухом закоулке Петроградской или Выборгской стороны. Избитое лицо свидетельствовало, что сдался он не без борьбы, побарахтался-таки с патрулем. Еще удивительно, как его на месте не пристрелили! тогда с этим было просто. Тип этот у нас не загостился. Уже часа через два его увезли куда-то. Может быть, на расстрел, а может быть, наоборот, на какой-нибудь ответственный служебный пост по той же Чрезвычайке...

Такие метаморфозы получались тогда зауряд. Комиссарствовал же на Петроградской стороне недавний каторжник Далматов, дегенеративный представитель бывшей столичной «золотой молодежи», настолько нашумевший, незадолго до Февральской революции, зверским корыстным убийством некой г-жи Тиме, что сенсация его процесса волновала петроградское общество наравне с телеграммами с театра войны[20]. Отбывая свой каторжный срок в одной из сибирских тюрем, Далматов покинул заключение, при неразборчивом освобождении арестантов в первые победные дни Октябрьской революции. Заявил о своей восторженной готовности служить большевикам, получил возможность возвратиться в Петроград и здесь всплыл со дна на поверхность уже крупным полицейским чином советской республики. Впоследствии, однако, он исчез без вести. Говорят, был расстрелян за взятки и хищения. В краткий же период своего властвования он, по словам обывателей района, отличался такою зверскою свирепостью,

таким бесстыдным вымогательством и в качестве новоиспеченного пролетария так гнусно издевался над беззащитными «буржуями», что настоящие пролетарии его одергивали. Другой пример — Прилуков, получивший когда-то всеевропейскую известность по знаменитому венецианскому процессу Марии Тарновской как сообщник и орудие этой госпожи в корыстном убийстве графа Комаровского[21]. Он также возложен советскою властью на ее восприемлющее лоно и состоит на службе коммуны и по сей день.

Трудно поверить, до какой степени процветал тогда «налет», то есть, попросту сказать, разбой. Наличность признанной большевиками в первое время партии анархистов, с ее поистине чудовищною прессою, давала возможность темным элементам столичного дна безопасно укрываться под черное знамя «войны всех против всех»[22] и обыкновеннейшему грабежу придавать вид и смысл принципиальной партийной экспроприации. Тщетно против «эксов» возвышал свой авторитетный голос патриарх-идеолог анархизма, престарелый князь П.А. Кропоткин. Тщетно, если не открещивались, то отплевывались от них идейные анархисты. Позиция принципиального грабежа была слишком удобна и выгодна для любителей чужой собственности, и специалисты этой профессии вскоре переполнили анархическую группу в таком количестве, что идейные анархисты оказались в ней меньшинством правого крыла и сам Кропоткин за протесты свои едва-едва не был исключен из партии, а какая-то саратовская фракция его даже и исключила. Большевики на борьбу с анархистами-экспроприаторами решились только тогда, когда увидали, что «партийный» грабеж этих отчаянных конкурентов опережает их собственный грабеж «в государственном порядке» и анархисты вырывают у них из-под носа лакомые куски вроде великолепной дачи Дурново[23], некоторых великокняжеских дворцов, барских особняков и т.п. Надо, однако, отдать справедливость большевикам: однажды взявшись за партию анархистов, они покончили с ее засильем в Петрограде одним ударом. Жителям Невской столицы еще памятен штурм последнего оплота анархистов, Купеческого клуба, когда впервые отличился и заставил говорить о себе пресловутый впоследствии Дзержинский[24].

Захватные успехи анархистов привлекали к ним не только «сволочь». Тянулись в эту яму также и неуравновешенные элементы столичной «богемы», отравленной морфином, эфиром, кокаином, алкоголем, азар-

том игорных домов, воздухом кафешантанов и тем пустопорожним порнографическим словоблудием, которое в печальнейший для русской мысли период 1907—1914 годов расцвело пышным цветом под псевдонимом служения святому искусству, при покровительстве старорежимной власти, воображавшей, будто все это безобразие отвлекает общество от политики.

Достаточно указать, что в налетах обвинялся столичною молвою один из замечательнейших артистов русской драматической сцены, трагик Мамонт Дальский, и нельзя сказать, чтобы его печатные объяснения по этому поводу были очень убедительны[25]. Этот чрезвычайно талантливый человек был существо «карамазовски» дикое, капризное, непостоянное. В последний год старого режима он демонстративно прицепился к крайнему правому лагерю, был в величайшем фаворе у пресловутого премьер-министра Протопопова, дружил и кутил с еще более пресловутым Распутиным. Но с Февральской революцией Дальский, вдруг перескочив через все промежуточные инстанции, очутился в самой крайней левой фракции анархистов, участвовал с ними в самовольном занятии дачи Дурново и присутствовал при разгроме ими какого-то игорного дома. Дело в том, что, будучи актером по профессии, он еще более любил быть актером в жизни. Говорил значительными фразами из пьес своего репертуара, сравнивал себя с Кином из знаменитой мелодрамы[26], а на закате дней и в революционной атмосфере понравилось ему житейски сыграть романтического бандита, Карла Моора из «Разбойников» Шиллера. Скоро он замечательно нелепо погиб в Москве под трамваем. Любопытно, что раньше он никогда не пользовался трамваем, а это был первый опыт. Вскочил в вагон с передней площадки (что в России строго запрещено), столкнулся с кем-то выходящим, сорвался и попал под колеса. В Москве анархисты проводили его прах на Николаевский вокзал торжественной процессией с черными знаменами. В Петрограде, несмотря на то что именно здешним театрам Дальский отдал свои лучшие артистические годы, на похороны его в Александро-Невской лавре явилось счетом десять человек.

Если бы засилье анархической левой продержалось долее, то из нее могло бы выработаться нечто вроде сицилианской «мафии». Многие обыватели, видя ее дерзкое своевольство среди всеобщего бесправия, уже обращались к ней за «справедливостью» и получали быстрое удов-

летворение в бесцеремонном порядке самосуда. Один петроградский стихотворец, — ныне ярый большевик, а в то время еще, как у Гоголя в «Ревизоре» почтмейстер выражается, «ни то, ни се, черт знает что»[27], — негодовал, зачем соседний с его квартирою великолепный сад частного владения закрыт для публики. При ближайшей затем встрече он сообщил мне, ликующий, что добился своего, — сад открыли.

— Как же вы этого достигли?

— А очень просто. Я пожаловался анархистам, что вот, мол, у меня дети на этакий чудный сад только смотрят, а гулять в нем не могут, — это несправедливо, помогите, пожалуйста... Они говорят: «Хорошо, товарищ, будьте покойны...» Пришли с винтовками и заняли сад.

В нашей камере содержался один из наиболее прославленных налетчиков того года, тоже выдававший себя за анархиста, по прозванию Черный Капитан. Настоящую его фамилию я забыл: не то Измайлович, не то Стефанович, а может быть, и еще какой-нибудь «ович» — отчество, превращенное в фамилию[28]. Родом он был, должно быть, из западных губерний, но не еврей. По-русски говорил бойко и чисто, без всякого инородческого акцента. Выдавал себя за мичмана военной службы, но заключенные офицеры считали его самозванцем, допуская лишь, что, может быть, Черный Капитан потерся малую толику в торговом флоте, где и понахватался морских терминов, которыми он щеголял перед сухопутными слушателями, но в присутствии моряков скромно прикусывал язык. Черный Капитан стоял во главе шайки, совершившей множество ограблений, на миллионы тогда еще не потерявших свою стоимость рублей. Товарищи его — помнится, двое — были заключены тут же. Это были смирные, тупые парни лет по 18—20, нисколько не интересные. По грозной, даже зверской репутации самого Черного Капитана я ожидал встретить в нем только что не Стеньку Разина. Вместо того увидал весьма приличного юношу, миловидного, опрятного, даже изящного. Он был очень учтив, любезен, услужлив и разве, пожалуй, лишь чересчур развязен. Приключения свои он рассказывал очень охотно, и каждое из них отлично годилось бы для кинематографического фильма в несколько сот метров[29]. Может быть, и подвирал несколько эффекта ради, но, в общем, был бы все-таки драгоценным типом для Конан Дойля и бесчисленных его подражателей. Я сильно подозреваю, что именно романы о Шерлоке Холмсе, Нате Пинкертоне, Нике Картере, Арсене Люпене[30] и толкнули

этого мальчика на избранный им романтический путь «борьбы с обществом» посредством грабежа и убийства. Во всяком случае, эффектная поза разбойника-анархиста сохранялась им очень бережно.

На Гороховой его держали уже давно — даже до странности, так как в уликах против него и в признаниях своих вин с его стороны недостатка не было, — других налетчиков, попроще, расстреливали за сотую долю того, что он натворил. Уже расстреляно было также и несколько товарищей Черного Капитана, а самого его Урицкий все еще щадил. Такое необычайное долготерпение сам Черный Капитан объяснял тем, что глава Чрезвычайки не верит, чтобы награбленные шайкою громадные богатства были прокучены так же быстро и беспутно, как были приобретены, и все еще надеется допытаться, куда же они в самом-то деле девались и где скрыты. Большинство заключенных принимало это объяснение, некоторые давали факту иное толкование, менее благоприятное для Черного Капитана. Он очень обжился в тюрьме, был в наилучших отношениях с комиссаром и надзирателями, имел связи с канцелярией Урицкого и сделался как бы посредником между нею и заключенными. Все новости из кабинетов Урицкого и ему подведомственных следователей приходили к нам через Черного Капитана: кого освобождают, кого переведут на Шпалерную или в Кресты, — все это он знал, как говорится, «за полчаса до пожара», вероятно, были ему известны и ожидаемые расстрелы, но о них он никогда не упреждал. Вообще, это был деликатный малый. Начальство тюрьмы им дорожило и баловало его. Он имел возможность посещать другие камеры и даже проникал на женское отделение, несмотря на то что оно в эти дни оберегалось особенно строго, ввиду заключения графини Брасовой. Поэтому через Черного Капитана всегда можно было переслать записку и получить ответ. Злые языки намекали, что эту почту кроме адресатов читает еще и Урицкий, но я не верю. Доверять Черному Капитану до ручательства за его честь своей головой я не решился бы, но мне казалось, что в юном бандите жива была своя «каторжная совесть». О том, что Чрезвычайка приглашает его к себе на службу, он намекал весьма прозрачно, и я допускаю, что в целях оттянуть как можно дольше свою неминуемую участь он мог ухватиться за такое приглашение и играть на нем двойную игру, — однако не до предательства. Среди интеллигенции, по тюремной неопытности не особенно осторожной на язык, Черный Капитан мог слышать много таких об-

молвок, за которые Урицкий дорого заплатил бы, — однако они никого не погубили. Конечная судьба юного Ринальдо Ринальдини[31] мне неизвестна. Кто-то из освободившихся созаключенников рассказывал мне впоследствии, будто он пережил Урицкого, убитого в ту же осень студентом Канегиссером. Но затем Чрезвычайка наскучила его признаниями и откровениями, «через час по столовой ложке», и, в совсем уже полоумный террор преемниц Урицкого, Яковлевой и Стасовой, он был расстрелян. Этих анормальных садисток, сорвавшихся с цепи в буйном отделении дома умалишенных, уже ничто, кроме крови, не интересовало. Насколько сообщение было справедливо — не знаю.

IV

Черный Капитан откровенно посвящал заключенных в организационные тайны своих налетов. Они были очень просты. Успех строился, во-первых, на беспредельной трусости обывателей, поверженных в непрерывный панический ужас Октябрьской революцией с ее ближайшими кровавыми и грабительскими последствиями. Население растерялось в недоумении, с кем когда оно дело имеет — с разбойниками новой власти или с разбойниками просто, — и, в равном перепуге от тех и других, не смело защищать себя. Так как обыски большевиками обывательских квартир, и по целям, и по методам, и по результатам, очень походили на налеты, то налеты на частные помещения с удобством производились под видом обысков. Правда, для производства обыска предписывалось предъявление мандата от ЧК и непременное присутствие председателя «домкомбеда»[32]. Но первое требование исполнялось чекистами скорее в виде любезности или великодушия, чем законной обязанности. Иные же принимали его как личное оскорбление:

— Что? вы желаете видеть мандат? позволяете себе не верить представителям пролетариата? Очень хорошо, получайте, вот он, мандат...

И затем, уже назло, обрабатывали квартиру, словно по ней Мамай погромом прошел.

Что касается председателей домкомбедов, то, когда их среди ночи будила вооруженная банда и приказывала вести ее по квартирам, лишь очень немногие имели гражданское мужество осведомляться:

— А мандат у вас есть?

Потому что часто вместо ответа в лицо вопросителя наставлялся маузер:

— Есть... видал?!

Фабриковались, конечно, и подложные мандаты. Особенно для налетов на клубы, театры, общественные собрания, правительственные кассы.

В трусости публики налетчики были настолько уверены, что, по словам Черного Капитана, он, отправляясь в налет, иногда забывал зарядить свой револьвер. Безусловно был убежден, что лишь бы ворваться в помещение, а там сопротивления уже не встретит, будь хоть сто, хоть двести человек. «Руки вверх!» — и стадо двуногих баранов, покорно исполняя команду, останется недвижным, покуда «удалы добры молодцы» будут очищать карманы мужчин и снимать колье, серьги и браслеты с дам... Всего выгоднее были налеты на игорные клубы. Чистка ставок со столов и бумажников из карманов игроков давала иногда громадные суммы. Казалось бы, игра, азарт, риск — смелое дело, и люди этой страсти и профессии должны быть привычны к тревогам и сохранить присутствие духа во всех житейских переделках и неожиданностях. Однако нигде появление налетчиков не вызывало большей растерянности и паники, как именно в игорных домах. Люди прятались под столы, в камины и даже прыгали из окон, забывая об этаже. Кречинские мгновенно превращались в Расплюевых[33].

Вторым могучим подспорьем налетного успеха была поголовная продажность людей и средств советской власти.

Излюбленною и, казалось бы, самою дерзкою охотою налетчиков были дневные уличные грабежи казенных сумм, выплачиваемых из государственного банка или казначейства по ассигновкам разных учреждений. Деньги тогда еще не вовсе утратили стоимость. Организация новых правительственных ведомств требовала многомиллионных ассигновок. Значительная часть выдач по ним попадала в руки налетчиков — всегда в одном и том же порядке «моторного» грабежа, то есть при помощи автомобиля. Либо у получателя, когда он выходил из банка, неизвестные люди вырывали из рук портфель с выдачей и, вскочив в поджидавший автомобиль, вихрем уносились из глаз оторопевшего ограбленного и окружающей толпы. Запоздалые выстрелы милиционеров никогда не достигали цели и были опасны только для

случайных прохожих. Либо если получатель сам уезжал на автомобиле, то где-нибудь на дороге ему преграждал путь грузовик или ломовик[34], а тем временем, пользуясь моментом остановки, налетали автомобили грабителей, — один, два, три, глядя по суммам, на которые налетчики рассчитывали, — распугивали народ выстрелами на воздух, обирали свою жертву и уезжали, тоже под беспорядочными и безопасными выстрелами милиционеров. Подобные сцены то и дело разыгрывались не в глухих каких-нибудь переулках, а, напротив, предпочтительно в самых оживленных пунктах города, на Литейном, на Симеоновской, на Екатерининском канале... Почти не было случая, чтобы дерзость налетчиков не увенчалась успехом и они сколько-нибудь пострадали бы при этом. Потому что по большей части грабеж был симулированный, то есть мнимую жертву обирали по предварительному с нею соглашению, и она крупно участвовала в грабеже добычи. Во всех финансовых учреждениях налетчики имели своих людей, которые предуведомляли их о крупных выдачах. Делалось это очень прозрачно — даже до наглости. Казначей университета, старый человек, получает в Государственном казначействе очередную ассигновку по жалованьям, 68 000 рублей. Тщательно укладывает деньги в бумажник, застегивает карман — словом, принимает все меры предосторожности против кражи или потери. Заметив, что кассир с улыбкой наблюдает его, объясняет:

— Боюсь, не ограбили бы на улице... теперь, знаете, все налеты да налеты...

— Напрасно опасаетесь, — усмехнулся кассир, — если бы вы миллионы несли, другое дело, а то — ну кому нужны ваши 68 000?

— Позвольте, однако, — озадачился старик, — откуда же налетчики будут знать, что я несу только 68 000?

— Ну, как им не знать?! — уклончиво рассмеялся кассир.

Все частные автомобили в это время были уже реквизированы. Однако налетчики располагали любым количеством машин, в каком нуждались, потому что центральный советский склад автомобилей, Михайловский манеж, отпускал их налетчикам за хорошую мзду, словно извозчичья биржа, хотя прекрасно знал, для каких целей они берутся. Для гарантии, что налетчики не угонят автомобиля, с ними отправлялся казенный шофер. Он в грабеже участия не принимал, а спокойно ждал в назначенном ему месте, пока налетчики обделают свое

дело, и затем увозил их от возможной погони, старательно заметывая следы. За что и получал солидную долю в добыче.

Насколько откровенно велась и общеизвестна была эта торговля, покажут два следующие случая из истории бесчисленных в 1918—1919 годах маленьких заговоров, разрешавшихся в ничто, даже не успев обеспокоить своим существованием бдительных очей всезрящего ЧК.

В одном из таких собраний «на предмет разрушения захватного строя» докладчик изложил план, построенный весьма остроумно, но с одним затруднением: он предполагал одновременную автомобильную атаку в нескольких частях города. Посыпались возражения:

— Где же вы возьмете автомобили?

— Как где? — даже удивился докладчик. — В Михайловском манеже.

— Следовательно, операция должна начаться занятием Михайловского манежа? Это трудно, потребует большого отряда...

— Вовсе нет. Мы получим автомобили за недорогую сравнительно плату, мирным путем...

— То есть?

— Мы должны имитировать большой налет. Наймем их, как все налетчики нанимают. Лишь бы вывести машины на улицу, а там уж наше дело, куда их направить.

— Позвольте — а шоферы?!

— Шоферы должны будут принять нашу сторону и ехать, куда мы прикажем.

— А если они не захотят?

— Придется их устранить и заменить своими людьми.

— А у вас есть свои люди, умеющие управлять мотором[35]?

— Имеется в виду двое.

— А сколько машин надо вам по расчету?

— Для начала, от десяти до пятнадцати.

Присутствовавший при споре в качестве «мужа совести» знаменитый революционер-народоволец Герман Александрович Лопатин расхохотался и смехом своим похоронил проект.

В другой раз является ко мне молодой человек, очень мало мне известный, и, весь дергаясь и кривясь лицом, тоже излагает план, направленный против Смольного, очень сложный, очень фантастический и прежде всего очень дорогой[36].

— Что скажете?

— Скажу, что для осуществления вашей затеи нужны большие деньги...

— Денег будет сколько угодно, — перебил он нетерпеливо.

— Да? у вас имеются такие значительные кредиты?

— Нет, кредитов у меня никаких нет, но есть знакомый шофер в Михайловском манеже...

— Что же он — миллиардер, что ли, этот ваш шофер?

— Нет, он не миллиардер, а только очень удалой малый и все уговаривает меня заняться налетами. А ведь это если по игорным домам, то в одну ночь можно сделать миллион...

— Позвольте, позвольте, милый человек... вы это серьезно говорите?

— Помилуйте, смел ли бы я шутить в таком важном деле?

— Признаюсь, я предпочел бы, чтобы вы шутили... Неужели вы не понимаете? Ведь вы же на разбой идете!

— А что же мне делать, если иных средств достать деньги у меня нет?

— Уж не знаю, что вам делать, но если вы подниметесь на подобные средства, то какая же разница будет между вами и большевиками?

Он вдруг покраснел до самых белков, налил глаза слезами, стукнул кулаком по столу, заскрипел зубами и голосом непередаваемым, глухо, давясь словами, с трудом выговорил:

— Большевики здесь, в Петрограде, расстреляли двух моих братьев-юнкеров... Сожгли наше имение... Мы с крестьянами душа в душу жили и даже в революцию не поссорились, разделились миром, по-хорошему, а они прислали из города своих эмиссаров — заставили крестьян грабить и жечь... от усадьбы одни угольки остались... Сестра-гимназистка... семнадцатый год... гостила у тетки в Севастополе... теперь больна тяжким психическим расстройством после того, как... да что рассказывать! Видите: у меня нервный тик... три месяца тому назад я еще не знал, есть ли у меня нервы... И после всего того я буду стесняться в средствах, чтобы истребить этих подлецов? я должен стесняться?!

С большим трудом удалось мне прекратить овладевший им истерический припадок.

В налетчики он не пошел и никакого покушения не совершил, но бежал на юг, к белым, в ряды деникинской армии. Не так давно в Петрограде один деникинец, скрывающийся в более чем скромном звании, рассказал мне о нем с большим неодобрением.

— Храбрый был офицер, но зверь. Один из тех, по чьей милости падали на нас нарекания в жестокостях. В бою себя не жалел, а после боя пленных. На что грозный человек генерал Покровский, а и тот его одергивал, чтобы не слишком...

Мелкие разбойничьи налеты терроризировали ночную петроградскую улицу до непроходимости. Итальянский посол был ограблен автомобилистами у самых ворот своего посольства. Не избегали нападения и советские автомобили: несколько комиссаров были остановлены и обобраны дочиста, а в Москве попался было в руки налетчиков сам Ленин, но был отпущен без вреда и с честью — вероятно, в качестве товарища и «святого» (канонизирован Горьким) патрона. Систематически грабили артистов, возвращавшихся домой после спектаклей.

Одно время особенно много претерпевали танцовщицы Мариинского балета: при выходе из театра у них вырывали из рук узелки, шкатулки, баулы, воображая, что они несут драгоценности, — пока не разубедились, что это только ящики с гримом. Один из лучших актеров Александринского театра, Валуа[37], найден был убитым и обобранным. Очень известного антрепренера Сабурова обобрали в двух шагах от его квартиры. Один из артистической семьи Вольф-Израэлей[38] был раздет до исподнего белья и целую ночь продрожал, едва не замерз, под какими-то воротами, из-под которых грабители запретили ему выходить. Издевались. Одному ограбленному до костюма Адама оставили только цилиндр на голове да пенсне на носу. Одна актриса пришла домой тоже «Евою» до грехопадения, но в шелковых чулках. С женщинами безобразничали. Одна актриса, прошедшая это мытарство, не побоялась признаться, что была подвергнута насилию. Другие, вероятно, лишь предпочитали скрывать. В пустыне Марсова поля по ночам то и дело трещала перестрелка.

Уэллс в своей двусмысленно запутанной книге «Россия во мгле» уверяет, будто коммунистическое правительство «ценой многочисленных расстрелов» прекратило разбои. Это совершенно неверно. Во-первых, разбои никогда не прекращались, а пожалуй, только временно сократились — с тем чтобы в лето 1921 года вспыхнуть с новою силою. Во-вторых, и сокращение произошло отнюдь не в результате советских расстрелов. Они в это отчаянное время, когда жизнь в самом деле стала копейка, скорее разжигали удаль молодцов, бросавшихся в авантюру налета. В многочисленных тюремных рассказах — не

только от заключенных, но и от надзирателей, служителей, конвойных, шоферов — я слышал единодушное утверждение, что из обреченных расстрелу никто не встречал смерть с таким вызывающим равнодушием, как налетчики: «с папироской в губах и с матерным словом». Ночные грабежи на улицах прекратились благодаря частым военным и осадным положениям, запрещавшим уличное движение после 1 часа по полуночи, 11 часов, 9 часов, одно время даже в 8 часов вечера. Грабители исчезли потому, что не стало объектов грабежа. Точно то же было с налетами на частные квартиры. Они сократились, когда все ценное из бывших богатых домов повыгребли большевики, частию прямыми реквизициями, частию под видом организаций и комиссий, якобы охраняющих исторические и художественные сокровища, а в действительности продающих их за границу. Охота за деньгами была брошена потому, что советские деньги окончательно утратили стоимость и не заслуживали ни риска, ни затраты на автомобильный выезд. К тому же число автомобилей в городе сокращалось с каждым днем от поломок и скверной топки за отсутствием бензина смесью керосина с жиром. Стремительная езда по разрушенным мостовым сделалась неверною и опасною. Шоферы начали уклоняться от налетов, находя, что гораздо спокойнее и выгоднее торговать с обывателями керосином по 1500—2000 р. за фунт. Из налетчиков многие тоже нашли более доходным поступить в городскую милицию, в агенты Чрезвычайки, в уголовный розыск, в заградительные отряды, отбиравшие у обывателей провозимое в город продовольствие, чтобы затем продавать его тем же самым обывателям по спекулянтским ценам.

Власть не оказывала населению почти никакой помощи. Да и не могла оказать. Городскую милицию навербовали без разбора, принимая всех охочих, так что она составилась из отбросов столичного дна, которые и сами не прочь были бы от налетов, да трусость мешала. Об уголовных элементах в составе милиции неоднократно с большою горечью заявляли заведующие ею коммунисты, например Каплун. Остальную часть милиции образовали слабосильные мальчики 16—18 лет и женщины. Над этою стражею налетчики открыто издевались, хвастая, что она поставлена для их удовольствия. Мальчишек, если они принимали свои полицейские обязанности всерьез, обезоруживали и били; несколько милиционерок были изнасилованы. Бывали, конечно, и мужественные исключения; какая-то эпическая милиционерка, гово-

рят, разбила целую шайку, одного застрелила, двух тяжело ранила, остальных заставила сдаться. Но исключения только ярче подчеркивали общее правило. Теперь женщин, кажется, вовсе перестали принимать в милицию, по крайней мере в уличную.

Более серьезною грозою на налет были красноармейские патрули. Но, отправляя их в обход, командир едва ли мог с уверенностью предсказать, идут ли они пресекать налеты или принимать в них участие. Еще в 1919 году были обнаружены первые следы колоссальной разбойничьей организации Василия Чугуна. Центром ее были Измайловские казармы, а разветвления охватывали весь Петроград с пригородами. Участвовали по преимуществу солдаты, каковым был и сам Чугун, а своих агентов и сообщников банда имела даже среди членов Совдепа. О многолюдности и прочности организации можно судить из того, что в 1919 году дело о ней началось сразу арестом двухсот человек, и, однако, не был взят ни один из главарей шайки и она продолжала свою работу еще два года. Не знаю, когда был схвачен Чугун, но расстрел его был опубликован только летом 1921 года. Организация Чугуна привела советское правительство в ужас и зависть мастерским совершенством дисциплины, шпионажа и тайны. А он на допросах с насмешкою твердил, что советской власти следовало бы не казнить его, но посадить в народные комиссары, потому что — стоило ему захотеть, и большевиков давно не было бы в Петрограде.

В последнее лето окраинные налеты по квартирам опять возобновились. Причина — безумное повышение ценности предметов первой необходимости при большом удобстве сбыта их из нищего города в богатую деревню. Прежний налетчик, охотник по золоту и драгоценностям, и смотреть не хотел на платье, белье, стенные часы, зеркала, швейную машинку, кухонную посуду, — нынешний на все это бросается с жадностью. Бывают налеты, рассчитанные на определенную цель прямо-таки с коммерческою деловитостью. Так, в июле по Васильевскому острову (между прочим, и в нашем доме) какая-то практическая компания систематически очищала чердаки, спарывая обивку со сложенных там матрасов и отставленной в забвении старой мебели, но не трогая других вещей. Очевидно, люди работали на торговый заказ. Недавно, будучи в Берлине, я узнал от приезжего из Петрограда, что вскоре после нашего бегства налетчики побывали и на нашей опустелой квартире. Ну, это было, должно быть, очень юмористическое зре-

лище, весьма схожее с анекдотом, как вор, по ошибке забравшись в мансарду двух голодных студентов, не только не нашел ничего взять, но сам вышел обратно без штанов...

Что касается мнимо прекращенного уличного грабежа, то давно ли Чрезвычайка расстреляла шайку пресловутых «мертвецов на пружинах», которые по ночам в белых саванах и покойницких масках, двигаясь на каких-то особенных ходульках или котурнах, набрасывались на прохожих в глухих переулках и, остолбенив их суеверным страхом, затем вытворяли над ними всякие хулиганские мерзости?.. Да и вообще, какое уж там прекращение! Всего за несколько дней до моего бегства одна из наших знакомых, юная танцовщица, была освобождена от своих колец и браслетов двумя притворными инвалидами на бойкой 12-й линии Васильевского острова в два часа пополудни!.. А грабеж мертвых? дело Петропавловской больницы? Смоленского кладбища?.. Мать, только что схоронившая дочь-девушку, идет за покупками на Андреевский рынок. Видит человека, продающего белое кисейное платье, как будто ей знакомое. Вглядывается: оно то самое, в котором она, два дня тому назад, опустила в могилу дочку свою... Вцепилась в продавца и подняла шум. Случай этот дал толчок к раскрытию целого ряда подобных же преступлений, осуществлявшихся по соглашению кладбищенских сторожей и могильщиков с больничною прислугою, возчиками погребальных колесниц и тому подобным траурным народом.

Нельзя прекратить разбойничества там, где само правительство — разбойник. Бесчисленны и ужасны вреды, нанесенные большевизмом русскому народу, но, быть может, самый ужаснейший из них — гнусная привычка карамазовской уверенности, что «все позволено»... за исключением, конечно, ослушания и противоречия советской власти!.. Яд этой прививки проник очень глубоко, заражая не только пролетариат, которому она усердно навязывается и втолковывается, но, по соседству, и ту слабую часть интеллигентно-буржуазного общества, которая упала до компромисса «с волками жить — по-волчьи выть». Если, мол, мерзавцу дозволено, то почему же мне-то, такому хорошему Ивану Ивановичу Иванову, нельзя... И — до каких «глубин сатанинских»[39] доходит эта нынешняя «всепозволенность» петроградская, того никаким Карамазовым и Свидригайловым не снилось... Есть факты, в свидетельстве которых, если бы они однажды сделались предметом судебного разбирательства, я мог бы святейшую из святейших

присягу принять, но печатно рассказать их все-таки не решаюсь, хотя — мои читатели знают — я не из тех, кто трусит называть вещи своими именами. Но где найти, как изобрести язык, чтобы *вероятно* оповестить *невероятия*, в которых нынешний одичалый россиянин, вооружась девизом «всепозволенности», самозабвенно опускается с уровня человеческого на уровень гораздо низший грязного скота?.. Вопреки молве устной и даже печатной, я более чем сомневаюсь, чтобы в Петрограде, при всех его голодных и холодных муках и ужасах, были случаи голодного людоедства. Я очень старательно проверял подобные слухи, искал их источники и предлоги к ним — и всякий раз упирался в пустое место бабьей болтовни. Что касается продажи на рынках якобы человеческого мяса за свинину, это-то уж совершенный и безусловный вздор. Но однажды очень видный большевик, член военно-революционного трибунала, рассказал мне с ужасом и негодованием такое действительное людоедское дельце, только что прошедшее в его судебной практике, что я схватился за голову и едва не закричал: «Вы врете! врете! этого не может быть! клевещете на человека!..»

Но предо мною сидел очевидец вещественных доказательств, производивший следствие и в результате поставивший «к стенке» семь двуногих зверей — на этот раз с совершенно спокойною совестью. И голод в их отвратительной антропофагии был ровно ни при чем, а внушили ее им, сытым, пьяным и невежественным озорникам-садистам, поганое сексуальное любопытство и хулиганская дерзость, упразднившая «и Божий страх, и человечью совесть», в твердом восприятии убеждения, что «все позволено»...

V

Чрезвычайно интересна была группа фальшивых монетчиков или, вернее, подделывателей государственных кредитных билетов. Я слышал об этой шайке еще на воле. Совершенно случайное раскрытие ее организации наделало много шума в Петрограде и сильно ударило по финансовому кредиту большевиков, и без того уже более чем невысокому. Ударило не суммою, выброшенною фальсификаторами в народный оборот, хотя и она была довольно значительна; шайка напечатала кредиток на десять миллионов рублей с залишком и 3,5 из них успела разменять, — но слухом, быстро превратившимся во всеобщее



В.А. Гиляровский



«Татьянин день в Москве». Рисунок Н.П. Чехова в журнале «Будильник» (1882)

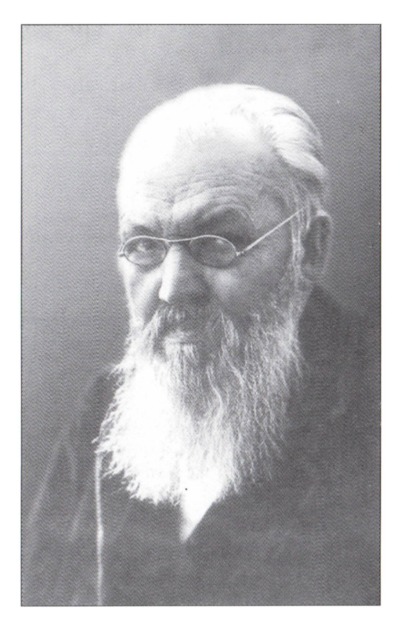


А.В. Амфитеатров в 1890-е годы





А.И. Суворина



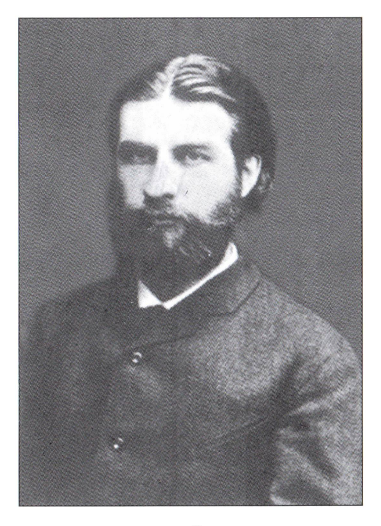
А.С. Суворин



Е.А. Шабельская



Обложка журнала «Будильник» (1890), посвященная двадцатилетию творческой деятельности М.Н. Ермоловой



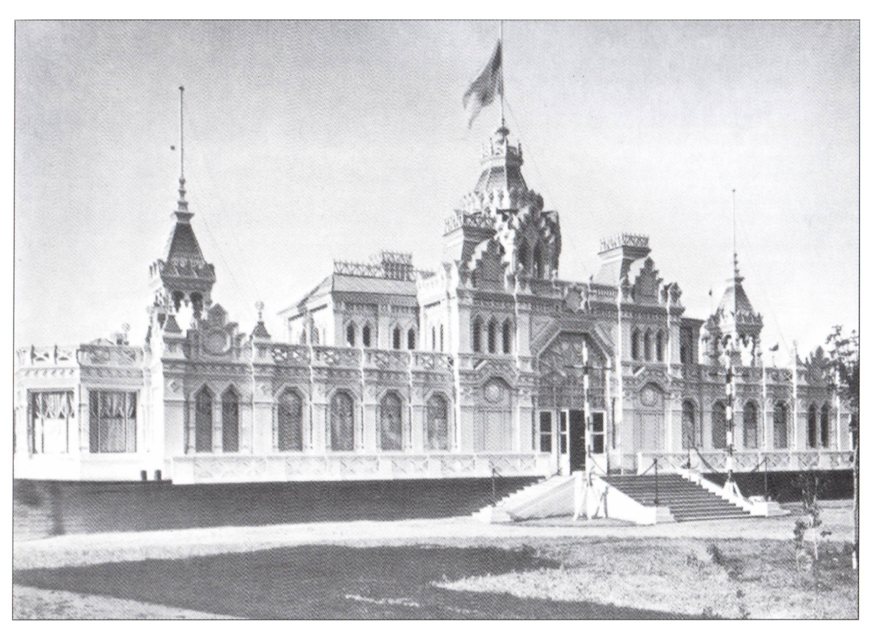
Н.П. Шубинский



М.К. Заньковецкая



В.И. Фирсанова



Всероссийская выставка 1896 года в Нижнем Новгороде.
Павильон Волжско-Каспийского судоходства

Всероссийская выставка 1896 года в Нижнем Новгороде.
Машинный зал



А.В. Амфитеатров в конце 1890-х годов



Открытка с видом Минусинска



А.В. Амфитеатров с семьей
в ссылке в Минусинске (1902)



А.В. Амфитеатров и И.В. Амфитеатрова в эмиграции в Италии



К.А. Лигский

А.В. Амфитеатров. *Рисунок М.С. Боткиной (1908)*



И.Ф. Манасевич-Мануйлов



З.А. Пешков



Г.А. Лопатин и М. Горький (1909)

Группа сотрудников Петроградской ЧК

Здание, в котором располагалась Петроградская ЧК (ул. Гороховая, 2)



№ 322

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Пред'явитель сего Урицкой Моисей Соломонов Председатель Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр-революцией и спекуляцией.

Председатель

Секретарь

Подпись владельца удостоверения.

Удостоверение М.С. Урицкого



Следователь Петроградской ЧК
И.Л. Леонов



Следователь Петроградской ЧК
П.А. Карусь

Жизнь

человѣка, неудобнаго для себя и для многихъ.

Часть первая.

Глава первая.

Лихвинъ.

I.

Я родился 14/26-го декабря 1862-го года въ губернскомъ городѣ Калугѣ. Отецъ мой, Валентинъ Николаевичъ Амфитеатровъ, въ то время очень молодой священникъ и преподаватель словесности въ мѣстной духовной семинаріи, занималъ, кромѣ того, мѣсто смотрителя въ богоугодномъ заведеніи, носившемъ довольно грустное названіе „Сиротскаго дома". Тамъ-то, въ „Сиротскомъ домѣ", и увидѣлъ я свѣтъ раннимъ декабрьскимъ утромъ, въ то время, какъ отецъ въ домовой церкви служилъ обѣдню. Трудно она ему далась: былъ внѣ себя отъ волненія, мысли отрывались отъ священнодѣйствія и летѣли въ маленькую квартирку, гдѣ маялась родами молодая попадья-супруга, Елизавета Ивановна. Въ промежуткѣ отъ проскомидіи къ литургіи оглашенныхъ трапезникъ шепнулъ батюшкѣ добрую вѣсть изъ дому: матушка благополучно разрѣшилась здоровеннымъ сыномъ.

О. Валентинъ и Елизавета Ивановна были женаты третій годъ. Я второй ихъ ребенокъ. Первый, тоже мальчикъ, умеръ двухмѣсячнымъ, отъ родимчика. Его тоже, какъ меня, звали Александромъ. Отецъ былъ пристрастенъ къ этому имени и увѣрялъ, что, сколько бы ни родилось у него сыновей, онъ всѣхъ будетъ крестить Александрами. Осуществить намѣреніе не было ему дано, такъ какъ я остался единственнымъ сыномъ, послѣ меня пошли дочери. Одну изъ

Первая страница рукописи мемуарной книги А.В. Амфитеатрова



А.В. Амфитеатров в 1920-е годы

убеждение, что и остальные захваченные подложные кредитки большевики, ничтоже сумняшеся, приобщили к своей казне как настоящие и производят ими уплату. Сами заключенные фальсификаторы слух этот подтверждали положительно. Да, правду сказать, теперь, с оглядкою назад, он уже не кажется так странным и маловероятным, как принимали мы его в то первое время, когда большевики свои песенки, все-таки еще зардевшись, пели[40]. Фальсификация денежных знаков не только «романовских» и «думских», но и иностранных валют в последующие 1919—1921 годы была возведена советским правительством в систему, даже не особенно скрываемую вообще, а иногда — откровенную до восхитительной наглости. В практике системы этой должны же были быть сделаны какие-нибудь первые шаги. Возможно, что одним из таковых был и петроградский опыт с захваченными фальшивками. Бывало, в старину в Минусинске или Ачинске спросишь поселенца, за что он угодил в Сибирь, и получаешь шутливый ответ:

— По царевой неблагодарности: я, как добрый, ему помогал деньги делать, а он, чем бы спасибо сказать, меня — эво куды!..

Так как советское правительство посадило подделывателей в тюрьму, то они также имели право жаловаться на «неблагодарность» — тем более что царь-то сторонней помощи в печатании денег не принимал, а советское правительство приняло с удовольствием, извлекло из нее полезные для себя уроки и потом блестяще применило их к делу.

Фальшивки петроградских подделывателей были совершенством в своем роде. Путем кражи или подкупа эти ребята раздобылись из Государственной экспедиции тою самою бумагою, на которой печатались правительственные кредитки, а клише и машина у них были лучше, чем в экспедиции, так что их фальшивки разнились от настоящих только большею отчетливостью рисунка и яркостью красок. Уверенные в высоком достоинстве своей работы, они меняли эти художественные произведения не из-под полы, по две, по три бумажки, как, бывало, шли в народ «краснoярки», «гуслицкие» и прочая «мягкая деньга», но смело несли их неразрезанными листами в правительственные кассы и, до оплошного случая, на котором провалились, ни разу нигде не возбудили ни малейшего сомнения в подлинности своего фабриката. Успех окрылил их до такой дерзости, что, когда запас бумаги из экспедиции истощился, они продолжали печатание на какой-то случай-

10. Заказ № 833

ной бумаге с разводами, нисколько не похожими на водяные знаки государственных кредиток, — и ничего, тоже сходило с рук благополучно. Заработав на размене 3,5 миллиона, устроили на радостях пир и всею почтенною компанией перепились до зела. И в таком-то веселом состоянии очередные отправились «допечатывать». Справили свое дело — хоть бы трезвым, но спьяну позабыли, что их машина работает формат, гораздо больший государственного, а потому листы своих фальшивок они до сего времени печатали с «прокладкою». Теперь же спустили клише в машину без прокладки, и она пошла стукать листы не в 12 рядов, а в 16, не на 60 тысяч, а на 80. Числа рядов и тысяч я точно не помню, да это и не важно, — любопытен характер ошибки. Работа же вышла, по обыкновению, безукоризненною.

Протрезвившись, заметили ошибку, но такова была их самонадеянность, что они даже не потрудились исправить свой промах — хотя бы простейшим способом: разрезав листы на отдельные кредитки. Лень нашла: куда, мол, большевикам заметить, что они смыслят! сойдет и так!.. И действительно, совсем было «проскочило», но, на грех, они попали при размене на приемщика не из «товарищей», а на какого-то старого опытного артельщика — из тех, что вняли настояниям новой власти отказаться от «саботажа» и возвратиться на банковую службу. Совершенство подделки обмануло было и этого эксперта: девять листов он принял беспрепятственно и только на десятом спохватился, что они как-то несуразно велики и отвечают на большие суммы, чем следует. Разменщика арестовали, он выдал организацию; люди повинились и указали свою печатню и склад готовых кредиток на сумму свыше семи миллионов рублей: для того времени еще громадные деньги.

В тюрьме шайка не унывала, держалась бодро и весело, в твердом убеждении, что ее дело кончится пустяками. С допросов от Урицкого подделыватели, в резкое отличие от других заключенных, возвращались обнадеженными:

— Говорит: хватите два года принудительных работ, и больше, не робейте, ничего вам не будет...

В страшные дни, когда людей «ставили к стенке» и «пускали в расход» сотнями, это, конечно, звучало не угрозою, но поощрением. Среди заключенных шайка была заметно выделена на особое, привилегированное положение. Однако, должно быть, тюремные любезности и следовательские ласки служили только ловушкою, потому что

впоследствии шайка все-таки была расстреляна — не знаю лишь, при Урицком или позже...

Я допускаю, что Урицкий мог в самом деле смотреть на их преступление с известною снисходительностью, как на маловажное и не содержащее большой угрозы благополучию советской республики. Он был фанатик большевизма, а следовательно, и заклятый враг денежного хозяйства, которое упразднять Кремль и Смольный в начале своего царствования устремились было с превеликим азартом. Не только ленинцы, но и сам Ленин серьезно и твердо верили, что достаточно будет советского декрета, чтобы вся Россия отреклась от вековой ереси бумажек с аппетитно напечатанными на них цифрами и возвратилась к тем удобным способам товарообмена, которыми блаженной памяти дедушка Гостомысл успешно пользовался в торговых сношениях с чудью, весью, мерею, муромою и летиголою. Я сам присутствовал на одном митинге в Народном доме, когда Зиновьев, потрясая над толпою десятирублевою красною кредиткою, доказывал на ее примере безусловное ничтожество и ничегонестоимость бумажного обращения с такою энергическою убедительностью, что кости Джона Ло, вероятно, раз сорок перевернулись в гробу своем. Правда, публика, тогда еще не вовсе запуганная, покрикивала в ответ оратору:

— Ежели деньги ничего не стоят, так зачем же вы подоходный налог установили?

Тогда это покушение с негодными средствами хотя уже безнадежно рухнуло в факте, однако еще существовало и грозило на бумаге.

«Матросня» грохотала:

— Десяткою-то, братишка, пожалуй, и я папироску закурю (излагались проекты и более выразительные), а ты уважь — изничтожь пятитысячную!

Но линия выдерживалась твердо, проповедь звучала убеждением, пропаганда велась с величайшим напряжением и, как во всех коммунистических начинаниях, добилась... совсем не того, во имя чего она велась!

Упразднить денежное обращение большевикам не удалось ни на единую копейку — напротив, оно возросло до цифр даже не феерических уже, а прямо-таки апокалиптических — астрономических, «планетарных». Миллион теперь только-только что не денежная единица, бюджет вычисляется миллиардами, биллионами и триллионами. Выс-

ший совет народного хозяйства в Москве уже заявил народным комиссарам о необходимости реформировать правительственную бухгалтерию. Потому что: 1. счетные книги общеевропейского образца оказываются непригодными для советской практики: их узкая строка не вмещает чересчур многозначных цифр прихода и расхода; 2. бухгалтеры отказываются от ответственности за подсчеты уже именно планетарных цифр, благополучное фехтование которыми возможно разве только при помощи логарифмического исчисления.

Прошлою весною проходил я мимо Мариинского театра. У подъезда стояла фура, нагруженная ящиками, аршина полтора в длину, аршин в вышину. Возчики снимали их и, кряхтя, вносили в театр.

— Что это, товарищи? — спросил я.

— Актерам жалованье привезли...

— Этакий-то воз?! Сколько же здесь миллионов?

— Начальству известно, — сурово умерил мое любопытство один.

Но другой, поласковее, тронул ногой ящик, только что спущенный на тротуар, и ответил:

— В этакой штуке их двадцать пять, три мы уже снесли, да вон еще сколько осталось...

— Черт считал да и считалку потерял! — пошутил третий.

Два года тому назад подобная фура могла двигаться по Петрограду только окруженная густою щетиною штыков; иначе она не успела бы одного переулка проехать, как на нее ринулись бы налетчики. Теперь от нее даже единственный конвойный отлучился внутрь театра, спокойно бросив на совесть и страх возчиков капитал по крайней мере в полмиллиарда рублей. Что же это — честностью, что ли, такою особенною преисполнился Петроград? Нисколько. От краюхи хлеба, от мешка с мукой конвойный не посмел бы отойти ни на один шаг: сию же минуту слизнут, только зазевайся. Но крашеная бумага, слагающая астрономические цифры советского бюджета, кому она нужна, — по крайней мере, настолько, чтобы льститься на нее до грабительского риска? Она дожила до возможности сама себя стеречь — по малой в ней надобности.

В прошлом июле, после трехлетнего полного отсутствия литературного заработка, я вдруг получил возможность продать за границу, в ревельское издательство «Библиофил», свою повесть «Зачарованная степь» и драматическую рапсодию «Васька Буслаев». Расчет произведен был по советской валюте, следовательно, в миллионах, или в

«лимонах», как выражался в переговорах со мною тогдашний дипломатический представитель Эстонии в Петрограде и один из директоров «Библиофила» А.Г. Орг. Кстати, раз к слову пришлось, воспользуюсь случаем опровергнуть очень гадкую сплетню, пущенную об этом человеке его ревельскими политическими противниками — именно по поводу приобретенных им рукописей петроградских писателей. Сплетня, к сожалению попавшая и в печать, уверяла, будто г. Орг скупал наши работы в порядке «спекуляции на голоде» и меня, например, вынудил отдать ему целый роман за три пуда ржи. Это безусловная клевета. Г. Орг платил и мне, и другим писателям, договоры которых мне известны (напр., Вас.Ив. Немирович-Данченко), по норме, проектированной Московским профессиональным союзом писателей[41], в 500 000 рублей за лист, а за «Ваську Буслаева» я получил гораздо больше, по миллиону за акт. Расплата была произведена с рукописи, и без нее я и до сих пор сидел бы в советском пленении, потому что только этими деньгами я мог покрыть часть колоссальной суммы, которая потребовалась для устройства нашего — шести душ — бегства из Петрограда и которую я осужден, надо думать, еще долго-долго выплачивать. Что поделаешь?

Даром ничто не дается: судьба
Жертв искупительных просит...[42]

Разделись до последней нитки, распродались до последнего одеяла, зато купили высший дар жизни — свободу. И потому-то мне особенно досадно, что вместо благодарности, которую мы все, семьею, питаем к г. Оргу, он, чьим-то злым старанием, получил совершенно незаслуженную обиду.

И вот вспоминаю курьезнейшее возвращение свое от издателя домой с благоприобретенными «лимонами», упакованными в газетную бумагу. Получился весьма громоздкий тюк, который я довольно беспомощно влачил под проливным дождем. На пристани невского пароходика кто-то тронул меня сзади за локоть. Оглядываюсь: знакомый.

— Слушайте, — шепчет, — как же вы это так? стоите в очереди, а держите деньги всем открыто?

Дико смотрю на него.

— А вы откуда знаете, что я несу деньги?

— Да вы поглядите на тюк свой...

Гляжу: бумага размокла, разлезлась и «косые» так и сверкают в щели...

— Ах, благодарю вас, что указали. В самом деле, ввожу публику в искушение... могут ограбить...

А он:

— Ну, что ограбить! кому надо грабить? А вот — налетите на агента из Чрезвычайки, то попадете в комиссариат для разъяснений, откуда их взяли, да не для взноса ли в контрреволюционный какой-нибудь фонд, да не для покупки ли валюты, да не продали ли вы кому-нибудь валюту, — а в результате разъяснений останутся ваши «лимончики» в ЧК, только вы их и видели... Давайте-ка, давайте-ка я их упрячу в мешок. Да и дома — советую вам: укройте посекретнее...

Я чуть не расхохотался: куда я укрою этакую махину, когда у меня в квартире не осталось почти никакой мебели?!.. Но — озарился вдохновением: время летнее... в печку!!!.. Так печка и стояла, нафаршированная «лимонами», пока однажды вся их громада не превратилась мгновенно в тощую-тощую пачку «финнок».

Когда мы, чудесным, почти волшебным ночным перелетом через Финский залив, очутились в Финляндии, тщетно искали мы в Териоках охотника приобрести уцелевшие из этих наших «лимонов» 397 000 советских рублей. В банках и меняльных лавках говорят:

— Запрещено, да нам и не интересно... Не котируются!

Направляют к частным аферистам — те руками отмахиваются: не котируются!

Один угрюмейший финн, впрочем, задумался. Долго смотрел на наш блистательный капитал, курил трубку и безмолвствовал в густых клубах дыма. Затем сделал безнадежный знак рукою, чтобы мы убрали свои богатства, и произнес лишь единое — первое и последнее — свое слово, к нашему изумлению, весьма чисто по-русски:

— Наплевать.

Более выразительной эпитафии финансовому предприятию я никогда не слыхивал. Можно сказать, — одним словом похоронил целую систему!

Наконец, уже недели через три, в Гельсингфорсе, я получил от жены радостное известие, что ей таки удалось спустить эти окаянные 397 000 какому-то оригиналу за 300 финских марок... Я был очень доволен, но до сего времени страдаю угрызениями совести: не слишком ли жесто-

ко мы облапошили этого добродушного идиота? Ведь что же мы, в конце концов, ему продали? Все равно что ярлыки на бутылки...

— Извините, — несколько успокоил меня гельсингфорский коммерсант-россиянин, с которым я поделился своими сомнениями, — четыреста тысяч бутылочных ярлыков вы теперь никак не получите за 300 крон, так что наш покупатель менее глуп, чем вы думаете, и хотя покупка его вообще несколько странна, однако настоящую цену ей он, по-видимому, знает...

Помните ли вы, как, бывало, до революции мы, на Руси, определяли:

— Дешевле пареной репы.

Ну-ка, попробуйте произнести вслух эту нелепость в нынешнем Петрограде, когда репа на рынке стоит 1000 р., а чтобы парить ее, нужно жарко вытопить печь, а чтобы жарко вытопить печь, нужна, по крайней мере, четверть вязанки дров, а дрова, уже в июле и по дешевой цене, при покупке у невских пиратов-дровокрадов стоили 150 000?!

Упразднить денежное обращение большевикам не удалось, но вложить в темные головы представление о ничтожестве денег они успели вполне, так как практикою своего печатного станка научили даже и самых наивных, что бумажки, за которыми не стоит государственных ценностей, годятся лишь на оклейку стен. Для того чтобы постигнуть эту нехитрую истину, массам нужно было время и время. Большевики любят ставить монументы разным своим предшественникам в области «великих идей». Уж если кто заслужил от них монумента, то, конечно, покойный Сергей Федорович Шарапов с его теорией и пропагандою бумажного рубля как самодовлеющей ценности. Несколько оскорбительно для Ленина, Каменева, Крестинского, Боголепова и прочих хозяев советской финансовой политики единомыслие и единодействие с таким яростным царистом, но это так. Советская власть продержалась четыре года на том самом надувательстве народа бумажным рублем, которое Шарапов рекомендовал царской власти. Однако тогда шараповского рецепта даже беззастенчивый Витте не принял — «по чрезмерной бесстыжести» (подлинное выражение министра), за что и преследован был от покойного финансиста лютейшею ненавистью. Большевикам же изобретение Шарапова суждено было не только принять и усвоить, но и развить, усовершенствовать, довести до Геркулесовых столбов... абсурда!..

Результатами четырехлетнего опыта бумажной валюты, обеспеченной «всем достоянием государства», то есть, как уверяли в Петрограде, «старыми штанами товарища Ленина», явилось, во-первых, перерождение буржуазного предрассудка, что «деньги не щепки». Смысл его перевернулся с лица наизнанку. Потому что сейчас в Петрограде щепка — ценность, а деньги — нет. Обroните на улице щепку — к ней сразу десять рук протянутся. А советскую сторублевку, на моих глазах, нищий у пароходной пристани на Николаевской набережной швырнул доброхотному дателю обратно, с милым пожеланием:

— Сберегите себе на гроб!

Во-вторых, — твердое убеждение населения, что все новейшие русские деньги, кто бы их ни мастерил, «все равно фальшивые». А отсюда и величайшее равнодушие к подлинности и происхождению гуляющих в обороте денежных знаков. Да ведь к ним и сами-то большевики потеряли уже всякое уважение: до того, что не заботятся для них даже о престиже внешней внушительности и, за скудостью в бумаге, стали печатать свои бумажонки черт знает на что похожими. Видали ли вы последний летний выпуск односторонних расчетных знаков 1000- и 500-рублевого достоинства? Ведь это и впрямь были по виду именно ярлыки для наклейки на бутылки, притом не винные, — какая же винная фирма допустит на свой розлив подобную мизерию? — но какого-нибудь захудалого завода фруктовых вод. В деревнях, даже пригородных, где еще не совершенно разуверились в самом существе бумажных денег, этих, с позволения сказать, знаков ни за что не брали, с весьма откровенной мотивировкой:

— Этакой дряни я тебе сам, сколько хочешь, настукаю: был бы досуг вырезать дощечку...

В Петрограде они обращались же как по отупелой обывательской философии:

— С двух ли сторон крашена, с одной ли стороны — все равно, плюнуть да растереть...

Уже два года тому назад, в дни еще платного трамвая, был я свидетелем сцены. Бравый матрос, щеголь-«клешник», в уплату за билет (25 р.) подает кондукторше тысячерублевку. Кондукторша роется в сумке, собирая сдачу. Между тем матросу у Адмиралтейства надо сходить. Не ожидая сдачи, он проталкивается к выходу.

— Подождите, — кричит кондукторша, — я еще не отсчитала...

— Некогда, товарищ... Возьмите себе на память...

— Да как же это?!..

— Ничего... Я не обеднею, вы не разбогатеете... Адье-с!

И соскакивает на ходу.

Мне часто приходилось садиться на трамвай на Петропавловской улице — конечном пункте 8-й и 31-й линии. Выжидая, я перезнакомился с большинством вагоновожатых и кондукторш. Как-то раз жду, сижу на площадке, уборщица подметает вагон, а вагоновожатый и кондуктор скалят зубы:

— Что? много ли нагребла? поделись, товарищем назову...

А та, согбенная, шутливо огрызается:

— Сколько ни нагребла, все наше!..

— Лафа этим метельщицам, — объяснил мне вагоновожатый, — что народ сейчас в тесноте денег роняет — страсть! А поднимать в давке, — где же: люди плечом к плечу стоят... Еще ради «косой», пожалуй, иной, который очень расчетлив, постарается, раздвинет публику; ну, а для сотенной совестно и соседей толкать-беспокоить: увидят, из-за какой малости ты и себя, и других растревожил, — засмеют.

Летом ходил по Петрограду анекдот. Где в нем кончается правда и начинается вымысел, пусть читатель сам ищет. Но характерен он очень.

ЧК заарестовала некоего таинственного спекулянта. Чтобы испытать, в каких размерах он спекулирует, ему намекнули, что он может избавиться от тюрьмы, дав взятку — миллион рублей. Спекулянт, не поморщившись, вынул из саквояжа требуемый «лимон» и вручил. Чекисты его отпустили, но затем разлакомились:

— Гусь-то, должно быть, из крупных, надо за ним поглядывать... Дадим ему погулять недельку, а там и опять...

При втором аресте спекулянт уже не выжидал намеков, а сам «пошел навстречу»:

— Сколько?

— Два миллиона.

Уплатил с тою же легкостью, чем окончательно убедил Чрезвычайку, что в ее сетях запуталась птица высокого полета. Решено арестовать в третий раз и теперь спросить уже пять миллионов. Спекулянт запнулся, задумался...

— Сразу не могу, дайте два дня срока...

— Хорошо, но — чтобы через два дня пять «лимонов» на стол, иначе — к стенке!

Проходят два дня, — спекулянт с пятью миллионами является час в час, минута в минуту... В Чрезвычайке сенсация:

— Ну, и обороты же, должно быть, делает этот мошенник! Но чем же он, в конце концов, спекулирует, что так свободно швыряет миллионами, черт бы его побрал?!

Дали жертве отдохнуть, опять схватили.

— Сколько?

— Десять миллионов.

На этот раз спекулянт взбунтовался:

— Не по силам! не могу!

— Тогда — к стенке.

— Ей-богу, нет никакой возможности...

— К стенке!

— Н-ну... дайте хоть время собрать...

— Хорошо. Пять дней.

— Что вы! что вы! по крайней мере, две недели.

— Так и быть, неделю.

— Ну, хоть десять дней?!

— Неделю — и никаких гвоздей! Иначе — к стенке!

— Ах, ты, Господи! Нечего делать, будь по-вашему... хорошо!

— Но смотри, помни: не принесешь через неделю — к стенке!

Минула роковая неделя. Приходит спекулянт на Гороховую, 2. В руках большой сверток, а за ним два парня тащат, в рогоже, какую-то громадную ношу. Все это спекулянт — пред изумленными чекистами — поверг торжественно на стол и изъяснил мрачно:

— Вот вам! Здесь в свертке — семь... больше не успел! *А остальные допечатывайте сами: я вам и станок приволок!*

VI

— На допрос!

Когда в камере звучало это начальственное приглашение с предпосланием чьей-либо фамилии, разно оно принималось заключенными — в зависимости от того, кто, по какому делу и к какому следователю требовался. В настоящее время советские следователи

пообтесались и приобрели известную самостоятельность. В большинстве это скверные личности, но все-таки личности. Выучились рассуждать, вести логическую нить, не лишены смелости иметь собственное мнение и даже иногда проявлять некоторую личную инициативу, давая заключения, оппонирующие давлению с коммунистического верха. Имев удовольствие сталкиваться с этими полупочтенными деятелями в 1918, 1919 и 1921 годах, я могу засвидетельствовать, из года в год, большой прогресс в их диалектической ловкости, хотя и от первобытно грубых допросных приемов они, конечно, не отказались, а, напротив, по словам заключенных с темных низов, значительно их приумножили. Но сам я на себе грубого обращения не испытал, а потому могу говорить о нем лишь с рассказов соузников, — из них многие возвращались с допросов бледнее смерти и с лицами, залитыми слезами.

Пытанных, в первый свой арест, я видел двух, но они подверглись пытке не на Гороховой, 2, а в комиссариате Измайловского полка, куда были взяты с улицы из толпы демонстрантов, протестовавших против упразднения свободной рыночной торговли. К нам привезли их после того, как вымучили у них «признание». Один, пожилой еврей, попал в толпу (на Знаменской площади, помнится) совершенно случайно, а выхвачен был из нее красноармейцами по старому рецепту — брать и объявлять зачинщиком, наудачу, первого, в чей шиворот вцепится засунутая в народную гущу полицейская лапа. Этот еврей, как только вошел к нам в камеру, повалился на первую же свободную постель лицом к стене и больше уже не вставал, покуда его опять не увезли куда-то. Он был страшно избит прикладами по телу и кулаками по лицу, не владел вывихнутою левою рукою и не мог без стона ступить на правую ногу: оттоптали в комиссариате пальцы каблуками, вымогая, чтобы согласился подписать протокол. Другой пытанный, мальчишка лет 15—16, лоточник, продавец папирос, опух избитым лицом, словно его осы изъели. Особенно ужасный вид имели глаза, одновременно и выпученные из орбит, и заплывшие опухолью, — соединение, казалось бы, несоединимого, — чего я никак не мог бы вообразить, если бы не видал сам. Попробуйте представить себе лицо-маску — плоский, слегка бугристый сине-багровый блин: нос едва намечается, слившись со щеками, а по сторонам его выперли два кожные столбика, как у рыбки-телескопа, и на поверхности их мигают два глаза, но не огромные, как

у той рыбки, а крохотные, еле мерцающие и сквозь слезы и слизь, густо кровавого, краснее кроличьих глаз, цвета. Смотрю — и понять не могу: что с этим парнем делали, каким инструментом обрабатывали его, чтобы привести в такой невообразимый вид? Оказывается — очень просто. Два красноармейца держали его за руки, а комиссар, стоя перед ним, тыкал ему в глаза указательными перстами.

— Боль, — говорит мальчишка, — ужасная, нестерпимая, будто огненная стрела пронизывает голову и все в ней сотрясается...

— За что же он тебя мучил? Ведь ты же, говоришь, сознался?

— Да от меня и сознания не требовалось, потому что я на деле взят. Только два раза мы с Прошкой и крикнули: «Долой советы!» — по третьему нас обоих сзади, цап-царап антихристолюбивое воинство... Прошка вывернулся из пиджака, убег, а мой архангел оказался ловкий: поддернул меня за штаны и на вес взял, — самая преподлая манера, человек делается как кукла, недвижим ни к какому сопротивлению... Тут рядом дровяной двор... Привели, приказывают: «Становись к дровам!» Я — на колени: «Товарищи! Дяденьки! что вы? помилосердуйте! мне “шестнадцатый” год!» Отделенный поглядел, плюнул: «Ладно, черт с тобой, пойдем в комиссариат...» Вели, вели, — нигде меня не принимают, говорят: «У нас своей районной скотины нагнано, — не знаем, в какую яму валить, а вы нам еще чужаков ведете... проваливайте дальше!» В двух комиссариатах красноармейцы сдавали меня с рук на руки, а я иду — уж и не знаю, к добру это или к худу? Надоест им таскаться со мною по городу — что тогда, пристрелят или дадут раз-другой по шее и отпустят, — гуляй, Миша, покуда цел!.. Но в Измайловского полку комиссариате у них сидят словно не люди, а черти рогатые... Комиссар, едва завидел меня на пороге, заорал:

«А, привели сукина сына? Давно он у меня на замечании! Подайте мне его сюда!»

«Помилуйте, — говорю, — товарищ комиссар? как я могу быть у вас на замечании? Я вас впервые вижу...»

«Ах, — говорит, — ты меня впервые видишь? ты меня раньше не видал? Так вот увидишь, вот увидишь!..»

Да как ткнет... я свету невзвидел!.. А он выждал, чтобы я опамятовался от первого раза, — да опять, да опять!.. У самого глаза кровью налились, зубы стиснул и шипит:

«В третий раз ловлю тебя, подлеца! покою мне не даешь, мерзавец! вся контрреволюция в красном Петрограде идет от тебя, сукина сына!»

А вот вам крест святой, да и с чего бы я стал врать? — мне даже и во сне его скверная рожа никогда не снилась, не то что видеть наяву... Другой ли, какой-нибудь похожий, мальчишка его разобидел или просто уж такой уродился зверь-человек, что бросается, как бешеная собака, — кто ж его знает?.. И ответить не дает: чуть рот разину, хлоп в рожу! тык в глаз!.. Я память потерял, только реву не своим голосом, а кругом — ха-ха-ха! го-го-го! — грохочут... Наконец уж последний красноармеец, который меня привел, заступился:

«Бросьте, — говорит, — товарищ комиссар! ведь этак возможно и ослепить парня. Ежели он подлежит расстрелу, то прикажите — расстреляем, а ежели нет, то зачем же его увечить, — только одним слепым нищим в городе больше станет, а пользы никакой!..»

Ну, он послушал... Схватил меня напоследок за волосы, ударил три раза головой об стенку и оставил...

«Подписывай, что признание дал добровольно, обращением доволен и претензий не имеешь...»

А я уже и бумагу-то еле вижу, по которой пером вожу...

Подписал.

«Ведите его, вот ордер — гайда на Гороховую!..»

Не могу понять, зачем приводили к нам этих искалеченных людей. При старом режиме полиция била и истязала заключенных, но избитыми не хвастала, а, напротив, старалась спрятать их подальше от человеческих глаз — в госпиталь, в одиночку, в карцер. Расстрелять пытанного, чтобы он унес гнусную тайну пытки с собою в могилу, тут еще была бы какая-нибудь, хоть разбойничья логика. Но поместить таких наглядных и озлобленных в общую камеру, откуда не все же 65 заключенных уйдут «в расход», многие выберутся на вольный белый свет и оповестят мир о виденном и слышанном живодерстве?!.. Положим, что большевики доказали и фактами, и словами, что им на общественное мнение «в высокой степени наплевать», однако в то утро своего торжества они все-таки еще несколько стеснялись: «Что скажет Европа (хотя бы не вся, но лишь социалистическая)?» И в особенности старательно скрывали и отрицали пытки, битье, истязания и прочие жестокости в обращении с политическими арестованными, напоминавшие угрюмую практику бывшего охранного отделения... Нас, что ли, они хотели запугать? Ведь, мол, смотрите, как мы умеем расправляться с непокорными, и соображайте, что, значит, с вами мы

обходимся еще по-хорошему: ваша тюрьма — вздор, цветочки; а вздумаете раздражать нас, упорствовать, спорить — отведаете и ягодок...

При Урицком следовательская часть молодой Чрезвычайки еще, что называется, не обстрелялась. Властная личность шефа господствовала над нею подавляюще. Следователи, неопытные, без юридического, да, по большей части, и без всякого образования, вооруженные вместо законодательства «волею революционного народа» и «интересами пролетариата», были в игре Урицкого либо пешками, либо живыми зеркалами, рабски отражавшими его зловещую фигуру. Собственно говоря, Урицкий был единственным следователем своего ведомства. Остальные пели под его дудочку, как дрессированные дрозды, — «шли по суфлеру», как актеры, плохо знающие свою роль. Большинство из них конфузно терялось, как скоро допрос неожиданно вырывался из рамок, намеченных и внушенных предвидением шефа. «Надо спросить товарища Урицкого...», «Я посоветуюсь с Урицким...», «А вот как скажет Урицкий...» — подобными фразами то и дело проговаривались следователи пред допрашиваемыми, наивно обнаруживая свою беспомощность разбираться в делах без указки. Один из моих созаключенных, присяжный поверенный, горько жаловался на своего следователя, что тот на допросе не позволил ему дать толком даже первого ответа, но, перебив на полуслове, принялся на него орать, стучать по столу кулаком, страшно таращить глаза и вообще всячески приводить его в ужас. Что и достиг, так как присяжный поверенный серьезно вообразил, что судьба его предана во власть буйно помешанному... В 1920 году я случайно встретился и познакомился с этим грозным следователем, уже покинувшим свою должность (к слову сказать, вспоминал он о своем в ней пребывании с отвращением) и занявшим скромное, но теплое местечко в Петрокоммуне или Совнархозе, не помню точно. К моему удивлению, двуногий тигр, едва не пожравший бедного присяжного поверенного, оказался очень смирным и даже застенчивым малым. Я напомнил ему, как он запугал моего соузника.

— Да, — смутился он, краснея, — уж это у меня была взята такая манера с ихним братом, господами из адвокатуры... Потому что — сами посудите: как же иначе-то? Я человек простой, рабочий, неученый, а его специальность в том и состоит, чтобы вести дискуссию... Ежели я предоставлю ему слово, так он меня всеконечно заговорит, загоняет и запрет в тупик. А вот как ошарашишь его сразу криком да стуком,

отнимешь у него длинный язык-то, — ну, тут уже я чувствую себя хозяином, тогда я говорю, а он — молчи!.. Молчание же, как известно, есть знак согласия... Даже удивительно, как крик действует на человека. У меня Б—ъ (он назвал очень громкую в юридическом мире фамилию) допросные пункты, не глядя, подписал...

— Неужели не бывало таких, на которых крик не действовал?

— Как не бывать... бывали...

— Ну, и что же тогда?

— А что? Дам ему выболтаться, подожду, покуда он сам захлебнется своим красноречием, да и отправлю его назад, в камеру, без единого моего слова... Да еще из общей-то в одиночку переведу... Пусть сидит схимником и гадает о себе — в неизвестности, что я о нем тем временем удумываю и какое дам заключение... Недельку-другую помается, так обломается... А потом уже не я вызову его на допрос, но сам Урицкий, потому что я в подобных случаях сейчас же просил его, чтобы такого-то арестованного он от меня отчислил, — не под силу, мол, мне... Ну, а Урицкого никакой краснобай не заговорит — не-е-ет!.. *Не человек был — топор*!

Урицкий славился как неутомимый работник и действительно весь день кипел в труде, как в котле. Непостижимо, когда он спал, потому что по ночам-то он обыкновенно и допрашивал, между часом и четырьмя пополуночи; а перед тем и после того выслушивал доклады следователей и давал им новые инструкции. Днем же заседал и в своей комиссии, и в дюжине других, сам скакал с очередным докладом в Смольный, выступал на митингах. В Чрезвычайке он был воистину «дух вездесущий и единый»[43]: знал решительно все, что сделано и делается, и вдохновлял все, что должно было делаться. Всеохватный российский взаимошпионаж, сделавшийся ныне главною опорою большевицкой власти, — его идея, его инициатива, его создание, его совещание. И начиналась сеть шпионажа уже с ближайших к нему кругов. Все его товарищи-служащие следили друг за другом, и о каждом он всегда знал всю подноготную. Всех держал в руках. Согрешившим по должности потворствовал, сколько то находил нужным, а потом, дав человеку обнаглеть в безнаказанности и хорошенько обнаружиться, вдруг неожиданно хватал его за горло и упрятывал в одиночку, откуда для должностного преступника по большей части была одна дорога — «к стенке».

Прошедшие искус допроса у самого Урицкого заключенные отзывались о главе Чрезвычайки очень пестро. По-видимому, он быстро угадывал людей, с которыми имел дело, и ловко приспособлялся к их слабым сторонам, — кого можно взять страхом, кого сухою официальностью, кого любезностью. Свою личную с ним встречу я расскажу после, а покуда только отмечу, что, допрашивая меня, он был вежлив и «корректен». Конечно, насколько умел, потому что отсутствие воспитания сквозило из каждой поры этого чада северо-западного местечка плюс женевской «Каружки» или парижской «Розьерки»[44], и он, заметно, знал это о себе и в душе тем сердито и обидно смущался. Но видал я и то, как возвратившийся от Урицкого с допроса узник-интеллигент безмолвно падал на постель ничком и, схватившись за голову, лежал так часами... Когда опомнится человек, спросишь его осторожно:

— Что? как выясняется ваше дело?

И слышишь в ответ зубовный скрежет:

— Убить его, подлеца, надо... мало убить!.. Нельзя так издеваться... Чертом ему быть, чертом в аду, а не человеком...

Если бы такие отзывы исходили только от тех, кого Урицкий губил, направляя к расстрелу или к долгим принудительным работам, они еще не были бы так показательны. Но в том-то и дело, что случалось слыхать эти голоса отчаяния и проклятия от людей, которым часа через полтора, через два после допроса Урицкий присылал ордер «на волю»: значит, находил обвинение ложным или незначащим, а их признавал невиновными; значит, допрос их был уже не более как формальностью... И все-таки зачем-то издевался, дразнил и мучил! На всякий случай, что ли, чтобы напредки в памяти осталось? Или по врожденному садизму, в котором обвиняла его петроградская молва?

А, например, сидевший одновременно со мною писатель Н.Н. Брешко-Брешковский (сын знаменитой «бабушки русской революции»), полувоенный человек большой личной храбрости и очень хорошего ровного характера, умел стать с Урицким в довольно приличные отношения. Допросы его превращались в очень забавные принципиальные дискуссии, иногда не без остроумия, в которых большевик Урицкий обнаруживал большую терпимость к резким мнениям своего собеседника-монархиста.

Боюсь, однако, что интерес Урицкого к этим собеседованиям продлил заключение Брешко-Брешковского на несколько лишних дней. Потому что обвинение, на нем тяготевшее, — в сочувствии монархической реставрации и пропаганде ее или даже в принадлежности к какой-то двойственной монархической группе, — принадлежало к числу опаснейших. В подобных случаях Урицкий обычно распоряжался быстро: либо, при малейшем признаке доказательной улики, отправлял под расстрел, либо, при отсутствии улик, немедленно же отпускал, чтобы не загромождать понапрасну тюрьму, жадно ожидавшую, в непрерывной смене, новых и новых узников. Между тем Брешко-Брешковского он продержал на Гороховой что-то долго, кажется несколько недель. Как журналист яркой монархической окраски, Брешко-Брешковский, конечно, был уже безнадежно компрометирован в глазах такого фанатика, как Урицкий. Но призрак печати еще существовал, принцип «свободы печати» еще не решались затоптать в бесследное забвение, поэтому и журналистов за печатные провинности еще не направляли «в расход». Настолько, что даже несколько сконфузились было позорного расстрела в Валдае известного публициста «Нового времени» Меньшикова и сваливали вину этого грязного дела на «частный произвол» и «личную месть» группы каких-то провинциальных большевиков, якобы не имевших на то партийного мандата[45]. Вообще же журналистов покуда не казнили, но уже очень пробовали запугать. Ставкою на устрашение, по-видимому, был и мой арест. В одну из своих допросных бесед с Урицким Брешко-Брешковский спросил его:

— Скажите, пожалуйста, зачем вы арестовали Амфитеатрова? Ведь за ним, кроме статей его, не может быть никаких «деяний»...

Урицкий сделал лукавое лицо и ответил лаконически:

— Для стажа.

— Так... Его или вашего?

— Обоих.

Остроумие довольно каторжного характера, но не могу не согласиться профессионально: все-таки остроумие!..

Что касается успехов запугивания, то могу характеризовать их тем последствием, что, по выходе моем из тюрьмы, уже ни одна моя статья с мало-мало противобольшевицким оттенком не принималась еще уцелевшими органами на ладан дышавшей печати. Особенно прискорбно сказалось это на моей попытке откликнуться на отвратительный

факт убийства Николая II[46]. Двадцать лет боролся я пером с державою и именем этого человека, и если бы он был жив и продолжал царствовать, я боролся бы против него и теперь, и всю остальную жизнь мою, как буду бороться против всякого, кто устремился бы занять его место с прежними царскими прерогативами, с поворотом России опять в разрушенное русло победоносцево-романовского самодержавия, — все равно, без маски или в лжеконституционной маске. Национальный суд над преступным царем, чем бы он ни кончился, я горячо приветствовал бы. По крайней мере, в период от Февральской революции до Октябрьской, пожалуй, даже до Брестского мира, официально изменническим преступлением которого большевики уже окончательно обнаружились и однажды навсегда лишили себя нравственного права судить кого бы то ни было из русских по обвинению в противонациональных деяниях. Но мерзостный, бессудный, произволом дикой захолустной шайки продиктованный и осуществленный разбойничий способ истребления бывших царя и царицы с их уже вовсе ни в чем не повинными дочерями наполнил мою душу ужасом и отвращением. Право, даже потеря близких сердцу друзей далеко не всегда оставляла меня под таким тяжелым впечатлением, как трагическое исчезновение этой чуждой и, в конце концов, даже и в падении своем все-таки враждебной семьи. Ибо трагизм ее гибели облекся в стыд и гнусность, которые теперь совсем не от нее уже зависели, и положил на наш народ, через суд совести и мнение других народов, новую печать презрения к нашему бесправию, к рабской бесхарактерности, к азиатски дикой бессознательности... Хотелось высказать все это — я не мог. Сам понимал, что трудно оно — в такой момент, под занесенным топором коммунистического блюстительства, — сам себя поэтому цензуровал, обглаживал, урезывал, говорил шепотом и четвертьсловами там, где следовало бы вопить анафемой с амвона во все горло, и все-таки в трех редакциях встретил широкие изумленные глаза:

— Да вы, извините, в своем ли уме?!

А милый А.А. Измайлов, — хотя ему статья моя должна была быть очень по сердцу, потому что он погибшую династию любил и слово сожаления, вышедшее из-под враждебного пера, приносило некоторое удовлетворение его огорченному сердцу, — прежалобно спросил меня по телефону:

— Александр Валентинович, неужели на Гороховой так весело, что вы, едва оттуда вышли, стремитесь опять туда возвратиться?

Я должен был признать, что на Гороховой совсем не весело, а, напротив, весьма тоскливо. А он мне в ответ:

— Ах, так вот почему вы не хотите теперь сидеть один, а соблазняете к себе в компанию меня и редакцию? Нет уж, знаете, давайте лучше развлечемся как-нибудь на свободе у себя дома...

VII

Всех крупно денежных арестованных Урицкий обыкновенно оставлял за собою и, в надежде вытянуть из них скрываемые капиталы, канителил их месяцами в мучительном томлении тюрьмы и допросной пытки. Чаще всего жертва, доведенная до отчаяния, не выдерживала характера и указывала свои тайники: берите все, только отпустите душу на покаяние!.. Тогда «все» брали, но души на покаяние не отпускали, а без всякого покаяния выпускали ее в вечность пулею палача-латыша...

Куда поступали эти огромные суммы, выманенные лукавством и облитые кровью жертв?.. Большевики из идейных отзывались об Урицком двояко. Одни восторгались им как цельным типом коммуниста-революционера, каким должен быть всякий большевик, sans peur ni reproche[47], и уверяли, будто он, по существу, человек не только не жестокий, но даже мягкий и чувствительный. К числу таких восторженных хвалителей принадлежал, например, г. Каплун, племянник покойного шефа коммунистической жандармерии, сам занимавший в Петрограде чрезвычайно ответственный пост по отделу управления и успевший сыскать на нем в публике очень приличную репутацию чиновника рассудительного и, насколько позволяло революционное напряжение, мягкого в поступках при большой твердости в убеждениях. Написанный им некролог Урицкого дышал искренним горем. Другие признавали в Урицком чрезмерную жестокость и страстишку издеваться над своими пленниками, но извиняли ему эти скверные качества за незаменимость его как вождя и организатора коммунистического террора. Но те и другие утверждали, что Урицкий — фанатик своего служебного долга и лично честен, бескорыстен и неподкупен.

Заключенные были другого мнения и, после полугодовой деятельности ЧК, считали Урицкого уже в семи миллионах капитала, — сумма по 1918 году еще колоссальная! — нажитого путем вымогательства за освобождение разных коммерческих тузов. Указывались случаи, назывались фамилии. Я не расследовал этого дела и не берусь быть в нем судьей. Что денежная ловля производилась Урицким непрестанно, упорно и искусно, — это было, как говорится, и слепому заметно. Он наполнил тюрьмы [людьми], за которыми не числилось и не могло числиться никакой другой вины, кроме той, что они сохранили где-то малую толику золота, бриллиантов, иностранной валюты, ценных процентных бумаг. Но в чью пользу он грабил — в свою или государственную, — не знаю. Несмотря даже на то, что двое из освобожденных Урицким — я не решаюсь назвать их по именам, потому что они остаются еще в России, — прямо говорили мне, что заплатили Урицкому один 125 000 р., другой 75 000, и я не имею причины сомневаться в их правдивости. Однако в обоих случаях вслед за освобождением произведены были чекистами новые обыски, обнаружившие у освобожденных новые ценности, и тогда грабеж был доведен уже до конца: выпустошили дочиста!.. Так что очень возможно допустить, что Урицкий лично-то действительно не брал, но иной раз прикидывался взяточником — затем, чтобы, торгуясь с жертвой о выкупной сумме, обнаружить степень ее состоятельности и заставить ее проговориться, где и под каким спудом таит она свои ценности. Агенты Чрезвычайки прибегали к этому предательскому способу уловления постоянно. Но уж из них-то подавляющее большинство было, в полном смысле слова, бессовестными торговцами жизнью и свободой людей и откровенными грабителями в свой собственный карман всякого имущества, о котором проведывали их уши и на которое разгорались их глаза.

Чтобы заинтересовать агентов в сыске, Урицкий ввел процентную премию с арестованных капиталов. То есть благословил и поощрил, так сказать, «охоту за черепами». Мера, достаточно безнравственная уже сама по себе, на почве Чрезвычайки, составленной из худших элементов, вернее даже, отбросов и присосков коммунистической партии плюс нескольких принесших покаяние и примкнувших к большевизму жандармов и шпиков старой царской полиции, разрослась ветвистым древом чудовищных злоупотреблений. Казалось бы, при громадных цифрах тогдашних конфискаций процентная премия должна была удовлетво-

рить самые алчные разбойничьи аппетиты. На самом же деле она их только разожгла. Взяточничество и шантаж получили развитие неслыханное. Урицкий знал это, и нельзя сказать, чтобы он вовсе не боролся с хищничеством своей агентуры. Но боролся как-то двусмысленно и дико. От того, что он время от времени расстреливал взяточника-шантажиста, жертве вымогательства не делалось легче: грабеж-то, ей учиненный, все-таки сохранял свою силу и, следовательно, санкционировался. Вот факт 1918 года.

К крупному петроградскому фабриканту является шикарный советский офицер, рекомендуется одним из главарей ЧК, показывает свои полномочия и заготовленный, но еще не подписанный ордер об аресте фабриканта. Угодно сему последнему, чтобы ордер так и остался неподписанным? Двести тысяч «на бочку!»...

Фабрикант был человек сметливый и не робкого десятка. Изъявил согласие, но попросил несколько часов отсрочки, чтобы приготовить деньги. А по уходе неприятного гостя, он — прямо к телефону и сообщил в Чрезвычайную комиссию, что вот был у меня такой-то, предлагал то-то, требовал столько-то, — как прикажете к этому факту отнестись?.. Фабриканта внимательно выслушали, поблагодарили за доверие и просили обождать: сейчас к нему приедет уполномоченный агент. Действительно, не прошло и часу, как пожаловал офицер, еще шикарнейший: френч с иголочки, галифе умопомрачительные. Повторил благодарности, показал мандат и... вручает фабриканту 200 000 р., именно которыми, этими самыми бумажками, он и просит фабриканта заплатить шантажисту, так как ЧК желает настигнуть преступного агента с неоспоримым поличным. Фабрикант повинуется и, в обмен 200 000, полученных от чекиста, выдает равную сумму из собственной кассы. Затем комедия разыгрывается, как по писаному сценарию. Шантажист взятку получил — и немедленно был тут же, с нею в кармане, арестован и деньги у него отобраны. А фабрикант приглашен следовать в ЧК для дачи свидетельского показания. Здесь он имел удовольствие быть очевидцем грозной расправы Урицкого с «преступным элементом», осрамившим непорочную репутацию неподкупной Чрезвычайки. Но заплатил он за этот интересный спектакль дорого, ибо тех 200 000, которые он дал в обмен на привезенные ему из ЧК, он назад уже не получил. А вместо того поставлен был на допрос, откуда у него имеются средства давать столь крупные взятки и известен ли ему декрет,

воспрещающий частным гражданам обладать денежным имуществом свыше 10 000 р.?.. Словом, шантажист-то поехал на Шпалерную, а потом, может быть, и за город на расстрел, но и фабрикант покинул «Гороховую, 2» гол, как сокол, да еще и с обязательством к той благодарности, как в басне Крылова волк требовал от журавля:

А это ничего, что ты свой долгий нос
И с глупой головой из горла цел унес?
Поди ж, приятель, убирайся.
Да берегись: вперед ты мне не попадайся![48]

Слухи о жестоких телесных пытках и битье, которым Урицкий подвергал заключенных, особенно упорных в отрицании своих вин, я не имел возможности проверить личным свидетельством людей, достаточно надежных, чтобы твердо основываться на их показаниях. Может быть, правду говорили, а может быть, и подвирали немножко или даже множко. Битый русский человек имеет странную мазохистскую слабость смаковать претерпенное бойло, — бывает, что не без преувеличений, а иной раз даже и до небывальщины. В то раннее время ЧК еще так спешило разделаться с своими действительными и предполагаемыми врагами «буржуями» и интеллигентами массовым террором, что ей не до того было, чтобы тратить время на пыточный садизм, во вкус которого вошла она впоследствии — особенно со времени женской в ней диктатуры, пресловутых Яковлевой и Стасовой. Урицкий истреблял, но ему было некогда работать заплечным мастером в застенке, да, по-видимому, и не имел он того аппетита к истязанию человеческого тела, как его преемницы и преемники. Но на моральную пытку он был великий виртуоз. Людей попроще он брал театральным запугиванием. Так, одного сидевшего со мною педагога, заподозренного (без всякого дельного к тому основания — кажется, его смешали с кем-то другим, однофамильцем) в сношениях с эсерами, Урицкий, из допроса в допрос, донимал каким-то таинственным свиданием в Румянцевском сквере.

— Кто с вами был?

— Никого со мною не было, потому что я и не был вовсе в Румянцевском сквере.

— Нет, вы были... Значит, отказываетесь назвать?

— Да кого же я вам назову? что вы, право? И зачем бы мне понадобился ваш Румянцевский сквер, если я живу на Гончарной?

— Вот это-то мы и хотим знать, зачем. Скажите, и кончим дело.

— Да не был же я... Господи!

— Господа вы оставьте в покое; в нашем приятном разговоре третье лицо лишнее... Ну-с?

Допрашиваемый пожимает плечами, молчит. Желтое лицо Урицкого темнеет.

— Жаль, что вы упорствуете, — произносит он с расстановкой, — напрасно это... очень, очень жаль...

Нажим на звонок. В дверях появляются два красноармейца с винтовками. Вид тупой и зловещий. Душа допрашиваемого уходит в пятки: ясное же дело, — сейчас «к стенке»... Урицкий выдерживает его минуту-другую в молчании, под впечатлением; сам на него не глядит, что-то пишет на бланковой бумаге, — не смертный ли ордер?.. Наконец, видя, что допрашиваемый доведен до паники, задумывается, кладет перо и, будто про себя, роняет слова «в сторону»:

— Впрочем... это всегда успеется... обождем...

И, по его знаку, красноармейцы скрываются обратно за двери, а он любезно обращается к ни живой, ни мертвой жертве:

— Так молчите? не хотите сказать?.. Ну, хорошо... Завтра мы с вами еще раз поговорим... Подумайте ночку, — может быть, ваша память освежится: говорят, утро вечера мудренее... А чтобы вам не мешали думать, может быть, хотите — я вас в одиночку переведу? а? в одиночку?..

Педагог против одиночки — и руками, и ногами...

— Так назовите...

Снова заводится машина и тянет, тянет канитель...

В конце концов Урицкий отпускает несчастного — и не в одиночку, а по-прежнему, в общую, но с совершенно измочаленными нервами и в полном упадке духа...

— Я боюсь, — плакался мне педагог, — если он еще раз вызовет этих верзил с винтовками и начнет строчить пером, я не выдержу: я ему такое про этот окаянный Румянцевский сквер наплету... родного брата могу оговорить... лучшего друга не пожалею... И какого дьявола он ищет? кого там угораздила нелегкая будто бы со мною быть?

Однажды Урицкий сказал ему:

— Ну, слушайте, зачем вы запираетесь? Ведь мы же осведомлены как нельзя лучше и все знаем. Хотите, я вам опишу все приметы вашего собеседника? Средний рост, широкие плечи, ноги короткие, немного кривые, голова большая не по росту, волосы курчавые, русые с сильной проседью, лицо полное, русский тип, русская бородка, глаза серо-голубые, быстрые, левый глаз прищурен, а правый все как бы стреляет в сторону...

Педагог возвратился в камеру в полном недоумении.

— Нет у меня такого знакомого, хоть убейте, нету, — бормотал он.

С тех пор кошмарное видение неведомого человека с прищуренным и стреляющим в сторону глазом неотступно преследовало его и днем и ночью.

— Не знаю такого... Хоть на части разнимите, не знаю...

Это было незадолго до моего прихода в камеру. Выслушав от педагога рассказ о внушенном ему привидении, я сразу догадался, в чьем знакомстве и содружестве подозревает его Урицкий. Но остерегся сказать ему, потому что и без того уже изнервленный и ослабевший узник, пожалуй, того гляди, повалился бы в обморок от ужаса, что его, маленького смирного обывателя, мешают, чрез насмешку случая, в большую политическую игру. Мне было очень жаль этого горемыку — тем более что я случайно знал, что лицо, свидание с которым ему приписывали, в то время не было, никак не могло быть в Петрограде. Должно быть, убедились наконец в том и сыщики ЧК, и сам Урицкий, потому что назавтра утром педагог, без нового допроса и без всяких объяснений, неожиданно получил ордер «на волю» и покинул тюрьму так же внезапно и с таким же недоумением, как в нее попал.

Особенно жутким глумлением терзал Урицкий созаключенного нам миллионера-домовладельца и видного коммерческого деятеля Василия Петровича Мухина. Это был человек пожилой, лет под шестьдесят, очень грузный, но из числа тех деятельных толстяков, для которых недвижность — злейший яд и тюрьма — убийство. К нам на Гороховую он попал случайно и на короткое время, проездом на Шпалерную или в Кресты. Раньше Урицкий томил его в каком-то крепостном цейхгаузе, где со стен текла вода, а караульная солдатчина, науськиваемая чекистами, по целым дням дразнила и ругала пленного «буржуя» и застращала его, в ежеминутном ожидании шального расстрела, до психопатического состояния. В нашей камере нашлись люди,

хорошо знавшие Мухина на воле, — например, известный банкир Захарий Жданов и другие. Они едва глазам верили, видя, с какою быстротою тюрьма обработала этого богатыря, страстного охотника-медвежатника, в живую развалину, в цинге, с сердечными припадками, с больными опухшими ногами, которые он едва передвигал. Беспомощный, согбенный, обросший щетинистой бородой, сидел он среди камеры на табуретке, гневно плакал и говорил художникам Бразу и Бакмансону:

— В своем родном городе я выстроил гимназию и содержу ее на свой счет. В актовом зале висит мой портрет во всем параде и при орденах. А теперь напишите меня такого, как видите: небритого, грязного, оборванного, больного, — когда выйду отсюда, прикажу повесить рядом с тем: пусть видят русские люди, каков я был и во что меня, за мое же добро, обратили...

Не знаю, успели ли художники исполнить его желание. В то утро Бакмансон был занят моим портретом, очень удачным, который потом, к сожалению, погиб при разгроме редакции «Биржевых ведомостей», его приобретшей, — а к вечеру финляндское посольство настояло на его освобождении. А назавтра вышел «на волю» и я, оставив Браза и Мухина в тюрьме. Браз был освобожден скоро, но в Мухина Урицкий вцепился крепко.

Старик обвинялся в посылке денег на юг белогвардейским организациям. Уличали его по дрянному доносу или вымученному показанию какого-то мелкого полушпиона-полужулика, — фамилия, к сожалению, ускользнула из моей памяти, что-то вроде Золотова, Золотилова, Золотарского, Золотаренка; заранее прошу извинения у однофамильцев, если это не так. Тогда многие подобные спекулировали на мнимой организации небывалых противобольшевицких союзов, собирая, под этим предлогом, деньги у коммерсантов и аристократии — обыкновенно небольшие, «детишкам на молочишко». Когда Золотаренко попался на этом деле или велено было ему попасться, он оговорил целый ряд состоятельных людей, якобы дававших ему пожертвования. В том числе и Мухин — на сумму... в 300 рублей! больше фантазии не хватило!.. Мухин даже обиделся:

— Помилуйте, — говорил он Урицкому, — кто же этому поверит, чтобы Мухин, жертвуя на *организацию*, подписал бы 300 рублей?! По стольку я обыкновенным зауряд просителям даю... может быть, и Зо-

лотаренке вашему дал, — мало ли их ко мне ходит, Бог его знает, всех не упомнишь... А в общественных делах — всякому известно: я могу вовсе ничего не дать, но если даю, то уж отсыплю прилично своему капиталу... Вы хоть не рассказывайте никому, какую улику против меня выставляет, а то ведь и меня, и вас засмеют!..

Другою уликою выставляли исчезновение неведомо куда одного из мухинских приказчиков, о котором тот же полушпион-полужулик доносил, что он уехал по какому-то хозяйскому поручению с крупною суммою, в несколько десятков тысяч рублей. Этого Мухин не отрицал, но определенно указывал цель посыла — отвезти деньги в родной его город (Витебской или Могилевской, помнится, губернии) как очередную субсидию содержимой им гимназии. Но приказчик в пути пропал. Был ли он ограблен и безвестно убит красноармейцами, как сотни других «буржуев», решавшихся в это дикое время на путешествие, имея при себе большие деньги и драгоценности; сам ли сбежал куда глаза глядят, присвоив себе хозяйский посыл; спрятался ли где, не имея возможности снестись с Петроградом, — но в город своего назначения он не явился. Урицкий на этом основании настаивал, что деньги посланы на белый фронт.

— Укажите, где ваш приказчик, и я вас отпущу, — убеждал он Мухина.

— Как же я вам укажу, когда сам не знаю? — вопиял узник.

— Нет, вы знаете... Сознайтесь: он у белых?

— Откуда же мне знать, если он пропал без вести? Может быть, у белых, может быть, у красных, может быть, ни у каких, а давно где-нибудь за границею...

— Следовательно, он с вашими деньгами сбежал? украл их?

— Не смею обвинять, потому что не знаю, жив ли он.

— Нет, вы знаете...

Пауза.

— Так ничего и не скажете?

— Нечего мне сказать.

— Жаль... Ну, отправляйтесь обратно в камеру... А ведь могли бы выйти на волю... До приятного свидания![49]

Супруга Мухина просила свидания с мужем, Урицкий любезно разрешил, но местом свидания назначил свой следственный кабинет. Отправился Мухин на свидание радостный, а возвратился как в воду

опущенный. Урицкий не дал супругам даже поздороваться, рассадил их как можно дальше друг от дружки, между ними посадил красноармейцев с винтовками и принялся, при жене, допрашивать мужа опять, в десятый раз, об исчезнувшем приказчике. Время от времени бросал по адресу г-жи Мухиной сожалительные фразы, что муж, должно быть, мало ее любит, потому что упрям, сам себя задерживает в тюрьме: ведь стоит ему лишь дать требуемые показания, и он будет немедленно отпущен, хотя бы даже деньги действительно попали в руки белых... и т.д.! Но так как Мухин «упорствовал», то Урицкий с обычным сожалением опять отправил его в камеру.

— Но вы же нам обещали свидание? — вскричала г-жа Мухина.

— Ах, да, свидание...

Урицкий посмотрел на часы.

— К сожалению, мы так заговорились, что время вашего свидания уже прошло... Извиняюсь, но... до следующей недели!

Мухина увели. Жена бросилась было к нему, но красноармейцы грубо и больно ее оттолкнули. Бедная женщина ушла домой в слезах, не успев обменяться с мужем хотя бы словом. Мухин в камере всю ночь проплакал, как ребенок.

Назавтра я после короткого и чрезвычайно странного допроса был отпущен на свободу и, как водится, получил от созаключенных множество поручений к их семьям и друзьям. Мухин особенно жарко молил меня найти его жену, рассказать ей, как он сидит, ободрить ее и, по возможности, помочь ей в хлопотах об его освобождении.

Я застал госпожу Мухину в самой трагической нерешительности. ЧК повторяла в ее доме на Московской свирепые обыски и держала в ее квартире постоянного наблюдателя-красноармейца. А с заднего крыльца то и дело шныряли к ней чекисты-шантажисты, запугивая ее серьезностью положения Василия Петровича и предлагая освободить его, если она не пожалеет 30 000 рублей. Орудовал этим делом какой-то Малиновский, который, по словам чекистов, все у них может — и спасти, и погубить. Денежные дела Мухиных в это время стояли не блестяще[50], но, конечно, г-жа Мухина не пожалела бы не то что 30, а и 300 000, лишь бы возвратить мужа домой, если бы имела хоть какую-нибудь уверенность, что этот Малиновский с компанией не подосланы Урицким, чтобы поймать и ее, и Василия Петровича в ловушку. Взятка ведь одинаковое преступление, как для получающего, так

и для дающего, да еще может быть истолкована как новая косвенная улика: ага! — мол — откупается Мухин тайным путем и за большие деньги, значит, чувствует, что дело плохо... Я тоже не знал, что посоветовать бедной растерявшейся женщине. Не дать — Бог весть, сколько времени еще будет Урицкий томить больного старика в тюрьме. Дать — того гляди, угодят Мухина в вырытую шпиками волчью яму. Попросил знакомых «добрых» большевиков навести справки по делу. Принесли успокоительные вести, что серьезного ничего нет, требуется только терпение, так как Мухин еще нужен Урицкому для дополнительного доследования, а недели через три он, несомненно, будет свободен. Любопытно, что Малиновский обещал г-же Мухиной освободить ее мужа в трехнедельный срок. Сопоставляя эти числа, можно было думать, что ему, как лицу, осведомленному в секретах ЧК, хорошо было известно, что дело Мухина идет к ликвидации, и он лишь рассчитывал сорвать деньги, приписав ее себе. Приятель по старой эмиграции, примкнувший к большевикам[51], к которому я имел достаточно доверия, чтобы рассказать ему о вымогаемой взятке и спросить совета, давать или не давать, пришел в ужас и рекомендовал не только не давать, но ехать к председателю народного суда и заявить о творимом шантаже. Тогда во главе петроградского суда стоял человек порядочный и идейный, — к сожалению, не вспомню сейчас его фамилию, а справиться негде. Он очень недоброжелательно смотрел на возрастающее могущество Чрезвычайки и стоял в прямой оппозиции ее произволу, на чем, конечно, вскоре и сломал себе если не голову, то коммунистическую карьеру. Тот же самый смелый обличительный шаг рекомендовал г-же Мухиной ее постоянный поверенный в делах. Однако она и на это не решилась, — и, правду сказать, как было решиться? Ну, заявит она, обличит шантажную каморру, а каморра, прежде чем власть за нее примется (если еще примется!), поспешит спустить концы в воду самым простым способом: отправив Мухина на тот свет спешным расстрелом, на что обозленный Урицкий, не терпя постороннего вмешательства в свое ведомство, конечно, не задумается дать согласие. Мало ли таких же, бездоказательно подозреваемых и упорствующих, «буржуев» уже расстрелял он безвинно со спокойною совестью! Париж 1793 года кричал: «Этот человек достоин смерти уже за то, что он был королем!» Петроград 1918 года вопил: «Эти люди достойны смерти уже за то, что они буржуи!»

Так и шло время в мучительных колебаниях. Дать — не дать — жаловаться — молчать... Мухин из тюрьмы через секретную почту еще увеличивал эту нерешительность собственными противоречивыми планами — сегодня одно, завтра другое... Свидания с женою Урицкий ему давал, но по-прежнему издевался, обращая свидания в допросы.

Семейные обстоятельства Мухиных были ужасны. Дети тяжело болели дизентерией. Один ребенок был при смерти. Осведомленный о том Урицкий на допросах никогда не забывал спросить:

— Ну, как ваш мальчик?

— Хуже, все хуже...

— Жаль, очень жаль... Вам, Василий Петрович, следовало бы теперь дома быть, при больном ребенке... А вы упорствуете! Плохой вы отец!

Когда мальчику стало совсем худо, Мухин умолил Урицкого — под каким угодно конвоем отпустить его на один лишь час домой, чтобы проститься с умирающим. Если бы Урицкий отказал, это еще было бы понятно: порядок и форма! Но он обещал и обманул, оттягивал день за днем...

— Да зачем вам, Василий Петрович, домой — только на один час? Можете совсем уйти: скажите, где ваш приказчик?

Ребенок умер — опять же к «глубочайшему сожалению» Урицкого.

— Пустите хоть на одну панихиду... хоть в гробике бы на ребенка взглянуть!..

— Скажите, где ваш приказчик.

Если бы Урицкий вывертывал Мухину руки, забивал спицы под ногти, капал холодную воду на обритое темя и т.д., не знаю, было ли бы это заплечное мастерство хуже пытки, которою он истязал сердце своего узника...

Недели на две или на три я как-то потерял г-жу Мухину из виду и мало о том беспокоился, будучи вполне уверен, что «пустое дело» Василия Петровича близко к благополучному разрешению и не сегодня-завтра я встречу его на улице, как встречаю уже Браза, Брешко-Брешковского, Пальчинского и других созаключенников по «генеральской» камере...

Одним утром — ранний телефон. В трубке — рыдающий женский голос:

— Александр Валентинович! Все кончено... его расстреляли...

— Что такое? кого расстреляли? кто говорит?

— Мухина говорит... Василия Петровича расстреляли...

— Быть не может! Это глупый слух какой-нибудь... опять вас запугивает кто-то...

— Нет, нет... уже официально... расстреляли... три дня тому назад...

Трубка выпала у меня из рук...

За что погиб этот человек? ну, за что?!

Ведь это даже не жертва кровавого революционного экстаза и разгула взбесившейся ненависти. Тут холодное, рассудочное убийство безвинного пленника в разбойничьем вертепе... зачем?

— А затем, — пояснил мне, в третий мой арест, сидевший с нами за должностное преступление коммунист, важный чин по городской милиции, что ежели пленник пробыл в вертепе, как вы изволите выражаться, слишком долго, то отпустить его на волю уже нельзя, ибо он чересчур много видел, слышал и знает, стал не в меру выразителен и показателен... Ясно? понимаете?

— Как не понять, когда хорошо растолкуют!

Так оно было или не так — знаю одно: даже очень фанатические, но не бесчестные коммунисты, с которыми случалось мне говорить об убийстве Мухина, не находили извинения этому злому делу и совершенно правильно определяли его — *подлым.*

VIII

Я шел на допрос к Урицкому с весьма разнородными чувствами. Господствующим было любопытство, царских жандармов я на своем веку навидался достаточно, но революционный — это новость. Быть в лапах царской жандармерии для человека, 20 лет стоявшего в рядах противоцарской революции, дело привычное и естественное; но как революционер будет допрашивать революционера, хотя бы инако мыслящего, и чего он может от меня добиваться, — это я плохо себе представлял. Бояться за себя — я был уверен, что нечего. Обыск в моей квартире не мог дать опасных для меня улик. Как в старых полицейских протоколах писали: «ничего предосудительного не обнаружено». В иностранной прессе (французской и итальянской) было напечатано по поводу моего ареста, будто, предуведомленный о нем или предчувствуя его, я сжег все компрометировавшие меня бумаги. Это неправда. Я ничего не жег по той простой причине, что жечь было нечего. Я

никогда не признавал и не признаю конспирации на бумаге. Мои отношения к некоторым противобольшевицким попыткам 1917—1918 годов были прикрыты настолько густою затушевкою, что мне даже и в голову не приходило опасение за эти тайны. Участники их, к тому же, почти все были уже либо в эмиграции, либо, на белом фронте. Да и не так бы обращались и со мною в тюрьме, если бы дело было серьезно; не в таком бы тоне разговаривал обо мне Урицкий с Брешко-Брешковским. Наконец, ведь и вездесущий всезнайка, Черный Капитан, успел уже подмигнуть мне:

— Готовьтесь на волю; вас скоро выпустят.

Но обозлить меня Урицкий сумел, еще не видя. В одну из передач с воли я получил от жены в хлебе записку, в которой она излагала свою беседу, вернее назвать, свою словесную битву с Урицким по телефону. Она добивалась точного обозначения, за что я арестован, а он уклонялся и отвечал глумлением:

— Как же это вы — жена, а не знаете, за что ваш муж арестован? Нехорошо. Это ваше дело знать, хорошая жена должна все знать о муже...[52]

Супруга моя женщина энергическая и решительная, опытный курс арестов, ссылок и прочего ею пройден основательно, и жандармским озорством ее не озадачить. В свое время она препиралась с Сипягиным и Зволянским (в дни моей ссылки, «по высочайшему повелению», в Минусинск за пресловутых «Господ Обмановых»). Потом накричала на фон Плеве за вторую мою ссылку в Вологду (гласный *повод* — статья о безобразно провокаторской «коноваловской истории» в Горном институте, негласная *причина* — полемика с Меньшиковым по еврейскому вопросу, которою был разоблачен и, благодаря вниманию, обращенному германскою печатью, сорван погром, подготовлявшийся в Киеве «по рецепту кишиневского»). А в первых февральских числах 1917 года отвоевала у храброго генерала Хабалова коротенькую отсрочку моего изгнания из Петрограда, когда — «последняя туча рассеянной бури!»[53] — полоумный Протопопов, выведенный из терпения двухмесячной травлей, которую я ему устроил, окончательно рассвирепел за «Персидские письма»[54] и «криптограмму», пророчествовавшую, что он доведет Россию до всеуничтожающей анархической революции, и стремительно выслал меня по старому сипягинскому адресу — в Восточную Сибирь... Черт возьми! сейчас я сообразил, что чрез это третье

приключение я, в некотором роде, живая эра: исторический предел целого юридического или, может быть, правильнее, антиюридического института, — ведь я был *последним политическим ссыльным старого режима в административном порядке*!.. До 1921 года имел бы право думать, что был вообще последним политическим ссыльным, так как большевики в течение четырех первых лет своего владычества ссылок не практиковали, предпочитая расстрел и тюремный измор. Но с августа 1921 года они и эту самодержавную прелесть воскресили. Кускова, Прокопович, Кишкин и другие отправлены ими, без малейших угрызений совести, населять те же самые малообитаемые, традиционно жандармские места, где двадцать лет тому назад Сипягин томил Луначарского, Горького[55] и др.

Так-то! Режимы меняются, отходят, но аресты, тюрьмы, ссылки остаются. А следовательно, и семейные драмы борьбы с тою ли, с другою ли жандармерией живут в неизбывном однообразии. Женщина столь обильной полемической практики, как моя супруга, могла бы с полным правом возразить новому советскому шефу государственной полиции в стиле известной русской сказки о колобке: «Молоденек ты на меня зубы щерить! Я от Сипягина ушла, я от Плеве ушла, я от Хабалова ушла — от тебя, Урицкого, мне нехитро уйти!..»

Так и было. Остроумие диктатора Чрезвычайки получило достаточно выразительный ответ. А затем после краткого, но сильного «обмена мнений», перестрелки тоже, стороны повесили трубки — к большой тревоге ближайшего нашего друга, Германа Александровича Лопатина. Он, в то время уже полуслепой, жил пенсионером в Доме писателей на Карповке, но завтракал и обедал у нас, по соседству, на Песочной и, проводя почти весь день в нашей семье, близко к сердцу, как родной, принимал все наши интересы.

— Ну, для чего, ну, для чего вы так? — укорял он. — Ну, кто же дразнит цепную собаку, мимо которой необходимо пройти?

Это — по благоразумию, а по существу был доволен и смеялся, проговариваясь:

— Молодец вы, Илария Владимировна. Так и надо. «Дурака, сказывают, и в алтаре бьют».

И рассказывал кстати какой-нибудь эпизод из своего многоопытного и многострадального прошлого, который, вопреки теоретической

осторожности старого революционера, доказывал, как дважды два четыре, что на практике-то он сам никогда не упускал случая подразнить злобу цепных собак полицейского ведомства, а системе учить «дураков» уму-разуму «даже в алтаре» оставался верен и на допросах у Дурново, и в иркутском остроге, и в одиночке Петропавловки, и в страшном, погребальном заживо склепе Шлиссельбурга...

Во всяком случае, телефонный инцидент с достаточною выразительностью обрисовывал личность, с каким человеком мне предстояло встретиться.

«Ах, ты, — думаю, — скотина! мало того, что посадил “для стажа”, да еще и издеваться?!»

Надо было приготовиться к «тону» допроса: дело, как всякий политический узник знает, столько же важное, как предвидеть вопросы и знать свои на них ответы по существу... Хотя — по крайней мере, в моем личном опыте — бывают в этой области такие сюрпризы и экстры, что в решительный момент вся твоя подготовка оказывается ни к чему и успех или провал определяются лишь внезапною случайностью или мгновенным вдохновением.

Я всегда был очень спокойным и благонравным арестантом — во французской манере, рекомендующей на воле бороться до последнего, а в неволе экономить свою энергию, нервы и силы для будущей свободы, не растрачивая их напрасно на ту мелочную, булавочную борьбу с хозяевами твоего плена, в которой так часто разменивается и истощается жизнь русских тюремных и ссыльных колоний. «Вызывающее дерзновение» и петушиный задор на допросах считал, считаю и считать буду не геройством, а величайшею нелепостью. Ни один из моих следователей не похвалится тем, будто вывел меня из терпения до потери самообладания, до невежливых ответов, равно как никогда ни одному допросчику не позволил я, то есть не дал возможности, быть невежливым со мною. Однако приключился однажды и в моей жизни курьезный случай внезапного срыва со всех петель; позволю себе рассказать о нем здесь, хотя он не имеет прямого отношения к «советским узам» и всем им предшествовал.

Это было как раз в последнюю мою царскую ссылку Протопоповым. Уезжая из Петрограда, я был вполне уверен, что она не затянется надолго. После убийства Распутина в воздухе запахло революцией слишком выразительно, чтобы сомневаться в ее близости. На вокзале

11. Заказ № 833.

провожавшим меня Л.Н. Андрееву и другим я так и говорил, что через три месяца я вернусь и увидимся и будем работать уже не в рабской и кругом подцензурной, а в свободной России... Я ошибся лишь чрезмерною осторожностью в темпе, а отсюда и в сроке событий: революция пришла не через три месяца, а через три недели.

Моею главною заботою было растянуть свое ссыльное странствие так, чтобы к месту назначения, в Ачинск, попасть не ранее последних чисел марта, к преддверию весны. Для этого я поехал не прямым путем на Вологду, а кружным на Москву, с твердою решимостью болеть в каждом губернском городе, сколько вытерпят медицинская инспекция и губернатор. В Москве же я прямо явился к командующему округом генералу Мрозовскому и попросил разрешения задержаться здесь на неделю для устройства семейных и иных дел. Их я частию действительно имел, частию изобрел и наговорил ему кучу. Мрозовский уважил мою просьбу с большою готовностью. Но затем, должно быть, снесся по телефону с Петроградом и там одобрен не был. Ночью возвращаюсь из гостей в свой номер «Славянского базара», — трещит звонок телефона.

— Говорит пристав участка городской части. Генерал Мрозовский телефонировал мне распоряжение просить вас, как скоро вы возвратитесь домой, позвонить к нему...

— А зачем — вам неизвестно?

— Не могу знать... Впрочем, — прибавляет голос после паузы, — теперь уже очень поздно, так что, я думаю, вам лучше позвонить к генералу завтра утром...

Это звучало любезным предостережением, но я им не воспользовался. Очень приятно, подумаешь, обеспечивать себе бессонную ночь в недоумелых догадках, зачем бы это я понадобился столь экстренно безапелляционному повелителю Москвы... Звоню — и так удачно, что попадаю не на дежурного адъютанта, а на самого генерала.

— Вот что, — унылым басом гудит трубка, — я, к сожалению, ошибся... смешал ваше дело с другим... Я никак не могу разрешить вам остаться в Москве... Вы уезжайте завтра, непременно уезжайте...

Обухом по лбу!

— Помилуйте, ваше превосходительство, это невозможно! Ввиду вашего любезного разрешения я уже принялся за устройство моих дел...

— Да что же — дел?.. Мало ли у кого какие дела... нет, вы уезжайте!

— Ваше превосходительство, я не думаю, чтобы, ссылая меня, правительство желало, кроме того, разорить несколько десятков людей, связанных со мною счетами...

— Я не могу, не имею права в это входить... Нет, вы уезжайте.

Начался телефонный спор. Я доказываю, резоны привожу.

— Нет, вы уезжайте.

Прошу.

— Нет, вы уезжайте.

Комплиментирую.

Нет, заладил, как дятел, свое:

— Уезжайте.

А у меня уже нервы, после трехнедельной передряги со всем этим протопоповским скандалом, натянуты как струны — на последние колки. Чувствую: ходит внутри меня какая-то непроизвольная бешеная дрожь, и, что силы есть, ее сдерживаю, потому что и сам не ожидаю, во что она выльется, если сорвется с цепи... А генералу, знать, тоже надоело стучать дятлом одно и то же, — завел новую песню:

— Если вам надо было задержаться в Москве, вам следовало испросить разрешения в Петрограде.

Объясняю, что нет, генерал Хабалов, как командующий Петроградским округом, для Москвы «не компетентен».

— Н-да-а... А вы все-таки уезжайте.

Еще минута словопрения, и вдруг он — победоносным ударом:

— Если вам нужна остановка в Москве, почему вы не просили о ней министра внутренних дел?!

Ну, и вот тут-то я и сорвался!.. Решительно не знаю, как оно случилось, но не успел он договорить, как я, совершенно нечаянно для себя и нисколько того не желая, рявкнул — не сказал, а именно рявкнул — в трубку буквально нижеследующую милую фразу:

— Потому, что я с таким сукиным сыном, как ваш министр внутренних дел, никакого дела иметь не желаю!!!..

Рявкнул — и обомлел...

Конечно!.. Что же теперь?.. Было в 24 часа, а после «сего вышесказанного», пожалуй, в 24 минуты... Стою и, внутренне ругая себя на чем свет стоит, жду скорой и немилостивой погибели...

В трубке — длинная пауза ошеломления...

Затем — медлительный глас генеральский, с оттенком изумления, но безгневный:

— Ну, хорошо... я разрешаю вам остаться на пять дней... Но потом... уезжайте...

Не веря ушам своим, я переспросил:

— Как, ваше превосходительство?.. на пять дней?!

— Да... больше не могу... после пяти дней уезжайте...

Я отошел от телефона в том нелепом состоянии, что на русском языке может быть успешно выражено лишь одним, не весьма литературным, но зато сильным ходовым словом — «обалдение».

Лег в постель, но так и не заснул всю ночь, обуреваемый и радостью неожиданной, невероятной удачи, и досадой на свою несдержанность, и главное — диким одиноким хохотом, в котором, право, не знаю, где кончилась веселость, где начиналась истерика.

Когда назавтра я рассказал свое ночное приключение нескольким москвичам, известный врач и художественный критик С.С. Голоушев объяснил мне:

— Повезло же вам выиграть двести тысяч по трамвайному билету! Ведь вы невзначай попали в самую слабую точку Мрозовского. Он ненавидит и презирает Протопопова, почитает его именно таковым, как вы отличились его назвать, и считаться с ним, как с главою правительства, для генерала — нож острый. Да и польстило, поди, генералу, — вот, мол, с Протопоповым человек даже и говорить не хочет и аттестует его собачьим сыном, а меня просит... приятно!..

Так или нет, но, во всяком случае, удача моя действительно именно походила на выигрыш 200 000 по трамвайному билету, и сознательно повторять своего бессознательного опыта я после того не намеревался, не намереваюсь и не хочу намереваться... Ни в каком новом казусе, не исключая вот и этого — предстоявшего мне диспута с Урицким.

Вызвал Урицкий меня на допрос позднею ночью — вернее, ранним утром. Сколько помню, в кабинете, куда меня ввели, уже не горело электричество.

Из этажа в этаж, из коридора в коридор вели довольно долго. «Гороховая, 2», как все здания бывших охранок, — умышленно запутанный лабиринт. Я никогда не мог в нем ориентироваться: столько схожих комнат, переходов, входов и выходов. Я уверен, что если бы вздумал бежать, то наверное запутался бы и вместо свободы попал бы прямо в

когти и зубы какому-нибудь советскому церберу. Правда, что распознавать и запоминать местоположения я вообще не мастер и очень сочувствую пошехонцам в возможности заблудиться в трех соснах. Во второй мой арест я, сидя в коридоре перед камерою следователя Леонова, в ожидании допроса, был уверен, что узнаю вход в бывший кабинет Урицкого (тогда уже убитого), но сторож, служака еще Клейгельсовой полиции, объяснил мне, что — нет, Урицкий принимал совсем в другой части здания. И, однако, лабиринт «Гороховой, 2» еще прост в сравнении с бывшею охранкою на Кронверкском проспекте Петербургской стороны, сгоревшею в Февральскую революцию 1917 года. А эта петроградская охранка, в свою очередь, была проста в сравнении с почти фантастическою путаницею московской охранки в Гнездниковском переулке, будто склеенной из каких-то пристроек, надстроек, клетушек и курятников. Московскую охранку Февральская революция тоже сожгла. Огонь уничтожил эти гнусные здания с необычайною быстротою: неудивительно, — ведь это же были готовые костры!..

В этаж Урицкого меня провели через столовую чекистов с примыкавшей к ней импровизированной кухней. Вкусно пахло горячим мясным варевом, непохожим на гнусную вобляную баланду, какою дважды в день угощали нас, арестантов, наверху, в тюрьме. В последний мой арест, мартовский 1921 года, «Гороховая, 2» кормила заключенных очень сносно — особенно принимая во внимание чудовищно голодную весну. Ведь и на воле в городе девять десятых населения не было в состоянии питаться лучше, а две трети из этих девяти десятых едва осиливало средствами и много лучшие харчи. Но в 1918 году народ еще не настолько обголодал, чтобы без разбора глотать всякую отбросную мерзость, лишь бы она содержала хоть бледный и отдаленный призрак каких-нибудь «калориев». И пакостной бурды, которую вливала в нас Чрезвычайка, решительно «душа не принимала» — ни буржуйская, ни пролетарская. Похлебает иной голодный смельчак из артельного котла и, глядишь, уже устремляется, бледный, с блуждающими глазами и потным лбом, в уборную, откуда незамедлительно начинают доноситься горестные стоны души, расстающейся с Богом. Без «передач» было бы скверно, — хоть пропасть голодом. Но передач большевики не стесняли, и было их много. А так как из них слагалась арестантская «коммуна», то я должен сказать по справедливости, что в своих советских узах я ел и пил превосходно. На свободе о по-

добном питании мы с семьею давным-давно уже забыли и думать! Главными вкладчиками в «коммуну» были Мухин и Жданов. Им присылали из дому горы изысканной еды. Себе они отделяли немного, часть брало тюремное начальство, а остальное крупно распределялось по камере. Черт знает, до чего глупо выходило! На воле за обедом жуешь овес, как лошадь, и радуешься чечевице, как Исав, а тут, валяясь на жестких тюремных досках, вдруг закусываешь страсбургский пирог ананасным консервом... Белый хлеб, масло, ветчина, редиска... просто конфузно: того гляди, осрамишь свое звание узника и — каково это для политического мученика? — превратишься из скелетообразного петроградского интеллигента в упитанного толстяка.

В 1921 году я пережил точно такое же неожиданное благополучие в тюрьме на Шпалерной, как скоро был переведен из общей камеры в открытую одиночку по библиотечному коридору. Кругом, почти по всей галерее, сидели спекулянты. Ну, знаете, с позволения сказать, и жрали же эти милостивые государи!.. Как-то раз мы с сыном, делившим мое заключение, и еще один наш соузник, третий в камере, архитектор З., подсчитали передачу, полученную нашим соседом-спекулянтом, по тогдашним рыночным ценам. Вышло — 500 000 р. А таких передач он имел две в неделю. Между тем был далеко не из самых крупных дельцов: попался, еще будучи в пуху, не оперившись, и другие созаключенные отлично помнили, как это удачливое детище северо-западного местечка прибыло в Петроград в 1915 году беженцем-голодранцем, обобранным до нитки, и, подобно троянцам в «Энеиде» Котляревского, «тилко слава що в штанах»[56].

Староста этой великолепной коммуны заявил нам, что вносить в нее мы вольны, что можем, соответственно присылам, однако с обязательством отделять в пользу надзирателей из каждой передачи не менее четверти фунта масла, столько-то мяса на бутерброды, табаку, сахару, кофе и т.д. Мы с сыном переглянулись и рассмеялись: масла, мяса, сахару и кофе мы уже несколько месяцев и не нюхивали, а перед тем года два угощались такою роскошью лишь по великим праздникам да семейным высокоторжественным дням. Табаку, пожалуй, могли давать, так как оба не курим и накоплялась махорка из общего пайка. Коммуна была чрезвычайно удивлена: «Как же это вы ухитрялись существовать?!..» Кое-как мы сторговались на кашах, которые нам в достаточном количестве присылали мои милые ученицы из Д. гим-

назии, и на хлебе, — им снабжали нас рабочие из Стройсвири и с Балтийского завода. Откровенно говоря, коммуна была нам мало симпатична, да, вероятно, и мы ей тоже, но иметь с нею дело было необходимо. Казенное питание на Шпалерной в марте 1921 года представляло собою нечто ужасное, невообразимое. Человек я бывалый, всякие лишения знавал, да и переживал уже четвертый год — самый страшный год — советской голодовки, однако раньше, чем попробовал это варево, даже представить себе не могу, чтобы мыслимо было подобное пустопорожнее, но вонючее издевательство над человеческим аппетитом и желудком!.. А между тем из 350 заключенных нашего отделения ровно треть сидела без передач — только на этой возмутительной бурде, на которую и глядеть-то тошнило, не то что ее есть. Бывало, идешь по коридору, а из глазков стонут-ревут голоса:

— Отец, нет ли хлебушка?

— Товарищ, не осталось ли корочки?

— Старик, поделись хлебцем!

Хлеба нам приносили много, да и казенного мы получали по 5/8 фунта в день (и обыкновенно довольно сносного), но зачастую и сами не замечали, как оставались без хлеба, потому что невозможно было пройти с отказом мимо этих плачущих голосов, протянутых рук, жадных глаз, желтых лиц в стеклянных отеках голодной опухоли... А в другом конце коридора, глядишь, любезно поджидает тебя созаключенник другого сорта и при твоем приближении умильно улыбаясь, протягивает плитку:

— Не угодно ли шоколаду?

— Советского изготовления? из подсолнухов?

— Помилуйте, стал ли бы я подобную дрянь кушать и еще хороших людей угощать! Настоящий Кайе[57]!

А «настоящий Кайе» уже в 1917 году почитался в Питере величайшею редкостью и стоил огромных денег!

Так-то вот и делилась галерея. Одесную — благоухание «настоящего Кайе», а ошую — зажми нос и уткнись в подушку, покуда пронесут мимо камеры зловонный ушат советской бурды...

На женском отделении, где в общей содержалась моя жена, заключенные выудили из тюремного супа крысиную голову. Подняли шум. Пришел смотритель Селицкий (из рабочих и, к слову отметить, как будто не худой человек). Начал орать:

— Врете вы все! Это не крысиная голова, а... а... кобылье ухо!

(Суп предполагался варенным на конине.)

— С зубами-то?!.. Нет, товарищ смотритель, мы требуем врача, пусть он определит, что это такое.

Селицкий уступил, но с угрозою:

— Хорошо, но помните: если врач не подтвердит, что это крысиная голова, я за напрасную жалобу всех вас запру по камерам!

(Содержавшиеся в общих женщины за переполнением помещений — 41 душа на 10 кроватей! — пользовались свободой бродить по прилегающему коридору.)

Однако обещанного врача смотритель не привел: все-таки опасно, — хоть и подначальный, а интеллигент, черт его знает, что он скажет. Вместо врача дождались фельдшера-коммуниста.

Осмотрел глубокомысленно corpus delicti[58] и установил:

— Это... разварилось... копыто!

Возмущенные наглою ложью прямо в глаза заключенные — между ними было тогда несколько медичек — тычут пальцами:

— Копыто?! А это что? видите: глаз болтается? Откуда же на копыте взялся глаз?

Посмотрел, подумал и изрек с достоинством:

— Это не глаз... Это... это жилка от копыта!

И ушел победителем.

Исполнить свою угрозу, что запрет в камеры, Селицкий, однако, не посмел. В бунтовавшем отделении была старостихою очень энергичная дама, с которою тюремное начальство считалось: Ольга Сергеевна Лунд, впоследствии отправленная в Москву и там расстрелянная в числе жертв, безвинно убиенных по мнимой прикосновенности к пресловутому «Таганцевскому заговору».

О «заговоре Таганцева» я писал в свое время в «Новой русской жизни», что не верю в реальность этого дела, сфабрикованного и раздутого сперва ПЧК, потом ВЧК[59]. Теперь могу лишь повторить то же самое — и притом с большим сожалением, что не нахожу в себе веры. Потому что отрадно было бы думать, будто измученный, обескровленный, бессильный, порабощенный голодухою, запуганно вымиравший Петроград летних месяцев 1921 года оказался способным на героический подъем такого серьезного предприятия. Тогда, по крайней мере, хоть не вовсе понапрасну пролилась бы кровь хороших людей — Та-

ганцева, Лазаревского, Тихвинского и др., — тогда они погибли бы, как активные жертвы несчастно проигранного боя, а не пассивно — в случайной дикой бойне первых встречных интеллигентов по произволу безразличных палачей, — «в устрашительный пример прочим»... Мне потом доказывали — и не одни большевики-возражатели, но и некоторые из их противников, охочие до «нас возвышающего обмана»[60] романтических легенд, — что я ошибаюсь, заговор был... Хорошо, допустим, что был. Тем лучше. Повторяю: с моей точки зрения, тем лучше, если был... Но в таком случае — почему же за участие в заговоре Таганцева расстреливали людей, которые определенно и доказанно не могли принимать в нем участия? Не только потому, что не знали Таганцева и никого из сообвинявшихся ему, но и просто потому, что... сидели в одиночках Чрезвычайки уже задолго до того, как идея изобрести таганцевский заговор осенила голову Озолина и получила благословение Дзержинского.

Вот хотя бы эта несчастная О.С. Лунд. Ведь я же нашел ее на Шпалерной уже 5 марта 1921 года — и не новою, а давнею узницею. К ней предъявлялись обвинения очень серьезные и опасные, но к будущему таганцевскому делу, которое до июля никому и во сне не снилось, они не имели никакого отношения и касательства. Я знал Ольгу Сергеевну на свободе в обществе и дружески встретился с нею в тюрьме. Тому, что большевики ее расстреляли, я не удивляюсь. По многим ее самой о себе рассказам трудно было ожидать, чтобы они ее пощадили. Она была контрреволюционерка смелая и не очень-то осторожная. Ставили тогда к стенке и по подозрениям, вдесятеро менее опасным, с уликами, вдесятеро менее прозрачными. Она сама говорила и жене моей, и мне... да, к сожалению, и не нам одним, а иной раз, по слишком живой экспансивности, также и в присутствии лиц, которым, пожалуй, лучше было бы о том не знать, — что считает свое дело почти безнадежным.

— Единственный мой шанс — разыгрывать на допросах круглую дуру: знать ничего не знаю, ведать не ведаю... Что вы ко мне пристали?.. Я женщина пожилая, смолоду балованная, в делах житейских неопытна, в политике ничего не смыслю... Суди Бог неведомых людей, которые сделали из меня игрушку своих планов и довели меня до тюрьмы, а я в их делах не участвовала, разговоров их не слыхала, а что слышала, не понимала, бумаг их не читала, да и кто они такие —

не знаю... Удается мне роль, поверят — выскочу; не поверят — значит...

И она выразительно умолкала, каждый раз с легкомысленным жестом, в котором живо сказывался ее бодрый, бесстрастный дух — темперамент «неунывающей россиянки»...

Но играть «круглую дуру» на допросах женщине, так ярко умной, образованной, энергичной и ловкой вне допросов, было трудненько... Следователи Чрезвычайки очень плохи, но не идиоты же они, а кроме того, и в общих камерах, и в одиночках у них имеются свои глаза и уши... Не поверили!

И, не поверив, расстреляли.

Но расстреляли совсем не по тому делу, которое привело ее в тюрьму, а по тому, к которому она не была причастна ни сном, ни духом — ни в лицах, ни в фактах, ни в словах, ни в месте, ни во времени. Расстреляли только потому, что лживую драму «Таганцевского заговора» надо было заключить эффектным кровавым финалом, щегольнув перед напуганной интеллигенцией и озадаченной Европой возможно большим количеством жертв.

Всякая смертная казнь гнусна. Но быть казненным за *свое* дело — тут есть хоть утешение героического миража. Но умереть по прихоти кровавых клеветников за какую-то сплетенную ими, совсем постороннюю и неведомую тебе небылицу в лицах, быть оболганною даже перед лицом смерти и под пулею палача знать, что ложь всползет змеей и на твою могилу... Какой беспредельный ужас унижения для сознательной жертвы! какой беспредельный, из отвратительнейшей адской грязи и помоев составленный позор для изобретательных палачей.

IX

— А скажите мне, — начал Урицкий тоном почти дружеской укоризны, такой мягкой, точно он безупречный, а я согрешивший член какого-то общего товарищества, — скажите: вы все еще продолжаете держаться того же мнения о Раковском, как писали о нем в Италии?

Надо знать, что визит Раковского в Италию пред ее вступлением в мировую войну сопровождался колоссальным скандалом. Итальянцы поняли его антимилитаристическую пропаганду как германский подсыл для разложения армии и военнообязанных рабочих, — опыт, который впоследствии так блистательно-позорно удался большевикам

пресловутого «запломбированного вагона» в нашей злополучной Федоре-России. Но в Риме господина Раковского раскусили столь же быстро, как предшествовавшего ему Зюдекума. Раковский пробыл в Италии всего несколько дней и стремительно быстро уехал. Циммервальдцы усиленно распространяли слух, будто его выслало правительство. Это неправда. Он должен был бежать от общественного негодования и газетной травли, беспощадно разоблачавшей всю подноготную международного авантюриста — «болгарина, от которого болгаре отрекаются, как от румына, или румына, от которого румыны отрекаются, как от болгарина». По адресу г. Раковского сыпались аттестации в выражениях, едва терпимых газетною бумагою. Я тогда обслуживал покойное московское «Русское слово» телеграфною корреспонденцией из Италии и, конечно, передал в свою газету всю трагикомическую эпопею этого циммервальдо-бюловского «покушения с негодными средствами»... Вот об этом-то и спрашивал меня теперь Урицкий.

Я отвечал вопросом же:

— А разве Раковский сделал с того времени что-нибудь для того, чтобы можно было переменить о нем мнение?

Урицкий насторожился:

— То есть?

— Я хочу сказать, что против него были выдвинуты не слухи, не сплетни, но прямые, открытые обвинения, которые требовали прямого же, открытого опровержения... Не только в печати, но если бы это были клеветы, то даже в судебном порядке... Он ни тогда, ни после ничего доказательного в опровержение не выставил, а голословные отрицания, хотя бы и с примесью ругательств, не убеждают.

— Да ведь кто же его обвинял! — нетерпеливо воскликнул Урицкий. — Буржуазная пресса, националисты, милитаристы, патриоты... Как вы могли им поверить?

— Во-первых, почему же было не верить, когда подкупная работа тогда действительно велась среди итальянских социалистов агентами Бюлова усерднейше, к полному ужасу таких честных социалистов, как — хотя бы — Филипп Турати? Ведь это же засвидетельствовано собственными органами итальянского социализма, возмущенно разоблачившими большие и малые скандалы такого рода. Вспомните хотя бы историю съезда в Болонье, когда некий русско-аргентинский жулик и самозванец Натан так ловко обошел и оскандалил старика Грэй-

лиха псевдоамериканскими миллионами тоже якобы на «пацифистскую пропаганду»...

— Да, я помню.

— Если была попытка подкупить целый конгресс, опростоволосившая и компрометировавшая старого, заслуженного социалиста-вождя, что же невероятного было в подкупе одного человека, к тому же предшествуемого самою неблагоприятною репутацией? А во-вторых, о подозрительном характере приезда Раковского твердила тогда вовсе не одна только буржуазная пресса. Его определили как сомнительную личность также и многие социалисты.

— Какие? — быстро встрепенулся Урицкий.

— Да, например, Биссолати... Муссолини... Паолони...

— Это не социалисты, а предатели!

— Это ваше мнение теперь, но тогда вы, наверное, их так не аттестовали, потому что никто в социализме их предателями не считал... Биссолати еще не был министром, Муссолини только что покинул редакцию «Аванти», Паолони еще не был исключен из партии «за шовинизм», то есть за патриотизм... Да, наконец, ведь и журналист, который, можно сказать, специализировался в обличении Раковского, Джованни Де Нава, тоже был социалист и бывший близкий сотрудник «Аванти». Он писал вещи, которые пройти молчанием — значит признать себя виновным без смягчающих обстоятельств, — и Раковский все это оставил без ответа... Какие же после того данные имеются, чтобы менять о нем мнение?

Урицкий слушал молча, с большим любопытством уставив на меня острый, проницательный взгляд.

— А знаете ли, — заговорил он важно и веско, — знаете ли вы...

И вдруг отвел глаза в сторону, заторопился:

— Ну, словом, я должен вам сказать, что когда я прочитал то, что вы писали о Раковском, я, к сожалению, *перестал вас уважать.*

Он приостановился, выжидая, какой эффект производит его вызов. Я оценил эту маленькую провокацию по достоинству и ответил, улыбаясь:

— Это, конечно, мне очень прискорбно слышать, что вы перестали меня уважать, но приятно узнать, что, значит, было время, когда вы меня уважали. А вот я в отношении вас в худшем положении: я вас так мало знаю, что, к сожалению, еще не мог начать уважать...

Он быстро отвернулся, причем, как мне показалось, желтое лицо его дрогнуло искусно и спешно скрытым смехом. Затем, не глядя, он сунул мне полулист бумаги:

— Напишите, пожалуйста.

— Что я должен писать?

— Да все, о чем мы говорили... Ваши взгляды на партию... ваше отношение к Антанте... Все, что в настоящих условиях вы сами находите нужным написать...

Мне очень хотелось возразить ему, что в настоящих условиях я сам, лично, нашел бы нужным вовсе не писать, но вместо того спросил:

— И о Раковском надо?

Он уже нескрываемо засмеялся.

— Нет, о Раковском не надо.

Писал я долго, минут двадцать, если не больше. Задача была не легкая. Лгать и вывертываться не хотелось, противно было, стар я для такого ремесла; написать резкою правдою обвинительный акт на себя — глупо. Значит, надо было сочинить документ, который и солгать не солгал бы, и, сказав правду, не обратился бы в подорожную «к стенке» либо на долгий срок в Кресты.

Пока я писал, Урицкий был занят весьма мирным хозяйственным делом. Из соседней комнаты к нему, один за другим, приходили товарищи-чекисты, а он, высыпав из бумажного тюрика на письменном столе сахар на тарелку, делил — кому два куска, кому три... Эта курьезная идиллия в Чрезвычайке так занимала меня, что даже мешала сосредоточиться, и, сколько помню, я написал свой протокол очень нескладно и гораздо менее искусно, чем желал бы...

Урицкий быстро пробежал мое рукописание и покачал головою.

— Ужасно неопределенно вы написали, — сказал он, опять со скрытою улыбкою.

Я пожал плечами и возразил с откровенностью:

— Возможно, но ведь я писал... юридический документ...

«То-то и есть, что уж слишком юридический» — бессловесно возразили его умные глаза, когда он прятал мое показание в папку.

А затем быстро написал и подал мне ордер...

На волю!!!..[61]

Простились — даже с рукопожатием!.. Да не будет оно поставлено мне в грех пуристами, которые на моем месте не забыли бы, что рука

Урицкого — вся — незримо — в безвинной крови... Я в тот момент, каюсь, совершенно забыл: так хлынула в меня радость — немедленно выйти из этой «злой ямы»... через час — другой — третий — быть у себя дома, увидеть жену!.. детей!..

Один из надзирателей, поляк, возлюбивший меня за то, что я обменялся с ним несколькими польскими фразами и хвалил Варшаву, которую он обожал столько же, сколько ненавидел Петроград, проводил меня из тюрьмы — помог донести вещи — узлы и подушки — до извозчика: тогда они еще водились в Петрограде. Было уже так поздно, что даже рано. Мы шли уже совершенно светлыми пустынными улицами, без единой встречной души, сквозь чудесное бирюзовое утро, через лиловую Неву под Дворцовым мостом, через вороненую с синевою Невку под мостом Биржевым... Ох, как же хорошо, полной грудью дышалось вольным воздухом после тюрьмы!..

Извозчика мы нашли только на Кронверкском проспекте. За пятьдесят рублей (теперь-то что-то вроде ста тысяч, кажется) он помчал меня домой на Песочную... На широком лице выбежавшего швейцара первый ужас к раннему звонку (естественная мысль, конечно: опять обыск! за кем еще их нелегкая принесла?!) сменяется дикою радостью. С большого восторга он принимается звонить во все квартирные звонки, и, покуда я подымаюсь по лестнице в шестой этаж, на меня изо всех дверей, так сказать, сыпятся разбуженные, любопытные соседи.

В радостной семье мы этот остаток ночи и это начало утра, конечно, не спим, — проводим в разговорах и рассказах...

— Хорошо, — прервала наконец нашу болтовню жена моя, — все хорошо, что хорошо кончается. Но что же все-таки выяснил твой допрос? Какое обвинение предъявил к тебе Урицкий? За что, в конце концов, он тебя арестовал и держал в тюрьме, а нас всех измучил горем и страхом?

Что выяснил?! Какое обвинение?! За что?!

Эти простые и столь естественные вопросы заставляют меня дико открыть глаза. В радость возвращенной свободы внезапно врывается смущение. Впервые соображаю — и озадачиваюсь мыслью:

— Какой черт? Был я на допросе у Урицкого час с лишком, говорили мы с ним, говорили, путали петли, путали, а вот, оказывается, я так и ушел от него — в неведении своего собственного дела!.. Он не

объявил, я не спросил... Да и какой же это был допрос?.. Кружковая дискуссия, а не допрос...

Отпущен, оправданный — неизвестно, в чем. И даже избавленный от самого рокового и опасного вопроса — о признании советской власти... на чем, конечно, было бы мне сломать свою буйную голову.

Случайная ли то была небрежность? Или нарочно пожалел, пощадил меня этот, хотя и «переставший меня уважать» за своего милого друга Раковского, больной, усталый, желтоглазый человек?

Спасибо, если так, но тогда... для какого же все-таки, с позволения сказать, дьявола таскал он меня на свою окаянную Гороховую? Дискуссию ему, что ли, не с кем вести? Или — в самом деле — «для обоюдного стажа», как острил он на мой счет пред Брешко-Брешковским? Или, наконец, как пророчески шутит моя развеселившаяся жена, просто:

— Для первого приятного знакомства?!

ДОРОШЕВИЧ

«Слава в прихотях вольна»[1], и странны, капризны, часто глумливы и оскорбительны бывают ее прихоти. Вот стою я в раздумье перед близкою мне темою и только головою качаю:

— Сколько было славы и как она прахом пошла! Как он забыт!

Бедный Влас Дорошевич! Два года тому назад исполнилось десять лет с его кончины. Никто и не вспомнил и добрым словом не откликнулся. И я промолчал. Потому что — откуда же было знать, когда он приходится, день кончины Власа Дорошевича?

Однажды, летом 1921 года, этот знаменитый и богатый человек очутился нищим и больным в советском доме отдыха на петербургских Островах. Там его навещали и видели Василий Иванович Немирович-Данченко, я, еще два-три старика. В конце августа я бежал из Петербурга в Финляндию. Дорошевича большевики вскоре переместили с Островов в лучший дом отдыха, кажется, в Осиновую рощу, где обычно поправляли свои нервы советские сановники. Там он и умер когда-то в 1922 году[2].

Вас.И. Немирович-Данченко, выехавший из Петербурга в 1923 году, привез в Берлин известие о смерти Власа как о давнем уже факте. Едва ли не он последним из литературного мира видел Дорошевича живым. Но уже в таком отупелом состоянии, что, по-видимому, совсем утратил представление о времени и обстоятельствах, которые он переживает. Спросил Василия Ивановича:

— Отчего Амфитеатров меня забыл — давно не был?

— Хватились! Его давно нет в Петербурге. Он в Финляндии.

— Так что ж? Взял бы автомобиль да и приехал.

Когда человек, полжизни занимавшийся политикой, забывает о границах между враждующими государствами, — дело плохо.

Уже на меня в летние посещения Влас Михайлович производил тяжелое впечатление конченого человека. Трудно соображал, затруднялся в речи[3]. К зиме он совсем развалился, так что потерял даже телесную опрятность и сдержанность, чего — при мне — еще не было. Меня он однажды даже довольно далеко проводил по парку дома отдыха, хотя и очень тихим шагом.

Впрочем, ходок он всегда — и в здоровые годы — был плохой. В начале 90-х годов ему случилось однажды, в некоторую шалую ночь, сильно промерзнуть, и с той поры после тяжелой болезни он «пал на ноги», охромел.

Хромота эта сделалась в литературных кружках как бы паспортною приметою Власа.

Курьез. Впоследствии, когда Влас Михайлович сделался властным и славным, почти что хозяином «Русского слова», среди московской газетной молодежи взялась мода подражать его хромоте и ходить с палочкой. Сперва Влас смеялся этому дурачеству; потом, когда число хромых «под Дорошевича» стало непомерно возрастать, начал хмуриться; наконец, однажды, когда провинившийся и вызванный им для разноса юный репортер приблизился к нему вприхромку и опираясь на тросточку, Влас не выдержал, — взревел буй-туром Всеволодом:

— Это что такое?! Чтобы я больше не видел в редакции подобных глупостей! Не хромать! убрать палку прочь! выздороветь! в одну минуту!

Выздоровел. Именно этот репортер вывел Дорошевича из терпения и попал под грозу потому, что был похож на Власа лицом и фигурой, так что с хромотой и палочкой получалась довольно схожая карикатура.

Это был С.Н. Ракшанин, усыновленный воспитанник очень известного в свое время московского фельетониста и «бульварного» (но «с

психологией») романиста Николая Осиповича Ракшанина и, как твердо держалась молва, натуральный сын Дорошевича[4]. Я, несмотря на сходство их и твердость молвы, не вполне ей верю.

Потому что мне хорошо известно страстное желание Власа Михайловича в зрелые его годы иметь сына — наследника и продолжателя рода, который Влас, хотя сам был в нем приемышем, очень любил.

Едва ли я ошибусь, что обманутые надежды иметь сына играли немалую роль в частых расхождениях Власа с женщинами, с которыми он пробовал устраиваться семейно. Но на выбор подруг он был несчастен — попадал либо на неродих, либо на производительниц «девчонок». Когда одна из них осчастливила было его мальчиком, судьба злобно посмеялась: ребенок задавился пуповиной. Влас с горя чуть с ума не сошел. Отчаянное письмо его у меня цело. Вот почему я не совсем доверяю [слухам] о Ракшанине. Зачем бы Дорошевичу было так много волноваться чаянием сына, если бы имелся налицо готовый, которого стоило лишь признать?

В годы нашей тесной дружбы и полной взаимной доверенности мы с Власом никогда не говорили об этом мальчике, которого я хорошо помню весьма избалованным Сережей у приемных его родителей Ракшаниных.

В бесчисленном полчище репортеров «Русского слова» молодой человек не проявил дарования, которое свидетельствовало бы о наследственности от предполагаемого отца, ниже от бабки «Соколихи»: этой сударыне, при всей ее злокачественности, никак нельзя было отказать в литературном таланте. Короткую, но беспутную жизнь свою «Сережка» кончил скверно. После большевицкого переворота и гибели «Русского слова» снюхался с победителями, напечатал в «Известиях» письмо с отречением от «проклятой буржуазии», получил ответственную командировку в Ростов на пост не то инспектора, не то цензора местной печати. Но там же вскоре пал «жертвою борьбы роковой» — не в поле битвы с белогвардейцами, а в пьяной трактирной драке.

Жизнь Власа Дорошевича очень четко и определенно делится на пять периодов: московский подготовительный (мелкое репортерство и работа в юмористических журналах), московский фельетонно-хроникерский («За день» в «Новостях дня» и «Московском листке»), одесский («Одесский листок» и путешествие на Сахалин), петербургский (моя «Россия») и — самый важный и длительный — третий московский (создание «Русского слова»). За исключением последнего периода, когда

судьба развела нас по разным дорогам (не нарушив, однако, нашей старой дружбы), мы с Дорошевичем были так тесно близки, что мне трудно писать о нем одном иначе, как анекдотически: иначе пойдет автобиография. Анекдотов же о нем достаточно включил я и в «Девятидесятников», и в «Закат старого века», и в «Дрогнувшую ночь», и в «Лиляшу», и в «Вчерашних предков», где Влас проходит иногда под собственным именем портрета, иногда в составе сборного типа журналиста Сагайдачного.

Я очень любил Власа[5]. Полагаю, что и он меня не меньше — по крайней мере, в годы совместной работы, как в «России», или хотя бы параллельной, как в его московских периодах. В создании им «Русского слова» я не принимал участия. Но вовсе не потому, будто, как не раз меня пытались уверить, он не хотел впустить меня в газету, опасаясь моего «непомерного» (как любил он выражаться) темперамента и своевольства, которыми я, дескать, «погубил» так блистательно преуспевавшую «Россию». Нет, помогать ему в строительстве «Русского слова» я не мог просто потому, что был в это время сперва ссыльным в Сибири и Вологде, а затем эмигрантом в Париже. А что сношения наши и в этом сроке не прекращались и продолжали быть наисердечнейшими — лучшее доказательство, что все мои «Сибирские этюды» были напечатаны в «Русском слове» Дорошевича и в «С.-Петербургских ведомостях» кн. Эспера Ухтомского: единственных двух редакторов, не убоявшихся помещать статьи литератора, которому «запрещено писать».

Мне только пришлось расстаться с старым привычным моим псевдонимом Old Gentleman. Сперва я подписывался «Борус» (гора в Саянах, видная снежною вершиною из Минусинска, за 270 верст), потом (это уже с 1903 года в «Руси» А.А. Суворина) «Абадонна». А как скоро вырвался за рубеж, в эмиграцию, дал себе слово, что впредь никогда не напечатаю ни единой псевдонимной строки. И, слава Богу, слово свое тридцать лет сдержал, отвечая за все, что писал, именем и фамилией.

Дорошевич терпеть не мог писать письма. Однако в Минусинске я то и дело получал от него писульки — крупным энергическим его почерком с сильными черными нажимами, — увещавшие все к одному и тому же: «Пишите, пишите, пишите! Не стесняйтесь размерами! пишите!» — это дословная выписка из одной его цидулки. А в своем «Сахалине»[6], присланном мне в Минусинск, он написал такое

«объяснение в любви», что я эту книгу прятал от знакомых, опасаясь, что кто-нибудь, прочитав, скажет с укоризною:

— Ну, знаете, Александр Валентинович, это уж Дорошевич хватил через край! Это вам, голубчик, не по чину!

Теперь эта книга вместе со всею проданною библиотекою у чехов в Праге. Уповаю, что цела.

А когда перевели меня из минусинской ссылки в вологодскую, как Дорошевич встретил меня на перепутье, в Москве на вокзале! «Суровый славянин, он слез не проливал»[7], а тут всего меня исслезил! И я уверен, ни одна из возлюбленных дам его сердца никогда не была так исцелована, как я, мохнатый и бородатый, в сибирской дохе. Что тем замечательнее, что ни он, ни я никогда не были охотниками до изъявления чувств и «телячьих нежностей», а к поцелуйным обрядам между друзьями я чувствую решительное отвращение.

Рано поутру мне надо было следовать дальше в Вологду, и всю-то ночь просидели мы вдвоем в кабинете «Славянского базара», не заметив, как в беседе, полной воспоминаний прошлого и предположений о будущем, пролетели часы. Ну, и что греха таить! Шампанского тоже приняли внутрь предостаточно!

Полтора года спустя, вскоре после убийства Плеве Егором Сазоновым, моя жена при помощи А.А. Столыпина выхлопотала мне у Лопухина замену ссылки «отпуском» за границу. Я приостановился в Москве, чтобы проститься с отцом, родными и Дорошевичем. А он повез меня на Воробьевы горы — прощально поклониться Москве. Об этой поездке я года два тому назад рассказал в «Сегодня» в этюде «Вербовщица Сатаны»: встретили мы тогда некоторую такую личность на пути к Воробьевке...[8] А там сидели втроем: Влас, Виктор Александрович Гольцев и я, — смотрели через реку на Новодевичий монастырь и говорили о человеке, которого там только что похоронили.

В это время Влас, во главе «Русского слова», был уже очень крупною — «всероссийского значения» — силою, зарабатывал огромные деньги и жил богато. Однако еще далеко не с тою нелепою и неуютною роскошью, в какую впоследствии втянула его «погубительница» Ольга Николаевна Миткевич, с которою он, безумно влюбясь, вступил в законный брак (второй).

Предшествовавшая гражданская его супруга, тоже фарсовая артистка, тоже красавица, была хорошая русская баба-домоводка — умела окружить Власа комфортом, создать подобие семейного уюта[9]. Одна-

жды, проездом из Вологды в Питер, я, не желая предъявлять «проходное свидетельство» в гостинице, ночевал у них и дивился: попал — среди Москвы — в благоустроенный провинциальный помещичий дом, где в хозяйстве — полная чаша, а шикарства — ни малейшего. Не знаю, из-за чего распался этот союз, но, узнав о том, помнится, пожалел. Потому что тогда видел Власа в первый раз устроенным по-человечески — так, что обстановка его не напоминала ни номера в отеле, ни уборной кафешантанной певички, ни театрального фойе, ни «гнездышка» модной львицы. В первый и в последний.

В эпоху «Русской воли»[10], когда пошатнулись отношения Власа с «Русским словом» и он чуть-чуть было не сошелся с С.М. Проппером для «Биржевых ведомостей», мы виделись довольно часто, но неинтересно. Влас в это время сильно втянулся в общество крупных бюрократов и биржевиков. Даже давал какие-то вечера с присутствием посланников, правда экзотических, но — все же! Скучал он в этом обществе люто. Да и вообще скучал — жизнью уже скучал. Оживлялся только тогда, как, бывало, заведешь речь о Французской революции. Он хотел писать ее историю и собрал великолепную библиотеку по предмету, которая погибла в большевицкую революцию. Не от большевиков, а от нераспорядительности или, наоборот, чересчур уж прыткой распорядительности супруги, использовавшей отъезд Власа Михайловича на юг, чтобы спустить его книжные сокровища за бесценок.

В Февральскую революцию Дорошевич был окрылен, но большевицкий октябрь его раздавил. Особенно после ареста, который длился, правда, всего несколько часов, но разбил его больше, чем иного год каторги. Много видел я в то время панически испуганных людей, но никого в такой мятущейся, самоубийственной тоске, как терзался Дорошевич. Помню, застал я однажды его, совсем больного, в постели, по которой он катался из стороны в сторону, как зверь, в отчаянии, не находящий места, где дать хоть минутный покой больному сердцу... Насилу-то, насилу его выпроводили на юг.

Возвращение Власа Михайловича с юга в Петербург — такой «зеленый ужас», такое надругательство над большим, доверчивым человеком, что не хочется рассказывать. Тэффи в «Воспоминаниях» немножко намекнула, недосказав до конца[11]. Да вряд ли и все знала: ведь ее в это время уже не было в Петербурге. И я воздержусь. Скажу только, что, возвратясь внезапно, в ночное время, Влас долго не мог быть

впущен в свою квартиру и больше часу сидел — больной, в полуобмороке — на лестнице, пока что-то там внутри приводилось в пристойный для глаз хозяина порядок. А назавтра он был препровожден в дом отдыха — без единого рубля в кармане.

Там и застал я его в том жалком состоянии, как было сказано в начале... При помощи некоего г. Фельтена мне удалось хорошо продать тогдашнему эстонскому дипломатическому представителю Альберту Георгиевичу Оргу несколько лекций Власа Михайловича о Французской революции для таллинского издательства «Библиофил». Любезные миллионы, или, как тогда говорилось, «лимоны», Орга позволили Дорошевичу обойтись на первое время. А от дальнейшего времени его освободила смерть. И — по тем обстоятельствам, в каких она его застала, — слава Богу!

М.П. АРЦЫБАШЕВ

Се, воистину израильтянин, в нем же льсти несть.
Иоан. 1,47.

Вот уже сорок дней, как скончался Михаил Петрович Арцыбашев, а я до сих пор не помянул его в печати. Сколько раз брался за перо и... не мог! Отходил от стола в бессилии, откладывая: авось завтра!.. Не мог!.. Бывают утраты, о которых, пока не уляжется первое жуткое впечатление, не зарубцуется хотя несколько нанесенная ими глубокая рана, хочется не говорить с людьми, а только плакать в одиноком безмолвном волнении.

В лице Михаила Петровича я потерял ближайшего друга. В течение четырех лет мы были связаны теснейшим единством политических взглядов, а отсюда рождалась искреннейшая взаимно-откровенность по взаимному благожелательству. За четыре года наберется очень немного недель, прошедших без того, чтобы мне не получить большого письма от Арцыбашева и не ответить немедленно ему большим письмом[1]. И, когда выпадали пустые недели, мы оба тревожились и посылали друг другу спешные запросы: почему молчите? что с вами?

А между тем, на чужой взгляд, в дружбе нашей многое может и даже должно показаться странным. Начать с того, что она была исключи-

тельно письменная. Лично мы с М.П. Арцыбашевым виделись только однажды, двадцать два года тому назад, на вечеринке у писателя Свирского (ныне, увы, большевика) в Петербурге. Да и то лишь видели друг друга, а беседы между нами тогда не вышло.

Дружба поздняя и неожиданная. Потому что к предреволюционному беллетристическому творчеству Арцыбашева, за немногими исключениями («У последней черты»[2]), я относился очень отрицательно и неоднократно писал против него резко. Особенно в период «Санина»[3]. Много лет я считал Арцыбашева писателем очень опасным и вредным для русского молодого поколения, которое им увлекалось чуть не поголовно. Да и теперь считаю, что, может быть, лучше было бы, если бы некоторые произведения его пера остались в его письменном столе неопубликованными. Пять лет тому назад я сказал бы: ненаписанными. Но теперь, изучив душу Арцыбашева в постоянной переписке, я слишком хорошо понимаю, что это пожелание было бы неразумным и неисполнимым. То, что однажды вступало в мысль Арцыбашева и начинало волновать и жечь его душу, он *должен* был написать, не мог он того не написать, почел бы нечестным не написать.

А писать он умел только *прямо и честно перед самим собою*, первым и главным своим критиком, пожалуй, даже единственным, для него вполне авторитетным. Прямо и честно, то есть доводя развитие каждой овладевавшей им идеи безуклонным логическим ходом до конца, как бы он ни был неприятен, как бы ни был неудобен в условных соображениях обстоятельств места и времени. Это суровое упрямство было и хорошо, и дурно. Если исходная посылка бывала ошибочна, то, понятное дело, ее прямолинейное развитие, при неумолимой логической суровости Арцыбашева, заводило его в тем более темный и безвыходный тупик, чем тверже он прокладывал намеченную дорогу.

Отсюда — то мизантропическое отчаяние, которое так часто звучит в заключительных аккордах его творений и которого учителем и проповедником читатели и критики в большинстве его считали. Тогда как на деле-то, во-первых, на свете немного найдется душ более филантропических и менее склонных к отчаянию в человеке и судьбах его, чем добрая и бодрая душа покойного Михаила Петровича. А во-вторых, война и революция печально обнаружили, что, когда мы считали автора «Санина» и тому подобных проповедей преднамеренным учителем и пророком, следовательно, как бы нравственным творцом,

весьма ответственным за плохость совозрастного ему поколения, мы были не правы. Близоруко принимали видимость творчества, слишком яркую по силе большого таланта, за существо.

Не пророком и не учителем своего поколения был Арцыбашев, но его бытописателем, тревожным и угрюмым в своей беспокойной к нему любви. В Арцыбашеве вообще было много лермонтовского элемента, — может быть, больше, чем в ком-либо ином из крупных русских писателей после Льва Толстого. И вот эта резко обличительная любовная тревога за свой век — в нем тоже была чисто лермонтовская. Не ницшеанская, как казалось, но, напротив, антиницшеанская, — не сверхчеловечества ищущая, а трепещущая за умаление человечества в современном человеке. И — когда?! Как раз в исторический момент, чреватый — это-то с 90-х годов всем явственно чувствовалось — каким-то близко надвигающимся стихийным экзаменом социально-политической зрелости русского общества, его мысли, воли и сил. Нужны были люди, люди и люди, а Арцыбашев, «печально глядя на свое поколение»[4], видел вместо людей те рыла, что замерещились Городничему в последнем акте «Ревизора».

Арцыбашев-беллетрист был представителем несомненно «левой» линии — «левой» веры, «левого» устремления. Поэтому понятно, что в «правой» половине русской печати и общества он не мог найти доброго приема. Он был встречен как откровенный политический враг, а смелый художественный натурализм его изобразительных средств, в котором Арцыбашев заходил, пожалуй, дальше всех русских золаистов, дал в руки неприятелей удобное для нападения на него оружие. Арцыбашева объявили справа циническим порнографом. Слева не защищали. Хотя «Санин» и рассказы Арцыбашева печатались в социалистических журналах[5], но в левых кругах «санинство» произвело эффект едва ли не еще более отрицательный, чем в правом лагере.

Ибо ясно было: если герои Арцыбашева суть подготовители будущей революции и кандидаты в ее руководители и деятели, то какой же толк и прок может быть из их революции, на что и кому она нужна? А так как левой интеллигенции очень хотелось революции, то она предпочла не поверить Арцыбашеву и отмежеваться от его сурово изобличительной работы. Настолько, что Луначарский выжил его из редакторов литературного отдела в «Образовании»[6]. И нельзя и слишком невыгодно было зачислить его в реакционеры. Поэтому его обвиняли

в анархическом пессимизме, в политическом нигилизме, вообще в крайностях левого мышления, которые, как крайности, компрометируют и саботируют революционное движение.

Обвинения эти возникали с особенной настойчивостью в среде революционной эмиграции, распространялись более всего из кружка М. Горького, где «анархизм», «нигилизм» и «пессимизм» были провозглашены пугалами, не менее отвратными и опасными для революции, чем «мистицизм», тройственная формула Победоносцева и либеральная постепеновщина. Я близко наблюдал это направление и сам был к нему причастен. Поэтому смею утверждать, что предубеждение против Арцыбашева и недоверие к его творчеству рождались в революционной эмиграции и, в частности, в кружке М. Горького не только из каких-либо личных причин (хотя не решусь отрицать влияния и таковых), но и bona fide[7].

Дело в том, что большинство руководителей тогдашней революционной эмиграции, покинув Россию кто в 90-х годах прошлого века, кто в первом пятилетии века текущего, проглядело эволюцию выросшего тем временем русского предвоенного поколения, которого фотографом явился Арцыбашев. И так как правда его фотографий была очень неприглядна, то людям, привыкшим облекать идею «молодого поколения», «передовых общественных сил» и т.п. в миражи, наследственные от XIX столетия, она представлялась оскорбительно-дикою и невероятною. В лучшем же случае Арцыбашев рисует исключительно уродов, дегенератов общества и, следовательно, упорно и хронически совершает тяжкий грех обобщения по недостаточному количеству наблюдений, капризно и произвольно компрометирует революционную готовность и пригодность интеллигентных сил.

Я делил эти сомнения и впервые поколебался в них лишь в конце 1916 года, когда, возвратясь в Петроград после 14-летнего из него отсутствия (за исключением коротенькой побывки в революционные месяцы 1905 г.), мог чересчур наглядно убедиться в том, что общество переродилось за этот срок в племя не то чтобы очень младое, но нам, зарубежным, уже незнакомое[8]. И — нет, для своих обидных обобщений Арцыбашев имел, к сожалению, совершенно достаточно, скорее слишком достаточно наблюдений. Типы «Санина», «У последней черты», «Ревности»[9] и пр. попадались на каждом шагу, как ядовитый яд, расплесканный по столице. И уж, конечно, не писатель их породил, а

они пестрым множеством своим породили горькую необходимость для писателя облечь их в образы страшными словами, подобными наказанию жезлом железным.

Очень хотелось мне в это время войти в сношения с Арцыбашевым, свидеться с ним, поговорить по душам, понять и быть понятым. Но обстоятельства не позволяли. А затем октябрьская большевицкая революция отрезала Петроград от Москвы с такою решительностью, что в следующие четыре года пленения я, кажется, ни из одного крупного русского центра не имел так мало известий, как из родной мне Москвы. Прочно укупорил нас в банку Зиновьев с Чекой. Читая недавно в «Возрождении» купринский «Купол св. Исаакия Далматского»[10], я с обывательской завистью весьма задним числом удивлялся, как, при всей скверности списываемого Александром Ивановичем гатчинского быта, петроградские пригороды все-таки «хорошо жили» сравнительно с самим Петроградом 1919—1921 годов.

В литературных слухах, изредка доходивших из Москвы, мало было утешительного. Под напором большевицких угроз и соблазнов писатели, правда, оказались более стойкими, чем художники и актеры, однако, стараниями Луначарского и Каменевой, быстро заполнялась черная доска литературы именами тех, которые, подобно Людмиле в замке Черномора, «подумали и стали кушать». С Валерием Брюсовым во главе. И вот тут-то впервые волною прошло по вниманию нашему, повторяясь из уст в уста, имя Арцыбашева как писателя, не только выстоявшего против соблазнов приять печать Антихристову, но мало что не наплевавшего большевикам-соблазнителям в бесстыжие глаза.

Сказать ли? Это было почти неожиданно. Не потому, конечно, что Михаила Петровича кто-либо считал способным поладить с большевиками из-за выгод, сулимых приязнью с ними, подобно Брюсову, Ясинскому, Городецкому и т.п. А потому, что в беллетристическом творчестве своем он почитался выразителем такой решительной революционной экстремы, что, казалось бы, для приятия торжествующего большевизма ему не нужно и компромисса.

Не знаю, справедлив ли был слух, будто Луначарский, уговаривая Арцыбашева «примкнуть», предлагал ему полную свободу слова — без пролетарской цензуры. Если это лишь легенда, то характерная для показания, как большевицкая власть желала Арцыбашева и надеялась иметь его. Решительно враждебная позиция, на которую откровенно

стал Михаил Петрович по отношению к «торжеству победителей»[11], была для них неприятнейшим сюрпризом и тяжелым моральным ударом в те первые дни, когда «старые большевики» еще считались несколько с моралью. Никакие литераторские капитуляции не могли вознаградить их за то, что два наиболее крупных и ярких из литературных революционеров-экстремистов до ленинского переворота, Леонид Андреев и М.П. Арцыбашев, не приняли «октября» и открыто против него восстали.

Леонид Андреев тогда с лета был уже в Финляндии и там остался, там и умер вскоре, и погребен. Зарубежная свобода позволила ему выразить свое противобольшевицкое восстание активно (знаменитое воззвание «S.O.S.» — призыв к европейской интервенции[12]). Арцыбашев сидел в Москве, как все мы, люди печати, застрявшие в черте досягаемости от ЧК, с заткнутым ртом и связанными руками. Его восстание могло проявляться только пассивно. Но пассивность-то его была такая бурно откровенная, что надо изумляться, да он и сам тому впоследствии больше всех изумлялся, как ему удалось унести голову целою из волчьей пасти, в которую он совал ее чуть не ежеминутно.

Решительно не приявших советского переустройства жизни было в литературе много, но в такой мере, как Арцыбашев, кажется, право, он один. Борьба за существование вырабатывала тогда для интеллигенции кое-какие нейтральные компромиссы, при помощи которых можно было «не умереть голодною смертью», не обязываясь большевицкому правительству: работа во «Всемирной литературе» (она только в конце 1920 года перестала считаться «частным предприятием»), продажа сочинений Гржебину, тоже державшемуся на позиции частного предпринимателя и в этом качестве воевавшему с Госиздатом (сюда продать что-либо почиталось с самого начала постыдным); преподавательство невинных предметов в учебных заведениях; чтение аполитичных лекций... и т.д. Арцыбашев не пошел и на это, на что «все шли».

Не принял он и пресловутого «ученого пайка»[13], который Д.С. Мережковский впоследствии язвительно обозвал горьковским средством «оподления» интеллигенции. Так-то это так, ибо таково было намерение большевицкой власти, когда она разрешила эту макиавеллическую махинацию. Но по опыту могу сказать, что для большинства пользовавшихся «ученым пайком» он отнюдь не был «подачкою», а, напро-

тив, лишь очень слабою оплатою сверхсильного труда, который они несли, не только умственного, но и физического. Понтировать по тогдашнему петроградскому бездорожью от одного учебного заведения к другому, в общей сложности верст тридцать в сутки и часами мерзнуть, стуча зубами, в нетопленых аудиториях — этакая работа не такого питания требовала.

Я лично на вопрос «ученого пайка» смотрел и смотрю так: мы у большевиков — военнопленные на принудительных работах. Если победители заставляют нас работать, они обязаны нас кормить, а мы им, как были, так и остаемся ровно ничем не обязаны, так как едим свое, тяжко заработанное, а вовсе не от их милостей. Живя в концентрационном лагере, военнопленные механически обезволены в своей действенности, но никто и ничем не в состоянии отнять у них воли-ненависти к своему плену. Она у каждого может быть выражена разно — самоубийством, бегством, заговором, вообще каким бы то ни было индивидуальным актом, ведущим к освобождению из плена и к вреду наших сторожей. Всякое дружественное общение с ними, всякая услуга им, все, что сколько-либо может быть им на пользу, — для нас постыдное преступление. А то, что мы вынуждены делать в плену из-под палки, если оно не противно нашей политической совести и нравственной ответственности перед самими собою, нас не марает. И, как ни горек пленникам хлеб из вражьих рук, мы имеем законное право его есть, ибо мы зарабатываем его воистину потом и кровью, а существовать нам надо, ибо жизнь нами не кончается и не кончаются пленом надежды наши.

Арцыбашев шел дальше. Он решил, что все, что не наносит большевикам прямого вреда, уже приносит им пользу, и категорически отказался от горького хлеба врагов даже и в военнопленном состоянии. Собственно говоря, эта решимость, в условиях подсоветского быта, была равна осуждению себя на медленное самоубийство. Не знаю, как Арцыбашев ухитрялся жить. До революции он был, кажется, довольно состоятельным человеком и, может быть, ему удалось сохранить от большевицкого грабежа какие-нибудь сбережения и ценные вещицы, которых ликвидацией он потом и кормился? Но ведь мы все прошли через это в большей или меньшей степени, и я слишком хорошо знаю, как быстро в этом процессе голеет мнимо богатый интелли-

гент, изо дня в день раздеваясь для жестоко жадного угнетателя-рынка, пока не доходит до босяческой «сменки». А М.П. Арцыбашева както достало на шесть подсоветских лет.

Сейчас некрологисты большевицкой печати распространяют слухи, будто он «спекулировал» на каких-то «ценностях»[14]. Не зная обстоятельств московской жизни Арцыбашева, я не могу ни утверждать, ни отрицать этого. Но если бы даже и так, то не вижу основания возмущенно опровергать. Что же в том ужасного, если он и «спекулировал» своими ценностями? Кто же тогда не «спекулировал» своим последним, уцелевшим от большевицкого грабежа добром, стараясь продать возможно больше и дороже, а на выручку купить возможно больше и дешевле? И если у Арцыбашева сохранились, паче чаяния, какие-нибудь процентные бумаги или валютные знаки, то уж, конечно, он поступал во сто раз честнее, продавая их на какой-то «черной бирже», чем все те, кто самого себя продавал на порчу бумаги в «Известиях», «Красных газетах», «Правдах», — имя же им легион! И получал за это оплату крадеными валютными знаками от «красной биржи» соответственных наркомов. Этакие паразиты-вши, а туда же — учитывать писательскую «честность»! Да еще — добро бы чью! А то — Михаила Арцыбашева![15]

В маленьком его некрологе, написанном для «Возрождения» А.И. Куприным[16], я с любопытством прочитал, что Михаил Петрович был сильного сложения, спортсмен и т.д. Это было, должно быть, очень давно, в молодости, так как в зрелых годах развитие туберкулеза держало Арцыбашева постоянно в когтях серьезных заболеваний и не раз ставило его на край могилы. О болезнях Арцыбашева не было того крика на весь мир, каким заливаться считало, считает и впредь, конечно, считать будет своим долгом окружение Горького всякий раз, что Алексей Максимович чихнет однажды сверх нормы. Но в литературных кругах давным-давно было известно, что Арцыбашев не только очень больной, но и обреченный, на волоске от смерти, человек. Весьма возможно, что и большевики-то не торопились накладывать на него лапы свои по соображению: а, ну-де его! и так скоро сам помрет! Ну, и пусть лучше помирает на свободе, а то если в нашей тюрьме, то, при его европейской известности, неловко: новый скандал в ущерб культурной репутации РСФСР!..

Но если так, то и ошиблись же они в расчетах! Недаром Арцыбашев, повторяю, был от Лермонтова. Взрослым мужчиною он болел, как отроком Мцыри:

В нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов...

Подобно отроку Мцыри, он, хотя и на пятом десятке лет, имел право сказать о себе на смертном одре:

— Я мало жил и жил в плену!

Подобно Мцыри, он, пленником,

знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, как червь, в груди жила,
Изгрызла душу и сожгла...
Он эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской...[17]

И когда, наконец, счастливый случай вывел его из плена, каким же юношеским пламенем вспыхнула на свободе эта основная и единая страсть Михаила Петровича: любовь его к матери-России, обостренная ненавистью и местью к изнасиловавшим ее большевикам!.. И, не старея, не слабея, пылало его юношеское пламя пред глазами нашими четыре года и угасло только со смертью того, кто носил его в измученной, но чуждой жалости к себе самоотверженно жертвенной груди своей...

Да и нет — не угасло оно! Scripta manent![18]

«ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!»

I

Девиз «Все для детей!» — один из самых употребительных в декламационном репертуаре РСФСР. Его теоретические вариации постоянны на устах большевиков, на плакатах и праздничных знаменах, на столбцах газет.

Практическая действительность являет положение детей в России в виде не только несогласном с девизом, но даже прямо и резко его опровергающем. Тем не менее я допускаю и, пожалуй, даже не сомневаюсь в том, что девиз свой большевики провозглашают не лицемерно, а вполне искренно. Их политики хорошо понимают всю важность «детского вопроса» — особую важность именно для них, коммунистов, как «строителей будущего». Прошлое большевикам ненавистно и их ненавидит, настоящее, в подавляющем своем большинстве, не с ними, все упование коммуны, как религии и строя, в будущем. А будущее — это дети. Следовательно, главнейшею задачею социально-политической тактики большевиков должно быть завоевание детей, захват в свою опеку и власть их души и тела до такой полноты, чтобы коммунистический уклад жизни сделался для них предпочтительнее всякого иного, а авторитет коммунистического государства возвысился над всеми прежними авторитетами, заслонил бы их и упразднил. А отсюда опять-таки, следовательно, вполне естественный и необходимый вывод — главная забота государства должна быть о детях: «Все для детей!»

Но делать теоретические построения и обращать их выводы в девизы — одно дело, а продвигать выводы в жизнь — совсем другое. Тут вдруг неприятнейше оказывается, что жизнь совсем не кусок материи, который удобно и легко режется ножницами на три отдельные части — прошедшее, настоящее, будущее, — но органическая цельность. Оказывается, что никакого изолированного будущего в мире не существует, а есть только будущее, истекающее из прошлого через настоящее и теснейше с ними связанное. И если дети — будущее, то взрослые — настоящее. И следовательно, девиз «Все для детей» звучит осмысленно и дышит жизнью только там, где делается если не все, то хоть нечто — для взрослых. Там же, где для взрослых не стало возможности существования, он звучит бессильным, пустым словом, хуже того: насмешливо искажается в злобную карикатуру на свой идеал и из благодетельного фактора, будущее создающего, превращается в преступный фактор, будущее разлагающий.

С увлечением работая на идеал коммунистической государственности, большевики делают все, от них зависящее, чтобы, так сказать, просунуться между семьею и ребенком и обаянием своей государственной — «единой трудовой» — школы сменить извечный авторитет семьи. Я не буду входить в принципиальное обсуждение этой задачи.

Станем на точку зрения большевиков; допустим, будто она моральна и необходима. Но для практического ее разрешения требуются основы, которых нет в современной жизни, и гигантские усилия не по мышцам революционного века. Бороться победоносно с авторитетом семьи (опять-таки оставляя в стороне вопрос о надобности борьбы) в состоянии была бы только школа, стоящая и материально, и морально на гораздо высшем уровне, чем семья, ею отрицаемая. Между тем советская школа, обремененная такою огромною задачею, сложилась жалко, бессильно и бесплодно даже по сравнению с тою далеко не блистательною школою, которою не столько образовывал и воспитывал, сколько муштровал свою молодежь старый режим. Поэтому и советский школьный эксперимент войны с семьею оказался плачевным покушением с негодными средствами и, в осложнении бурными обстоятельствами и настроениями революционного времени, дал результаты не победные, но ужасные, отравные. Семьи школа не заменила, сама авторитетом не сделалась, но семейный авторитет подорвать и семейные отношения испортить успела в весьма значительной степени. И, таким образом, громкое и красивое в идеале советское «Все для детей» — в факте определилось, как — «детям ни семьи, ни школы». Потому что школ учреждено — и даже не только на бумаге, но и в самом деле — великое множество, но *Школы* как таковой, которая в качестве действительно единой пишется с большой буквы, как имя собственное, нет и в помине. Ибо разве лишь человек, вовсе лишившийся трезвого ума и твердой памяти, в состоянии почтить именем *Школы* ту безобразную и гнусного поведения карлицу, демонстрацией которой пред изумленным Петроградом последовательно занимались Луначарский с супругою, Лилина, Гринберг, Зелигзон, а ныне отличаются тов. Ядвига и Кузьмин.

Карлица мала и безобразна, но, одержимая манией величия, она воображает себя гигантессою и красавицею. Ее претензии огромны, ее программы безбрежны до чудовищности. В курс средней школы введены и психология, и филология, и социология, и специальная история искусства, и химия, и... чего только не введено! Как видите, это даже не блеск, а целая иллюминация! Но, должно быть, правда, что «благими намерениями вымощен ад», потому что из колоссальной и блестящей программы этой ровно ничего не получается, кроме педагогического ада, равно мучительного и для учащих, и для учащихся.

Я никогда раньше не был педагогом, но нужда заставила меня взяться за преподавание — конечно, того предмета, который мне ближе всего, — литературы. Мне предложили старший класс в гимназии (буду говорить старыми терминами), которая считается лучшею в Петрограде, да, пожалуй, и действительно такова[1]. В ней подобрался состав опытных и добросовестных педагогов былой либеральной закваски, людей, как еще четыре года тому назад назвали бы, передовых. Чуждые и враждебные отрицательным сторонам старорежимной школы, с которою они в свое время немало боролись и, конечно, страдали за то, — они умели сохранить элементарные хорошие традиции ее дисциплины. Так что машина гимназии, поскольку то от них зависело, шла хорошо — работала безостановочно даже в самые трудные и смутные времена, когда почти все другие гимназии замирали, и достигала некоторых успехов. Саботажа не было, от «политики» решено было принципиально воздерживаться, что и строго исполнялось. Старались делать свое прямое дело — образовывать и воспитывать — и, поскольку Петрокоммуна отпускала продукты, постольку хорошо детей кормили. Я, новичок и случайный гость в этой среде, наблюдал ее с большим любопытством. Принимая предложение, я предупредил, что не берусь за иное преподавание, как по лекционной системе. Мне отвечали, что именно это-то и требуется, потому что я буду иметь дело с девицами 16—18 лет, кончающими курс и готовыми войти в действительную жизнь. Тем лучше!

Я очень сблизился с своим юным классом, состоявшим из 45 учениц и двух учеников, и скажу по чистой правде, что только постоянное общение с этою милою молодежью, ее приветы и теплая ласка помогали мне сохранять последние остатки бодрости в ужасную зиму 1920—1921 годов, когда когтей голодной и холодной нужды мы не чувствовали, покуда лишь спали, а оскорбления и угрозы озверелого быта даже и во сне нам не давали покоя: днем мы их терпели наяву, а ночью ими бредили. Я глубоко признателен своему классу за отраду, которую он мне дарил, но — Боже мой! — сколько затаенной грусти было в этой отраде! Как печально было читать на каждом из этих полудетских, полувзрослых лиц неизменную, незримую печать угрюмого, часто окровавленного прошлого, бездомного и бессодержательного, почти всегда сиротского настоящего и полной неведомости, в какое же будущее теперь они идут, к чему эти дети готовы, какие у

них средства, чтобы за стенами интерната, который они завтра покинут, борьба за существование не раздавила их на первом же шагу!

Программа предписывала мне анализировать в классе Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова и даже Горького. Но по первому же поданному мне классом сочинению я с изумлением и горем убедился, что никто из моей бедной молодежи не научен связно излагать свои мысли; что лишь весьма немногие сколько-нибудь владеют правописанием, а подавляющее большинство не знает его вовсе, и лишь у одной из 47 малограмотность ограничивается произвольным обращением со знаками препинания. И я вынужден был просить педагогический совет назначить в этот высший — выпускной! — класс, кроме меня, еще преподавателя русского языка из класса первой ступени для запоздалой дрессировки наших кончалых девиц и молодых людей хоть до уровня элементарной-то грамотности. Чтобы одни могли, по крайней мере, без особо грубых ошибок написать прошение о приеме в высшее учебное заведение... горькою насмешкою звучал в условиях такой подготовки этот гордый эпитет — «высшее!»... а другие не подвергались бы заслуженным насмешкам в учреждениях своего будущего служения.

Я должен был разбирать красоты Пушкина, Лермонтова, Тютчева, а с классных скамеек сыпались ко мне вопросы:

— Александр Валентинович! Что такое баллада? Что такое метафора? Кто такие романтики? Какая разница между элегией и поэмой? Какой бывает гекзаметр? Он с рифмами или без рифм?

О теории словесности мои девочки не имели ни малейшего представления. Иные лишь отдаленно слыхали, что существует такой предмет — должно быть, неважный, раз он не включен в учебную программу. Историю литературы они слушали с живейшим интересом. Но всеобщую историю класс, при всех усилиях превосходной преподавательницы, успел пройти только до Тридцатилетней войны, а русскую до царствования Алексея Михайловича, — и вот при этаком-то историческом фундаменте извольте объяснять им, что такое «вольтерианец», «мартинист», «байронист», когда они ни о Вольтере, ни о масонах, ни о Байроне и не слыхивали! Приходилось все требования свести на линию самообразования. Я закаялся их «спрашивать по предмету» и только старался рассказать им как можно больше да просил читать хорошую литературу и указывал, что читать.

Ну, да, положим, гуманитарные науки в коммунистической образовательной системе почитаются как бы предметом роскоши и отходят на второй план. Это ее пасынки. Но на положительные обращается особо прилежное внимание. Ведь предполагается, что коммунистическая школа — «трудовая школа», «школа рабочих» — должна создать для «царства труда» новое поколение будущих техников, механиков, горняков и других «спецов» прикладного знания, уже сызмала соответственно развивая их способности хорошею математическою подготовкою. И действительно, на математику в нашей гимназии налегали почти жестоко. В быту учащихся она всецело заняла место латинского и греческого языков у былых гимназистов-классиков: ее столько же зубрили и так же ненавидели. И, однако, химик и физик жаловались на педагогических советах, что ученицы не воспринимают формул, так как очень смутно знакомы с алгеброй и геометрией. А роковой день годового подсчета ученических успехов обнаружил уже совершенно скандальный результат: из 47 кончающих оказалось удовлетворительными по алгебре только 19, остальные обречены были на переэкзаменовки, с долгими отсрочками на 15 дней, на месяц, на три месяца и даже на полгода — до 1 декабря. То есть школа прямо-таки расписывалась в своем бессилии: я, мол, вас, милые питомицы и питомцы, доучить до аттестата оказалась не в состоянии, постарайтесь стяжать его путем самообразования!.. Мы, члены педагогического совета, приписывали это математическое избиение младенцев излишней строгости преподавателя и старались его смягчить. Но он возражал не безосновательно:

— Не могу же я отправить на конкурсный экзамен в Горный институт или Политехникум девицу, которая не в состоянии решить задачу на уравнение с двумя неизвестными!

Преподаватели географии и природоведения то и дело получали от учащихся ответы совершенно анекдотические... Словом, слагалась картина глубокого темного невежества!.. И, однако, это была лучшая, в самом деле лучшая, из «трудовых школ», несчетно рассыпанных по Петрограду в возмещение качества количеством. Когда я, смущенный ничтожеством знания у своих, заглянул к чужим, то обрел там невежество уже вовсе беспросветное, да еще и запятнанное нравственною распущенностью, которой наша гимназия, находясь в крепких руках умной, опытной, высоко порядочной директрисы и искусно подобранных ею воспитательниц, почти не знала.

III

Первое, что мне пришлось сделать как преподавателю, — упразднить задание и спрашивание уроков.

Потому что учащимся не было возможности готовить их. Они не имели для того ни времени, ни сил, ни пособий.

На 47 учащихся класс имел 10 учебников (притом не единообразных, но разношерстных), 15 карандашей, 30 тетрадей.

В классе литературы такая скудость хотя и плачевна, но еще могла не быть безусловно катастрофическою, по свойству предмета, но вообразите себе ее влияние на преподавание положительных наук, в особенности математики.

В первые дни советской школы старым учебникам была объявлена такая же решительная война, как и старым педагогам, и в этой кампании я принимаю сторону большевиков: ведь действительно же старые русские учебники, наследие Министерства народного просвещения, ровно никуда не годились, за самыми малыми исключениями. Наркомпрос мечтал о новых пособиях, освеженных новыми методами, но уж, конечно, и проникнутых коммунистическим духом. Мечтал гипнотизировать школу учебниками, которые служили бы не только знанию, но и на государственную социально-политическую пропаганду. Сидя в тюрьме на Шпалерной, я познакомился в библиотеке с букварем такого содержания, составленным тремя учительницами-коммунистками[1a]. Отдаю справедливость: замечательно ловко сделано.

Из мечтаний этих почти ничего не вышло. У большевиков не нашлось для того ни достаточно авторов, ни материальной возможности. Насколько мне помнится, изготовлением учебников должно было заняться известное петроградское издательство Гржебина (под дирекцией М. Горького). Оно получило колоссальный правительственный заказ на разнообразнейшие пособия нового типа и духа, для составления которых Гржебиным и Горьким была организована колоссальная же редакционная коллегия из писателей-педагогов марксистского толка или, по крайней мере, уклона. Дело было задумано широко и не худо. Но, во-первых, оказалось, как всегда в стремительных советских предприятиях, что хорошие учебники по щучьему веленью не делаются, а требуют времени, опыта и проверки практическою работою. Так что, несмотря на именитость многих авторов, редакционной

коллегии приходилось гораздо больше браковать их труды, чем принимать. А во-вторых и главных, бумажная и типографская разруха поставила Гржебину непреодолимые препятствия к выполнению заказа в пределах России. Гржебин попробовал перенести печатание за границу (кажется, этот опыт продолжается им еще и сейчас), но встретил сильную оппозицию со стороны влиятельных московских большевиков. Им этот проект пришелся не по душе как обход государственной монополии на книгопечатание и «посягательство на права русского рабочего». Словом, несмотря на собственную предпринимательскую энергию и компанию с Горьким, авторитет которого по вопросам образования у большевиков слывет непреложным, Гржебину до сего времени не удается развернуть свою деятельность не только в планетарные, но и в просто широкие размеры[2]. Мне не случалось встречать иных учебников его издания, кроме перепечаток некоторых старых, иногда, может быть, несколько подновленных редакцией его многоголовой коллегии. Между тем он и должен был, и хотел, и мог быть главным поставщиком на школу Наркомпроса, но советские трения связали ему руки, и — развяжут или нет, кто их знает. Само собою разумеется, что монопольной поставки учебников на русскую школу Гржебин осилить бы не мог, да едва ли и мечтал о том, и она должна была иметь для того многие другие питательные источники, начиная с казенного Государственного издательства. Однако все они были столь же бездеятельны, по тем же материальным причинам и, в первую очередь последних, по безбумажью. Эпизод именно гржебинского издательства я привожу только как частный пример — для характеристики общей неудачи с новыми учебными пособиями.

В результате неудачи неволя заставила временно опять взяться за старое. Но к тому времени и оно успело уже расточиться в пространстве, истребленное за официально объявленною его негодностью, на обертку, на макулатуру, даже прямо — в бумажную кашу. Евтушевский, Малинин и Буренин, Краевич, Елпатьевский, Рождественский, Смирнов и др., все эти отжившие отцы-благодетели старой школы, над которыми столько, бывало, мы смеялись, с которыми столько воевали, но от которых из десятилетия в десятилетие и даже из поколения в поколение так и не могли отделаться, торжественно возвратились из короткого изгнания на свои старые насиженные пепелища. И даже с боль-

шим прежнего почетом, потому что превратились в библиографические редкости. Так как содержание старых учебников действительно жестоко одряхлело, то употребление их в новой школе, после октябрьского сдвига, часто порождает недоумения и курьезы удивительные. Не говорю уже о недоразумениях, возникающих из каких-нибудь сохранившихся в тексте истории или географии «пережитков царизма». Грешат даже задачники. В нашей гимназии в одном из младших классов преподавательница задает десятилетней девочке из Евтушевского:

— Я купила десяток яблок по рублю за яблоко, а продала из них 4 по 2 и 6 по 3 рубля, — сколько я получила прибыли?

Девочка молчит.

— На какое действие эта задача?

Девочка молчит.

— Что же ты не отвечаешь? Что тут надо делать?

Девочка строго смотрит — и изрекает:

— Вас надо арестовать!

— Что ты говоришь?! — растерялась ошеломленная учительница. — Меня арестовать? За что?

Советское дитя торжественно изрекает:

— За то, что вы спекулянтка.

Когда учебник делается в классе случайностью и редкостью, за обладание которою учащиеся только что не дерутся, изустное преподавание лишается своего главного справочного и повторительного подспорья. На помощь тогда выступают вперед ведомые учащимися классные записки. Собственно говоря, это, по новым правилам, запретное дело, официально оно полагается антипедагогичным и недопустимым, но обычное право здесь, как водится, торжествует над законом. Да и как бы учащиеся обошлись иначе? Ведь надо же им как-нибудь конспектировать усвоенные знания, — раз нету книги, пусть выручает тетрадь. При огромной и сложной программе советской средней школы ведение записок — каторжный труд. Я наблюдал его в нашей гимназии. Наши интернатки, перегруженные работою, строчили записки денно и нощно, однако никогда не успевали очистить полностью своих долгов по всем предметам. Труд огромный и тяжелый, как плинфоделание египетское[3], но, к сожалению, по результатам часто бесполезный, как водотолчение, а иногда даже и вредный. Загля-

нув в некоторые записки — и совсем неглупых учениц — по своему предмету, я находил в них курьезы, повергавшие меня и в смех, и в горе. Одна, например, весьма добросовестно изложила все, что я говорил в классе об Эдипе и Софокле, только с одною маленькою неточностью: у нее не Софокл был автором «Эдипа», а Эдип сочинил Софокла, и это открытие убежденно повторялось много раз на протяжении нескольких страниц. В предшествующих письмах я достаточно печально характеризовал развитость, степень понимания и грамотность учащихся современной русской средней школы. Отсюда легко представить себе, какою чепухою наполняется большинство записок, при всем добром желании и старании их ведущих. А между тем по невозможности для преподавателя все их просмотреть и выправить однажды записанная чепуха затем принимается как нечто узаконенное, незыблемое — заучивается, запоминается, зубрится bona fide[4], как истинное знание!

Да и преподаватель, рядовой советский «шкраб»[5], непогрешим он разве? Нет, он обретается совершенно в том же положении, как и его ученики. У него тоже давным-давно не стало книг и пособий по его предмету, и неоткуда взять их; он тоже в своем знании не идет вперед, но топчется на месте, а то и пятится назад. Он тоже работает только «на старые дрожжи» — навыком да памятью. А память-то ненадежна: ослаблена голодом, холодом, переутомлением от неправильного домашнего труда, от беготни по нескольким учебным заведениям и студиям, в которых он «халтурит». Я знаю преподавателей, которые в такой беготне ежедневно делают 30 и даже 40 верст пешего хождения. Лично о себе могу привести такой пример. Я жил на Николаевской набережной, у Горного института. Педагогический институт Герцена, где я читал итальянскую литературу и частный курс «истории русской женщины»[6] в общем четыре часа в неделю, находится на Каменноостровском проспекте, 66, почти у самых островов. Пешее путешествие туда брало у меня полтора часа хорошим шагом. Да когда придешь, не сразу же взойдешь на кафедру и заговоришь, надо же хоть отдышаться-то после столь солидной прогулки и привести в порядок мысли, рассеянные и притупленные усталостью. Таким образом, двухчасовая лекция поглощала у меня минимально 5,5 часов, определяя туда и обратно 15-верстную дистанцию. Гимназия, в которой я

преподавал русскую литературу, отстояла от моей квартиры в 40 минутах ходьбы, т.е. на дистанции 2,5 верст. Когда лекции и уроки совпадали, бывало очень тяжело, особенно зимою, а если, кроме того, надо было по какой-либо обязанности идти еще в центр города — во «Всемирную литературу» (Моховая, 36), Дом литераторов (Бассейная, 11), Дом искусств (Мойка, 58), Дом ученых (Миллионная, 26) и т.д., делалось уже несносно. Я человек возрастный, но очень сильный, ухитрился за все четыре года пленения у большевиков ни разу не болеть. Однако после подобных суворовских походов, обращенных в ежедневную практику, к вечеру терял и ноги, и способность к какой-либо сосредоточенной и ответственной умственной работе. Что же делалось с людьми слабыми, изнуренными, больными?.. Один из особенно усердно «халтуривших» педагогов (а как было ему не халтурить при семье сам-семеро душ?), когда-то слывший чуть ли не самым блестящим преподавателем математики в Петрограде, теперь признавался мне:

— Часто, объясняя в классе, я ловлю себя на тревожной мысли: то ли я говорю? Не несу ли я дикого вздора? Не замечают ли ученики, что у меня голова — совсем пустая и язык лишь механически повторяет давно заученные, привычные слова?

Со мною лично приключилась такая история. В 1918 году граница еще не была закрыта, осенью мне с семьей представилась возможность уехать в Швецию. На скорую руку я стал учиться шведскому языку и преуспел в нем уже довольно значительно, приобрел достаточный запас слов. Но уехать не удалось, — денег недостало. Границы закрылись. Обреченный на бессрочное сидение в Совдепии, я забросил свои шведские упражнения. Зимою 1920 года опять как будто улыбнулась надежда ухода и я снова взялся за шведский учебник. Но... к ужасу своему, убедился, что я забыл все, что еще так недавно выучил, — да как забыл! До последнего слова! До незнания сказать, как «хлеб», как «вода». Вместо 600—800 слов, которыми я хорошо владел и свободно управлял, — ничего! Гладкая доска! Чистая бумага!.. Страшно смущенный этою непостижимою утратою, потому что, вообще-то, память у меня превосходная, я рассказал свой случай знакомому профессору-психиатру. Он, к моему удивлению, нисколько не удивился, а объяснил:

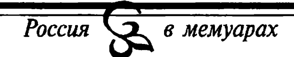
— Это теперь сплошь и рядом. Ко мне и другим моим коллегам то и дело обращаются разные лица с жалобами на подобные потери це-

лых полос памяти. Результат истощения. Вы еще счастливы, вас ударило по отрасли, без которой вы легко можете обойтись, а ведь теперь часто страдают этакими временными затемнениями профессионалы в области своей рабочей специальности... вот где драма-то!.. Могу утешить вас лишь тем, что это ненадолго: начнете питаться как следует, есть мясо, — полоса возродится и знание возвратится...

Однако вот уже месяц я в Финляндии, питаюсь по-человечески, ем мясо, сбыл с себя петроградский скелетоподобный вид, однако полоса что-то не возрождается, потому что, живя среди населения, говорящего по-шведски больше, чем по-фински, я еще ровно ничего не понимаю... понимаю меньше, чем в 1916 году в Стокгольме, когда я еще и не думал учиться шведскому языку.

Так вот: может ли учащийся положиться на преподавателя, доведенного до крайностей истощения? Я не знаю учебного заведения, в педагогическом составе которого не оказывалось бы лиц, говоря вежливо, нервно потрясенных, а говоря попросту, душевнобольных. У нас в гимназии из-за этого пришлось прекратить среди года курс социологии. В консерватории, где учились мои дети, пострадал по той же причине класс русского языка. Когда к моим сыновьям сходились их друзья и подруги из других учебных заведений, то, как всегда и в старину было, любимый разговор школьников — о странностях и чудачествах преподавателей. Но, бывало, это слушать было смешно, а теперь оно — страшно. Потому что, как прислушаешься да обдумаешь, не те они странности и чудачества, что прежде. Тогда были курьезы характера, смешные привычки и т.п. А теперь из-за комических по видимости гримас то и дело выглядывает трагическое лицо приближающегося безумия. И глядишь: погримасничал «смешной преподаватель» неделю-другую, а там и поехал... хорошо если только на долгое пребывание в «доме отдыха», либо — о, редкое счастье из счастий! — в блаженный санаторий, вроде знаменитой Осиновой Рощи в Левашове, где привилегированно лечат свои утомленные нервы и откармливаются, словно индюки в мешке, именитые петроградские большевики. А то чаще — прямо в желтый дом, к профессору Бехтереву, который, принимая огромное число пациентов — даром что у большевиков он persona grata[7], — только за голову хватается да жалуется добрым знакомым:

— Я от моих больных, кажется, скоро сам с ума сойду!



Г. УЭЛЛС В ПЕТРОГРАДЕ

Я не видал еще книги Уэллса о пребывании его в советской России[1], а потому не имею права и судить о ней. Печатные официозы большевиков делали из нее весьма торжествующие цитаты, из которых явствовало, будто Уэллс расписал «социалистическое отечество» самыми радужными красками как некий грядущий рай. Но цитаты большевиков — источник ненадежный: В. Быстрянский с компанией, по мере надобности, сумеют не то что Уэллса, но даже «Отче наш» обратить в свою пользу и будут развязно доказывать, будто «хлеб наш насущный даждь нам днесь» предписывает Европе обязательно кормить правительство РСФСР с его красною армией исключительно чрез посредство советских учреждений, а «остави нам долги наши»[2] обозначает «не надейтесь на уплату когда-либо русских долгов». В беспорядочно достигавших до Петрограда газетных фельетонах Уэллса[3] настроение автора было неуловимо: то он как будто кольнет большевиков и скептически подметит в их раю нечто из местечка совсем насупротив, то вдруг расшаркается пред ними и «восхвалит царствие чумы»[3а]. Видели мы кое-какие перепечатки в проскользавших иной раз сквозь большевицкие преграды французских и итальянских газетах, сделанные без особого интереса к вопросу, в тонах равнодушного нейтралитета. В них конечный вывод из наблюдений Уэллса читатель получал приблизительно в том смысле, что, мол, по чистой правде говоря, коммунистический рай — большое свинство и для порядочных наций не рекомендуется, но для России как раз это самое свинство и требуется, и лучше не надо. Наконец, проникали к нам открытые письма к Уэллсу, помещенные в разных органах русской эмигрантской печати; в том числе полные негодования, резкие выступления И.А. Бунина и Д.С. Мережковского[4]. По ним можно было судить о г. Уэллсе весьма нелестно. Более чем нехорошо говорит о нем и русская эмиграция разных группировок, встреченная мною в Финляндии[5]. И уж особенно нехорошо говорят англичане — русские англичане, прожившие в России годы и годы на какой-либо практической работе, успевшие ее узнать и полюбить, глубоко признательные за достаток, который они в ней приобрели, и очень больно принимающие к сердцу ее нынешнее несчастие и двойственную политическую игру с русским народом, ведо-

мую их собственным отечеством. Словом, не читав книги, я не знаю, вполне ли угодил г. Уэллс большевикам, но, во всяком случае, ясно, что, кроме большевиков, он никому не угодил.

Книги я не знаю, но, по некоторым цитатам в заграничной печати и даже в органах большевиков, я знаю, что г. Уэллс упоминает в ней о литературном банкете, данном в его честь в петроградском Доме искусств, и (по-видимому, в тоне некоторого недовольства) о речи, мною произнесенной на этом банкете[6]. Этот эпизод, в свое время довольно громко нашумевший в Петрограде, пожалуй, стоит воскресить в памяти и рассказать.

Приехав в Петроград, Уэллс, кажется, предполагал остановиться в нейтральном помещении Дома искусств — по крайней мере, туда он прежде всего объявился. Но, не найдя там никого из заведующих, отправился к М. Горькому и уже так у него и остался. Это было плохое предзнаменование для объективности его наблюдений. С какими бы намерениями и по чьему бы приглашению он ни приехал, но, во всяком случае, он, сам не знающий языка страны и сопровождаемый сыном[7], который по-русски тоже, кроме «комнатных» слов, ничего не смыслит, сразу попал в очарованный круг ближайших друзей, сотрудников и сочувственников господствующей правительственной партии. Таким образом, он отрезал себя от всей оппозиции, т.е. подавляюще большей части петроградской интеллигенции, непроницаемым кольцом. Это произвело в Петрограде очень нехорошее впечатление, так как Горький, «друг Ленина», уже тогда начал плотно окружаться тою двусмысленною репутацией и непопулярностью полуправительственного человека, которые сделались его достоянием теперь. Было ясно, что Уэллс увидит в Петрограде только то, что ему покажут Горький и его кружок. А ведь в кружке этом вхожие, если не свои люди, и Красин, и Зарин. Вспоминали, что на встрече Нового года у Горького был и танцевал даже «сам» Зиновьев. Не знаю, встречался ли Уэллс у Горького с крупными тузами правительствующего большевизма, но знаю, что людей иного лагеря он мог видеть и видел очень мало. А те, которых он видел, вынесли впечатление, для него невыгодное: не то это был человек, уже обработанный, не то человек, желающий быть обработанным. Знаю, что некоторые, относившиеся к приезду Уэллса очень энтузиастически до его появления в Петрограде, после свидания с ним

у Горького недоверчиво насторожились и предпочли отойти в сторонку в выжидательном молчании. Из таких я мог бы назвать по имени, если бы имел на то разрешение и не боялся повредить человеку, одного молодого, в гору идущего беллетриста, сейчас играющего заметную роль в литературном Петрограде, человека очень умного и искусно нейтрального. Он был необходим группе Горького по своему блестящему знанию английского языка — и даже специально Уэллсова языка, так как он был редактором последнего русского перевода романов Уэллса[8]. Однако что-то ему в петроградской обстановке своего любимого автора не понравилось и от участия в спектаклях с знатным иностранным гастролером он, побывав на нескольких репетициях, уклонился.

В качестве чичероне к Уэллсу были приставлены М.И. Бенкендорф, личная секретарша М. Горького, и известный критик и журналист Корней Ив[анович] Чуковский, наш новейший петроградский Фигаро по литературно-дельцовской суетне и обычный обер-церемониймейстер ею порождаемых торжеств и празднеств. В то время он весьма сблизился с Горьким по «Всемирной литературе» и издательству З.И. Гржебина, и... так как в этом кругу любят планетарные сравнения, то употреблю и я таковое: вращался вокруг Горького, как Луна вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. К руководительству Уэллса названными лицами общество петроградское отнеслось опять-таки очень недоверчиво и недоброжелательно. О г-же Бенкендорф, несмотря на то, что она несколько раз была арестована, ходили слухи как о новой прозелитке победоносного большевизма. О Чуковском говорили как о человеке, слишком зависимом от Горького по множеству совместных дел, предприятий и отношений. Я не знаю, что именно в Петрограде показывала Уэллсу г-жа Бенкендорф, но, кажется, дальше катанья по разрушенным улицам дело не шло, да усердно посещались благотворительные учреждения, возникшие по инициативе Горького или состоящие под его протекторатом: пресловутый Дом ученых, Дом искусств, «Всемирная литература» и т.п. Во «Всем[ирную] литературу» Уэллса привезли почему-то в такое время, когда там заведомо никого из литераторов не бывает, и он очутился, неизвестно зачем, пред двумя-тремя служащими барышнями, из которых ни одна по-английски не понимает. Словом, Уэллс ездил и видел красивые комнаты — здесь реквизированного дворца в. кн. Владимира Александровича (Дом уче-

ных), здесь — реквизированного дома Елисеевых (Дом искусств), там — генеральши Хариной («Всемирная литература»), что и должно было служить для него исходною точкою к познанию забот нового строя в нуждах науки, искусства и литературы. Чуковский, считающийся (и вполне справедливо) специалистом и знатоком по детскому быту, свез Уэллса в образцовую школу Тенишевского училища[9], где показал знатному иностранцу дюжины две-три русских деток, которые сердечно благодарили доброго дядю Уэллса за его прелестные сочинения и вообще вели себя как дети благовоспитанные, сытые, здоровые, игривые, вполне подтверждающие искренность пресловутого советского девиза — «все для детей». Эту комедию Уэллс, кажется, понял и — не принял[10]. По крайней мере, впоследствии он, неблагодарный, написал о ней что-то, должно быть, очень нелестное, против чего г. Чуковский в петроградском «Вестнике литературы» вынужден был протестовать только что не слезно[11]. Но, как ни груба была инсценировка, а все-таки свое дело сделала. Частный случай Уэллс разобрал и высмеял, но в общем воспел-таки хвалы советскому чадолюбию и школе. Что и требовалось доказать, так как большевикам только того и надо было, чтобы язва их школы, самая вонючая из их язв, преподнесена была западноевропейскому обществу в виде благоуханной розы. Я не думаю, чтобы г. Чуковский действовал в этом случае со злою волею сознательного лицемера, — нет, просто увлекся человек усердием гида-церемониймейстера — показать товар лицом, что у нас, мол, все — как в самых лучших домах, — и, что называется, «переборщил».

Признаюсь, молва о всем этом жонглерстве очень волновала меня. Я большой поклонник утопических романов Уэллса и ждал от его приезда очень больших результатов для России — в смысле правдивого осведомления о ней западноевропейского общества. Он не первый из «знатных иностранцев» приехал в советскую Россию с осведомительными целями, но его литературный авторитет, его всемирная известность, его публицистическое уменье ставили его на две головы выше предшественников, не исключая Ф. Нансена. Если этакая огромная сила будет одета большевиками в розовые очки, эта опасность сулила неизмеримый вред русскому обществу, которое в то время еще полно было наивною верою, будто мы страдаем так много только потому, что Европа плохо осведомлена о наших страданиях и, не зная их, не доверяя им, не спешит нас выручать.

И вот я решился написать Уэллсу письмо — обширное изложение фактов текущей петроградской жизни, по преимуществу в среде интеллигенции. Написал я его по-русски и, не надеясь на собственное свое весьма слабое знание английского языка, хотел дать его для перевода одному из университетских профессоров-филологов, который, подобно мне, возмущался воздвигнутой вокруг Уэллса стеной и опасался фальсификации им (невольной, конечно, как предполагали тогда мы) русских данных в глазах европейского общественного мнения. С этим намерением я принес письмо на знаменитый обед, который в честь Уэллса дал Дом искусств, с приглашением почти что всех, еще уцелевших тогда, сил литературного Петрограда.

Я не собирался говорить на банкете — вернее, думал ограничиться двумя-тремя приветственными словами, насколько хватит моего английского языка. Но к приветствиям у меня пропала всякая охота после первой же очередной речи председателя, М. Горького. Он утопил Уэллса, как муху в варенье, в комплиментах и хвалах за то, что он, этакий великий, приехал собственными глазами видеть, как живем мы после революции. Затем продолжали потопление мухи в варенье С.Ф. Ольденбург, К.И. Чуковский (конечно, опять о деточках и добром дяде Уэллсе) и др. Становилось приторно, тошно, скучно, словно на старинных казенных «юбилеях 25-летней безупречной деятельности». Уэллс в ответной речи весьма одобрил русских за то, что они подарили миру такую образцовую революцию, но предупреждал, чтобы русские революционеры-победители не очень-то рассчитывали, будто Европа последует их примеру, а в особенности Англия.

— У нас, — говорил он, — вероятно, тоже будет вскоре революция, но совсем не такая; у вас по-вашему, а у нас по-нашему, вы понимаете коммунизм этак, а мы так, — каждому свое. Сперва намеками, потом прямыми словами заявил, что Англия много виновата пред Россией, которую она втянула в войну, не одобрил Антанту и пр. Он ворчал все это себе под нос, по-английски, а М.И. Бенкендорф переводила как успевала, из пятого в десятое. Было бы смешно, если бы не было скучно. Потом опять полились сиропы славословий в честь знаменитого гостя. Художник-большевик Пунин прокричал благим матом что-то кубически дерзновенное — вроде многолетия новому коммунистическому искусству, которое, дескать, всем вам ужо покажет кузькину мать... Ничего, проглотили и это удовольствие!.. Публи-

ка была настроена чрезвычайно смирно и добродушно. Еще бы! в кои-то веки она сидела, как в былые годы, за хорошо сервированным столом и ела настоящий обед, с мясным супом, жарким, сладким, с конфектами к чаю. Петрокоммуна расшиблась для знатного иностранца: одного мяса прислала 9 пудов, так что затем потребители столовой Дома искусств чуть ли не целую неделю имели основание благословлять приезд Уэллса!.. За обедом всего не съели, а остатки, понятно, не выбрасывать же собакам — в голодном-то Петрограде! — пусть лучше литераторы с художниками «сожрут». Правильно и невозразимо. Сытое общество вело себя благонравнее даже деточек, которыми умилял нас красноречивый К.И. Чуковский. А.М. Пешкову оставалось только смотреть, слушать и радоваться на розовый вертоград доброчиния и благодушия, который, неугомонно говорив два часа подряд, за все два часа не сказал ни одного путного, искреннего, задушевного слова о своих насущных нуждах, заботах, делах и интересах...[12]

Но на счастье прочно
Всяк надежду кинь:
К розам, как нарочно,
Привилась полынь!..[13]

Полынный элемент внес молодой ученый, когда-то ученик, друг и секретарь покойного М.М. Ковалевского. В очень сдержанном тоне, спокойно, без фраз и декламации он указал почтенному собранию, что любить и хвалить знаменитого гостя дело не худое, однако не затем же Уэллс приехал к нам, чтобы слушать наши комплименты, и не затем же мы собрались сегодня, чтобы состязаться в оных. Нам представляется редкий случай раскрыть пред европейским свидетелем отрицательные стороны нашей ужасной жизни, обменяться в его присутствии мыслями и мнениями об ее улучшении; неужели мы пренебрежем такою исключительною возможностью?.. Я не ручаюсь за точность выражений, но смысл речи был таков и, повторяю, она была парламентски умеренна и, будучи полна внутренней горечи, освещаясь бесспорностью угрюмых фактических истин, не заключала в себе решительно ничего вызывающего, «лезущего на рожон»...[14]

Тем нелепее и некрасивее вышло ее ближайшее, непосредственное последствие.

Едва молодой ученый окончил свою речь, при громких аплодисментах собрания, наконец пробужденного от спячки настояще сказанным словом, как Горький, с недовольным, кислым лицом, встал и отдал во всеуслышание нижеследующую команду по фронту:

— Господа, имеется запись еще нескольких ораторов. Так я их прошу — обойтись в своих речах без ламентаций. Для нашего гостя они будут неинтересны, да и вообще ламентации — это бесполезно и смешно.

Я знаю Горького семнадцать лет[15]. Знаю его способность, наскучив искусственною выдержкою, срываться в естественную бестактность и сказать неожиданную грубость, сделать внезапный некрасивый жест... Но теперь я едва ушам своим поверил. Слышать Горького полицейским, деспотическим цензором от большевизма, зажимающим рот свободному дельному слову смелого оратора, — на этакий сюрприз от него я никогда не надеялся...

— Почему?! — громким невольным вопросом бросил я ему через стол.

Он не ответил, но ко мне подбежал Чуковский и, наклонившись сзади, быстро заговорил:

— Потому что могут закрыть Дом искусств...

Я возразил:

— Если существует такая опасность, то не следовало в Доме искусств устраивать политического банкета. А раз устроен политический банкет, то уже поздно считаться с такою опасностью. Уэллс произнес чисто политическую речь. Почему же лишаются того же права отвечающие ему ораторы?

Редко в жизни моей я был более взволнован, расстроен, возмущен. Кажется, никакое личное оскорбление не потрясло бы меня с такою обидною, мучительною силою, как эта выходка Горького. Во мне все дрожало. Словно вдруг любимую женщину увидал в блуде и позоре. И я почувствовал всем существом своим, что теперь, после этого генеральского окрика на общество, на товарищей по перу, по свободному (!) слову, я не могу молчать, я не имею права молчать, и что теперь должен говорить уже не для Уэллса, а для присутствующих русских. И то письмо, которое я думал передать Уэллсу как личную информацию, — вместо того, я вынул его из кармана и прочел громко...

Впоследствии оно много гуляло по Петрограду в списках, а теперь, после моего бегства, вероятно, уже напечатано или печатается в Эстонии. Содержание его в общих чертах было таково:

— Уэллс, соединяющий в себе социолога и художника, прекрасно сделал, что приехал в Россию: он один из немногих европейских писателей, способных разобраться в хаосе наших пореволюционных бедствий. Но, чтобы разбираться, надо видеть. А увидит ли он? Я желаю ему избежать общей участи «знатных иностранцев», которые, приезжая в Россию, как при старом режиме попадали, так и при новом попадают обязательно в руки правительственной партии или ее агентов и одеваются ею в розовые очки. Желаю, но плохо надеюсь на это. Наша жизнь сейчас ужасна не только по нужде — она отвратительно переполнена страхом и ложью. Все, что вам, г. Уэллс, показывают и выдают за положительные явления нашего нового быта, все это либо самообман, либо сознательная ложь. Ложь — и этот банкет, которым мы вас чествуем. Вы видите нас в прекрасно освещенном, богато убранном зале, сидящими за хорошо сервированным столом, вкушающими недурной обед, довольно прилично одетыми. Но если бы вам пришла экстравагантная идея попросить нас снять с себя верхнее платье, едва ли хоть один из нас был бы в состоянии исполнить ваше желание, потому что на нас, под приличною внешнею оболочкою, скрываются вместо белья дырявые немытые лохмотья. (NB. Почему-то именно это место моей речи, повторенное Уэллсом в одной из своих статей, усиленно перепечатывалось затем заграничною прессою.) И когда вам говорят тут высокие слова о ваших творениях, об искусстве, о творчестве и пр., поверьте — это условное красноречие языка. А головы, в это самое время, заняты мучительным соображением, что вот я-то сейчас ем, а есть ли у меня хоть какой-нибудь шанс промыслить на завтра роковую обязательную тысячу рублей, чтобы накормить хлебом голодную плачущую семью. Какая уж там литература, искусство, наука, когда за полтора года вымерло от голода, холода и непосильного труда 150 человек — литераторов, поэтов, ученых! Когда я собственными глазами видел на рынке, как старая, почтенная, заслуженная писательница стащила с прилавка кусок сала, — и она видела, что я вижу, и все-таки украла, потому что дома ждали ее полуживые от голода внуки. Такая же ложь и самообман вся мнимо трудовая помощь, которою якобы спасается от гибели наша интеллигенция. По существу, это лишь замаскированные богадельни, куда новый строй, с презрительной снисходительностью,

сталкивает класс, ему ненужный, в той части его, которую он почитает безопасною. О какой культуре можно говорить, когда кругом все поглощается рецидивом варварства, дичает, превращается в пустыни, вымирает? Чуковский показывал вам деточек, которые в восторге от вашего «Острова доктора Моро», где зверей переделывали в людей, — я допускаю, что можно собрать несколько десятков таких умных деточек. Но я берусь показать вам десятки тысяч деточек, которых самих надо было бы отправить для переделки на остров доктора Моро, потому что на них уже образ звериный, а не человеческий...

И так далее[16]. Меня, что называется, прорвало и помчало.

Я кончил среди мертвого молчания и несколько секунд считал себя безнадежно провалившимся. Аплодисменты раздались, лишь когда публика опомнилась от ошеломления моей дерзостью... Стали ко мне подходить с поздравлениями, рукопожатиями и — с предостережениями...

Горький сидел с сердитым лицом и белый, как скатерть[17].

Я еще в начале моей речи заметил, что ее перестали переводить Уэллсу. Но и Уэллс заметил, что происходит за его обедом что-то неожиданное и не по расписанию. Встревожился, спросил одного из близ сидящих, хорошо владеющего английским языком, в чем дело. Тот двусмысленно ответил, что Амфитеатров произносит «не для всех приятную» речь... Тот же Чуковский подбежал ко мне с поручением от Уэллса — получить от меня список речи.

— Но она, во-первых, не кончена, в рукописи нет многого из того, что я говорил, а во-вторых, — здесь только русский текст.

— Это ничего, мы переведем.

Я отдал рукопись, но вслед за тем ко мне подошел тот самый молодой тактичный беллетрист, о котором я упоминал выше.

— Кому вы передали свою речь?

Я назвал.

— Зачем?

Я объяснил. Тогда он, глядя в сторону, выразительно произнес:

— Гм... жаль... Бог знает, как они ее переведут... Я, знаете, сейчас сидел, вслушивался, как вообще переводились речи... ужасно неточно... недомолвочно...

— Вы хотите сказать...

— Только то, что англичане любят, чтобы на их языке выражались правильно, — поспешно заключил он и отошел с любезно дипломатической улыбкой.

Я понял и рукопись отобрал обратно. А через день она в хорошем переводе и в двух экземплярах была мною вручена для передачи Уэллсу — одна копия С.Ф. Ольденбургу, к которому я лично занес ее на квартиру в Академию наук, другая — М.И. Бенкендорф, во «Всемирной литературе». Полагаю, что отправленные такими путями рукописи не могли не дойти по назначению[18].

А на банкете, заключая его председательским словом, А.М. Горький выкинул еще новую штучку.

— Мы тут много наговорили, — сказал он, — и нужного, и ненужного. Наш гость разберется в этой куче, и, быть может, найдет в ней жемчужное зерно. (NB. Недурно и для ораторов банкета, да и для Уэллса, произведенного председателем в дурака-петуха из крыловской басни!) А еще я замечу вот что. Из речей некоторых ораторов выяснилось, что они недовольны революцией. Между тем эти ораторы сами недавно делали революцию... Так не делали бы!

И, быстро повернувшись, пошел, как ни в чем не бывало, прочь от стола, прежде чем ему спохватились ответить. С мест, занятых свитою, послышалось подобострастное хихиканье.

Впрочем, последнее слово осталось все-таки не за ним. Его произнес — тихо, но внятно среди всеобщего молчания, на весь зал — сидевший места через два или три от меня пожилой литератор-критик, смирный человек, известный кротостью своего нрава, в жизнь свою мухи, вероятно, не обидевший и, бывало, приводивший все редакции в отчаяние безмерною снисходительностью своих благожелательных рецензий...

Но это последнее слово, неожиданно сорвавшееся с уст столь вежливых и ласковых, прозвучало уже настолько выразительно, что повторить его печатно я не нахожу удобным.

Н.С. ГУМИЛЕВ

Деятели советской революции любят сравнивать свою сокрушительную работу с Великой французской революцией, хотя, конечно, не забывают прибавить при этом: мы, нынешние, много превосходнее! Надо отдать им справедливость: отчасти они правы. Если в их активе нет вдохно-

венных и могучих Мирабо, Дантонов, Демуленов, то злобными Маратиками, бесстыжими Гебериками и холодно жестокими фанатиками Робеспьерова толка — хоть пруд пруди. По числу жертв русская революция-пародия тоже давно превзошла свою грозную предшественницу. Она не воздвигала гильотины, но ее расстрелы имели своих Лавуазье и Кондорсе, а уж сколько таковых уморено голодом и холодом — это и подсчету не поддается. Для совершенства пародии коммунистам недоставало только Андре Шенье. Трагическая смерть Александра Блока лишь отчасти заполнила этот серьезный пробел, потому что, хотя наш дорогой поэт умер от болезни сердца, развившейся в результате голодной цинги, но все же не в тюрьме и не «у стенки». Прожил бы подольше — дождался бы. Потому что его короткое увлечение вихрем коммунистической революции в 1917 году и в начале 1918-го, неосторожными плодами которого явились пресловутые «Двенадцать» и «Катилина», быстро прошло и мало-помалу переродилось в ужас и отвращение. Одною из причин тяжкого психологического расстройства, в котором провел он последние недели страдальческой жизни, было именно раскаяние в «Двенадцати»: он беспрестанно говорил о том и в светлые промежутки, и в бреду. Перед смертью он потребовал, чтобы были уничтожены все его рукописи. Супруге его, Любови Дмитриевне, удалось спасти только наброски первых его юношеских начинаний. Он завещал не принимать никакой услуги от окровавленного мучителя-Смольного, и воля его была исполнена. Сколько лжепролетарское государство ни старалось примазаться к священной памяти поэта — не удалось ему. Блока похоронили за свой счет литературные организации, они же водружают памятную доску на доме, где он умер, памятник на могиле ставит семья. Все правительственные предложения по этим услугам были вежливо, но решительно отклонены[1].

Теперь, к глубокому сожалению, пустое место кровавой пародии заполнено. Русская революция получила своего Андре Шенье. Русская поэзия опять облеклась в траур. Расстрелян Николай Степанович Гумилев.

Когда его, месяц тому назад, арестовали, никто в петроградских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает. Потому что не было в них писателя, более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец «искусства для искусства». Гумилев и почитал себя, и был поэтом не только по призванию, но и, так

сказать, по званию. Когда его спрашивали незнакомые люди, кто он таков, он отвечал — «я поэт», — с такою же простотою и уверенностью обычности, как иной обыватель скажет — «я потомственный почетный гражданин», «я присяжный поверенный», «я офицер» и т.п. Да он даже и в списках смертников «Правды» обозначен как «Гумилев, поэт»[2]. Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем ее существом; поэтическая мысль и чувство переплетались в нем, как в древнегерманском мейстерзингере, с стихотворским ремеслом, — и недаром же одно из основанных им поэтических товариществ носило имя-девиз «Цех поэтов»[3]. Он был именно цеховой поэт, то есть поэт, и только поэт, сознательно и умышленно ограничивший себя рамками стихотворного ритма и рифмы. Он даже не любил, чтобы его называли «писателем», «литератором», резко отделяя «поэта» от этих определений в особый, магически очерченный, круг, возвышенный над миром наподобие как бы некоего амвона. Еще не так давно мы — я и он, — всегда очень дружелюбные между собою, довольно резко поспорили об этом разделении в комитете Дома литераторов[4], членами которого мы оба были, по поводу непременного желания Гумилева ввести в экспертную комиссию этого учреждения специального делегата от Союза поэтов[5], что мне казалось излишним. А однажды — на мой вопрос, читал ли он, не помню уж какой, роман, — Николай Степанович совершенно серьезно возразил, что он никогда не читает беллетристики[6], потому что если идея истинно художественна, то она может и должна быть выражена только стихом... Он был всегда серьезен, очень серьезен, жречески важный стихотворец-гиерофант. Он писал свои стихи, как будто возносил на алтарь дымящуюся благоуханием жертву богам, и вот уж кто истинно то мог и имел право сказать о себе:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...[7]

Всем своим внутренним обликом (в наружности между ними не было решительно ничего общего) Гумилев живо напоминал мне первого поэта, которого я, еще ребенком, встретил на жизненном пути своем: безулыбочного священнодейца Ап[оллона] Ник[олаевича] Май-

кова... Другие мотивы и формы, но то же мастерство, та же строгая размеренность вдохновения, та же рассудочность средств и, при совершенном изяществе, некоторый творческий холод... Как Майков, так и Гумилев принадлежали к типу благородных, аристократических поэтов, неохотно спускавшихся с неба на землю, упорно стоявших за свою привилегию говорить глаголом богов. Пушкин рассказывает о ком-то из своих сверстников, что тот гордо хвалился: «В стихах моих может найтись бессмыслица, но проза — никогда!»[8] Я думаю, что Гумилев охотно подписался бы под этою характеристикою.

Арест человека, столь исключительно замкнутого в своем искусстве, возбудил в недоумевающем обществе самые разнообразные толки. Тогда шла перерегистрация военных «спецов» — думали, что Гумилев попал в беду как бывший офицер, который скрывал свое звание. Другие полагали, что он арестован как председатель Клуба поэтов за несоблюдение каких-то формальностей при открытии этого довольно странного учреждения, принявшего к тому же несколько слишком резвый характер[9]. Принадлежности поэта к какому-нибудь заговору никто не воображал. Не верю я в нее и теперь, когда он расстрелян, как будто бы участник заговора. И не верю не только потому, что быть политическим заговорщиком было не в натуре Гумилева, но и потому, что скажу откровенно: если бы Гумилев был в заговоре, я знал бы об этом. Сдержанный и даже скрытный вообще, он был очень откровенен со мною именно в политических разговорах по душам, которые мы часто вели, шагая вдвоем по Моховой, Симеоновской, Караванной, Невскому, сокрушаясь стыдом и горем, что умирающему Петрограду недостает сил, энергии, героизма, чтобы разрушить постылый «существующий строй»...

Мы не были политическими единомышленниками. Напротив. Мой демократический республиканизм был ему не по душе. Как-то раз я, шутя, напомнил ему, что Платон в своей идеальной утопии государства советовал изгнать поэтов из республики[10]. «Да поэты и сами не пошли бы к нему в республику», — гордо возразил Гумилев. Он был монархист — и крепкий. Не крикливый, но и нисколько не скрывающийся. В последней книжке своих стихов, вышедшей уже под советским страхом, он не усумнился напечатать маленькую поэму о том, как он, путешествуя в Африке, посетил пророка-полубога «Махди» и —

Я ему подарил пистолет
И портрет моего Государя...[11]

На этом, должно быть, и споткнулся он, уже будучи под арестом. Что арестовали его не как заговорщика, тем более опасного, важного, достойного расстрела, есть прямое доказательство. Депутация профессионального Союза писателей недели через две после ареста отправилась хлопотать за Гумилева. Председатель Чрезвычайки не только не мог ответить, за что взят Гумилев, но даже оказался не знающим, кто он такой...

— Да чем он, собственно, занимается ваш Гумилевич?

— Не Гумилевич, а Гумилев...

— Ну?

— Он поэт...

— Ага? значит, писатель... Не слыхал... Зайдите через недельку, мы наведем справки...

— Да за что же он арестован-то?

Подумал и... объяснил:

— Видите ли, так как теперь, за свободою торговли, причина спекуляции исключается, то, вероятно, господин Гумилевич взят за какое-нибудь должностное преступление...

Депутации оставалось лишь дико уставиться на глубокомысленного чекиста изумленными глазами: Гумилев нигде не служил, — какое же за ним могло быть «должностное преступление»? Аполлону, что ли, дерзостей наговорил на Парнасе?[12]

Над удивительным свиданием и разговором этим мы много смеялись в Петрограде, никак не предчувствуя, что смех будет прерван пулями и кровью...

По всей вероятности, Гумилеву на допросе, как водится у следователей ЧК, был поставлен названный вопрос о политических убеждениях. Отвильнуть от подобного вопроса каким-нибудь спасительным обиняком не составляет большой хитрости, но Гумилев был слишком прямолинеен для фехтования обиняками. В обществе товарищей республиканцев, демократов и социалистов он, без страха за свою репутацию, заявлял себя монархистом (хотя очень не любил Николая II и все последнее поколение павшей династии). В обществе товарищей атеистов и вольнодумцев, не смущаясь насмешливыми улыбками, кре-

стился на церкви и носил на груди большой крест-тельник. Если же на допросе следователь сумел задеть его самолюбие, оскорбить его тоном или грубым выражением, на что эти господа великие мастера, то можно быть уверенным, что Николай Степанович тотчас же ответил ему по заслуге — с тою мнимо холодною, уничтожающею надменностью, которая всегда проявлялась в нем при враждебных столкновениях, родня его, как некий анахронизм, с дуэлистами-бретерами «доброго старого времени». И как офицер, и как путешественник, он был человек большой храбрости и присутствия духа, закаленных и в ужасах великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских пустынь. Ну, а в чрезвычайках строптивцам подобного закала не спускают. Ставили там людей к стенке и за непочтительную усмешку при имени Ленина или в ответ на провокаторский гимн следователя во славу Третьего Интернационала...

МОЕ УЧАСТИЕ В «ЗАГОВОРЕ» С ГУМИЛЕВЫМ

Когда Н.С. Гумилева арестовали, никто в петербургских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает. Потому что, казалось, не было в них писателя, более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец «искусства для искусства».

Вот что я, только что бежавший из Петербурга, в финляндском карантине писал по убиении Гумилева в гельсингфорсскую газету «Новая русская жизнь»:

«Арест человека <...> чтобы разрушить постылый “существующий строй”...»[1] (см. в моих «Горестных заметах». Берлин, 1922, «Грани»).

Тут нужна оговорка. Условия осени 1921 года требовали, чтобы я «не верил» в возможность причастности Гумилева к какому-либо заговору. В действительности же я не верил и продолжаю не верить только в причастность его к тому заговору, за мнимую связь с которым он расстрелян, — к так называемому «Таганцевскому». Здесь он был ни при чем, — я имею к этому утверждению вполне определенные основания, — как ни при чем было и большинство из 61 расстрелянных по этому плачевному делу, если только вообще был в нем кто-либо при чем, начиная с самого Таганцева. Вообще же, Гумилев не

только был способен «быть заговорщиком», но и хотел им быть — страстно искал заговора, к которому стоило бы примкнуть, и с твердостью шел навстречу каждой попытке контрреволюционного действа, имевшей хоть тень правдоподобия.

В одной из таких несостоявшихся попыток мы оба участвовали, и открыл ее существование Гумилеву и привлек его к ней я, по определенному расчету, что он, как бывший офицер, имея большое знакомство в офицерских кругах и пользуясь в них симпатией и влиянием, возьмет на себя организацию боевой подготовки. Он был в восторге, горячо меня благодарил и сейчас же наметил и предложил ввести в заговор еще одно лицо, близкое к «Всемирной литературе», где мы обыкновенно встречались.

Человек этот — очень умный, солидный, ученый, как будто с большим характером, на словах отъявленный враг большевиков (включительно до благословения на террор), вообще симпатичный и со всею видимостью «настоящего парня» — казался подходящим и мне. Сошлись втроем и объяснились. Говорил Гумилев, я лишь вносил поправки, когда он ошибался. Человек наш выслушал очень внимательно, с заметным волнением, бледный, — потом, минуту подумав, сказал:

— Господа, благодарю вас за доверие, растроган им. Проекту вашему сочувствую всею душою и нахожу его вполне осуществимым. Больше скажу: это как раз то, о чем я сам не раз думал и что предложил бы к организации. Но принять участие, простите, не могу. К стыду моему, — сочувствуя, веруя, желая, — все-таки не могу. И не могу именно по симпатии к предприятию. Я испортил бы все дело. Признаюсь вам совершенно откровенно: я трус. Наружность у меня такая, что, кажется, могу быка с ног свалить, голова — как будто логическая, рассудочная, мыслю правильно, говорю храбро, но — чуть надо действовать, никуда не гожусь: отвратительный физический трус! Вот и сейчас: я только узнал, что есть нечто вроде заговора в близком мне кругу, — и посмотрите вы на меня: хорош? И руки-ноги похолодели, и в животе спазмы... А если я, пойдя на отчаянность, возьму в заговоре ответственную роль — тогда что? Кому смерть на баррикаде, а мне в неудобоназываемом месте от холерины... И... и, одним словом, «позвольте выйти», господа! — закончил он жалостным каламбуром, в самом деле совсем больной.

— Что же? По крайней мере, честно, — холодно «резюмировал» Гумилев.

Честно-то оно честно, — доноса «физический трус» не сделал и вообще сумел держать язык за зубами, чему, может быть, именно «физическая трусость»-то и способствовала: окаменелое лицо и недвижный взгляд Гумилева, упертый прямо в лицо, должны были хорошо запомниться слабожелудочному горемыке. Но впоследствии, когда Гумилев был уже под землею, а я в далекой эмиграции, наш «физический трус» отлично поладил-таки с большевиками и устроился при них по своей ученой части с совершенным удобством, имя его мелькало даже в заграничных командировках, в которые, как известно, ГПУ малонадежных своих подданных не пускает.

«Заговор» наш не расцвел и отцвел, как десятки подобных в обычном порядке и по обычным причинам: некто надул с валютою и не достали спирта. Хотел было рассказать эту трагикомическую историю, да — нет! зачеркиваю! Рано. Во всяком случае, это был пятый и последний раз, что я после октября 1917 года «заговаривался».

Гумилев — напротив, он увлекательного занятия этого не прекратил. И как офицер, и как путешественник, он был человек большой храбрости и присутствия духа, закаленный и в ужасах великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских пустынь. Такому беспокойному человеку под бурей смутного времени как не быть заговорщиком?

Прибавьте к этому прямолинейную убежденность — своеобразный «холодный фанатизм», неспособный к гибкости, бесстрашный в поведении, что пред цензурою правых, что (а это, пожалуй, в своем роде страшнее) левых. В обществе товарищей республиканцев, демократов и социалистов Гумилев, без опасения за свою репутацию, громко провозглашал себя монархистом. В обществе товарищей атеистов, богоборцев, вольнодумцев, не смущаясь насмешливыми улыбками, носил на груди большой крест-тельник и крестился на все церкви. Как-то раз я заметил ему, — помню, у церкви св. Симеона на углу Моховой, — что подобные демонстрации благочестия, пожалуй, излишни: вызывающе привлекают внимание прохожих, а по существу бесполезны. Он возразил:

— Надо, чтобы толпа видела, что не вся интеллигенция отстала от Бога и боится Его исповедать. И, кроме того, ведь на лице у меня не написано, кто я таков, а я не хочу, чтобы меня хоть на минуту, случайно, принимали за большевика.

Принять его за большевика, впрочем, было трудно — уже по курьезной шубе его, единственной во всем Петербурге, из какой-то полосатой звериной шкуры, происхождения африканского или дальневосточного, не знаю, но несомненно экзотического[2].

Религиозность Гумилева производила на меня сильное впечатление. Тому, конечно, много способствовала ее необыкновенность в молодом человеке поколения, так называемого «предреволюционного», и, не тем будь помянуто, надо правду сказать, довольно-таки беспорядочного именно в направлении религиозно-этическом. Мы говорили об этом. Гумилев сказал большое слово:

— Я не понимаю, как человек, переживающий революцию, может оставаться без Бога. То есть — я не в том смысле, чтобы, как принято, «искать Бога». Что же искать, когда мы Им настигнуты и каждую минуту чувствуем себя в Его руке? Поздно. Он сам нас нашел.

Политическими единомышленниками мы не были. Мой демократический республиканизм (хотя и огорченный, но... «храм разрушенный все храм, кумир поверженный все бог!»[3]) был ему не по душе. Както раз я шутя напомнил ему, что Платон в своей идеальной утопии государства советовал изгнать поэтов из республики.

— Да поэты и сами не пошли бы к нему в республику, — гордо возразил Гумилев.

В монархизме он был крепок. В последней книжке своих стихов, вышедшей уже под советским страхом, он не усумнился напечатать маленькую поэму о том, как он, путешествуя в Африке, посетил пророка-полубога «Махди», и —

Я ему подарил пистолет
И портрет *моего* Государя...

Это — несмотря на его откровенную нелюбовь лично к императору Николаю II.

В первые годы нашего столетия я был в очень хороших отношениях с Александром Аркадьевичем Столыпиным и кн. Эспером Эсперовичем Ухтомским. Так вот они, бывало, очень изумляли меня общею обоим странностью. Бывало, рассказывают с негодованием такие царскосельские и вообще царско-правительственные штучки, что злому врагу не выдумать лжи хуже этой дружеской правды, и «обожаемый

монарх» в результате раскрашивается в цвета, весьма неприглядно пестрые. А в глазах у обоих молитвенное благоговение, голоса почтительные. Александр Столыпин был еще посвободнее, а кн. Эспер, произнося царское имя, титул «его величество» или «государь император», даже с места привставал. Хорош ли, мол, худ ли, но — «царь», и ему же честь — честь, ему же дань — дань... Так ведь и Столыпин, и Ухтомский были аристократы и царедворцы: тут сказывался вековой атавизм. А Гумилев — какой же аристократ?!

История его расстрела темна. Что арестовали его не как заговорщика, тем более опасного, важного, достойного расстрела, есть прямое доказательство. Когда депутация профессионального Союза писателей отправилась хлопотать за Гумилева, председатель Чеки не только не мог ответить, за что взят Гумилев, но и даже не знал, кто он такой.

— Чем он, собственно, промышляет, ваш Гумилевич?

— Не Гумилевич, а Гумилев.

— Ну?

— Он поэт.

— Ага, значит, писатель. Не слыхал. Наведу справки, зайдите через недельку.

— Да за что же он взят-то?

Чекист подумал и... объяснил!

— Видите ли, так как теперь, за свободою торговли, причина спекуляции исключается, то, вероятно, господин Гумилевич влип за какое-нибудь должностное преступление.

Ошеломил!.. Какое служебное преступление могло открыться за нигде не служившим Гумилевым?! Аполлону, что ли, наговорил дерзостей на Парнасе или М. Горькому в редакционном комитете «Всемирной литературы»?

Над удивительным свиданием и разговором с чекистом много было смеха: никто не предчувствовал, что смех будет прерван ружейным залпом, который опозорит русскую землю, заставив ее еще раз, — который это уже, о Боже милосердный?! — впитать в себя «поэта праведную кровь...»[4].

И десять лет тому назад я был и теперь остаюсь при той догадке, что, по всей вероятности, Гумилеву на допросе поставлен был прямой вопрос о политических убеждениях, а Гумилев, не прибегая к спаси-

тельным обинякам, прямо и ответил. Если же следователь умел задеть его самолюбие, оскорбил его тоном или грубым выражением, на что эти господа великие мастера, то можно быть уверенным, что Николай Степанович в ту же минуту ответил ему по заслуге — с тою мнимо холодною, уничтожающею надменностью, которая всегда проявлялась в нем при враждебных столкновениях, родня его, как некий пережиточный анахронизм, с дуэлистами-бреттерами «доброго старого времени», эпохи Долохова, Толстого-Американца, Печорина[5]. Ну, а в ЧК и ГПУ строптивцам подобного закала пощады не бывало. Ставили к стенке и за усмешку при имени Ленина или упоминании о Третьем Интернационале.

Даже в списках смертников «Правды» Гумилев обозначен был как «Гумилев, поэт». Это выразительно хорошо-верно. Гумилев и почитал себя, и был поэтом не только по призванию, но и, так сказать, по званию. Когда его спрашивали незнакомые люди, кто он таков, он отвечал — «я поэт» — с такой же простотою и уверенностью официальной обычности, как иной обыватель говорит — «я потомственный почетный гражданин», «я присяжный поверенный», «я офицер». Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем ее существом. Поэтическая мысль и чувство переплетались в нем, как в древнегерманском мейстерзингере, с стихотворным ремеслом: недаром же одно из основанных им поэтических товариществ получило имя-девиз «Цех поэтов». Гумилев был именно цеховой поэт, то есть поэт и только поэт, сознательно и умышленно ограничивший себя рамками стихотворного ритма и рифмы.

Преподавая курс литературы в бывшей Демидовской гимназии, я организовал было там вечерние лекции для воспитанниц старших классов, с участием литераторов. Гумилев читал о Байроне, а после лекции — свои стихи[6]. Гимназистки окружили его с расспросами:

— Как это пишут стихи — хорошие стихи? Трудно это?

Он, с важною улыбкою, отвечал:

— Ничего нет проще. Приходите в Дом искусства. Каждую берусь выучить в два месяца писать стихи, которые лучший журнал будет рад печатать[7].

Резко отделяя «поэта» в особый, магически очерченный круг, возвышенный над миром, наподобие как бы некоего амвона, Гумилев даже

не очень-то любил, чтобы его называли «писателем» или «литератором». Однажды мы довольно остро поспорили об этой классификации в комитете Дома литераторов, членами которого оба были. Гумилев непременно желал ввести в экспертную комиссию этого учреждения специального делегата от Союза поэтов, что мне представлялось излишним. А однажды — на мой вопрос, читал ли он, не помню уж какой, роман, он совершенно серьезно возразил, что никогда не читает беллетристики, потому что если идея истинно художественна, то она может и должна быть выражена только стихами.

Он был всегда серьезен, очень серьезен, жречески важный стихотворец-гиерофант. Говорят, подражал Брюсову, — не могу судить: Брюсова не знал. Но всем своим внутренним обликом (во внешнем между ними не было ничего общего) Гумилев живо напоминал мне первого поэта, которого я, еще ребенком, встретил на жизненном пути своем: безулыбочного священнодейца Аполлона Николаевича Майкова. Другие мотивы и формы, но то же мастерство, та же строгая размеренность вдохновения, та же рассудочность средств, та же «поверка алгеброй гармонии»[8] и, при совершенном изяществе, некоторый творческий холод.

В воспоминаниях о Гумилеве (напр., у В.Ф. Ходасевича, отчасти у П.М. Пильского[9]) попадаются намеки или даже прямые указания на то, что эта важная серьезность его, статуарность, жречество отдавали наигранностью: он-де все задавал себе роли и добросовестно их играл. Я думаю, что когда роль играется постоянно, добросовестно, искренно, до слияния с жизнью, переходя в жизнь и даже до господства над жизнью, — то полно, надо ли ее отделять от жизни в особость, не есть ли она уже и самая жизнь?

Детскости, подмеченной г. Ходасевичем, в Гумилеве действительно было много (как и в Лермонтове), и подыграть кое в чем он был способен. Но грозный путь, приведший его к роковой «стенке», он избрал не как дитя, но как муж, без игры, но трагически серьезно, и — жизнью храбрых жил, смертью храбрых умер. А то, что это все свершилось для всех неожиданно и непонятно, доказывает только то, что Гумилев был хороший конспиратор и, при высоком таланте звонкой поэтической речи, обладал не меньшим талантом «благого молчания»[10].

ТАГАНЦЕВСКАЯ ЗАГАДКА

По поводу моей статьи о Гумилеве пишет мне из Франции профессор С.[1], бывший сотрудник, из самых близких, петербургской «Всемирной литературы»: «Хотелось бы сообщить Вам кое-что известное мне. *Гумилев несомненно принимал участие в Таганцевском заговоре* и даже играл там видную роль. Он был арестован в начале августа, *выданный Таганцевым,* а в конце июля 1921 г. он предложил мне вступить в эту организацию, причем ему нужно было сперва мое принципиальное согласие (каковое я немедленно и от всей души ему дал), а за этим должно было последовать мое фактическое вступление в организацию. Предполагалось, между прочим, воспользоваться моей тайной связью с Финляндией. *То есть предполагал это, по-видимому, только Гумилев.* Он сообщил мне тогда, что организация состоит из "пятерок", членов каждой пятерки знает только ее глава, а эти *главы пятерок известны одному Таганцеву.* Вследствие летних арестов в этих пятерках оказались пробелы, и Гумилев стремился к их заполнению. Он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленны и захватывают влиятельные круги красной армии. Он был очень конспиративен и взял с меня честное слово, что я о его предложении не скажу ни слова *никому*, даже жене, матери (это я исполнил).

Я говорил ему тогда же, что, ввиду того, что чекисты несомненно напали на след организации, может быть, следовало бы временно притаиться; что арестованный Таганцев, по слухам, *подвергнут пыткам и может начать выдавать.* На это Гумилев ответил, что уверен, что Таганцев никого не выдаст и что, наоборот, теперь-то и нужно действовать. *Из его слов* я заключил также, что он составлял все прокламации и вообще ведал пропагандой в красной армии.

Николай Степанович был бодр и твердо уверен в успехе. Через несколько дней после нашего разговора он был арестован. Так как он говорил мне, что ему не грозит никакой опасности, так как *выдать его мог бы только Таганцев*, а в нем он уверен, — то я понял, что *Таганцев действительно выдает*, как, впрочем, говорили в городе уже раньше. Я ужасно боялся, что в руках чекистов окажутся какие-нибудь доказательства против Николая Степановича, и, как я потом узнал от лиц, сидевших одновременно с ним, но потом выпущенных, им в руки

попали написанные его рукою прокламации, и гибель его была неизбежна.

В связи с этим, т.е. с тем, что обвинения против него были весьма серьезны, я хочу указать на статью Н. Волковыского (не помню, в какой газете), где он рассказывает о посещении Чеки им и несколькими другими литераторами для справки об арестованном Гумилеве и говорит, между прочим, что Вы (в "Горестных заметах") неточно передали этот случай[2]. Волковыский пишет, что, после справки по телефону о Гумилеве, чекист, разговаривавший с ними, сразу изменил выражение своей рожи и потребовал предъявить документы, — таким образом, ясно, что Чека рассматривала Николая Степановича как очень опасного своего врага»[3].

Далее в письме проф. С. следует изложение его беседы с М. Горьким после расстрела «участников Таганцевского заговора», которую профессор считает (по-моему, напрасно) не подлежащею оглашению. Я, однако, считаю себя вправе отметить близкое совпадение его показания со следующими строками моих «Горестных замет»: «Таганцева погубили какие-то большие деньги, которые он хранил и которых, при первых весенних обысках в его квартире, Чрезвычайка не нашла, а потом докопалась. Ведь дело его — по весьма твердой петроградской версии — не сразу обернулось так трагически. По первому следствию, вины супругов Таганцевых были признаны настолько сомнительными, что, — очевидно, лишь ради формы, чтобы не свести широковещательное обвинение к нулю, — ему дали двухлетние принудительные работы, жене (уже вовсе не известно, за что привлеченной) — на один год. Но, как раз перед тем престарелый отец Владимира Николаевича, знаменитый юрист, сенатор Н.С. Таганцев, обратился к Ленину с ходатайством за сына. Ленин ответил любезною телеграммою с предписанием пересмотреть дело. Телеграмма сошлась с уже готовым было приговором и механически его остановила. Следственная канитель возобновилась.

И тут история говорит надвое. Люди, питающие к г. Ленину влечение, род недуга, уверяют, будто тогда Чрезвычайка, обозленная вмешательством премьера в ее самовластную компетенцию, особенно постаралась превратить В.Н. Таганцева в ужасного государственного преступника. *Другие, с большим скептицизмом и большею вероятностью,* утверждают, что вся эта история с телеграммой — незамысловатое *по-*

вторение старой комедии с расстреляниeм великих князей[4]. Ведь и тогда М. Горький (по его словам) привез из Москвы в Петроград письменное разрешение взять их на поруки. Но, покуда он ехал, Москва приказала по телефону поскорее расстрелять — и расстреляли, прежде чем Горький успел предъявить свой документ. Так вот и теперь циническая телефонограмма — засудить во что бы то ни стало — обогнала и отменила лицемерную телеграмму — судить по совести»[5].

Письмо проф. С. определенно подтверждает эту вторую версию. Таганцевы пали жертвами лицемерия лукавого Ленина и фанатичной жестокости Дзержинского. Этот палач был все-таки лучше своего учителя и шефа — хотя бы уж тем, что имел мужество принимать на себя ответственность за свои зверства, не прячась за спины подчиненных исполнителей.

Статьи Н.М. Волковыского, о которой упоминает проф. С., я, к сожалению, не читал, так что не знаю, какую именно неточность отметил он в моем пересказе посещения Чеки литературной делегацией. Мой пересказ — со слов покойного А.Л. Волынского-Флексера, участвовавшего в делегации по званию председателя профессионального Союза писателей. Но Н.М. Волковыскому, как личному свидетелю сцены, конечно, тут и карты в руки. Помню, — главное, — что трагического ареста никто во «Всемирной литературе» не ожидал. По словам проф. С., никак не ожидал его и — успокоенный Лениным — Горький.

Проф. С. решительно утверждает, что Гумилева «выдал Таганцев»[6]. Это и советские «правительственные сообщения» возвещали — не о Гумилеве собственно, а что Таганцев в тюрьме оговорил многих, частью арестованных, частью скрывшихся.

Дружески зная проф. С., я никак не заподозрю, чтобы он написал это неосмотрительно, только по слуху. Тем более что он приводит два доказательства: во-первых, пытку, которая могла вытянуть у Таганцева роковые признания; во-вторых, что принадлежность Гумилева к «Таганцевскому заговору» была неведома никому, за исключением самого Таганцева.

Оставляя покуда в стороне первое доказательство, скажу два слова о втором.

Я не раз изъявлял печатно сомнения в реальности этого пресловутого «Таганцевского заговора», по крайней мере, в том широком мас-

штабе, что приписали ему и Чрезвычайка (потому что нуждалась в предлоге терроризировать интеллигенцию), и общество (потому что, стыдясь своего бессилия, жаждало хоть какого-нибудь проявления освободительной энергии в своей оробевшей среде). Раз проф. С. свидетельствует о себе как об участнике заговора, завербованном в него Гумилевым, сомнения, казалось бы, должны погаснуть. Но, признаюсь, скептицизм мой не сломлен до конца. То есть что проф. С. был приглашаем и пригласителем был Гумилев, тому верю безусловно. Но — куда один приглашал, а другой войти соглашался, остается по-прежнему неясным.

Что узнал о заговоре проф. С. от Гумилева? Ничего. Что знал сам Гумилев? Ничего, потому что не считать же «чем-нибудь» систему конспиративных «пятерок», знакомую со времен «Бесов» каждому гимназисту. От кого знает Гумилев о «пятерках» и о широком разветвлении заговора? От Таганцева. Кого еще знает он в заговоре? Никого.

Боюсь, что и знать было некого. Что весь «заговор» сводился просто к мечтательным беседам Таганцева с добрыми, одинаково мыслящими друзьями о том, что хорошо было бы свергнуть большевиков: кто же тогда в таких мечтаниях не пребывал денно и нощно и кто подобных бесед, чуть условия позволяли безопасно, не вел? Таганцев был человек пылкого воображения, темпераментный. Боюсь, что из таких вот разговоров в сослагательном наклонении и вырастила его фантазия свой заговор — будто бы — в изъявительном. Быть главою заговора — красивая роль. Он и увлекся ролью. Недавно В.Ф. Ходасевич заподозрил «игру» в заговорщике Гумилеве. Нет, Гумилев-то не играл, был очень серьезен. Но похоже, что, на несчастье свое, он-то со своим серьезом вверился заигравшемуся актеру.

Я встречал Таганцева в доме моего друга, тоже приват-доцента, как он[7]. Имени не назову: человек обретается в пределах досягаемости, а знакомство с Таганцевым уже стоило ему сидения на Шпалерной и смертельного риска ни за что ни про что, так как ни о каких заговорах он не помышлял ни даже в сонном мечтании. Лично я не успел узнать Таганцева близко, но в семье моего друга он слыл фамильярно Володей и, случалось, с шутливым эпитетом: «Володя-болтушка». Человек был симпатичнейший, милейший, «компанейский», честный, высокопорядочный: мир его страдальческому праху, освященному безвинной мукой!

13. Заказ № 833.

Но — чтобы этот благодушный и остроумный обыватель-разговорщик был в состоянии стать организатором и «главою» (*единым* главою!) серьезного политического заговора?! С его-то суетливостью, любопытством, неукротимою общительностью и длинным языком? С его-то неразборчиво громкою откровенностью? С его-то житейскою озабоченностью и должностною беготнею в сверхсильной охоте за пайками? Ведь, по своей честности, свято храня чьи-то вверенные ему большие деньги, сам Таганцев бился в нужде, как рыба об лед. Мне он не иначе вспоминается как — с альпийским мешком за спиною, лицо оживлено спехом, в глазах забота, не опоздать бы, — мыкается на рысях с одной пайковой раздачи на другую. Если бы в тогдашнем Петрограде в самом деле зародился серьезный заговор, то, вероятно, под бывшим вопросом стояло бы, допустить ли Владимира Николаевича в его тайну, а не то что ставить его «главою».

Ну а прокламации Гумилева и его пропаганда в красной армии? Не сомневаюсь, что он и прокламации писал (кто же в этом не упражнялся из литераторов-противобольшевиков? только редко кто, написав, не спешил уничтожить!), и с красноармейцами разговаривал, клоня речь к «разрушению существующего строя». Очень может быть, что это он делал по распоряжению «главы заговора», в порядке конспиративной дисциплины, и исполнял распоряжение с удовольствием, так как дисциплину любил. Но стремление к непосредственной пропаганде, к личному «хождению в народ», ему было вообще присуще.

Вот в воспоминаниях о Гумилеве г. Георгия Иванова рассказан случай, как «две молодые студентки встретили Г., одетого в картуз и потертое летнее пальто с чужого плеча. Его дикий вид показался им очень забавным, и они расхохотались. Гумилев сказал им фразу, смысл которой они поняли только после его расстрела: “Так провожают женщины людей, идущих на смерть”. Он шел, переодевшись, чтобы не бросаться в глаза, в рабочие кварталы, вести агитацию среди рабочих»[8]. Я не знаю, другой ли это случай или тот, который мне известен, и правду сказать, довольно неприятно. Такую точно штуку с переодеванием, вроде тургеневского Нежданова[9], Гумилев устроил в день бунта работниц на Трубочном заводе, когда был избит и прогнан с позором известный большевицкий оратор-агитатор Анцелович[10]. Ради этого маскарада он опоздал на весьма важное свидание, назначенное ему у

меня в доме. «Человек из подземелья» подождал-подождал и ушел, весьма обозлившись, что понапрасну его обеспокоили (был иногородний), и мы его потеряли. А Гумилев потом, когда я стал ему пенять на его неаккуратность, отвечал сконфуженно:

— Тем досаднее, что вышло глупо: узнают по первому взгляду, и — никакого доверия. Еще спасибо, что не приняли за провокатора.

— Да извините, Николай Степанович, но, с позволения сказать, кой черт понес вас на эту галеру?

— Увлекся. Думал, что «начинается». Ведь лишь бы загорелось, а пожару быть время.

Что, кроме подобных романтических выходок, Гумилев не мог не только стоять во главе пропаганды в красной армии, но и вообще вести пропаганду на более или менее широкую ногу, доказывается очевиднее всего его безденежьем. Если бы «Таганцевская организация» не была полупризраком, она могла бы располагать теми деньгами, что хранились у Таганцева и его погубили; если бы она могла распоряжаться этим капиталом, то, конечно, не оставляла бы главу своей пропаганды в самой нужной для переворота среде — военной — без всяких средств. Отсутствие же средств доходило до того, что было бы смешно, если бы не было грустно.

Вести пропаганду в военных частях немыслимо без водки. По просьбе Гумилева я дважды добывал ему спирт для предстоявших каких-то офицерских собраний — добывал через знакомых эстонцев, даром, но в таком ничтожном количестве, что не хватило бы не только на целое офицерское собрание, но и на одного, серьезно относящегося к питейному делу штабс-капитана. Приобретать же драгоценную влагу «глава пропаганды» лишен был возможности. Какая же это «организация» с рукописными прокламациями почерком автора и без гроша в кошельке на компанейство?

Проф. С. из Финляндии — не то десятое, не то одиннадцатое лицо, известное мне в связи с «Таганцевским заговором», включая сюда и самого Таганцева, и Лазаревского, и Тихвинского, и Ухтомского. Из остальных ни один не знал о заговоре больше, чем шептала о нем городская молва, а иные и того не знали. А о расстрелянной одновременно с Гумилевым Ольге Сергеевне Лунд можно утверждать наверное, что в «Таганцевском заговоре» она не принимала участия — по той простой причине, что была арестована и сидела на Шпалерной еще

с зимних месяцев 1921 года (не с последних ли даже 1920 г.?), когда «Таганцевской историей» в Питере и не пахло. В месяц Кронштадтского восстания мы — я, жена и сын Даниеле, арестованные по глупому наговору некой Ксении Васильевой, — нашли Ольгу Сергеевну уже весьма давнею обитательницею Шпалерной тюрьмы. Дело ее было гораздо старше и серьезнее «Таганцевской истории», и судьба ее была давно уже предрешена. Ждала со дня на день увоза в Москву, а там — конца в лубянском подвале. Замечательная была женщина. Но о ней когда-нибудь — особо.

«Выдал» ли Таганцев соучастников по заговору и между ними Гумилева — дело темное: это обвинение распространилось из окружения М. Горького, из источника, стало быть, не слишком достоверного. Да и глагол лучше переменить: «выдавать»-то ведь, пожалуй, было некого и не в чем. Но что «Володя болтает» лишнее на допросах, о том слухи по городу плыли, и их подкрепляло то обстоятельство, что Чека арестовывала огулом знакомых Таганцева, не прикосновенных к «заговору» ни сном, ни духом, вроде вышеупомянутого приват-доцента.

Однако, если бы даже и «болтал», остережемся бросить камень осуждения в его страдальческую, окровавленную тень. В распоряжении Семенова, Озолина и К° имелось достаточно средств, чтобы вымучивать признания, им желательные. Был ли Таганцев подвергнут пыткам, как держалась упорная молва, этого я не знаю, но едва ли и необходимы телесные пытки, чтобы вымотать душу из человека нервной комплекции и порывистого темперамента, каков был Таганцев, доверчивый, экспансивный, легко податливый на внушительные впечатления. Героем он не был, никто никогда и не считал его героем, а между тем его постигло испытание, способное истощить и геройские силы.

Тут мог выйти, а может быть, и вышел, увы, «Сон статского советника Попова»[11] — только в трагическом варианте, кровавом, ужасном. Не Таганцев «болтал»: болтало его устами измаянное, замученное, запуганное, ослабевшее в четырехлетнем голодании, холодании, болезнях, непосильном физическом труде, всесторонней нужде, ежеминутном страхе — придавленное привычкою к унижениям и плачевным компромиссам «применения к подлости»[12] — петроградское обывательство, плотью от плоти и костью от костей которого был покойный мученик большевицкой бойни.

МОИ ВСТРЕЧИ С СОЛОГУБОМ И ЧЕБОТАРЕВСКОЙ

Мы, русские эмигранты, переживаем теперь период десятилетних годовщин трагической осени 1921 года, когда каждый день знаменовался истреблением лучших интеллигентов стойких и жалким падением шатких. Страшные переживались дни.

Только что поминали А.А. Блока. За ним — поминки Н.С. Гумилева. Рядом безвинно убиенные В.Н. Таганцев, Н.И. Лазаревский, Тихвинский, Ухтомский. Теперь на очереди поминок — А.Н. Чеботаревская и Ф.К. Сологуб. Впереди В.М. Дорошевич, А.Е. Кауфман... Литературный синодик одной осени!

Возразят:

— Как Чеботаревская и *Сологуб*? Он пережил Чеботаревскую с лишком шестью годами!

Пережить-то пережил, но — как? Тело по земле влачилось, а души в нем уже не было. Душа Сологуба умерла в тот самый день и час, когда его Анастасия Николаевна бросилась с Тучкова моста в Невку.

В момент этой драмы меня уже не было в Петрограде: получил известие о ней, отбывая карантин в Териоках. Бежали мы — семьею — из Петрограда 22 августа, 23—24 блуждали сперва в Финляндском лесу, потом ночевали на даче в знакомом именье, а 25-го нас взяли и отвезли в карантин. И здесь, в первые же дни, как туча черных воронов, что ни новый номер газеты, то телеграммы — одна другой страшней: сегодня расстрел Таганцева, Гумилева, Лазаревского и «шестидесяти» (в их числе хорошо знакомой нам О.С. Лунд), завтра самоубийство Чеботаревской[1]. Сладкое чувство свободы, полагаю, хорошо знакомое всем, кому удавалось вырваться из большевицкого плена, было отравлено острою горечью, — сердце сжималось и плакало, точно сам был тут чем-то виноват.

Впрочем, в одном я и действительно винил себя, хотя, может быть, и напрасно.

Бежали мы вшестером: я, жена, трое сыновей[2] и юный художник Молас, друг моего старшего сына Даниеле. Условия бегства позволяли нам взять с собою еще двоих. Ф.К. Сологубу это было известно. О возможностях бегства вообще мы с ним не раз говорили в промежут-

ке с апреля до августа, после того, как третий мой арест во время Кронштадтского восстания[3], — на этот раз уже вместе с женою и Даниеле, — научил нас, что больше мы в «красном Петрограде» не жильцы и надо навострить лыжи при первом же удобном случае.

«Возможностям» тюрьма же научила: сидя на Шпалерной, я приобрел кое-какие, благополезные для «аллегро удирато», знакомства. И вот, выйдя на волю, осведомил о них Сологуба — к использованию. Выслушал он меня с большим любопытством, но, к моему удивлению, охоты к эмиграции чрез авантюру бегства не изъявил. А в одном повторном разговоре дал мне понять, что он-то ничего не имел бы против, но ухода в нелегальном порядке никак не хочет Анастасия Николаевна.

Это вот было, остается и, вероятно, навсегда останется для меня психологической загадкой. Сколь ни обща была в петроградской интеллигенции ненависть к большевикам, но ненависть Чеботаревской была остра исключительно. Ух, как хорошо она умела ненавидеть! Вот-то уж оправдывала собою старое пылкое слово: «Кто не умеет ненавидеть, тот не научится любить»[4]. Не знаю, какова она была в частной жизни, — знакомство наше не было настолько близким. Но в отношениях политического и общественного порядка она карала своих ненавидимых судом беспощадным и не признавала снисхождения к смягчающим вину обстоятельствам.

Так, в лице Чеботаревской ушел на тот свет едва ли не самый ожесточенный, прямолинейный и откровенный из всех врагов М. Горького, — по крайней мере, тогдашних: с того времени М. Горький натворил много такого, что в интеллигенции почти на нуль свело число его друзей и поклонников и бесчисленно размножило количество врагов и презирателей. Ненависть Чеботаревской истекала не из личных причин. Правда, когда-то Горький задел ее и Федора Кузьмича грубой пародией[5], но — «мы это давно простили», сказала мне Анастасия Николаевна в первой же нашей беседе. По правде сказать, только от нее тогда и узнал я, что была такая пародия, оскорбительная для семейных отношений писательской четы, очевидно, публикою она была мало замечена и не понята.

Я и теперь не знаю этой вещи Горького, но, должно быть, в ней был скрыт какой-нибудь особо интимный яд, раз она уязвила так остро и надолго.

Нет, Чеботаревская ненавидела Горького исключительно политически, как зыбкий и двусмысленный символ соглашательской двойственности, как первопочин и главный тогдашний орган «оподления русской интеллигенции», — выражение Д.С. Мережковского. Известное письмо последнего к Гергардту Гауптману, оглашенное вскоре после ухода за границу[6], Чеботаревскую восхищало. Я же хотя признавал печальную справедливость резких укоров, обрушенных Мережковским на «оподлителя», однако — по остаткам прежней нежности к Горькому (кого я любил больше, чем этого человека?!) — находил, что Дмитрий Сергеевич в своих суждениях о Горьком уж слишком «выражается». А Чеботаревская, бледная, ломая стиснутые руки и с глазами как свечи, упрямо твердила:

— Что вы говорите! Когда вы поймете, наконец, этого обманщика и перестанете его жалеть? Разве о нем можно «слишком выразиться»?

И распространилась в негодующей речи о коварном очаровании «честных глаз» М. Горького, которыми он, дескать, где-то как-то магически раздобылся, чтобы привлекать к себе доверчивых людей и потом, по использовании, предавать их.

Тут вот, пожалуй, звучали отголоски некой личной обиды. Ф.К. Сологуб однажды на пути из «Всемирной литературы» с Моховой к нам на Васильевский остров с горечью рассказал мне длинную историю своего первого столкновения и разрыва с Горьким из-за сборника «Евреи». Подробностей не помню, но, в общем, по словам Сологуба, было так. Инициатива сборника принадлежала ему, Леониду Андрееву и — забыл — кому-то еще третьему с большим именем, чуть ли не Куприну. Когда же эти три пригласили к участию Горького, то он както ловко устроил, что диктатурно забрал дело в свои руки, и инициатива была ему приписана, и вообще он пожал с сего предприятия урожай «славы и добра»[7], т.е. нового прилива популярности в признательных еврейских кругах, — а истинные начинатели, в злую насмешку над их бескорыстным идеалистическим порывом, оказались оттертыми на задний план — «танцовать у воды»[8].

Когда Чеботаревской стала известна моя угрюмая речь на банкете в честь Уэллса, обличавшая фальшь и лицемерие этого шарлатанского торжества — истинного пира во время... голодного тифа, — на нем Горький в качестве председателя вел себя очень некрасиво, прямо-таки начальником по делам печати и главным цензором от большевизма[9], —

Анастасия Николаевна прислала мне восторженное письмо, доставившее немало труда моим бедным глазам: почерк она имела ужасный. А при встрече подошла ко мне, сияющая язвительною удовлетворенностью оправданного гнева:

— Что? Хорош *ваш* Горький? Показал он вам себя? Разве не оберполицеймейстер он с бригадою городовых?

Но вскоре затем получил я от нее, за него же, послание весьма ругательное. В то время в Питере ходила по рукам в рукописи моя статья «Ленин и Горький» — по поводу пресловутого гимна, воспетого Горьким «преобразователю России»[10]. Ленин в этом гимне был превознесен выше Петра Великого, объявлялся «святым», утверждался в праве производить над Россией «эксперименты в планетарных размерах» и пр., и пр. Дифирамбом этим общество было возмущено во всех своих слоях и группах. Даже коммунисты признавали сконфуженно, что Горький «пересолил». Пожалуй, никогда еще не наносил он своей репутации более жестокого и опасного удара. Потом-то слышать этакие его славословия властных разбойников, включительно до «золотого сердца» палача Дзержинского[11], вошло у публики в привычку, но первую песенку — не знаю, пел ли, зардевшись, он, но Петроград слушал, весьма зардевшись и едва веря своим ушам.

Меня от сладкого песнопения этого только что не стошнило. Три года перед тем я не писал ни единой публицистической строки, а тут не выдержал, взялся за перо.

Довольно обширная и подробная статья эта, написанная «в щедринских тонах», с умышленною воздержностью от ругани, «попала в точку»: распространенная в множестве списков, она много читалась и имела успех[12]. Только не у Чеботаревской. Ей было мало. В гневном письме своем она укоряла меня за «мягкость» и «добродушие»: «Вы иронизируете там, где надо бить дубиной по темени! Вы разговариваете с ними, как с порядочными людьми, тогда как они...» Следовали эпитеты...

Каково же было женщине столь великого гнева и яркого темперамента терпеть неволю в клетке русского большевизма! В те немногие разы, что я видел ее летом 1921 года, нетрудно было заметить, что стремление на волю в ней уже не только мечта желания сменить плохое существование на лучшее, но острая органическая потребность, неудовлетворение которой грозит ее погубить[13]. И в то же самое вре-

мя она с болезненным упорством настаивала на «легальном уходе», отвергая недоверчивым страхом планы и пути «нелегальные».

Трудно думать, чтобы женщину столь бурного, воинственного, дерзновенного духа могли пугать опасности перехода через границу. Конечно, риск был смертный, но едва ли боялась смерти женщина, которую невозможность выбраться из Петрограда вскоре привела к самоубийству.

Думаю, что тут действовали две причины. Одна — идейная, сложная. Другая — житейская, напротив, очень простая.

Первая — гордость. Та национальная гордость, унижение которой каждый из нас, бежавших, больно чувствовал в вынужденности покинуть Россию, нашу, свою Россию, оставляя ее в когтях стаи коршунья. Мы, другие, справлялись с этим неизбежным болезненным упреком совести рассудочными доводами, но Чеботаревская — вся чувство — когда же рассудком жила?

Вторая причина — ее наивная вера в дружбу Крупской[14]. Анастасия Николаевна была хороша с нею до революции, а Крупская будто бы и в революции сохранила умение отделять политические отношения от частных: с нею-де «можно говорить» и она-де «может понимать». Крупская обещала Чеботаревской устроить для нее и Сологуба выезд за границу, и они на том отчасти успокоились. В одно наше свидание Сологуб только и говорил, что о своих упованиях на ходатайство «Натальи Константиновны».

— Кто это Наталья Константиновна? — удивился я.

А он удивился, что я не знаю.

Мне их надежды представлялись очень маловероятными. Я о Крупской слыхал из хороших источников, что она в подобных случаях если бы и хотела сделать что-нибудь, то ничего не может: бессильна, — да и совсем она не охотница такое хотеть. Вряд ли и дружба между Чеботаревскою и Крупскою была близкою, судя по тому, что Сологуб упорно именовал вдову Ленина Натальей Константиновной, тогда как она — Надежда. Но разочаровывать его я воздержался, чувствуя, что за это свое упование он ухватился крепко и лишиться надежды будет очень тяжелым ударом как для самого поэта, так и для верной фанатической подруги его. Как знать, может быть, окончательная утрата этой наивной веры в Крупскую и была последним толчком к отчаянию, швырнувшему Анастасию Николаевну в Невку? Оборвался волосок, на котором висела.

Надвинулась «Таганцевская история»: пресловутый «заговор»! Большевики раскричали его на всю вселенную, чтобы под его предлогом хватать направо и налево встречного и поперечного, всех, кого они находили полезным сбыть с рук в видах — была такая циническая формула — «ослабления кадров интеллигенции». Заговор-то был, только, к сожалению, не интеллигенции против большевиков, а большевиков против интеллигенции! ВЧК решила вычистить неблагонадежный Петроград железный метлой.

Взяли Гумилева. В одну поздно-июльскую или августовскую ночь сыновья мои, возвращаясь с музыкальной «халтуры» в каком-то театральном оркестре, встретили у Александровского сквера рыдающую женщину, высокую, худую, в черном. Как ночная птица, вспугнутая с гнезда, кружила она около зловещей «Гороховая, 2». Сыновья мои не знали ее, она не знала моих сыновей, — инстинктивно бросилась к незнакомым прохожим юнцам, учуяв в них своих. Назвалась:

— Лазаревская.

И, в смятении недоумелого испуга, бормотала:

— Странно! Моего мужа взяли как свидетеля для дачи показания, — обещали «на какие-нибудь два часа», а вот что-то замешкались, не выпускают.

Шедшие с моими сыновьями коллеги-оркестранты постарше советовали ей:

— Шли бы вы лучше домой, не привлекайте к себе внимания, ведь здесь кругом шпики.

— Нет, как можно, Николай Иванович выйдет, увидит, что меня нет, встревожится, почему я его не дождалась, что случилось...

Милиционер грубо прогнал ее с угла Гороховой. Она всю ночь мыкалась по окрестным панелям, прячась и увертываясь от обходов, забиравших прохожих, которые в тогдашнем «свободном» «красном Петрограде» дерзали выходить на улицу позже часу ночи. Рассвело, солнце взошло, но двери Чрезвычайки не выпустили Лазаревского. Два часа превратились в два дня, два дня в две недели, две недели в два месяца, два месяца — в вечность... Во вторник, 16 августа, я встретил Лазаревскую во «Всемирной литературе». Она была совершенно спокойна за участь мужа: Горький и другие соответственные ходатаи обнадежили и уверили ее, что дело его — пустяковое недоразумение, и он не сегодня завтра будет на воле. А двух недель не прошло, как имя Лазаревского было оглашено в списке «выведенных в расход»!

Из Москвы мне дали знать, что мне грозит четвертый арест, на этот раз я не выберусь так легко, как из первых трех. К.А. Лигский — об этом «добродетельном большевике» я писал недавно[15] — тоже намекнул угрюмо, что я должен держаться как можно осторожнее, потому что «вас посещают подозрительные люди». В доме вертелся приставленный к младшим сыновьям под видом приятельства мальчишка-шпион, впрочем, очень тяготившийся своей должностью и прозрачно себя выдававший. Словом, дело было ясно: надо бежать.

Я сообщил Сологубу о возможности ему с Анастасией Николаевной занять два свободные места в «караване» нашего бегства. Он отнесся к моему предложению с прежнею апатией. И вот этой-то ошибки простить себе не могу — пошел теперь одиннадцатый год: зачем, вместо медлительного Федора Кузьмича, я не переговорил с пламенной, вихревой Анастасией Николаевной? Может быть, и убедил бы.

Но тут опасность стала приближаться уж чересчур скорым шагом. В ночь на 20 августа был арестован ни за что ни про что, но якобы по прикосновенности к «Таганцевскому делу», один из ближайших моих друзей, ежедневно у нас бывавший. Я почувствовал сжатие железного обруча вокруг нашей семьи. Настала пора удирать, пока обруч не замкнулся. Организатор побега тоже торопил, потому что его торопили контрабандисты, наши увозчики. Два свободные места, имевшиеся в нашем распоряжении, так и остались пустыми; еще одна писательская чета, которой я предлагал побег, не решилась, опасаясь остаться за границей без средств[16], а делать иные предложения я и боялся, и некогда было.

ЗАГАДКА

Кончина Федора Кузьмича Сологуба вызвала к бытию целую литературу воспоминаний о покойном поэте и характеристик его — личных: творчество Сологуба остается еще не освещенным и не рассмотренным серьезно и авторитетно. Я в этой статье не посягаю на характеристику Сологуба, так как узнал его поздно (в 1917 году) и, хотя в 1919—1921 годах мы довольно сблизились, благодаря бесчисленным совместным маршировкам с Моховой (из пресловутой «Всемирной литературы») на

Васильевский остров[1], однако я не считаю себя способным разобраться, по сравнительно малым данным, в душе столь странной и сложной. Говорить о Сологубе с большей или меньшей уверенностью, по-моему, нельзя только по «наблюдению» — нужно «изучение». Поэтому я здесь намерен отметить лишь большое недоумение, внушаемое мне указанием, общим почти всем некрологам и биографическим наброскам, мною прочитанным.

Это — о невозможности для Федора Кузьмича выехать за границу.

Это неверно или, по крайней мере, неточно.

Легальный, т.е. с разрешения советской власти, выезд за границу был для него, конечно, закрыт. Он опоздал, как, впрочем, и все мы опоздали, уповая на скорое падение большевиков. В октябре—декабре 1917-го и первой половине 1918-го выехать было не так трудно, да мало кому хотелось.

Я, например, благодаря тому, что иностранным комиссариатом Северной коммуны на первых порах управлял Лордкипанидзе, бывший репортер «Русской воли» и конторщик «Вольности», — хотя и чрез двухмесячное мытарство, — получил заграничный паспорт не только для себя с семьею, но даже для гувернантки. Однако, погадав, да пораздумав, да порассчитав ход событий, имел легкомыслие не воспользоваться этим документом. Так он и по сие время хранится у меня в девственном виде реликвии для какого-нибудь будущего музея контрреволюции. Так же легко сравнительно получил одновременно паспорт Лев Львович Толстой — и выехал. И еще некоторые. Луначарский, тогда еще не утративший политического влияния, очень сочувствовал и помогал выезду «неприемлющих», а Зиновьев, по его рекомендациям, не очень препятствовал. Задержки выходили больше со стороны пограничных государств. Они к выезжающим относились крайне подозрительно, ввиду длившейся войны, и давали визы с ужасной волокитой.

Но после убийства Урицкого и Володарского и наступления Юденича, когда ушел из Гатчины Куприн, большевики приложили меры особенно острого наблюдения к тому, чтобы петербуржцы с крупными именами не ускользали в Европу. Даже в провинцию-то литераторов выпускали из Петрограда неохотно и подозрительно — после того, как Мережковский, Гиппиус и Философов использовали такую поездку для удачного бегства[2] и Мережковский, как скоро перешел границу, немедленно написал свое знаменитое письмо[3]. Когану и Равич тогда влетела за них жестокая нахлобучка.

Тем не менее Федор Кузьмич упорно продолжал и повторял домогательства, сильно уповая, как он объяснил мне однажды, на поддержку от «Натальи Константиновны».

— Кто это Наталья Константиновна? — удивился я.

А он удивился, что я не знаю. Оказалось: Крупская, жена Ленина. С нею до революции была хороша жена Сологуба, Анастасия Николаевна Чеботаревская. По словам Федора Кузьмича, Крупская и в революции осталась женщиной, умеющей отделить политические отношения от частных, с нею-де «можно говорить», и она-де «может понимать». Я о Крупской слыхал из хороших источников совсем другое, и надежды Сологуба на «Наталью Константиновну» представлялись мне очень маловероятными. Но разочаровывать его не стал, потому что чувствовал, что за этот пунктик он держится крепким упованием, которого лишиться будет очень тяжелым ударом как для самого поэта, так и для верной фанатической подруги его.

Но я позволил себе осторожно указать Федору Кузьмичу, что, ходатайствуя легально, не худо было бы ему в то же время нащупывать на всякий случай также и пути, и способы тайного бегства. Сидя весною 1921 года, во время Кронштадтского восстания, в тюрьме на Шпалерной, я сделал в ней кое-какие знакомства, благополезные для исчезновения из «красного Петрограда». Рассказал о них Сологубу и предложил ему их использовать. Сам я, как только меня, жену и сына освободили в апреле, решил, что с нас довольно, больше мы в «красном Петрограде» не жильцы. И начал подготовляться к непременному бегству при первой возможности раздобыться на то деньгами, хотя бы надо было снять с себя последнюю рубаху и остаться на чужбине голым.

Сологуб слушал с большим любопытством, но, к моему удивлению, охоты к эмиграции с авантюрой бегства не изъявил. Когда мы однажды возобновили этот разговор, — было у меня, на Николаевской набережной, — Федор Кузьмич дал мне понять, что он-то ничего не имел бы против, но ухода в нелегальном порядке никак не хочет Анастасия Николаевна.

Это вот было, остается и, вероятно, навсегда останется для меня психологической загадкой. Сколь ни обща была в петроградской интеллигенции ненависть к большевикам, но ненависть А.Н. Чеботаревской была ярка исключительно[4]. Я думаю, что если бы она очутилась

в эмиграции, то из публицистов разве один покойный М.П. Арцыбашев не получил бы от нее лютого нагоняя за «снисходительность и слабость».

Общим было также и стремление уйти от большевиков и порождало авантюры отчаянные. Некая дружественная мне супружеская чета — муж-инженер, жена-певица — в одну морозную и вьюжную ночь усадили в санки-салазки восьмилетнюю дочку, да и пошли с Лахты, без проводника, по компасу, в Финляндию; чудом каким-то дошли живыми-здоровыми и девочку довезли благополучно. Так вот, даже на фоне такого неудержимого рвения стремление А.Н. Чеботаревской было опять-таки тоже исключительным.

В те немногие разы, что я видел ее в 1921 году, нетрудно было заметить, что это в ней уж не мечта, не желание лучшего от худшего, но потребность — органическая потребность, обостренная до палящей страсти, неудовлетворение которой очень может ее погубить. И в то же время она с болезненным упорством настаивала на «легальном уходе», отвергая с недоверчивым страхом планы и пути «нелегальные». Не в это ли время Н.А. Тэффи получила в Париже от Сологуба и Чеботаревской ту отчаянную записку, о которой она рассказывает в своих недавних воспоминаниях[5]?

Трудно думать, чтобы ее и Сологуба мог удерживать страх опасного приключения, проходя границы под выстрелами, проплывая под прожекторами и т.п. Чеботаревская была женщина духа бурного, воинственного, дерзновенного, что десятки раз доказала в разных столкновениях и стычках по литературно-общественным вопросам и делам. Что она не боялась смерти, явила своим самоубийством.

Нет, тут было что-то другое. Может быть, гордость. Та национальная гордость, унижение которой каждый из нас, бежавших, больно чувствовал в вынужденности покинуть Россию, нашу, свою Россию, оставляя ее в лапах черт знает какой и откуда взявшейся чужеродной сволочи? Мы, другие, справлялись с этим неизбежным болезненным чувством рассудочными силлогизмами, а Чеботаревская не справилась. Когда же она рассудком жила?

Но тогда — как примирить с этим ее желание легального выезда? Ведь стоял на дворе 1921-й, а не 1917—1918 годы, когда петроградская интеллигенция дружно повторяла крылатое слово физиолога Павлова, что единственная услуга, которую порядочному человеку возмож-

но принять от большевицкой власти, — это выдача заграничного паспорта. К 1921 году советский паспорт выродился, напротив, в клеймо, от которого каждый беженец, оказавшийся настолько слабодушным, что согласился получить его, спешил, перейдя границу, отделаться, как от каторжного.

Когда после благополучного бегства в Финляндию мы прибыли в териокский карантин, там среди массы беспаспортных беженцев было несколько выехавших «легально», с советскими паспортами. Все они были довольно состоятельные и как будто приличные люди, но положение их было самое жалкое. С ними никто не сходился, при их приближении замолкали разговоры, даже дети беженские не играли с их детьми. Желать в 1919—1921 годах «легального» советского паспорта за границу значило именно желать себе клейма на лоб. Даже таким бесспорным людям, как Арцыбашев, Бальмонт, советский паспорт, что называется, соком вышел и не раз враждебно поминался как полемистами-фанатиками, так и полемистами из бессовестных плутов, бесстыдников, которым всякое дреколье по руке, лишь бы треснуть. И, признаюсь, кое-кого другого, но уж Сологуба-то с Чеботаревской я никак не могу вообразить в парижской или другой эмигрантской колонии — вооруженных советскими паспортами!

Не думаю, чтобы сдерживала Сологуба и Чеботаревскую дороговизна нелегального ухода и боязнь очутиться за границей без средств. Дорого-то было дорого, что говорить. Мы, семьей, вышли 23 августа 1921 года на финляндский берег воистину «добродетелью, и в рубище почтенной»[6], да еще и задолжав контрабандистам половину условленной суммы. Голы, как соколы, — и никаких перспектив, ибо позади все до нитки ликвидировано, в настоящем абсолютный нуль, а впереди — темна вода во облацех небесных[7], и «куда мне голову склонить»[8]?

Но, во-первых, когда люди доходят до той точки, что либо уходить, либо в Неву прыгать, как дошла Чеботаревская, какие же тут могут влиять материальные соображения? А во-вторых, я не думаю, чтобы Сологуб и Чеботаревская не могли собраться с силами, чтобы и уход оплатить, и за рубежом устроиться на первых порах хоть и не богатым, но и не нищим бытом. В Петербурге они жили лучше огромного большинства литературной братии, сохранили хорошую мебель в большой квартире, без пролетарского вселения, имели прислугу, комнаты отапливались, можно было доставить себе редкое удовольствие снять пальто и посидеть, как в старое приличное время, в пиджаке.

Помню, как-то вечером пригласил Сологуб меня и Александра Кугеля слушать перевод какой-то драмы Лерберга. Кугель с Холмскою прибыли поздно, поэтому чтение затянулось. Время тогда на Острову стояло разбойничье. Я, живя по соседству, часов в десять сбежал, а Кугель с Холмскою остались дослушивать под условием, что их оставят ночевать. Уже одна эта возможность дать приличный ночлег для двух неожиданных гостей, в том числе для дамы, свидетельствует, что жили сравнительно неплохо. Я, например, в то время не мог бы устроить на ночь и гостя-мужчину иначе, как на полу, не раздеваясь. Сколько раз приходилось со стыдом отказывать!

Благодаря эстонскому представителю при СССР, А.Г. Оргу, основавшему в Ревеле русскую издательскую фирму «Библиофил», я имел довольно правильные сведения о развитии эмигрантского книжного рынка. Берлин тогда переживал воистину горячку издательской конкуренции. В таких условиях писателю с именем Сологуба было не страшно и голым очутиться за рубежом — только бы вывезти рукописи. Да и без рукописей нашлась бы немедленно работа, была бы охота работать. А Сологуб был работник пристальный, неутомимый. Вон пишут, что по смерти его нашлось 2000 стихотворений, не бывших в печати!.. Я очень настойчиво указывал Сологубу на эту непременную обеспеченность его, уже начиная с Ревеля или Гельсингфорса, в Берлине, в Праге... Но он отвечал, что, кроме Парижа, его никуда не тянет, а для Парижа излагал наивный, бредовой проект сделаться... французским литератором и, более всего, поэтом!

Подобно прутковскому помещику Силину, он с энергией «изучал французские вокабулы, дабы заслужить всеобщую любовь»[9]. Овладел французскою метрикою и писал стихотворные упражнения, столько же корявые, как превосходны его русские стихи. В архиве, оставленном мною в Петрограде, должны быть образцы этих виршей, так как Федор Кузьмич не раз приносил мне их на показ, не без самодовольства своими успехами. Успехи действительно были — даже удивительные для человека в возрасте за пятьдесят. Но, конечно, это были стихи прилежной институтки старших классов, а никак не французского поэта, который вдобавок собирается существовать за счет своей поэзии. Я откровенно сказал Сологубу, что, по-моему, он напрасно тратит время: ни Бодлера, ни Верлена, ни Малларме ему из себя не выработать, а автор «Мелкого беса» проживет в эмиграции и одним своим русским твор-

чеством. Как известно, Федор Кузьмич был очень обидчив — однако не обиделся. Но и французского стихотворства не прекратил. Последний опыт его в том я имел в руках чуть не накануне своего бегства.

Надвинулась «Таганцевская история». В пресловутый заговор я и теперь еще не верю, как не верил, когда большевики раскричали его на всю вселенную. Был заговор, но не интеллигенции против большевиков, а большевиков против интеллигенции. Взяли и не выпускали Гумилева. В одну ночь дети мои, возвращаясь со своей службы в театральном оркестре, встретили у Александровского сквера жену Лазаревского, в полубезумии метавшуюся вокруг «Гороховой, 2», куда только что заключили ее злополучного мужа. Из Москвы мне дали знать, что мне грозит четвертый арест, из которого я не выберусь так легко, как из первых трех, потому что ВЧК решило использовать «Таганцевский заговор» для чистки неблагонадежного Петрограда железной метлой.

Надо было бежать. Денег не было, но А.Г. Орг, спасибо ему, купил у меня на скорую руку «Зачарованную степь» и «Ваську Буслаева»[10]. Один юный друг, уезжавший с нами, прибавил бриллиантовое кольцо. Часть суммы посредник между нами и контрабандистами согласился взять остающимися вещами, подушками, одеялами и тому подобной рухлядью. Так наколотили 21 миллион: половину того, что надо было заплатить за бегство, по 7 миллионов с человека, что, по словам посредника, выходило дешевле пареной репы. Так как пареная репа была в это время очень дорогим предметом роскоши, то, пожалуй, благодетель наш говорил почти правду.

Мы имели полную возможность увезти еще двух человек на тех же условиях. Сологуб знал о том, но отнесся к моему намеченному предложению с тою же апатией, как вообще ко всей идее нелегального ухода. А я вот уже шестой год не могу простить себе того, что вместо медлительного Федора Кузьмича не переговорил с вихревой Анастасией Николаевной. Может быть, и убедил бы.

Но тут дело пошло уж чересчур быстрым темпом. В ночь на 20 августа был арестован по «Таганцевскому делу» один из ближайших моих друзей, ежедневно у нас бывавший. Я почувствовал сжатие железного круга вокруг нашей семьи. Надо было удирать, покуда круг не сомкнулся[11]. Посредник торопил, потому что его торопили контрабандисты. Два свободных места, имевшиеся в нашем распоряжении, так и остались пустыми; потому что еще одна писательская чета, которой

я предлагал побег, не решилась, опасаясь остаться за границею без средств, а делать иные предложения я и побаивался, и некогда было. И без того уже, когда я 21-го пришел в одно частное издательство, в расчете наскоро продать к переизданию старый роман, заведующая прямо и бесцеремонно спросила меня:

— Значит, бежите?

И 22-го мы исчезли, с еще большим спехом, чем собирались. Чрезвычайно романтическое и даже поэтическое, из ряду вон благополучное, ночное бегство наше в двух лодках по Финскому заливу довольно подробно рассказано моею женою в ее книге «Negli artigli dei Sovieti» («В советских когтях»)[12]. 23—24-го мы проблуждали сперва в лесу, потом ночевали на даче в знакомом имении, а 25-го очутились в карантине, где нашли милейшего Г.Л. Лозинского, эсера Постникова и других, сделавших ту же водную и лесную дорогу.

Почти что первыми вестями дошли к нам в карантин с воли, то есть точнее-то, напротив, из советской неволи, страшные телеграммы о расстреле Таганцева, Гумилева, Лазаревского и 65-ти, а затем — о самоубийстве Чеботаревской. Вольная птица, ненавидевшая свою клетку сверхсильною яростью, но не умевшая найти из нее выхода, дометалась до неизбежного конца: разбила себе голову о железную сетку.

Тому, что, как пишут, Сологуб, по смерти своей Анастасии Николаевны, был уже не человек, а как бы полчеловека, я нисколько не удивляюсь. Скорее удивительно, что он как-то умудрился пережить ее почти на семь лет. Не могу я представить себе это гениальное седое дитя, — может быть, и мудрое, как теперь придают Сологубу постоянный эпитет, но мудростью не человеческой, а фанатической, бредовой, мудростью сказочного кобольда или гнома, — не могу я представить себе Сологуба без его своенравной и буйной, но беззаветно обожающей няни.

Будем надеяться, что кто-либо из остающихся под советскою неволею старых литераторов, товарищей-сверстников Сологуба, подробно, как свидетель, расскажет о сумерках его жизни, об этих горьких и страшных семи его годах без Чеботаревской[13]. Ибо Сологуб, при всех его неровностях и упадочности, не только большой писатель — он великий писатель. Жизнь создателя лучшего русского сатирического романа — этого «Мелкого беса», смело ставшего в один ряд с «Мертвыми душами», «Господами Головлевыми», соперничающего с глуби-

ною психологических проникновений Достоевского и Чехова, должна быть изучена и освещена пред русским читателем в каждом ее моменте.

Пожалуй, более, чем жизнь кого-либо другого из литературно знаменитых современников Сологуба. Потому что его жизнь и творчество едино суть, и одна сила мало понятна без другой. А нельзя не признать, что жизнь Федора Кузьмича, при всей ее кажущейся простоте *внешней*, остается сложнейшей *внутренней* тайной поэта, не менее темной и глубокой, чем тайна загадочного тезки его, тоже Федора Кузьмича, дающего столько головоломной работы русским историкам и еще больше романтическим воображателям и любителям якобы исторических путаниц, былей с небылицами.

ИМПЕРИЯ БОЛЬШЕВИКОВ

В царское время я перенес немало. Тоже обысков довольное число, аресты, тюрьма, ссылка то в Сибирь, то в Вологду, которая казалась мне противнее самой Сибири. В самый канун Февральской революции 1917 года последний царский премьер-министр, пресловутый Протопопов, отправил меня в Ачинск за газетную полемику против его безумной внутренней и бесчестно германофильской внешней политики. Слишком поздно: я успел доехать лишь до Ярославля и там вступить в борьбу с губернатором, отбарахтываясь от дальнейшего следования, как грянувшая революция уже возвратила меня в Петроград. Таким образом, вы видите пред собою человека, обладающего возможностью и правом сравнивать степени насилия старого и нового. И должен сказать прямо: тот полицейский произвол, мерзости которого мы проклинали, которым возмущались как непревосходимым издевательством человека над человеком, против которого мы боролись, как злейшего из всех зол в злом государстве царя, был робкою песнею сравнительно с полицейским произволом советской Чека. Я не намерен проводить пред вашими глазами зрелища расстрелов, пыток, побоев, издевательств и прочих обычных средств этого учреждения. Вы достаточно наслышались о том от эмигрантов и начитались в газетах. Зверства и издевательства были обыкновенны и в царских застенках. Тут разница не столько в качестве мер, сколько в количестве жертв. При царс-

ком режиме они считались сотнями; в острые моменты тысячами; большевики посягнули на миллионы.

Однако вот и существенная качественная разница. Во все свои аресты при царском режиме я, по крайней мере, знал, за что меня берут, сажают в тюрьму, ссылают. Свои публицистические нападения на царизм я почитал своим долгом, необходимым актом любви к свободе и своему народу, но, конечно, понимал, что против «существующего строя» я совершаю заведомое преступление, и «существующий строй» не может его оставить без кары. Мы садились в тюрьмы и ехали в Сибирь с гордым сознанием, что на то мы и шли, рискуя своею свободою ради свободы народа. Наоборот, ни в одном из моих арестов советскою властью я не чувствовал ни сколько либо основательной причины, ни логики. Я отнюдь не намерен изображать себя невинным против советской власти, но в том-то и дело, что все предприятия, в которых я действительно принимал против нее участие, прошли мне даром, а брали меня все три раза, с позволения сказать, черт знает за что. Ничего не объясняли и допросы следователей. Напротив, затемняли, всегда выставляя поводы столь бессмысленные и невероятные, что их ложность и спешная придуманность заметно приводили в недоумение самих допросчиков.

Скажу более того. Как всякая очень свирепая власть, русский большевизм в то же время власть морально трусливая. Из своих публицистических столкновений с нею я вынес странный опыт: она ни разу не тронула меня, когда я действительно выступал против нее резко, прямо и громко, но оставляла отмщение на «после», осуществляя его под каким-нибудь фантастическим предлогом, весьма далеким от отмщаемой вины.

На убийство одного из омерзительнейших тиранов-олигархов советской деспотии Володарского я отозвался статьей, весьма оскорбившей самолюбие глав петроградской коммуны. Несколько дней спустя меня арестовали. Но на допросе, который мне чинил сам пресловутый Урицкий, основатель и первый председатель Чека, впоследствии также убитый, мне не сделано было ни единого намека ни на Володарского, ни на статью о нем. Затем я был освобожден и вышел из тюрьмы, также без объяснения, почему меня освобождают, как и сидел в ней, не имея объяснения, за что я взят. Лишь на свободе узнал я, что моего освобождения потребовал союз печатников: тогда еще советская власть счита-

лась с желаниями рабочих, — не то что теперь, когда рабочий — последняя спица в колеснице и им вертят, как хотят.

В другой раз читал я публичную лекцию под заглавием: «Мертвые мстят». Фанатическая большевичка, по фамилии Остроумова, председательница какого-то просветительного комитета, устроила на половине лекции истерический скандал, предъявив мне заранее приготовленный мандат от исполкома на прекращение моего выступления по ее, Остроумовой, усмотрению. Вышло резкое столкновение между публикой и коммунистической полицией. Какой-то идиот из сей последней махал наганом, Остроумова грозила, если публика не разойдется, приглашением вооруженной силы. Рукопись, по которой я читал, у меня отобрала как corpus delicti[1].

Возвратясь домой, я приготовился к аресту, сжег что следовало либо выпроводил из квартиры к знакомым. Жду. Нет, не трогают. Но почти месяц спустя, когда вся эта история была давно уже всеми забыта, меня внезапно тянут в Чека[2]. На допросе (следователь Леонов) опять ни снова, ни звука о лекции, но ряд заведомо нелепых вопросов о связях и знакомствах моих с меньшевиками. Отвечаю, что каждый сколько-нибудь образованный политически человек в России, — а тем более, предполагается, следователь по политическим делам, — знает, что я с этой партией, при всем моем личном уважении ко многим ее представителям, ничего общего никогда не имел, не имею и не могу иметь по определенной разнице взглядов.

— Однако наши агенты видят вас на их собраниях.

— Перемените ваших агентов: эти галлюцинируют.

— Вы хорошо знаете Финна-Енотаевского?

— Нисколько не знаю.

— А Потресова?

— Точно так же.

— Ну, полно вам представляться: как вам его не знать, он же журналист?

— Разве вы думаете, что у журналистов нет другого дела, как знакомиться друг с другом?

В заключение берут подписку о невыезде из Петрограда и... *обязательство не читать лекций и не делать никаких публичных выступлений иначе, как испросив разрешения у Чека.* Только этим обязательством выдан был истинный и основной смысл ареста. Оно, собственно го-

воря, прозвучало в моих ушах приговором к медленному голодному умиранию, так как после запрещения большевиками всех «буржуазных» газет публичные лекции явились для меня единственным источником чего-то, хоть несколько похожего на заработок. А, понятно, удовольствию обращаться с покорнейшею просьбою к разбойникам «Гороховой, 2» я предпочел лучше вовсе не читать лекций и мертво промолчал два года.

Третий мой случай. Летом 1920 года Максим Горький глубоко огорчил все русское культурное общество, напечатав очень гнусную статью — льстивый гимн Ленину[3]. Этот последний возвеличивался Горьким выше Петра Великого, объявлялся гением, сверхчеловеком, которому позволительно делать опыты социальной вивисекции над организмом России, потому что это-де спасительные для мира «опыты в планетарных размерах». И наконец, Горький называл Ленина «святым мучеником» за то, что диктатор русской коммунистической революции, видите ли, очень страдает душою, когда отправляет «контрреволюционеров» на расстрел. Действительно, нельзя не пожалеть бедного страдальца. Его правительство сознается в истреблении 1 800 000 человек. Цифра эта обозначает, что палачи Ленина убивали ежегодно 450 000, ежедневно 1250, ежечасно 52 человека. Значит, считая по одной минуте жалости на каждого убитого, г. Ленину оставалось в каждом часе всего лишь 8 минут для отдыха от его душевных страданий. Чем так много и беспросветно страдать, пожалуй, было бы лучше просто... не расстреливать?!

Во время нашей общей эмиграции при царском режиме в Париже и Италии мы с Горьким были большие друзья. В России двойственная и двусмысленная позиция, им занятая между торжествующими большевиками и гонимою интеллигенцией, значительно охладила наши отношения. Некоторыми своими ходатайствами за пленников Чека Горький несомненно приносил пользу, но она далеко не искупала вреда, который приносил он в качестве «оподлителя» интеллигенции, дрессировщика ее на покорность, словно голодной собаки издали показываемым кусочком хлеба. В качестве коммунистического министра без портфеля этот двуликий Янус сделался очень антипатичен. Но все же такой низкопоклонной выходки, как статья о Ленине, я от Горького никак не ожидал. Я счел своим долгом ответить на этот гадкий гимн произволу и насилию очень резкою статьею под названием «Ле-

нин и Горький». Напечатать ее я не мог, так как другой прессы, кроме официальной большевицкой, уже давно не существовало, равно как и тайных типографий, а старые связи с заграницей я уже растерял, новые еще не народились. Но статья разошлась по Петрограду в множестве рукописных копий.

— Что же вы наделали? — предупреждали меня знакомые из большевиков старой эмигрантской формации. — Ведь в Чека доставлено уже несколько копий вашей статьи!

Однако Чека безмолвствовало.

Приехал в Петроград знаменитый английский писатель Уэллс, приглашенный Горьким и Красиным видеть и описать, как прекрасно устроена большевиками новая коммунистическая Россия. В то, чтобы Уэллс был куплен большевиками за деньги, я не верю: и ему не расчет, и им не по карману. Но он прибыл с предвзятым намерением использовать русскую коммунистическую революцию как удар контраста по ультрабуржуазному консерватизму Англии, — написать дидактический памфлет вроде, что ли, «Германии» Тацита. Поэтому, конечно, Уэллс уже и сам приготовился рассматривать Советскую Россию сквозь розовые очки. Вдобавок к тому, он в Петрограде остановился у Горького, жил только в кругу Горького, видел только то, что ему показывали Горький и его друзья. Отсюда впоследствии возникла книга Уэллса «Россия во мгле», возмутительная для каждого русского, если он не большевик, но и большевики-то, которые поумнее и почестнее, ею брезгуют: пересолил приятель! Лучшая характеристика этого произведения, по-моему, заключается в том, что первый русский перевод его поторопились сделать не большевики, которых оно желало обласкать, а вместо того сконфузило, но эмигранты-монархисты, остроумно увидевшие в нем удобный повод явить почтеннейшей публике (ведь Уэллс, как романист, в русской интеллигенции очень любим и авторитетен, да и кто же станет спорить, что не по заслугам?) легкомысленную лживость, беспардонную болтовню и глубочайшее невежество этого «знатного иностранца» на гастролях у Смольного[4].

На банкете, данном знаменитому английскому гостю петроградскою печатью, я в наивной уверенности, что Уэллс человек, лишь противовольно ослепляемый коммунистической компанией Горького, попробовал раскрыть ему глаза речью, в которой разоблачал окружающую его ложь и пытался изобразить истинный ужас положения

русского общества и русских писателей в особенности. Откровенно признаюсь, что говорил я не только для чествуемого, но и для чествующих, потому что из предшествовавших ораторов, запуганных председательством и властными одергиваниями Горького, лишь один Питирим Сорокин позволил себе выйти из приторно-хвалебного льстивого «юбилейного» тона и сказал несколько сдержанных, но дельных, горьких, смелых слов. Речь моя произвела впечатление ошеломляющей дерзости. Какими-то таинственными путями она нашла громкий отклик в европейской печати. С заметным неудовольствием, однако, не мог не отметить ее в книге своей и Уэллс. Среди моих друзей не было человека, который не пророчил бы мне если не расстрела, то вечного заточения. Со мною прощались, как с покойником. И, однако, Чека опять сконфузилось, пришипилось, предпочло не заметить.

Зато ближайшею весною меня, жену мою и старшего сына продержали на Шпалерной слишком месяц по фантастическому обвинению в соучастии по организации Кронштадтского восстания. Между тем мы в нем не только не участвовали, но не имели о нем ни малейшего представления до тех пор, пока не объявила о нем стенными афишами и уличными бюллетенями сама советская власть. Что и следователю (г. Карусь) было очень хорошо известно и ясно. Восстание послужило только предлогом расплатиться по счетам за Ленина, М. Горького и Уэллса, о которых опять-таки не было упомянуто ни словом.

Тюрьма наша (она отчасти изображена в очерках жены моей «Птицы в клетке»[5]) построена была при императоре Александре II с расчетом на 600 заключенных. Большевики втиснули в нее 3500. Сомневаюсь, чтобы из них хоть сотня-другая знали сколько-нибудь определенно причину своего ареста и заключения. Все сознавали себя случайными жертвами трусливого произвола, который охраняет себя по системе заложничества, забирая в неволю и муча бездейственные массы парализованного общества, в расчете их пленом, страданиями и смертною угрозою устрашить и привести в нерешительность активных врагов большевицкой узурпации. Царские охранки при всех своих подлостях все-таки до подобной низости как будто не доходили. Наши сторожа то и дело угрожали нам, что в случае, если кронштадтские инсургенты двинутся на Петроград, все заключенные в тюрьмах будут перерезаны. Этою целью они объясняли необычную стоянку во дворе тюрь-

мы отряда вооруженных коммунистов. Возможно, что врали, — тем более что разведчики, якобы проникшие к коммунистам, уверяли, будто те обещают:

— Не бойтесь, никого не тронем, всех выпустим.

Однако угрозы действовали. Тюрьма была далека от геройского настроения. Напротив. Я имел несчастие быть свидетелем, как в страхе за свою жизнь люди очень порядочные и заведомо враждебные большевикам, с ненавистью жаждущие их падения, тем не менее рыдали, рвали на себе волосы и проклинали кронштадтских инсургентов, зачем те не сдаются и своим героическим упорством держат на волоске их драгоценную жизнь. А когда Кронштадт пал, общее явное огорчение неудачею инсуррекции[6] не могло скрыть в глазах большинства тайного восторга, что теперь, значит, отпадает кошмарный страх тюремной бойни. О том, что в Кронштадте будут расстреляны тысячи героев, самоотверженно устремившихся к нашему общему освобождению от самого мерзкого гнета, какой когда-либо терпела наша родина, — о том бедные двуногие крысы в тюремной ловушке не хотели, не позволяли себе помнить!

РЕПТИЛЬНАЯ ВЕРБОВКА

Прага. 8.1. (Русспресс)[1].

Газета «Трибуна» сообщает:

«Советское правительство ассигновало несколько миллионов германских марок на коммунистическую пропаганду в Европе в форме организации целого ряда газет на русском языке, которые, прикрываясь лозунгом беспартийности, должны привлекать русскую эмиграцию на сторону советов. Как передают, такая газета будет организована и в Праге. Советское правительство в последнее время делает много попыток к привлечению эмиграции на свою сторону, так как антибольшевистская деятельность русских эмигрантов сильно затрудняет сношения большевиков с иностранными государствами».

Прочитал я в «Руле» эту выразительную телеграмму и считаю своим долгом сделать по ее поводу некоторое тактическое сообщение, может быть, позднее, но, думается мне, теперь необходимое. Очень сожалею, что

не сделал его раньше, но на то были у меня весьма основательные причины, внушенные личными отношениями.

Не новость какую-нибудь возвещает нам пражская телеграмма. В последнее время очень много шума в зарубежной русской печати делает соглашение между большевиками и некоторою частью научно-литературной интеллигенции. Несколько ее представителей выступили с громкими апологиями советской власти в заграничных изданиях, содержимых московским правительством. А также в одном органе, о котором, в уважение двух-трех имен, с ним сопряженных, хотелось бы думать лучше, чем заслуживает его проповедь. Я говорю о «Смене вех»[2]. Человеку, четыре года наблюдавшему и на собственной своей шкуре претерпевшему неописуемые безобразия советского режима, идиллические взгляды гг. Ключникова, Устрялова и двух-трех других гелертеров, приведенных на путь соглашательства умозрительными рассуждениями в кабинетном порядке, вдали от прелестей власти, к единению с которой они приглашают, кажутся более чем странными. Однако я никогда не позволю себе заподозрить этих благодушных и покладистых идилликов в недобросовестном происхождении их пропаганды. К сожалению, я не могу сказать того же о некоторых иных, ныне вдруг усердно записавших во славу советской России из недр ее, в особенности же из Петрограда. Причины:

1) Я не в состоянии уяснить себе психологический процесс, по которому люди, еще в июле и августе говорившие о советской власти не иначе как с пеною у рта, в сентябре оказались внезапно ее ревностными хвалителями и бешеными ругателями эмиграции, ей супротивной.

2) В последние летние месяцы прошлого года, в короткий период советского ухаживания за интеллигенцией, петроградским Наркоминделом была сделана весьма неуклюжая и грубая попытка массового подкупа местной литературной братии «с именами» — и как раз для работы в заграничных «беспартийных» изданиях.

Говорю это утвердительно и без малейшего сомнения, потому что сам испытал атаку подобного искуса.

Одному из сановников петроградской коммуны я и семья моя были несколько полезны в годы нашей старой эмиграции 1904—1916 годов, когда он был еще эсером[3]. Человек недурной и, бесспорно, лично честный. К коммунистам он перешел в 1918 году не из выгод, но по убеждению и, как ревностный новобранец, принялся им служить не только за страх, но и за совесть. Исключительная работоспособность

быстро выдвинула его на видные посты. Однако и на них он остался одним из весьма немногих тузов большевизма, к которым ненавидящая молва не прилепляет ярлыка с аттестацией взяточника и казнокрада. Тесно связанный с Наркоминделом, он оставлял в иностранцах, с ним сносившихся, наилучшее впечатление человека культурного и бескорыстно идущего навстречу нуждам лиц, к нему обращающихся, то и другое в советских учреждениях редкость почти беспримерная. О наших прежних отношениях он сохранил добрую память и, в свою очередь, теперь старался быть нам полезным, не опасаясь даже являться в подозрительных глазах своих новых товарищей приятелем семьи писателя, слывущего среди большевиков упорным «контрреволюционером». Ужасающая нищета, в которую мы, по упорству этому, впали, волновала его очень. В зиму 1920—1921 года, когда все деревянные вещи в квартире были сожжены и даже воровать топливо поблизости стало неоткуда, а издали — сила не брала, мы не погибли только потому, что этот человек в самые критические минуты дважды выручил нас из конечной беды неожиданною присылкою дров. По моим просьбам он не раз хлопотал пред Чрезвычайкою за некоторых безвинно арестованных. А в последний наш «семейный» арест (мой, жены и сына), во время Кронштадтского восстания, хлопотал и за нас самих. Словом, этого человека я, при всей нынешней разности наших путей, могу помнить только добром, а злом не за что. И потому-то я долго не решался, боясь повредить ему, предать гласности дело, в которое он неуклюже замешался, — не сомневаясь, что тоже лишь из доброго желания помочь мне и, по незнанию условий литературной этики, наивно предполагая, будто не совершает ничего худого...

Летом 1921 года чиновник этот получил назначение на крупный заграничный пост. Он очень давно не бывал у меня перед тем, но на неделе своего отъезда вдруг посетил меня дважды и оба раза не застал меня дома. Во второе свое посещение он сказал моим детям, что, во-первых, приезжал проститься, а во-вторых, имеет для меня важное «предложение», которое и начал было излагать одному из моих сыновей. Но, не понадеявшись на понятливость четырнадцатилетнего мальчика, предпочел присесть к столу и написать записку. Однако и тут у него дело не пошло. Написав несколько строк, он разорвал записку, смял, бросил в корзину и встал, говоря детям, что лучше созвонится со мною по телефону. Это было уже поздним вечером, часов в 10. Поведение гостя, очень нервное и возбужденное, показалось детям

странным. Напуганные недавним арестом, они подумали, что и теперь тут что-то неспроста: не приезжал ли благосклонный к нам большевик с предупреждением о какой-либо новой опасности? Охваченные подозрениями, они записку гостя в корзине разыскали и, когда мы с женою возвратились домой, вручили ее нам, так как сами не осилили ее прочитать по трудности почерка. Записка, изорванная на несколько клочков, в трех из них сохранила некоторую цельность. Два заключали прощание и изложение «предложения», оборванное на полуфразе на самом, что называется, интересном месте, а третий — какие-то начертанные в раздумье над текстом записки цифры в кружках и квадратиках и ниже адрес: «Т. Кольцов (от 11 ч. до 4 ч.) 95—72 или позвать т. Кольцова, или узнать его телефон, 23—72 — вызвать (вечером)».

Так как я ни о каком Кольцове, кроме поэта, никогда и не слыхивал, то сперва подумал было, что этот адрес случайно обронен вместе с запискою. Но, разглядывая, заметил, что он написан на той же бумаге, и бумага — моя, выдранная из конторской книги, счетовая, на которой в последние годы приходилось мне, за невозможностью иметь лучшую, писать свои произведения. Значит, нет, — адрес предназначался для меня... Заинтригованный всею этою таинственностью, я не без любопытства ждал, чем она разрешится. В час ночи меня вызвали в квартиру наших верхних соседей к телефону. Звонил недавний гость. Сперва шли слова с его стороны сердечного прощания, с моей стороны — доброго напутствия. Затем беседа перешла в фазис «предложения».

— Александр Валентинович, — гудела телефонная трубка, — вам, конечно, известно, что за границею сейчас издается множество белогвардейских газет?

— Известно.

— Они то и дело печатают о советской власти всякую ерунду и вранье... Вы согласны с этим?

— Я очень мало видал русские заграничные издания, но в номерах, которые мне попадались, русская информация действительно была слабовата и много сведений было ошибочных... например, Мережковскому кто-то корреспондировал совершенно невероятные небылицы...

— Вот видите! Мы решили бороться с этим злом.

— Кто это мы?

— Наркоминдел... путем печати.

— А именно?

— В противовес белогвардейским газетам мы хотим завести за границею свои собственные...

— Да что же вам их заводить? Ведь они уже у вас существуют... Я видал их в Доме ученых, в Доме искусств... «Путь», «Новый путь», «Новый мир»...

— Ну, что! Этих газет никто не читает. То есть — читать-то читают, пожалуй, да только свои, кто и без того наш. Нужны газеты, которые читала бы широкая публика, чтобы наши опровержения шли в массу...

— И вы думаете этого достигнуть?..

— Созданием беспартийных газет, в которых должны принять участие известные и читаемые публикой литераторы...

— Вот как?! Что же эти известные и читаемые литераторы будут делать в ваших беспартийных газетах?

— Да что им угодно... Пусть пишут свои повести, рассказы, стихи... нам это безразлично... Ну, конечно, если что-нибудь против советской власти, то нельзя... а так — вообще, что угодно...

— Так... а борьба с «белогвардейскою ложью» от них тоже требуется?

— Нет, этим уже займется политическая часть... Они пусть только пишут, чтобы, понимаете, в газете были имена, к которым публика привыкла...

— Понимаю, понимаю... Значит, просто-напросто требуется, чтобы «известные и любимые» литераторы поставили на органах ваших опровержений свой бланк?

Он с неподражаемой наивностью ответил:

— Если хотите, да.

— И что же, вы рассчитываете получить его?

— Да, мы уже имеем согласие от десяти... даже от двенадцати писателей...

Признаюсь: меня ожгло — словно из трубки полымем полыхнуло... Я едва не крикнул: «Врете!» — но, к счастью, успел сдержаться, вовремя и с большою скорбью вспомнив, что по ту сторону провода находится человек, который за тринадцать лет знакомства никогда еще не был нами замечен во лжи...

— Это интересно... — сказал я, помолчав. — Можно узнать, кто такие?

Он начал считать, но, должно быть, моя пауза и затем молчаливое внимание показались ему подозрительными, потому что после шесто-

го имени он круто оборвал, словно спохватился, что не в меру откровенничает, или его одернул кто-то...

— Ну, и там разные другие...

— Удивительно! — отозвался я.

— Что же удивительного, Александр Валентинович? — возразил он. — Ведь это же никого из них не обязывает поступаться какими-нибудь там своими убеждениями... просто, пусть пишут... больше ничего, только пусть пишут... А между тем сопряжено с большими выгодами... Оплата будет хорошая. Во-первых, здесь — дипломатический паек. Во-вторых, гонорар в Финляндии — 2 марки, в Германии — 1 марка за строку. Не помню: может быть, наоборот. В-третьих — право, в счет этого гонорара, получать из-за границы по валюте... все что угодно!.. Видите, как хорошо!

— Прямо Голконда!.. — говорю я, обдумывая дипломатический отказ на «предложение», которое, ясное дело, сейчас последует. И уже слышу:

— А вы, Александр Валентинович, не примете участия?

Вместо дипломатического отказа с языка моего невольно срывается короткое, резкое:

— Нет.

Секундная пауза.

— Почему же?! — настаивает он тоном удивления и заметно огорченный.

— Да не подходящее мне это дело, — называю я его по имени и отчеству.

Он меняет тон:

— Конечно, раз вы к нам относитесь враждебно...

Меня охватывает гневное сожаление, что я говорю с ним по телефону, а не лицом к лицу. Как я скажу ему: «Да! Враждебно!», если я знаю, что у него телефон не об одном проводе, и мне давно уже сдается, что, покуда мы говорили, рядом с ним кто-то стоит и также слушает другою трубкою? Да если я и ошибаюсь в этом, то ведь на центральной станции имеется будка Чека, которая перехватывает все подозрительные ответственные разговоры. Немало народа в Петрограде поехало на Гороховую, 2 через час-другой после не только слишком откровенного, но даже просто лишь непонятного для чекистов разговора.

— Дело не во враждебности или невраждебности, — уклоняюсь я, овладев собою, — а в том, что я, во-первых, как вам известно, человек безусловно беспартийный и, следовательно, обязанный быть бес-

пристрастным на обе стороны. Во-вторых, я ведь в литературе главным образом публицист — следовательно, в газетном деле на коньке художественности ехать не могу, а политических и общественных тем буду лишен по силе беспартийности и беспристрастности. Вы вот собираетесь разоблачать белогвардейскую ложь. Хорошо. Ну, а скажите, существование красноармейской лжи вы признаете?

— Бывает, — смеялся он.

— И что же — красноармейскую ложь вы тоже разоблачать будете?

— Зачем же? Этим и белогвардейцы занимаются слишком усердно...

— Вот видите! Значит, так или иначе, но публицист у вас будет поставлен в непременные условия однобокой политической лжи... Ведь это вы, по правде-то говоря, со старого режима, по обыкновению, берете? затеваете коммунистический «Le Nord» — только на русском языке?

— Пожалуй, оно несколько похоже... — согласился он.

— А потому, — докончил я, — третье и самое главное: когда в Петрограде умерла последняя частная газета, я дал себе слово, что иначе как в условиях свободной печати вновь писать больше никогда не стану. За три года я не напечатал ни одной строки ни белой, ни красной, ни нейтральной. При этом и останусь до лучших времен.

— А что вы называете лучшими временами? — насторожился он.

— А вот — когда литератор опять получит возможность свободно писать что он хочет, в том органе, который выбрать он тоже свободно захочет. Если вы желаете, чтобы в журналистику вернулись настоящие литераторы, зачем вам какие-то заграничные издания, в которые они отсюда будут посылать статьи? Освободите печать здесь, внутри страны. Тогда, если в литературе найдутся люди, согласные с вами, они сами придут к вам — и не ради дипломатического пайка, а по убеждению. А ведь так — теперь — подумайте: даже и согласных своих вы ставите в самое неловкое положение, так что и они избегают советских изданий... А вам еще, видите ли, теперь вон что возмечталось — привлечь и нас, несогласных!

Пауза.

— Жаль, — говорит он, — очень жаль... Я вас понимаю, Александр Валентинович, но... Я ведь, собственно, потому, что знаю, в каком вы стесненном положении, а это вас сразу устроило бы...

— Спасибо, но — нет уж, знаете, как-нибудь перебьемся, поголодаем...

— А может быть, надумаетесь?

— Нет, голубчик, не надумаюсь.

— Ну да все-таки на всякий случай, так как я завтра уезжаю, то позвольте вам оставить телефон товарища, который этим делом орудует... Товарищ Кольцов...

Ага, вот она, загадочная записка-то с номерами телефонов!

— Это какой же Кольцов? — любопытствую я.

В качестве приметы сообщает, что муж одной известной драматической артистки[4].

На том и расстались с наилучшими пожеланиями друг другу.

Должен сознаться, что, когда я отошел от телефона, меня всего трясло от бешенства. До чего же мы доведены! Какими же до подлости задавленными рабами должны считать нас эти господа-победители наши, чтобы в ставке на наш голод и холод предлагать почти что как акт великодушия этакую бесстыдную рептильную сделку! И еще уверяют, будто их предложения находят сочувственников! И еще изумляются, что после двенадцати, сказавших «да», тринадцатый смеет говорить «нет»!.. Я не спал всю ночь — думал о фамилиях, мне названных, и не мог поверить: большинство так искренно и откровенно ненавидело и ругало узурпацию большевиков...[5] В том, что мой собеседник не лгал, не клеветал, я тоже не мог сомневаться: не такой человек! Но, может быть, ему солгали? его обманули?..

Назавтра я отправился к одному из названных. Его имя меня особенно беспокоило, потому что это человек когда-то из ряду вон блестящий, но теперь тяжелобольной, разбитый апоплексическим ударом, трудно говорящий, трудно мыслящий[6]. В здравом уме и твердой памяти он, конечно, отправил бы всякого предлагателя-соглашателя ко всем чертям, но в таком подавленном состоянии — кто его знает? Он мог дать согласие машинально, не разобрав, в чем дело, или, того проще и хуже, кто-нибудь из близких, наивно безразличных насчет литературной этики, потрудился пообещать за него... Он выслушал меня вяло, видимо, весь сосредоточенный мыслью на своем недуге, и спросил спотыкающимся языком:

— Это в Финляндии они затевают издавать?

— Да, в Гельсингфорсе.

— Тут приезжал ко мне один... просил тоже... сотрудничать... в новой... беспартийной газете... в Финляндии... Вы как думаете — это то или не то?

— Не знаю, но, во всяком случае, я вас предупредил...

— Да... очень вам благодарен...

Вижу: человек сидя засыпает... Уехал от него в большой печали и тревоге.

Назавтра было очередное заседание комитета Дома литераторов. Первым человеком, кого я встретил, входя в дом, был В.В. Муйжель. Он отозвал меня в сторону и, от имени некоего А—ра, сделал мне предложение, не приму ли я участие в «новой беспартийной газете, которая должна возникнуть в Гельсингфорсе», обеспеченная крупным капиталом. Я очень резко ответил:

— Нет, и вам не советую.

— Почему же?! — смутился он.

— Потому что это, наверное, издание Наркоминдела.

Всполошился:

— Да что вы говорите?! Откуда у вас такие предположения?!

Я изложил ему свою телефонную беседу. Он слушал, качал головой и возмущался:

— Ах, скоты! вот скоты!..

И очень горячо благодарил меня за предупреждение...

Эти два разговора убедили меня, что интрига раскидывает сеть широко и надо вывести ее на свежую воду громкою огласкою. Поэтому, как скоро началось наше комитетское заседание, я попросил слова и рассказал во всеуслышание все, что теперь здесь изложено черным по белому. Положение мое было очень щекотливое и даже вызывающее, потому что двое из названных мне в телефонной беседе сидели тут же. Но, когда я кончил рассказ, среди безмолвия коллег, видимо потрясенных и удрученных, один из двух возвысил голос:

— Все это совершенно верно. Мне тоже было сделано точно такое же предложение, и, конечно, я от него отказался.

Это сняло с моего сердца тяжелый камень. Другой названный — близкий, старый мой друг. Я был совершенно уверен, что он не способен пойти на службу большевикам, но очень опасался, что, мягкий, добродушный и деликатный, он не сумел сказать «нет», если к нему ловко подъехал и обвел его вокруг пальца какой-нибудь интриган. С ним я объяснился с глазу на глаз. Негодование его, почти бешеное, меня совершенно успокоило. Называя мне его в числе благоприобретенных, самоуверенные большевики «считали без хозяина», а может

14. Заказ № 833.

быть, ввиду общеизвестной нашей старой дружбы, играли, что называется, «на заманиловку»[7].

До самого своего отъезда из Петрограда я пользовался всяким случаем для того, чтобы огласить интригу рептильной вербовки возможно шире. А очутившись на финляндской территории, немедленно сообщил ее письмом в ближайшую газету, гельсингфорсскую «Новую русскую жизнь», где и появилось краткое оповещение о предпринятом советами подлоге гласности, но без имен[8]. Потому что в то время я еще не был уверен, не оболганы ли большевиками, подобно тем двум, также и остальные. В настоящее же время — имена и называть уже не нужно: они — общеизвестны, ибо en toutes lettres[9] воссияли на столбцах рептильной печати... Включая, увы, и В.В. Муйжеля!.. Изустно же весь этот плачевный синодик я еще в Териоках поименно сообщил отбывавшему одновременно со мною карантин журналисту-эсеру С.П. Постникову, и — любопытное дело: его корреспонденция о том в «Волю России» *пропала на почте.* Словом, десятки лиц в Териоках, Выборге, Гельсингфорсе и Берлине, слышавших от меня имена эти в августе и сентябре, могли убедиться в октябре, ноябре и декабре, что я был пророком печальным, но верным.

Кончаю тем, с чего начал. Нисколько не сомневаясь в существовании большего или меньшего числа литераторов, дошедших до жизни соглашательской путем хотя неправильного, но искреннего рассуждения, я должен, однако, указать, что уготован был большевиками для петроградской литературы и другой соглашательский путь, гораздо менее почтенный, но, к сожалению, более торный. Голод не тетка, холод не дядя, четыре года проходить раздетым-разутым — не шутка, а видеть вокруг себя голодными и холодными, раздетыми и разутыми близких своих — пытка, от которой и у сильных духом плачет-молит пощады немощная плоть и, ослабевшая, с сокрушенным сердцем принимает иной раз самые плачевные и стыдные компромиссы... Катерина Ивановна Мармеладова была женщина очень хорошая и сильная духом, а все-таки настал и для нее ужасный час, когда на отчаянный вопрос Сони: «Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?» — она ответила: «А что же? чего беречь? Эко сокровище!»

И — «не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей неевших»...[10]

А ежели в подобном то непрерывном ужасе, и плоть слаба, и душонка-то малосильная?.. А кругом водит-вьется, сатанит в качестве «Дарьи Францевны, женщины злонамеренной»[11] агент из Смольного.

— Дипломатический паек... В Гельсингфорсе две марки, в Берлине марка. Выписка всех продуктов-товаров по валюте...

— Чада плачущие! да неужели же отцу свою писательскую честь заплечным мастерам в наем отдать и застенок пером восславить?

— «А что же? чего беречь? Эко сокровище!..»

И совершается самозаклание души, приносится жертва сатанинская.

Прав был, ох как прав был, старый вещий человек, протопоп Аввакум:

— «Выпросил у Бога светлую Россию Сатана...

Выпросил — и позорит ее, и топчет мозг и сердце ее в слякоть...

И — когда ее Бог у Сатаны назад отнимет, — неведомо!»[12]

ПАСХАЛЬНЫЕ ПАМЯТКИ

Пасха — самый волнующий и потому и самый любимый детский праздник. Его необычная ночная торжественность и резкие контрасты с Страстною неделею будят в младенческих душах нетронутые глубины первых удивлений. Почти каждый вспомнит из своего детства философские моменты, вызванные пасхальной ночью, как толчки либо к религиозному экстазу, либо к религиозной полемике.

Елки забываются, Пасху помнишь всю жизнь. Я помню все свои детские Пасхи начиная с самой плачевной: в городе Мосальске, когда я горел в кори и горько ревел, что хочу со всеми в церковь, а А.И. Чупров и мать моя (его родная сестра), тоже чуть не ревя, доказывали мне, что я ошибаюсь, и Пасха уже давно прошла, и никакого праздника нет, и потому надо смирно лежать в постели, пить малину и потеть под семью одеялами.

Когда мне было шесть лет, я выучил наизусть пасхальные сцены «Фауста» Гете по переводу Павлова из растрепанного «Русского вестника» в зеленом переплете[1]. До самого первого звона читал я их вслух отцу моему — в старом монастырском доме Мещовского духовного училища. Это было хорошо и красиво. Навсегда осталось, как Гейне сказал бы, расцветающим воспоминанием печального сердца.

Вообще Пасха — единственный праздник, романтическая красота которого переживает победу материалистического мировоззрения. Отблеск ее в душе, знающей этот праздник с детства, остается до конца дней поэтическою привычкою, почти потребностью. Чупров и Чехов, два позитивиста до мозга костей, оба москвичи, любили встречать пасхальную ночь в Кремле. Правда, и красота же — эта московская пасхальная ночь! Чернышевский также никогда не пропускал пасхальной заутрени.

Жаль, что русские композиторы мало использовали русскую пасхальную ночь как симфоническую тему. Ликующая поэзия Иоанна Дамаскина, великолепный пафос Иоанна Златоуста, народные волны крестных ходов, вопли хоров, малиновые звоны колоколов и громы салютующих пушек, — какие огромные и светло-пестрые настроения для музыкального торжества, какая широкая гармоническая и инструментальная программа! «Светлый праздник» Римского-Корсакова, конечно, мастерски сделан, но, по правде сказать, несколько суховато.

Замечательно, что самое мрачное и самое веселое, что есть в церковной поэзии: чин отпевания и пасхальная служба, — созданы вдохновением одного же творца: Иоанна Дамаскина. Вот — громадный лирик. Если вчитываться в эти великолепные песни, поражаешься реализмом их поэзии. Иоанн Дамаскин был сириец. Он еще застал, быть может, время, когда страстный, полудикий народ-солнцепоклонник в отчаянии погребал в землю безвременно погибшего Адониса и пьянел до безумия в мистических восторгах, когда Солнце-Адонис воскресал. Говорят, что в Иерусалиме пасхальная ночь и теперь — чудо массового экстаза, быстро проходящего всю гамму страстей от глубочайшего отчаяния до восхищений, отнимающих ум, потрясающих неистовые толпы буйственным пьянством духа. Я не был в Иерусалиме, но пережил подобную пасхальную ночь в македонском Монастыре (Битолии) в 1901 году. Было поразительно красиво и дико, но впечатление получалось совершенно языческое. Сверкающие образы Адониса или Озириса вставали в памяти среди воплей и факелов легче, чем лик Христа.

Из музыкальных отголосков на пасхальные мотивы я больше всего люблю «Христос воскресе» в «Детских песнях» А.С. Аренского. Вообще, какую силу потеряли мы в этом преждевременно погибшем человеке. Антоний Степанович Аренский мог бы быть Антоном Павловичем Чеховым музыки. К сожалению, он не понимал своего композиторского таланта в той мере, как понимал свой литературный талант Чехов.

Последний всю жизнь мечтал написать роман, но не написал; и остерегался писать, боясь понапрасну истратить силы и не оправдать высоких ожиданий публики. Аренский — быть может, самый интимный композитор со времен Шопена — имел влечение, род недуга[2], писать огромные оперы, скучные, как пустыни, и не весьма богатые оазисами. Славянин до глубин души, в каждой ноте, в каждом звуке он вдруг музыкально эмигрировал в Индию, которой не знал иначе как по картинкам, и написал «Наля и Дамаянти». Эта опера-слон вполне оправдывает слова Гейне: «Поэма о Нале и Дамаянти замечательна тем, что гуси в ней гораздо умнее людей, а люди ведут себя как настоящие гуси».

Вот я вспомнил о Пасхе в Монастыре. Я был там тогда гостем русского консула А.А. Ростковского, трагическая кончина которого в скором последствии наделала немало шума и едва было не вызвала международных осложнений: он был застрелен турецким часовым, фанатиком-албанцем. Даты больших праздников — своего рода поминанья за упокой. Начнешь вспоминать, когда с кем проводил эту ночь, — могилы, могилы, могилы...

В Печерском Патерике есть рассказ, что однажды на Пасху диакон, кадя среди гробниц в пещерах, осмелился воскликнуть к мертвецам:

— Христос воскресе, отцы и братие!

И отцы и братие ответили из глубины могил:

— Воистину воскресе!

Хожу я по кабинету своему, гляжу на стены, обвешанные портретами... И сказал бы им, как дьякон, — да не ответят. Для этого и в жизнь, и в смерть верить надо.

Если портрет умершего человека сохранил его улыбку, она с течением времени незаметно превращается в ироническую.

Когда исчезает вера? Когда начинает она колебаться? Мои родители не нудили нас, детей, верить, не мучили обрядами и постами, но было время, когда мы сами верили, сами страстно обрядничали и усердно постились. Как исчезло это? Меня, например, никто не «развивал». Думаю, что просто гимназия заставила растаять детскую веру своим сухим, формальным, насильственным «Законом Божиим», Филаретом, Рудаковым[3]. В гимназии я уже не помню себя религиозным.

А до гимназии вот как было. Семилетним забрался я в Страстной четверг с одним мальчиком, моим ровесником, в чулан, где хранилась провизия, заготовленная для пасхального разговления. Нам достало

религиозного ужаса, чтобы не коснуться окорока ветчины и прочих мясных соблазнов. Но под прессом, в тряпке, лежал и сочился сквозь холстину творог, предназначенный для сырной пасхи. Не вытерпели соблазна, пососали тряпицу. Затем три дня ходили и тряслись от страха, расшибет нас во время заутрени гром Господень или нет? Ничего, не расшиб. Очень, помню я, эта безнаказанность меня удивила и ободрила.

А волнения и страхи перед таинственностью первой исповеди? Уверенность, что в случае особой твоей греховности батюшка запряжет тебя в какой-то «железный стул» и будет на тебе ездить по церкви? В фантастический стул этот твердо верили и с искренностью его боялись.

Пятнадцать лет. Пятый класс гимназии. В голове: Добролюбов, Писарев, Чернышевский. Подневольное говенье, о котором надо принести классному наставнику церковное свидетельство. Страстная среда. Благовест к вечерне. Надо идти исповедоваться, а есть хочется, как волку. Лезу в буфет: курица жареная стоит, — маленькая сестра Люба, по болезни, должна была есть скоромное. Съел я курицу эту и пошел в церковь. Протопоп Павел Акинфиевич Лебедев исповедует:

— Держите ли посты?

— Держу, батюшка.

А он вдруг:

— То-то ты, постник, на меня курицей дышишь!

27 лет спустя услыхал я со сцены — в «Вишневом саду» Чехова, как Гаев говорит Яшке:

— Отойди, от тебя курицею пахнет!

И не выдержал, рассмеялся: вспомнился о. Павел, седой и негодующий... Хороший был поп. Строгий.

Самую дикую пасхальную ночь провел я в Минусинске в 1902 году: чуть ли не с баррикадами у дверей и револьвером в руке. Там в эту ночь обыкновенно громилы грабят по квартирам, пользуясь отсутствием обывателей на время церковной службы. Вот тебе и «друг друга обымем!»[4].

Когда-то в великом посту я, девятнадцатилетний студент-первокурсник, вообразил себя несчастливо влюбленным. Да так этому поверил, что в горести уехал из Москвы в Питер и там — в пасхальную ночь — байронически бродил по Дворцовой набережной, размышляя: а не утопиться ли мне? Но так как помнил, что вода — мокрая, то не утопился.

На Николаевском мосту вдруг окружила меня кучка бесшабашной васильеостровской богемы-студентиков, художничков, швеек, горничных.

— Христос воскресе, коллега!

— Воистину воскресе!

— Да что же плохо? Вы до трех раз!

— Идем к нам разговляться!

— Маня-Мышка, Клавдия-Пострел! берите его под руки! Держите, чтобы не сбежал.

И принялись мы христосоваться, стало быть, в ночь на Светлое Воскресенье, а кончили — только в понедельник на Фоминой, на Николаевском вокзале. И провожали меня в Москву со слезами и Клавдия-Пострел, и Маня-Мышка, и Даша-Котик, и меньше всего на свете я думал о той жестокой москвичке, из-за которой очутился в Петербурге и имел удовольствие перезнакомиться со всеми этими милыми, хотя и весьма демократическими, девицами и коллегами. Исцелился — как бабушка отчитала... Ау! Анна Николаевна! Где вы? Живы ли? Как теперь ваша фамилия? Сколько у вас детей? Да нет, что я! Сколько внуков и внучек?!

Однажды — мне было тогда лет 17 или 18 — я весь четверг Страстной недели провел в московском Чудовом монастыре. В этот день я по протекции знакомого участкового пристава (охраною тогда в Москве и не пахло!) видел царя Александра II не более как в аршине расстояния.

Тогда же я в первый раз был свидетелем чуда. С четырех часов утра и до поздних обеден иноки чудовские непрерывно угощали нас, немногочисленных гостей своих, в подвальце каком-то превосходным портвейном и еще лучшею мадерою из собственных погребов.

Я смолоду был страшно крепок на вино. Пил его еще очень немного, но в случае надобности мог сосать, как губка: алкоголь не производил на меня ни малейшего впечатления. Часам к 8 утра я один остался трезвым между мертво пьяными: кругом ни единого разумного слова, ни единого человеческого лица. Но к 10 ½, когда царь вышел из Успенского собора и двинулся в Чудов монастырь, все: монахи, полиция, публика гостей монастырских, моментально вытрезвились и стояли с такими постными лицами, будто никогда в рот не брали ничего, кроме воды. Но, едва царь, помолившись у гроба Алексея-митрополита, прошел в Николаевский дворец, все эти искусственно

оживленные мертвецы ослабели и раскисли с такою же чудотворною быстротою.

Мне в тот день выпало благополучие, редкое для российского обывателя: я отправил участкового пристава в участок. Человек был знакомый и хороший, но не выдержало его благородие атаки Бахусовой и сомлело на дежурстве, легло костьми. И повез я его, в трупном виде, к пенатам домашним на извозчике. Зрелище было величественное. Прохожая публика изумлялась зело. Да и было чему: не участковый гимназиста, но гимназист участкового, пластом лежавшего, повелительно мчал по стогнам московским. Лицо наизнанку и медаль наоборот!

18, 19, 20, 21-й... Молодые студенческие Пасхи с барышнями. Всенощное скитание толпами из церкви в церковь, потоки вольнодумного задора и остроумия. И — сколько утешения, если рассмешишь компанию до того, что одна барышня за другою фыркают и выбегают из церкви, как обуянные бесом! А богомольцы косятся и ненавидят. А дома — жестокий разнос: зачем, мол, ходите в церковь, если не умеете в ней прилично вести себя? Заутреня вам не оперетка!

80-е годы. Москва. Еду Моховою. Вижу: против университета вылез из собственной коляски и среди улицы качается, как былинка под ветром, пресловутый на всю Россию Михайло Алексеевич Хлудов. Кучер в ужасе. А «сам» орет:

— Извозчик! Извозчик!

Окликаю:

— Миша, что с тобою?

— Желаю ехать на извозчике! Мой подлец не везет... Я его... в Туркестан!

— Помилуйте, — оправдывается отчаянный возница. — Ежели они теперича в таком — изволите заметить — виде, а желают, между прочим, чтобы в зоологический сад?!

— Зачем тебе в зоологический сад, Миша?

— Желаю, чтобы для праздника... супруге... слоновье яйцо!

Насилу я убедил его, черта, что слоны яиц не несут. Да и то он представлял возражения.

Тоже помер давно. Бедный богатый Иорик! Где твои миллионы? твои дворцы? твои ручные тигры? твои прихлебатели? твои любовницы? твоя красавица-жена, которая не сошла с ума из-за безобразий твоих только потому, что ты сам поторопился с ума сойти?[5] Что обнаружилось... в Венеции! Запер супругу в шкаф с драгоценной хрустальной

посудой и давай его трясти, радуясь, что хрусталь бьется вдребезги, а Вера Александровна под блестящим стеклянным дождем мечется в ужасе, не в силах выйти. Хорошо, что услыхали ее вопли, прибежали на голос и отняли. Как она, злополучная, не изрезалась, — чудо!

Прелестны и веселы были в конце 70-х и даже в начале 80-х годов московские пасхальные гулянья под Девичьим, еще не задавленные полицейскою подозрительностью. Я описал их в своих «Восьмидесятниках». В Петербурге я застал еще балаганы Царицына луга, с дедами и пр., но в Москве эти гулянья были как-то дружнее и простодушнее, «землянее», что ли. В Питере гулял сплошь город, в Москву откуда-то издали еще сочилась деревня.

Удивительнейшая этнографическая Пасха была у меня в Париже, когда я «жил принцем» в Отейль на Вилле Монморанси. Разговлялось 27 человек, но христосоваться было некому и не с кем, ибо... 26 евреев!

Тифлисская Пасха с грохочущим Метэхом, ракетами с Вэры и св. Давида, с выстрелами из каждого садочка, с незримыми ангелами, ходящими по золотой цепи из Мцхета на Казбек и обратно... Говорят в Тифлисе:

— Курам водам пил[6] — наш будыш!

Есть в Грузии что-то неотразимо захватывающее — и навсегда.

Я не видел Тифлиса уже больше 30 лет, а часто тоскую по нем, как по своей родине. Хорошо там. Все хорошо. Земля и люди, небо и виноград.

Имена человеческие, кончавшиеся на «дзе» и «швили», прежде всегда звучали приятно в ухе моем. При «царизме» некоторый диссонанс вносил генерал Думбадзе, о котором я во время оно написал сатирический очерк «Джигит»[7]. Не человек был, а какая-то новая система одушевленного скорострельного пистолета. А теперь имена на «швили» столь компрометированы товарищем Сосо Джугашвили, что даже он сам предпочитает, чтобы его ругали тов. Сталиным.

Пока я был молод, мне редко удавалось провести Пасху дважды в одном и том же городе. И скачки все — не узенькие: Македония — Минусинск — Вологда — Париж — Италия... Невольно образовалась суеверная привычка загадывать вперед: в следующем-то году, мол, куда же меня, вечного при всех режимах эмигранта, еще занесет судьба? «Странники есмы и скитальцы в сей жизни...»[8] В старости засел что-то слишком крепко в итальянской пустынной глуши. В преддверии каждой новой Пасхи помышляю:

— А русскую-то Пасху даст ли Бог вновь видеть?

Литературно писать Пасху трудно. Надо верить, т.е. чувствовать воскресшего Христа как трепещущий символ единения восторженного человека с пробужденною природою. А много ли в литературе таких верующих людей? В большинстве русские изобразители Пасхи либо более или менее искусные декламаторы и притворщики под веру, им чуждую, либо Пасха для них — лишь далекий и красивый фон, на котором возникают и проходят интересующие их прекрасные поэтические фигуры.

У Чехова, величайшего русского художника-реалиста и совсем не религиозного мыслителя-материалиста, есть чудесные пасхальные рассказы второго типа. Декламировать же и притворяться он не умел, не хотел, да и других отучивал... Мне от него один раз сильно досталось за пасхальную легенду с хорами серафимов, аккордами небесных арф и Христом в освещении голубых, розовых и золотых лучей.

С пасхальными рассказами бывают удивительные приключения. В редакцию «России» один гусь принес мне повествование, в коем преталантливо изображал Рождество Христово. Говорю:

— Душа моя, вы праздники перепутали.

— Ах, черт! Из святочной залежи осталось!..

Покойный московский журналист Родзевич был изумительный труженик, газета поглощала его целиком. Работая, он становился совсем человеком не от мира сего. Однажды в пасхальную ночь он сидит себе в редакции да правит гранки. Входит Дорошевич, в то время еще маленький городской репортер.

— Христос воскресе, Иван Иванович!

— Ну, что же? — ворчит Родзевич. — Дайте в хронику заметку строк на пятьдесят.

Не одни беллетристы смешивают рождественскую ярмарку рассказов с пасхальною. Случается запутаться в двух праздниках и утомленным христославам. Помню в местечке Смеле старика-протопопа. Пришел на Рождество с крестом и затянул благолепно-тонким голоском:

— Ангел вопияше благодатней...

Ужаснувшийся причт хватает протопопа за ризы:

— Батюшка, Рождество! Батюшка, не Пасха, а Рождество!

А батюшка не внемлет и тянет:

— Чистая Дево, радуйся, и паки реку: радуйся!..

— Батюшка, Рождество!

Наконец услыхал.

— А! Рождество?.. Ну, ничего... У Бога все праздники равны... «Рождество Твое, Христе Боже наш...»

Я не видал ни одной картины, удовлетворительно изображающей Воскресение Христа. Ирреальность сюжета настолько глубока, что краски и карандаш пасуют. Бурную неопределенность момента, мне кажется, в состоянии передать только музыка. И чем меньше в ней будет слов, тем громче скажется иллюзия...

Чудесное «Воскресение Христа» написал нынешний знаменитый монах-композитор Лоренцо Перози, гениальный мистик, которого, однако, года два-три тому назад святые отцы Ватикана чуть не упрятали в дом умалишенных за еретические бредни: намерение снять рясу и перейти в протестантство. Мистерии Перози, еще малоизвестные вне Италии, ибо, предназначенные для церкви, они редко оглашают концертные залы, — целый новый мир религиозного вдохновения. В нынешнем году слушаю вместо пасхальной заутрени — по радио — «Христово Воскресение» Перози — из Генуи, под управлением моего сына Даниеле...

Неисповедимы судьбы Твои, Господи!.. Радио... Генуя... Молитвенные песнопения из-за ста километров... Сын — итальянский дирижер... Ну, мог ли я вообразить такую странную Пасху четверть века тому назад?

Да, пожалуй, и ближе, когда переживались в «красном Петрограде» (1918—1921) ужасные Пасхи «без всего». Хотел показать детям, выросшим в Италии, красоту русской пасхальной службы. Повел их по соседству в Иоанновский монастырь на Петербургской стороне. Народу было — яблоку некуда упасть. Но молились с мрачными лицами, с полными отчаяния глазами, и далеко не у всех были свечи в руках. Хор голодных монашенок едва звенел ослабевшими голосами: «Христос воскресе из мертвых», и казалось, Он не воскресал, но умирал... Из церкви я вышел с мокрыми глазами, с истерическою судорогою в горле. А по пути домой дети спрашивали с недоумением:

— Как же ты говорил, что это самый радостный русский праздник?!

ПРИЛОЖЕНИЕ

Жизнь человека, неудобного для себя и для многих

Воспоминания Александра Амфитеатрова
(1862—1929)

[План книги]

Книга I. В вихре молодости (1862—1898)

Детство. Русская провинция 60 лет назад[1]. Московская гимназия. Классическая система[2]. Император Александр II. Турецко-сербская и Русско-турецкие войны. Генералы Черняев и Скобелев. Революционеры. Цареубийца Желябов. Пушкинский праздник (1880). Тургенев. Достоевский. Либералы и консерваторы, западники и славянофилы. Смерть Александра II.

Блестящая эпоха Московского императорского университета[3]. Начало литературной деятельности. Сатирические журналы. Антон Чехов. Первая московская перепись. Лев Толстой. Владимир Соловьев.

Театральные увлечения[4]. Русский театр. Гости Москвы: Томмазо Сальвини[5], Эрнесто Росси[6], Элеонора Дузе[7]. Сара Бернар, Эрнст Поссарт[8], Людвиг Барнай, Мунэ-Сюлли[9], и др.[10]

Учусь петь. Первое путешествие в Италию. Картина старого артистического Милана. Анджело Мазини[11]. Антонио Котоньи. Франческо Таманьо. «Отелло» Верди[12]. Арриго Бойто[13], Франко Фаччо. Мое короткое служение лирической сцене[14].

Покинув оперу, посвящаю себя исключительно литературе. Мои путешествия пешком по России. Кавказ. Тифлис. Первые успехи в журналистике[15]. П.И. Чайковский. Возвращение в Москву[16]. Мой первый роман. Приглашение в «Новое время». Его редактор Алексей Суворин. Мой успех под псевдонимом Old Gentleman. Великий Князь Сергей [Александрович]. Первая политическая командировка в Болгарию в 1894. Русско-болгарские отношения. Стамбулов[17]. Его падение и убийство[18]. Константинополь. Афины, Рим, Вена (Шенбрунский двор). Встреча с Леопольдом Захер-Мазохом.

Вторая и третья политические поездки по Балканам. Болгария и Князь Фердинанд[19]. Болгарские политические деятели: К. Стоилов, Радославов, генерал Петров и др. Болгаро-русское примирение. Княжич Борис (1896). Константинополь. Два землетрясения. Султан Абдул Гамид. Осман Паша. Русские послы в Константинополе: А. Нелидов и И. Зиновьев. Русская имперская политика на Востоке. Греция. Корфу. Императрица Елизавета Австрийская. Македония. Убийство русских консулов в Монастыре и Скутари (Албания). Борис Сарафов. Цетинье. Черногорский царь Николай. Сербия. Николай Пашич. Король Александр Обренович и королева Драга.

В Италии: встречи с Франческо Криспи, кардиналом Ледоховским. Король Умберто и королева Маргерита. Генрих Семирадский[20]. Литературная Болонья: Дж. Кардуччи, Лоренцо Стеккетти, Эдмондо де Амичис[21]. Теодор Моммсен в Риме подсказывает мне идею крупного исторического сочинения об эпохе Нерона[22]. Театральный мир Италии: Тина ди Лоренцо[23], Андреа Маджи, Густаво Сальвини, Джованни Эмануэль, Андреа Никколини и др.

В России: Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде в 1896 г. Министр Сергей Витте. Великий химик Дмитрий Менделеев. Фельдмаршал Милютин и др. Максимилиан Гарден.

В Польше: Генрик Сенкевич[24], Болеслав Прус[25] и др. Русско-польские отношения.

Книга II. Сквозь бури (1899—1929)

Университетские беспорядки 1898—1899 гг. Разногласия и разрыв с «Новым временем». Основываю газету «Россия». Ее бурный успех. Мой друг и коллега, сатирик Дорошевич. Литературные и правительственные интриги против нас. Министры Горемыкин, фон Плеве и др. Памфлет «Господа Обмановы». Газета закрыта, я сослан в Восточную Сибирь (1902).

Сибирская жизнь. Большой успех моих романов «Виктория Павловна», «Марья Лусьева» и «Восьмидесятники».

Жизнь в Вологде. Русско-японская война. Газета «Русь» Суворина-сына. Возвращение в Петербург. Новые студенческие беспорядки. Моя статья в «Руси» в защиту студентов. Вторая ссылка в Вологду. Мне запрещено публиковать свои произведения. Пишу под псевдонимами. После убийства Плеве эмигрирую за границу (1904).

Париж: мир русских эмигрантов. Парижское масонство. Ложа «Космос». Русская Школа социальных наук. Проф. Максим Ковалевский. Мечников. Французские друзья. Знакомства: русский министр Петр Дурново и Жорж Клемансо. Г-жа Менар-Дориан, друг революционной России. Г-жа Северин. Анатоль Франс.

Русская революция 1905 г. Я в Петербурге. Кампания против адмирала Дубасова, «усмирителя революции». Бегство от ареста. Париж. Сближение с социалистами: Плеханов[26], Николай Чайковский. Михаил Рейснер[27]. Карл Либкнехт. Французские синдикалисты[28].

Жизнь на Лигурийском побережье (1906). В. Бурцев в борьбе против провокатора Азефа. Шлиссельбургские узники. Герман Лопатин. Эсеры: Виктор Чернов и др. Террорист Борис Савинков[29]. Дружба с Максимом Горьким[30]. Его социалистическая школа на Капри. Луначарский. Ленин. Итальянские социалисты: Ф. Турати и Анна Кулишова. Артуро Лабриола, Энрико Ферри. Чезаре Ломброзо. Гульельмо Ферреро[31]. Артуро Граф[32].

Мессинское землетрясение.

Сербско-австрийский конфликт 1909 г. Моя четвертая поездка на Балканы. Сербия: король Петр Карагеоргиевич. Князья Георгий и Александр (нынешний король). Австрийский посол граф Фергаеши. Генерал Живкович. Полковник Машич.

Путешествие по Германии 1913 г. накануне войны.

Начало Великой Войны. Моя борьба против «пораженцев» и мой призыв к русским эмигрантам. Охлаждение к «пораженцу» М. Горькому и сближение с Плехановым. Ярость социалистов-пораженцев. Моя деятельность в итальянской печати в пользу России и за вступление Италии в войну. Слабость российской дипломатии в Риме в начале войны. Моя борьба против князя фон Бюлова.

Великий князь Николай Николаевич. Посол М.Н. Гирс. Джолитти. Саландра. Соннино. Луиджи Кадорна. Асквит в Риме. Российская думская делегация в Риме: будущий премьер-министр Протопопов. Лидер конституционных демократов проф. Милюков. Будущий президент Чехословацкой республики, проф. Т. Масарик. Румынский министр Диаманди. Витте в Риме перед смертью.

1916. Возвращение в Россию. Париж: Аристид Бриан. Посол Извольский. Лондон: проф. Т. Масарик. Уикхэм Стид. Плавание на корабле «Юпитер» в непогоду. Христиания. Стокгольм. Печальные впе-

чатления от России. Распутин. Протопопов — премьер-министр. Реакция и пораженчество.

Газета «Русская воля». Леонид Андреев. Борьба против Протопопова и германофилов. Моя криптограмма с информацией о приближающейся революции. Осуждение на ссылку в Восточную Сибирь. Февральская революция 1917 г. По дороге в ссылку возвращение из Ярославля.

Хаос Временного правительства. Керенский. Министр обороны Гучков. Милюков. Альбер Тома в Петрограде. Итальянские дипломаты. Граф Делла Торретта. Генерал Корнилов. Казацкая газета «Вольность». Сатирический журнал «Бич». Октябрьская революция. Конец русской свободной печати.

1917—1922. Голодание и холодание в Петрограде под гнетом большевицкого ига[33]. Конец русской интеллигенции. Почти поголовное вымирание всего моего знакомства. Я трижды арестован. Уэллс в Петрограде. Моя резкая речь на обеде в честь его.

Окончательный разрыв мой с Максимом Горьким[34]. Кронштадтское восстание. Я в тюрьме — с женой и с сыном Даниеле. Смерть Леонида Андреева. Смерть поэта Александра Блока. Так называемый «Заговор Таганцева». Арест и расстрел поэта Гумилева. Бегство в Финляндию. Контрабандисты.

Гельсингфорс: генерал Моренгейм, генерал Энгель[35]. Берлин: газета «Руль»[36]. Убийство Набокова. Прага. Президент Масарик, Крамарж[37], проф. Любор Нидерле и др[38]. Художники и музыканты. Русская эмиграция. Профессор Петр Струве. Генерал Врангель.

Италия (1922—1929). Генуэзская конференция. Развитие фашизма[39]. Муссолини в Леванто. Мое выступление против коммунистов[40]. Мои исторические и литературные труды. Литературные, музыкальные и художественные связи в Италии. Мои сыновья. Эмигрантская литература.

КОММЕНТАРИИ

СТАРИК СУВОРИН

Публикуется по рукописи (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 1108). Впервые мемуарный очерк, написанный в 1934 г., опубликован С.В. Шумихиным (Новое литературное обозрение. 1995. № 15. С. 174—182) с неточным прочтением ряда слов. Установить, публиковался ли очерк при жизни Амфитеатрова, нам не удалось.

[1] *Дворянский полк* — военное учебное заведение, основанное в 1807 г., а в 1859 г. преобразованное в Константиновское военное училище.

[2] Рукопись словаря, содержавшая ссылки на сочинения В.Г. Белинского, вызвала недовольство начальства, и директор Дворянского полка сделал выговор Суворину. Словарь остался неопубликованным. См.: *Динерштейн Е.А.* А.С. Суворин: Человек, сделавший карьеру. М., 1998. С. 13.

[3] Суворина прозвали «стариком» не только из-за возраста, но и из-за длинной бороды, а также чтобы отличать от сына Алексея, который тоже был журналистом.

[4] У Суворина были сыновья Михаил (1860—1931), Алексей (1862—1937), Владимир (1865—1887), Валериан (1865—1888), Борис (1879—1940), Григорий (1881—1885).

[5] Цикл «Маленькие письма» в «Новом времени» Суворин начал в сентябре 1889 г. и продолжал его до смерти.

[6] Отец Суворина, Сергей Дмитриевич (1785—1855), происходил из крестьян-однодворцев, но в момент рождения Суворина он был капитаном в отставке и имел право на дворянство.

[7] И.Н. Альтшуллер вспоминал, что «после процессов Золя и Дрейфуса он [А.П. Чехов], возмущенный отвратительным поведением “Нового времени”, навсегда и резко порвал с редакцией и не мог хладнокровно говорить о ней. Но лично с Сувориным он сохранил, хотя и несколько охладевшие, отношения до конца» (А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 545; об отношениях Суворина и Чехова см. также: *Динерштейн Е.А.* Указ. соч. С. 243—267).

[8] О продаже Чеховым своего собрания сочинений А.Ф. Марксу см.: *Видуэцкая И.П.* А.П. Чехов и его издатель А.Ф. Маркс. М., 1977. Суворин не предложил Чехову более выгодных условий, однако после смерти Чехова в очередном «Маленьком письме» обвинил А.Ф. Маркса в том, что тот эксплуатировал

Чехова и чрезмерно нажился на издании его собрания сочинений (см.: Новое время. 1904. 4 июля).

[9] См.: *Суворин А.С.* Татьяна Репина. СПб., 1889; *Он же.* Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения. СПб., 1904; *Он же.* Вопрос. СПб., 1902.

[10] Возможно, тут аллюзия на название романа А.С. Суворина «В конце века. Любовь» (СПб., 1893).

[11] Амфитеатров ушел из «Нового времени» в марте 1899 г.; см.: *Суворин А.С.* Дневник. М., 1999. С. 325.

[12] По четвергам у А.С. Суворина в 1890-х гг. собирались сотрудники «Нового времени», Д.В. Григорович, Я.П. Полонский, А.П. Чехов и ряд других его знакомых; в 1870—1880-х гг. собрания у него проходили по воскресеньям.

[13] Суворин записал в своем дневнике 1 апреля 1899 г.: «Амфитеатров забрал вперед тысяч 20 и улизнул <...>» (*Суворин А.С.* Дневник. С. 329).

[14] Суворин в 1904 г. частично субсидировал издание религиозно-философского и литературного журнала «Новый путь» (см.: *Динерштейн Е.А.* Указ. соч. С. 268—269), выходившего в этом году под редакцией П.П. Перцова, а с середины 1904 г. — Д. Философова и при активном участии в редакционной работе Д. Мережковского и З. Гиппиус. О попытках Мережковского получить у Суворина деньги на издание «Нового пути» стало известно из его письма Суворину от 11 ноября 1903 г., опубликованного в «Новом времени» 28 января 1914 г.

[15] В выходивших под редакцией В.Ф. Корша «С.-Петербургских ведомостях» А.С. Суворин с декабря 1866 г. по 1874 г. еженедельно публиковал под псевдонимом «Незнакомец» фельетонный цикл «Недельные очерки и картинки». Он «приводил в восхищение тогдашнюю оппозиционную публику» (*Боборыкин П.Д.* Воспоминания. М., 1965. Т. 1. С. 379), «его блестящими, остроумными фельетонами зачитывалась молодежь, а он ее революционизировал, внушал ей презрение к старому быту, неуважение ко всякому “начальству”» (*Изгоев А.С.* А.С. Суворин // Рус. мысль. 1912. № 9. Отд. 3. С. 2).

[16] Далее цитируется (с сокращениями) письмо Чехова В.А. Тихонову от 10 февраля 1889 г.

[17] 1 Коринф. 15:41.

[18] Суворин довольно прохладно относился к актрисе Л.Б. Яворской, но ей протежировал имевший немалое влияние на Суворина В.П. Буренин. См. по указателю (особенно с. 214, 242, 253) в: *Суворин А.С.* Дневник.

[19] И.Л. Щеглов 30 июня 1888 г. писал Чехову: «Где Суворин? Не знаете ли его адреса, когда он вернется в Петербург? У меня иногда бывает “Суворин-шмерцен” [от нем. Schmerz — тоска]: с ним так славно иногда побеседовать — это сама чуткость» (цит. по: Переписка А.П. Чехова: В 3 т. М., 1996. Т. 1. С. 533).

[20] Тимон Афинский, живший в V в. до нашей эры, — мизантроп и отшельник, широко известный благодаря сочинениям Лукиана и трагедии Шекспира «Тимон Афинский».

[21] См. примеч. 12 к очерку «Любимый дед девяноста лет».

[22] Имеется в виду убийство при очень двусмысленных обстоятельствах первой жены Суворина в 1873 г., а также смерть в 1885 г. дочери Александры и четырехлетнего сына Григория, самоубийство в 1887 г. другого сына, Владимира, и, наконец, смерть в 1888 г. сына Валериана.

[23] «Сладкой привычкой» назвал жизнь Пушкин в письме П.А. Осиповой, написанном около 26 октября 1835 г.

[24] *Аспидная доска* — доска для письма из аспида (черного сланца).

А.И. СУВОРИНА

Печатается по: Возрождение. 1936. № 3980. 26 апреля.

[1] По адресу Гороховая, 2 находилась Петроградская ЧК, а на Шпалерной — тюрьма предварительного заключения.

[2] Цитируется стихотворение А.Н. Майкова «Алквиад» (1853).

[3] См.: *Орфанов М.И.* В дали (из прошлого): Рассказы из вольной и невольной жизни. М., 1883.

[4] скитальцев, от немецкого Vagabund — бродяга, скиталец.

[5] Роман у Суворина был только один — «В конце века. Любовь» (СПб., 1893), и он имел определенный успех, в 1904 г. вышло 6-е его издание.

[6] Речь идет о главном военно-морском прокуроре с 1890 г. К.Ф. Виноградове.

[7] охотно (*лат.*).

[8] Чехов последний раз печатался в «Новом времени» в 1892 г., и с этого года он стал регулярно помещать свои произведения в «Русской мысли».

[9] *Гарсоньерка* — небольшая холостяцкая квартира.

[10] Цитируется песенка из повести А.Н. Апухтина «Дневник Павлика Дольского» (1895).

УКРАИНСКАЯ ДУЗЕ

Печатается по: Сегодня. 1934. № 334. 3 декабря.

[1] Неточно цитируется стихотворение А.С. Пушкина «Под небом голубым страны своей родной...» (1826).

[2] Цитируется осуществленный А.В. Дружининым перевод «Короля Лира» У. Шекспира (д. 5, сц. 3).

[3] То есть шкале.

[4] *Плахта* — украинская «нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой материи» (Н.В. Гоголь), *запаска* (в Малороссии) — женская поясная одежда, которую носили поверх плахты. Имеется в виду, что Заньковецкая играла женщин из украинского простонародья; так, например, Оксана в «Ночи перед Рождеством» Гоголя ходила «в плахте и запаске».

[5] См.: *Суворин А.С.* Хохлы и хохлушки. СПб., 1907.

[6] Речь идет о «сцене в 1-м действии» А.М. Федорова «Пациентка» (шла в Александринском театре в 1901 и 1905 гг.; опубл. в: Библиотека театра и искусства. 1908. Кн. 11).

[7] Перечислены пьесы И.П. Котляревского (1838), Т.Г. Шевченко (1843) и М.П. Старицкого (1890).

[8] Неточно цитируется рассказ Н. Лескова «Импровизаторы» (1892).

[9] Амфитеатров ошибается. В 1922 г. было торжественно отмечено 40-летие сценической деятельности М.К. Заньковецкой, ей было присвоено звание народной артистки УССР, один из киевских театров был назван Театром им. М.К. Заньковецкой, и, поскольку по состоянию здоровья она в том же году покинула сцену, ей была назначена «усиленная пожизненная пенсия» (см.: *Дурылин С.Н.* Мария Заньковецкая. Киев, 1982. С. 357—365).

ВЫМЕРШИЙ ТЕАТР

Впервые (без названия, в цикле «Листки»): Возрождение. 1927. 9 октября. Печатается по: *Амфитеатров А.* Знакомые музы. Париж, 1928. С. 5—13.

[1] Да будет легка над ним земля! (*лат.*) — некрологическое пожелание.

[2] Амфитеатров неточен. В гимназию он поступил в 1873 г., а Живокини умер в 1874 г. Так что похоронная процессия Живокини не могла быть его «первым большим уличным впечатлением», и было ему тогда уже более 11 лет.

[3] М.С. Щепкин умер в 1863 г., то есть за 11 лет до смерти В.И. Живокини.

[4] П.М. Садовский умер в 1872 г., когда Амфитеатрову не было и 10 лет. Пьеса «Не все коту масленица» шла в Малом театре с октября 1871 г. по февраль 1872 г.

[5] Имеется в виду актер Малого театра С.В. Васильев, его жена, актриса того же театра Е.Н. Васильева, и его брат, П.В. Васильев, игравший вначале в провинции, а потом в Александринском театре.

[6] светской дамы (*фр.*).

[7] инженю; девушка-простушка (*фр.*).

[8] и прекрасно (*ит.*).

[9] Комедия А.Н. Островского (1852).

[10] Это произошло в 1877 г.

[11] Пьеса П.Д. Боборыкина «Доктор Мошков» шла в Малом театре в 1884 г.

[12] То есть под строгим надзором (от *лат.* ferula — розга, хлыст).

[13] Трагедия «Звезда Севильи» (осуществленная С.А. Юрьевым переделка пьесы Лопе де Веги «La estrella de Sevilla») шла в Малом театре в 1886—1890 гг.

[14] Этими словами Сальери характеризует Моцарта в монологе, открывающем драматическую сцену А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери».

[15] См. примеч. 8 к очерку «Достоевский на Пушкинских празднествах 1880 года».

[16] Цитируется стихотворение Пушкина «Перед гробницею святой...» (1831).

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ЕРМОЛОВА

Печатается по: Возрождение. 1928. № 1042. 9 апреля.

[1] Цитируется приписываемое А.С. Пушкину стихотворение «Она тогда ко мне приходит...» (1818).

[2] Аллюзия на название сборника рассказов А.П. Чехова «Хмурые люди» (СПб., 1890).

[3] Источник цитаты установить не удалось.

[4] Приводится изречение английского писателя Хораса Уолпола (1717—1797) из его письма 1776 г.; см.: The Oxford dictionary of quotations. Oxford; N.Y., 1992. P. 719.

[5] Неточно цитируется стихотворение А.Л. Боровиковского «На смерть Некрасова» (Отечественные записки. 1878. № 1; см. также: Поэты-демократы 1870—1880-х годов. Л., 1968. С. 492—493).

[6] Драма А.Ф. Писемского (1859).

[7] Пьеса «Около денег» (1883) была написана А.А. Потехиным по собственному одноименному роману совместно с В.А. Крыловым.

[8] См.: *Савина М.Г.* Горести и скитания: Записки. 1854—1877. Л., 1927.

[9] См. примеч. 8 к очерку «Достоевский на Пушкинских празднествах 1880 года».

[10] Цитируется реплика Чацкого из 1-го явления III действия «Горя от ума» А.С. Грибоедова.

[11] Пьеса И.Н. Ге «Второй брак» (1879) шла в Малом театре в феврале 1880 г. Амфитеатров преувеличивает ее успех — она прошла всего 4 раза.

[12] Премьера драмы Лопе де Веги «Овечий источник» состоялась в Малом театре 7 марта 1876 г.

[13] «*Манфред*» — «драматическая поэма» в 3-х действиях Д. Байрона.

[14] Премьера «драматических сцен в 4 действиях» «Полоцкое разоренье» А.В. Амфитеатрова прошла в Малом театре 26 декабря 1897 г.

[15] «*Орлеанская дева*» — пьеса Ф. Шиллера (1801).

[16] «*Татьяна Репина*» — пьеса А.С. Суворина (1888), премьера ее в Малом театре состоялась 16 января 1889 г.

[17] Речь идет о комедии А.И. Сумбатова-Южина «Муж знаменитости», поставленной в Малом театре в 1884 г.

[18] Драма А.И. Сумбатова-Южина «*Цепи*» впервые была поставлена в Малом театре в 1888 г.

[19] Комедия М.И. Чайковского «*Симфония*» была поставлена в Малом театре в 1890 г.

[20] Драма Вл.И. Немировича-Данченко «*Цена жизни*» была поставлена в Малом театре в 1896 г.

[21] «Драматическая легенда» А.И. Сумбатова-Южина «*Измена*» впервые была поставлена в Малом театре в 1903 г.

[22] Амфитеатров очень неточно цитирует VI главу романа И.С. Тургенева «Рудин». Прототипом Покорского был Н.В. Станкевич.

МУЖ ЕРМОЛОВОЙ

Печатается по: Возрождение. 1928. № 1099. 5 июня.

[1] Аллюзия на комедию А.И. Сумбатова «Муж знаменитости» (1884).

[1а] *Батманов* — герой повести А.Ф. Писемского «М-г Батманов» (1852), *Тамарин* — герой одноименного романа М.В. Авдеева (1852).

[2] О злоупотреблениях в Беговом обществе Амфитеатров писал в «Новом времени» 24 сентября 1894 г. и 18 февраля 1895 г.; о его выступлениях по другим упомянутым темам см. примеч. 36 к очерку «Оклеветанный Чехов».

[3] Цитируется стихотворение Н.А. Некрасова «Влас» (1855).

[4] Цитируется стихотворение Н.А. Некрасова «Замолкни, Муза мести и печали!..» (1855).

[5] Имеется в виду рассказ Куприна «Рыжие, гнедые, серые, вороные», опубликованный в журнале «Иллюстрированная Россия» в феврале 1928 г. (№ 8).

[6] Имеется в виду великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор с 1891 г.

[7] У М. Чайковского нет такой пьесы, по-видимому, имеется в виду его комедия «Борцы» (Театрал. 1897. № 139), шедшая в Малом театре в 1897 г., главный герой которой — делец.

[8] *Кинто* — уличный разносчик в Тифлисе; А.И. Южин (настоящая фамилия — Сумбатов) был грузином по происхождению.

[9] Русский драматический театр под дирекцией Амфитеатрова открылся 16 сентября 1898 г. в помещении Театра В.А. Неметти (Офицерская ул., 39), но просуществовал только по начало декабря. См.: *Петровская И., Сомина В.* Театральный Петербург. СПб., 1994. С. 230.

[10] См.: *Амфитеатров А.* Лиляша: Роман одной женской жизни: В 3 т. Рига: Грамату Драугс, 1928.

[11] Имеется в виду апостол Павел. См.: Ефес. 5:32.

[12] Неточно цитируется XIII строфа второй главы «Евгения Онегина» А.С. Пушкина.

[13] Имеется в виду пьеса М. Метерлинка «Синяя птица», с большим успехом поставленная в Московском художественном театре в 1908 г.

[14] Трагедия Ф. Грильпарцера «*Сафо*» была поставлена в Малом театре в 1892 г.

МЕЦЕНАТ-ЭСТЕТ

Печатается по: Сегодня. 1931. № 146. 28 мая.

[1] *Общество свободной эстетики* существовало в Москве в 1906—1917 гг. На его собраниях, проходивших в помещении Литературно-художественного кружка, читались и обсуждались доклады и литературные произведения, проходили концерты и художественные выставки. Среди членов: К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, Вяч. Иванов, И. Северянин, Ф.А. Степун, В.Ф. Ходасевич и др. А. Белый вспоминал: «Иван Иванович Трояновский, душа комитета [Общества свободной эстетики], незабываем; ему было лет пятьдесят, а он, как ребенок, носился с каждым достижением [М.Ф.] Ларионова, [П.В.] Кузнецова, [С.Ю.] Судейкина; друг [И.Э.] Грабаря, ценитель “Мира искусства”, перенесший симпатии на группу тогдашних буянов искусства, — он был моде чужд, увлекаясь всю жизнь далеко не модным занятием: разведением орхидей <...>» (*Андрей Белый.* Между двух революций. М., 1990. С. 201; см. также по указ.; о деятельности Трояновского в Обществе свободной эстетики см. также: *Сабанеев Л.* Мои встречи. «Декаденты» // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 345).

[2] «Полупес, полукоза, нехристь» (*польск.*).

[3] Чехов писал А.С. Суворину 11 сентября 1888 г.: «Медицина — моя законная жена, а литература любовница» (*Чехов А.П.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1975. Т. 2. С. 326).

[4] О его дружеском общении с Левитаном см.: *Трояновская А.И.* Мои воспоминания о Левитане // И.И. Левитан: Письма. Документы. Воспоминания. М., 1956. С. 187—188; с И. Грабарем — см.: *Грабарь И.* Моя жизнь. М., 2001 (по указ.).

[5] Цитируется стихотворение А.С. Пушкина «Чернь» (1828).

«ТА, КТО ВСЕХ ПРЕЛЕСТНЕЙ»

Печатается по: Сегодня. 1932. № 203. 24 июля.

[1] Не совсем точно цитируется стихотворение М.Ю. Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно...» (1841).

[2] Имеется в виду заметка А.А. Плещеева «Уходящая Москва», помещенная в «Сегодня» 1 июля.

[3] Вчерашние предки: Роман: В 4 т. Новый Сад, 1928—1931; Княгиня Настя: Роман для театра // Амфитеатров А. Собр. соч. СПб., [1912]. Т. 19. С. 3—165; об остальных упомянутых произведениях см. примеч. 164, 242, 303 к «Из литературных воспоминаний».

[4] Цитируется серенада «Гаснут дальней Альпухары...» из первой части драматической поэмы А.К. Толстого «Дон Жуан» (1862); на слова этой серенады П.И. Чайковский написал романс.

[5] «*Хованщина*» — опера М.П. Мусоргского (1880).

[6] Героиня стихотворения Лермонтова «Тамара» (1841).

[7] «Героем Плевны» был дядя А.Н. Ганецкого генерал И.С. Ганецкий.

[8] Первым мужем В.И. Фирсановой был служащий Московского Учетного банка В.П. Воронин, с которым она развелась в начале 1880-х гг. По воспоминаниям Н.А. Варенцова, после этого она «начала кутить, потеряв всякий стыд и совесть, устраивая в своем доме афинские вечера, на один из них попал молодой красивый офицер Ганецкий. Его мужественный вид пленил ее. Он наотрез отказался от мимолетного сближения, чем сильнее возбудил в ней вспыхнувшую страсть, и она решилась сделаться его женой. Ганецкий круто повел [себя] с нею, неоднократно его нагайка стегала ее за распущенность; она с ним тоже развелась, и этот развод ей обошелся тоже не меньше миллиона» (*Варенцов Н.А.* Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. М., 1999. С. 536).

ТЯЖКАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Печатается по: За свободу! 1922. 20, 21 апреля. Под статьей стоит: «Прага, 12 апреля 1922 г.».

[1] В.Д. Набоков был убит 28 марта 1922 г. в Берлине, в зале Филармонии, на лекции приехавшего из Франции П.Н. Милюкова. Вот как описывает происшедшее друг Набокова, соредактор (вместе с Набоковым и А.И. Каминкой) газеты «Руль» И. Гессен: «...как только был объявлен перерыв и предложено желающим задать вопросы оратору сделать это в письменной форме, несколько человек бросилось вперед, двое из них что-то выкрикивали, и вдруг блеснул выстрел. Окружавшие Милюкова увлекли его из зала, Каминка и Набоков бросились к стрелявшему, Набоков схватил его за руку, тот сопротивлялся, и оба упали на пол. В этот момент подбежал другой, тоже выстрелил и, высвободив своего товарища, бросился с ним к выходу. <...> В этот момент еще и в голову не приходило, что Набоков убит наповал, что выстрел сделан был в упор в спину» (*Гессен И.В.* Годы изгнания. Paris, 1979. С. 134—135). На следствии и суде стрелявший в Милюкова П.Н. Шабельский-Борк утверждал, что сделал это,

мстя за честь покойной императрицы Александры Федоровны, которую Милюков оскорбил в своей речи в Государственной думе в ноябре 1916 г. Убийца Набокова (С.В. Таборицкий) признал, что пришел на лекцию, чтобы помочь своему другу Шабельскому, а Набокова застрелил случайно. В июле 1922 г. Шабельский-Борк и Таборицкий были приговорены, соответственно, к 12 и 14 годам каторжной тюрьмы, а в 1927 г. освобождены досрочно.

[2] Международная конференция на высшем уровне по экономическим и финансовым вопросам проходила в Генуе с 10 апреля по 19 мая 1922 г. На конференцию, организованную странами Антанты, были впервые приглашены делегации стран, побежденных в Первой мировой войне, а также Советской России.

[3] Шабельская была берлинской корреспонденткой «Нового времени» в первой половине 1890-х гг.

[4] В театре Корша Шабельская играла в 1882 г., когда Амфитеатров был на первом курсе университета, но он мог видеть ее ранее в труппе А.А. Бренко.

[5] Неточно цитируется стихотворение А.Н. Майкова «Алквиад».

[6] Цитаты в этой фразе — из монолога Сальери, открывающего «Моцарта и Сальери» Пушкина.

[7] В качестве театрального рецензента Шабельская выступала в газете «Народ» в 1897—1899 гг.

[8] Шабельской принадлежат пьесы «Дичок» (СПб., 1898), «Ради денег» (СПб., 1901), «Лиза Ракитина» (СПб., 1898), инсценировка «Вия» (СПб., 1899) и др., переводы с немецкого пьес Ф. Гальма «Любви граница» (СПб., 1900), Г. Лаубе «Любовь и корона» (СПб., 1901) и др. (в основном шли в ее собственном театре; см. следующее примеч.).

[9] Е.А. Шабельская в 1900 г. создала Петербургский театр, который располагался в помещении театра Неметти по Офицерской улице. Некоторые спектакли театра вызывали интерес у публики, но в целом он успеха не имел. (См. о нем: *Петровская И., Сомина В.* Театральный Петербург. СПб., 1994. С. 231—232.) Поскольку расходы на постановки были очень высокими, а руководство хозяйственной частью театра было поставлено плохо, то в конце 1902 г. он прекратил свое существование с крупным дефицитом. «Ее антреприза потерпела крушение вследствие крайне небрежного отношения; она ежедневно приезжала в театр или сад и с утра напивалась и уезжала <...>. Всего долгов было сделано на сумму 224 000 руб. <...> Сама по себе Шабельская, несмотря на свои годы, женщина крайне ветреная, взбалмошная и страдает алкоголизмом и морфиноманией <...> 29 января [1903] выселена судебным порядком из 12-комнатной квартиры в д. 14 по Екатерингофскому проспекту» (из справки Департамента полиции — ГАРФ. Ф. 102. 3 д. 1906. Ед. хр. 424. Л. 9). Для покрытия долга Шабельская подделала подпись В.И. Ковалевского на векселях на 120 тыс. рублей, что послужило в 1903 г. поводом для судебного разбирательства. Ша-

бельская была арестована и сидела в Доме предварительного заключения, процесс завершился в 1906 г. ее оправданием (см.: История русского драматического театра. М., 1987. Т. 7. С. 287; *В—в В.* [*В.В. Водовозов*]. Дело Шабельской // Наша жизнь. 1905. 24—30 ноября). Эта история изображена в пьесе Н.Ю. Жуковской «Над толпой» (шла в Суворинском театре в начале 1905 г.) и в романе самой Шабельской «Векселя антрепренерши» (СПб., 1907).

[10] Ранее Амфитеатров писал, что А.А. Власовский — «энергичный, смелый, честный деятель», который «вошел в Москву, опираясь на руку Н.А. Алексеева, хозяйничавшего в то время в Белокаменной, “никому не спросясь”, со свойственными ему быстротою, стремительностью, натиском. Алексеев приглядел Власовского в Риге и Варшаве, заметил в нем те же административные свойства, что в себе самом, и возопил:

— Да ведь этакого-то нам и надо!

Стараниями и хлопотами всемогущего “головы-диктатора” пред высшею администрацией Власовский был назначен на важный пост московского оберполицмейстера. Алексеев редко ошибался в людях, не ошибся и на этот раз. Говорят, что новая метла чисто метет. Но такой чистки, как увидела Москва от Власовского, кажется, еще ни от одной метлы не видывали. В моих бумагах сохранилась рукописная “гражданская баллада” того времени; первые шаги Власовского в Москве воспеты ею довольно характерно...

В те дни, когда народ московский,
Упитан водкою “поповской”,
Неукоснительно храпел
От Краснохолмья до Арбата
И ничего знать не хотел
Опричь лежанки и халата;
Когда по скверной мостовой,
Бывало, жулик так и рыщет,
А сонный страж городовой
Ему вдогонку тщетно свищет,
Когда сугробы на сугроб,
Из года в год, великой кучей
Валил на улице пахучей
Домовладелец-остолоп;
Когда извозчик — в грудь ли, в лоб ли
Прохожим — не жалел оглобли;
Когда все дворники-скоты
Вдруг стали с жителем на ты;
В те дни, как грозное виденье,
На Алексеевский призыв,
Вдруг произвел землетрясенье
Власовский, мрачен и ретив.
Он вопиял: проснитесь, сони!

Довольно копоти и вони!
Прошу на блеск и чистоту
Всех раскошелиться обильно, —
Не то умою вас насильно
И наведу вам красоту!
Я окажу вам благостыню:
Смирю извозчичью гордыню —
Не слышать больше вам от них,
Арестом усмиренных вашим,
Хулы на родственниц своих,
Притом в колене восходящем!
Домовладельца бросит в жар,
Домовладелец будет плакать,
Но из асфальта тротуар
Заменит вековую слякоть!
И днем, и ночью буду я
Летать по стогнам, злой и зоркий...
И — ни единая свинья
Не смей пастись под Швивой Горкой!
Завой хоть волком вся Москва,
Ничто усердья не умалит:
[Великий князь] меня похвалит
И расцелует голова!
Все москвичи, как будто графы
С комфортом новым заживут...
А нерадивым — штрафы, штрафы!
А непокорным — грозный суд!!!

Со смертью Алексеева Власовский потерял как бы большую половину самого себя. Энергия осталась прежняя, но она начала спотыкаться, не встречая для себя вдохновляющего сочувствия, каким поддерживал Власовского покойный голова, и напротив, то и дело нарываясь на холодное равнодушие, вражду и открытое противодействие разных мелких и корыстных ненавистей, распложенных прямым, резким и порывистым образом действий обер-полицеймейстера. Он борется, но как-то чувствуется уже, что это — лишь судороги человека, задыхающегося в неравной борьбе. Болото одолевает, тина душит... Тут подоспела Ходынская катастрофа. Власовский исчезает с горизонта, карьера его кончена» (*Old Gentelman* [*А.В. Амфитеатров*]. Этюды. XCVIII // Новое время. 1899. 7 февраля).

[11] Цитируется стихотворение А.С. Пушкина «Портрет» (1828).

[12] Мадам Анго (*фр.*) — рыночная торговка, героиня десятков французских ярмарочных и бульварных пьес XVIII — начала XIX в., которая благодаря сметливости, смелости и оптимизму благополучно выходит из всяческих передряг. Композитор Шарль Лекок в своей оперетте «Дочь мадам Анго» (1872) напомнил о мадам Анго, рассказав о судьбе ее дочери, близкой ей по характеру и профессии.

[13] См.: Театр и искусство. 1917. № 35. С. 607. Подп.: N.N. См. также воспоминания Кугеля: Листья с дерева. Л. 1926. С. 47.

[14] в стиле актерки (*фр.*).

[15] Имеется в виду ее сближение с директором Департамента торговли и мануфактур, а с 1900 г. — товарищем министра финансов В.И. Ковалевским.

[16] *Аман* — библейский персонаж (кн. Есфирь), визирь персидского царя Артаксеркса, гонитель иудеев.

[17] «Церковь, кухня, дети» (*нем.*) — официальное определение добродетелей немецкой женщины, принятое после создания Германской империи (1870).

[17а] Эта формула выработана в начале 1830-х гг. С.С. Уваровым.

[18] Цитируется пьеса К. Гуцкова «Уриэль Акоста» (монолог Акосты в конце 4-го действия; пер. П. Вейнберга).

[19] *Эгерия* — нимфа-пророчица в римской мифологии.

[20] Аллюзия на название книги В.В. Розанова «Когда начальство ушло» (1910).

[21] Имеется в виду истребление повстанцами неправославного населения г. Умани (евреев и поляков) во время восстания гайдамаков на правобережной Украине (1768).

[22] Имеются в виду два романа Шабельской-Борк: «Сатанисты XX века» и «Красные и черные». Первый (в четырех частях) действительно печатался с продолжением в газете «Колокол» с июня 1911 по ноябрь 1912 г. Любопытно, что среди его персонажей-«сатанистов» фигурируют либералы Сазиков и Наскоков, за которыми легко угадываются их прототипы Милюков и Набоков. Роман «Красные и черные» публиковался в 1911—1913 гг. в газете «Русское знамя», тогда же был издан в качестве приложения к газете (СПб., 1911—1913. Ч. 1—3).

[23] То есть до освобождения крестьян от крепостной зависимости, объявленного в манифесте императора Александра II от 19 февраля 1861 г.

[24] *«Союз русского народа»* — крупнейшая из российских монархических партий. Основан в конце 1905 г. Выступал за самодержавную православную монархию и национальную русскую диктатуру, являлся вдохновителем еврейских погромов. В 1910—1912 гг. раскололся на две фракции — умеренную (обновленцы, фракция Н.Е. Маркова) и радикальную (фракция Дубровина). Запрещен после Февральской революции 1917 г.

[25] Имеется в виду сюжет басни И.А. Крылова «Пустынник и медведь».

[26] Имеется в виду первый после революции 1917 г. съезд русских монархистов, состоявшийся в г. Рейхенгалле (Бавария) в мае—июне 1921 г. Принятая на съезде программа предусматривала восстановление в России самодержавной монархии во главе с царем из дома Романовых. Был избран Высший монархический совет во главе с Н.Е. Марковым.

[27] Эксперты-психиатры, назначенные судом, единогласно определили: «О ненормальности Шабельского во время совершения преступления не может

быть и речи» (Дело об убийстве В.Д. Набокова и покушении на П.Н. Милюкова. 2-й день: 5-го июля // Руль. 1922. 14 июля).

[28] Тот факт, что Петр *Николаевич* Шабельский-Борк, родившийся в 1893 г., не был родным сыном *Алексея* Николаевича Борка, познакомившегося с Елизаветой Шабельской в 1896 г., очевиден. Менее ясно, является ли он родным сыном самой Шабельской (характерно, что Амфитеатров, постоянно общавшийся с ней в 1890-е гг., ничего не знает о ее сыне, родившемся в 1893 г.). Возможно, он был сыном генерал-майора Николая Николаевича Борка, брата А.Н. Борка.

ВЛ.С. СОЛОВЬЕВ. ВСТРЕЧИ

Впервые (без названия, в цикле «Листки»): Россия. 1900. 9 сентября. Подп.: Old Gentleman. Перепечатано в Собрании сочинений Амфитеатрова (Пг., [1915]. Т. 35. С. 111—144) с добавлением (из той же газеты за 3 сентября) размышлений о Соловьеве, не имеющих мемуарного характера. Печатается по первой публикации.

[1] С 1880-х гг. Л. Толстой подвергался разной критике со стороны консервативных и клерикальных идеологов; см., напр.: *Остроумов М.* Наши новые «философы и богословы». Граф Лев Николаевич Толстой // Вера и разум. 1885. № 20—23; 1886. № 22, 23; 1887. № 2, 4—6; Беседа преосвященного Никанора, епископа Херсонского, в день святого апостола Андрея Первозванного. О том, что ересеучение графа Льва Толстого разрушает самые основы не только православно-христианской веры, но и всякой религии // Православное обозрение. 1887. № 1. С. 9—21; *Антоний, епископ.* Беседы о православном понимании жизни и его превосходстве над учением Л. Толстого. СПб., 1889; *Цертелев Д.Н.* Нравственная философия графа Л.Н. Толстого. М., 1889; *Иловайский Д.* Граф Л.Н. Толстой и антинациональное направление // Московские ведомости. 1892. 8 апреля; *Он же.* Из записной книжки читателя газет и журналов // Кремль. 1900. № 8; *Муретов М.* Христианин без Христа // Душеполезное чтение. 1893. № 3. С. 370—385. См. также: *Тарабукина А.В.* Лев Толстой в массовой православной литературе начала XX века // Пограничное сознание. СПб., 1999. С. 234—248. В феврале 1901 г. Синод отлучил Толстого от церкви.

[2] сам сказал (*лат.*) — употребляется при указании на слепое следование авторитету.

[3] против ... за (*лат.*).

[4] Близкая знакомая Вл. Соловьева К.М. Ельцова свидетельствовала, что «постоянное чувство сверхъестественного, общение с ним никогда не покидало его. У него были нередко видения по ночам, при пробуждении, не то “просоночное состояние”, не то галлюцинации <...>» (*Ельцова К.М.* Сны нездеш-

ние // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 139; см. также другие свидетельства о «видениях» Соловьева в этом издании на с. 51—53, 197, 285).

[5] Рассказ Вл. Соловьева об этом же событии в изложении А.Ф. Кони см. в: Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 198.

[6] Блюдо из особым образом зажаренной и потом охлажденной дичи, подаваемой на стол под майонезом или желе.

[7] Эпитафию эту, написанную 15 июня 1892 г., Вл. Соловьев сообщил в 1892 г. многим своим знакомым (см. в его письмах С.А. Венгерову, М.М. Стасюлевичу, А.А. Фету: *Соловьев Вл.* Письма. СПб., 1909. Т. 2. С. 321; *Он же.* Письма. Пб., 1923. [Т. 4]. С. 59, 228). В этой редакции, существенно отличающейся от приводимой Амфитеатровым, впервые была опубликована в составе письма Фету: Рус. обозрение. 1901. № 1. С. 104. Публикацию, о которой идет речь в воспоминаниях Амфитеатрова, нам выявить не удалось.

[8] Позднее Амфитеатров писал по этому поводу: «Однажды огласил я стихотворение В.С. Соловьева — "Затеплю я свою лампаду", — которое сам он прочитал мне (у М.А. Загуляева) как свое и направленное против В.В. Розанова. А затем получил я от кн. С.Н. Трубецкого письмо, в котором он сообщал, что я введен в ошибку, — стихотворение принадлежит не В.С. Соловьеву, а ему, кн. Трубецкому, и направлено не на Розанова, а на Победоносцева...» (*Амфитеатров А.* Об одном завещании // Амфитеатров А. Собр. соч. Пг., [1916]. Т. 37. С. 135—136).

[9] Имеется в виду стихотворение «Вонзил кинжал убийца нечестивый...», которое принадлежит А.К. Толстому (см.: *Толстой А.К.* Собр. соч. М., 1963. Т. 1. С. 448—450), но впервые было опубликовано без указания автора в произведении Вл. Соловьева «Под пальмами. Три разговора о мирных и военных делах» (Книжки Недели. 1900. № 1. С. 161—162).

[10] Речь идет о балладе А.А. Столыпина «Пан Зноско».

[11] М. Загуляев действительно интересовался этими проблемами. Повествователь в его рассказе «Бедовик» (Рус. мир. 1861. № 94. С. 1562) говорит следующее: «Никто, конечно, не станет опровергать, что, кроме известных и допущенных нашими науками сил природы, существуют еще другие, неизведанные, не получившие в ней права гражданства, но существование которых так же законно, как, например, силы тяжести, электричества и других. Я не смеюсь над адептами животного магнетизма и спиритизма, а только жалею, что большая часть из них вредят своему делу примесью шарлатанства или сумасбродства, внушая таким образом недоверие и к действительным явлениям этих неразгаданных сил <...>. Я не верю в *сверхъестественность*, но в *неразгаданность* глубоко верю». См. также его рассказ «Взорванная башня» (Новое время. 1885. 25 декабря).

[12] Жители Полтавы братья С.Л. и П.Л. Скитские были несправедливо обвинены в убийстве и в 1899 г. осуждены. В.М. Дорошевич поднял шумную га-

зетную кампанию за пересмотр дела (см.: Россия. 1899. № 32, 34, 45, 47, 50, 52), и в мае 1900 г., после нового слушания дела, подсудимые были оправданы (см. отчет о судебных заседаниях: Рус. ведомости. 1900. № 82—87).

[13] Речь идет о легенде, согласно которой Ф.М. Достоевский изнасиловал девочку, а впоследствии поведал об этом И.С. Тургеневу. См.: *Захаров В.Н.* Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978. С. 75—109; *Федоренко Б.В.* Из разысканий о Достоевском // Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск, 1994. С. 242—264; *Свинцов В.* Достоевский и «ставрогинский грех» // Вопросы литературы. 1995. Вып. 2. С. 111—142.

[14] Амфитеатров тогда редактировал газету «Россия».

НАЗАРЬЕВА

Впервые (без названия; в цикле «Литературный альбом»): Россия. 1900. 16 декабря. Печатается по: *Амфитеатров А.* Женское нестроение. 2-е изд. СПб., 1904. С. 116—121.

[1] очерки, наброски (*фр.*).

[2] Сделано в Германии (*англ.*).

[3] Речь идет, по-видимому, о Е.О. Дубровиной.

[4] Имеется в виду О.А. Шапир или А.А. Виницкая.

«ГОСПОДА ОБМАНОВЫ»: ИСТОРИЯ РОМАНА И ССЫЛКИ

Публикуется по: Красное знамя. 1906. № 1. С. 74—103; № 5. С. 3—24 (глава I); РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 2. Ед. хр. 50 (глава II).

[1] В памфлете выведены следующие лица: Александр III (А.А. Обманов), Николай II (Н.А. Обманов), Николай I (Н.П. Обманов), Александр II (А.Н. Обманов), императрица Мария Федоровна (М.Ф. Обманова), М.Ф. Кшесинская (мадемуазель Жюли).

[2] Согласно Временным правилам о печати, утвержденным в 1882 г. и действовавшим до 1905 г., вопросы о приостановке и запрещении периодических изданий решались созданным для этого Совещанием министров внутренних дел, юстиции, народного просвещения и обер-прокурора Синода.

[3] Публикация «Господ Обмановых» имела широкий резонанс в обществе. Брат Антона Чехова Александр сообщал ему в письме из Петербурга от 17 января 1902 г.: «...Амфитеатров напечатал фельетон: “Семейство Обмановых” — глупый и бессодержательный, который публика читала с недоумением. Но когда догадались под “Обмановыми” понимать “Романовых”, то фельетон получил другой колорит — подлого пасквиля, направленного в интимную сто-

рону царской семейной жизни. Жена Амф[итеатро]ва рассказывает, что Old, написав этот фельетон, отправил в типографию с загадочной улыбкой и с словами: "Пусть не говорят, что я ничего не делаю!" Увидев на другое утро фельетон в печати, он сказал: "Болваны, они не поняли, чтó они напечатали!" В понедельник 14/I произошли такие события: в 8 ч. утра прибыл на квартиру к Амф[итеатрову] альгвазил и пригласил его с собою немедленно к градоначальнику, а через 1/2 часа к г-же Амф[итеатровой] прибыл новый альгвазил и изрек: "Ежели желаете проститься с мужем, спешите на Николаевский вокзал к 9-часовому поезду". Баба прилетела за 3 минуты до отхода и нашла своего супруга в отдельном купе 2-го класса с двумя мужами по бокам. Она успела сунуть ему 25 руб., ибо за спешностью в чемодане ему было отказано. После 3-го звонка его повезли в Иркутск для поселения в одной из деревень, где нет ни бумаги, ни чернил.

Около 10 ч. утра в квартире виновного был произведен обыск; около 11 ч. обыскали редакцию "России", после чего сотрудники ушли в трактир "Белград", где и пребывали весь день, ибо составлять номер газеты было запрещено. После обеда в тот же трактир прибыли метранпажи и наборщики, ибо пришли два чиновника, отобрали все рукописи и запечатали типографию.

Того же дня в 9 часов вечера ответственный редактор Сазонов был препровожден на жительство в Новгородскую губернию. В тот же день, по слухам, иркутскому генерал-губернатору была послана шифрованная телеграмма, содержащая в себе судьбу Амфитеатрова. "Россия" до сих пор, уже 4-й день не выходит. О ее приостановке и мотивах приостановки писать запрещено.

Интересно, что в обществе и в редакциях никто не жалеет Old'a и все единодушно именуют его подлецом. Единодушие поразительное. Затем пошла разная глупая молва, будто его воротили тайно и посадили в Шлиссельбургскую крепость, по другой версии — в пересыльную тюрьму и т.д., — но все это — такая же чепуха, как и слухи о кончине Толстого, которого уже несколько месяцев отправляют на тот свет для того, чтобы посмотреть, предадут ли его погребению по обряду собачьему или христианскому? Далее, говорят, будто Old написал сей фельетон с целью напакостить Сазонову и Дорошевичу, но более прозорливые утверждают, будто он сделал это, подкупленный Сувориным. Во всяком случае, психология поступка, повлекшего за собою знакомство с Иркутском и оставление без куска хлеба сотни работников, остается для всех мыслящих и немыслящих глубокою загадкою» (Письма А.П. Чехову его брата Александра Чехова. М., 1939. С. 401—402).

Педагог С.А. Рачинский писал К.П. Победоносцеву 18 января 1902 г.: «Дерзость действительно беспримерная, заслуживающая и не такого наказания. Надеюсь, что, по крайней мере <...> запретят окончательно газету, отважившуюся на такой поступок. <...> Еще отвратительное знамение времени» (ОР РГБ. Ф. 230. Карт. 4418. Ед. хр. 3. Л. 14—14 об.). Врач М.А. Членов сооб-

щал А.П. Чехову из Москвы 26 января: «Много говорят у нас <...> о фельетоне Амфитеатрова. Сейчас он на пути в Сибирь (его выслали в Якутск, но говорят, что его скоро вернут). "Россия" будто бы в конце месяца начнет выходить вновь» (ОР РГБ. Ф. 331. Карт. 62. Ед. хр. 23а. Л. 17 об.). Приятель Чехова, литератор П.А. Сергеенко, писал ему 30 января из Петербурга: «Отголоски амфитеатровской истории, вероятно, уже дошли и до тебя, т.е. что Амф[итеатров] сослан в Иркутск, Сазонов в Новгород и т.д. Передаю пикантные подробности: фельетон написан под влиянием запоя. Амф[итеатров]а торопились почему-то так скоро отправить, что даже не дали выкупить шубу. На дорогу снарядил его Суворин. "Россию" правительство не желает запрещать, но и тормозит с утверждением редактора. Но в общем все это незначительно и скорее опереточно, чем трагично» (ОР РГБ. Ф. 331. Карт. 58. Ед. хр. 48в. Л. 7 об.).

М. Горький писал 25 января К.П. Пятницкому: «Амф[итеатрова] фельетон — пошлость, плоское благерство. Думаю, что сей синьор тиснул эту штуку по такому расчету: была у них в "России" помещена статья по поводу 25-летия в чинах Д. Сипягина. Статья — лакейская. Пожелали — реабилитацию устроить себе в глазах публики. И — вот. Я рад, что Амф[итеатрова] послали в Иркутск, быть может, он там будет серьезнее. Он все же — талант, хотя грубый, для улицы, для мещанина» (*Горький А.М.* Письма к К.П. Пятницкому. М., 1954. С. 72; через месяц, 24 февраля, Горький послал, однако, сочувственное, ободряющее письмо Амфитеатрову; см.: Лит. наследство. М., 1988. Т. 95. С. 61—62).

[4] Некоторые из них учтены в: Вольная русская печать в Российской публичной библиотеке / Под ред. В.М. Андерсона. Пб., 1920. С. 8.

[5] См.: *Амфитеатров А.* Господа Обмановы: Продолжение. Глава 2-я. Берлин: Изд. Иоанна Рэде, 1902. С портретом автора на обложке; *Он же.* Господа Обмановы. Глава 3-я. Берлин: Изд. Иоанна Рэде, 1903; *Он же.* Господа Обмановы. Вторая часть. Берлин: Изд. Гуго Штейница, 1903, и др.

[6] Амфитеатров уехал за рубеж в 1904 г., разрешение на выезд ему дал директор Департамента полиции А.А. Лопухин.

[7] См.: *Амфитеатров А.* Современные сказки. Женева: Изд. автора, 1905. Вып. 1—4. (Вып. 1. Сказка об Иване-мужике и Петре, запорожском казаке; Вып. 2. Сказка о богине. Сказка о слонах; Вып. 3. Грехопадение Минервы; Вып. 4. Смерть Иронии.)

[8] Имеется в виду замок из рассказа Э. По «Маска Красной Смерти».

[9] Тут в значении: удостоверил.

[10] Речь идет о приобретении при поддержке Николая II в 1900 г. большой лесной концессии на севере Кореи, что затрагивало интересы Японии. См.: *Безобразов А.М.* Концессия на Ялу // Русское прошлое. Пг., 1923. Кн. 1. С. 87—108; *Романов Б.А.* Очерки дипломатической истории Русско-японской войны. 1895—1907. М.; Л., 1947. С. 75—81; *Гурко В.И.* Черты и силуэты прошлого. М., 2000. С. 311—345.

[11] Имеется в виду конференция, созванная в Гааге в 1899 г. по инициативе России, на которой были приняты международные соглашения, устанавливающие законы и обычаи войны и порядок мирного разрешения международных споров.

[12] Цитируется «Гамлет» У. Шекспира (д. 1, сц. 1).

[13] Veglione — ночное празднество, от *ит.* vegliare — бодрствовать ночью.

[14] *Ларвами* древние римляне называли злых духов, преследующих людей.

[15] Истинно! (*лат.*)

[16] Неточная цитата из стихотворения Г. Гейне «Lass die heil'gen Parabolen» в переводе М.Л. Михайлова.

[17] С *Тарпейской скалы* в Древнем Риме сбрасывали преступников.

[18] 1 Цар. 10:12.

[19] Сказка была опубликована в «России» 10 октября 1900 г.

[20] Нельзя дважды о том же самом (*лат.*), т.е. не следует повторяться.

[21] Пьеса Амфитеатрова «Волны» была поставлена в театре Корша в 1903 г. (премьера — 10 октября) и опубликована в его сборнике «5 пьес» (СПб., 1908).

[22] *Игемон* — вождь, правитель, римский прокуратор (*церковно-слав.*).

[23] Правильно: «Mein Liebchen, was willst du mehr?» («Моя любимая, чего же еще хочешь?») — цитата из стихотворения Г. Гейне «Du hast Diamanten und Perlen...» («У тебя диаманты и жемчуг»), входящего в его сборник «Книга песен».

[24] См.: *Яковлев А.* Поручение // Россия. 1901. 7 ноября.

[25] по-супружески (*фр.*).

[26] простодушно, доверчиво (*лат.*).

[27] Цикл очерков Атавы (С.Н. Терпигорева) «Оскудение» печатался в «Отечественных записках» в 1880 г., а в следующем году вышел в Петербурге отдельным изданием.

[28] задним числом (*лат.*).

[29] по службе (*лат.*).

[30] В анонимной пояснительной записке о «Господах Обмановых», сохранившейся в архиве Амфитеатрова, говорится, что «министр внутренних дел [Сипягин] вызвал к себе кн. Шаховского, стоявшего во главе цензурн[ого] комитета, и сделал ему строгий выговор за то, что цензура пропустила этот фельетон, в котором изображен государь и вдовствующая императрица.

Кн. Шаховской, в оправдание, заявил, что его верноподданнические чувства никак не могли допустить, чтобы в лице Ники-милуши был изображен царствующий император, а мать Ники, бывшая гувернантка Марина Филипповна, изображала вдовствующую императрицу, и в данный момент он, кн. Шаховской, не смеет и допустить мысли, что это изображения указанных лиц царствующего дома.

Такое заявление кн. Шаховского поставило в глупое положение министра, и он ограничился лишь распоряжением, чтобы продолжение этого фельетона

15. Заказ № 833.

не было допущено к печатанию, а автор его, Амфитеатров, был выслан из Петербурга с запрещением возвращаться в столицу» (РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 1. Ед. хр. 126. Л. 2 — 2 об.).

[31] См.: *Old Gentleman* [*А.В. Амфитеатров*]. Листки // Россия. 1902. 9 января.

[32] один вместо другого (*лат.*) — в значении: недоразумение.

[33] Перечислены персонажи пьесы Шиллера «Дон Карлос» (1787).

[34] См. «Дневник провинциала в Петербурге» М.Е. Салтыкова-Щедрина.

[35] См.: *Old Gentleman* [*А.В. Амфитеатров*]. Столичные этюды. XVII // Новое время. 1897. 8 июня.

[36] По свидетельству А.С. Суворина, речь идет о Петровой, жене Н.П. Петрова, директора Департамента полиции в 1893—1895 гг. (см.: *Суворин А.В.* Дневник. М., 1999. С. 300; об этом деле см. также на с. 216).

[37] 1 Цар. 1:10—17.

[38] *Сарбазы* — воины (*тюрк.*).

[39] *Бабиды* — мусульманская секта в Иране, возникшая в первой половине XIX в.

[40] *Бебут* — кривой кинжал с обоюдоострым клинком.

[41] См.: *Old Gentleman* [*А.В. Амфитеатров*]. Славянские отголоски // Россия. 1901. 15 ноября.

[42] Имеется в виду официозная газета «Россия» (1905—1914). О ней см.: *Лихоманов А.В.* Газета «Россия» в 1905—1906 гг.: (История возникновения столыпинского официоза) // Книжное дело в России во второй половине XIX — начале XX века. Л., 1990. С. 46—55.

[43] в курсе (*фр.*).

[44] Цитата из поэмы М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша» (строфа XIV).

[45] Имеется в виду еврейский погром в Кишиневе 6 апреля 1903 г.

[46] как большая персона (*фр.*).

[47] Цитируется «Горе от ума» А.С. Грибоедова (д. 1, явл. 7).

[48] каменный мешок, подземная тюрьма, одиночная камера (*фр.*).

[49] То есть распустил.

[50] Нам удалось найти только фельетон Дорошевича (1900. 8 декабря).

[51] Слова персонажа повести Вольтера «Кандид» (гл. 30) доктора Панглоса, пародирующего взгляды Лейбница.

[52] Речь идет о сыне Данииле.

[53] Начало II главы не сохранилось.

[54] Страница рукописи утрачена.

[55] Перефразирована поговорка «Первую песенку зардевшись поют».

[56] Окончание II главы не сохранилось. О своей «остановке» в Красноярске Амфитеатров рассказал в одном из своих газетных фельетонов: «Ехал я, весьма не по своей доброй воле, из Петрограда в славный город Иркутск и с дву-

мя спутниками своими, выбранными мною тоже без всякого участия доброй воли, очень подружился. Были предобрые рязанские мужики, невесть зачем закутавшие себя в жандармские шинели, и как скоро оболочка эта с них спадала, то и язык обретался человеческий, и мысли хорошие, крестьянские, — насчет своего двора и землицы, на которой, скажем, куренка и того пустить некуда, а, между прочим, с этого надо жить... И еще смешило меня очень, что одного звали Владимиром Ивановичем, как драматурга и директора Художественного театра, Немировича-Данченко, а другого Алексеем Максимовичем, как Горького. В такой-то обстановке — этакий-то литературный «реминиссанс»!.. Возлюбили они меня и все жалели:

— Этакого-то хорошего барина, да куда везем!..

Ну, вот, доползли мы до Красноярска. Вышел старший спутник на станцию, минут через десять возвращается какой-то сконфуженный <...> и говорит:

— Ну, Александр Валентинович, одевайтесь: велено вам здесь выходить...

— Куда?

— Велено к губернатору вас доставить. Бумага о вас есть. Губернатор требует.

Ну, бумага так бумага, к губернатору — так к губернатору. Во всяком случае, приятнее остановиться на Енисее, чем доследовать до истоков Ангары.

Вышли. Взяли двух извозчиков. Один спутник сел со мною, другой едет сзади с вещами. Трогай!

Едем, едем... Ужас какое захолустье: и темно, и бедно, — окраина... Конечно, Красноярск — город не ахти какой, но все же, в некотором роде, столица енисейского края, должен иметь какой-нибудь просвещенный центр, со сколько-нибудь благоустроенными улицами. А это — что же? Тут разве бывшим людям гнездиться, а никак уже не губернаторам.

— Послушайте, — говорю, — друг почтенный, куда это вы меня везете?

— Да ведь сказываю же вам, Александр Валентинович, — к губернатору.

— Ну, что же вы врете, ангел: разве губернаторы по таким трущобам живут? Скажите правду.

Ангел и друг почтенный тихо вздохнул и ответил с горестью:

— Да уж если правду-то говорить, — в тюрьму вас везем, Александр Валентинович... Что поделаешь? Разве наша воля? Извините, пожалуйста!» (Этюды. II // Рус. воля. 1916. 18 декабря).

Представление о жизни Амфитеатрова в Минусинске дает следующий фрагмент его письма к жене от 28 января 1902 г., опубликованного ею позднее со своими пояснениями:

«“Вот я и в Минусинске. Городок очень небольшой, почти сплошь деревянный, но, говорят, самый теплый в Сибири, — единственный, где вызревают арбузы. До них месяцев шесть, а покуда холодновато!”

(Эти суленые арбузы, по дальнейшему нашему опыту, оказались дынями в дамский кулачок величиною. Тепло же колебалось между 40 гр. жары летом и 40 с лишним гр. мороза зимою. <...>)

“Вещи мои, конечно, в Иркутске”.

(Это были вещи, высланные мною ему вдогонку, потому что А.В., вызванный к петербургскому градоначальнику, так и проследовал далее в ссылку в демисезонном пальто, крахмальной рубашке и с одним носовым платком в кармане. И так и до Минусинска доехал.)

“Что я направляюсь в Минусинск, узнал только в Красноярске, где был внезапно остановлен и ночевал в тюрьме: наслаждение не первого разбора, бывают и лучше”.

(В письме, шедшем через руки минусинского исправника, А.В. не мог, конечно, описать приема, который ему устроил начальник тюрьмы. Дело в том, что тот был и афрапирован, и польщен выпавшей ему на долю честью “принимать” такого важного гостя. И поэтому буквально рассыпался в любезностях и в желании услужить. “Держал себя, — рассказывал А.В., — совершенно как директор гостиницы для приезжающих. Усердно извинялся, что тюрьма у него не ахти какая и камеры не так чтобы очень были удобны, да и нары для меня неподходящие. Тут же пообещал это дело исправить и действительно сразу же велел принести мне из своей квартиры кровать и кресло. Вообще, добряк, суетился так, что и смешил и надоедал порядочно”.)

“До Красноярска ехал безостановочно, в компании двух жандармов: петербургские сменились в Рязани, а затем двое ехали со мною до Красноярска. К счастью, все попадались хорошие, вежливые люди, которые меня очень жалели и всячески старались облегчить мне путь. Вообще, за всю дорогу со стороны всех чинов жандармского корпуса, как высших, так и низших, я встречал самую предупредительную любезность и готовность устроить меня удобно. Я всех записал в памятную книжку, — когда буду в Россию обратно, поблагодарю, чем буду в состоянии”.

(Это было выполнено.)

“Ты знаешь: я плохо помню зло, а добра, мне сделанного, не забываю. Железнодорожные власти относились к моему проезду тоже благосклонно, хотя в Ряжске — по Сызрано-Вяземской ж.-д. — начальник станции вдруг взъярился сажать меня в 3-й класс. Я приплатил за 2-й до Моршанска, а там явились на сцену доктор и жандармский начальник, оказавшийся моим гимназическим товарищем князем Щетининым, и я получил свидетельство на проезд вторым классом до Иркутска по болезни: я и в самом деле мало-мало не поколел в первые три дня езды от сердечных припадков, боли в печени и селезенке, а ноги стали как тумбы. Из Красноярска назад до Ачинска меня везли уже первым классом, а от Ачинска до Минусинска — зимнею дорогою, в кибитке. За исключением ночных переездов, езда была сносная и, местами, даже любопытная: виды чудные даже зимою. Оплошал я лишь на предпоследнем переезде — от страшной мигрени, впервые в жизни доведшей меня до рвоты. Сейчас я здоров.

Пятнадцать дней одинокого размышления навели меня на многие идеи, чуждые прежде. Как видно, всякая гордость нуждается в резком уроке смирения. Он мне дан, и я им, как думаю, воспользуюсь".

(Когда я получила это письмо, я мало обратила внимания на эти слова, и только приехав в Сибирь, увидела, как резко изменился мой муж, каково терпение, скажу даже, смирение наполнило его душу, каким кротким он стал, каким внимательным к людям.)

"Милый мой Ларик, если ты непременно хочешь и не боишься последовать за мной в сибирскую глушь, то, быть может, мы найдем в ней осуществление того деревенского покоя, о котором мечтали мы с тобою в последние годы. Жизнь здесь дешева очень. Двухэтажный дом, с мебелью, с садом, со всеми угодьями стоит в наем 15—20 рублей в месяц, лучший сорт мяса 2 рубля пуд, хорошая лошадь 25—40 рублей, гусь на рынке 30 коп., поросенок 50 коп. и т.п. Следовательно, для житья здесь денег много не понадобится. Газетная работа мне, как поднадзорному, безусловно невозможна более, и таким образом доход мой должен весьма значительно сократиться. Если ликвидация питерских дел и имущества даст нам хорошую сумму денег, то мы прикупим здесь под городом или в уезде, где позволят, клок земли, хозяйствуя на котором и отбудем срок своего — авось не вечного — изгнания. В здешнем уединении ничто не помешает мне докончить своего «Зверя из Бездны»: какой я умный, хвалю теперь себя, что никогда не пользовался для этого труда чужими книгами, а собирал свою собственную библиотеку. Что бы я стал теперь делать без источников? Пожалуйста, голубчик, как получишь это письмо, прикажи заделать хорошенько в ящики все книги из верхней половины большого шкафа, беспереплетные с вертушек, мои рукописи и тетради с наклейками, вырезками, экземпляр «Зверя» — вообще, научную библиотеку и отправь малою скоростью на станцию Ачинск, накладную же отправь мне. Надо хорошо заделать груз, так как он в пути пробудет не менее месяца — при холодах.

Завтра отправляюсь смотреть изобильно предлагаемые квартиры. Возьму дом с садом, с видом на горы и Енисей. <...> Так как я не имею права заниматься газетною работою, то надо кого-нибудь опытного и толкового рекомендовать в редакции, где мое место опустело. Я думаю о двух — о Старке и об Евгении Феликсовне. Они оба, работая при мне, понаторели и понаметались в деле, так что, пожалуй, теперь не оплошают, трудясь самостоятельно. Конечно, им придется всюду взять дешевле, чем брал я, но, если будут давать мало, я, по извещению их, напишу [А.А.] Суворину, [Э.Э.] Ухтомскому и другим, чтобы их не обижали гонораром".

(Это все, разумеется, следует понимать иносказательно, т.е. А.В. намеревался посылать свои статьи Старку, едва тогда начинавшему журналисту, а впослед-

ствии музыкальному критику, и знакомой нашей барышне, никакого отношения к журналистике не имевшей, с тем, чтобы они относили в редакции эти статьи и сдавали их в печать под своим именем. Ухтомский, однако, воспротивился этому, так как, по его мнению, статьи, подписанные незнакомым и обыкновенным именем теряли всякую свою ценность, и читателям в голову не пришло бы искать в них Амфитеатрова. “Надо сделать так, говорил он, чтобы придраться было нельзя, но чтобы читатель, заинтересовавшись псевдонимом, стал бы вчитываться внимательно и по когтям узнал бы льва”. Так и сделали. А.В. стал писать в “Петербургские ведомости” под псевдонимом “Аббадонна”, и вскоре весь Петербург знал, кто это)» (*Амфитеатрова И.* А.В. Амфитеатров в сибирской ссылке // Сегодня. 1939. 26 февраля).

ЧУДОДЕЙ

Печатается по: Сегодня. 1932. № 252. 11 сентября.

[1] Амфитеатров познакомился с М. Волошиным в конце февраля 1905 г., когда был парижским корреспондентом петербургской газеты «Русь», а Волошин приехал в Париж, чтобы помогать ему, а впоследствии сменить на этом посту. Общение их продлилось менее полутора лет, поскольку в июне 1906 г. Волошин вернулся в Россию. См.: *Грякалова Н.Ю.* Революция в образах: (М.А. Волошин и А.В. Амфитеатров в 1905—1906 гг.) // Литература и история. СПб., 1997. Вып. 2. С. 251—262.

[2] «Господин “это очень интересно!”» (*фр.*).

[3] Имеется в виду Е.И. Дмитриева.

[4] Амфитеатров неточно и в памфлетных тонах излагает историю дуэли Волошина и Гумилева, состоявшейся 22 ноября 1909 г. О мистификации и о дуэли см.: *Маковский С.* Черубина де Габриак // Маковский С. Портреты современников. М., 2000. С. 210—225; *Волошин М.* История Черубины // Волошин М. Путник по вселенным. М., 1990. С. 214—229.

[5] Небольшой остров на Сене перед собором Парижской Богоматери.

[6] *Тамплиеры* (храмовники) — члены католического духовно-рыцарского ордена, существовавшего в XII—XIV вв. О тамплиерах в июле 1905 г. рассказывала Волошину А.Р. Минцлова; см.: *Волошин М.* История моей души. М., 1999. С. 130.

[7] Имеется в виду стихотворение «Ангел мщенья» («Народу русскому: я скорбный Ангел мщенья!..») (1906).

[8] Лекция «Предчувствия Великой революции» была прочитана 7 (20) июня 1906 г., опубликована в декабре 1906 г. под названием «Пророки и мстители (Предвестия Великой Революции)» (Перевал. 1906. № 2. С. 12—27).

[9] *Безик* — некоммерческая карточная игра.

[10] Ср.: «Анненский, приехав однажды из Царского Села в Петроград, присел на вокзале отдохнуть и уже не встал со стула. На похоронах его Макс Волошин ужасно волновался — не столько тем, что ушел из мира хороший писатель и превосходный человек, сколько:

— Боюсь, не сошел бы Иннокентий Федорович с ума!

— То есть — как это? Что вы говорите, Макс? Как же он сойдет с ума, если помер?

— Да ведь как помер: без болезни, без подготовки, без предчувствия. Так внезапно переброшенный в новую необычную среду, бедный дух должен там растеряться и очень, очень может сойти с ума... Я серьезно опасаюсь за рассудок Иннокентия Федоровича.

Насколько это было действительно “серьезно”, не берусь сказать определительно. Разум и характер М. Волошина являли собою причудливую мешанину фантасмагории, как будто искренней, с лукавинкой актерской мистификации, которую он способен был навязать добрым людям с видом тоже искренности совершенной. К тому же тут пахнет и маленьким плагиатом из Лескова. Помните, “Сумасшедший Бедуин” Водопьянов рассказывает:

“— Болезнь это хорошо; это узел развязывается, — худо, если он рвется... Если связь духа с телом разорвана мгновенно, как при насильственной смерти, то он не знает, куда ему деться, и стоит над своим телом, слушает молитвы, смотрит на свой гроб и сопровождает свою погребальную процессию и всех беспокоит и сам себя не может понять.

— Он этак может кого-нибудь испугать, — пошутил кто-то.

— А может, — отвечал, вздыхая и закатив глаза, Водопьянов, — очень может, ужасно может. Ему даже есть до этого дело” (“На ножах”).

Милейший Максимилиан Александрович, ведя беседу на “оккультные” темы, весьма им любимые, тоже имел обыкновение вздыхать и глаза закатывать не хуже заправского “Сумасшедшего Бедуина”, к которому, кстати сказать, он вообще имел немалый решпект» (*Амфитеатров А.* О смертях нелепых, скоропостижных и самоубийствах // Сегодня. 1932. 10 октября).

[11] Волошин стал масоном 10 (23) мая 1905 г., причем масонский экзамен он держал 25 апреля (8 мая) одновременно с Амфитеатровым (см.: *Купченко В.П.* Труды и дни Максимилиана Волошина. СПб., 2002. С. 135).

[12] Возможно, имеется в виду Уильям Скотт-Эллиот, автор книги «История Атлантиды» (*Scott-Elliot W.* The story of Atlantis), вышедшей впервые по-английски в 1896 г., а в 1901 г. изданной в переводе на французский (в 1999 г. опубликован русский перевод).

[13] В журнале «Красное знамя», который Амфитеатров издавал в Париже с апреля 1906 г. до июля 1907 г., Волошин напечатал стихотворения «Голова принцессы Ламбаль» и «Ангел Мщенья» (1906. № 1).

МОЕ МАСОНСТВО

Печатается по: Сегодня. 1930. № 164. 15 июня.

[1] Роман А.Ф. Писемского «Масоны» впервые был опубликован в журнале «Огонек» (1880. № 1—43). Неточно цитируется XII глава пятой части романа.

[2] В очерке П. Щеголева «Охота за масонами, или Похождения асессора Алексеева», впервые опубликованном в журнале «Былое» (1917. № 5) и вошедшем в его книгу «Охранники и авантюристы» (М., 1930), говорилось о том, что Амфитеатров 13 мая 1905 г. был принят во французскую масонскую ложу. П. Пильский в статьях «Николай II, департамент полиции и русские масоны» (Сегодня. 1930. 25 мая) и «Синяя птица и матерый волк» (Сегодня. 1930. 31 мая), опубликованных под псевдонимом Р. Вельский, излагал и комментировал очерк Щеголева. Причем если в первой статье он выражал сомнение в принадлежности Амфитеатрова к числу масонов, то во второй уже писал, что «А.В. Амфитеатров слишком большой здравомысл, жизненный реалист, чтоб увлечься таинственностью и загадками. Но раз дело идет еще и о простой политике, революционном союзе, то — почему бы там не оказаться и А.В. Амфитеатрову, в те годы стоявшему в группе левых врагов самодержавия».

[3] Имеется в виду Е.В. Аничков.

[4] *Русская высшая школа социальных наук* (1900—1906) — русское свободное учебное заведение в Париже.

[5] В союзе лож Великого Востока с 1870 г. вера в бога и бессмертие души не была обязательной.

[6] У Ковалевского была 33-я степень.

[7] Слова из 2-го действия пьесы Мольера «Плутни Скапена».

[8] См.: *Амфитеатров А.* О Спиридоновой // Красное знамя. 1906. № 1. С. 51—55; *Он же.* Стенька Разин // Красное знамя. 1906. № 4. С. 68—72.

[9] Цитируется 3-я часть «Конька-Горбунка» П.П. Ершова.

[10] Русский перевод латинского изречения «Tempora mutantur et nos mutamur in illis», которое приписывается франкскому императору Лотарю I (ок. 795 — 855).

[11] Цитируется «Король Лир» в переводе А.В. Дружинина (акт II, сц. 4).

[12] *Франко-русский союз* о взаимной защите в случае нападения Германии или ее союзников был заключен в 1893 г. и действовал по 1917 г.

[13] В 1890 г. в Париже возникла организация «*Молодая Армения*», позднее принявшая название «Дашканцутюн».

[14] *Лига прав человека* — французская общественная организация, созданная в 1898 г. и отстаивавшая гражданские свободы.

[15] *Пастеровский институт* был основан в 1888 г. Л. Пастером для борьбы с заразными болезнями.

[16] Приведена первая строка «Стансов» (1826) А.С. Пушкина.

[17] Впервые опубликован в журнале «Север» (1895. № 2—47), в переработанном и дополненном виде вышел отдельным изданием в Москве в 1910 г.

[18] Весьма по-детски! (*фр.*).

[19] Позднее Амфитеатров вспоминал, что с вступившим одновременно с ним в масонскую ложу Е.В. Аничковым «на приемном испытании вышла неожиданная зацепка. Все мы, “ищущие”, видели в этом испытании формальную комедию, в которой на условные вопросы должны были следовать условные же ответы. К тому и подготовил нас, с обычным хохотом и дождем острот, веселый скептик Ковалевский. Парижские братья-французы, по-видимому, смотрели на дело так же: с обеих сторон была условная ложь устарелой символической игры, которую один из нас, посвящаемых, И.З. Лорис-Меликов, тогда же во всеуслышание назвал “ребяческою”. Остальные, хотя и не во всеуслышание, были того же мнения. Откровенно говоря, редко в жизни случалось мне чувствовать себя в столь фальшивом и безнужно глупом положении, чем в церемонии масонского посвящения. Вот уж “и кой черт понес нас на эту галеру?”.

Конечно, вопреки всеобщему условному вранью, или, вернее, благодаря ему, все мы, “ищущие”, были допущены на масонскую галеру, а один из нас даже с почетом, через степень, прямо в “мэтры”. Но на Евгения Васильевича нашел каприз отнестись к предварительному экзамену “ищущего” как к серьезной исповеди в своих делах и помышлениях, и, во-первых, наплел он на себя чуть ли не все семь смертных грехов, а во-вторых, выразил свое недоумение к характеру экзамена в форме, еще более насмешливой, чем отзыв Лорис-Меликова.

Если бы все три экзаменатора были парижанами, они спокойно проглотили бы пилюлю. Но в тройку замешался брат, только что прибывший из Тонкина, где, оказывается, еще держится романтический взгляд на масонство и вера в него. Этот колониальный брат пришел в ужас от “кощунственных” признаний Аничкова и решительно восстал против приема в ложу “Космос” столь странного “ищущего”. При всех стараниях Ковалевского и возглавлявшего ложу мэтра Николя замять неожиданный инцидент упрямый тонкинец настоял-таки на своем, так что в качестве неблагонадежного Аничков удостоился посвящения только месяц спустя, притом, если не ошибаюсь, не в нашей ложе “Космос” шотландского ритуала, но в какой-то, более значительной, Великого Востока» (*Амфитеатров А.* Веселонравный ученый // Сегодня. 1937. 8 ноября).

[20] *Ритор* — устаревшее название офицерской должности оратора масонской мастерской.

[21] См. примеч. 12 к очерку «Любимый дед девяноста лет».

[22] Общее обозначение высшего существа у масонов.

[23] То есть вступающий в масонскую ложу.

[24] учеником (*фр.*).

МОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В МАСОНСКОЙ ЛОЖЕ

Печатается по: Сегодня. 1930. № 184. 6 июля.

[1] В VII главе «Рудина» И.С. Тургенева один помещик на подобный вопрос отвечает: «Известно как: я носил длинный ноготь на пятом пальце».

[2] Ресторан в ратуше Мюнхена на главной площади города Мариенплац.

[3] Перечислены известные мюнхенские пивные.

[4] Цитируется стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

[5] Речь идет о Вас.И. Немировиче-Данченко.

[6] ангельском (*фр.*). В «Отцах и детях» Тургенева (гл. 14) один из персонажей «выражался на том великорусско-французском наречии, над которым так смеются французы, когда они не имеют нужды уверять нашу братью, что мы говорим на их языке, как ангелы, “comme des anges”».

[7] хорошо подвешенного языка (*фр.*).

[8] Тверское земство было известно своим либерализмом.

[9] То есть Великой французской революции.

[10] См. примеч. 12 к воспоминаниям «“Господа Обмановы”: История романа и ссылки».

[11] См. текст речи Амфитеатрова в ложе «Космос»: РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 2. Ед. хр. 46.

[12] Позднее Амфитеатров несколько иначе излагал историю своего разрыва с масонством: «...для меня достаточно было театрально нелепой церемонии приема, чтобы получить острое предубеждение против масонства, а двух или трех посещений ложи (включая ее банкет) для того, чтобы понять, что мы, русские, неизвестно зачем включились в буржуазную французскую организацию, может быть, очень удобную для парижан при муниципальных выборах, но от которой нет решительно никакой пользы нам, как и ей от нас. Я быстро покончил с этой игрой простым автоматическим порядком: перестал посылать братский взнос и, уезжая из Парижа, не оставил ложе адреса» (*Амфитеатров А.* Веселонравный ученый // Сегодня. 1937. 8 ноября).

[МАНАСЕВИЧ-МАНУЙЛОВ]

Публикуемый текст был написан для итальянской газеты «Giornale d’Italia» в начале 1910 г. Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 2. Ед. хр. 26. Л. 1—4.

[1] Обыск у И.Ф. Манасевича-Мануйлова был проведен 21 января 1910 г., но результатов он не дал, и арестован Манасевич-Мануйлов не был. См. о нем: *Рейтблат А.И.* Манасевич-Мануйлов И.Ф. // Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. М., 1994. Т. 3. С. 504—505; там же указаны посвященные ему публикации.

[2] Золотопромышленник Ф.И. Манасевич-Мануйлов, усыновивший И.Ф. Манасевича-Мануйлова (внебрачного сына П.Л. Мещерского), оставил ему (после смерти в 1892 г.) 100 000 руб. с условием, что он получит их по достижении тридцатипятилетнего возраста.

[3] балбес (*фр.*).

[4] Это произошло в 1896 г. в поезде, когда оба они ехали в Болгарию в качестве корреспондентов (см.: *Амфитеатров А.* Русский деджач // Возрождение. 1936. 18, 25 марта).

[5] Манасевич-Мануйлов был агентом Петербургского охранного отделения с 1888 г.

[6] Манасевич-Мануйлов вначале поступил на службу в Императорское человеколюбивое общество и в 1897 г. перешел в Департамент духовных дел иностранных исповеданий.

[7] Тут Амфитеатров неточен. Агентом по римско-католическим делам при посольстве в Риме Манасевич-Мануйлов стал в 1900 г., а в 1902 г. командирован в Париж. М.Р. Гоц же был арестован в Италии в марте 1903 г. (по требованию русского правительства), но летом того же года, после кампании, поднятой западноевропейскими социалистами в его защиту, был освобожден. Все это происходило не до, а после пребывания Манасевича-Мануйлова в Риме.

[8] Манасевич-Мануйлов в 1905 г. выпускал в Париже официозную газету «La revue russe».

[9] Это произошло в 1905 г.

[10] Речь идет о кишиневском погроме 6 апреля 1903 г.

[11] Манасевич-Мануйлов был уволен из Министерства внутренних дел в сентябре 1906 г.

[12] Манасевич-Мануйлов был арестован только в августе 1916 г. по обвинению в использовании служебного положения (в конце 1915 г. он был вновь причислен к Министерству внутренних дел, а с января 1916 г. был откомандирован в распоряжение министра внутренних дел Б.В. Штюрмера), но освобожден в октябре 1916 г., а в декабре того же года слушание его дела было отложено по высочайшему повелению (из-за страха императрицы перед возможными разоблачительными свидетельствами о Распутине, доверенным лицом которого был Манасевич-Мануйлов). В феврале 1917 г. судебные слушания все же прошли, и Манасевич-Мануйлов был осужден на полтора года тюрьмы.

РУССКИЙ УГОЛ В ЛИГУРИИ

Печатается по: Сегодня. 1932. № 31. 31 января.

[1] От «палаццо» (*um.* palazzo) — дворец, особняк в Италии.

[2] Перефразировано выражение из Песни первой поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».

[3] Изречение «Нам, русским, ненадобен хлеб, — мы друг друга едим и от того сыты бываем» приписывается юродивому первой половины XVIII в. Тихону Архиповичу (см.: *Корсаков Д.А.* Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891. С. 108—109).

[4] «Polska nieporządkiem stoi» (правильно: «Polska nierządem stoi») — «Польша неурядьем (или — бардаком) держится» (*польск.*).

[5] Письма Амфитеатрова Бурцеву за много лет см. в: ГАРФ. Ф. 5802. Оп. 1. Ед. хр. 74. См. также: *Амфитеатров А.* Бурцев // Амфитеатров А. На всякий звук. СПб., [1913]. С. 128—152.

[6] См. написанные Амфитеатровым некрологи Плеханову (с воспоминаниями о нем): Гонимый покойник // Петроградский голос. 1918. 9 июня; Прободенный // Новые ведомости. Веч. выпуск. 1918. № 78.

[7] *Лихач Кудрявич* — персонаж стихотворений А.В. Кольцова «Первая песня Лихача Кудрявича» и «Вторая песня Лихача Кудрявича» (1837).

[8] М. Вишняк вспоминал, как, отдыхая с женой в Италии в конце 1908 г., они «съездили в соседнее Кави ди Лаванья, где жили знакомые <...> по партии — Осоргин и Колосов. Они повели нас знакомиться с Амфитеатровыми, как бы возглавлявшими тамошнюю колонию.

Амфитеатровы снимали большую виллу и славились своим хлебосольством. <...> В Кави Амфитеатров продолжал писать романы, производя их “серийно”: в определенные часы он диктовал “Викторию Павловну” — роман, посвященный проблеме проституции, в другие часы — другой роман, название которого не сохранилось в моей памяти.

Ближайшим приятелем Амфитеатровых в пору их житья в Кави был знаменитый шлиссельбуржец Герман Александрович Лопатин. Мы были приглашены к обеду, на который пришел и Лопатин в крылатке и широкополой черной шляпе с толстой палкой, на которую он не столько опирался, сколько ею размахивал. По внешнему виду никак нельзя было думать, что этот подвижный, громогласный и жизнерадостный человек просидел 18 лет в страшной шлиссельбургской изоляции. Когда приступили к еде, орошенной вином, языки развязались и хозяин с гостем вступили в единоборство, очевидно не в первый раз, — кто из них лучший рассказчик.

Амфитеатров, грустный и монументальный — настолько, что рядом с ним люди невысокого роста казались существами иной биологической породы, говорил легко, спокойно и свободно, не подыскивая слов и пользуясь живописными образами и анекдотом. Лопатин говорил с воодушевлением, “из нутра”, на французский манер, был находчив и остроумен. Трудно было отдать предпочтение тому или другому — оба были замечательными рассказчиками» (*Вишняк М.* Дань прошлому. Нью-Йорк, 1954. С. 160—161).

[9] последний крик моды (*фр.*).

[10] Использовано выражение «глаголом жги сердца людей» из «Пророка» (1828) А.С. Пушкина.

[11] «вечного двигателя» (*лат.*).

[12] Неточно цитируется стихотворение К.К. Павловой «Разговор в Кремле» (1854).

[13] Софья Григорьевна Кропоткина, урожденная Рабинович.

[14] Савинков возглавлял Боевую организацию в 1909—1911 гг.

[15] Повесть Савинкова «Конь бледный» была опубликована в 1909 г. в «Русской мысли» (№ 1) и в том же году вышла в Петербурге отдельным изданием.

[16] См.: *Комолова Н.П.* Русская эмиграция в Италии в начале XX века (1905—1914) // Россия и Италия: XX век. М., 1998. Вып. 3. С. 283—306.

[17] ва-банк (*фр.*) — карточный термин, в переносном значении — действовать излишне смело, рискуя всем.

[18] В 1924 г. Савинков нелегально приехал в СССР для антибольшевистской деятельности, был арестован, приговорен к 10-летнему заключению, а в тюрьме, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна кабинета следователя на пятом этаже.

БОРЬБА С НЕМЕЦКИМ БОГАТЫРЕМ

Печатается по: Сегодня. 1930. № 1. 1 января.

[1] См.: *Людвиг Э.* Июль 1914 / Пер. с нем Л. Мейерсона. Рига, 1929.

[2] Возможно, имеется в виду пассаж из «Войны и мира» (Т. 1, ч. 2, гл. 7), в котором идет речь о том, что «иногда, как щепка, вьющаяся по реке, уносился по мосту волнами пехоты пеший гусар, денщик или житель».

[3] Цитируется стихотворение М.Ю. Лермонтова «Родина» (1841).

[4] «Стража на Рейне», «Германия, Германия превыше всего» (*нем.*) — названы стихотворение Макса Шнеккенбургера (1840), переложенное на музыку К. Вильгельмом и ставшее в 1870—1871 гг. немецким национальным гимном, и песня Августа Генриха Гофмана фон Фаллерслебена (1841) на музыку Йозефа Гайдна, являвшаяся государственным гимном Германии.

[5] Эта неточная цитата — завершающие строки поэмы Лермонтова «Ангел Смерти» (1831), и характеризуют они не Азраила (героя поэмы Лермонтова [«Азраил»]), а Ангела Смерти.

[6] Троцкий действительно под псевдонимом Антид Ото печатал тогда в «Киевской мысли» цикл «Письма с Запада», но некролог Слетова был помещен там (17 июня 1915 г.) без подписи.

[7] Это землетрясение произошло 28 декабря 1908 г. Мессина и ряд близлежащих городов были разрушены, погибло 84 тыс. человек.

[8] Продолжение этого очерка в газете «Сегодня» опубликовано не было.

1914—1915 ГОДЫ

Печатается по: Возрождение. 1929. № 1334. 26 января.

[1] В другой статье Амфитеатров иначе характеризовал работу цензуры: «Работать было нетрудно, даже в условиях военной цензуры. Она в Италии была очень легка, и неприятность от нее сводилась больше к опозданию срочных известий, из-за механической задержки в разрешении, чем в придирчивости к тексту и сведениям. Ввиду разоблаченной гигантской сети германского шпионажа прошла регистрация иностранцев, опять-таки очень поверхностная. Почта из нейтральных государств не цензурировалась, за редкими исключениями, — вероятно, по прямым доносам, — и опаздывала только в зависимости от измененных трактатов и загромождения путей военным передвижением» (*Амфитеатров А.* Разобщение // Сегодня. 1926. 1 мая).

[2] оплошностями, бестактностями (*фр.*).

[3] А. Саландра возглавил правительство ранее, еще в марте 1914 г.

[4] Великий князь Николай Николаевич 20 августа 1915 г. по настоянию императрицы Александры Федоровны и Г. Распутина, опасавшихся усиления его влияния, был смещен с поста Верховного главнокомандующего и назначен наместником Кавказа и командующим Кавказским фронтом.

[5] Фигнер покинула Петроград в мае 1919 г., а Музей революции открылся в октябре.

НЕ БРАТ СВОИХ БРАТЬЕВ

Печатается по: Сегодня. 1927. № 152. 13 июля.

[1] Арест этот был осуществлен в апреле 1901 г., З. Пешкову было тогда 17 лет.

[2] Свадьба состоялась в октябре 1910 г., а уже через месяц З.А. Пешков с женой покинули дом Горького.

[3] В Америке Пешковы были в 1911—1913 гг.

[4] З. Пешков был секретарем сборника «Энергия» в 1913—1914 гг.

[5] Горький покинул Капри в конце 1913 г. и поселился в Финляндии, в Мустамяки.

[6] Подробнее об этом путешествии см. выше в мемуарном очерке «Борьба с немецким богатырем».

[7] Свои впечатления от поездки в Германию в апреле—мае 1913 г. Амфитеатров изложил в письме Горькому от 12 мая, а Горький ответил ему через десять дней после получения письма. Речь в этой переписке шла не совсем о том, что пишет Амфитеатров в воспоминаниях. В своем письме он восхищался расцветом немецкой культуры и писал, что у немцев «всеобщее удивительное спокойствие и сознание национальной цельности своей и силы. <...> Войско — так уж войско, рабочие — так уж рабочие, школа — так уж школа, искусство — так

уж искусство. Войны не хотят, но и не боятся ее. А я забоялся: если будет такое несчастие, плохо нам придется». Горький отвечал, что не согласен с его суждениями о Германии, так как у нее «нет литературы, скульптуры, архитектуры, живописи; музыка сомнительна, о Кантах и Шопенгауэрах не слыхать <...>. И которая <...> продолжая развивать милитаризм, давит всю культуру Европы. <...> И вскорости они будут нас толкать вон из Европы. <...> Мы, конечно, сперва заартачимся, не пойдем, тут они нас пушками, пушками! Беда будет!» (Лит. наследство. М., 1988. Т. 95. С. 426, 427—428).

[8] В сентябре 1915 г. в швейцарском городе Циммервальд прошла международная социалистическая конференция, направленная против Первой мировой войны и социал-шовинизма. Перед ее началом по инициативе В.И. Ленина там же была создана международная группа революционных социалистов «Циммервальдская левая».

[9] Пешков был ранен в бою под Арасом 9 мая 1915 г., лечился он в американском госпитале в Нейи.

[10] В 1926—1930 гг. Пешков служил в Министерстве иностранных дел, в 1933 и 1937—1940 гг. — вновь в Иностранном легионе. В 1943 г. З. Пешков получил звание бригадного генерала. Подробнее о его жизни см.: *Пархомовский М.* Книга об удивительной жизни Ешуа Золомона Мовшева Свердлова, ставшего Зиновием Алексеевичем Пешковым, и о необыкновенных людях, с которыми он встречался. Иерусалим, 1999.

[11] Амфитеатров не совсем точно и заменив «Мадрит» на «Марокко» цитирует первую сцену драматической сцены Пушкина «Каменный гость».

РУССКИЕ МАТЕРИАЛИСТЫ

Печатается по: За свободу! 1924. № 157. 16 июня.

[1] Статья эта была опубликована в газете «За свободу!» в номерах за 2 и 3 июня.

[2] Рассказы «Святой ночью» и «Свирель» были впервые опубликованы в газете «Новое время» (соответственно 13 апреля 1886 г. и 29 августа 1887 г.), повесть «Черный монах» — в журнале «Артист» (1894. № 1).

[3] С.П. Мельгунов вспоминал, что ему Г.А. Лопатин «рассказывал, что Амфитеатров записал за ним целых четыре тома, когда Лопатин жил у него в Италии» (*Мельгунов С.* Встречи. I. Г.А. Лопатин // Голос минувшего. 1920—1921. С. 96). Амфитеатров посвятил Лопатину свой роман «Девятидесятники» (СПб., 1909), в котором Лопатин является прототипом Андрея Алексеевича Берцова.

[4] Лопатин перевел следующие книги: *Иегер Г.* Зоологические письма. М., 1865; *Маркс К.* Капитал. Т. 1. СПб., 1872 (совместно с Н.Ф. Даниэльсоном и Н.Н. Любавиным); *Спенсер Г.* Основания психологии: В 4 т. СПб., 1876; *Он*

же. Основания социологии: В 2 т. СПб., 1876; *Он же.* Основания науки о нравственности. СПб., 1880; *Тэн И.* Происхождение общественного строя современной Франции. СПб., 1880 Т. 1.; *Тиндаль Дж.* Гниение и зараза по отношению к веществам, носящимся в воздухе. СПб., 1883; *Жоли А.* Психология великих людей. СПб., 1884; *Карпентер В.Б.* Месмеризм, одилизм, столоверчение и спиритизм с исторической и научной точек зрения. СПб., 1878, и др.

[5] Об отношениях Лопатина и К. Маркса см.: *Рапопорт Ю.М.* Из истории связей русских революционеров с основоположниками научного социализма (К. Маркс и Г. Лопатин). М., 1960; *Сайкин О.А.* Первый русский переводчик «Капитала». М., 1983.

[6] Лопатин был арестован в октябре 1884 г. и посажен в Петропавловскую крепость, с 26 мая по 5 июня 1887 г. проходил суд (так называемый «Процесс 21-го»), Лопатин был приговорен к смерти, но повелением царя кара была изменена на пожизненное заключение в Шлиссельбурге. На свободу он вышел в октябре 1905 г.

[7] в стране неверных (*лат.*) — здесь в значении: среди людей противоположных убеждений.

[8] У Амфитеатрова инициалы приведены неверно, имеется в виду княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова.

[9] Впервые очерк «Не наши» опубликован в журнале «Вперед» (1874. Т. 3. Отд. 2. С. 160—181).

[10] «Смерть и Дьявол» (*фр.*).

[11] В 1883 г. произошел разрыв Лопатина с его гражданской женой З.С. Апсеитовой.

[12] «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева был опубликован в альманахе «Шиповник» (Кн. 5. СПб., 1908).

[13] Рассказ «Христиане» был помещен в «Журнале для всех» (1906. № 1), рассказ «Тьма» и роман «Сашка Жегулев» — в альманахе «Шиповник» (Кн. 3. СПб., 1907; Кн. 16. СПб., 1911).

[14] П.М. Рутенберг принимал участие в суде рабочих над Г.А. Гапоном и в его убийстве. См.: *Рутенберг П.М.* Убийство Гапона: Записки. Л., 1925.

[15] Имеется в виду покушение народовольца В.Д. Генералова 1 марта 1887 г.

[16] В редактируемой им газете «Русская воля» Амфитеатров 22 января 1917 г. опубликовал текст («Этюды. VI»), который при сплошном чтении производил впечатление малоосмысленного набора слов, но при чтении только первых букв каждого слова получался резкий выпад против цензурных ограничений: «Решительно ни о чем писать нельзя. Предварительная цензура безобразничает чудовищно. Положение плачевнее, нежели тридцать лет назад. Мне недавно зачеркнули анекдот, коим я начинал свою карьеру фельетониста. Марают даже басни Крылова. Куда еще дальше идти? Извиняюсь, читатели, что с седою головою приходится прибегать к подобному средству общения с вами, но что поделаешь. Узник в тюрьме пишет где и чем может, не заботясь об орфогра-

фии. Протопопов оковал нашу печать в колодки. Более усердного холопа реакция еще не создавала. Страшно и подумать, куда он ведет страну. Его власть — безумная провокация революционного урагана».

[17] Имеется в виду Дом престарелых писателей.

[18] Пс. 17:12.

[19] Имеется в виду вторая жена Амфитеатрова, Иллария Владимировна.

[20] *Саккос* — верхняя архиерейская одежда.

«БЛАЖЕН МУЖ АНАТОЛИЙ»

Печатается по: Сегодня. 1934. № 19. 19 января.

[1] Цитируется стихотворение А.А. Фета «Шепот, легкое дыханье...» (1850).

[2] Отец А.В. Луначарского был действительным статским советником. Чин этот в табели о рангах приравнивался к генеральскому.

[3] Луначарский не учился в Московском университете; он лишь около года пробыл в Цюрихском университете.

[4] Измененная цитата из 4-й главы поэмы Н.А. Некрасова «Саша» (1856).

[5] Луначарский отбывал ссылку в Вологде, а потом в Тотьме в 1902—1903 гг.

[6] Луначарский примкнул к большевикам в 1903 г., после 2-го съезда РСДРП; за рубеж он уехал в 1904 г.

[7] Сохранилась переписка Амфитеатрова и Луначарского за 1911 г., связанная с публикацией Луначарского в редактируемом Амфитеатровым журнале «Современник» (РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 1. Ед. хр. 74).

[8] В раннем варианте воспоминаний о Луначарском Амфитеатров писал: «Помню, лет пятнадцать тому назад, живя на Капри, имел он несчастие потерять единственного ребенка. Религиозного обряда над усопшим, конечно, не позволил совершить, но, вместо того, читал над трупиком, наподобие псалтыря, какую-то эстетическую статью поэта Бальмонта. Эффект получился большой, но несколько неожиданный. Посетители из русской колонии приходили растроганные, с готовностью утешать и сочувствовать, а уходили — кто бранясь, кто кусая губы, чтобы удержать неприличный, но невольный смех:

— Придумает же! Ах, шут гороховый!» (*Амфитеатров А.* Первый комик большевицкого театра // Возрождение. 1928. 3 января).

[9] См.: *Ганфман М.* «Великолепный нарком» // Сегодня. 1933. 28 декабря.

[10] См. примеч. 7 к очерку «Славная московская тень».

[11] Луначарский подал в Совнарком 2 ноября 1917 г. заявление об уходе с поста наркома (опубликовано в газете «Новая жизнь» 3 декабря; перепечатано: Лит. наследство. М., 1971. Т. 80. С. 46). Совнарком отставку не принял. Луначарский вспоминал: «Пишущий эти строки был напуган разрушениями ценных художественных зданий, имевшими место во время боев революционного пролетариата Москвы с войсками Временного правительства, и подвергся по этому поводу

весьма серьезной “обработке” со стороны великого вождя. Между прочим ему были сказаны тогда такие слова: “Как вы можете придавать такое значение тому или другому старому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом?”» (*Луначарский А.* Ленин и литературоведение // Лит. энциклопедия. М., 1932. Т. 6. С. 211—212). Уже на следующий день Луначарский опубликовал обращение «Берегите народное достояние» (Известия ВЦИК. 1917. 4 ноября).

[12] О «золотом сердце» Дзержинского Луначарский писал в статье о деткомиссии при ВЦИКе и повторил их в некрологе «Феликс Дзержинский» (Вечерняя Москва. 1926. 21 июля). В мемуарной статье «Ф.Э. Дзержинский в Наркомпросе» Луначарский называл его «великим человеком», «героем», «святым террористом» и писал о его «огромной любви к человечеству» и о том, что «этот рыцарь без страха и упрека был, конечно, рыцарем любви» (Правда. 1926. 22 июля).

[13] См.: *Луначарский А.В.* Королевский брадобрей. СПб., 1906; *Он же.* Фауст и город. Пг., 1918.

[14] См. следующие пьесы Луначарского: «Оливер Кромвель» (М., 1920); «Канцлер и слесарь» (М., 1921); «Освобожденный Дон-Кихот» (М., 1922); «Фома Кампанелла» (М., 1922), и др.

МОИ ВСТРЕЧИ С Т.Г. МАСАРИКОМ

Печатается по: Сегодня. 1930. № 71. 12 марта.

[1] Австрия должна быть разрушена! (*лат.*). В основе этого девиза — слова Катона Старшего «Впрочем, полагаю, что Карфаген должен быть разрушен!», которыми он заканчивал каждую свою речь в римском сенате. Ср.: *Масарик Т.* Delenda est Austria! // Рус. воля. 1916. 22 декабря.

[2] То есть изданий лорда Нортклифа.

[3] Под Карсо Италия вела в 1916—1917 гг. длительные ожесточенные бои против войск Германии и Австро-Венгрии.

[4] В конце 1917 — начале 1918 гг. Амфитеатров редактировал газету «Вольность».

ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ В ПЕТРОГРАДЕ 1919—1921 ГОДОВ

Печатается по рукописи: РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 2. Ед. хр. 51. Доклад был прочитан в Праге в «Umelecka Beseda» 26 марта 1922 г., опубликован в газете «За свободу!» (1922. 1, 6, 9 апреля) и впоследствии по рукописи А.Г. Виноградовым в сборнике «Встречи с прошлым» (М., 1996. Вып. 8. С. 143—163), с большим количеством неверных прочтений.

[1] В марте 1917 г. лидеры большевиков (Ленин, Г. Зиновьев, К. Радек, Г. Сокольников, А. Луначарский и др.) вернулись из Швейцарии в Россию в запломбированном вагоне (через Германию, Швецию и Финляндию). См.: Тайна Октябрьского переворота: Ленин и немецко-большевистский заговор: Документы, статьи, воспоминания. СПб., 2001.

[2] Закрытие неугодных советской власти изданий осуществлялось не каким-либо одним актом, а постепенно. Часть была закрыта Военно-революционным комитетом в ходе восстания, а 27 октября (9 ноября) 1917 г. Лениным был подписан декрет Совнаркому о том, что «закрытию подлежат органы прессы: 1) призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству; 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов, 3) призывающие к деяниям явно преступного, т.е. уголовно наказуемого, характера» (Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 25). 28 января (2 февраля) 1918 г. был создан Революционный трибунал печати, наделенный правом приостанавливать периодические издания (см.: Там же. С. 432–434), 18 марта 1918 г. последовало постановление о закрытии московских буржуазных газет (оно носило закрытый характер и не публиковалось; см.: Декреты Советской власти. М., 1959. Т. 2. С. 569). Подробнее см.: *Окороков А.З.* Октябрь и крах русской буржуазной прессы. М., 1970. Но главное было не в этом. По воспоминаниям В.Ф. Ходасевича, «национализировав типографии и взяв на учет бумажные запасы, советское правительство присвоило себе право распоряжаться всеми типографскими средствами. Для издания книги, журнала, газеты отныне требовалось получить особый “наряд” на типографию и бумагу. Без наряда ни одна типография не могла приступить к набору, ни одна фабрика, ни один склад не могли выдать бумаги. <...> Ввести прямую цензуру большевики еще не решались — они ввели ее только в конце 1921 года. Но, прикрываясь бумажным и топливным голодом, они тотчас получили возможность прекратить выдачу нарядов неугодным изданиям, чтобы таким образом мотивировать их закрытие не цензурными, а экономическими причинами. Все антибольшевистские газеты, а затем и журналы, а затем и просто частные издательства были постепенно уничтожены» (*Ходасевич В.Ф.* Книжная палата // Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 229).

[3] уже произошедшее (*фр.*).

[4] В декабре 1917 г. газета была переименована в «Петроградский голос».

[5] А.А. Измайлов редактировал «Петроградский голос» с конца 1917 г.

[6] «Псевдонимами» стали называть в 1917 г. большевистских и меньшевистских лидеров, когда во время выборов в Советы и другие органы выяснилось, что значительная их часть до сих пор была известна публике под литературными именами.

[7] В одной из своих статей Амфитеатров вспоминал «лето 1918 года, когда в один день истреблена была вся местная периодическая печать» Петрограда:

«Неправедно казненная “пресса” умерла, и ни одна-то жива душа, кроме нас, “профессионально заинтересованных”, писателей и журналистов, не взволновалась тем, словечка против не пикнула. И все покорно пошли читать расклеенные по улицам большевицкие стенные “Правду” и “Красную газету”» (*Амфитеатров А.* Под траурный марш Шопена // Сегодня. 1935. 1 января).

[8] См. примеч. 64 к «Из литературных воспоминаний».

[9] В статье «Сретение» А. Луначарский писал об И.И. Ясинском следующее: «У него были ошибки, он бывал в чужих нам лагерях и все-таки честь ему, старому литератору, который, как древний Симеон, берет на руки новорожденную свободу и поет ей песни, глотая искренние слезы и повторяя великое “Ныне отпущаеши”.

А вы, безукоризненные, вы народники, вы марксисты, стыдно вам, отвернувшимся от народа в тяжелый час риска и недоконченной победы. <...> Согласно притче евангельской многие званные не пришли на пир пролетариата, он пошел по дорогам и скликает прохожих, прохожие приходят и приветствуют его в дни его исторических именин.

Истинно говорю вам: придут к нему иные отвергнутые, которые с ним обретут себя и станут драгоценными помощниками обездоленного класса, предательски покинутого своими офицерами в час решительного боя.

Иероним Иеронимович, привет вам в наших рядах» (*Луначарский А.* Сретение // Известия Центрального исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 17 ноября).

[10] Амфитеатров имеет в виду рижские газеты «Воля» (1920) и «Новый путь» (1921—1922), гельсингфорсский «Путь» (1920—1922) и берлинский «Новый мир» (1921—1922).

[11] ***Петрокоммуна*** (Петроградская потребительская коммуна), существовавшая с сентября 1919 г. до лета 1921 г., объединяла аппараты государственных и кооперативных организаций и осуществляла заготовку и распределение продуктов питания и предметов первой необходимости в Петрограде и губернии.

М.К. Лемке, который с марта 1917 г. возглавлял Экспедицию заготовления государственных бумаг, уже 25 октября 1917 г., первым среди чиновников Временного правительства, заявил о признании власти большевиков. С января 1920 г. он преподавал в Педагогическом институте (в 1922 г. вступил в коммунистическую партию) и входил с 1922 г. (вместе с преподававшим в том же институте Н.А. Гредескулом и др.) в «Группу левой профессуры», считавшую «революционный марксизм» методологической основой гуманитарной науки.

[12] Издательство ***«Всемирная литература»*** было основано 4 сентября 1918 г. М. Горьким в Петрограде при Наркомпросе и просуществовало по 1924 г., когда было влито в Ленгиз. Издательство осуществляло перевод и издание мировой классики (вышло около 200 книг). См.: *Шомракова И.А.* Книгоиздательство «Всемирная литература» (1918—1924) // Книга: Исследования и материалы. М., 1967. Вып. 14. С. 175—193.

[13] Имеется в виду М.В. Ватсон.

[14] Юридические формулировки.

[15] В другом месте Амфитеатров писал про «Всемирную литературу»: «Я очень много думал о значении художественного перевода в 1919—1920 гг. в Петрограде, работая во “Всемирной литературе”, имевшей, по идее Луначарского и Горького, прекрасную цель дать русским читателям всю иностранную авторитетную литературу, начиная с XVIII века, в авторитетных же переводах, которые соединяли бы художественность с точностью. Как из всех прекрасных культурных заданий большевицкого меценатства, из этой затеи ничего не вышло, а что вышло, оказалось довольно уродливым, за самыми малыми исключениями.

Причинами тому были: во-первых, необъятный размах задания; во-вторых, принудительная спешность его. Не то чтобы над переводчиками стояли с палкою-погонялкою большевики, но палку-погонялку взяли, введенные большевиками в качестве государственного учреждения, голод и нищета. Лист перевода оплачивался во “Всемирной литературе” в мое время от тысячи до полутора тысяч рублей: рыночная цена фунта хлеба! Ясно, что “работать” в таких условиях было невозможно, и труд, многими начатый с энтузиазмом, быстро сполз у большинства сотрудников на “халтуру”.

А энтузиастическое меньшинство либо охладевало к делу и отходило от него, как поступили я, Куприн и мн. др., либо надрывалось на деле и... умирало. Так умер Блок, безвременною гибелью своей обязанный, в весьма значительной степени, этой нелепой “Всемирной литературе”, в которую он вложил много напрасного труда, непосильного для его слабого здоровья, в создавшихся материальных условиях. Конечно, “Всемирная литература” его “поддерживала”. Но поддерживала, как веревка — повешенного. То же надо сказать и о всех сотрудниках “Всемирной литературы”. Иные, поболтавшись на веревочной поддержке некоторое время, благополучно сорвались с нее и давай Бог ноги. А Блока она задавила.

Я лично, по оптимизму своему, все-таки благодарен “Всемирной литературе” — не за веревочную поддержку, которая и мне весьма перетирала горло, а за то, что в результате тамошних повинностей я научился критической оценке труда переводчиков — вообще и в особенности поэтов и классиков художественной прозы» (*Амфитеатров А.* Бальмонт по-итальянски // Сегодня. 1930. 30 марта).

[16] В своей книге «Россия во мгле», написанной на основе впечатлений от двухнедельного визита в Россию в 1920 г., Г. Уэллс, характеризуя деятельность издательства «Всемирная литература», писал, что «эта созидательная работа носит отрывочный, наспех организованный характер. Какими путями всемирная литература дойдет до русского народа, я не представляю. Книжные магазины закрыты, а торговля книгами запрещена, как и всякая торговля вообще». Далее, описывая съезд коммунистов стран Азии в Баку, Уэллс утверждал, что «это был карнавал, театрализованное зрелище, красочная инсценировка» (*Уэллс Г.* Россия во мгле // Уэллс Г. Собр. соч.: В 15 т. М., 1964. Т. 15. С. 332, 346).

[17] *Дом ученых* был открыт 31 января 1920 г. в бывшем дворце великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной решением Петросовета по инициативе Петроградской комиссии по улучшению быта ученых; в 1920—1930-х гг. там еженедельно по субботам читались научные доклады, по четвергам — общедоступные лекции, проводились диспуты, концерты. *Дом искусств* существовал с ноября 1919 г. до осени 1922 г. в доме Чичерина на Невском проспекте (дом 15). Он был организован по инициативе К.И. Чуковского, П.В. Сазонова и А.Н. Тихонова при поддержке М. Горького для оказания социальной помощи деятелям литературы и искусства (жилье, питание и т.п.). Дом искусств проводил литературные вечера, лекции, концерты, организовывал художественные выставки; при нем работала литературная студия, в которой преподавали Н.С. Гумилев, М.Л. Лозинский, Е.И. Замятин, Н.Н. Евреинов, В.М. Жирмунский, Ю.Н. Тынянов, Б.В. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум и др. О Доме искусств см.: *Тимина С.* Культурный Петербург: ДИСК. 1920-е годы. СПб., 2001.

[18] *Котерия* (*фр.*) — группа лиц, преследующих групповые узкокорыстные цели.

[19] *Союз журналистов* был создан в 1905 г.

[20] *Дом литераторов* открылся 1 декабря 1918 г. (ул. Бассейная, д. 11) и просуществовал до 3 ноября 1922 г. Вначале он осуществлял только социальную помощь писателям (питание, рабочие комнаты), с 1920 г. устраивались диспуты и публичные чтения, концерты, публичные лекции, литературные конкурсы; при Доме литераторов действовала литературная студия. Право входа в Дом литераторов имели участники литературных организаций и члены их семей. Периодически материальную помощь Дому литераторов оказывал Наркомпрос. Текст устава Дома литераторов см.: Вестник литературы. 1921. № 4/5. С. 23—24. О деятельности Дома литераторов см.: *Волковыский Н.* «Дом литераторов» (К годовщине его основания) // Вестник литературы. 1920. № 1. С. 14—15; *Мартынов И.Ф., Клейн Т.П.* К истории литературных объединений первых лет Советской власти (Петроградский дом литераторов. 1918—1922) // Рус. литература. 1971. № 1. С. 125—134; *Кукушкина Т.А.* «Всеобъемлющий и широко гостеприимный...» Дом литераторов (1918—1922) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1998—1999 год. СПб., 2003.

[21] *Фрументация* — государственные акты в Древнем Риме, имевшие целью доставление (путем раздачи или продажи по низкой цене) населению города нужного для его пропитания количества хлеба. *Аннона* — законы, направленные на заготовление, доставку и хранение необходимого для этого хлеба.

[22] 26 ноября 1918 г. был принят декрет о порядке реквизиции библиотек, книжных складов и книг вообще, а декретом о национализации запасов книг и иных печатных произведений от 20 апреля 1920 г. было объявлено, что «все запасы книг и иных печатных произведений (за исключением библиотек), при-

надлежащие как частным лицам, так равно кооперативным и всяким другим организациям и учреждениям, а равно и муниципализированные Советами, объявляются собственностью государства (национализируются)» (Декреты Советской власти. М., 1976. Т. 8. С. 59). Порядок реквизиции домашних собраний был детализирован инструкцией Наркомпроса «О порядке реквизиции частных библиотек» от 27 декабря 1918 г. Согласно этой инструкции библиотеки, содержавшие более 500 томов и принадлежавшие лицам, по своей профессии не нуждавшимся в книгах, как рабочий нуждается в инструментах, объявлялись государственной собственностью и поступали в библиотеки Наркомпроса (см.: *Берков П.Н.* История советского библиофильства. М., 1983. С. 50—51).

[23] См., напр.: Каталог духовных и других книг И.Л. Тузова. СПб., 1900. 431 с.

[24] Нехватка книг в стране ощущалась еще до Октябрьской революции; см.: Книжный голод // Вечерний курьер. 1917. 23 мая; *Владиславлев И.* Книжный голод // Библиографический ежемесячник. 1917. Вып. 1. [Май]. С. 5—10; *Сивков К.* Еще один возможный голод // Рус. ведомости 1917. № 104. Однако действия коммунистической власти еще более усугубили ситуацию; см.: *Брамсон Л.* Книжный голод // Книга и жизнь. 1918. № 1. С. 3; *Белопольский И.* Книжный голод // Вестник литературы. 1919. № 11. С. 10; *Семашко Н.* Голод хлебный и книжный // Известия. 1921. 4 авг.

[25] Пажеский корпус был создан в 1711 г.

[26] О последствиях национализации частных библиотек см.: *Глазков М.Н.* Реквизиции и национализации книжных собраний в 1917—1921 гг. как средство разрушения духовной среды обитания человека. Их последствия для России // Человек в мире искусства: Информационные аспекты. Краснодар, 1994. Ч. 2. С. 305—307; *Щулепникова Е.И.* Гибель архивов и библиотек помещичьих усадеб в 1917—1920 годах // Рус. усадьба. М.; Рыбинск, 1994. Вып. 1. С. 125—127.

[27] Деньги на создание этой библиотеки ассигновал Кооператив журналистов. См.: *Ирецкий В.* Наша библиотека // Вестник литературы. 1919. № 1/2. С. 8. Позднее библиотека пополнялась из Государственного книжного фонда, снабжавшего ее изданиями из национализированных книжных запасов, и за счет даров. Подробнее о библиотеке см.: *Мартынов И.Ф., Клейн Т.П.* Указ. соч. С. 129.

[28] Выражение отсылает к антибольшевистской статье Короленко «Торжество победителей» (Рус. ведомости. 1917. 3 декабря), название которой повторяет название стихотворения Жуковского (1828; перевод баллады Шиллера).

[29] Торжественное собрание в 84-ю годовщину смерти Пушкина состоялось в Доме литераторов 11 февраля 1921 г. Выступления А. Блока, М. Кузмина, А.Ф. Кони, Н.А. Котляревского см. в: Вестник литературы. 1921. № 3. С. 15—19. Описание заседания см. в: *Чуковский К.И.* Дневник 1901—1929. М., 1991. С. 158.

[30] А. Ремизов выступал на вечере памяти Достоевского в Доме литераторов 12 февраля 1921 г.; см. публикацию «Огненной России»: Вестник литературы. 1921. № 6/7. С. 18—19.

[31] Вечер памяти В.О. Ключевского состоялся 26 мая 1921 г. Речь Амфитеатрова «В.О. Ключевский как художник слова» была вскоре опубликована в альманахе «Грани» (Берлин, 1922. Вып. 1).

[32] Список членов Комитета, опубликованный в «Вестнике литературы» (1921. № 4/5. С. 24), несколько отличается от приводимого Амфитеатровым. В нем отсутствуют Браудо, Кривенко, Сологуб, зато есть В.А. Азов, И.Г. Гиллер, Ф.Ф. Зелинский.

[33] Имеются в виду М.В. Ватсон и В.П. Буренин.

[34] Пословица «*Кто не с нами, тот против нас*» возникла на основе евангельской формулы «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мф 12:30; Лк 11:23).

ПАМЯТИ АБРАМА ЕВГЕНЬЕВИЧА КАУФМАНА

Впервые: Руль. 1922. 12 января. Печатается по: *Амфитеатров А.* Горестные заметы. Берлин, 1922.

[1] См.: *Ор*[*ечкин Б.С.*]. Кончина А.Е. Кауфмана // Руль. 1921. 29 декабря.

[2] Ср.: «Сообщая о смерти А.Е. Кауфмана, “Новый мир” откровенно замечает: “Это был *единственный* человек в среде собравшихся вокруг Дома литераторов лиц, с которым сов. власти *в известной мере* считались и которому они шли навстречу”. Очень любопытное признание, характеризующее отношение большевиков к литературе» (Печать // Руль. 1922. 3 января).

[3] Очень неточно цитируются «Сцены из лирической комедии “Медвежья охота”» Н.А. Некрасова (1867; д. 1, сц. 4).

[4] Имеется в виду А.М. Горький.

[5] В.П. Буренин в своих критических фельетонах в «Новом времени» нередко допускал антисемитские выпады.

[6] В «Вестнике литературы» были помещены два текста В.П. Буренина — отрывок из «мистерии» в стихах «Иисус — сын человеческий» (1920. № 2) и стихотворение «13 июня 1854 г. (Памяти Н.Г. Чернышевского)» (1920. № 6).

[7] Оборот этот встречается во многих стихотворениях Н.А. Некрасова: «Саша» (1856), «Свобода» (1861), «Рыцарь на час» (1862) и др.

[8] Всероссийская школа журнализма была создана в Петрограде в 1918 г.

[9] Имеется в виду «Открытое письмо Уэллсу» Д.С. Мережковского (Последние новости. 1920. 3 декабря). Мережковский писал: «Горький будто бы спасает русскую культуру от большевистского варварства. <...> Знаете ли, мистер Уэллс, какою ценою “спасает” Горький? Ценою *оподления*, — о, не грубого, внешнего, а внутреннего, тонкого, почти неисследимого. Он, может быть, сам не сознает, как оподляет людей».

«ЖИЛИ-БЫЛИ ТРИ СЕСТРЫ»

Печатается по: Сегодня. 1937. № 167, 168. 20, 21 июня.

[1] См. примеч. 360 к «Из литературных воспоминаний».

[2] Повесть Марко Вовчок «Жили да были три сестры» была опубликована в «Современнике» (1861. № 9, 11).

[3] Имеется в виду книга Марко Вовчок «Украинские народные рассказы» (СПб., 1859), переведенная И.С. Тургеневым и изданная с его предисловием.

[4] См. статьи Н.А. Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья» (Современник. 1860. № 9. Подп.: —бов) и Ф.М. Достоевского «Г-н —бов и вопрос о искусстве» (Время. 1861. № 2).

[5] Роман Ю.В. Жадовской «В стороне от большого света» и повесть Н.С. Кохановской «После обеда в гостях» были опубликованы в «Русском вестнике» (соответственно 1857. № 5—8 и 1858. № 16).

[6] Амфитеатров и сам «глухо забыл» произведения Н.Д. Хвощинской: помимо действительно написанных ею романов «Баритон» (Отечественные записки. 1857. № 10—12) и «Большая медведица» (Вестник Европы. 1870. № 3, 4, 7—9; 1871. № 4—6, 11) он упоминает и роман С.И. Смирновой «Попечитель учебного округа» (Отечественные записки. 1873. № 10—12).

[7] Стихотворение Ю.В. Жадовской «Нива» (1858) было положено на музыку (к тексту обращалось более 15 композиторов) и стало популярной песней.

[8] Разыскать это свидетельство И.А. Бунина нам не удалось.

[9] Роман М.В. Авдеева «Подводный камень» впервые был опубликован в «Современнике» (1860. № 3, 10, 11).

[10] См.: *Авсеенко В.Г.* Скрежет зубовный // Рус. вестник. 1878. № 1—3, 5, 9—11; *Толстой Л.Н.* Анна Каренина // Рус. вестник. 1875. №1—4; 1876. № 1—4, 12; 1877. № 1—4; *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы // Рус. вестник. 1879. № 1, 2, 4—6, 8—11; 1880. № 1, 4, 7—11.

[11] Пьер *Кюба* — петербургский ресторатор.

[12] *Вторая империя* — время правления Наполеона III во Франции (1852—1870).

[13] *Рене* — главный герой романа Ф.Р. де Шатобриана «Рене, или Следствия страстей» (1802), *Арман Дюваль* — герой романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями» (1848) и его же одноименной пьесы (1852).

[14] Имеется в виду Собрание сельских хозяев. Ср.: «Картофельный клуб! Так иронически называли в Петербурге Собрание сельских хозяев. Картофельный клуб по составу своих членов соперничал с Английским, и попасть в него считалось большой честью. Преобладала в нем бюрократия. <...> В Собрании бывали многие члены Государственного совета, представители прокуратуры, адвокатуры, военные, наезжавшие из провинции губернаторы, директора банков и люди самых разнообразных профессий» (*Плещеев А.* Виденное и слышанное // Возрождение. 1935. 13 октября).

[15] Игра в *орлянку* заключалась в том, что монету подбрасывали, загадывая, упадет она орлом или решкой.

[16] Речь идет о денежной реформе 1895—1897 гг., в ходе которой были введены новые банковские билеты, свободно размениваемые на золото.

[17] Цитируется стихотворение А.С. Пушкина «К А.П. Керн».

[18] Имеется в виду Василий Феликсович Спримон.

[19] Имеется в виду убивший шесть своих жен герой старофранцузской сказки «Рауль, рыцарь Синяя Борода», впервые опубликованной Ш. Перро в 1697 г.

[20] Ловлас (Ловелас) — персонаж романа английского писателя С. Ричардсона «Кларисса, или История юной леди» (1747—1748), о Фобласе см. примеч. 8 к очерку «Из давних лет».

[21] Речь идет о картинах К.Е. Маковского «Боярский свадебный пир в XVII столетии» (1883) и «Поцелуйный обряд» (1895).

[22] К.Е. Маковский женился на Ю.П. Летковой в 1875 г. и ушел от нее в 1892 г.

[23] См.: *Варшер Т.С.* Красавица Е.П. Леткова-Султанова. (Из воспоминаний о встречах с ней) // Сегодня. 1937. 20 апреля.

[24] Леткова умерла не в 72 года, а на 81-м году жизни; но к весне 1881 г., когда Амфитеатров кончил гимназию, повестей в толстых журналах у Летковой еще не было.

[25] Цитируется стихотворение Пушкина «Красавица» (1832).

[26] Мф. 19:6; Мк. 10:9.

[27] См.: *Амфитеатров А.* Женское нестроение: [Очерки и заметки]. СПб., 1904.

[28] Перечислены персонажи «Отцов и детей» И.С. Тургенева, «Соборян» и «Некуда» Н.С. Лескова.

[29] Выявить такую работу у О.А. Добиаш-Рождественской нам не удалось. Возможно, имеется в виду ее литографированная книга «Культ Михаила в латинском средневековье» (Пг., 1917) или исследование «История архивов романской Европы при старом порядке» (опубликовано в кн.: Архивные курсы: Лекции, читанные в 1918 г. Пг., 1920. Т. 1. С. 97—152).

[30] Неточно цитируется стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

[31] Памятник Александру II по проекту Н.В. Султанова и П.В. Жуковского был заложен в 1893 г., а открыт в 1898 г. См.: *Султанов Н.В.* Памятник Императору Александру II в Московском Кремле // Строитель. 1898. № 15—18. Стб. 561—749.

[32] См.: *Old Gentleman* [*А.В. Амфитеатров*]. Москва. Типы и картинки. CXVII // Новое время. 1895. 16 сентября.

ПОВЕСТЬ О ДОБРОМ БОЛЬШЕВИКЕ

Печатается по: Сегодня. 1931. № 183. 5 июля.

[1] К.А. Лигский умер 10 марта 1931 г. в Карлсбаде от болезни печени.

[2] Лигский в августе 1918 г. вступил в ВКП(б).

[3] Цитируется «Горе от ума» А.С. Грибоедова (д. I, явл. 7).

[4] Лигский с 1919 г. служил в Комиссариате внутренних дел Союза коммун Северной области в качестве заведующего статистикой, информацией, ревизора и секретаря; был членом коллегии отдела управления Петросовета, с 1920 г. — управляющим делами народного комиссара по иностранным делам в Петрограде; в 1921—1924 гг. — заведующим консульской частью в Варшаве, в 1925—1928 гг. — на аналогичном посту в Токио, в 1928—1931 гг. — 1-м секретарем полномочного представительства СССР в Греции (по данным справки из Наркомата иностранных дел, хранящейся в семейном архиве Лигских). См. также: *Волошина М.* Зеленая змея. М., 1993. С. 281—282, 286; Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступ. статья и коммент. А.В. Лаврова и Дж. Малмстада. М., 1998 (по указ.).

[5] См., напр.: *Зайцев Б.* Италия. Берлин; Пб.; М., 1921. С. 147—168. (Собр. соч. Кн. 7.)

[6] См.: *Осоргин М.* По восточной Ривьере // Рус. ведомости. 1914. 15 февраля. Позднее, уже после публикации комментируемого мемуара, Осоргин напечатал подробные воспоминания о Кави-ди-Лаванья; см.: Местечко на Ривьере // Последние новости. 1936. 26 октября; републиковано в: *Осоргин М.* Воспоминания. Повесть о сестре. Воронеж, 1992. С. 121—126.

[7] Роман «Синь и глубь: Исторический роман из быта русской революционной эмиграции перед великою войною» печатался с 20 декабря 1930 г. в нью-йоркской газете «Новое русское слово».

[8] Лигский в 1893—1902 гг. учился в гимназии в Воронеже, один год — на юридическом факультете в Москве, затем в Военно-медицинской академии в Петербурге, но не кончил ее.

[9] В июне 1907 г. Лигский был приговорен к 8 годам каторги (отбывал ее в Горно-Зерентуйской тюрьме Нерчинской каторги, срок сокращен до 2,5 лет), в начале 1910 г. водворен на поселение в Баргузин Забайкальской области, откуда через два месяца бежал за границу. 1910—1913 гг. Лигский провел в Италии, потом жил в Швейцарии. (См.: Политическая каторга и ссылка: Биографич. справочник членов Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М., 1929. С. 310; дополнено по сообщению Г.С. Кана.)

[10] Лигский с 1902 г. входил в студенческую эсеровскую организацию Военно-медицинской академии, позднее принимал участие в деятельности Боевого отряда Петербургского комитета эсеровской партии, выполняя техническую работу (хранение оружия, взрывчатых веществ, изготовление печатей и паспор-

тов). В сентябре 1906 г. был арестован, а в июне 1907 г. Петербургским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам (сообщено Г.С. Каном).

[11] Амфитеатров упоминает персонажей романа И.А. Гончарова «Обрыв».

[12] См.: *Лигский К.* Ты одинок: Стихотворение // Современник. 1911. № 9; *Он же.* Via dolorosa // Энергия. СПб., 1914. Сб. 2. С. 173—187 (рассказ).

[13] Цитируется эпиграмма И.С. Тургенева на Н.Х. Кетчера «Вот еще светило мира!..».

[14] Работа над переводом была завершена к марту 1912 г. См.: Лит. наследство. М., 1988. Т. 95. С. 388, 547. Неверно мнение, что он остался неопубликованным, см.: *Шумихин С.В.* [Вступительная заметка к публикации дневника В. Амфитеатрова-Кадашева] // Минувшее. М.; СПб., 1996. Вып. 20. С. 435; Андрей Белый и Иванов-Разумник. С. 212. Издание было осуществлено в 1924 г.: *Петроний.* Сатирикон / Пер. *** под. ред. Б.И. Ярхо. М.; Л: Гос. изд-во, 1924. (К Государственному издательству перешли работы закрытого в 1924 г. издательства «Всемирная литература».)

[15] Лигский был членом Антропософского общества.

[16] Андрей Белый вспоминал впоследствии, что в июле 1913 г. в Дорнах (в Швейцарии) «приехал к Е.А. Ильиной ее хороший знакомый и друг, социалист-революционер <...> хороший знакомый Виктора Чернова, Савинкова и прочих революционеров; ему надоела успокоенная жизнь в Италии; он слышал о Дорнахе; и приехал посмотреть, как живут и работают антропософы; этот приезжий был Константин Андреевич Лигский; он всем нам очень понравился; понравился его приезд сюда, неизвестно зачем, на велосипеде, без гроша денег, без легальных документов <...>» (*Белый А.* Материал к биографии <...> / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее. Вып. 6. М., 1992. С. 399; см. также с. 400, 404, 415, 444; Вып. 8. М., 1992. С. 410, 415, 425, 435, 436, 468; *Белый А.* Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере. М., 2000. По указ.). Лигский остался в Дорнахе, подружился с А. Белым, работал на постройке Гетеанума (гнул железо, работал бетонщиком, резал по стеклу), в 1915 г. вступил в Антропософское общество и только после Февральской революции уехал оттуда в Россию.

[17] М.С. Урицкий был убит 30 августа 1918 г.

[18] См.: *Алданов М.* Убийство Урицкого // Современные записки. 1923. № 6.

[19] Ярославское восстание, организованное антисоветским «Союзом защиты родины и свободы», произошло до убийства Урицкого, оно началось 6 июля 1918 г. и завершилось 21 июля.

[20] Пусть будет богом, раз он умер (*лат.*).

[21] См.: *Амфитеатров А.В.* Горестные заметы. Берлин, 1922. С. 176—177.

[22] Амфитеатрова арестовывали в 1918, 1919 и 1921 гг.

[23] Ср.: *Старр Л.* Умер Костя Лигский // Каторга и ссылка. 1931. Кн. 8/9. С. 232—233.

«РЕВОЛЮЦИИ РАДИ ЮРОДИВАЯ»

Печатается по: Сегодня. 1932. № 188. 9 июля.

[1] Цитируется погребальный тропарь из заупокойной литии.

[1a] Выявить этот рассказ нам не удалось.

[2] См. примеч. 16 к очерку «Вымерший театр».

[3] чтобы принести спасение, чтобы принести свободу (*фр.*).

[4] Неточно цитируется стихотворение А.С. Пушкина «К А.П. Керн».

[5] Аллюзия на строки «Так храм оставленный — все храм, // Кумир поверженный — все бог!», которыми завершается стихотворение М.Ю. Лермонтова «Я не люблю тебя — страстей...» (1831).

[6] Рассказ И.А. Бунина «Поруганный Спас» был впервые опубликован в журнале «Перезвоны» (Рига, 1926. № 20).

[7] См.: *Волковыский Н.М.* «Неукротимая Мария Валентиновна»: (М.В. Ватсон в обстановке советской жизни) // Сегодня. 1932. 27 июня.

[8] «приличия и условности» (*фр.*).

[9] Цикл очерков С.М. Кравчинского «Подпольная Россия» был написан на итальянском и опубликован в 1881 г. под псевдонимом Степняк, русский перевод вышел в Лондоне в 1893 г.

[10] Резкая полемика В.П. Буренина и С.Я. Надсона, в которой стороны не стеснялись в выражениях, проходила в 1886 г. (см.: Новое время. 1886. 7—21 ноября, 1887, 16 января; *Надсон С.Я.* Проза. Дневники. Письма. 2-е изд. СПб., 1913. С. 264—271, 288—289, 348).

[11] То есть сервантесовского Дон Кихота.

[12] О жизни Буренина в эти годы см.: *Березарк И.* Память рассказывает. Л., 1972. С. 84; *Чуковский К.* Дневник 1901—1929. М., 1991. С. 152.

[13] Так иронически называли общественный комитет помощи голодающим (по первым буквам фамилий его руководителей С.Н. Прокоповича, Е.Д. Кусковой и Н.М. Кишкина), созданный в 1921 г. с разрешения большевистского правительства, но вскоре закрытый, причем часть членов его была репрессирована. Амфитеатров посвятил «Прокукишу» специальный очерк «Разогнанный комитет», в котором писал, что «в то время как Дзержинский с Менжинским увидали в комитете опыт формовки новой партии, сближающей правых большевиков с либеральной буржуазией, и зловеще “оставили за собою право, в случае надобности, арестовать весь состав комитета без исключения”, — в то же самое время общество усмотрело в “Прокукише” податливый шаг соглашательства с ненавистным большевизмом и насторожилось подозрительно и недоброжелательно» (*Амфитеатров А.В.* Горестные заметы. Берлин, 1922. С. 34).

СОВЕТСКИЕ УЗЫ

Печатается по: Руль. 1921. 2 декабря. — 1922. 23 марта.

[1] Точнее — Союз коммун Северной области — областное объединение Советов, образованное в мае 1918 г. и просуществовавшее по февраль 1919 г. Включало территории Петроградской, Псковской, Новгородской, Олонецкой, Вологодской, Архангельской, Северо-Двинской и Череповецкой губерний.

[2] Неточно цитируется заключительная строка пушкинской эпиграммы на графа М.С. Воронцова («Сказали раз царю...», 1824).

[3] Володарского убил член Боевой организации эсеровской партии Сергеев; см.: *Семенов Г.И.* Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров. Берлин, 1922.

[4] См.: *Амфитеатров А.* Жертва политической истерии // Новые ведомости. Веч. вып. 1918. 21 июня.

[5] Позднее, в мемуарном очерке «Миллионер Мухин» (Возрождение. 1928. 3 марта) Амфитеатров писал, что слова эти принадлежали Троцкому.

[6] Строка из популярного романса А.Н. Апухтина «Пара гнедых» (1870-е гг.).

[7] Приведена первая строка стихотворения К. Бальмонта «Ad infinitum» (1900).

[8] Амфитеатров неточно цитирует IV главу очерков М.Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом» (1881).

[9] «Бытовое явление» — статья В.Г. Короленко о военно-полевых судах (1910).

[10] *Вивер* (от *фр.* viveur) — человек, живущий в свое удовольствие.

[11] В V главе первой части «Анны Карениной» Л. Толстого говорится, что Стива Облонский «был на “ты” со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому, в присутствии своих подчиненных встречаясь со своими *постыдными* “ты”, как он называл шутя многих из своих приятелей, он, со свойственным ему тактом, умел уменьшить неприятность этого впечатления для подчиненных».

[12] Мясоедов в ироническом ключе перефразирует слова шефа Корпуса жандармов А.Х. Бенкендорфа: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение <...>» (цит. по: *Лемке М.К.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1909. С. 411).

[13] Речь идет о «героине» басни И.А. Крылова «Мартышка и очки» (1815).

[14] Так называли ветерана революционного движения эсерку Е.К. Брешко-Брешковскую.

[15] «один, два, три» (*нем.*).

[16] «Пляски смерти» — популярный сюжет средневекового искусства. Возможно, тут имеется в виду серия рисунков Г. Гольбейна-младшего (1524—1526).

[17] Об аресте Амфитеатрова см.: Арест А.В. Амфитеатрова // Новые ведомости. Веч. вып. 1918. 25 июня; К аресту А.В. Амфитеатрова // Там же. 1918.

26 июня; Арест А.В. Амфитеатрова // Петроградский голос. 1918. 26 июня; К аресту Амфитеатрова // Вечерние огни. 1918. 26 июня.

[18] Цитируется начало поэмы А.С. Пушкина «Братья-разбойники» (1821).

[19] В Приказе № 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов от 1 марта 1917 г. говорилось о создании выборных солдатских комитетов, о подчинении воинских частей в своих политических выступлениях Совету рабочих и солдатских депутатов; провозглашалось равенство солдат и офицеров вне службы и строя, и т.д.

[20] В 1912 г. чиновник Министерства иностранных дел, сын тайного советника Долматов и его кузен барон Гейсмар убили госпожу Тиме, чтобы завладеть ее драгоценностями. Они были приговорены к каторге, которую отбывали в Шлиссельбурге. См.: *Кошко А.Ф.* Убийство Тиме // Кошко А.Ф. Очерки уголовного мира царской России. Париж, 1929. Т. 2. С. 7—22.

[21] Имеется в виду знаменитый процесс в феврале—апреле 1910 года. В 1907 г. по наущению М.Н. Тарновской и ее любовника Д. Прилукова другой ее любовник, Н. Наумов, убил в Венеции графа П. Комаровского, незадолго до этого застраховавшего свою жизнь в 500 тыс. рублей в пользу Тарновской. Наумов был осужден на три года тюрьмы, Тарновская — на восемь. Судебный процесс проходил в Венеции и привлек к себе внимание всего мира.

[22] «Война всех против всех» — формула английского философа Т. Гоббса (в его труде «Левиафан»), характеризующая состояние человеческого общества до появления государства.

[23] Дачу П.П. Дурново под Петроградом анархисты захватили в феврале 1917 г., вскоре после революции.

[24] 12 апреля 1918 г. бывший купеческий клуб на Малой Дмитровке, превращенный анархистами в штаб «Черной гвардии», был окружен чекистами и взят штурмом.

[25] Имеются в виду письма Мамонта Дальского в редакции газет (Петроградская вечерняя газета. 1917. № 28; Петроградский листок. 1917. 27 апреля). В биографической литературе о Мамонте Дальском обвинения в связях его с анархистами опровергаются; см.: *Крыжицкий Г.* Мамонт Дальский. Л.; М., 1965. С. 179—186. Об отношении Мамонта Дальского к анархизму см. также: *Пильский П.* Роман с театром. Рига, 1929. С. 80—81. См. также написанные Амфитеатровым его некрологи: Безумный друг Шекспира // Петроградский голос. 1918. 13 июня; Юноша 55 лет // Новые ведомости. Веч. вып. 1918. № 85.

[26] Имеется в виду мелодрама А. Дюма (отца) «Кин, или Гений и беспутство» (1836).

[27] Неточно цитируется реплика почтмейстера из VIII явления 5-го действия «Ревизора» Н.В. Гоголя.

[28] Правильно — Игнатович. См.: Освобождение А.В. Амфитеатрова // Новые ведомости. Веч. вып. 1918. 27 июня.

[29] В период, когда писался этот мемуар, фильмы в несколько сот метров уже, как правило, не снимались; длина полнометражного фильма составляла порядка 1500 метров. Амфитеатров имел опыт работы в кино; он написал 4 сценария (по своим произведениям). Длина первого фильма, поставленного в 1911 г. («Рогнеда»; реж. В. Кривцов) была 430 м., но уже протяженность следующего фильма 1916 г. («Нелли Раинцева»; реж. Е. Бауэр; сценарий опубликован: Пегас. 1917. № 11) составила 1056 м. В 1917 г. были поставлены «Аннушкино дело» (реж. А. Уральский) и «Отравленная совесть» (реж. Б. Чайковский). См.: *Вишневский Вен.* Художественные фильмы дореволюционной России: (Фильмографическое описание). М., 1945. С. 17, 106, 123, 134.

[30] *Шерлок Холмс* — герой не только произведений А. Конан Дойля, но и анонимной серии брошюр (см.: Шерлок Холмс. СПб., 1908—1910. Вып. 1—98). Еще большей популярностью пользовались анонимные сериалы о сыщиках *Нате Пинкертоне* (Нат Пинкертон, король сыщиков. СПб., 1907—1908. Вып. 1—150) и *Нике Картере* (Ник Картер, американский Шерлок Холмс. СПб., 1908—1910. Вып. 1—105). О популярности сыщицких сериалов в России см.: *Рейтблат А.И.* Детективная литература и русский читатель (вторая половина XIX — начало XX в.) // Книжное дело в России во второй половине XIX — начале XX века. СПб., 1994. Вып. 7. С. 133—136. *Арсен Люпен* — персонаж ряда книг французского писателя Мориса Леблана: «Арсен Люпен, вор-джентльмен» (1907), «Арсен Люпен против Шерлока Холмса» (1908), «Признания Арсена Люпена» (1914) и др.

[31] Благородный разбойник, герой романа Х.А. Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» (1797).

[32] То есть домового комитета бедноты.

[33] Упомянуты персонажи пьесы А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1856) — претендующий на светскость авантюрист Кречинский и опустившийся и всего боящийся Расплюев, находящийся у него в услужении.

[34] *Ломовик* — извозчик, занимающийся перевозкой тяжелых грузов.

[35] Здесь «мотор» в значении «автомобиль».

[36] Возможно, речь идет о плане Еллинского, суть которого, по словам сына Амфитеатрова Владимира (в его дневнике), заключалась в следующем: «...несколько летчиков, поднявшись с Невы на гидропланах, засыпят Смольный бомбами, а на другой день утром Питер проснется под новым, заранее составленным правительством <...>» (Минувшее. М.; СПб., 1996. Вып. 20. С. 502).

[37] В труппе Александринского театра актера с фамилией Валуа тогда не было.

[38] В «артистическую семью» Вольф-Израэлей входили скрипач Михаил Александрович и его приемная дочь Евгения Михайловна. Амфитеатров, по-видимому, включает в эту семью и никак с ней не связанного виолончелиста Евгения Владимировича Вольф-Израэля.

[39] Откр. 2:24.

[40] См. примеч. 55 к очерку «Господа Обмановы».

[41] Московский профессиональный союз писателей был создан в 1917 г. См. о нем: *Субботин С.И.* О составе Московского профессионального союза писателей (1919) и Всероссийского профессионального союза писателей (1920) // Новое литературное обозрение. 1995. № 11. С. 185—194.

[42] Цитируется стихотворение Н.А. Некрасова «В больнице» (1855).

[43] Амфитеатров неточно цитирует первую строфу оды Державина «Бог» (1784).

[44] Имеются в виду улицы Rue de Carouge в Женеве и Rue de Rosière в Париже, которые облюбовали эмигранты из России.

[45] М.О. Меньшиков был арестован 14 сентября 1918 г., а 20 сентября расстрелян по приговору суда Главного военного полевого штаба.

[46] Николай II был убит в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.

[47] без страха и упрека (*фр.*).

[48] Цитируется басня И.А. Крылова «Волк и Журавль» (1816).

[49] В.С. Мухин был арестован 22 мая 1918 г. Он обвинялся в том, что финансировал антисоветскую организацию «Каморра народной расправы». См.: *Кутузов В.А., Лепетюхин В.Ф., Седов В.Ф., Степанов О.Н.* Чекисты Петрограда на страже революции. Л., 1987. С. 123—124.

[50] В упомянутом выше очерке «Миллионер Мухин» Амфитеатров пояснил: «Они уже не были миллионерами, так как “национализация” частных имуществ сразу уничтожила все их доходы. Очень богатые люди в это время очутились едва ли не в худшем положении, чем люди среднего достатка и даже бедняки, привыкшие жить только на те малые деньги, которые реально лежат в их тощем бумажнике, не зная ни банков, ни coffres forts [сейфов] etc. Ибо банки были уже закрыты и заняты красноармейцами, а сейфы заарестованы. Реализовать же ценности в наличные деньги было опасно и трудно».

[51] Амфитеатров имеет в виду К.А. Лигского.

[52] Ср.: «Жена А.В. Амфитеатрова обратилась по телефону к председателю чрезвычайной следственной комиссии с вопросом о причинах ареста ее мужа, не принимающего никакого участия в активной политической жизни.

Урицкий задал ей в свою очередь иронический вопрос:

— Неужели г-жа Амфитеатрова не знает, за что может быть арестован г. Амфитеатров?

— Я уже не маленькая девочка, — ответила г-жа Амфитеатрова, — и если бы я знала причины ареста, я наверно не позволила бы себе шутить с вами.

— В таком случае я вас наведу на некоторые мысли, — заявил председатель следственной комиссии. — Г. Амфитеатров арестован не за убийство, не за грабеж и не за насилие...

Дальнейший разговор продолжался в том же тоне, и в итоге г-жа Амфитеатрова так и не получила необходимых разъяснений» (К аресту Амфитеатрова // Вечерние огни. 1918. 26 июня).

16. Заказ № 833.

[53] Первая строка стихотворения Пушкина «Туча» (1835).

[54] Амфитеатров с 24 декабря 1916 г. печатал в газете «Русская воля» цикл «Персидские письма» (под псевдонимом О.Д., представлявшим собой, по-видимому, первые две буквы русской транслитерации его псевдонима Old Gentleman). В «письмах», представлявших собой якобы корреспонденции из Персии, давалась чрезвычайно резкая характеристика российской правительственной политики, общественных нравов и т.д.

[55] А.В. Луначарский отбывал ссылку в Вологде и Тотьме в 1902—1903 гг., а М. Горький — в Арзамасе в апреле—августе 1902 г.

[56] Правильно: «тильки». Цитируются обращенные к Энею слова Дидоны из конца первой части поэмы.

[57] То есть производства известной швейцарской шоколадной фабрики Кайе.

[58] вещественное доказательство (*лат.*).

[59] См.: Горестные заметы. I // Новая рус. жизнь. 1921. 8 сентября.

[60] Цитируется стихотворение Пушкина «Герой» (1830).

[61] Ср.: «Сегодня освобожден арестованный на днях А.В. Амфитеатров.

При аресте А.В. Амфитеатрову не было предъявлено никакого обвинения, был только задан вопрос, знает ли он Валицкого и Жданова. На оба вопроса А.В. Амфитеатров ответил отрицательно.

На допросе Урицкий спросил А.В. Амфитеатрова, поддерживает ли он сношение с Алексинским и с плехановцами. На оба вопроса Амфитеатров ответил также отрицательно.

Наиболее подробным допрос был в отношении ориентации Амфитеатрова. Урицкий спросил его, продолжает ли он держаться союзнической ориентации, на что А.В. Амфитеатров ответил, что он теснейшим образом связан с Италией и Францией.

Затем А.В. Амфитеатрову был задан вопрос, работал ли он в “Новых ведомостях” и на какие деньги они издаются, издается ли “Москва” на английские деньги и, наконец, долго ли будет А.В. Амфитеатров находиться вне политической деятельности» (Освобождение А.В. Амфитеатрова // Вечерние огни. 1918. 27 июня). См. также: *А. Покр*[*овский*]. А.В. Амфитеатров и Гороховая № 2 // Петроградский голос. 1918. 28 июня.

ДОРОШЕВИЧ

Печатается по: Сегодня. 1934. № 291. 21 октября.

[1] Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Герой».

[2] В. Дорошевич умер 22 апреля 1922 г.

[3] По свидетельству И.Х. Озерова, Дорошевич был болен сифилисом (см.: Мемуары профессора И.Х. Озерова // Вопросы истории. 1997. № 1. С. 95).

[4] Этот слух распространял сам С.Н. Ракшанин. Как вспоминал Дон-Аминадо, «[С.Н.] Ракшанин не только подражал Дорошевичу, на которого, впрочем, отдаленно был похож, но при всяком удобном и неудобном случае с таинственным видом сообщал, что он его, Власа Михайловича, незаконный сын, и что если бы не эта... тут следовало звонкое существительное, актриса Миткевич, на которой знаменитый папаша на старости лет сдуру женился, то он, Ракшанин, мог бы быть помощником редактора, а не хроникером на затычку...» (*Дон-Аминадо* [*А. Шполянский*]. Поезд на третьем пути. М., 1991. С. 87).

[5] Ср. высказывание Амфитеатрова о Дорошевиче в письме Вас.И. Немировичу-Данченко от 16 декабря 1911 г.: «Талант и ум <...> несомненно яркие, вместо души — пар, и в этом все его несчастие» (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 156).

[6] Эта книга Дорошевича вышла в 1903 г. в Москве.

[7] Измененная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «К Овидию» (1821).

[8] См.: *Амфитеатров А.* Вербовщица Сатаны // Сегодня. 1930. 26 октября.

[9] Речь идет о К.В. Кручининой.

[10] То есть в конце 1916 г. — начале 1917 г.

[11] Тэффи писала в «Воспоминаниях», что в Киеве встречалась с Дорошевичем, тосковавшим по оставшейся в Петербурге жене — «хорошенькой легкомысленной актрисе», которая вышла замуж за «большевистского комиссара». Вернувшись в Петроград, Дорошевич «умер в больнице, одинокий <...>» (*Тэффи.* Ностальгия. Л., 1989. С. 340).

М.П. АРЦЫБАШЕВ

Печатается по: Возрождение. 1927. № 677. 10 апреля.

[1] Амфитеатров с 1922 г. часто печатался в варшавской газете «За свободу!». Как отмечает Д.И. Зубарев, «основной причиной стойкой привязанности Амфитеатрова к этой газете <...> была близкая тогдашним его умонастроениям и бурному темпераменту традиция варшавского “активизма”, стремившегося преодолеть дореволюционные идейные догмы. <...> Дело в ней явно доминировало над Словом, а небольшие политические несогласия с курсом газеты нисколько не мешали <...> интенсивности участия писателя в ней» (Амфитеатров и русские в Польше (1922—1932) / Публ. Д.И. Зубарева // Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 390). Арцыбашев же после приезда в августе 1923 г. в Варшаву из России стал ведущим публицистом газеты. Вскоре после этого началась активная его переписка с Амфитеатровым; письма Арцыбашева опубликованы в составе указанной выше подборки в сборнике «Минувшее».

[2] Роман М.П. Арцыбашева «У последней черты» был впервые опубликован в сборнике «Земля» (М., 1910—1912. Сб. 4, 7, 8).

[3] См., напр., статью Амфитеатрова «Протест В.П. Санина» в его сборнике «Против течения» (СПб., 1908. С. 67—79). 9 октября 1908 г. Амфитеатров пи-

сал Горькому: «Я писаний Арцыбашева не люблю вообще, а Санин для меня хуже рвотного <...>» (Лит. наследство. М., 1988. Т. 95. С. 122).

[4] Амфитеатров перефразирует строку из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Дума».

[5] Роман «Санин» был опубликован в журнале «Современный мир» (1907. № 1—5, 9), Арцыбашев печатался также в «Журнале для всех», «Образовании», «Русском богатстве», «Трудовом пути».

[6] Амфитеатров ошибается. Луначарский был членом редакции «Образования» (совместно с Л. Клейнбортом и В.Л. Львовым-Рогачевским; отв. редактор — В. Молчанов), а с начала 1907 г. к ним присоединился Арцыбашев, и они вместе работали до середины 1908 г., когда журнал сменил издателя и соответственно направление. Арцыбашев и Луначарский одновременно покинули журнал, причем последний сделал это публично, поместив вместе с другими литераторами-марксистами «Письмо в редакцию» журнала «Современный мир» (1908. № 9. Паг. 2. С. 101).

[7] искренне (*лат.*).

[8] Амфитеатров перефразирует слова А.С. Пушкина «здравствуй, племя младое, незнакомое!» из стихотворения «Вновь я посетил...» (1835).

[9] Драма Арцыбашева «Ревность» впервые была опубликована в сборнике «Земля» (1913. Сб. 13).

[10] Повесть Куприна «Купол св. Исаакия Далматского» печаталась в парижской газете «Возрождение» с 6 по 26 февраля 1927 г.

[11] См. примеч. 28 к очерку «Дом литераторов в Петрограде 1919—1921 годов».

[12] Эта статья Л. Андреева была впервые опубликована в Париже в газете «Общее дело» под названием «Спасите! (S.O.S.)» (№ 40. 24 марта) и в дальнейшем неоднократно перепечатывалась под названием «S.O.S.» (см. также в сб.: *Андреев Л.* S.O.S. М.; СПб., 1994. С. 337—348).

[13] В декабре 1919 г. Совнарком ввел академические пайки московским и петербургским ученым.

[14] Ср.: «Перо писателя он уже бросил и променял его на карандаш “биржевика” и спекулянта.

Я помню этот поразивший всех в Москве процесс. Судили темных дельцов и представителей “черной биржи”», в т.ч. Арцыбашева; «он оказался во главе банды, спекулировавшей в эти героические и в то же время трагические голодные годы и обиравшей “почтенных обывателей”» (*П. Ч[агин]*. М.П. Арцыбашев // Красная газета. Веч. вып. 1927. 5 марта).

[15] Знакомый Арцыбашева Е.М. Аспиз вспоминал свою беседу с ним в конце 1922 г. в Москве: «На мой вопрос, пишет ли он сейчас что-нибудь, он ответил: “Нет, я не признаю советской власти, поэтому писать не буду”. — “Но вы ведь не признавали и самодержавной власти и все-таки писали”, — сказал

я. “Это другое дело, я родился при той власти и считал ее естественной”, — ответил он. С некоторым чувством самодовольства он рассказал мне, что был арестован, но освобожден по личному распоряжению Ленина. Когда я осторожно спросил, на какие средства он теперь живет, М[ихаил] П[етрович] ответил, что в основном на средства, которые ему посылает вдова писателя Стриндберга из Швеции. Рассказал, что получил письмо от Стриндберг, она пишет, что ее покойный муж был его поклонником и единомышленником и что в память о муже она будет пересылать деньги, а за это он должен дать ей право переводить его произведения» (*Аспиз Е.М.* Воспоминания о М.П. Арцыбашеве // Вопросы литературы. 1991. № 11/12. С. 358).

[16] Некролог этот был опубликован в «Возрождении» 5 марта 1927 г.

[17] Амфитеатров перефразирует строки поэмы «Мцыри» (1839).

[18] Написанное остается! (*лат.*).

«ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!»

Печатается по: Руль. 1921. 30 июля, 11 октября. Другие главы этого публицистического цикла из восьми глав не носят мемуарного характера и не представлены в данной републикации.

[1] Амфитеатров преподавал в 27-й трудшколе (бывшей Демидовской гимназии).

[1a] По-видимому, имеется в виду кн.: Долой неграмотность: Букварь для взрослых, разраб. Д. Элькиной, Н. Бугославской и А. Курской. Пб., 1920. Но это издание адресовано взрослым, а не школьникам.

[2] Частное издательство З.И. Гржебина было создано весной 1919 г. в Петрограде (с филиалами в Москве, потом в Берлине). Общее руководство им осуществляли М. Горький, А. Бенуа, С.Ф. Ольденбург и А.П. Пинкевич. При содействии Горького в январе 1920 г. Госиздат подписал договор с Гржебиным об издании книг для советской России в берлинском отделении издательства. Однако в дальнейшем из-за противодействия руководства Госиздата договор постановлением ЦК в апреле 1921 г. был расторгнут, поэтому издательство Гржебина смогло осуществить свои планы в минимальной степени. В 1923 г. ввоз в Россию книг, изданных за границей, был воспрещен, издательство прекратило свое существование, а Гржебин практически разорился. См.: *Хлебников Л.М.* Из истории горьковских издательств. «Всемирная литература» и «Издательство З.И. Гржебина» // Лит. наследство. М., 1971. Т. 80. С. 668—703; *Динерштейн Е.А.* Крах берлинского издательства З.И. Гржебина // Europa orientalis. 1995. № 2. P. 91—109.

[3] См. примеч. 246 к «Из литературных воспоминаний».

[4] См. примеч. 7 к очерку «М.П. Арцыбашев».

[5] То есть школьный работник, как тогда называли педагогов.

[6] Материалы этого курса сохранились в фонде Амфитеатрова в РГАЛИ (Ф. 34. Оп. 1. Ед. хр. 80—86).

[7] уважаемое лицо (*лат.*).

Г. УЭЛЛС В ПЕТРОГРАДЕ

Печатается по: *Амфитеатров А.* Горестные заметы: Очерки красного Петрограда. Берлин, 1922. С. 59—74. Впервые опубликовано без названия в составе цикла «Горестные заметы» в гельсингфорсской газете «Новая русская жизнь» (1922. 27 и 28 сентября).

[1] Имеется в виду вышедшая в 1920 г. книга Г. Уэллса «Россия во мгле» («Russia in the shadows»).

[2] Мф. 6:11, 12.

[3] Вначале Уэллс свои впечатления от России изложил в цикле статей, печатавшихся с конца октября по конец ноября 1920 гг. в газете «Sunday Express».

[3а] Неточно цитируется гимн Председателя из «Пира во время чумы» Пушкина.

[4] См.: *Бунин И.А.* Несколько слов английскому писателю // Общее дело (Париж). 1920. 24, 25 ноября; *Мережковский Д.С.* Открытое письмо Уэллсу // Последние новости. 1920. 3 декабря.

[5] Амфитеатров бежал из России в Финляндию в августе 1921 г.

[6] Речь идет об обеде в Доме искусств, состоявшемся 30 октября 1920 г. В своей книге Уэллс писал о нем: «Когда я встретился с группой петроградских литераторов, известный писатель г. Амфитеатров обратился ко мне с длинной желчной речью. Он разделял общепринятое заблуждение, что я слеп и туп и что мне втирают очки. Амфитеатров предложил всем присутствующим снять свои благообразные пиджаки, чтобы я воочию увидел под ними жалкие лохмотья. Это была тягостная речь и — что касается меня — совершенно излишняя, и я упоминаю о ней здесь для того, чтобы подчеркнуть, до чего дошла всеобщая нищета» (*Уэллс Г.* Россия во мгле / Пер. с англ. И. Виккер и В. Пастоева // Уэллс Г. Собр. соч.: В 15 т. М., 1964. Т. 15. С. 322).

[7] Имеется в виду Джордж Филипп Уэллс.

[8] Имеется в виду Е.И. Замятин. В 1920—1922 гг. он редактировал ряд переводов книг Уэллса.

[9] Тенишевское училище было основано в 1896 г. кн. В.Н. Тенишевым как общеобразовательная школа; в 1900—1917 гг. — коммерческое училище (Моховая ул., 33) с высокой платой за обучение и высоким уровнем преподавания.

[10] В «России во мгле» Уэллс подробно писал о посещении этой школы, после которого он решил, что ему показали специально для его визита подготовленную школу, где все дети хорошо знали его книги и называли их среди самых любимых, посетив на следующий день другую школу, он спросил учащихся об

Уэллсе, и оказалось, что никто о таком писателе даже и не слышал (см.: *Уэллс Г.* Указ. соч. С. 353—354).

[11] См.: *Чуковский К.* Свобода клеветы // Вестник литературы. 1921. № 2. С. 15—16. См. также: *Чуковский К.* Фантасмагория Герберта Уэллса // Лит. Россия. 1964. 25 сентября.

[12] Позднее Амфитеатров писал: «Обед этот подробно изложен мною в “Горестных заметах”, с пропуском некоторых имен, не подлежащих тогда оглашению, потому что носители их обретались в пределах РСФСР» — и, повторяя описание обеда, сделал ряд дополнений. В частности, он писал, что «В. Шкловский гордо заявил, что будет говорить, как солдат, и, пожалуй, слово сдержал, ибо говорил, как плут-денщик, вроде денисовского Лаврушки. Если много таких было в окопах, пребыванием в которых он похвалился, то неудивительно, что армия разложилась в стадо дезертиров: сбежишь!» (*Амфитеатров А.* Листки // Возрождение. 1928. 16 марта). Помимо упомянутых Амфитеатровым, на обеде выступали В.Ф. Боцяновский, А.С. Грин (по-русски), Ю.П. Данзас, Е. Замятин, В.А. Чудовский (по-английски) (см.: *Замятин Е.* Уэллс // Вестник литературы. 1920. № 11. С. 16).

[13] Цитируется стихотворение И.И. Дмитриева «Всех цветочков боле // Розу я любил...» (1795).

[14] Позднее Амфитеатров писал, что это был П.А. Сорокин, и отмечал, что речь его была «не только смелой, но прямо-таки дерзновенной в условиях, при которых она была произнесена. Обедало ведь человек двести с лишком, и сколько между ними было большевиков, большевицких прихлебателей и просто шпиков! “Вызывающею” речь никак нельзя было определить; она не “лезла на рожон”, шла в “парламентском” тоне, умеренная в выражениях и общем пафосе; но, будучи полна внутренней горечи, освещаясь бесспорностью угрюмых фактических данных, произвела очень сильное впечатление... Собрание, наконец пробужденное настояще сказанным человеческим словом, приветствовало почин Питирима Сорокина бурными аплодисментами» (*Амфитеатров А.* Листки // Возрождение. 1928. 16 марта). В 1922 г. П.А. Сорокин был выслан из России.

[15] См. примеч. 37 к «Из литературных воспоминаний».

[16] Текст письма (автограф) сохранился в архиве Амфитеатрова:

«Петроград. IX.30.1920

Многоуважаемый писатель!

Ваше прибытие в Петроград обрадовало всех Ваших бесчисленных русских поклонников, между ними и пишущего Вам эти строки. Имя Д. Герберта Уэллса у нас в России не менее любимо и популярно, чем в самой Англии. Видеть творца вдохновенных утопий, подаривших миру столько мечты и прозорливых пророчеств, в значительной части уже осуществленных, всегда было бы

огромною радостью для Ваших русских товарищей по литературе. В настоящее же время Ваше прибытие особенно кстати. Никогда еще наша измученная, полуживая родина не нуждалась более в внимательном, проникновенном и беспристрастном наблюдателе-иностранце, который сочетал бы в себе, как Вы, художника слова с мыслителем-социологом.

Да, Ваше прибытие радует нас. Но, извините за откровенность, есть в его обстановке сторона, которая и несколько нас тревожит. Вы в России, но увидите ли Вы Россию? Все иностранцы, допускаемые в наши пределы, обычно, даже, пожалуй, обязательно, попадают в руки господствующей политической партии и ее друзей и окружаются как бы заколдованным кольцом, за пределы которого заглянуть редко удается нашим почетным гостям. Так было при угрюмо полицейском царском режиме, так оно, и даже еще последовательнее, и сейчас. Кое-какими показательными посещениями, обзором двух-трех учреждений, чудом сохраняющих подобие жизни, банкетами, раутами, знакомством с несколькими фанатиками существующего строя, с идеалистами, заставляющими себя в него верить, или с людьми, связанными с ним своими выгодами, на глаза иностранца быстро надеваются розовые очки. От других встреч и впечатлений его тщательно оберегают.

Поэтому Ваше появление в нашей литературной среде представляется нам особенно добрым предзнаменованием. Оно производит на нас впечатление бреши в глухой тюремной стене. Нам было очень грустно и тяжело думать, что и Вы рискуете подвергнуться участи других "знатных иностранцев", Ваших предшественников, — явиться в роли кумира, чествуемого, но с завязанными глазами. Ваш европейский авторитет не безразличен для нас, русских. Мы знаем, что Ваше веское слово о нас будет много значить в английском общественном мнении. А потому не только просим, умоляем Вас о величайшей осторожности отношения к тем гладким поверхностям, которые Вам будут наверное показаны. Помните, что под ними скрываются черные и отвратительные глубины, которые Вам показаны наверное не будут, хотя, может быть, Ваша вдохновенная интуиция и сама поможет Вам угадать их.

Я пишу эти строки, собираясь идти на литературный банкет, даваемый в Вашу честь "Домом искусств". Искренне счастлив, что Вас увижу, буду сидеть с Вами за общим столом; глубоко огорчен, что слабость моя в английском языке препятствует мне обменяться с Вами живым словом. Но в то же время я глубоко и стыдно смущен мыслью, что даже и этот банкет, имеющий столь почтенную и нужную цель, не лишен элемента лжи, насквозь пропитавшей нашу жизнь и весьма способной затемнить в Ваших глазах печальную правду русской действительности. На банкете Вы увидите себя в весьма приличном помещении, среди множества более или менее прилично одетых людей, которые будут есть что-нибудь, довольно дорого оплаченное, а за едою скажут и достаточное количество возвышенных и справедливых слов о литературе, искусст-

ве, о Вас и Ваших творениях. Но смею Вас уверить, что, если бы Вам пришла в голову экстравагантная идея — попросить эту толпу снять свое верхнее платье, то добрые две трети ее, если не все девять десятых, не могли бы исполнить Ваше желание. Не потому только, что оно почтено было бы неприличным, но по ложному стыду обнаружить лохмотьями висящее либо месяцами не мытое белье. Очень извиняюсь за грубый образ, но он правдив и не худо выражает призрачный характер нашего случайного двухчасового праздника, которым мы сегодня сменили свои вековые будни. И я убежден, что многие из здесь сидящих, уходя из дома, не оставили на свое печальное завтра той громко звучащей тысячи рублей, что ныне стоит чуть ли не несколько копеек и во что обходится теперь пропитание человека ровно настолько, чтобы он не умер от голода. И не только опасаюсь, а уверен я опять-таки и в том, что многие из ораторов, произнося устами возвышенные и искренние слова, приличные нашему празднику, в душе не могут отвязаться ни на миг от тоскливой мысли, что вот — на будущей неделе пересрочивается выдача хлеба и продуктов в Доме ученых (или другом однохарактерном учреждении) и как же это будет, пережить-то эту коротенькую пересрочку? А между тем, дорогой гость наш, Вы увидите пред собою наиболее сильную, деятельную, идейную часть петербургской интеллигенции. Я позволю себе даже сказать: героическую, хотя и пассивным героизмом. Потому что те физические и моральные страдания, что вытерпела эта интеллигенция за три последние года, превышают всякое вероятие. Если они могут еще быть превзойдены, то разве лишь тем, что ей еще предстоит вытерпеть наступающею зимою. Таковы судьбы даже наиболее отборных элементов интеллигенции. Что же говорить об ее общей массе, остающейся вдали, в тени, вне этих стен?

Мысль о богадельне, о прозябании на общественной сцене всегда противна порядочному человеку. Когда Вы связываете с нею седые волосы преклонной старости или бессилие калеки, это еще куда ни шло, терпимо. Но Вы увидите пред собою осужденным на положение призреваемых в богаделенном порядке приживальщиков государства не дряхлых стариков, не калек, но полный жизни и силы, мыслящий, образованный класс, в котором процент молодых и действенных сил гораздо выше отживших свою житейскую роль и отходящих со сцены. Ибо свободный интеллигентный труд убит в стране. Ученый, литератор, художник возможны в ней лишь постольку, поскольку их мысль и деятельность вступают в компромисс с торжествующей в государстве политической партией. То есть делаются чиновниками от нации, от литературы, от искусства. Вне этого — один выбор: или бездеятельность, осужденная на голодную и холодную смерть, или, в том или другом виде, богадельня, устроенная в филантропическом порядке добрым старым товарищем из нынешних большевиков, вроде М. Горького, Луначарского и др. Какой-нибудь “Дом ученых”, какая-нибудь “нейтральная” синекура и т.п., в условиях презрительно снисходитель-

ной терпимости со стороны властей. Для приличия богадельням этим придается подобие организаций взаимопомощи, которое, однако, никого не обманывает. Все отлично понимают, что здесь подачкою хлеба насущного по сравнительно доступным ценам государство оплачивает безмолвие противомыслия в среде, против которой ей и неловко, и не дело применять меры террора.

И чьи гордые уста решатся тут на слово осуждения? Ведь в течение 1919—20 гг. мы потеряли более 200 *известных* представителей науки и литературы, не считая бесчисленных маленьких тружеников рядовой интеллигенции. Эти люди вымерли от голода, холода, истощения, переутомления непосильной физической работой, от эпидемий в загрязненных жилищах, от нервных потрясений, сопряженных с тревогами подозрительного полицейского режима большевиков. Ведь мы живем в вымирающем городе с разбегающимся населением, где из 2 1/2 миллионов жителей 1917 года в 1920 году сохранилось только 600 000. Где фунт говядины стоит 2000—2400 р., фунт масла 7000—7500 р., фунт *черного* хлеба — 400—500 р., бутылка молока 500—550 рублей, фунт картофеля 180—200 р. Где один человек, чтобы не умереть от голода, должен зарабатывать, по меньшей мере, 40—50 тысяч рублей в месяц, а отец семейства 200—300 тысяч рублей. Где голодное истощение, переутомление работою, нервные болезни, результаты вечных страхов и скорбей, прекратили менструации женщин. В прошлую зиму холод выучил воровать дрова даже безусловно честных людей, под риском выстрелов милиционной охраны. И так как по детям не стреляли или только пугали их выстрелами на воздух, то отправляли воровать детей. Пожилая дама, заслуженная писательница и педагогичка, женщина, не только безукоризненная сама, но безукоризненно воспитавшая не одну сотню русских девушек, на моих глазах стащила с прилавка на рынке кусок сала. И она видела, что я ее вижу, и, однако, сделала! И я не посмел ей сказать ни слова, потому что знал, что дома ее ждут цинготные внуки... Как же тут, — повторяю, — упрекать людей за компромиссы?

Я уже сказал однажды: семьянин, желающий хранить свою независимость от правительства, должен у нас зарабатывать не менее 200—300 тысяч р. в месяц, смотря по числу членов семьи. Но чем же в состоянии вырабатывать такую колоссальную сумму человек свободной профессии, а в особенности литератор? Россия никогда не знала свободы печати, но теперь у нас и вовсе нет печати. Говорю не только о газете и журнале, еще в июле 1918 года объявленных врагами коммунизма и орудием контрреволюции. В этой области у нас имеются только официальные листки правительственного самовосхваления, участие в которых считает невозможным и позорным каждый из писателей, еще не забывших заветы свободы личности, мысли и слова. К чести русской литературы отмечу, что на *этот* компромисс пошли столь немногие, что имена их можно сосчитать по пальцам. Нет, уничтожена также и книга. В Петрограде, бывшем центре и солнце русского просвещения, вот уже три года ни один

работник литературной мысли не проявил своего существования, — и не мог проявить, так как, даже в тех условиях богадельни, о которых я говорил выше, он не знал иного труда, кроме подневольного, кроме урочной работы поденщика на заказ, оплачиваемой притом гораздо хуже самого грубого ручного труда и поставленной в рабскую от него зависимость. Литературный повелитель сейчас не писатель, не редактор, не издательство, но наборщик. Загляните в издательства — богадельни, еще терпимые правительством, хотя оно и на них уже косится и выручает их покуда только заступничество Горького. Загляните во "Всемирную литературу", в издательство Гржебина. Вы увидите горы рукописей, бесполезно созданные этим подневольным трудом голодных литераторов, обращенных в чернорабочих ради куска хлеба. Такие первоклассные художники слова, как Сологуб, Куприн, Мережковский, принуждены были сесть за переводную работу, перелагая иногда произведения авторов, гораздо менее достойных внимания, чем они сами, и тратили свое время бесплодно, так как из всего этого накопления переводов в печать могла поступить едва ли не десятая часть. Таким образом, даже и в симпатичнейших из наших литературных богаделен труд обращен в толчение воды в ступе. Они поддерживают с грехом пополам физическое прозябание литераторов, но никак не моральную их бодрость. Свободное творчество исключено вовсе. А чего же стоит какое-либо иное творчество, кроме свободного! И вот Россия, недавно так громадно производительная, позабыла, как рождается на свет новая книга. А старые книги растасканы по библиотекам, якобы народным, но в действительности сделавшимся какими-то тюрьмами бывших книжных богатств, где их никто не видит больше, а меньше всех — народ, именем которого это все творится. Книжные магазины запечатаны. Только и слышим со всех сторон что обеты просвещения и хвалы образованию, а между тем мысль осуждена на рецидивы безграмотности. Я преподаю литературу в некоторых учебных заведениях, почитаемых образцовыми, показательными. Имею дело с старшими классами. Смею Вас уверить, что даже самые лучшие и старательные ученицы наши в европейской школе не выдержали бы испытания на младшую ступень. Да и может ли быть иначе? На класс в 47 учениц имеется 15 учебников, несколько тетрадей, дюжина карандашей. И это еще хорошо обставленная школа. И Комиссариат народного просвещения все-таки еще сравнительно порядочная и относительно энергическая пружина правительственной машины.

Когда возникают упреки на жалкое состояние нашей образовательной и просветительной работы, обыкновенно следуют оправдательные ссылки на войну 1914—1918 гг., на блокаду Антанты, на разруху междоусобий. Нисколько не отрицая важности этих факторов, я, однако, смею поставить их во второй ряд причин. Первопричин не стоит искать за рубежом, они у нас дома, и сумма их называется отсутствием свободы слова, мысли, совести. Когда Вам говорят, что у нас нет книг потому, что Европа оставила *нас* [без] бумаги, это ложь на три

четверти. Бумаги у нас действительно очень немного, но нигде, как в советской России, не расходуется она с более бессмысленной щедростью на бюрократические канцелярии, регистрации, удостоверения, переписку и т.п. Равно как и на пропагандные листки, очень часто печатающие в миллионах экземпляров безграмотные и бездарные стишонки какого-нибудь якобы "пролетарского" поэта, в то самое время, когда отказ "нет бумаги" обрушивается на сочинения Некрасова, Пушкина, Лескова, Салтыкова. Не бумаги у нас нет, а нет свободы распоряжения бумагою, нет возможности честно и безболезненно превращать бумагу в печатное слово.

Порывы к свободному творчеству? к отражению свободной мысли? А Вы спросите, чем они кончаются в советской России. Максим Горький — любимец большевиков, друг Ленина, нужный для правительства человек, показной для России и Европы. Однако нет еще двух месяцев, как даже его невиннейшая драматическая шутка была снята со сцены как "контрреволюционная". Спросите Замятина, какого политического доноса удостоился он за предисловие к Вашей "Войне в воздухе" от критиков местной официальной газеты. А я, пишущий Вам это, два года тому назад сам был арестован после лекции "Пророк настоящего", посвященной Вашему утопическому творчеству, и должен был дать подписку, что впредь не буду выступать публично без особого разрешения Чрезвычайной комиссии. Вот Вам слабые примеры свободы нашей мысли, нашего слова. Слабые, потому что в сильных примерах на сцене появляются уже тюрьмы, расстрелы. А я не с тем взялся за перо, чтобы запугивать Вас исключительными ужасами. Вам лучше расскажет о них Горький, которому выпало на долю столько раз ходатайствовать пред дружелюбными ему властями за разных смертников и заключенных. Не забывайте одного, что Вы в городе, где никто, ложась вечером в постель, не уверен, что его среди ночи не разбудят люди с винтовками и не уведут неведомо куда, неведомо зачем. В городе, где нет дома, который не оплакивал бы расстрелянного члена семьи или не дрожал бы за судьбу какого-либо заточенника страшных "Гороховой, 2", "Шпалерной", "Крестов" и т.д. В городе, где все заподозрены и все боятся друг друга, где уличный и домашний шпионаж развился в мерах, которые и не снились царским охранкам.

Довольно, однако. Всего не напишешь. Тут нужно не письмо, нужна толстая книга с документами. А кто их, при постоянном страхе обысков, сохраняет?

Строки эти Вам пишет не "контрреволюционер", но старый литератор-демократ, более двадцати лет своей жизни отдавший непосредственному участию в революционной борьбе за свободу русского народа, испытавший при царях и тюрьму, и три ссылки, и долгое изгнание. Более скажу. Я отнюдь не враг социальной программы большевизма, хотя лично сочувствовал больше эсерам, за их аграрную программу, более близкую, по-моему, к пониманию и интересам русского крестьянства. Но к партиям я никогда не принадлежал, не при-

надлежу и принадлежать не буду, глубоко убежденный, что партийность есть наихудший из видов духовного рабства. И именем каких бы прекрасных программ и красивых слов, фраз и показных поступков ни прикрывался деспотизм, я против него безусловный боец, непримиримый отрицатель. Не коммунистический строй противен мне, но самозванство, в котором священным именем коммуны издевательски прикрывается кровавая и алчная олигархия самой бесстыдной бюрократии, гораздо худшей, чем даже прежняя царская. И еще более лицемерной, потому что та и не скрывала, что она опирается только на штыки, а эта, направо и налево проповедуя антимилитаризм, превратила солдатчину в единое божество свое и чествует ее жертвоприношениями миллионов человеческих жизней и миллиардов [рублей] затратами народного благосостояния. Россия — страна не пролетариата, но преторианизма и фрументариев: две опоры, без которых всем ненавистная лжекоммунистическая олигархия не в состоянии продержаться даже дня. Ибо в ней нет дел, но все фраза, все ложь, все обман — в лучшем случае самообман, мечта наивно верующего романтика-идеалиста. Мы живем в городе, где предполагается очаг и цитадель *рабочей* республики, а число рабочих, после 1917 года, упало с 450 тысяч на 25—30 тысяч, да и те работают так скверно, что уж лучше бы отказаться от своего профессионального имени. Мы живем в столице *крестьянства*, а крестьянство ненавидит коммунистический Петроград как своего злейшего врага и безжалостного вымогателя, а Петроград, обратно, ненавидит крестьянина, чуя в нем неискоренимого мелкого собственника, буржуа, и боится его, как своего близкого сменника, — боится страхом вора пред хозяином, которого он обокрал. Роковое это слово в коммунистической России! Из ста ее чиновников 90 заслуживают пожизненного заключения за растраты, взятки, расхищение народного и частного имущества, а из остальных десяти пять ничего не делают, четыре не знают, что им надо делать, а один хотя и делает, но уж лучше бы не делал! Нет учреждения, где можно было бы добиться толка без подкупа или протекции. И — коммунизм пришел, чтобы разрушить все перегородки между классами, а между тем прежде всего создал новый привилегированный класс, составленный из новой аристократии и новой буржуазии, много опаснейшей прежней, потому что она неестественна, как черная ночь, и, созданная дикарским грабежом, отреклась ради непосредственных животных благ решительно от всех нравственных устоев. К отсутствию правосудия в городе мы так привыкли, что уже и не ищем его, когда в нем нуждаемся, равнодушные к своему праву, как равнодушны к здоровью, к гигиене, к чудовищным эпидемиям, опустошающим Петроград. А школа? наша школа? Сентиментальный клич "все для детей" во всеуслышание, на красных плакатах, в газетных статьях, в речах разных Лилиных и К°, — и полная беспомощность и воспитания, и образования на деле. Дети гибнут и физически, и морально в школе, льстиво распущенной и настроенной на всякую пошлую угодливость, чтобы отбить своих

питомцев у “старой семьи”. Гибнут и в этой “старой семье”, разрушенной нуждою и унижениями, беспомощной, запуганной, потерявшей всякий авторитет. Совместная школа в странах высокой культуры великая педагогическая сила, могущественный орган умягчения нравов. А у нас она повела к тому, что стала частым явлением беременность девочек 13—14 лет, и чистка отхожих мест при интернатах чуть не обычно знаменуется обретением некоторого числа выкидышей. Детская проституция в Петрограде столь заурядна, что перестала даже возмущать: пригляделись и притерпелись. А коммерческая спекуляция? Ведь петроградский ребенок 10—12 лет спекулирует на улице или по домам предметами первой необходимости, как какой-нибудь биржевой маклер, и зачастую так же холоден, увертлив, бессовестен и безжалостен в своих расчетах. Чуковский показал Вам “деточек”, которые умилительно лепетали Вам, как они читали “Остров доктора Морро”. Это хорошо, это верно, и я знаю тоже десятки таких деточек. Но знаю также и мог бы Вам показать сотни таких деточек, которых самих, кажется, не лишнее было бы отослать к доктору Морро для преобразования их в утраченный ими образ человеческий.

Отвлекся и увлекся. А потому кончаю, чтобы кончить. [Полагаю, что мне нет нужды предупреждать Вас о том, что письмо мое, в условиях современных русских репрессий, не может быть оглашено, без самых неприятных последствий для меня. Публиковать его для меня значило бы напрашиваться если не на расстрел, то на тюрьму. Вверяю его Вашей чести.] Искренно рад буду, если некоторые строки моего письма привлекут Ваше внимание, бесконечно дорогое всем нам. Особенно теперь, когда Вы приблизились к нам с целью изучить нас и познакомить своих соотечественников с условиями нашей жизни... увы, слишком мрачной, чтобы можно было выразить словами, это чувствуется сердцем, честью, разумом и даже просто-таки страдающим телом» (РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 2. Ед. хр. 84; вычеркнутое карандашом взято в квадратные скобки).

[17] В. Ходасевич вспоминал об этой речи Амфитеатрова: «Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А.В. Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел — и вовсе не за то, что он выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем празднества <...>» (*Ходасевич В.* Горький // Ходасевич В. Собр. соч. М., 1997. Т. 4. С. 171; см. также: *Оношкович-Яцына А.И.* Дневник 1919—1927 / Публ. Н.К. Телетовой // Минувшее. М.; СПб., 1993. Вып. 13. С. 385; *Иванов Г.* Собр. соч. М., 1994. Т. 3. С. 266; *Даманская А.* Г. Уэлльс в Петрограде // Народное дело (Ревель). 1920. 8 октября). Ненависть была взаимной; см.: *Чуковский К.* Дневник 1901—1929. М., 1991. С. 148.

[18] По свидетельству Б.Н. Лосского, «ходила по рукам копия с русского оригинала письма, которое (якобы) вручил британскому собрату Амфитеатров. Оно раскрывало ему драматическую действительность жизни русской интеллигенции <...>. Не пойму только, как мог Амфитеатров решиться на такой неосторожный, угрожавший ему тюрьмою жест» (*Лосский Б.Н.* Наша семья в пору лихолетия 1914—1922 годов // Минувшее. М.; СПб., 1993. Вып. 12. С. 50).

Н.С. ГУМИЛЕВ

Впервые мемуарный очерк был опубликован в гельсингфорсской газете «Новая русская жизнь» в цикле «Горестные заметы» (1921. 13 сентября) с указанием в конце: «Териоки IX.7.21». Печатается по: *Амфитеатров А.В.* Горестные заметы. Берлин, 1922.

[1] О предсмертной болезни А.А. Блока см.: *Пекелис А.Г.* Краткая заметка о ходе болезни А.А. Блока // Голос России. 1921. 6 авг. (вероятно, с этим текстом был знаком Амфитеатров); *Щерба М.М., Батурина Л.А.* История болезни Блока // Лит. наследство. М., 1987. Т. 92, кн. 4. С. 728—735. Об отношении его к своим произведениям во время болезни существуют различные свидетельства, не восходящие, однако, к надежным источникам (кроме родных и врачей Блока в это время посещал лишь С.М. Алянский). В организации похорон помимо литературных организаций принимали участие Большой драматический театр, издательства «Алконост» и «Всемирная литература». Однако М.А. Бекетова вспоминает о «казенном гробе, присланном покойному» (*Бекетова М.А.* Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 200).

[2] Имеется в виду публикация в газете «Петроградская правда» 1 сентября 1921 г., где о Гумилеве говорилось: «...б[ывший] дворянин, филолог, поэт, член коллегии "Изд-во Всемирной литературы", беспартийный, б[ывший] офицер».

[3] В «Цехе поэтов», основанном осенью 1911 г. и просуществовавшем по 1914 г., Гумилев был одним из двух его «синдиков». В 1916—1917 гг. действовал второй «Цех поэтов», организованный Г.В. Ивановым и Г.В. Адамовичем, в деятельности которого Гумилев участия не принимал. В начале 1921 г. по его инициативе деятельность «Цеха поэтов» была возобновлена.

[4] Гумилев и Амфитеатров были избраны в состав Комитета Дома литераторов 15 января 1921 г.

[5] Всероссийский *Союз поэтов* был создан в Москве в ноябре 1918 г., здесь идет речь о петроградском отделении, созданном летом 1920 г. Первым его председателем был А.А. Блок, но в начале 1921 г. его сменил Гумилев.

[6] Это утверждение преувеличено: Гумилев не только читал беллетристику, но и рецензировал прозаические произведения и сам писал прозу.

[7] Цитируются заключительные строки стихотворения А.С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

[8] См. примеч. 381 к «Из литературных воспоминаний».

[9] *Клуб поэтов* был открыт 4 июля 1921 г. Гумилев действительно содействовал его открытию, однако никакие действия руководства клубом (в том числе и действительно сомнительные) ему в вину не вменялись. Материалы следственного дела Гумилева ныне опубликованы: *Лукницкая В.* Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. С. 270—295.

[10] См.: *Платон.* Государство. 605 с — 607 е.

[11] Амфитеатров неточно (в оригинале: «Я бельгийский ему подарил пистолет») цитирует стихотворение «Галла» из книги «Шатер» (Севастополь, 1921). Известно, что Гумилев неоднократно читал эти стихи революционным матросам. Однако последним прижизненным сборником стихов Гумилева следует считать не «Шатер», а «Огненный столп», вышедший во время его пребывания в тюрьме.

[12] Петроградское отделение Всероссийского профессионального союза писателей было образовано в июле 1920 г. Первым председателем его был А.Л. Волынский. Известно ходатайство петроградских литературных организаций (отделений Всероссийского профессионального союза писателей и Всероссийского союза поэтов, Дома литераторов, Пролеткульта, Дома искусств и «Всемирной литературы») в президиум петроградской Губчека (см.: *Лукницкая В.* Указ. соч. С. 294; ср.: *Эльзон М.* Письмо в защиту Н.С. Гумилева // Рус. литература. 1988. № 3). Описание визита делегации Союза писателей к председателю Петрогубчека Б.А. Семенову Амфитеатров сделал со слов А.Л. Волынского (см.: *Амфитеатров А.* Гумилев и Таганцев // Рубеж (Харбин). 1941. № 36. С. 4), однако журналист Н.М. Волковыский полагал, что именно его рассказы дошли до Амфитеатрова и были им зафиксированы. См. его воспоминания «Посылающие на расстрел» (Сегодня. 1923. 3 февраля; перепеч.: Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников. Л., 1991. С. 209—213), где эпизод описан более подробно. Ср. также в воспоминаниях Вас.И. Немировича-Данченко (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 235).

МОЕ УЧАСТИЕ В «ЗАГОВОРЕ» С ГУМИЛЕВЫМ

Печатается по: Сегодня. 1931. № 253. 13 сентября.

[1] Опущенный фрагмент см. на с. 373.

[2] См., напр., в воспоминаниях Н. Оцупа: «Кто из петербуржцев не помнит какой-то странной, гладким мехом наружу шубы Гумилева с белыми узорами по низу (такие шубы носят зажиточные лопари). В этой шубе <...> важный и

приветливый Гумилев, обыкновенно окруженный учениками, шел на очередную лекцию...» (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 176) или в мемуарах Д.Ф. Слепян: «Его коричневая, экзотическая, северная доха с аппликациями из фигур белого цвета видна была издали и привлекала всеобщее внимание...» (Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников. Л., 1991. С. 195).

[3] Неточная цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Я не люблю тебя — страстей...» (в оригинале: «Так храм оставленный — все храм...»).

[4] Цитируется стихотворение М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» (1837).

[5] *Долохов* — персонаж романа Л.Н. Толстого «Война и мир»; *Толстой-Американец* — граф Ф.И. Толстой, известный в начале XIX в. своим буйным нравом и бретерством; *Печорин* — герой романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

[6] О том, что Гумилев читал лекции в бывшей Демидовской гимназии, сведений в других источниках нет. Эти занятия могли проходить лишь в первой половине 1921 г.

[7] Гумилев вел в поэтической студии Дома искусств (преобразованной из переводческой студии издательства «Всемирная литература») курс «Драматургия» и практические занятия по поэтике.

[8] Неточная цитата из открывающего «Моцарта и Сальери» А.С. Пушкина монолога Сальери.

[9] Воспоминания В.Ф. Ходасевича: О Блоке и Гумилеве // Дни. 1926, 1 и 8 августа; Гумилев и «Цех поэтов» // Сегодня. 1926. 29 августа; Из воспоминаний о Гумилеве: К десятилетию со дня смерти // Возрождение. 1931. 27 августа. Наиболее известная версия опубликована в книге «Некрополь» под заглавием «Гумилев и Блок». Воспоминания П.М. Пильского — это, по-видимому, следующие: Заговорщики // Сегодня. 1931. 14 апреля. Подп.: П. Хрущов; перепеч.: Балтийский архив. Рига, 1999. Т. V. С. 322—326.

[10] «Спас Благое молчание» — почитаемая икона; стихотворение «Ангел благого молчания» есть у Ф. Сологуба (1900) и В. Брюсова (1908).

ТАГАНЦЕВСКАЯ ЗАГАДКА

Печатается по: Сегодня. 1931. № 295. 25 октября.

[1] Имеется в виду филолог Б.П. Сильверсван, который в 1919—1921 гг. был членом коллегии экспертов «Всемирной литературы». Бежал в Финляндию в сентябре 1921 г. Амфитеатров вспоминал о нем: «Я хорошо знал Бориса Павловича в Петербурге, мы были в наилучших отношениях и питали друг к другу доверие. Убежденный и далеко не бездеятельный враг большевицкой власти, он был близок к Гумилеву и лишь счастливым случаем избежал опасности раз-

делить его печальную судьбу» (*Амфитеатров А.* Под траурный марш Шопена // Сегодня. 1935. 1 января). В частном письме он характеризовал Сильверсвана так: «Сильверсван милый человек, я его хорошо знаю, но столь же быстро погасает, сколь воспламеняется, а язык у него даже не с одной дыркой, а с несколькими» (Амфитеатров и Савинков. Переписка 1923—1924 / Публ. Э. Гарэтто, А.И. Добкина, Д.И. Зубарева // Минувшее. М.; СПб., 1993. Вып. 13. С. 99).

[2] О статье Н.М. Волковыского см. примеч. 12 к очерку «Н.С. Гумилев».

[3] Амфитеатров цитирует письмо Сильверсвана от 20 сентября 1931 г. Позднее Амфитеатров опубликовал это письмо почти целиком, раскрыв его автора; см.: *Амфитеатров А.* Гумилев и Таганцев: Из воспоминаний // Рубеж (Харбин). 1941. № 36. С. 3—10; полностью по оригиналу письмо опубликовано В. Крейдом: Панорама (Лос-Анджелес). 1989. № 453. 15—22 декабря.

[4] Имеется в виду расстрел великих князей Николая Михайловича, Дмитрия Константиновича, Павла Александровича и Георгия Михайловича в Петроградской крепости 29 января 1919 г. в порядке «красного террора» и в ответ на убийство К. Либкнехта и Р. Люксембург. М. Горький пытался добиться их помилования.

[5] В позднейшей публикации Амфитеатров привел этот текст, предварив его следующим вступлением: «Вот теперь читайте показание Б.П. Сильверсвана. Оно впервые оглашается в печати. Он колебался, публиковать ли его, — по-моему, совершенно напрасно, — имея на то свои причины, действительные, пока он был в живых. Но кончина его обращает его письмо в исторический документ, и не след ему оставаться в руках частного лица, притом старика, в которых оно легко может и затеряться.

Итак:

“В начале сентября 1921 г. я (Сильверсван) пошел к нему (М. Горькому) на квартиру, чтобы заявить ему о своем решении бежать за границу. Я считал своим долгом сделать это, так как в феврале 1921 г. был выпущен из Чеки за поручительством Горького и дал подписку о невыезде из Петербурга. Вот наш разговор слово в слово:

Я. — Алексей Максимович, так как вы меня взяли на поруки из ЧК, я считаю своим долгом предупредить вас, что я бесповоротно решил бежать за границу.

Г. — Благое дело, благое дело, голубчик. Я тоже скоро уеду. О поручительстве моем не беспокойтесь. Да, помилуйте, что ж это такое? Какие это революционеры, социалисты? Все это с..., убийцы, воры. Я вам скажу, я всякую веру в них потерял. Мой совет вам — уезжать, кто только может, — они ведь всех убьют, всю интеллигенцию уничтожат... Надо спасаться, надо спасаться.

Я. — А скажите, А.М., неужели никого нельзя было спасти из убитых по Таганцевскому делу?

Г. (сильно волнуясь, со слезами на глазах). — Вы видели, видели, кто от меня сейчас вышел? (Входя, я встретил выходившую от него даму в трауре.) Это жена Тихвинского. Ленин его хорошо знал. Ленин мне говорил про него: «Вот это голова! Нам такие люди нужны, очень нужны». И вот — видите?

Я. — То есть вы хотите сказать, что даже Ленин не мог здесь ничего сделать?

Г. (после небольшого колебания). — Я вам расскажу. Я несколько раз ездил в Москву по этому делу. Первый раз Ленин сказал мне, что эти аресты — пустяки, чтобы я не беспокоился, что скоро всех выпустят. Я вернулся сюда. Но здесь слышу, что аресты продолжаются, что дело серьезно, командированы следователи из Москвы. Я опять поехал в Москву. Прихожу к Ленину — он смеется: «Да что вы беспокоитесь, А.М., ничего ведь особенного, вы поговорите с Дзержинским».

Я иду к Дзержинскому. И представьте, этот мерзавец (!) первым делом мне говорит: «В показаниях по этому делу слишком часто упоминается ваше имя». — «Что же, — я говорю, — вы и меня хотите арестовать?» — «Пока — нет». Вижу, дело серьезное, — я пошел к Красину. Красин страшно был возмущен. Мы вместе с ним были у Ленина, говорили, Ленин обещал поговорить с Дзержинским.

Потом я несколько раз звонил Ленину, но меня не соединяли с ним, а раньше всегда соединяли. Наконец я добился опять быть у него. Он сказал, что ручается, что никто не будет расстрелян. Я уехал. В Петрограде через два дня прочел в газете о расстреле всех. Вот.

А с Романовыми хуже было. Я в Москве упросил Ленина отдать мне их на поруки. (Речь идет о великих князьях Николае Михайловиче, Павле Александровиче, Георгии Михайловиче, Дмитрии Константиновиче, Иоанне Константиновиче.) И он мне выдал бумагу, по которой я мог вывести их из Чеки. Я сел в поезд в тот же вечер и утром уже был в Чека с бумагой. Мне говорят: сегодня ночью расстреляли. Как! Почему? По телефонному распоряжению Ленина из Москвы (Sic!!!).

Я. — Но... после этого... что же такое Ленин?

Г. (вдруг стихнув, как будто смущенный). — Ленин... видите ли... это прежде всего человек безмерно хитрый (Sic!).

Я. — Безмерно хитрый? Другими словами — подлец 96-й пробы!

Г. (насупившись, молча смотрит перед собой).

Я. — А.М., но об этом нельзя же молчать!

Г. (оживившись). — Да, за границей я опубликую мои о них сведения! Пусть все узнают, это так оставить нельзя. Дзержинский задерживает мне паспорт, но я его получу!

Я. — А.М., это будет иметь огромное значение, это необходимо сделать!"

(Дальше идет сердечное прощание, пожелания и т.д.)

“Горький уехал за границу. Я все ждал его разоблачений. Вместо них он написал восторженную статью о Ленине и — такую же о Дзержинском! Дальнейшее известно”.

Комментировать эту беседу, я полагаю, совершенно излишне: знаменитый повествователь и герои ясны, как день. Таким образом, М. Горький определенно подтвердил Сильверсвану записанную мною версию петербургских слухов» (Рубеж. 1941. № 36. С. 6—8).

[6] В позднейшей публикации Амфитеатров писал: «Добросердечного Бориса Павловича волновало, не слишком ли сурово изобразил он в своем письме роль В.Н. Таганцева, — и в следующем письме ко мне от 27 октября 1931 г. он пояснял:

“Я не хотел бы, чтобы у кого-либо создалось впечатление, будто я осуждал Таганцева и бросал в него камнем. Надеюсь, что вы этого не подумали. Однако как это ни печально, но Таганцев именно выдавал, т.е. предавал в руки Чека людей как замешанных в деле, так и не замешанных”.

Следует ссылка на хорошо известное мне лицо, тоже арестованное по таганцевскому делу, но после долгого заключения освобожденное.

“Кроме него и другие из освобожденных подтвердили его слова. Таганцеву была обещана жизнь, но его, конечно, обманули. Поверьте, что я знаю это все не из окружения Горького, а от самых надежных и чистых людей. Что касается заговора, то о нем я много узнал еще и здесь, в Финляндии, от участников его, переходивших часто границу в связи с ним, а сейчас проживающих здесь. История этого дела когда-нибудь станет известной во всех деталях, теперь же, по многим причинам, невозможно ее раскрывать.

Николай Степанович действительно не успел посвятить меня как следует в это дело, но если бы это случилось, то я бы фактически вошел в организацию и, конечно, тоже не уцелел бы. А что Николай Степанович знал много — я в этом не сомневаюсь.

После расстрелов я еще два месяца оставался в Петербурге и рассказов слышал много; много, разумеется, и чепухи, но что касается роли Таганцева в гибели стольких людей, — то она для меня совершенно ясна. Я, конечно, далек от того, чтобы проклинать его память, — он перенес, может быть, в тысячу раз больше всевозможных мучений, чем все остальные, и все это один Бог может рассудить.

Я жалею его глубоко, несмотря ни на что. Человека, попавшего в руки дьяволов в человеческом образе, невозможно судить, как свободного человека”» (Рубеж. 1941. № 36. С. 9—10).

[7] Имеется в виду географ А.П. Сутугин (Амфитеатров писал об этом редактору газеты «Сегодня» М.С. Мильруду 10 октября 1931 г.; см.: *Абызов Ю., Равдин Б., Флейшман Л.* Русская печать в Риге. Stanford, 1997. Кн. 2. С. 30).

[8] Имеются в виду воспоминания Г. Иванова, напечатанные в: Дни. 1925. 11, 18 окт.; Современные записки. 1931. № 47. Перепеч.: *Иванов Георгий.* Стихотворения. Третий Рим: Роман; Петербургские зимы: Воспоминания; Китайские тени: Литературные портреты. М., 1989. С. 442.

[9] *Нежданов* — персонаж романа И.С. Тургенева «Новь».

[10] Информацией об этом событии мы не располагаем.

[11] Под таким названием была впервые опубликована в Берлине в 1878 г. юмористическая поэма А.К. Толстого «Сон Попова» (1873).

[12] Цитируется сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Либерал» (1885).

МОИ ВСТРЕЧИ С СОЛОГУБОМ И ЧЕБОТАРЕВСКОЙ

Печатается по: Сегодня. 1931. № 281. 11 октября.

[1] Существует несколько версий того, что привело Ан.Н. Чеботаревскую (подробнее всего о ней см.: Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская / Вступ. ст., публ. и коммент. А.В. Лаврова // Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 290—384) к самоубийству 23 сентября 1921 г. Наиболее правдоподобная сводится к тому, что оно было следствием нервного срыва после отказа советского правительства выпустить Сологуба за границу (см. официальные документы: «Шипение Сологуба не прибавит ничего» / Публ. В. Шепелева и В. Любимова // Источник. 1995. № 5. С. 66—71; подробное изложение версии: *Ходасевич В.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 117—118); согласно второй, наиболее отчетливо сформулированной А.А. Ахматовой, она покончила с собой вследствие несчастной любви (*Чуковская Л.К.* Записки об Анне Ахматовой 1938—1941. М., 1997. Т. 1. С. 137). Версия, предлагаемая Амфитеатровым, — третья.

[2] Имеются в виду три сына Амфитеатрова от второго брака — Даниил, Максим и Роман.

[3] Это было в марте 1921 г.

[4] Перефразированы строки из стихотворения Н.А. Некрасова «Замолкни, Муза мести и печали...»: «То сердце не научится любить, // Которое устало ненавидеть».

[5] Речь идет о третьей сказке из цикла Горького «Русские сказки» (впервые: Рус. слово. 1912. 16 дек.). Прочитав сказку, Сологуб написал Горькому письмо: «Если бы это было только против меня, я не возражал бы. Но Вы захотели говорить о жене Смертяшкина...» (М. Горький. Материалы и исследования. Л., 1934. Вып. 1. С. 195). Следует отметить, что сказка Горького была ответом на откровенный выпад Сологуба в опубликованном незадолго до того ранее неизданном фрагменте из романа «Мелкий бес» (Сергей Тургенев и Шарик // Речь. 1912. 15, 22 и 29 апреля). Подробнее см.: *Никитина М.А.* М. Горький и Ф. Сологуб: К истории отношений // Горький и его эпоха: Исследования и материалы. М., 1989. Вып. 1. С. 185—203.

[6] Открытое письмо Д.С. Мережковского к Г. Гауптману было написано 1 августа 1921 г. в Висбадене и впервые опубликовано в: Общее дело (Париж). 1921. 13 августа. См. современную републикацию: *Мережковский Д.С.* Царство Антихриста: Статьи периода эмиграции. СПб., 2001. С. 162—166.

[7] Слова из первой строки «Стансов» (1826) А.С. Пушкина.

[8] Историю скандала с изданием сборника, который назывался не «Евреи», а «Щит» (М., 1915), Амфитеатров излагает весьма неточно. Сборник редактировали Горький, Л. Андреев и Сологуб. Последний заказал статью Н.А. Бердяеву, однако она была отвергнута секретарем редакции С.В. Познером без ведома Сологуба и Андреева, но с согласия Горького, что повлекло за собой весьма неприятные для Сологуба последствия, а также третейский суд. Помимо названной выше статьи М.А. Никитиной см. также: *Кельнер В.Е.* Два инцидента: Из русско-еврейских отношений в начале XX века // Вестник Еврейского университета в Москве. 1995. № 3 (10). С. 190—198.

[9] Подробнее об этом банкете см. в помещенных выше воспоминаниях самого Амфитеатрова «Г. Уэллс в Петрограде».

[10] Имеется в виду статья Горького «Владимир Ильич Ленин» (Коммунистический интернационал. 1920. № 12). В написанной ранее статье «А.Н. Чеботаревская» Амфитеатров вспоминал: «...вместо того чтобы метать безвредные громы патетического негодования, я подошел к гимну Горького с другой стороны, которую он, по публицистической неумелости своей, обнаружил очень широко и комично. Дело в том, что статья Горького возмущает своим беспримерно льстивым тоном и безграничным гиперболизмом похвал только до тех пор, пока читатель уверен, что Горький славословит Ленина серьезно. Но попробуйте допустить, будто он пишет свой акафист с затаенною лукавою целью пародии, — и вы удивитесь, в какую смешную и нелепую гримасу мгновенно искажается тогда глубокомысленно важная физиономия этого курьезного произведения. “Гениальный”, “честнейший”, “добрейший”, “святой” Ленин в напыщенных хвалах Горького неожиданно карикатурно оказывается таким круглым дураком, таким самодовольным невеждою, таким бессердечным лицемером и негодяем, что, право же, даже мы, его противники, гораздо лучшего о нем мнения... С этим полукомическим подходом я и написал свою довольно обширную и подробную статью» (*Амфитеатров А.* Горестные заметы. Берлин, 1922. С. 102—103).

[11] См.: М. Горький о Ф.Э. Дзержинском // Правда. 1926. 11 августа (Амфитеатров знал письмо по перепечаткам в эмигрантских газетах; так, 15 августа они появились в «Днях» и «Последних новостях»).

[12] Автограф статьи «Горький и Ленин» сохранился в архиве Амфитеатрова. Называя очерк Горького «апологией», «апофеозом заживо» и «канонизацией Ленина», Амфитеатров рассматривал его как «присягу на верность» большевикам: «Трехлетнее сидение между двумя стульями утомило Алексея Максимовича и, нащупав наконец, который стул стоит (по его мнению) прочнее, он

решил утвердиться на большевистском сиденье». В результате он оказался «во главе судеб литературы, науки, искусства: полуофициальный и фактический диктатор...» (РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 2. Ед. хр. 29. Л. 1, 2, 6, 7 об., 9). Н. Волковыский писал: «...кто из петербургских интеллигентов из-под полы не прочел ходившего по рукам “открытого письма М. Горькому”, носившего на себе подпись Амфитеатрова и составлявшего обвинительный акт против знаменитого и высокопривилегированного писателя» (*Волковыский Н.* А.В. Амфитеатров в советском Петербурге // Сегодня. 1938. 4 марта).

[13] О психологическом состоянии Чеботаревской в 1921 г. см. также: *Оцуп Н.* Встречи с Федором Сологубом // Сегодня. 1927. 11 сентября.

[14] В доступных нам источниках других свидетельств о дружбе Чеботаревской и Крупской нет.

[15] Имеется в виду приведенный выше мемуарный очерк Амфитеатрова «Повесть о добром большевике».

[16] Речь идет о Вас.И. Немировиче-Данченко и его жене (см.: *Амфитеатров А.* Астральные именины // Возрождение. 1937. 23 января).

ЗАГАДКА

Печатается по: Возрождение. 1928. № 966. 24 января.

[1] Сохранились письма Амфитеатрова Сологубу за май 1918 г., связанные с публикацией в газете «Петроградский голос» коллективного романа 13 авторов «Чертова дюжина» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 17) и письмо Сологуба Амфитеатрову от 16 января 1919 г., из которого видно, что Амфитеатров оказывал ему содействие в устройстве издательских дел (РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 1. Ед. хр. 209).

[2] Д.С. Мережковский, З. Гиппиус и Д.В. Философов в декабре 1919 г. выехали из Петрограда в Гомель и в январе 1920 г. нелегально перешли польскую границу.

[3] Нам не удалось установить, какое «знаменитое письмо» имеется в виду. В начале 1920 г. публиковались резкие по тону интервью Мережковского (см.: *Мережковский Д.С.* Царство Антихриста: Статьи периода эмиграции. СПб., 2001. С. 33—39, 585—589), а открытые письма его этого периода неизвестны. Возможно, имеется в виду «Открытое письмо Уэллсу», но оно было опубликовано Мережковским почти через год после бегства (Последние новости. 1920. 3 декабря; см. также в: *Мережковский Д.С.* Указ. соч. С. 127—133).

[4] Амфитеатров вспоминал про Чеботаревскую: «Ее нервное лицо, с пылающими готовностью к бою глазами, появлялось, правда, на всех предварительных организационных и учредительных собраниях возникавших литературных группировок, но я решительно не помню случая, чтобы она затем вошла хоть

в одну. Понятно, за исключением первого опыта с профессиональным писательским союзом, который именно она с своим супругом Ф.К. Сологубом и основала было в 1918 г. Это предприятие, увлечение политической и литературной идеалистки, не замедлило кончиться печальным разочарованием. Вокруг мечтателей копошилось и липло к их делу слишком много практиков. Не прошло, кажется, и месяца, как основатели — председатель Ф.К. Сологуб и А.Н. Чеботаревская — не выдержали атмосферы просочившегося в их учреждение аферизма и соглашательского подхалимства пред властью предержащею и ушли, сильно хлопнув дверью. А учреждение, ими покинутое, по уходе их, быстро превратилось в откровенный притон хищения и легкой спекулятивной наживы, за счет солидно схваченной ссуды и нескольких доверчивых писателей, неосторожно поручивших ему свои интересы. Большевики назначили ревизию, которая дала результаты, очень плачевные и унизительные для иных даже довольно крупных имен, вроде хотя бы В.В. Муйжеля, ныне большевикам соподвизающегося. В ревизии этой принимал участие К.А. Лигский, коммунист очень прямолинейно убежденный и усердный, но из недавних, хорошо известный мне по эмиграции 1905 года, когда он еще был эсером. <...> К.А. Лигский — один из тех немногих, редких, как белые дрозды, большевиков, о которых нет никакой худой славы даже в озлобленной угнетением буржуазной среде. И вот — я живо вспоминаю, с каким горестным отвращением говорил этот человек о грязи, вскрытой его ревизией. Всего там было — и растрат, и подлогов, и пользования чужим именем в корыстных целях. А один гусь, ранее подвизавшийся на поприще порнографической беллетристики, вообразив себя неуязвимым на почве соглашательства, ухитрился даже экспроприировать, якобы для союза, чужую квартиру и попался на продаже вещей из нее, что именно и дало толчок к ревизии. Опозоренный союз рухнул, но погубившие его аферисты, благодаря своему политическому соглашательству, не пострадали. Бывший секретарь, а в сущности, главный заправила союза, после чистосердечного покаяния получил в Черниговской губернии ответственный коммунистический пост, на коем и успокоился благополучно... <...> Разочарованная в своем союзе, Чеботаревская сделалась страшно подозрительной ко всякому организационному почину среди интеллигенции. Двоясь душою, она, фанатическая жрица писательства, одновременно и пылко желала новой организации, и трепетала мрачным страхом, что новая инициатива лишь откроет дверь для нового соглашательства. А где соглашательство, там, значит, холопский компромисс, — продажное перо, продажный язык, афера, спекуляция, — позор мысли, слова, — позор обожаемой литературы. На всех организационных собраниях она сидела гневною музою предубеждения, с враждебною чуткостью прислушиваясь к текущим речам. И, едва ее напряженную мнительность задевало чье-либо покладистое "с одной стороны, надо признаться, с другой — нельзя не сознаться", она вскакивала с места и разражалась бурей истерического вопля, — почти всегда с одним и тем же заключением:

— Прощайте, мне здесь на место!

И порывисто уходила, иной раз и в самом деле хлопнув дверью так, что стекла дрожали.

К этим ее выходкам привыкли, на них не обращали внимания, к ним относились даже юмористически:

— Очередной скандал Чеботаревской!

А между тем этот "глас вопиющей в пустыне" был истинным голосом уязвленной общественной совести интеллигентного Петрограда — той цельной совести, которая не знает серого компромисса между черным и белым и не только не согласна, "стиснув зубы и зажмурив глаза, принять от жизни то, что она предлагает", но не хочет и глаза закрывать, и зубы стискивать. Потому что со стиснутыми зубами человек только мычать в состоянии, а совесть Чеботаревской требовала слова и крика... Это была пророчица обличения, неумолимого и к другим, и к самой себе.

Допускаю, что ее крик был не всегда уместен, что, увлекаясь в своей мнительности почти до мании преследования, она иногда наносила незаслуженные оскорбления лицам, повинным не делом и помышлением, а разве лишь неудачным оборотом речи или выбором слова. Но зато сколько же масок было ею сорвано с настоящих лицемеров, под сколькими взятыми на прокат овечьими шкурами она обнаружила волчьи зубы и лисьи хвосты!..» (*Амфитеатров А.* Горестные заметы. Берлин, 1922. С. 96—99). Ср. воспоминания актрисы В. Юреневой, которая писала, что после Октябрьской революции ей «стали неприятны встречи с некоторыми знакомыми, например, с Сологубами. Они брюзжат, не верят в революцию и в народные силы. Нападки желчны, личны, от их разговоров веет кладбищенской скукой» (*Юренева В.* Записки актрисы. М.; Л., 1946. С. 157).

[5] Тэффи вспоминала: «В 1920 году, когда я в Париже лежала больная, в тифу, передали мне записку. На обрывке бумаги, сложенном как гимназическая шпаргалка, спешными сокращенными словами было набросано: "Умол. помочь похлопоч. визу погибаем. Будьте другом добр., как были всегда. Сол. Чебот.". Записка, очевидно привезенная кем-то в перчатке или зашитая в платье, была от Сологуба или Чеботаревской» (*Тэффи.* Проза. Стихи. Пьесы. Воспоминания. Статьи. СПб., 1999. С. 404).

[6] Во 2-м явлении 4-го действия «Грозы» А.Н. Островского Кулигин говорит Дикому, что «и в рубище почтенна добродетель!».

[7] Пс. 17:12.

[8] В основе этого оборота высказывание Христа, говорившего, что у него нет места, «где приклонить голову» (Мф. 8:20; Лк. 9:58).

[9] Имеется в виду герой «драмы в трех действиях» Козьмы Пруткова «Любовь и Силин» (1861). Амфитеатров весьма вольно пересказывает его слова.

[10] См.: *Амфитеатров А.В.* Зачарованная степь: Повести. Ревель: Библиофил, 1921; *Он же.* Василий Буслаев: Представление в четырех действиях. Ревель; Берлин: Библиофил, 1922.

[11] Об обстоятельствах, предшествовавших побегу, Амфитеатров вскоре после него писал следующее: «Пред вами человек, проведший безвыездно четыре года в советском Петрограде. За этот почтенный срок я выпил полную чашу сладостей его быта. Трижды арестованный, основательно познал прелести узлищ Чрезвычайки, а в последний раз, во время Кронштадтского восстания, имел удовольствие видеть, как вместе со мною познают их ни за что ни про что мои жена и старший сын, юноша, музыкант-композитор, никогда и не думавший о какой-либо политике. Потеряв счет обыскам, я жил под разнообразною слежкою уличного и домашнего шпионажа, был обязан подпискою о невыезде, в течение двух лет состоял под запретом каких бы то ни было публичных выступлений и, наконец, теперь лишь счастливым, почти чудесным случаем, выскочил из этой "злой ямы" накануне нового ареста, по всей вероятности горчайшего всех прежних. Потому что в последнее время вокруг меня опять стало заметно сжиматься как бы некое железное кольцо. Брали одного за другим моих знакомых, в том числе даже таких, на которых не могла падать хотя бы слабая тень политического подозрения, за исключением их дружеской близости ко мне. Зловещий призрак был слишком выразителен, чтобы не поторопиться давно задуманным и желанным исчезновением <...>» (*Амфитеатров А.* «Красный Петроград» // Огни. 1921. 19 сентября).

[12] См.: *Amfiteatroff Ilaria.* Negli artigli dei sovieti. Milano: L'Eroica, 1922. См. также: *Амфитеатрова И.* Птицы в клетке // За свободу! 1922. 18, 23, 25 августа, 1, 29 сентября, 6, 13 октября.

[13] См. воспоминания о Сологубе в последние годы его жизни: *Данько Е.Я.* Воспоминания о Федоре Сологубе / Вступ. статья, публ. и коммент. М.М. Павловой // Лица. Вып. 1. М.; СПб., 1992. С. 190—234; *Смиренский В.В.* Федор Сологуб // Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 409—422; *Голлербах Э.Ф.* Из воспоминаний о Ф.К. Сологубе / Публ. М.М. Павловой // Рус. литература. 1990. № 1. С. 219—224.

ИМПЕРИЯ БОЛЬШЕВИКОВ

Печатается по: За свободу! 1922. 23 ноября. Воспроизводится только раздел III публицистического цикла, другие разделы не носят мемуарного характера и не включены в данную републикацию.

[1] См. примеч. 58 к очерку «Советские узы».

[2] Это произошло 5 января 1919 года. В деле Амфитеатрова в ЧК указано, что он арестован «за чтение лекции с затрагиванием политических тем» (Дело

Амфитеатрова. 1921 / Публ. и коммент. Андреаса Деккера // Вестник Мемориала. СПб., 2001. № 6. С. 249.

[3] См.: *Горький М.* Владимир Ильич Ленин // Коммунистический интернационал. 1920. № 12. С. 1927—1936 (номер вышел в июле).

[4] См.: *Уэллс Г.* Россия во мгле / Пер. с англ. с предисл. Н.С. Трубецкого. София. 1921. Издание это подготовлено не монархистами, а евразийцами.

[5] См. примеч. 12 к очерку «Загадка».

[6] Вооруженного восстания (от *лат.* insurrectio — восстание).

РЕПТИЛЬНАЯ ВЕРБОВКА

Печатается по: Руль. 1922. 18 января. Под текстом проставлено: «Прага. 11.1.1922 г.».

[1] *Русспресс* — телеграфное агентство, основанное С.М. Кельничем в Варшаве в 1920 г.

[2] Так назывались вышедший в 1921 г. в Праге сборник статей, а также выходивший в Париже с октября 1921 г. по март 1922 г. еженедельный общественно-политический журнал.

[3] Речь идет о К.А. Лигском.

[4] Имеется в виду актриса В.Л. Юренева. О браке их «тогда много говорили» (*Сац Н.* [Воспоминания о М. Кольцове] // Михаил Кольцов, каким он был. М., 1989. С. 408), поскольку Юренева была почти вдвое старше Кольцова — ему было 23 года, ей — 45.

[5] Приведем пример сотрудничества известных деятелей культуры и науки в рептильном издании. В выходящей в Риге в 1921—1922 гг. газете «Новый путь», которая издавалась на деньги советского полпредства, печатались академик С.Ф. Ольденбург, музыковед Игорь Глебов (Б.В. Асафьев), театровед Н.Е. Эфрос, искусствоведы А.В. Бакушинский, А.М. Эфрос, Э.Ф. Голлербах и др. См.: *Флейшман Л., Абызов Ю., Равдин Б.* Русская печать в Риге. Stanford, 1997. Кн. I. С. 44—46.

[6] По-видимому, Амфитеатров пишет о В.М. Дорошевиче.

[7] Речь идет, скорее всего, о Вас.И. Немировиче-Данченко.

[8] Разыскать эту публикацию нам не удалось.

[9] откровенно (*фр.*).

[10] Амфитеатров неточно цитирует II главу первой части «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского.

[11] Цитируется тот же источник.

[12] Амфитеатров очень неточно цитирует Житие Аввакума. Ср.: «Выпросил у Бога светлую Росию сатона, да же очервленит ю кровию мученическою. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо — Христа ради, нашего света, пострадать!»

([*Протопоп Аввакум*]. Житие Аввакума // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. М., 1989. Кн. 2. С. 380—381).

ПАСХАЛЬНЫЕ ПАМЯТКИ

Печатается по: Сегодня. 1930. № 110. 20 апреля.

[1] См.: *Гёте И.В.* Фауст. Ч. 1. Сц. 1 / Пер. И. Павлова // Рус. вестник. 1867. Т. 70. Июль. С. 169—182.

[2] «влеченье, род недуга» — слова Репетилова из «Горя от ума» А.С. Грибоедова (д. IV, явл. 4).

[3] Имеются в виду многократно переиздававшиеся «Пространный христианский катехизис» митрополита Филарета (1829), «История христианской православной церкви» (1856) и «Краткое учение о богослужении православной церкви» (1861) А.П. Рудакова.

[4] Слова из проповеди Григория Богослова, вошедшие в пасхальный канон Иоанна Дамаскина.

[5] О кутежах, тиграх и сумасшествии М.А. Хлудова см.: *Варенцов Н.А.* Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. М., 1999. С. 209—215, 731, 733—734.

[6] То есть пил воду из реки Куры.

[7] См.: *Амфитеатров А.В.* Джигит: Кавказская легенда // Амфитеатров А.В. Эхо. М., 1913. С. 79—95.

[8] Евр. 11:13.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА, НЕУДОБНОГО ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ МНОГИХ: [ПЛАН КНИГИ]

О намерении А.В. Амфитеатрова издать воспоминания, охватывающие всю его жизнь, свидетельствуют несколько вариантов плана (на русском, итальянском и французском языках), сохранившиеся в архиве писателя в Lilly Library. Там хранятся и другие материалы автобиографического характера: подробная автобиографическая канва (неполная) и отдельные фрагменты воспоминаний.

Поскольку русский вариант плана неполон (утрачена страница и, кроме того, он завершается 1922 г.), публикуется итальянский вариант, охватывающий период по 1929 г. (перевод Э. Гарэтто); разночтения приведены в примечаниях.

[1] В русском варианте плана далее идет: «Поэт Аполлон Майков».

[2] В русском варианте плана далее идет: «Министр Д. Толстой и публицист М. Катков».

[3] Далее в русском варианте плана идет: «Дядя Александр Иванович Чупров». В архиве Амфитеатрова хранится также начало более развернутого варианта плана: «Детство. Русская провинция 60-х годов. Калужская губерния. Города: Лихвин, Мещовск, Мосальск. Отец, мать, дядя и тетки Чупровы. Дед Иван Филиппович Чупров. Духовенство. Провинциальная интеллигенция. Книжные игры. "Искра". Грамотность в четыре года. Шести лет читаю "Фауста" и Шекспира. Дядя Александр Иванович Чупров. Отец-романтик. Тяготение к Москве. Переезд в Поливаново. Учительская семинария. Земство. Знаменитый педагог П.М. Цейдлер, русский Песталоцци. Поэт Аполлон Ник[олаевич] Майков. Москва. Гимназия. Мертвящий режим. Отвратительная школа. Ни одного светлого воспоминания. Протест. Гейне. Щедрин. Чтение запоем. Чудовищная память. Товарищи-гимназисты. Ни одной значительной фигуры. Первые поэтические пробы пера и любовные увлечения. Период вранья. Театральные увлечения. Тяга в оперу. Корсов. Н. Рубинштейн. Знакомства артистические и с меценатами. Отбиваюсь от дома. Кое-как кончаю курс. Болезнь и смерть матери. Мне 18 лет. Университет».

[4] Тут в русском варианте плана стоит: «Старый московский театральный мир. (См. мою книгу "Знакомые музы" [Париж, 1928]»).

[5] См.: Итало-русская сцена. Томазо Сальвини // Возрождение. 1928. 1 декабря.

[6] См.: Эрнесто Росси // Амфитеатров А. Курганы. СПб., 1909. С. 217—222.

[7] См.: Поминки великой «Элеоноры» // Сегодня. 1927. № 53.

[8] См.: Эрнест Поссарт // Амфитеатров А. Контуры. СПб., 1906. С. 120—140. Амфитеатров вспоминал там: «Был сезон, когда я смотрел Поссарта сорок два вечера подряд, в двадцати ролях» (С. 123).

[9] См. о гастролях Мунэ-Сюлли: Москва. Типы и картинки. LXVIII // Новое время. 1894. 5 февраля.

[10] В русском варианте далее: «Дружба с Эрнесто Росси и Эрнстом Поссартом».

[11] См.: Анджело Мазини: (Из личных воспоминаний) // Сегодня. 1926. 5 ноября.

[12] Амфитеатров познакомился с Верди в 1894 г. См.: Верди // Амфитеатров А. Собр. соч. Пг., [1915]. Т. 35. С. 318—325.

[13] См.: «Нерон» Бойто // Амфитеатров А. Литературный альбом. СПб., 1907. С. 231—240.

[14] В русском варианте далее: «Ф. Шаляпин — статист, М. Горький — хорист в Казани». Об оперной карьере Амфитеатрова см. в мемуаре «Из литературных воспоминаний».

[15] В русском варианте конкретнее: «Успех в фельетоне и театральной критике».

[16] В русском варианте далее: «Короленко». С Короленко Амфитеатров, по его воспоминаниям, виделся всего один раз. О его отношении к Короленко см. статью «В.Г. Короленко» в: *Амфитеатров А.* Собр. соч. СПб., [1912]. Т. 15. С. 347—387.

[17] См.: *Амфитеатров А.* Степан Стамбулов: Софийское житье-бытье (Болгарские типы и картинки) // Амфитеатров А. Недавние люди. СПб., 1901. С. 1—175.

[18] В русском варианте далее: «Петко Каравелов». См.: Петко Каравелов // Современные сказки. СПб., 1907. С. 201—232.

[19] См.: Накануне; Фердинанд под Константинополем // Эхо. М., 1913.С. 197—229.

[20] См.: Генрих Семирадский и «Цирцея» // Амфитеатров А. Собр. соч. Пг., 1915. Т. 35. С. 326—361.

[21] См.: Де Амичис // Заметы сердца. М., [1909]. С. 104—105.

[22] Имеется в виду роман «Зверь из бездны».

[23] См. воспоминания о ней: «Гений чистой красоты»: (Памяти Тины ди Лоренцо) // Сегодня. 1930. 13 апреля.

[24] См. о трилогии Сенкевича: Этюды. XCVIII // Новое время. 1899. 7 февраля.

[25] См.: Памяти Болеслава Пруса // Амфитеатров А.В. Собр. соч. СПб., [1914]. Т. 22. С. 347—358.

[26] См. воспоминания Амфитеатрова о нем в: Гонимый покойник // Петроградский голос. 1918. 9 июня; Прободенный // Новые ведомости. Веч. вып. 1918. № 78.

[27] М.А. Рейснер печатал статьи в журнале Амфитеатрова «Красное знамя» (1906. № 2, 3).

[28] Об этом периоде жизни Амфитеатрова см.: *Гарэтто Э.* Первая русская революция: Взгляд из Парижа: К биографии А.В. Амфитеатрова (1904—1907) // Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 345—359.

[29] О Савинкове см. статьи Амфитеатрова: Кое-что о Савинкове // За свободу! 1924. 1 октября; Загадка Савинкова // Возрождение. 1925. 14 июня. См. также их переписку: Минувшее. М., СПб., 1993. Вып. 13. С. 73—158.

[30] См. переписку Амфитеатрова с Горьким: Лит. наследство. М., 1988. Т. 95. С. 31—465.

[31] См.: *Амфитеатров А.* Гульельмо Ферреро и его критики // Современник. 1911. № 5. С. 100—140.

[32] Амфитеатров вдохновлялся в своем творчестве его книгой о дьяволе и другими произведениями; см., напр.: *Амфитеатров А.* Сошествие в ад. Легенды средних веков. По Артуро Графу // Утро России. 1910. 18 апреля.

[33] В русском варианте далее: «Суррогаты заработков. М. Горький. Лицемерные поддержки гибнувшей интеллигенции».

[34] В русском варианте далее: «Сологуб. Куприн. Мережковские».

[35] В русском варианте далее: «Пароход “Ариадна”».

[36] В русском варианте далее: «Издательская горячка. Стремительное падение марки».

[37] Амфитеатров часто печатался в пражской газете «Narodny listy», которую редактировал Крамарж. Амфитеатров посвятил русскому переводу книги Крамаржа «Русский кризис» (1926) большой цикл статей (Возрождение. 1926. 2 июня, 1, 2, 20 августа), а впоследствии написал некролог (Возрождение. 1937. 11 июня).

[38] В русском варианте далее: «Художник Обровский, проф. Новгородцев, Ломшаков, П.Б. Струве. Переписка с ген. Врангелем».

[39] О фашизме см.: Civis Romanus // За свободу! 1924. 20 июня, 10, 11 июля, 5, 8, 13, 14 августа, 1 сентября; Дуче // Сегодня. 1929. № 270; Муссолини на трибуне // Сегодня. 1931. № 291.

[40] В русском варианте вместо четырех последних предложений следует: «Мои сыновья — фашисты. Мой враг Массимо Рокка. Несбывшиеся надежды русской эмиграции на поддержку фашистов. Муссолини — строитель новой Италии.

Безвыездная жизнь старика в глухом уголке Ривьеры. Мои исторические труды. Воспоминания о Теодоре Моммсене, Джузеппе Серджи, Карло Паскале и др. Художники Антонио Дисковоло, Эудженио Барони, композитор Отторино Респиги. Связи с итальянской литературой: Габриеле д’Аннунцио, Сем Бенелли, Д.А. Борджезе, Уго Ойетти, Анни Виванти и др.

Эмигрантская печать. “Братство русской правды”. Моя книга “Стена плача, стена нерушимая”. Князь Анатолий Ливен. Борьба с “Орденом Иуды предателя” (большевицкими провокаторами). Разработка и публикация материалов о “Красной каторге” в Соловках и др. советских концлагерях. Старое старится, молодое растет. Мои сыновья».

О Массимо Рока см.: Курьезный изгнанник // Возрождение. 1926. 15 октября; о Э. Барони: Поэт рабочего и солдата // Шанхайская заря. 1935. 13 октября; об О. Респиги: Итальянский преемник Римского-Корсакова // Шанхайская заря. 1936. 12 июня; Анна Виванти опубликовала в редактируемом Амфитеатровым журнале «Современник» роман «Поглотители» (1911. № 4—11).

Братство Русской Правды вело борьбу против СССР. Включало боевую организацию и издательство. См. публикации Амфитеатрова о нем: Листки // Возрождение. 1927. 9 сентября, 8 ноября, 12 декабря. См. также: *Будницкий О.* Братство Русской Правды — последний литературный проект С.А. Соколова-Кречетова // Новое литературное обозрение. 2003. № 64. С. 114—143.

Книга «Стена Плача и Стена Нерушимая» печаталась в 1929—1930 гг. в газете «Новое время» (Белград), а потом вышла отдельными изданиями в Белграде (1930) и Брюсселе (1931).

О своих отношениях с князем Ливеном Амфитеатров писал в: Рыцарь духа: Светлой памяти кн. А.П. Ливена // Сегодня. 1937. 11 апреля; о ГПУ в: К похищению ген. Миллера // Меч (Варшава). 1937. 3 октября; Орден Иуды Предателя // Возрождение. 1936. 1, 8, 22 августа, 5, 12, 19 сентября, 31 октября, 7, 14, 21 ноября.

Советским лагерям посвящены были обработанные Амфитеатровым воспоминания беглеца из Соловков С.В. Смородина, публиковавшиеся в варшавской газете «Меч» под названием «Адострой» (1937. 11 апреля — 19 декабря; параллельно фрагменты печатались в газетах «Сегодня» и «Возрождение»). Отдельным изданием книга вышла под названием «Красная каторга» (София, 1938).

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ*

* Номера томов обозначены римскими цифрами.

17. Заказ № 833.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* В указатель не внесены имена мифологических и литературных персонажей, лиц, названных в тексте только по имени, а также упомянутых лишь в предисловии и комментариях. Римскими цифрами указаны номера томов.

18. Заказ № 833.

19. Заказ № 833.

СОДЕРЖАНИЕ

Амфитеатров Александр Валентинович
**ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА,
НЕУДОБНОГО ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ МНОГИХ**
Том II

Редактор
О. Краснолистов
Корректор
Л.Н. Морозова
Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlo.magazine.ru

ISBN 5-86793-309-1



Формат 60x90/16
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 38. Заказ № 833
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15


россия в мемуарах